

ВАЛЕРИЙ  
БРЮСОВ

*Моисарт*



Валерий Яковлевич Брюсов

# Моцарт (сборник прозы)

(Проза Валерия Брюсова)

Один из основателей русского модернизма, Валерий Яковлевич Брюсов был не только изысканным поэтом, но и незаурядным беллетристом. Среди его прозаических произведений особый интерес представляет роман «Алтарь победы», отображающий всю палитру жизни умирающей Римской империи IV века н.э. Молодой римлянин Юний, путешествуя по различным провинциям величайшего государства Древнего мира, переживает множество как забавных, так и опасных приключений.

Помимо романа, в книгу вошли повести, и рассказы писателя:

Под старым мостом

Бемоль

Мраморная головка

Республика Южного Креста

Последние страницы из дневника женщины

Рея Сильвия

Элули, сын Элули

Моцарт

# Содержание

Алтарь победы . . . . .	0005
Книга первая . . . . .	0005
Книга вторая . . . . .	0205
Книга третья . . . . .	0384
Книга четвертая . . . . .	0631
Повести и рассказы . . . . .	0879
Под Старым мостом <i>Novelle simplice</i> № 1 . . .	0879
Бемоль Из жизни одной из малых сих . . .	0907
Мраморная головка Рассказ бродяги . . . . .	0918
Республика Южного Креста Статья в специальном № «Северо-Европейского вечернего вестника» . . . . .	0926
Последние страницы из дневника женщины . . .	0968
Рея Сильвия Повесть из жизни VI века . . .	1073
Элули, сын Элули Рассказ о древнем финикийце . . . . .	1126
Моцарт Лирический рассказ в 10 главах . .	1143

# Валерий Яковлевич Брюсов

## Моцарт (сборник)

# Алтарь победы

## Книга первая

### I

Наш корабль уже был в виду берегов Италии, и я весь был занят одной мыслью, что скоро увижу Рим, «золотой», как его называют поэты, по улицам которого выступали Фабии, Сципионы, Суллы и сам божественный Юлий. Скромному провинциалу, сыну удаленной Аквитании, мне тогда казались трижды-четырежды блаженными те, кому Рок судил родиться у подножия Капитолия, куда, по священной дороге, восходило, чтобы приносить триумфальные жертвы, столько сланных, незабвенных мужей, память о которых не исчезнет, пока «Римлянин власть отцов сохраняет». В тот час я не думал о жестоких унижениях, нанесенных древней столице нашим временем, о пренебрежении императоров к городу, вскормившему их власть, наподобие волчицы – кормилицы двух первых царей, о печальном состоянии многих прославленнейших памятников старины, на что

так жалуются все путешественники, о Новом Риме, гордо вставшем на берегах Боспора Фракийского, – и жаждал лишь одного: слушать рассказы о «Вечном Городе», этом средоточии, как мне казалось, величия, доблести, мудрости и вкуса.

Я и мой новый друг, Публий Ремигий, с которым я познакомился во время морского переезда, – мы сидели на носу корабля на сложенном канате, подставляя свое лицо свежему ветру, и мой собеседник должен был неустанно удовлетворять мое любопытство. Впрочем, он делал это охотно, так как ему, проведенному в Риме всего одну зиму, нравилось выставлять себя жителем столицы и похваляться своим знанием ее перед столь внимательным и доверчивым слушателем, каким я тогда был. Любивший болтать и не стеснявшийся примешивать вымыслы к правде, Ремигий покровительственным голосом объяснял мне, что представляет собою современный Рим, рассказывал о старинных театрах, постановки которых соперничают с самой природой, о цирках и амфитеатрах, где можно видеть самых диковинных животных,

о красоте дворцов и храмов, покрытых золотом, величественности бесчисленных форумов, переливающихся один в другой, роскоши необъятных терм, где есть все, что может пожелать человек: пещины для плавания, библиотеки для наслаждения ума, толпа красивых мальчиков для сладкого времяпровождения, о всей многообразности жизни столицы, где рядом соприкасаются великие богатства и нищета, где мудрецы и консулы сталкиваются на площади с разбойниками и проститутками, куда весь мир шлет все самое замечательное, что имеет, о том Риме, который, словно тысячелетнее дерево, каждый год дает новые побеги. С наибольшим же увлечением Ремигий говорил о вещах, ему, по-видимому, особенно близких: толковал мне, в какой таверне можно получить вино, где на сцене можно видеть арабских танцовщиц или кастабальских кулачных бойцов, а где можно слушать гелиопольских флейтисток или любоваться цезарейскими пантомимами, а также, как устроены и где расположены в городе те веселые дома, в которых молодежь ищет дешевой любви и где на дверях комнат,

занятых девушками всех стран, читаются милые имена: Лидия, Мирра или Психея.

– Рим, мой дорогой, – говорил мне Ремигий, словно изъясняя урок непонятливому ученику, – средоточие мира. Рим так велик, что взором обнять его нельзя. В Городе, где бы ты ни был, ты всегда оказываешься в середине. Что в других странах находится по частям, в нем одном соединено вместе. Ты в Риме найдешь и утонченность Востока, и просвещенность Греции, и причудливость далеких земель за Океаном, и все то, что есть в нашей родной Галлии. Жители всех провинций и народы всех других стран смешиваются здесь в одну толпу. Рим – это в сокращении мир. Это – океан красоты, описать который не в силах человеческое слово. Кто однажды побывал там, не захочет никогда жить в другом месте.

Так как оба мы ехали в Рим, чтобы учиться, то я стал также расспрашивать Ремигия о разных римских профессорах и их обычаях. С величайшей готовностью Ремигий поспешил мне ответить и на эти мои вопросы. Не без остроумия он начал рассказывать о

том, как риторы перебивают друг у друга учеников, заманивая их всевозможными обещаниями; как иные из профессоров богатым ученикам прямо прислуживают, словно их рабы, устраивают для них обеды, на которых прислуживают красивые рабыни, и почти тельно дожидаются у порога спальни, пока проснется юноша, прошлую ночь прошедший слишком буйно; как состязаются между собой преподаватели риторики, стараясь сократить срок преподавания и публично объявляя, что берутся обучить всем высшим наукам, один – в полтора года, другой – в год, третий даже – в шесть месяцев.

– Что касается трудности учения, – сказал мне Ремигий, – этого ты не бойся. У тебя есть деньги, и этого одного достаточно, чтобы стать мудрым, как Цицерон. Наш век – век великой легкости. Что было для наших предков трудно и тягостно, ныне, благодаря успехам просвещения, стало просто и всем доступно. Для Цезаря подвигом было переправиться в Британию, а в наше время изысканные люди едут на острова Британнского океана, чтобы отдохнуть несколько недель летом в при-

ятном, нежарком климате. Пирр хотел испугать бедного Фабриция невиданным зрелищем слона, а теперь всякий желающий за несколько медных монет может кататься на слонах, содержимых при любом большом амфитеатре. И всю ту науку, что двести лет назад надо было добывать с крайним напряжением, обливаясь потом на лекциях каких-нибудь греческих обманщиков, или за которой надо было ехать в Афины, в наши дни преподают шутя, для тебя самого незаметно, в самые короткие сроки. Клянусь Геркулесом, ты и не почувствуешь, как войдет в тебя вся риторика, а тем временем мы успеем с тобой вдоволь насладиться всеми приятностями Города, и этого будет довольно, чтобы воспоминаний достало тебе на всю последующую жизнь и чтобы жизнь свою ты не почитал потерянной.

Такие рассказы в меня вселили уверенность, что в Риме ждет меня немало веселого, да и я сам ехал в Город исполненный самых светлых надежд, даже мечтая втайне, что благоприятный случай позволит мне там чем-либо выделиться из числа других сверстни-

ков: ведь юность всегда самонадеянна, а я был еще очень молод. В приятной беседе с Ремигием, в которой я, впрочем, играл больше роль слушателя, незаметно прошло время. Скоро уже стали отчетливо видны громадные сооружения Римского Порта, длинные молы, высокие стены домов, храмов, амфитеатров, белые колонны портиков и тихо покачивающийся лес мачт от бесчисленных кораблей, военных и торговых, стоявших в гавани. Кругом нашего корабля тоже виднелось немалое число других судов, начиная с громадной гептеры, опередившей нас, до маленьких гребных лодок, зыбко качавшихся на волнах, поднятых нашим кораблем.

Раздались громкие приказы магистра корабля, и матросы забегали по палубе, приготавливаясь к причалу. Все другие наши попутчики стали собирать свои вещи, и мы с Ремигием последовали их примеру.

## II

**М**ы переночевали в Порте, в гостинице, и утром нашли себе места в одной реде, отправлявшейся после полудня в Рим. Время до отъезда мы решили посвятить осмотру горо-

да, в котором немало любопытных зданий, несмотря на его сравнительно недавнее происхождение. Бродя без цели по улицам, зашли мы в отдаленную часть города, около канала, соединяющего Тибр с морем, пустынную в тот час, отдаваемый обычно полуденному отдыху. Здесь одно происшествие привлекло внимание не столько мое, сколько моего товарища.

На углу набережной и одной из поперечных улиц мы увидели двух скромно одетых девушек, которых явно притеснял человек высокого роста, в сирийской шапке. Девушки пытались уйти от него, но он, загораживая им дорогу, чего-то настойчиво от них добивался, видимо, к большому их замешательству. Если бы я был один, я, конечно, не подумал бы вмешиваться в уличную ссору, но Ремигий любил приключения и был то, что называется, забияка. Не раздумывая, он бросился вперед, и через несколько минут его спор с сирийцем перешел в ожесточенную брань.

Когда я отважился приблизиться, я услышал такие слова Ремигия:

– Если ты думаешь, приятель, что сирий-

ский колпак придал ума твоей голове, ты весьма ошибаешься: и святое Писание говорит нам, что в гробах повапленных бывает смрад и нечистота. И если ты полагаешь, что довольно нарумянить щеки и завить бороду, чтобы женщины всего мира побежали за тобой, то знай, что говорит поэт о боге Любви: «Лютый и дикий, злой, как ехидна!» А что до твоих намеков, будто ты толкаешься среди придворных слуг и что поэтому всякому твоему доносу дан будет ход, то вспомни, как смотрели на сикофантов древние греки, наши учителя во всяческой мудрости: они доносчиков почитали наравне с волками. Говорю тебе, если ты не оставишь тотчас этих двух девушек в покое, я схвачу тебя поперек тела и сброшу в воду, а ты уже оттуда выплывай, как знаешь. И если, проплывая, барка разобьет тебе в это время череп, она только избавит Рим от лишнего негодяя.

Сириец оглянулся кругом и убедился, что поддержки ему ждать неоткуда, так как набережная была совершенно пустынна, двери складов и сараев, тянувшихся вдоль нее, плотно заперты и на судах, стоявших в кана-

ле, не виднелось ни одного человека. К тому же и я, как ни были мне всякие уличные споры ненавистны, не поддержать товарища в опасности считал нечестным и всячески выражал готовность прийти к нему на помощь. Поэтому сириец, не обладая, по-видимому, особым мужеством и не желая один иметь дело с двумя противниками, от своих притязаний предпочел уклониться и, отступая, сказал нам:

– Напрасно, молодые люди, не в свое дело вы вмешиваетесь. Я этих девушек вовсе не обижал, но, напротив, желал им оказать некоторую услугу! Я их предупреждал, что кое в чем они поступают неосмотрительно и это может повести их к беде. Если они меня слушать не хотят, тем для них хуже будет.

Две девушки были далеко не похожи друг на друга. Одна, которая казалась моложе, была одета хотя и бедно, не без некоторого щегольства; у нее было милое лицо германки, с детскими глазами и алыми губами; во время спора она как бы пряталась за свою подругу и, минутами, почти готова была заплакать. Другая девушка, одетая в паллу темного цвета

и бывшая старше на вид, с лицом суровым и строгим, не отступала перед угрозами сирийца, но давала им решительный отпор. Услышав его последние слова, она сказала горячо:

– Лжешь, сириец! Думаешь, мы забыли, с какими предложениями ты к нам обращался! Женщине повторять их непристойно, но если эти благородные молодые люди избавят нас от твоих притеснений, у нас найдутся защитники, которые дадут тебе должный ответ.

– А ты забыла, – возразил сириец, – что ты и твоя сестра прятали между своими вещами в гостинице!

– Гнусный соглядатай! – воскликнула девушка. – Не знаю, что тебе показалось, когда заглядывал ты в какую-нибудь щель или замочную скважину, но, клянусь святым Крестом, ни в чем предосудительном мы не повинны!

Тут сириец или утратил от раздражения свою осторожность, или захотел устрашить нас, только он произнес такие знаменательные слова:

– Ни в чем предосудительном! Или я не видел, как ты с сестрой убирала в ящик пурпу-

ровый колобий? Разве это не значит злоумышлять на священную жизнь божественного императора! Знаешь ли ты, что этого одного достаточно, чтобы отправить вас обеих в тюрьму, а также и тех, кто вступает за лиц, виновных в таком злодеянии!

Признаюсь, после такого заявления словно холод Британнии пробежал по моим членам, так как я вовсе не хотел испытать участь Аполлинария и Мараса, замученных по сходному обвинению на Востоке в правление цезаря Галла. Подступив осторожно к Ремигию, я потянул его за плащ, давая ему понять, что самое благоразумное для нас – от этого темного дела уклониться. Но бесстрашный Ремигий, словно змей, раненный стрелой или камнем, бросился на сирийца, бывшего головой выше его, подступил к нему вплотную и так ему крикнул:

– Слушай, сирийский шут! Твоя родина славится канатными плясунами и скаковыми лошадьми. Так покажи нам искусства твоей страны и уходи отсюда так скоро, как только можешь, приплясывая или нет, по своему выбору. Иначе, клянусь Юпитером и пресвятой

девой Марией, придется тебе по опыту узнать, какова вода в этом канале, пресная или соленая!

Повадка моего друга была столь решительна, что сириец не посмел более медлить ни минуты. Бормоча угрозы и ругательства, он стал быстро отступать, пятясь задом, и, достигнув первого поворота, почти бегом бросился прочь, вдоль низких каменных оград, и скоро скрылся из виду. Мы на поле битвы остались как победители.

Девушки начали усердно благодарить нас за заступничество, но Ремигий сказал им:

– Или я сильно ошибаюсь, или этот негодяй не кто иной, как императорский соглядатай из корпуса *agentes in rebus*, один из тех, кого называют *curiosi*. Они шныряют всюду, стараясь разыскать измену, так как только за измену, хотя бы самую маленькую, им и платят. Наверное, побежал он сейчас к одному из своих начальников, чтобы на вас сделать донос. Я бы на вашем месте не стал медлить здесь, но поспешил бы прочь из негостеприимного для вас Троянова Порта, так как в наши дни нельзя особенно рассчитывать на

правосудие. Я, Публий Ремигий из Массилии, и мой друг, Децим Юний Норбан, из Лакторы, племянник сенатора Авла Бебия Тибуртина, с удовольствием окажем вам свое покровительство и готовы сопровождать вас, если последуете вы тому совету, что я даю вам, наподобие богини Минервы, которая, во образе мудрого Ментеса, склонила юного Телемака к путешествию.

Девушки, однако, решительно отказались от нашей дальнейшей помощи, сказав, что путешествуют не одни, но со своей родственницей. Они назвали свои имена, которые оба оказались мало обычными: младшую звали Лета, старшую Реа; они были сестры и, подобно нам, направлялись в Рим, только не из Галлии, а из Испании, из Сагунта, где недавно умер их отец. Ремигий стал предлагать, чтобы они провели с нами некоторое время, говоря, что в городе есть приятный общественный сад и подле лавровая роща, но девушки нашли такую прогулку неприличной и нам пришлось удовольствоваться с их стороны одной благодарностью за великодушное заступничество.

Впрочем, Лета, когда опасность миновала, была склонна шутить с Ремигием и как будто колебалась, не принять ли его предложение, но ее старшая сестра резко ее остановила.

– Неужели ты не позволишь даже поцеловать тебя в награду за все, что мы для вас сделали? – спросил Ремигий Лету, пытаясь обнять ее.

– Может быть, мой поцелуй стоит дороже, – лукаво возразила та, уклоняясь от объятия.

Реа вмешалась и сказала:

– Если вы избавили нас от одних оскорблений, чтобы подвергнуть другим, вам трудиться не стоило.

Тогда Ремигий стал просить, чтобы девушки, по крайней мере, назначили нам встречу в Риме, обещая показать им все достопримечательности Города.

– Только, – возразила Лета, – не в первые дни по нашем приезде. Я не хочу, чтобы тебе было стыдно идти со мною рядом. Когда я научусь наряжаться, как Римлянки, и, как они, заплетать волосы, я охотно позову тебя сопровождать меня.

Ремигий заверил ее, что она и теперь прекраснее всех других девушек всего мира, но опять Реа вступила в разговор и сказала:

– Мы едем в Рим не за тем, чтобы забавляться. Мы девушки бедные, и наши дни должны будем посвящать работе. А в свободные часы нам останется время только посетить церковь или поклониться мощам святых, что вряд ли для юношей, каковы вы двое, будет занимательно.

Мне стало стыдно, и я начал убеждать своего друга прекратить его настояния. Кончилось тем, что нам не осталось другого, как мирно проводить девушек до указанной ими гостиницы, причем Ремигий не переставал делать весьма нескромные намеки понравившейся ему Лете, которые заставили бы краснеть любую девушку моего родного города. Но Лета, не смущаясь, отвечала ему, и обмен остротами продолжался во все время пути.

Когда мы уже прощались, Реа, почти не проронившая во всю дорогу ни слова, внезапно обратилась ко мне с вопросом:

– Твое имя точно Юний?

– Так, по крайней мере, – ответил я немно-

го обидчиво, – зовут моего отца и звали деда и моих предков. Имя это не бесславно в истории. И каждому человеку свойственно знать свое имя.

– А сколько тебе лет? – спросила девушка.

Как всем юношам, мне хотелось казаться старше своих лет, и я ответил:

– Если ты это хочешь знать, мне девятнадцать лет.

– Неправда! Наверное, восемнадцать! – живо возразила Реа.

Смутившись, так как она была права, я сказал:

– Да, мне будет девятнадцать лет через несколько месяцев. Но откуда ты это знаешь?

Она ничего мне не ответила, только загадочно улыбнулась и потом произнесла:

– Мы еще с тобой увидимся, Юний.

После этого мы расстались у двери гостиницы, где жили девушки. Ремигий был несколько опечален тем, что столь любопытное приключение не привело нас ни к чему, но вознаграждал себя насмешками надо мной за внимание, оказанное мне старшей из сестер, которую он упорно называл «старуш-

кой».

– Если ты так нравишься старым женщинам, – говорил он, – будь спокоен за свою участь: в Риме у тебя не будет недостатка в деньгах.

Я же в глубине души был обеспокоен всем этим происшествием, в котором участвовал против воли, и не без боязни помышлял о том доносе, который может сделать на нас неизвестный сириец.

### III

Недолгая дорога от Римского Порта до Города оказалась крайне утомительной. Кроме нас, в реде ехали два купца, торопившиеся по своим делам, и Ремигий тотчас поспешил блеснуть перед ними своими познаниями. Он объявил, что он также сын купца, и завел бесконечный разговор о торговле с серами и синями шелком и другими товарами, о преимуществах сухопутного пути через Бактриану перед морским через Египет и Индию, о сирийском холсте, фригийском сукне, галатской шерсти, золотошвейных изделиях атталийцев, о знаменитой ярмарке в Батне, о налогах, порториях и разных сборах. Воспользовав-

шись этим, я большую часть дороги мирно дремал, пока мимо мелькали огороженные виноградники, оливковые рощи и ряды великолепных вилл. Сквозь сон я слышал еще речи о саксонских пиратах, долгое время не пропускавших купеческих кораблей в Британию, о разбоях франков, прогнанных Феодосием за Рейн, о торговле с берегами Понта Эвксинского, которая в наши дни решительно пришла в упадок после войн с готами и разрушения ими многих городов, и мой Ремигий во время этого разговора, как из рога Фортуны, сыпал имена, названия, цифры, проявляя такое же знание торгового дела, как раньше Рима и реторики. Я не мог еще раз не подивиться на разносторонность дарований, какими одарили боги этого юношу, готового то вести философский спор, то вмешаться в уличную драку, и, под говор своих спутников, заснул, наконец, крепким сном.

Когда я проснулся, был уже вечер и мы приближались к Городу. Дорога стала гораздо более оживленной, поминутно то встречались нам, то обгоняли нас всадники, колесницы, повозки, скакали вестники, везя ка-

кие-либо правительственные распоряжения, быстро проезжали карпенты, в которых виднелись важные лица, может быть, каких-нибудь сановников; медленно тащились плавстры, запряженные мулами; шли пешеходы и порой мерным шагом проходил отряд войска под предводительством конного центуриона; с краев дороги доносились жалобные просьбы нищих, просивших милостыни, кто «ради Христа», кто «во имя Юпитера»; вдоль дороги стояли теперь ряды мраморных гробниц, и с них смотрели на нас каменные лики мужчин и женщин, в сумраке казавшиеся особенно важными, а вдали темной громадой уже вырисовывались огромные очертания Рима. Наша реда, запряженная парой добрых лошадей, ехала быстро, и скоро мы приблизились к Портуенским воротам.

Почти тотчас за воротами наша реда остановилась около храма Фортуны Сильной, и здесь пришлось нам испытать все неприятности осмотра портитора. Затем мы попрощались с нашими спутниками, и Ремигий, держа себя как человек опытный в путешествиях, выбрал из толпы носильщиков, окружав-

ших нас, двух дюжих молодцов, которым приказал нести наши вещи. Ремигию очень хотелось, чтобы я некоторое время еще провел с ним в какой-либо транстиберинской копоне, чтобы «возлиянием богам», как говорил он, отпраздновать мое прибытие в Рим. Но я отговорился тем, что крайне устал, и мы, назначив друг другу встречу на следующий день, расстались: Ремигий направился в дом вдовы Траги, где обычно находил себе в городе пристанище и кредит, а я приказал нести свой сундук и свой мешок на Виминал, в дом моего дяди, сенатора Авла Бебия Тибуртина.

Странно мне было впервые в жизни идти по Риму, уже почти во мраке, переходить Тибр по мосту Проба, видеть молчаливые стены высоких домов, слабо освещенных кое-где фонарями перед ларариями, угадывать торжественные очертания неизвестных храмов и дворцов Палатина, нырять во мрак портиков, которыми опоясано большинство улиц, встречать прохожих, за которыми шли их рабы с фонарями в руках, слышать пьяные голоса из шумных копон, встречавшихся по пути во множестве; порою, и нередко, попадались

мне уличные женщины с густо набеленными лицами, с черными бровями, соединенными в одну черту; эти женщины хватали меня за край плаща, называли «милым мальчиком» и звали провести ночь с ними; я вырывался из их рук, думая, что у меня еще будет время повеселиться в Риме, и упорно шел вперед, пока носильщик не объявил мне, что мы у цели.

Маленькая улица, на которой мы стояли, была безлюдна и темна, и в доме моего дяди не было ни видно огней, ни слышно голосов. Поэтому не без смущения я решился постучать в дверь, прочитав на пороге сделанную полустершейся мозаикой старинную Римскую надпись: «Берегись собаки». Прошло довольно много времени, пока, произнося бранные слова, подошел к двери, громыхая цепью, которой он был прикован, раб-привратник и, приоткрыв вход, спросил меня, кто я и что мне нужно. Я объяснил, что я – племянник Тибуртина, что у меня есть к нему письмо от его сестры, и после долгих переговоров меня впустили, наконец, в вестибул, слабо освещенный двойной висячей луцерной.

Привратник поручил меня другому, вы-

званному им рабу, дряхлому старику, Мильтиаду, который провел меня через безмолвный и пустынный атрий в таблин. Дядя еще не спал, и я увидел дородного человека в домашней одежде, сидевшего в глубоком кресле, с украшениями из слоновой кости, перед мозаичным столом, на котором стоял золотой кубок и серебряный кувшин с вином, издававшим сладостный запах, лежали на хрустальном блюде кусочки дыни, исписанные цифрами таблички и абак. Около, почтительно склонив голову, стоял какой-то человек, вероятно, раб-вилик, с которым дядя сводил счета по одному из своих загородных поместий. Мильтиад, исполняя назначение номенклатора, провозгласил мое имя и скрылся.

Первую минуту дядя был крайне раздосадован моим появлением и мрачно нахмурил брови, но когда я объяснил ему, кто я, напомнил ему, что он сам предложил мне жить в его доме, и передал ему письмо моей матери, он смягчился и заговорил со мной дружески.

– Так значит, ты и есть Децим Юний, мой возлюбленный племянник, сын сестры моей Руфины и Тита Юния Норбана, декуриона

Лакторы, внук Децима Юния Норбана, бывшего пресидом Новемпопулации при боже-  
ственном Константине. Добро пожаловать,  
племянник, и да будут к тебе благосклонны  
лары и пенаты этого дома, где еще ни разу не  
угасал священный огонь перед семейным ал-  
тарем с того самого времени, как Камилл воз-  
обновил Город. Вижу из письма, что сестра и  
твой отец – в добром здравия, и радуюсь это-  
му, потому что хорошие люди в наши дни  
нужны империи. А ты прибыл в Рим, чтобы  
продолжать свое учение, и хорошо сделал,  
ибо каков же тот Римлянин, – а ныне, клянусь  
Юноной, Римляне все жители империи, – кто  
никогда не был в Городе, матери всех других  
городов и провинций. Но с самого первого ра-  
за говорю тебе, и ты запомни мои слова хоро-  
шенько: если ты думаешь, что в Риме ждут  
тебя прежде всего удовольствия, ты весьма в  
значении слова Римлянин ошибаешься. По-  
вторяй всегда слова нашего поэта: «Ты над на-  
родами властью править, Римлянин, помни!  
Вот искусства твои!» И куда бы наши импера-  
торы ни переносили столицу республики,  
всегда средоточием власти останется Рим и

от Римского сената будут новые императоры получать утверждение своего сана. В Вечном Городе ты, мой сын, учись, раньше всего другого, вечной мудрости и древней доблести квиритов: не веселию праздношатающихся, по строгой нравственности, терпению в работе и мужеству во брани. Правильно ли я говорю, племянник?

Мне, который стоял неподвижно, слушая поучительную речь, только и оставалось ответить, что я во всем с ним согласен, и дядя, отпив из кубка широкими глотками и закусив дыней, продолжал с новым вдохновением:

– Вспомни, чем были Римляне, когда мощь Города неоспоримо признавалась на всем круге земном, от Океана до Индии, от пустынь Сарматских до Агизамбы, страны носорогов. Римляне были первыми работниками в своем государстве, и все граждане не щадили сил на пользу республики. Предки наши ложились спать с петухами, и утренняя Аврора заставляла их уже готовыми на дневной труд. Когда послы Сената отправились искать Цинцината, чтобы предложить ему диктатор-

ские фаски, они нашли его обнаженным, ведущим свой плуг среди вспаханного им поля. Вдова славного Регула, по смерти мужа, должна была жить на пособия от друзей, а дочери Сципиона приданое было выдано из государственной казны, ибо мужи древности всю свою жизнь посвящали на служение республике, а не на свое обогащение. Подражай им, мой сын, ибо только таким способом может и в наши дни Рим сохранить свое величие и свою славу.

Тут дядя обратил внимание, что нашу беседу, или, точнее, его страстные монологи, слушает находившийся в табличине раб, и грозно закричал на него:

– А ты, Пицент, ступай пока прочь, мы завтра еще посчитаемся с тобой! И если десятая доля моих подозрений оправдается, смотри, как бы не поступил я с тобою, как доблестный Лукулл с лишними рабами, – я с тобой сумею управиться. Вы все там мошенники и воры, пользуетесь тем, что я живу в Городе, и хотите меня уверить, что поля не приносят никаких доходов. Убирайся!

Когда раб из комнаты вышел, дядя пригла-

сил меня сесть и, снова отпив из своего кубка, продолжал:

– Говорю тебе, что прежняя простота жизни Римлян погибает! Еще во времена второй Пунической войны в Риме был лишь один прибор серебряной посуды, переходивший из дома в дом к тому сенатору, который должен был угощать иностранных послов! Божественный Август не стеснялся ходить по улицам, как простой гражданин. Император Нерон покорно исполнял древний обычай, перешедший к консулам от царей, и самолично присутствовал на пожаре. И еще Александр Север стыдился угощать своих гостей на золоте. Ныне же вольноотпущенники убирают себе дома разноцветным мрамором и стены украшают перлами и вавилонскими коврами, женщины наши одеваются в шелк и в туники, шитые серебром и золотом, а в серьгах своих носят камни, по цене равные пяти поместьям, мужчины же проживают скопленное их предками на закладах при беге колесниц, на пирах, во время которых угощают всяких проходимцев, и на дорогое вино, которое пьют с утра до утра... Но, постой,

почему же ты не пьешь со мной?

Дядя позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и, когда раб принес мне кубок, наполнил его вином, судя по вкусу, фалернским, и продолжал:

– Предки наши, любезный племянник, ели горох и маслины, запивая их местным деревенским вином, – и завоевали весь мир. А в наши дни пьют вина, привезенные из Греции и Малой Азии, едят редкостных морских рыб и заморские плоды, – и терпят поражения на Рейне и на Евфрате. Предки наши усердно приносили жертвы Юпитеру Капитолийскому и Марсу Градиву и провинцию за провинцией присоединяли к области республики. А наши полководцы поднимают лабарум с монограммой Иудейского Христа, и уже утратили мы Дакию, Германию, часть Британнии и пять провинций между Евфратом и Тигром. Если ты, племянник, приехал в Город, чтобы научиться быть Римлянином, я тебе обещаю всяческое содействие, а слово Авла Бебия Тибуртина значит много, ибо какое звание на земле выше сенаторского, и имя Бебиев известно в Римских анналах. Но если ты хо-

чешь изменить вере отцов и доблести квири-тов, ты напрасно стучался в дверь этого дома, где жили когда-то мужи, бившиеся под Замой, и при Акциуме, и еще в наши времена, отстаивая Римскую свободу, у Мульвиева моста.

Дядя говорил еще много, пока я не заметил, что он изрядно пьян. Тогда я поднялся и начал прощаться, объясняя это утомлением после трудного пути. Дядя попытался было вновь наполнить наши кубки, но, убедившись, что вино все выпито, грустно сказал:

– Ты прав, племянник, время уже предаться покою (было далеко за полночь). Ключи от погреба у моей жены, и ее нельзя тревожить, после того как она прочла свои молитвы святой деве перед сном. Иди отдыхай, а завтра я познакомлю тебя с моими дочерьми, которым постарался я внушить правила жизни строгой, те, которые вознесли Римскую матрону на такую высоту, что в счастливые времена Города каждый прохожий долгом считал дать ей дорогу. Прощай.

Раб проводил меня в назначенный мне дормиторий, и хотя я и предпочитал бы, что-

бы меня после долгого путешествия проводила в бани хорошенькая служанка, подобная всем знакомой Фотиде из «Метаморфоз» Африканского поэта, однако мне скоро пришлось, вздыхая, остаться наедине в неудобной комнате. Впрочем, утомленный приключениями последних дней, едва успел я рассмотреть при слабом свете лампы нескромные изображения, которыми расписаны были стены, как бросился на ложе и тотчас уснул крепким сном путешественника.

#### IV

Наутро, по привычке, приобретенной с детства, я встал рано и, одевшись, вышел в атрий, думая, что найду там толпу клиентов, которые ожидают выхода к ним своего патрона. Но атрий был пуст, и только двое или трое рабов лениво занимались утренней уборкой, которые и объяснили мне, что дядя еще спит, а жена его молится в часовне, устроенной при доме. Они же посоветовали мне идти в перистилий, где я могу увидеть младшую из дочерей дяди, Намию.

Я последовал совету и, проходя, успел заметить, что на всем вокруг лежали следы яв-

ного упадка: живопись стен во многих местах была попорчена, мозаика частью разрушилась, позолота с колонн слезла; статуи были давно не чищены, и даже некоторые из восковых масок предков, висевших в крыльях атрия, были в плохом состоянии; столы, кресла, светильники, стоявшие тут и бывшие, по-видимому, когда-то роскошными, давно обветшали и при дневном свете казались убогими.

В перистилии, действительно, увидел я девочку лет двенадцати, в простой льняной тунике, которая забавлялась тем, что около писцины дразнила павлина, то раскрывавшего, с хриплым криком, то закрывавшего свой пышный хвост, усеянный очами Аргуса.

Подойдя, я назвал себя и спросил, не говорю ли я с Намией, моей двоюродной сестрой. Девочка подняла на меня глаза, так что я увидел прямо перед собой ее выразительное лицо маленькой гречанки (ибо мать ее была происхождением из Фессалии), и, прищурив глаза, стала меня беззастенчиво рассматривать, потом сказала:

– А ты хорошенький мальчик!

Что я красив, это мне приходилось слы-

шать и раньше, поэтому я не очень удивился на слова девочки, но ее свободное со мной обращение смутило меня, и, стараясь не выдать в себе застенчивого провинциала, я возразил:

– Ты мне тоже очень нравишься; у тебя красивые глаза и красивый нос.

Девочка насмеялась.

– О, погоди! я буду гораздо лучше! Пока я еще только девочка и играю в куклы. Но я хочу быть красивее всех в мире. А ты похож на молодого Меркурия, как его изображают статуи. Вот ты приехал из Галлии, что же, ты оставил там невесту или возлюбленную?

Продолжая шутить, я ответил:

– Что ты! я ведь тоже мальчик и приехал сюда учиться. Мне о невесте еще рано думать.

Намня, отойдя к стене, села на мраморную скамью и подозвала меня.

– Вот что, – сказала она мне, – отец еще спит, мать и сестра Аттузия молятся. Это – мое время. Садись здесь, около меня, и расскажи мне что-нибудь любопытное.

Она указала мне место у своих ног на мозаичном полу. Мне пришлось подчиниться, и, поместившись у ног девочки, я постарался,

как умел лучше, выполнить возложенное на меня дело. Я стал рассказывать о Галлии, о городах, которые я там видел, о нашей тихой Лакторе, на шумном Эгирции, с ее знаменитым храмом Матери Богов, о красивой Толозе с ее башнями, о большой и людной Бурдигале, куда приходят корабли с Океана, о величине реки Гарумны, о нравах жителей Пиренейских гор и о всем другом, что мне пришло на память.

Намия некоторое время меня слушала, но потом прервала, нисколько не стесняясь, такими словами:

– Как все скучно, что ты говоришь! Неужели ты не можешь придумать чего-нибудь более занимательного?

Втайне я был обижен, но не подал виду и, переменяя голос, попробовал повторить ей некоторые рассказы из Апулея. Но она уже с первых слов остановила меня, замахав руками и сообщив с веселым смехом:

– Все это я давно читала, за кого ты меня считаешь?

И что бы я ни начинал рассказывать: события ли из своей жизни, вещи ли, вычитанные

из книг, – все казалось Намии или скучным, или известным, и я в конце концов не без злобы замолчал совсем. Тогда девочка сказала:

– Ты, Юний, должно быть, более красив, чем умен. Прекрати свои рассказы и лучше давай целоваться.

Предложение было столь неожиданно, что я одно время колебался, не принять ли его за шутку, но девочка ждала моего ответа так уверенно, что я, не колеблясь более, стал на колени, обнял ее и несколько раз поцеловал прямо в губы. Вырвавшись из моих рук, Намиа сказала:

– Ты сладко целуешься. И вообще ты мне нравишься. Хочешь, мы будем друзьями?

Я согласился, и наш союз был заключен.

В это время послышались голоса и шаги, и Намиа мне шепнула:

– Вот идут мать и сестра. Больше нельзя велиться. Надо себя держать чинно.

Я ожидал увидеть в моей тетке, жене сенатора, мужа, имеющего титул *clarissimus*, почтенную матрону с благородным лицом и важной поступью, а в ее старшей дочери – прелестную девушку, напоминающую На-

мию, только с более зрелой красотой. Но ожидания мои были обмануты, так как жена дяди была толстой и обрюзгшей гречанкой, казавшейся много старше своих лет, одетой неряшливо, держащей в руке громадную связку ключей, а Аттузия – худой, высокой, некрасивой девушкой, с лицом, словно почерневшим, с большим носом, с унылыми глазами, какие бывают у засыпающих рыб. Все это, разумеется, не помешало мне приветствовать вошедших со всем должным почтением.

– Мы тебя ждали, племянник, – сказала мне тетка. – Твой отец поручил мне наблюдать за тобой, как за сыном, и я надеюсь, что тебе будет у нас хорошо. Конечно, особой роскоши у нас нет, но юноше она и не прилична. В Риме жить дорого, рабы в поместьях с каждым годом становятся все вороватее, а на рынках цены растут непомерно. Но никакого недостатка ты терпеть ни в чем не будешь.

После того как я ответил, что привык к жизни скромной, меня спросила Аттузия:

– Ты уже молился сегодня, Юний?

Вопрос этот поставил меня в крайнее затруднение, и я стал бормотать что-то невня-

ное, и тогда Аттузия спросила меня уже прямо:

– Да ты христианин?

Я должен был признаться, что воспитан в вере отцов.

Аттузия заломила руки и подняла глаза вверх.

– Неужели есть еще в Аквитании семьи, – воскликнула она, – не просвещенные светом Христовым! – Потом добавила: – Я сама займусь твоим духовным просвещением и попрошу отца Никодима: его речи расплавят тебе сердце, как огонь железо.

Так беседуя, мы вышли в атрий, где к тому времени уже собралась маленькая толпа клиентов и друзей дома, пришедших принести утреннее приветствие сенатору. Но дядя все еще продолжал спать, и вместо него приветствия принимала тетка, обращавшаяся с посетителями весьма сурово и без всякого стеснения. Исключение было сделано только для того отца Никодима, о котором мне уже говорила Аттузия и который тоже оказался в числе клиентов. Его одного тетка позвала завтракать с нами, а остальные вскоре должны бы-

ли покинуть дом, причем после их ухода тет-ка обозвала их всех «бездельниками».

Завтракали мы в маленьком триклинии, и я с первого же раза убедился, что роскошью стола дом дяди не отличался; подавали остатки вчерашнего обеда, сыр, яйца, плохое вино. Говорил за столом едва ли не один отец Никодим, который, заменяя для женщин *аста діурна*, сообщал все происшествия за день: какие есть вести об императорском дворе, где был пожар, в чьем доме готовится свадьба, кто захворал, кто из видных женщин поссорились со своими любовниками. Последние известия отец сопровождал жалобами на развращенность нашего века. Аттузия не преминула пожаловаться на то, что мои родители оставили меня во власти старых суеверий, но отец Никодим на этот раз не пожелал проявить огненности своих поучений: он только укоряюще покачал головой и еще усерднее принялся наливать себе вино.

Я был рад, когда завтрак окончился и мне можно было поспешить на свидание, назначенное у нас с Ремигием.

**В** тот день в первый раз видел я Рим при дневном свете.

Потому ли, что утренние впечатления от завтрака с отцом Никодимом так на меня повлияли, или потому, что я ожидал под влиянием рассказов Ремигия и других слишком многого, только Город решительно разочаровал меня. Улицы мне показались узкими и грязными, дома безобразными и старыми, а толпа не нарядной: в ней, правда, попадались представители всех стран, не только жители Эфиопии и германцы, но даже персы, сарматы и индийцы, однако по большей части то были ремесленники, торговцы мелким товаром или просто нищие, которые толкались, кричали на разных языках и в общем производили такое впечатление, что хотелось куда-нибудь от них укрыться. После безмолвных улиц нашей священной Лакторы эта уличная давка была мне нестерпима. Под аркадами везде были лавки и таберны, лежали груды сушеной рыбы, овощей, плодов, и запах этот всего этого был, в общем, крайне неприятен. Порой по улице стремглав пролетала колесница с каким-нибудь важным ли-

цом, давя народ, а за ней с криками бежала целая толпа рабов, словно шайка разбойников; или, напротив, дюжие рабы, крича еще сильнее, бегом налетали на людей, расталкивали их и разгоняли палками, чтобы дать дорогу позолоченным носилкам, в которых лежала какая-нибудь знаменитая Римская гетера, а за носилками, припрыгивая, бежали отвратительные евнухи.

Когда я выбрался на форумы, там мне показалось несколько легче, и я уже мог наслаждаться видом старинных храмов, великолепных колонн, гордых статуй и пышных триумфальных арок, вещающих о славном прошлом Рима; стоя на старом форуме, близ дома таинственных весталок, я должен был признать, что единственное в мире зрелище представляет это сочетание бесчисленных великолепных зданий, колонн, арок, статуй, блеск мрамора, меди, золота, и вид на великолепный храм Отца Богов, сверкающий золотой кровлей и золотыми воротами, что царит на высоте, упираясь в незыблемую скалу. Но я не мог не заметить, что многие здания, даже те, что всего столетие назад возобновлены были

при Диоклециане, уже пришли в упадок, что мрамор многих стен потемнел, что ступени лестниц были обтерты и обломаны, что везде была грязь и нечистота и что всюду на роскоши строений, словно пятна на теле больного, виднелись нищие в грязных лохмотьях. Лавки вокруг форумов были заняты более благородными товарами, и здесь были выложены на прилавки и висели над нами то золото и драгоценные камни, то дорогие материи, то серебряные кубки, то шитые золотом пояса и ленты, то красивые плоды, то груды цветов. Но и на форуме толкалась почти та же толпа, как на удаленных улицах, и редко приходилось встретить щеголя в цветном плаще, застегнутом у шеи и прихваченном у пояса, ловко распахивающего полы, чтобы обнаружить тунику, вышитую изображениями разных зверей, или важного сановника в плаще, тоже шитом золотом, тяжелом и неудобном, сопровождаемого толпой друзей. Я вспомнил слова персидского царевича, сказанные императору Констанцию, будто в Риме лишь одно ему не нравится: что и здесь люди смертны, – и думал, что царевич требовал от жизни

не слишком многого.

Отыскивая дорогу к той копоне, которую мне назначил Ремигий, вдруг увидел я его самого в небольшой толпе, слушавшей оратора, который, по древнему обычаю, произносил речь около ростры. Слушатели, по-видимому, относились к этому оратору, как к потешнику, громко высказывая неодобрительные замечания и порой громко смеясь. Но произносивший речь как будто не замечал этого и продолжал что-то говорить о величии древнего Рима и о мудрости первых Римских царей.

– Что ты здесь делаешь, когда я тебя ищу, – спросил я Ремигия.

– Молчи, – возразил Ремигий, – и слушай: это очень забавно.

Оратор продолжал речь:

– Итак, квириты! помыслите, сколь много мы теряем, не ведая, отколь вышел наш славный род и под какими предзнаменованиями создались наши бессмертные учреждения! Кто из вас сумеет ответить, какие законы даровал Атис? какие Капис? какие Капет? Кто из вас вникал в прорицания Пика, священной

птицы бога? Кто не смешивает лемуров с ларвами, свершая тем великий грех и оскверняя священные майские обряды! Квиристы! жизнь наша теряет свой смысл, если не вникаем мы в наше прошлое, и империи грозит гибель, если камень древности, на котором стоит она, будет подточен червем невежества! Здесь, перед алтарем Вулкана, воздвигнутого Ромулом, перед этим алтарем, куда мы ежегодно приносим памятную жертву рыб, у золотого столба, где сходятся все дороги Италии и, следовательно, мира, – я хочу указать единственный верный путь спасения Риму и через него всему человечеству!

При этих словах почти все слушатели принялись неистово хохотать, а большинство стало расходиться. Тогда Ремигий подступил к оратору и сказал ему с преувеличенной почитательностью:

– Славный Фестин! Ты, вероятно, вспомнишь меня, Ремигия, ибо прошлой зимой мы не раз вместе осушали кубки во славу божества Квирина. Я и мой друг, Юний из Лакторы, только что наслаждались мудростью, истекавшей из твоих уст, как некогда речи сла-

ще меда текли из уст Нестора. Не захочешь ли ты сегодня также разделить с нами наш скромный завтрак в одной из копон за базиликой Константина?

Одежда оратора состояла из рваного плаща, кожа лица его едва обтягивала кости, борода была всклокочена, и все в нем обличало большую нужду. Не удивительно, что он тотчас с готовностью принял зов Ремигия, что, однако, не помешало ему держать себя с величием истинного философа.

По дороге Ремигий сказал мне:

– Ты, Юний, находишься сейчас в обществе одного из величайших ученых, каких когда-либо производил Рим. Мир еще не знает Фестина, но многие великие мужи при своей жизни разделяли с ним ту же участь. Уверяю тебя: это – кладезь мудрости, библиотека, из которой ты можешь черпать все сведения, соперник Варрона и Авла Геллия по многообразию своей учености, и для будущих поколений, изваянный из мрамора или отлитый из бронзы, предмет поклонения.

Мне пришлось сделать усилие, чтобы не рассмеяться, когда я представил себе лицо на-

шего спутника в мраморе. Но Фестин принял серьезно слова моего друга и со скромностью ответил:

– Я не дерзаю равнять себя с Варроном, этим Аристотелем Рима, ни даже с Авлом Геллием, подобно пчеле, собиравшим свой мед со всех цветов. Малая моя заслуга лишь в том, что я привержен к сединам Вечного Города. В то время как другие всего охотнее пишут историю своего времени, то есть просто пересказывают, – часто плохим латинским языком, – что видели своими глазами, я посвятил свой труд на изучение нашей старины, колыбели, так сказать, Римской славы. Подумать только, что мы много знаем о побоищах с такими низменными неприятелями, как готы или сарматы, но никто не вник подробно в героическую осаду Вей; и тогда как эдикты нового времени у всех на памяти, мы почти забыли о мудрых установлениях царя Нумы Помпилия!

Придя в копону под вывеской «Слон», мы спросили вина, и Ремигий все время побуждал Фестина говорить, делая из него шута и глазами подавая мне знаки. Фестин же, ниче-

го этого не замечая, с увлечением говорил о древних договорах, языка которых никто не понимает, о надписях на старых статуях, из слов которых нельзя заключить, кто изображен, мужчина или женщина, о праве понтификов, о исследованиях Кастора и Родопея, о злоключениях, какие испытывал он сам, пытаясь проникнуть в хранилище древних актов при Храме Священного Города, о радости, какую изведаль, найдя один договор, предшествующий Пуническим войнам, в смысл которого, впрочем, ему проникнуть не удалось.

Мне этот бедняга был жалок, но Ремигий с жестокостью вызывал его все на новые рассказы и даже приглашал слушать других посетителей копоны, так что понемногу вокруг нас составилась круг людей, потешавшихся над тем умилением, с каким Фестин говорил об установлениях Ромула и Тита Тация.

Когда кубки наши были уже пусты, Фестин обратился ко мне с такими словами:

– Твой друг мне говорил, что ты племянник светлейшего мужа, сенатора Бебия Тибуртина. Ах, юноша, это – человек, подобно мне, преданный нашей старине и презираю-

ций пестроту и пустоту новых дней. Что, если бы ты уговорил своего дядю издать мои сочинения, которых набралось пока сорок восемь томов! Уверяю тебя, что книги эти весьма нужны для будущих поколений, ибо Римская наука все более и более погружается во тьму и мы, Римляне, с каждым десятилетием теряем познание, чем мы были и откуда пришли. Скажи своему дяде, что я даже согласен, чтобы он выставил свое имя рядом с моим, и, таким образом, я дам ему вечную славу в грядущих веках,

*Дом Энея пока на скале Капитолия  
твердой  
Будет стоять.*

Я отделался какими-то неопределенными обещаниями и сделал знак Ремигию, что хочу покинуть эту копону, так как мне тяжело было видеть унижение все же достойного человека. Мы попрощались с Фестином, и Ремигий, несмотря на мои уверения, что я еще буду иметь достаточно к тому случаев, повел меня осматривать форумы.

То была нелегкая прогулка, принимая во

внимание, что и здесь Ремигий оказался знатоком всего и о каждом храме, о каждой арке, колонне, статуе мог говорить длинные речи, изъясняя их происхождение и выхваляя их красоты. Я должен был любоваться покрытыми бронзовыми украшениями колоннами Константина, хвалить Коринфские колонны храма Венеры Родительницы и картины, изображающие Александра на колеснице, в храме Марса Мстителя, удивляться на старинные статуи форума Августа, заглянуть на маленький проходной форум Нервы, откуда взглянули на нас громадные фигуры императоров, и обливаться потом на величественном форуме Траяна, где неподражаемая арка, базилика Ульпия, выложенная драгоценным мрамором, может быть, самое роскошное здание Рима, и, наконец, изумительная колонна, несравненная по высоте и изяществу, заключенная между таинственными библиотеками, – подали повод Ремигию к длинным панегирикам. Правду сказать, все это в тот первый день перемешалось в моей голове, образовав какой-то ком разноцветных, спутанных между собою ниток. Когда я совсем изнемог от

ходьбы и осмотра, а Ремигию наскучило исполнять должность проводника, он воскликнул горадиевское: «Теперь время пить!» – и повел меня снова в копону подкрепить наши упавшие силы.

После обильных возлияний в честь бога Либера мы закончили тот день в одном из тех веселых домов, которые так восхвалял мой друг и где я мог насладиться любовью в объятиях толстой поселянки из Тибура, кажется, давно не бывшей в банях и пахнувшей луком, но на дверях своей спальни поставившей громкое имя: Цитерея.

## VI

Через несколько дней я вполне освоился с условиями моей новой жизни.

В доме дяди один день походил на другой, как два кирпича с одного завода. Тетка целые дни бранила рабов; Аттузия целые дни молилась или посещала святыни; дядя, так как собрания в Курии не начинались, большую часть своего времени проводил за кубком вина, а иногда делал вид, что читает в библиотеке, хотя просто дремал за редким свитком Кремуция Корда. Каждый день являлся в дом

отец Никодим, передавал новости городской молвы и порой произносил похвальные речи императору, который, соревнуя Иисусу Навину, стремится сокрушить выю идолопоклонников. Единственным утешением были мне краткие встречи наедине с Намией, утром, пока все спали, или вечером, в каком-нибудь темном уголке, когда мы усердно обнимались и целовались, что девочке, как кажется, доставляло великое удовольствие.

Привык я также к Городу, осмотрел его памятники, скопленные тысячелетием, узнал все семь холмов и даже полюбил своеобразную красоту его одноцветных старых домов, почтенных своей старостью, и стал находить особую прелесть в немолчном шуме и непрерывном движении его улиц. Я уже представил магистру ценза удостоверение, данное мне из родного города, о том, кто я такой и зачем прибыл в Рим, и после того, получив надлежащее разрешение, усердно выбирал среди Римских реторов того, школа которого могла бы быть мне наиболее полезной. В моих поисках вызвался мне помогать Ремигий, однако чаще он уводил меня в одну из копон и, по-

знакомив с своими товарищами, юношами, привыкшими искать в жизни только веселия, пытался и меня привлечь к такому же времяпровождению. Но постоянные скитания из одной винной лавки в другую, от плясуний к флейтисткам, от девушек одного веселого дома к таким же девушкам другого, или бесцельное бродяжничество по полю Агриппы, скоро мне наскучили, как и все безобразные проказы, которыми часто сопровождались наши ночные похождения, тем более что и Ремигий, и другие его приятели, пользуясь тем, что отец дал мне достаточную сумму денег, любили забавляться не иначе как на мой счет.

Я уже думал о том, чтобы прекратить такую беспутную жизнь, за которую мне сурово выговаривала тетка, постоянно заявлявшая, что смотрит на меня как на сына, когда вдруг одно событие направило меня на новый путь.

Как-то после полудня, возвращаясь в дом дяди, увидел я у наших дверей особое оживление, на нашей уличке необычное. Здесь стояли роскошные, украшенные золотом носилки и толпилось множество чужих рабов. Едва во-

шел я в остий, как меня остановила Намия, вероятно, поджидавшая меня, и сказала мне шепотом:

– Слушай, братик (так она меня называла), сегодня у нас обедает моя сестра Гесперия со своим новым мужем. Она – противная, я ее не люблю. У нее уже третий муж и было множество любовников. Все в нее влюбляются, но ты не смей. А то я тебя возненавижу. Я не могу терпеть любовников моей сестры.

Я уже слышал о Гесперии, дочери моей тетки от первого мужа, – дядя был ее вторым мужем, – и знал, что эта Гесперия славилась на весь Рим своей роскошью и своим беспутством, причем молва называла в числе ее возлюбленных не только мимов и наездников из цирка, но даже рабов. Поэтому я ответил:

– Будь уверена, милая девочка, что я не влюблюсь в твою сестру: в нее слишком многие были влюблены, и она была влюблена слишком во многих.

Говоря так, я хотел обнять маленькую Намию, но она вырвалась от меня и, надув губы, смотря злыми глазами, повторила: «Не смей», – и скрылась.

Переменив одежду на более подходящую к торжественному случаю, я прошел в оекус, где на этот раз был приготовлен обед, причем стены были убраны венками, рабы и рабыни одеты по-праздничному, а на стол подана лучшая серебряная посуда, какая была в доме. Войдя в залу, я начал извиняться за свое опоздание, но вдруг слова остановились у меня в горле, потому что я увидел то, чего не ожидал вовсе.

Вся наша семья уже возлежала за столом, и между дядей и Аттузией помещалась женщина, описать которую все равно нельзя и изобразить которую вряд ли сумел бы Зевксис или кто другой из древних. Возраст ее определить было невозможно, так как лицо ее сияло неувядаемой красотой богинь. Кожа ее шеи была столь розовой и прозрачной, что невероятной казалась ее принадлежность земному существу. А роскошный наряд этой женщины, стола из чистого шелка, золото и смарагды украшений, кораллы ожерелья, алмазы серег и перлы на туфлях придавали ей облик царственный. Может быть, только стихи Вергилия о божественной матери Энея мо-

гут передать то впечатление, которое она производила:

*какой ей явиться  
И сколь прекрасной обычно богам.*

– Это племянник Авла, – сказала между тем тетка, – Децим Юний Норбан, сын Юния из Лакторы, которого ты, Гесперия, знаешь. Он приехал в Рим, чтобы учиться, и живет в нашем доме.

В полном смущении занял я место за столом и долгое время не мог даже понимать, о чем говорят вокруг меня: так были мои взоры, и через них все внимание, поглощены чудесным видением. То взгляды мои останавливались на волосах Гесперии, заплетенных в тугие косы, которые кругами окружали голову ее, то – на ее тонких пальцах, украшенных кольцами с драгоценными алмазами и опалами, то вновь подымались к самому прекрасному, что в ней было, – к ее лицу. Только позже заметил я нашего другого гостя, мужа Гесперии, Тита Элиана Меция, возлежавшего против меня. Это был человек с лицом угловатым, с косыми глазами, который не понра-

вился мне сразу. Одет он был также весьма богато, и по кайме его аболлы было вышито золотом изображение борьбы кентавров с лапифами.

Именно Элиан вел всю беседу, и все слушали его с явной почтительностью.

Дядя упрекнул его, что тот давно не был у него в доме.

– Ах, дорогой тесть, – возразил тот, – ты живешь уединенно и не представляешь, что такое жизнь в обществе. Сегодня надо присутствовать на подписании брачного условия, завтра праздник у одного сенатора по тому поводу, что его сын надевает мужскую тогу, там приглашен я подписывать завещание, там на обед, от которого нельзя отказаться; недавно пришлось мне три дня провести взаперти дома, в знак скорби, по случаю смерти всем нам любезного Марка Акона Катуллина. Потом не забывай, что я состою в коллегии луперков, а это тоже отнимает много времени.

Гесперия, слушая слова мужа, засмеялась и голосом, который мне показался божественным, сказала:

– Это мы уже читали у Плиния: каждое дневное дело кажется необычайно важным, а когда потом посмотришь назад на прожитый год, говоришь себе: сколько времени потратил я на пустяки!

Все засмеялись, и Элиан первым. Дядя не упустил случая заметить:

– В старину Римляне жили не так. Каждый вставал до зари и шел в поле работать наравне со своими рабами, а жажду утоляли водой из ручья.

– Да, это хорошо было, – заметила Гесперия, – когда Рим был квадратный. А теперь, пока, например, от твоего дома дойдешь до первого поля, так устанешь, что и работать не будешь в силах. Да и ручьев под Римом не осталось: поневоле мы все пьем вино.

– Нет, – возразил Элиан, – я понимаю, что говорит Тибуртин. Поистине, хорошо бы бросить всю эту суету Города, где мы только и дела делаем, что злословим друг на друга. Как было бы приятно жить в маленькой вилле, подобно Горацию, наслаждаться тишиной сельской жизни, воздухом свежим, зеленью полей и подолгу гулять по тенистому лесу. Не

думать о том, что кто-то на тебя обиделся за то, что ты забыл его поздравить с новым названием или неполно произнес его титул, и не мучиться злобой на другого за то, что он не позвал тебя на обед, где ты все равно скушал бы. Ах, деревня часто представляется мне блаженным Элисием.

Вскоре после разговор перешел на готовящиеся большие игры в Амфитеатре, и Элиан, как истинный знаток, стал выхвалять необыкновенных испанских лошадей, которых уже везут в Рим на особом корабле, злых иберийских медведей, лосей, львов, леопардов и крокодилов, приготовленных для травли, шотландских собак, силы и лютости непомерной, и особенно страусов, которых уже давно не видали в Городе. Дядя охотно поддерживал эту беседу, вникая во все подробности, расспрашивая о ловкости разных наездников и, конечно, скорбя о том, что и игры в Амфитеатрах выродились, и все реже даются гладиаторские бои, приучающие зрителей-Римлян презирать смерть.

Тем временем мальчишки наполняли опорожненные кубки и подавали кушанья, кото-

рые для торжественного случая были сравнительно изысканны и разнообразны, так как была тут тонна, фазан, кабаньих бок и другие такие же блюда, считающиеся тонкими в семьях по очень богатых. Разумеется, всем этим нельзя было изумить наших гостей, роскошь пиров в доме которых была известна всему Городу; мне уже говорили, что они подавали иногда среди пятидесяти разных перемен такие снэды, о которых ни один из гостей не мог догадаться, из чего они приготовлены. Нечего уже и говорить о том, что наш семейный обед не сопровождался ни музыкой, ни пением, ни плясками танцовщиц.

Когда подали нам плоды и, по древнему обычаю, яблоки, означавшие конец обеда, Элиан объявил, что у него есть важное дело к дяде, и они удалились вдвоем в таблин. Нам же рабы принесли в перистилий плетеные кресла, в которые женщины и сели отдохнуть. Я также последовал на женщинами, так как мне хотелось насколько можно дольше оставаться в обществе нашей гостьи.

Аттузия, которая, по-видимому, Гесперию ненавидела не меньше, чем Намия, поспешив-

да навести разговор на начавшиеся повсюду преследования сторонников веры отцов, восхваляя без меры усердие императора Грациана, нахватавшего в свою казну земли храмов и лишившего коллегии жрецов и самих весталок их обычного содержания от государства. Это должно было живо затронуть Гесперию, ибо как я знал – она и ее муж были ревностными противниками христианства, но она долгое время отвечала на все нападки уклончиво. Наконец она сказала:

– Не хочу дурно говорить о божественном императоре, но, конечно, он введен в заблуждение лживыми советчиками. Его новые эдикты равняются просто грабежу, так как он отнимает у храмов то, что им принадлежало целые столетия. Закон признает право на вещь того, кто владел ею некоторое время: почему же боги лишены этого права?

– Боги! – повторила Аттузия в негодовании и с пылкостью начала длинную обличительную речь о призрачности ложных богов, подобную одной из тех проповедей, что можно слышать в христианских храмах. Гесперия слушала со скучающим лицом, так как ей, ве-

роятно, не раз приходилось выслушивать такие поучения от своей сестры. В конце речи, указывая на меня, Аттузия сказала гневно:

– Кстати можешь порадоваться, Гесперия! Вот тебе союзник. У них в дикой Аквитании тоже еще молятся идолам. Но скоро всем поклонникам Юпитера придется переселиться в какие-нибудь дикие края, потому что в просвещенных городах для этих старых суеверий места не останется!

Тетка постаралась успокоить спор двух сестер, но Гесперия, нисколько не обидевшаяся на резкое обличение, подняла, после слов Аттузии, на меня свои глаза, показавшиеся мне пламенными звездами, и, впервые за весь день, заговорила со мной.

– Так ты, Юний, – сказала она, – держишь в этом доме сторону своего дяди? Неужели не склонили тебя ни убедительные уговоры сестры, ни мудрые поучения почтенного отца Никодима?

Я весь покраснел, и меня охватила дрожь при мысли, что я должен говорить с Гесперией, и только с трудом я мог пробормотать:

– Domina! Я не хочу изменять тому, чему

меня учили отец и мать...

– Ты, значит, их огорчить не хочешь? – спросила с лукавством Гесперия.

– Нет, – возразил я, собравшись с духом, – я не верю, чтобы то, что создало Римскую мощь, чем республика и империя и тысячи ее граждан жили долгие века, что почитали Гомер и Аполлодор, Платон и Цицерон, Вергилий и Лукан, было предрассудком! Я еще молод и не решаюсь судить сам, но я доверяюсь великим мужам древности, и их умы служат мне путеводными звездами.

– Ты бы поменьше слушал своего дядю, – в сердцах сказала тетка, – он с своими убеждениями сумел только разорить нас! До добра не доводят бредни о старине!

Но Гесперия, продолжая пристально смотреть на меня, сказала протяжно:

– Вот ты какой! Ну, видно, нам, действительно, быть с тобой друзьями. Приходи ко мне: мы живем теперь в нашей вилле на Холме Садов.

Тем временем вернулись дядя и Элиан, продолжая говорить оживленно, и я расслышал, как они поминали всем известные име-

на Претекстата, Флавиана, Симмаха. Скоро наши гости собрались домой. Гесперия, надев роскошную паллу, села в свои носилки, и рабы с криком ринулись вперед расчищать ей дорогу в толпе.

Когда я вернулся в дом, меня опять поджидала Намия, которая на обеде, по своему возрасту, не участвовала. Опять смотря на меня злыми глазами, она спросила:

– Ну, что же? ты уже влюбился?

– Что ты! – возразил я лицемерно, – я с твоей сестрой едва сказал два слова.

– Нет! я все видела! ты влюбился! – совсем плача, говорила девочка. – В нее все влюбляются с первого взгляда. Ну, слушай, мой братик, милый. Не люби ее. Хочешь, я тебя поцелую? Хочешь, я приду к тебе сегодня ночью в спальню, как делают женщины? Только откажись от противной Гесперии.

Как умел, я успокоил девочку, поклявшись ей Юпитером, что не влюблен в Гесперию. Но я лгал, ибо образ этой женщины неотступно стоял пред моим внутренним взором. Юное сердце было уже пробито стрелой сына Киприды.

Признаюсь, что в ту ночь мои мечты были полны одной Гесперией. Я вспоминал каждое слово, сказанное ею, находя все прекрасными, восхищался каждым сделанным ею движением и мысленно сравнивал ее с Клеопатрою, пред которой преклонялись Помпей, Антоний, Цезарь, Август. Рассуждения, конечно, указывали мне, что во мне не могла она видеть ничего другого, как скромного юношу, скорее мальчика, получившего право говорить с ней лишь потому, что живет у ее родственников; что она, приникшая к любовным признаниям префектов и консулов, поэтов и ораторов, красивейших из Римской молодежи и знаменитейших среди Римских актеров, должна была забыть обо мне, едва переступив порог нашего дома. Но чувству нельзя приказывать, и я, вопреки рассудку, мечтал до глубокой ночи, как мне завоевать ее любовь, составлял в голове безумные замыслы, похожие на запутанные истории, сочиняемые поэтами, и, когда уснул, видел в грезах, что целую ее губы, напоминающие раздавленные вишни, и что в ответ она сама

меня ласково обнимает своими прекрасными и горячими руками.

Когда наутро я выходил из дома, привратник подал мне письмо, говоря, что его только что принесла какая-то девочка. Не знаю почему, но мне тотчас представилось, что это письмо от Гесперии, что мои ночные мечтания воплощаются, и, побледнев, с бьющимся сердцем я сломал печать. На дощечках неправильным женским почерком было написано:

*«Децима Юния просят сегодня, с наступлением сумерек, прийти на Аппиеву дорогу и идти по правой стороне до моста через Альмон. Он узнает нечто, для него крайне важное, и выполнит то, что предназначено Судьбой. Это письмо должно быть сохранено в тайне».*

Подписи не было никакой, но я ни минуты не сомневался, что письмо от Гесперии или писано по ее поручению. От избытка счастья я сделался словно пьяный и, шагая под портиками улиц, разговаривал сам с собой, как безумный. Остаток благоразумия говорил мне, как странен такой вызов со стороны

женщины богатой, знатной и видной, обращенный после первой встречи к ничем не замечательному юноше. Но я напоминал себе рассказы о том, как причуды даже цариц заставляли их похищать незнакомых прохожих, которые им понравились, и повторял изречение моего любимого Вергилия:

Изменчива женщина и многолика.

В тот день я не в силах был ничего делать, но, побродив без цели и в одиночестве по Городу, я вернулся домой и с томлением ждал, когда же приблизится вечер, бессчетное число раз приходя посмотреть на клепсидру.

Еще солнце не совсем зашло за стены города и кровля Юпитера Капитолийского еще горела, как громадный золотой костер, когда я уже был на Аппиевой дороге. Обычное оживление царило на ней, и непрерывными вереницами стремились в обоих направлениях пешеходы, всадники, колесницы и повозки. С двух сторон, с великолепных древних гробниц, смотрели лики давно умерших мужей, суровые и строгие, и часто рядом с мужской головой высилась и женская, столь же величественная, и казалось, что времена свобод-

ной республики еще живы здесь. Торговцы всякого рода товарами, со своими корзинами и лотками, шныряли между прохожими, и выкрики разносчиков вмешивались в общий говор, в стук копыт, в скрипение осей.

Я медленно прошел до того места, где Аппиева дорога пересекает маленький ручей, и стал ждать. Я знал, что пришел слишком рано, и приготовился к терпению, но сладостное волнение потрясло меня. Толпы народа проходили и проезжали мимо, а я стоял, прислонившись спиной к мраморному подножию гробницы. Солнце совсем закатилось, все кругом стало покрываться тенью и предметы терять определенные очертания: повеяла вечерняя сырость; я как бы изнемогал.

Тогда женский голос произнес около меня:

– Ты хорошо сделал, Децим Юний, что пришел.

Затрепетав, я обернулся. Рядом стояла женщина, так закутанная в плащ, что лица ее рассмотреть было нельзя.

Но я без промедления одного мига узнал, что это не та, о которой я мечтал. Женщина сказала кратко:

– Следуй за мной.

Она быстро устремилась вперед, и я покорно шел следом, мучимый догадками и разочарованием. Мы долго подвигались молча, пока женщина не сошла с дороги около какой-то высокой гробницы и, найдя место, закрытое стоявшим подле кипарисом, села сама на каменную ступень и указала мне сесть. Я вновь повиновался.

Тогда женщина открыла лицо. В слабом свете сумерек оно мне сначала показалось незнакомым, но тотчас я вспомнил, что однажды видел его. То была Реа.

Должно быть, глаза мои выражали недоумение и разочарование, потому что, не дожидаясь вопроса, Реа заговорила:

– Я тебе сказала, что мы еще увидимся. Наша встреча не была случайной. Я поняла, что это судьба привела ко мне тебя, хотя бы против твоей воли. Пути Господни неисповедимы, и часто пользуется Он злом, чтобы из него сотворить благо. Вспомни Иону, которого должен был проглотить кит, чтобы была спасена Ниневия. Ты думал, что твой приятель завлек тебя в уличную ссору, а это сам

Бог направлял твои шаги ко мне.

Реа говорила это голосом глухим и торжественным, словно Дельфийская дева, и так неожиданны были ее слова, что я не находил никакого ответа. Наконец, совсем некстати я спросил:

– А где же твоя сестра, Лета?

– Она мне вовсе не сестра, – сурово сказала Реа, – оставь ее. Нам надо говорить о более важном. Прежде всего ты должен узнать, что и в Рим ты прибыл не без тайного указания Бога. Ты считаешь себя малым и незначительным, но ты предназначен для великого.

Так как неясное волнение стало овладевать мной с самых первых слов, произнесенных Реей, то я постарался от него освободиться и сказал резко:

– Откуда тебе знать, чем я почитаю себя и что мне предназначила судьба? Кто ты? пророчица?

Мне был такой ответ:

– Часто Господь скрывает от сильных и мудрых и открывает свои тайны малым и неразумным. Дух веет, где хочет, и огненные языки пророчества избирают сами чело, что-

бы опочить на нем. Кто мы, чтобы противостоять его святой воле? Горшечник не властен ли над глиной, и может ли раб сказать господину: не пойду, куда ты посылаешь! Ты, из рода Юниев, юноша, которому восемнадцать лет, в правление императора Грациана, призван уготовать пути тому, кто грядет.

Тишина часа и уединенность места, сумрак, обволакивавший нас, странные слова женщины, говорившей со мной, и даже постепенно стихавший ропот Аппиевой дороги, – все производило на меня впечатление чего-то таинственного и страшного. Или, может быть, в самом голосе Реи было особое влияние, подчинявшее себе волю, только я чувствовал, что теряю власть над собой, и казалось мне, что душа моя захвачена в незримую сеть, словно рыба рыбарем. Все же у меня мелькнула мысль, что со мной говорит помешанная, и я произнес неуверенно:

– Мне твои речи непонятны. Оставь меня. Я ухожу.

Но повелительно Реа сказала мне:

– Юноша, останься и слушай. Пойми дни, в которые ты живешь, исполнились сроки и

приблизилось время. Gratianus imperator! Тот, которого именуют покровителем церкви. Сочти число букв имени его. Не восемнадцать ли оно? трижды шесть – число зверя. Открой очи ума своего и смотри. Не за восемнадцать ли дней до календ встретились мы с тобой? Не восемнадцать ли тебе лет, юноша? Не из рода ли ты Юниев? Признай же, что о тебе гласит давнее пророчество: «Magnus et potens erit, sed iunioris robure accrescet?»

Слабо, но я пытался возражать.

– Помилуй! – сказал я. – Разве мало Юниев помимо меня: их тысячи. И многим из них, как мне, восемнадцать лет. И пройдет немного времени, и я уже буду старше. Что же станет с твоими пророчествами?

– Не богохульствуй! – воскликнула Реа все так же повелительно. – Сейчас не время говорить все. Ты еще многое узнаешь. Ты узнаешь великое и страшное. Мне было видение. Я видела твой лик раньше, чем ты повстречался мне. Я узнала тебя, потому что ты был мне указан. И не возражай, что осталось мало срока. Говорю тебе: прежде чем истекут названные тобой месяцы, Он явится.

– Кто? – спросил я, почему-то охваченный страхом. Реа шепотом, как сибилла, сказала мне:

– Тот, кого люди предыменуют Антихристом.

– Ты не в своем уме, девушка, – сказал я, собирая все силы своей воли, – Божественного Августа, благочестивейшего императора Грациана, покровителя церкви, ты называешь Антихристом!

– Ошибаешься, юноша! – все так же тихо, но торжественно возразила Реа. – Истинная церковь Христова не та, которая взяла меч Цезарей. Поднявший меч от меча и погибнет. Но и Грациан – не грядущий. Он еще не открылся. Но уже при дверях стоит Он. Жених грядет и скоро ударит в ворота. Горе, кого Он застанет спящим.

Рассказывают физики, что иные змеи околдовывают свою добычу взглядом. В тот час я похож был на такого зверя, так как члены мои были словно связаны магическими чарами. Опять собрав все силы, я встал со ступени и сказал решительно:

– Выслушай меня, Реа. Мне нет дела до тво-

их бредней. Я не христианин. Я верен религии моих предков. Но, если бы и был я последователь Христа, как пошел бы я за тем, кто меня зовет служить Антихристу?

Реа, стремительно встав, загородила мне дорогу. В темноте облеченная в свои белые одежды, она похожа была на призрак, вызванный некромантом из могилы. Опустив мне свои руки на плечи, наклонив близко лицо, которое теперь показалось мне красивым, она стала говорить страшным голосом, напомиравшим шип змеи:

– Савл гнал христиан и стал великим апостолом Христа. Се ныне ты на своем пути в Дамаск. Но не может Добро прийти в мир иначе, как через Зло. Не было бы заслуг человека перед Богом, если бы Змий не соблазнил Еву. Не родились бы патриархи, пророки, цари и святые, если бы в мир Каин не ввел смерть. И не совершалась бы жертва Искупления, если бы Иуда не предал на пропятие Учителя. Блаженны все, исполнившие волю Создателя. Я – Реа, виновная, приемлю на себя грех пророчествовать об Антихристе. Ты – Децим, десятый, и будешь убит, когда десятого

достигнет казнь небесная.

Воля и силы меня окончательно оставили. Изнеможенный, сам не понимая, что со мной происходит, я прислонился вновь к гробнице. А Реа, вдруг достав из-под одежды какой-то сверток, подала его мне с грозным приказанием.

– Теперь *ты* должен это хранить. Возьми его и сбереги до часа, когда от тебя его потребуют.

Она скрылась между гробниц так быстро, словно унеслась прочь на драконах Медеи. Когда же я остался один в сумраке ночи, сознание вернулось ко мне. Восходившая луна бросала свои первые красноватые лучи.

Я развернул бывший у меня в руках сверток.

Пурпуровый колобий, императорская одежда, выпал из него.

Тут дикий страх, какого никогда еще до той поры я не испытывал, охватил меня. Я хотел тотчас бросить опасный дар и скрыться поспешно. Но я слышал шаги каких-то запоздалых путников. Боясь, что они увидят брошенную мною вещь и тотчас же повлекут

меня к ответу, я трепетными руками вновь скрутил сверток и бросился бежать.

Я опомнился только в своей комнате, в доме дяди. Озираясь, не подглядывает ли кто, я запрятал пурпуровый колобий на самое дно моего дорожного ларя. Мои зубы стучали. Я был словно болен лихорадкой. В постели я спрятал голову в подушки. Но передо мной, вытесняя все другие мечты, все стоял облик иступленной девушки, безумной или пророчицы, указавшей мне таинственную судьбу.

## VIII

Целый день после встречи с Реей я провел в постоянной тревоге, и ни на минуту мысль о пурпуровом колобии меня не покидала. Утром у меня было намерение осторожно унести опасный дар и где-нибудь, вне Города, тайно его бросить. Потом мне стало казаться, что такой поступок был бы нечестным по отношению к девушке, доверившей мне вещь драгоценную, так как нелегко побудить какую-либо мастерскую в империи выткать императорское одеяние. Я говорил себе и то, что мне опасаться нечего, так как вряд ли императорские соглядатаи посмеют проникнуть

в дом сенатора. После немалых колебаний я остановился на том, что постараюсь разыскать эту Рею и тогда верну ей сверток, а до того времени оставлю его на дне моего ларя, где никому не придет в голову его искать. Может быть, это последнее решение я принял не без тайного влияния странной девушки, которая, и отсутствуя, продолжала подчинять мою волю своим хотениям.

Как только моя душа успокоилась, подобно морю после бури, тотчас из волн, как пенно-рожденная богиня, встал образ прекрасной Гесперии. При одной мысли, что я могу вновь увидеть ее божественный лик, вновь услышать ее царственный, но ласкающий голос, мое сердце сжималось, словно в нежных тисках. С таким искушением бороться у меня не было сил, и, наконец, я себе сказал, что пойду завтра к ней, так как она сама звала меня ее посетить, хотя, может быть, только из любезности.

Мне стоило большого труда на другой день дождаться часа, приличествующего посещению, и даже, подойдя уже к дому Элиана Мечия, на Холме Садов, я долго не осмеливался

постучаться дверным молотком в ворота, думая, что еще слишком рано. Этот дом находился на самой высоте Холма, уже неподалеку от Пинцеанских ворот, и уединенно стоял, за высокой каменной оградой, в обширном саду. Из темной зелени кипарисов, смуглой – лавров и нежной – платанов, мне были видны его благородные старинные формы, и долго я им любовался, находя какое-то сходство в стройности его линий с самой Гесперией. Наконец, преодолев свое волнение, я постучался.

Мне пришлось настойчиво повторять привратнику, что я родственник Гесперии и что она пригласила меня к себе, прежде чем он впустил меня в сад. И здесь только я начал убеждаться, что та роскошь Рима, о которой столько говорят сатирики, не выдумка, потому что сад, разбитый каким-нибудь знаменитым садоводом, уже был созданием истинного искусства. Я шел дорогой, усыпанной разноцветными камешками, среди деревьев, подстриженных в виде то дракона, то лодки, то птицы, и тут же были разбросаны кусты розмарина и барбариса; редкие осенние цве-

ты были соединены в красивые сочетания, образуя хитрые узоры, и целыми рядами подымали свои пышные головы розы; там и здесь из зелени кустарника белел мрамор статуй, хотя и вечно безмолвных, но и вечно живых обитателей этого острова блаженных; в маленьких, выложенных мрамором водоемах дремали лебеди и при моем приближении поворачивали шею и, открыв один глаз, провожали меня пристальным взглядом.

У дверей дома я должен был выдержать спор с другим привратником, и тот передал меня номенклатору, который меня повел по бесконечным залам, похожим на отдельные дома целого города. Стены то были выложены цветным мрамором, подобранным так, чтобы составлять как бы причудливые картины, то расписаны искусной рукой художника, изобразившего сцены из жизни богов, героев и людей, то украшены мозаикой из разноцветного стекла, то сверху донизу украшены перламутром. Драгоценные столы из малахита, резные скамьи и кресла, золоченые светильники, вавилонские ковры и вся пышность убранства – пропадали для взора случайного

пришельца, привлекаемого удивительными статуями и картинами, в которых нетрудно было угадать создания древних великих художников. И особенную жизнь этим пустынным покоем придавали цветы и целые деревья, во множестве расставленные везде в особых дорогах сосудах.

Проведя меня едва ли не через весь дом, номенклатор возгласил мое имя около маленькой комнатки, и я, отдернув тяжелый занавес, с бьющимся сердцем, переступил ее порог.

Комната, в которой я оказался, освещалась окном со стеклами, что обычно у нас в Галлии, но считается роскошью в Риме. Я думаю, что убранство этой комнаты было единственным в Городе, так как вся она была уставлена вещами, привезенными из далекой страны сипов и серов. Здесь были чудовищные драконы из слоновой кости, металла и дерева, выделанные с варварским, но изумительным искусством, образы чужих богов, безобразные и устрашающие, изображения невероятных зданий с остроконечными крышами, фигуры отвратительных бородатых мужей и неведо-

мых разъяренных животных, какие-то колокольчики, шары, странные музыкальные инструменты и много других созданий таинственного народа, живущего за пределами За-Имайской Скифии и За-Гангийской Индии. Но в ту минуту я не мог рассматривать всех этих диковинок, ибо мои глаза тотчас устремились на то божественное видение, которое поразило меня в доме дяди и здесь вновь предстало в том же величии и той же прелести.

Под пастью громадного усатого дракона с хвостом Сциллы, на мягком ложе, устланном тигровой шкурой, в легкой шерстяной цикле, возлежала Гесперия, и ее лицо в полусвете комнаты казалось лицом Цирцеи, царящей среди своих, обращенных в чудовищ, поклонников. Рядом с ней, на кресле, сидел юноша моих лет или немного старше, с характерными сирийскими чертами лица, тонкий, изнеженный, бледный, одетый изысканно, но в одежду тоже восточного покроя, вроде гальбана, из ткани желтого цвета. Мне показалось, что мое появление заставило Гесперию и ее гостя отодвинуться друг от друга, но тотчас

Гесперия произнесла приветливо:

– Ах, это ты, милый Юний. Ты хорошо сделал, что ко мне пришел: я тебя эти дни ждала. Это, – добавила она, знакомя меня с своим посетителем, – Юлианий Азиатик, мой лучший друг, а это – Юний Норбан, племянник Тибуртина.

Я сел неподалеку от ложа Гесперии, и вновь мною овладело то юношеское смущение, какое ее присутствие мне внушало. В первые минуты я не способен был промолвить ни одного слова, и Гесперия, желая меня ободрить, стала расспрашивать, что я делаю в Городе и начал ли свое учение. Узнав, что я еще не выбрал, к какому профессору пойти, она сказала:

– Тебе в этом поможет Юлианий. Он слушал чтения всех лучших реторов в Риме и даст тебе хороший совет.

– О, насчет этого колебаться нечего, – вставил Юлианий голосом очень мягким, не то вкрадчивым, не то покровительственным, – конечно, надо идти к Энделехию; это единственный ретор в Городе, который действительно знает древних. В наши дни обыкно-

венно знают только схолии к ним. Энделений – достойный преемник великого Минервия. Пусть Юний придет ко мне, и я его представлю профессору, так как тот неохотно принимает незнакомых учеников.

Когда я поблагодарил юношу за усердие, Гесперия добавила еще:

– Вообще, милый Юний, ты многому можешь у Юлиания научиться. Смело с него бери пример, как одеваться и причесываться, как кланяться и вести речь. Он истинный судья изящества наших дней, только не при дворе Цезаря, а при моем.

– Это делает меня более счастливым, – сказал Юлианий с улыбкой, которая мне показалась противной.

Так как я не продолжал разговора, то Гесперия и Юлианий возвратились к той беседе, которую вели до моего прихода, и стали говорить о некоем Тамезии Олимпии Агенции, решившем на свой счет воздвигнуть новый храм Митре. Гесперия расспрашивала о подробностях этого дела, а Юлианий давал ей объяснения и в конце сказал:

– Это – благородный ответ на те гонения,

какие воздвиг император на нас, хранящих религию отцов. Он думает, что довольно отнять у храмов земли и жрецов лишить содержания, чтобы прекратились тысячелетние служения богам и все мы пошли поклоняться иудейскому Христу. Но вот находится истинный Римлянин и говорит: «Империя не хочет строить храмов, я сам построю храм божественному Митре, без содействия императорской казны! Я отдам на это все свое состояние, ибо кто может назвать себя богаче человека, делящегося своим имуществом с богами!» Найдется другой, который столь же охотно отдаст свои деньги на поддержку храмов, уже существующих. Третий – который будет выдавать жрецам содержание, более богатое, чем они получали раньше. Четвертый – который примет на себя устройство торжественных празднеств в честь богов. Римляне не станут жалеть денег, если дело идет о вере их отцов. Что значит несколько миллионов сестерций, когда надо воздать честь богам! Грациан думает, что он всемогущ, но он забывает о народе Римском.

Тут Гесперия прервала Юлиания и так ска-

зала мне:

– Милый Юний, я должна тебя предупредить, что в моем доме ты можешь услышать слова, которых никто не должен знать за его стенами. Если ты хочешь быть моим другом, ты должен поклясться мне в постоянной скромности.

Я вскочил порывисто, ища глазами какого-нибудь изображения божества, чтобы произнести требуемую клятву, но везде встречал лишь чудовищные образы варварских чудовищ. Юлианий, угадав мое намерение, снял с своего пальца перстень и передал его мне со словами:

– Вот перстень моего отца.

На широком золотом кольце была гемма из сердолика тонкой греческой работы, с изображением Гелиоса лучезарного. Держа в руках этот перстень и обернувшись к Востоку, я произнес:

– Солнцем божественным, видящим все, днем проходящим над землею, ночью нисходящим в царство мертвых, клянусь: этому дому принадлежит моя верность. Все, что мне прикажет его повелительница, я с покорно-

стью исполню, и от всего, что она воспретит, остерегусь. И если я нарушу эту клятву, да буду я отвергнут всевидящим сыном Титана, да буду проклят и лишен дневного света!

Гесперия после моей клятвы засмеялась.

– Ты слишком легко увлекаешься, Юний, – сказала она, – твоя страстность может тебе повредить. Ты ни в чем не знаешь меры. Но я тебе верю. Пойдемте в сад, – добавила она, – я хочу подышать свежим воздухом.

Я возвратил перстень Юлианию, а тот поспешил к Гесперии, чтобы ей помочь встать с ложа. В ее движениях не было той упругости, какую заметил я у нее при первой встрече: напротив, она двигалась с каким-то усилием, с той нежной истомой и с той медлительной слабостью, какие свойственны женщинам утомленным. И, видя, как она спокойно опирается, вставая, на плечо Юлиания и как тот без волнения принимает это прикосновение, не мог я не подумать, что такое сближение было для них обычным. И вдруг страшная мысль пришла мне в голову: что, если эта пленительная слабость Гесперии происходит оттого, что до моего прихода она и Юлианий

предавались утехам ласк? Судя по тому, что я знал о Гесперии, мысль эта не таила в себе ничего невероятного, и я почувствовал себя уязвленным в сердце словно ядовитым жалом виперы.

Мы вышли в сад, где все было тихо и безмятежно, как если бы за стеной не бушевали мутные волны Великого Города; Гесперия шла, опираясь на руку Юлиания, а я, мучимый своими жестокими подозрениями, рядом с ними, и там, бродя по цветным тропинкам, мы продолжали разговор о богах и судьбе религии отцов. Юлианий осыпал дерзновенными упреками императора и его коварных советников, отвративших его от того пути, на который его направил его знаменитый учитель, мой соотечественник, славный Авсоний; я редко находил возможность вставить несколько своих слов, а Гесперия, отказавшись на этот раз от того оттенка шутки, которым обычно сопровождала свою речь, сказала нам обоим голосом немного печальным, но меня чаровавшим, как музыка:

– Мои юные друзья! Вижу, что вы преданы богам, и радуюсь этому, так как в наш век это

тернистая дорога. Но не падайте духом, потому что на нашей стороне сама истина, явная для всех, кто открытыми глазами смотрит на мир. Даже здесь, в этом саду, разве не чувствуете вы присутствия тех богов, которым мы поклоняемся? Разве не чувствуете, что есть божественное в этих деревьях, что дрожат перед нами своей листвой, в этих живых водах, в этом синем небе, в нас самих и в каждом нашем шаге? что есть высшие существа, которые обо всем этом заботятся? Для нас, сохраняющих предания предков, весь мир жив, и мы не одиноки на земле, каждую минуту жизни соприкасаясь с бессмертными. Высшие, чем мы, но подобные нам, они видят наши горести и радости, они понимают их, и у нас есть надежда на их помощь. Как сладостно бывает невесте приносить свои детские игрушки в дар богине Венере, изведавшей все радости любви; или воину молить могучего Марса, любящего сражения и кровопролития; или певцу призывать помощь Камен, поющих и пляшущих, с лироносным предводителем своего хора! Как просто и как понятно думать, что миром правят божества, сходные с

нами, с божественным ихором в жилах, но увлекаемые теми же страстями, как мы. С их, враждебной нам, волей мы можем бороться; их дружеского содействия искать. Нам легко умирать, так как мы знаем, что в полях Елисейских мы обретем все то же, что оставили здесь. И задолго до христиан мы сказали, что истинная жизнь начинается лишь за воротами смерти.

Помолчав, Гесперия тихим голосом произнесла двестише какой-то надгробной надписи:

*Истинно лишь теперь ты живешь и счастливее время  
Провождаешь теперь, чуждый  
условий земных...*

Юлианий, видимо, стараясь говорить угодное Гесперии, добавил:

– Христиане только уверяют, что поклоняются единому богу. Они уже сотворили вместо одного трех богов. Подобием наших олимпийцев они сделали своих высших ангелов, причем один из них, как Марс, печется о войнах. На место низших божеств поставили ангелов, чтобы заполнить пустоту между боже-

ством и человеком. А наше поклонение героям заменили поклонением мученикам и святым. Они во всем подражают нам, чтобы скрыть несообразности своего учения.

– Иначе, – продолжала Гесперия, – разве могли бы они соблазнить народ, знающий о богах? Мать, привыкшая просить Интерцидону, Пилумна и Деверру, чтобы они охранили новорожденного от гнева Сильвана, разве стала бы молиться какому-то одному далекому богу, ей непонятному, притом богу мужчин, а не женщин, не боясь погубить своего ребенка? Или разве отказался бы колон от призывания на свои поля милостей Цереры, если бы и ему не оставили близких покровителей, в каких-то святых, заботящихся об урожае. И больной, конечно, пошел бы в храм Эскулапа, если бы его не обманули, что он может получить исцеление на могиле прославленного мученика. Христиане любят говорить, что они мудры, как змии, и эту змеиную мудрость употребили они на то, чтобы незаметно обмануть людей простых и невежественных, не умеющих разобраться в их хитросплетениях.

– Мы разоблачим этот обман перед всеми! – воскликнул Юлианий, делая красивое движение левой рукой, словно актер на сцене.

Что касается меня, то я с изумлением слушал проникновенные речи Гесперии, и она представлялась мне не только воплощением красоты, но и воплощением мудрости. И я без конца был готов учиться этой мудрости, бродя за Гесперией среди благоухающих роз, мимо искусственных ручьев, под тенью широких платанов. Мне казалось, что я в саду Гесперид слушаю поучения мудрой дочери Атланта.

Однако Юлианий вдруг начал прощаться, и я, не решаясь остаться в доме без него, сделал то же. Но так как Гесперия приветливо сказала мне:

– Приходи опять, Юний, ты мне понравился, – то, выходя из ворот сада, я чувствовал себя почти вполне счастливым.

## IX

Пока мы шли по Старой Саларийской улице, пересекая сады Лукулла, Юлианий с чисто городской любезностью стал расспра-

шивать, понравился ли мне Рим. При этом Юлианий сразу переменял и голос, и самый склад своей речи и, оставив в стороне вопросы важные, всего больше домогался узнать, понравились ли мне Римские копоны и лупанары, загородные диверсории и другие увеселения Города. Когда я не без смущения ответил, что я, хотя познакомиться с этими местами уже имел случай, нашел их ничем не лучше, чем у нас, в Аквитании, и не соответствующими славе Рима, Юлианий гордо возразил мне:

– Видно, с тобой не было человека, который показал бы тебе, что есть в Городе замечательного. Если ты хочешь, я охотно когда-нибудь поведу тебя в винарии, роскошью не уступающие дворцам, так как могу сказать, что знаю Рим, как свою ладонь.

До того дня я никогда не действовал хитростью, и все военные уловки, к которым так успешно прибегают соглядатаи, были мне чужды. Но в ту минуту у меня мелькнула мысль, что, может быть, мне удастся что-нибудь выведать у моего спутника, и, тотчас приняв решение, я ему сказал:

– Если ты, Юлианий, не пренебрегаешь моим обществом и есть у тебя еще час свободный, почему бы нам теперь же не познакомиться с одной из этих роскошных таберн? Ты мне обещал столько значительных услуг, что нехорошо было бы, если бы я не предложил тебе выпить со мной по кубку хорошего вина.

Юлианий очень охотно согласился, и мы, изменив путь, направились к храму Флоры и оттуда по Верхне-Семитской улице к величественным термам Диоклециана, громада которых выступала из-за крыш домов, хотя они и стояли на низменном месте. Неподалеку от терм, в небольшом переулке, Юлианий подвел меня к невзрачному дому, в нижней части которого был вход в копону, не более пышную, чем посещавшиеся мною с Ремигием, с надписью над дверью: «Для всех есть вино». В первой комнате за грязными столами сидели и утешались дарами Либеры люди в одних туниках или в грубых биррах. Но как только Юлиания заметил копон, он к нам бросился с низкими поклонами и провел нас в заднюю часть дома, где оказалась комната

если и не роскошная, то все же убранная с притязаниями на пышность. Стены были расписаны, хотя и неискусно, дверь завешана ковром, середину занимал триклиний, причем стол был покрыт скатертью, а ложа плоскими коврами. Когда мы там уселись, колон, продолжая перегибаться, спросил, чем он нам может услужить.

Я предложил Юлианию распорядиться.

– Послушай, негодяй, – сказал тот хозяину, – у тебя, я знаю, есть порядочное цекубское, в таких низеньких амфорах, с надписью, будто это вино времен Диоклециана. Ты, конечно, мошенник, и надпись эта подложная, но вино твое пить можно. Откупори же нам одну из этих амфор и пришли сюда его полный циат: только берегись сплутовать, я узнаю по вкусу, то ли это вино, и если нет, избью тебя немилосердно. Да еще пришли двух флейтисток получше, хотя бы Делию и Гликерию.

Копон сделал вид, что опрометью бежит исполнять приказание, и скоро два красивых мальчика устали на отдельном столе большой кратер с вином, подали нам неглубокие

серебряные чаши и блюдо с фигами. Затем появились и две девушки, из числа тех, которых Римляне называют *ambubaiae*, в прозрачных восточных коах, позволявших видеть всю красоту их сложения. Обе они приветствовали Юлиания, как давнего знакомого.

Первое время я ни о чем не мог Юлиания спрашивать, так как девушки пели и играли на своих причудливых флейтах, вертелись около прислуживающие мальчики и ежеминутно забегал хозяин спросить, не нужно ли нам еще чего-нибудь. Юлианий, распахнув свою гальбану и разлегшись на ложе, то нескромно шутил с флейтистками, то мучил меня длинными рассказами о том, как хорошо он знает Рим.

– Я родился на Востоке, – говорил он, – но мне было два года, когда меня привезли в Город, и я считаю себя истинным Римлянином. Да и кровь во мне Римлянина, иначе я не мог бы стать тем, что я, так как провинциала всегда можно узнать, сколько бы он ни жил в Городе. Настоящее изящество дается только рождением, все остальное – подражание, которое может обмануть лишь невежду. Ты мне

доверься, Юний, я научу тебя носить тогу, я тебя поведу в лучшую тонстрину, где тебе сделают прическу, какая сейчас принята. Я тебя введу в самое лучшее общество, потому что меня все знают в Риме и дверей закрытых для меня нет.

Слушая пустую болтовню Юлиания, я ему усердно подливал вина, а сам старался пить как можно меньше и, когда заметил, что он уже опьянел, сделал знак мальчишкам и девушкам удалиться, подарив им по монете. Юлианий заметил исчезновение флейтисток, но тотчас успокоился, сказав мне:

– Это все равно. Я рад побыть с тобой вдвоем. Потому что ты мне по сердцу, милый Юний.

И продолжал слушать самохвальство пьяневшего Юлиания, подстрекая его самой грубой лестью, и он уже без удержу стал говорить о том, что знаком со всеми сенаторами, что они все решают в Курии по его советам, хвалился громадными расходами, которые он делает, и богатствами своих поместий, находящихся где-то в Лукании. Гораздо скорее, нежели я того ожидал, Юлианий опьянел со-

вершенно и перешел к полной со мной откровенности.

– Так как ты наш, милый Юний, – говорил он, – то нечего от тебя скрывать, что мы готовимся к борьбе. Империя погибнет, если останется в руках христиан. В войске падает древняя доблесть; император думает о боге, а не о врагах. Но мы спасем империю. За нас все Римляне, которые только боятся высказать свою волю. Довольно кликнуть клич: «Кто за Юпитера Статора и за богов?» – и все страны от Британнии до пустынь Африканских встанут и пойдут за нами. Я за древний Рим, ныне униженный, и ты с нами. Поэтому ты мой друг.

– Кто же кликнет этот клич? – спросил я лицемерно.

– Мы! – ответил Юлианий. – Ты думаешь, мы ничего не делаем. Это у вас, в провинции, молчат и покоряются. Но мы, Римляне, мы готовим войну. У нас союзники везде – в Галлиях и в Испании, в Мавритании и в Азии. За нас боги. Энея вела к берегам Италии сама богиня Венера. Кто против нас? Сброд трусов, поучающих: «Не противься злему». Истинные

Римляне во всех легионах за нас. У нас есть клятвы верности уже от пяти легионов. Нет, от десяти. Стоит нам подать знак, и Грациан исчезнет, как призрак от слов заклинателя.

– Что же, вы хотите восстановить свободную республику? – спросил я.

Юлианий наклонился ко мне и, схватив меня за руку, стал шептать.

– Слушай. Я тебе открою тайну. Я вовсе не Юлианий Азиатик. Я пока скрываюсь. Ты знаешь, кто я? Помнишь перстень моего отца с изображением Гелиоса? Я – сын божественного августа Юлиана. Я – законный император Юлиан Констанций Хлор.

Признаюсь, что при таком признании почувствовал я глубокое презрение к юноше, выдававшему свою тайну так легкомысленно, подчиняясь лишней чаше вина. Юлианий же с глупой улыбкой, которой старался придать торжественность, откинул голову назад и смотрел, какое впечатление произвели на меня его слова. Как умел, постарался я изобразить смущение и испуг и проговорил несколько подобострастных слов, но, как ни плохо я сыграл свою роль, для пьяного Юлиана

ния этого оказалось достаточно, и он продолжал:

– Да, здесь перед тобой твой император. Когда великий Юлиан, которого христиане называют Отступником за то, что он восстановил древние верования, был в Антиохии, его узнала моя мать, жрица Аполлона, из Дафны. Император ей оставил этот перстень, но скоро погиб от стрелы изменника. Я последний из рода Констанция Хлора, и я верну себе, что у меня отнято. Вся земля моя, вся империя. Тогда я восстановлю, что пытались сокрушить Константин Отступник и его последователи. Я покажу им, что такое воля Римского августа. Ко львам христиан! Христиан ко львам!

Последние слова он закричал так громко, стуча кулаком по столу, что я испугался, как бы их кто-нибудь не услышал, и поспешил, вновь наполнив чаши, провозгласить:

– Пью за твой успех, божественный август!

– Благодарю, – сказал благосклонно Юлиан. – Ты мне по сердцу, Юний. Когда я наде- ну диадему, я построю себе золотой дворец на Палатине. Прекраснее золотого дома Нерона. Тебя, Юний, я сделаю префектом. Ты хочешь?

Это скоро. Мы только ждем дня. И мы устроим игры в амфитеатре Флавиев. Ко львам христиан! Еще я тебе подарю виллу в Сицилии. Ты добрый малый. Может быть, хочешь быть верховным жрецом? «Пока в Капитолии ходит с безмолвною девой...» – сказал Гораций. Как это дальше?

Видя, что Юлианий скоро опьянеет совсем, я поспешил вырвать у него еще несколько признаний.

– Но где же вы готовитесь к великому дню? – спросил я. – Ведь надо все обдумать, заручиться помощью легионов...

– Где? – переспросил Юлианий. – Да у нее. У Гесперии. Разве ты не понял? Но ты дал клятву. Помнишь? Перстень моего отца. Он его подарил матери в Антиохии. Его убили изменники. Но я отомщу. Я всю Персию присоединю к империи. Как Александр Великий. Я на него похож лицом. Да, милый Юний, у Гесперии. С нами все. Симмах, Претекстат, Флавиан. Они меня признали. Я им всем дам префектуры. Мы собираемся по ночам. Надо постучать четыре раза, и когда спросят: «Кто?» – отвечать: «Иисус распятый». Хорошо придум-

мано? а?

Он начал хохотать пьяным смехом и залпом выпил еще чашу, сказав:

– Хорошее вино. Но у меня там, в Лукании, есть лучше. Знаешь, Юний, вина времен царей. Амфоры старые, как корабль Энея. И золотые дощечки с надписями на них. Я тебе покажу, если ты не веришь. Но вот что, надо позвать флейтисток. Знаешь, Делия в меня влюблена, бедняжка.

Я всячески постарался воспротивиться такому желанию и, чтобы вернуть мысли Юлиания на прежнюю дорогу, задал вопрос:

– Неужели и Гесперия участвует в вашем заговоре?

– Гесперия!– воскликнул Юлианий. – Она во главе всего. Это удивительная женщина. И какой красоты! Она страстная, так что могла бы свести с ума Приапа. И божественная, как Диана. Но и у Дианы был Эндимион. Как это у Катулла:

*О Латония, вышнего  
Дочь Иова великая...*

При последних словах Юлиания, говорив-

шего так непочтительно о Гесперии, ярость зажгла мою кровь, и я способен был разбить юноше голову серебряной чашей, но удержался и сказал только:

– Все же ты ошибаешься. Не может у Гесперии быть своего Эндимиона. Никого не может она признать достойным себя.

– Ты думаешь? – спросил Юлианий, улыбаясь лукаво и щуря глаза, – я бы мог тебе сказать... Но вот что, позови флейтисток... Делия умирает от любви ко мне... Ах, женщины все одни и те же. И знатные и простые. Я их знаю. Я ведь похож на Александра Великого. – (Он склонил голову к левому плечу). – Я прикажу сделать свою статую, из золота, во образе Гелиоса. Мой божественный отец...

Речь Юлиания становилась все более и более несвязной, и я, видя, что больше ничего от него не узнаю, пошел расплатиться с хозяином таверны, запросившим за свое вино такую цену, что за нее можно было купить целый *culeus*. Сторговавшись, наконец, я вернулся к Юлианию и застал его в самом несчастном состоянии, так что мне стоило много труда привести его одежду в порядок, а

самого его вывести на улицу. Он настойчиво требовал, чтобы мы пошли еще в лупанар.

– У меня сейчас нет денег, – говорил он. – Но это ничего. Я проиграл громадный заклад на последних бегах. Но я тебя сделаю профектором Города. Пойдем со мной. Я покажу тебе таких женщин... Там есть одна мавританка... Я знаю Город, как свою ладонь... Это – от рождения...

Я, однако, добившись от Юлиания указания, где он живет, повел его домой, причем на улицах он продолжал говорить такие вещи, что мне становилось страшно, не подслушивают ли нас, заговаривал с прохожими, особенно с женщинами, и все старался спеть песенку во славу Приапа, только не мог вспомнить дальше первого стиха:

*Вперед, квириты! Что еще стесняться...*

Доведя Юлиания до дома, где он жил, оказавшегося старым и грязным строением, неподалеку от Субурры, я втащил юношу на лестницу, помог ему отпереть его комнату, и он сейчас же, повалившись на свою постель,

захрапел.

## Х

На другой день я посетил Юлиания, так как опасался, что, открыв мне свою тайну, он будет мне мстить и помешает посещать Гесперию. Юлианий меня встретил в своей убогой комнате, все убранство которой состояло из постели, стола и двух скамей, хмурый и смущенный.

– Милый Юний, – сказал он мне, – хорошо мы напились с тобой вчера. Крепкое вино у этого негодяя. Потом, после молчания, он добавил, смотря в сторону: – не говорил ли я чего-нибудь лишнего? Когда я выпью, я иногда воображаю разные нелепости.

Придав своему лицу самое беззаботное выражение, я ответил:

– Плохо помню твои слова, Юлианий. Если вино так подействовало на тебя, человека привычного, подумай, что было со мной. Не знаю даже, где я провел полночи, потому что в дом дяди и вернулся только под утро.

– А что ты все-таки помнишь? – продолжал допытываться Юлианий.

– Ты, кажется, говорил, – сказал я со сме-

хом, – что построишь себе дом прекраснее золотого дома Нерона. Но, судя по твоему жилью, это будет не скоро. А больше, клянусь Геркулесом, ничего не припомню.

– Я здесь живу временно, – возразил мне Юлианий. – Все мои вещи, и библиотека, и статуи – в моей вилле, в Лукании. Приезжай ко мне, и я угощу тебя вином много лучшим, чем то, что мы пили вчера.

Я притворился, что верю, а Юлианий тотчас обрел свою обычную беспечность и предложил проводить меня к тому ретору, о котором вчера сообщал, на что я согласился.

Достав зеркало, Юлианий стал готовиться к выходу, подправил свои завитые волосы, положил румяна не только на губы, но на щеки и кое-где на шею, подвел черным свои брови и полил на свою одежду благоуханий.

– Эти благовония мне недавно прислал в подарок пресид Вифиний, – сказал он при этом небрежно.

Мы вышли на улицу, и Юлианий предупредил меня:

– Пожалуйста, говори у Энделехия как можно меньше. Он не любит болтунов. Пото-

му он и считал меня своим лучшим учеником, что я умею молчать. Он меня очень любит, и я его очень люблю, и если бы хотел стать ретором, непременно согласился бы на его просьбу стать в Риме его заместителем после его смерти. Но у меня иные намерения. Знаешь, как говорит Гораций:

*Есть такие, кому пыль Олимпий-  
скую  
Любо в беге вздымать...*

Я в жизни ищу другого, – не венков на бе-ге колесниц и не славы ретора, но, может быть, не меньшего, чем то и другое.

Идя по крикливым и пыльным улицам Ри-ма рядом с Юлианием и слушая его хвастли-вые намеки, я думал о том, что, может быть, каждую его щеку сотни раз целовала Геспе-рия, и втайне давал себе обещание при пер-вом удобном случае унижить этого щеголя. Однако, продолжая чувствовать в себе неожиданно открывшуюся способность к притвор-ству и лукавству, я выслушивал его речи по-чтительно и делал вид, что восхищен его изя-ществом и его положением в свете. Так про-

шли мы пол-Рима, до Авентина, и за Большим Цирком Юлианий остановился около небольшого дома старой стройки.

– Это здесь, – сказал он. – Как старик обрадуется, увидев меня. Давно я к нему не приходил: все не было времени.

Старый раб-привратник, однако, не узнал Юлиания, и ему долго пришлось вести с ним спор, словно с Хароном перед перевозом, пока тот согласился известить о нашем приходе хозяина, который в это время был занят с своими учениками.

Мы вошли в атрий, обставленный с простотой, приличествующей дому мудреца. Здесь стояли статуи великих философов, от Фалеса и Пифагора до Плотина и Порфирия. Стены не были покрыты никакими изображениями, и здесь же, в атрии, по древнему обычаю, был поставлен ларарий, перед которым еще курился фимиам лару и пенатам дома.

Через некоторое время к нам вышел Эндехий, человек уже немолодой, но без бороды, с бритыми щеками, одетый, по обыкновению философов, в большую аболлу; глаза его смотрели пронзительно из-под густых бро-

вей. К моему удивлению, – впрочем, не очень большому, – он тоже не узнал Юлиания, и тот должен был упорно напоминать, кто он, и пространно объяснять, зачем мы пришли. Выслушав Юлиания, Энделехий мне сказал:

– Итак, ты хочешь быть моим учеником. У меня так мало времени, что я неохотно принимаю в свою школу новых учеников. Я становлюсь стар для занятий и, подобно Вергилию, мечтаю посвятить остаток жизни одной философии. Поэтому я прежде всего хочу узнать, ищешь ли ты, действительно, знания или только желаешь научиться хорошо говорить, чтобы выступать на форумах. Истинная наука не имеет ничего общего с нуждами повседневной жизни. Истинная наука имеет одну цель – возвысить душу до созерцания божественного. Еще я у тебя спрошу, чувствуешь ли ты в себе рвение не останавливаться на полпути. Конечно, ты преодолел трудности первых наук и грамматики, и легко найдешь в Риме реторов, которые возьмут на себя расширить твои познания. Но я хочу, чтобы мои ученики со второй ступени переходили на высшую. Уча реторике, я готовлю к фи-

лософии, и ты должен мне сказать, к этому ли ты стремишься.

— Да, не из всякого дерева следует вырезать Меркурия, — вставил здесь совсем неуместно Юлианий, сохранивший и в присутствии философа свою самоуверенность.

Что, касается меня, то, по мере того как говорил Энделихий, мне казалось, что я как бы оживаю. Мне вспомнились те мечты, с какими я ехал в Рим, надеясь прильнуть к самому источнику мудрости, вспомнилось, как в родной Лакторе я усердно вникал в уроки моих грамматиков, Романа и Кратила, стараясь понять «Начала» Эвклида и вполне овладеть трудным для меня греческим языком, как надеялся я впоследствии носить такую же большую аболлу, какая была на Энделехии. Все, пережитое мною в Городе, все мои любовные страдания вдруг показались мне неважными и ничтожными, и с полной искренностью я ответил:

— Учитель! Как смею я себя назвать достойным, постучавшись в эту дверь. Никто не может быть вполне подготовлен, чтобы слушать твои речи. Скажу только, что учился я всегда

с прилежанием и ревностью. Если довольно того, скажу тебе, что грамматики Лакторы, откуда я родом, признали меня в числе лучших учеников, и я передам тебе письма, в которых они говорят обо мне. Обещаю тебе, если ты примешь меня в свою школу, что приложу все старания, чтобы заслужить и твое одобрение, и если в том не успею, то будет вина не моего прилежания, но моих дарований.

Моя скромная речь, кажется, понравилась ретору, и он мне сказал более приветливо:

– Если так, приходи ко мне завтра, и я укажу тебе, с какими учениками ты будешь меня слушать. Тебя зовут Юний Норбан, – (добавил он), – это – славное имя, и ты должен стараться быть его достойным. Я знаю также твоего дядю и очень чту его воззрения: будь в них на него похожим.

Я было заговорил о плате за учение, но ретор меня сурово прервал, сказав, что об этом я условлюсь с писцом. После того Энделехий удалился, так как его ждали. Все его поведение крайне было непохоже на то, что Ремигий мне рассказывал о Римских реторах, и я был этим весьма удивлен, Юлианий же вос-

кликнул:

– Он остался все тот же! Забавный чудак и так рассеян, что едва меня узнал, хотя сам меня всегда называл надеждой своей школы. Впрочем, ты знаешь, что все философы – чудачки и рассеянны.

Мы прошли в особую комнату, где я передал писцу ретора бывшее со мной разрешение от магистра ценса на пребывание в Городе и объяснительные письма лакторских грамматиков. У того же писца узнал я, какую плату взимает Энделехий за преподавание, причем она оказалась много выше, чем я ожидал. Впрочем, будучи в восторге от философа, я об этом тогда не жалел.

Когда мы вновь вышли на улицу, Юлианий, по поводу какого-то промелькнувшего мимо негодея, начал длинное объяснение о забытых способах носить тогу, о древнем габинском способе и о новом, чисто Римском, об умении располагать складки вдоль тела и на груди, о том, как нужно подготавливать тогу, прежде чем надеть ее, и о многом другом. Но мне Юлианий стал так несносен, что я предпочел дать ему займы золотой солид, кото-

рый он у меня попросил, и поскорее с ним расстаться.

## XI

После того дня я начал посещать школу Энделехия.

Ученики у Энделехия собирались два раза в день: утром, от четвертого часа до полдня, он преподавал реторику, вечером – философию. Меня он допустил к себе только на утренние уроки в число своих младших учеников, среди которых иные были много моложе меня, и когда я просил его позволить мне слушать и его чтения по философии, всегда отвечал своей любимой поговоркой, что на следующую ступень можно взойти, лишь миновав предыдущую.

Не понимаю, чем Энделехий мог пленить именно Юлиания, так как ретор он был странный. Я уверен, что в любой другой Римской школе лучше можно было изучить и декламацию, и поэтику, потому что обычно учителя дают прямые указания ученикам, заставляют их произносить речи, поправляют их голос и движения. Энделехий же всегда довольствовался только общими рассуждения-

ми и, в то время как ученики торопливо записывали его слова в свои пугиллары, неутомимо, по обычаю перипатетиков, ходил взад и вперед по комнате, непрерывно говоря словно с самим собой.

Много было в этой старческой болтовне лишнего и ненужного, но немало встречалось и мыслей неожиданных, приводивших меня в восхищение. Энделихий толковал нам своего любимого поэта, Овидия, и каждый стих давал ему повод для длинных рассуждений, преимущественно о природе богов. Довольно ему было встретить в «Метаморфозах» выражение «Солнца дворец», чтобы заговорить о таинственном и первичном значении Гелиоса, о тождестве его с божеством Юпитера, о том, что Феб и Минерва – лишь его проявления, а Венера – служительница. Стихи о Хаосе, бывшем «раньше моря и земли», вызывали Энделехия на длинные рассуждения о богах сверхмировых и богах мировых, посредниках между первыми и человеком, и о последней тайне троичности, – тайне, которую христиане похитили у философии, – о разделении всего мыслимого на Бытие, Ум и Дви-

жение. Во всех древних мифах, под формой поэтической басни, открывал Энделехий глубокий смысл и показывал, какая мудрость и какие откровения заключены в рассказах о превращениях богов и героев. Мы узнавали, что несчастная Ио есть прообраз человеческой души, преждевременно сочетававшейся с божественным и получившей свое исцеление лишь через египетские мистерии; что отважный Фаятон есть образ земной мысли, жаждущей достигнуть до небесных сфер силами чар и заклинаний и потому осужденный на падение; что Бакх, растерзанный и возвращенный к жизни, знаменует воскресение души после смерти, мысль, извечно присущую религии отцов, – и много другого, столь же значительного.

– Боги, – говорил нам Энделехий, – суть основные и высшие воплощения всех явлений и всех действий. Все, что совершается и что может совершиться, должно иметь своего бога, как бы свой вечный образец, пребывающий всегда. Если бы не было богов, то ничего нельзя было бы мыслить, ибо все стало бы беспрерывно сменяющимся хаосом отдель-

ных, ничем не связанных между собою явлений. Признание богов бессмертных необходимо человеческому уму, чтобы внести порядок и стройность во вселенную.

Думаю, что для большинства учеников Энделехия, несмотря на ту предусмотрительность, с какой он выбирал их, его поучения пропадали напрасно, так как нередко я замечал на уроках лица скучающие. Впрочем, никто из моих новых товарищей не пришелся мне по душе, и я ни с одним из них не сблизился, так что даже намеренно отлагал свое вступление в то маленькое общество, которое образовали они между собой под названием «Общества пловцов». Сам же я, вернувшись в дом дяди, всегда внимательно перечитывал все, записанное в школе со слов Энделехия на мягком воске, старался угадать недоговоренное им и тщательно переписывал его слова в особую книгу чернилами черными и красными.

Однако мое пристрастие к философии не излечило раны в сердце, нанесенной мне крылатым богом, и скоро ко мне вернулись неотступные мысли о Гесперии: я то томился

от несбыточных желаний, то мучился бесправной ревностью. Два раза отваживался я вновь посетить Гесперию. Первый раз я ее застал дома вместе с ее мужем Элианом, и мне пришлось в полукруглой экседре долгий час вести скучный разговор о разных городских новостях, о каком-то письме к Симмаху, присланном из Азии, о делах в Сардинии, об искусстве медика Эвсебия. Второй раз мне ответили, что Гесперия в тот день не может ничего видеть, и, расспросив раба, я узнал, что иногда овладевает ею, словно болезнь или наслание бога, неожиданная и неодолимая тоска, так что Гесперия по два и по три дня остается в своей комнате, отказываясь даже от пищи.

После того я не посмел снова идти к Гесперии, но желание быть близко от нее было во мне так сильно, что я сначала часто, а потом каждый день стал приходить к ее дому и целые часы проводить там на улице. Обычно я выбирал время вечера, когда в сумерках легче остаться незамеченным, помещался за выступом стены, окружавшей сад против дома Элиана, и глазами Тантала смотрел на те бе-

лые стены среди разноцветной зелени, за которыми была Гесперия. Небольшая улица, где я стоял, была почти всегда пустынной, но с соседней Старой Саларийской дороги до самой тьмы слышался шум шагов, стук копыт, грохот тележек, крики на разных языках. Изредка проходил мимо меня торговец с лотком, или заезжий фокусник с Востока, или с толпой рабов кто-либо из живущих поблизости. Понемногу все стихало, и я в сумрачной тишине вволю мог предаваться своим печальным мечтам.

В эти ночные вигилии я успел узнать всех, посещавших дом Элиана. Я наблюдал, как выходил из дома, то в сопровождении рабов, то один, сам его хозяин Тит Элиан Меций, всегда возбуждавший мое отвращение надменностью своей осанки и резкостью своего неприятного голоса. Раза два я видел, как прибывал к дому, тоже в толпе слугителей, высокий и стройный человек, с движениями благородными и величественными, о котором позднее я узнал, что это – Квинт Аврелий Симмах. Но чаще других, без всякого противодействия со стороны привратника, входила в дом ка-

кая-то старуха, плохо одетая и страшная, с головой всегда прикрытой иллирийским куккулем, и больше всего похожая на торговок разными снадобьями и ядами, так что нельзя было, на нее глядя, не вспомнить Локусты. Обыкновенно, дождавшись ночи, я возвращался в дом дяди по темным улицам Города, среди шатающихся гуляк и навязчивых меретрик, думая о засыпающей на своем пышном ложе Гесперии. Утром я стыдился своего ночного путешествия, и в школе Эндеlexия, слушая умные речи ретора, давал себе обещание, что сумею победить в себе слабость, недостойную мужчины, отрекись от недоступной мне Гесперии, которая в конце концов только женщина, подобная многим, и найду свое утешение в философии; но едва лучи Феба погасали за домами, я, словно подчиняясь чарам страшной Гекаты или чьим-то тайным заклинаниям, снова, с безнадежной тоской, пробирался на Холм Садов.

Так продолжалось до того дня, когда, наконец, я стал свидетелем того именно, ради чего я, хотя, может быть, и не отдавая себе отчета, каждодневно совершал свое бесплодное

странствие. В тот день, подчиняясь неизменному влечению, я еще до заката солнца пришел на любимившееся место моих мечтаний и моей пытки и увидел, что у ворот стоит запряженная парой коней карпента и толпятся рабы. Скоро появился Элиан, вместе с каким-то незнакомым юношей; они сели в карпенту и среди криков и шума быстро умчались, уезжая, по-видимому, из Города. После того не прошло и получаса, как на улице показалась фигура Юлиания, как всегда одетого щегольски, с пышной аликулой на плечах, развевавшейся, как крылья; мое сердце забилося, и я поспешил спрятаться за углом, а Юлианий уверенно стукнул молотком у ворот, дверь открылась, и он вошел. Это совпадение – отъезда мужа Гесперии и прихода Юлиания – заставило меня вспомнить все свои самые жестокие подозрения, свет заката показался менее ярким для моих глаз, я присел на маленькую каменную скамью, бывшую поблизости, потому что не в силах был держаться на ногах. Я, стиснув зубы, сказал себе, что буду ждать, когда Юлианий уйдет, хотя бы пришлось мне сторожить до нового

пробуждения Авроры.

Потекли часы, которые были для меня столь же тягостны, как для раба, которого бичуют, заключив ему голову и руки в патибул. Я воображал, как Юлианий входит в комнату Гесперии, как она его встречает радостными словами и поцелуями, как они обмениваются словами любви и страсти. Я видел перед собою изнеженное и сладострастное лицо юноши, его обдуманное и дерзкие движения, думал о том, что его расчетливые ласки без негодования принимает та самая Гесперия, у которой мне хотелось бы благоговейно целовать края одежды. Как нарисованных искусной кистью художника видел я двух любовников в полутьме покоя, слабо освещенного одной лампадой, видел их сброшенные плащи, лежащие рядом, и словно слышал, как перемешиваются их два голоса: вкрадчивый голос Юлиания и певучий – Гесперии, произносящие одни и те же нежные слова. В те часы то несказанная горесть, то нестерпимая ярость, то холодное отчаяние попеременно владели мною. Иногда мне казалось, что я, как Ниоба, каменею, иногда я готов был, как

неистовый Аянт, все ломать вокруг себя, иногда я придумывал жестокие способы мести, как Атрей, иногда припадал лицом к камню ограды и плакал, не стыдясь слез, так как их проливали и герои Улисс и Эней.

Взошла неполная луна; платаны и тополи стали похожи на таинственные деревья, обрызганные серебром; камни ограды побелели, и тени сделались более черными. Медленно старый убийца, Сатурн, влачил ночные часы; медленно вращалось звездное небо вокруг недвижимого полюса и передвигалась Большая Медведица. Город смолк, и далекий лай собаки или звук шагов случайного прохожего казались чем-то резким и громким в тишине. Волнение мое стихло тоже, его сменило уныние, какое ведают лишь тени у берегов Леты, и я сказал себе:

«Какое право ты, Юний, имеешь гневаться или мстить? Не вольна ли Гесперия в своих поступках, и какое ей дело до того, что ты здесь, у ее ворот, плачешь? Она и не подозревает, что в мечтах ты связал свою жизнь с ее и, словно поэт, сплел хитрую басню, в которой все – только воображение? Что ты такое?»

мальчик без имени, без славы, провинциал, не умеющий ни красиво говорить, ни ловко себя держать в обществе. Тысячи и сотни таких, как ты, проходят по тем же улицам Города, встречаются где-нибудь на перекрестке, у почернелого компита, в раззолоченных носилках Гесперию, удивляются ее красоте и, может быть, тоже, как ты, мечтают о ней. Неужели она должна думать обо всех и заботиться, чтобы их не мучила безжалостная ревность? Гесперию окружают бесчисленные поклонники, и из всего Города она может выбрать того, кто ей нравится, и, конечно, этим избранником не будешь ты. Довольно ей сказать кому угодно, самому великому и самому славному: приди ко мне, и каждый сочтет себя счастливым ее призывом. Какое же безумие, что ты ее любишь, воображая себя Эндимионом, к которому снизойдет с небосвода сама богиня ночи; нет, ты можешь ожидать лишь бедственного конца Актеона».

Но, так говоря себе, стоя перед теми стенами, за которыми Гесперия обнимала моего счастливого соперника, я впервые понял, как глубоко проникло в мою душу жало любви,

побеждающей и олимпийцев, и что напрасно я надеялся забыть ее среди возвышенных раздумий о сущности мира и природе богов. Я на своем опыте в те минуты чувствовал, как правы были поэты, говорившие, что любовь проникает в кости, как пламя, и неотступно вспоминался мне стих из какой-то поэмы, название которой я позабыл: «Не оставляет надежды любовь!» И тогда я, вспомнив свои детские мечты – стать поэтом, сложил несколько элегических дистихов:

*К светлой Диане, плывущей среди  
чудовищ небесных,  
Смертный, я посмел взор восхи-  
щенный поднять.  
Как Актеон, подсмотревший ку-  
панье бессмертной богини,  
За наслажденье очей вечную  
казнь я несу.  
Буду, как бедный олень, скитать-  
ся в лесах Киферона,  
Дол оглушая и высь жалобным  
стоном своим.  
Но вовек не узнает о том царица  
Диана, —  
С замка высоких небес скорби не*

Занятый сочинением этих стихов, я на время забыл наблюдать за воротами, но вдруг дверь стукнула. Сразу вся кровь отлила у меня от лица, я вскочил и явственно, в предутренней мгле, рассмотрел фигуру Юлиания, неспешно удалявшегося от дома. Он тихо напевал какую-то песню, и мне показалось, что его походка нетверда, как у человека пьяного или пресыщенного утехами любви. Снова неодолимая ярость овладела мною, и я готов был кинуться на него, как ночной грабитель, повалить на землю этого тщедушного сирийца, задушить и истоптать его. Но тотчас все мои рассуждения предстали мне так ясно, как если бы мне их прошептала сама богиня мудрости Минерва, и я понял, что нет у меня права ни мстить ему, не наказывать его. Я остался у чужой ограды, как голодный нищий, которому сказали обычное: «Проси завтра, сегодня уходи», – тогда как счастливый любовник Гесперии медленно скрылся за поворотом.

И я упал лицом, плача, на грязные камни мостовой.

Никогда в жизни мне не было так тяжело, как после этой ночи. Вся моя будущая жизнь мне представлялась такой же безвкусной, как пресная вода, к которой не примешано ни капли вина, и я раздумывал, не лучше ли мне пойти на берег Тибра и вперед головой броситься в его мутные воды. «Пусть старый Тиберин, – говорил я себе, – примет еще одну жертву в число бесчисленных гекатомб человеческих жизней, ежегодно обрекаемых ему Страданием, Горем и Нищетой».

На другой день я даже не пошел в школу к Энделехию, – так нестерпимо мне казалось не только думать и говорить, но просто видеть лица людей. Я остался в своей комнате, в полутьме, распростертый на ложе, предаваясь своим унылым размышлениям, и в таком положении застал меня Ремигий, которого я уже давно не видел, так как сам его в последние дни не посещал, а он избегал приходить в дом дяди, где его весьма недружелюбно встречала тетка.

Ремигий вбежал ко мне стремительно, веселый, как всегда, вовсе не заметил моей грусти и сразу, как из рога Фортуны, высыпал на

меня множество слов:

– Милый Децим, что с тобой случилось? Ты стал прилежен, как попугай. Уж не хочешь ли ты стать новым Цицероном? Клянусь Бакхом, я считал тебя более веселого нрава. Не забывай Горациевского: «Увы, о Постум, Постум, спешащие уходят годы...» – или, как сказал современный поэт: «Дева, розы собирай, пока нова, пока молода ты...» Будет еще у тебя время сердиться на весь мир и прятаться от людей!

– Милый Публий, – возразил я, – я отцу и матери обещал в Риме учиться. Довольно мы с тобой позабавились, пора и работать.

Не слушая меня, Ремигий сел подле меня на ложе и стал рассказывать о своих последних похождениях:

– Какое со мной вчера было приключение! Я нарочно пришел его тебе рассказать. Но ты, пожалуй, не поверишь. Слушай. Вчера я, Гней и Гай, мы втроем, выпили в копоне «Храброго вина» конгий хорошего вина. Случилось так, что у меня были деньги, и я их угощал. Жаль, что тебя с нами не было, но где же тебя искать! Потом пошли мы к проклятой ведьме, которую я зову Алекто, помнишь, в Субурре.

Теперь угадай, кого я там встретил. Ставлю в заклад мой новый вышитый пояс, что не угадаешь. Приходим, а старуха говорит нам: «У нас есть новенькая красивая девушка, только за нее цена на десять сестерций дороже». Я отвечаю: «Покажи». Она нас ведет, и представь, кого я вижу? Лету! Помнишь Лету, которую мы встретили в Римском Порте!

Я начал слушать рассказ Ремигия с большой неохотой, только потому, что знал, как от него трудно отделаться, но, услышав его слова, забыл всю свою печаль, быстро сел на ложе и переспросил:

– Как Лету? ту самую Лету? Ты ошибся, Ремигий, этого не может быть. Лета, сестра Реи, в лупанаре? Ты просто был пьян.

– Что я был пьян, это верно, – возразил Ремигий, – и желаю тебе почаще мне в этом подражать. Но что теперь в доме проклятой Алекто живет Лета, это тоже верно. И как было мне ошибиться, когда я с ней провел всю ночь, – прекрасную ночь! Лета не изменилась нисколько, и встретила меня с такой гордостью, словно бы она была Алкмена, а я Юпитер.

Мой взгляд невольно перешел на ларь, в котором был спрятан пурпуровый колобий, и я сказал:

– Публий, ты должен меня сегодня же проводить к ней.

– Охотно, – ответил Ремигий, – туда вход всем открытый. Только, во имя Геркулеса, ты не должен пока ее у меня отбивать. После, когда пройдет время, я сам ее тебе уступлю.

– Клянусь богами, – сказал я, – ничего такого у меня в мыслях нет. Я просто хочу ее расспросить о сестре.

Услышав эти мои слова, Ремигий начал хохотать и забросал меня насмешками за мое пристрастие к женщинам старым. Он даже привел стихи Овидия:

*Юноши, не небрегите и возраст  
женщины зрелым:  
Сейте и в эти поля, всходы дадут  
и они!*

Но мне в ту минуту было не до насмешек Ремигия, я постарался как можно скорее прекратить его болтовню и выпроводить его из дому, взяв с него обещание, что он придет ко мне вечером и поведет меня к Лете.

С большим нетерпением дожидался я вечера, и даже неотступная мысль о самоубийстве перестала меня мучить. Мне казалось, что, узнав от Леты, где живет Реа, и возвратив ей колобий, я исполню свою обязанность, раньше чего я не вправе располагать и своей жизнью. И как только вновь появился Ремигий, я без малейшего промедления заставил его вести себя.

Мы спустились по Субурранской улице и углубились в самую середину Субурры. В узких переулках, обставленных старыми, грязными домами, было темно и стояло тяжелое зловоние от никогда не пересыхавших луж под портиками и на середине мостовой. Таберны были полны народом; крик пьяных и брань игроков в кости не смолкали ни на минуту. Сквозь многие окна, плохо закрытые ставнями, были видны комнаты меретрик, с их постелями, а иногда и женщины, полуодетые или почти голые. У растворенных дверей иных домов также сторожили женщины, с ярко раскрашенными лицами и искусственными бровями, и, хватая нас за одежду, влекли к себе. Я вспомнил, что в первые дни моей

жизни в Городе находил в этом оживлении что-то привлекательное, но в тот день все эти женщины были мне противны.

Дом старухи Алекто был одним из самых грязных и безобразных домов, со стенами, покрытыми плесенью, не раз подправленными, чтобы они не развалились. Жила она со своими девушками на четвертом этаже, и подниматься к ней приходилось по узкой и шаткой темной лестнице, залитой помоями. Спотыкаясь, в темноте, мы с Ремигием добрались до двери, гостеприимно отпертой, и вошли в комнату, плохо освещенную старым, поломанным треножником.

Когда я был здесь в первый раз с Ремигием и другими товарищами, моей головой владели дары Либера, и я провел здесь время не без удовольствия. Теперь же мне показалась отвратительной эта закопченная комната, где на стенах были неумелой рукой нарисованы, на красном поле, Приапы и фавны, в возбуждении преследующие нимф, и сделаны надписи, со множеством ошибок грамматики, приглашающие гостей веселиться и наслаждаться. В комнате стояло несколько грубых сто-

лов, за одним из которых сидели пьяные корабельщики с Тибра, громко хохоча и переругиваясь. Тут же гуляли женщины, одетые только в туники из рыболовных сетей, так что можно было видеть все их тело, немолодое и дряблое, с дешевыми запястьями на руках и безобразными серьгами в ушах.

Едва мы вошли, эти женщины побежали к нам с радостными криками, стали громко смеяться, говорить непристойности и тащить нас к столу. Меня, разумеется, не узнали, но Ремигия, который был здесь вчера, встретили как старого приятеля, и все называли его своим братцем.

– Милый мальчик, – сказала ему одна из девушек, – видно, что тебе у нас понравилось. Только тебе придется подождать: твоя Галла занята сейчас.

– Ее здесь зовут Галла, – шепнул мне Ремигий.

Мы сели за стол, и нам принесли прокислого вина, а девушки окружили нас, осыпая самыми грубыми шутками и делая всякие неприличные движения. И я никак не мог преодолеть отвращения, когда иные из них

пытались сесть ко мне на колени или щипали, щекотали и всячески теребили меня. Одна, которая была старше других и все хвасталась своим именем Рима, сказала, громко хохоча:

– Оставьте его, он хочет сделаться монахом, теперь это принято.

Все начали смеяться такому предположению, и я нашел, что самое лучшее для меня здесь – играть роль христианина.

Потом, когда через комнату к выходу прошел толстый купец, подозрительно оглядывавшийся по сторонам, словно опасаясь грабежа, нам сказали, что Галла нас ждет, и проводили до двери, на которой мелом было написано ее имя.

Я все еще не верил, что действительно увижу сестру Реи, но, распахнув низенькую дощатую дверь, должен был увериться, что Ремигий рассказывал правду. В крохотном, еле освещенном лампадой кубичуле, совершенно обнаженная, лежала на деревянном ложе, покрытом циновкой, Лета. На скамье около валялись ее туника, строфий, обувь. В углу был притиснут стол, с зеркалом и

несколькими банками притираний, и стояла глиняная амфора с водой. Больше в комнате ничего не было, если не считать маленького распятия, прикрепленного к стене. Я сразу узнал Лету, хотя ее лицо побледнело, и даже нашел, что она похорошела, или так мне показалось потому, что видно было ее тело, молодое и красивое.

– Я к тебе привел твоего старого знакомого, – воскликнул Ремигий, входя, – ты ему обрадуешься, как Лаодамия Протесилаю.

– Ты меня помнишь, Лета? – спросил я, садясь на ту же скамью, где лежала одежда девушки, так как другой скамьи в комнате не было.

Против моего желания голос мой прозвучал очень грустно, потому что мне тяжело было видеть в таком положении эту девушку, с которой у меня были соединены другие воспоминания. Но Лета отвечала мне беззаботно:

– Никакой Леты здесь нет. Она умерла, хотя, может быть, и воскреснет. Я – Галла, и Галла очень рада вновь увидеть племянника сенатора Тибуртина. Приходи почаще, если только у тебя сил останется, а также денег.

Ремигий вышел, чтобы приказать принести и сюда вина, а я все-таки не мог не спросить:

– Неужели ты не нашла в Городе ничего лучшего?

– Мне здесь очень хорошо, – возразила Лета, – меня все любят, и я могу пить вино с вечера до утра. Ты думаешь, лучше мне было бы с утра до вечера шить туники для моряков и ждать, пока на мне женится какой-нибудь бедняк без асса за пазухой? Бог ведал, что делал, когда дал мне красоту.

Я замолчал, но, когда вернулся Ремигий с вином, опять спросил:

– Разве ты за этим ехала в Рим?

Лета вдруг рассердилась, села на своей постели и, скрестив руки, сказала мне гневно:

– Ты был глуп и глупым остался. Или ты меня мало знаешь. Ты в самом деле думаешь, что я в этом доме проведу всю жизнь? Я и с тобой, и с твоим Ремигием только потому знаюсь, что еще не встретила подходящего человека. С такой грудью и с таким телом разве я не найду кого-нибудь получше вас? Ты еще увидишь меня в золотых носилках, в

шелковом платье и будешь смотреть на меня, разинув рот, хотя ты и племянник сенатора. За мной будет бежать дюжина черных рабов, а ты будешь стоять под портиком и смотреть вслед.

Она выпила вина и прибавила гордо:

– Клянусь Спасителем нашим, на этом самом месте, в Субурре, где стоит сейчас эта развалина, я прикажу себе построить дворец, каких еще не видали в Городе!

Ремигий постарался переменить разговор и стал спрашивать, какой гость был сейчас у Леты.

– Противный скряга, – ответила она, – подарил мне пять сестерций, которые мне хотелось швырнуть ему в его толстое лицо. Но ты, мальчик, не бойся, я после него не буду менее ласковой.

– Я знаю, что ты добрая девушка, – сказал Ремигий, садясь рядом с Летой и ее обнимая.

Они начали говорить друг другу грубые похвалы, и я, поняв, что мне время уходить, поспешил спросить:

– Скажи мне, Лета, или Галла, где теперь твоя сестра: мне ее надо увидеть.

– Если ты говоришь о Рее, – ответила Лета, – то она мне вовсе не сестра. И я тебе посоветую лучше связаться с Лернейской гидрой, чем с ней.

– Все равно, мне надо ее увидеть, – настаивал я.

– Должно быть, она все там же, за Тибром, около самой улицы Тиберина, в доме, где попина «Морской конь». Поищи ее там, только под именем Марии, – может быть, и найдешь. Но она и все с ней там сумасшедшие, словно их искусал тарантул: с ними ты и сам помешаешься.

Я поблагодарил Лету и стал прощаться, но она бесстыдно попросила у меня подарить ей что-нибудь на память о посещении. Я дал ей два денара и, расталкивая других девушек, пытавшихся загородить мне дорогу, выбрался на улицу.

### XIII

**Я** долго колебался, прямо ли мне отнести Рее колобий или сначала, посетив ее, предупредить, что я ей возвращу ее дар. Последнее показалось мне благоразумнее, так как я не был уверен, что найду Рею в доме, указан-

ном Летой, а бродить по улицам Города с подобной ношей было небезопасно. Кроме того, чувство смутной тревоги охватывало меня каждый раз, когда я намеревался раскрыть свой дорожный ларь, чтобы вынуть из него глубоко запрятанный страшный сверток, и я предпочитал эту минуту отсрочить сколько можно.

Был уже одиннадцатый час, когда я вышел из дому, так как я рассчитал, что вечером Реа должна быть свободнее и мне можно будет говорить с нею без помехи. Во все время длинного пути, пересекая сначала мрачную Субурру, потом мраморные форумы, я не переставал колебаться и несколько раз готов был вернуться обратно. Выйдя на Тусскую улицу, где около грязных лавок всегда толпится всякий сброд, сводни, предлагающие девушек, торговцы чудодейственными снадобьями, фокусники и просто воры, я заметил, около самой статуи Вортумна, расположившегося на мостовой индийского гимнософиста. Несмотря на эдикты императоров, воспрепятствующие всякого рода гадания, он открыто предлагал всем, за дешевую плату, от-

крыть их будущую судьбу, выкрикивая свои предложения на плохом латинском языке. Я подошел к гимнософисту, положил в его худую, как трость, руку маленькую монету и спросил, что меня сегодня ждет.

Тотчас меня окружила толпа любопытных, а гадалец сначала пристально смотрел мне в глаза, потом зажмурился, стал мерно раскачиваться и, наконец, снова взглянув на меня, произнес:

– Сегодня ты увидишь неожиданное.

Я пожалел об отданной монете, протиснулся сквозь толпу, из которой чуть ли не каждый человек, крича, предлагал мне свои услуги, выбрался на пустынный в этот час Бонарийский рынок, который подметали городские рабы, и вошел на Эмилиев мост. Здесь я снова остановился, не слыша топота ног проходивших мимо людей, и долго смотрел на видное отсюда отверстие Великой Клоаки, пенным потоком низвергавшее в Тибр отбросы Города. Снова мысли о самоубийстве пришли мне в голову, и я думал, как легко прервать мое неудачно начатое существование, перешагнув через ограду моста, и как хорошо

вдруг освободиться от волнений любви, и от всех трудностей жизни.

Победив в себе такое малодушие, я заставил себя идти дальше, перешел реку и углубился в незнакомую еще мне за-Тиберинскую часть Рима. Можно было подумать, что я попал в другой город, – настолько здесь все отличалось от того, что можно видеть на левом берегу: не было здесь ни шумной толпы, ни изящных щеголей, ни пышных дворцов и храмов, улицы были узки и совершенно темны, так как выступающие верхние этажи закрывали свет неба, и только гул из многочисленных таберн напоминал, что я еще в Риме. Не без большого труда разыскал я попину, на дверях которой была сделана надпись «*Escus bipes*», и, расспросив какую-то женщину, узнал, что в доме действительно живет приезжая девушка по имени Мария.

Дом был заселен бедным людом, и я долго стучался то в одну дверь, то в другую, пока, наконец, не дошел до самого верхнего этажа, под самой крышей. Уже почти потеряв надежду найти ту, которую я искал, я постучал и там в низенькую, незапертую дверь, но она

тотчас отворилась, и на пороге оказалась сама Реа, уже одетая в паллу с куккулем. Ее лицо едва было видно из-под этого покроя, но оно вновь показалось мне, как в час на Аппиевой дороге, молодым и прекрасным. Не дав мне времени произнести ни слова, ни даже взглянуть в глубь комнаты, Реа сказала:

– Ты чуть не опоздал, Юний, я давно тебя жду.

– Как? – изумленно пролепетал я. – Ты меня ждала? Откуда ты могла знать, что я приду?

– Нельзя больше терять времени, – вместо ответа сказала она. – Следуй за мной.

Захлопнув дверь, она стала спускаться по лестнице, а я, снова поддавшись той странной власти, какую она имела надо мной, безвольно последовал за ней.

Мы вновь вышли на улицу, и Реа таким быстрым шагом побежала вперед, что я едва за ней поспевал. Она шла, направляясь к окраинам Города, вышла на Триумфальную улицу, потом свернула в какой-то узкий переулок. Наконец я настиг ее и спросил:

– Куда ты ведешь меня? Я не пойду даль-

ше. Я только хотел тебя видеть, чтобы сказать...

– Ты меня хотел видеть для одного, – возразила Реа, – но должен был прийти для другого. Пути Господни неисповедимы.

Она вновь устремилась вперед, а я продолжал идти за ней, повторяя, себе в утешение, слова индийского гимнософиста: «Сегодня ты увидишь неожиданное».

Уже стемнело, когда Реа остановилась около небольшого домика, одиноко стоявшего неподалеку от городской стены, на улочке, совершенно безлюдной. Реа особенным образом постучала в дверь, произнесла какие-то, должно быть, условленные слова, и вход открылся. Когда мы оказались в темном вестибюле, я, с последним усилием воли, хотел было броситься назад, но Реа крепко схватила меня за руку и повлекла дальше. Миновав несколько комнат, мы увидели свет и, распахнув занавес, вошли в обширный зал, освещенный большим числом лампад, в котором уже было собрано много людей, мужчин и женщин, одетых в белое.

– Вот, наконец, и Реа, – сказал кто-то.

Я неподвижно стоял у занавеса, ослепленный неожиданным светом, смущенный всем происшедшим, но Реа, указав на меня, громко сказала всему собранию:

– Вот тот, о котором я вам говорила. Это – Юний, предназначенный судьбой уготовать пути Грядущего.

Все голоса воскликнули:

– Ave, Юний!

Я продолжал молчать, не зная, что мне должно делать, но кто-то опять спросил:

– Почему он не в брачной одежде?

Какой-то юноша подошел ко мне, снял с меня мой плащ и надел на плечи другой, белый, закрывший меня до самых пят, застегнул фибулу на груди и потом, взяв меня за руку, провел на другой конец залы, где стояло два деревянных кресла.

– Сегодня он должен сидеть рядом со мной, – объявила Реа.

Я хотел было говорить, но та же Реа сурово сказала мне: «Молчи!» – и заставила сесть рядом с собой, причем мы были, словно жених и невеста на свадьбе, на виду у всех. Я решил подчиниться воле случая и, постепенно овла-

девая собою, стал рассматривать, что было у меня перед глазами.

Покой, где мы находились, был широк и высок; дом прежде принадлежал, вероятно, какому-нибудь богатому человеку, потому что был устроен довольно роскошно: прекрасные коринфские колонны африканского мрамора окружали нас; но вся обстановка состояла из ряда скамей за колоннами, высокого водяного органа, с большими медными трубами, помещенного в углу, и разостланных на мраморном полу ковров.

Когда мы с Реей сели на наши кресла, все, словно по знаку, разместились тоже по скамьям, а какой-то старик, с длинной белой бородой, похожий на Сатурна, вышел на середину, поклонился присутствующим и возгласил:

– Теперь все в сборе, время, братья и сестры, приступить к служению.

Тотчас послышались звуки органа, глухие, но нежные, медленно возраставшие, усиливавшиеся, постепенно заполнявшие весь простор. Было такое впечатление, словно волны Океана заливают душу, и всем моим суще-

ством начало овладевать сладкое оцепенение, мучительная нега, и временами мне казалось, что я не дышу вовсе. Вместе с тем мне казалось, что какой-то таинственный, голубоватый или зеленоватый свет разливается вокруг, подобный свету от свечения моря.

Сколько длилось это оцепенение, я не знаю, но вдруг Реа порывисто встала, выступила вперед и воскликнула:

– Сестры, братья! дух повелевает мне говорить.

Все обратились к ней, орган смолк, и Реа, стоя посередине покоя, ко мне спиной, начала свою речь, голосом сначала тихим, потом окрепшим и обретшим, наконец, необыкновенную силу.

– Сестры, братья! – сказала она. – Всем нам были знамения, что времена приблизились. Будем же бодрствовать, чтобы никого из нас Жених пришедший не застал спящим. Нет добродетели выше покорности воле Божией. Всеведущий изначала предвидел грехопадение Адама, и всемирный потоп, и крестную смерть Сына своего, и торжество Грядущего, и последний Суд, – но сотворил небо и землю,

допустил Каину поразить брата, людям до Ноя грешить, Иуде свершить предательство, последнему Соблазну прийти в мир. Как из семени, брошенного в землю, с необходимостью вырастает определенное растение, как нельзя маковому зерну сказать: будь дубом, так из семени Творца должен произрасти наш мир и принести свой плод. По плодам его узнают его, и не должно до времени обрывать цветы его, дабы не уничтожить завязи. Добродетель человеческая в том состоит, чтобы согласовать свои деяния с веянием Духа Божия. Все мы, водимые Духом Божиим, – сыны Божии и обязаны ему сыновьим повиновением. Одни из нас предуставлены богом, ибо предузнал он их судьбу, на пути спасения; другие так же предуставлены на то, чтобы послужить Царю Погибели и уготовать ему путь. Можно ли идти против Бога? Дары и призвания Божии непреложны. Кто Сына своего единственного не пощадил, но предал за людей на муку, не властен ли нас, сынов своих, послать на погибель за других? Апостол говорит: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти.

Как же, соревнуя апостолу, не возжелаем мы все представить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу? А другой апостол, говоря о том, кому надлежит прийти и без которого не свершится то, чему свершиться пред-установлено, пророчествует, что дано ему будет вести войну со святыми и победить их, что поклонятся ему все живущие на земле, имена которых написаны в книге Агнца, запечатленной от создания мира. Все, чьи имена написаны в запечатленной книге, да не противятся воле Божией, да не уклоняются поклониться Грядущему, ибо должно ему победить! да не страшатся отлучиться от Христа за братьев своих, как того жаждал апостол! Помните: сберегающий душу свою погубит ее, а губящий душу свою спасет ее! И еще апостол сказал: всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Тайна сия велика, но вы радуйтесь и веселитесь о погибели своей. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воз-

дать? Все из него, им и к нему, ему слава вовеки, аминь.

Все собрание в одном порыве повторило: «Аминь!»

Реа обратилась ко мне, и я увидел, что лицо ее бледно и глаза расширены; она походила на статую Сибиллы Кумской; и, указуя на меня, она воскликнула надорванным, но уже другим голосом:

– Здесь тот, кто укажет нам путь. Вижу, вижу большой город за тысячу миль отсюда. Вижу высокие стены, дворцы, театры, термы, храмы. Во дворце тот, кто именует себя христианским императором, и с ним советчики его, очи которых закрыты тьмой и которые не чают близости Грядущего. Двое идут по улице, и языки Духа Божия над головами их. Да! да! вижу, это я и он! Вот мы входим в двери большого дома, проходим пустые покои. Юноша, с лицом ангела, нас встречает; волосы у него, как разметавшееся пламя, уста, как кровавая рана, взор благостный, как у агнца. Счастье, счастье! Сестры, братия! мы двое первые преклоняемся перед ним и его венчаем диадемою власти. Дух мой теряется в весе-

лии великом и ужасе многом. Это скоро, это близко, это уже при дверях!

Последние слова Реа прокричала в изнеможении и вдруг упала на подстилки пола; я поднялся с своего кресла, чтобы бежать к ней и отречься от пророчества, относящегося ко мне, но все, тоже вскочив со скамей, окружили лежащую и в возбуждении восклицали:

– Литанию! Литанию!

Вновь слышались звуки водяного органа, и началась странная литания, – чудовищное искажение того, что христианами поется в их храмах.

– Дай нам отлучиться от Христа, предать и возненавидеть его, послужить врагам его! – возглашал чей-то голос.

– Подай, сильный! – отвечали хором все присутствующие, мужчины и женщины, в белых одеяниях, простирая руки.

– Возложи на нас печать на правую руку нашу или на чело наше, всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам! – возглашал голос.

– Возложи печать, сильный! – отвечали все.

– Дай нам быть грешными, впасть в скверну, лгать и злодействовать, убивать и богохульствовать, погубить души наши! – возглашал голос.

– Подай сильный! – отвечали все.

Всех воззваний я не припомню, но голоса становились все возбужденнее, и под звуки органа присутствующие, все возглашая ответы, начинали двигаться, словно в мерной пляске. И я со всеми другими, поддаваясь очарованию музыки и голосов, невольно двигался тоже и, может быть, тоже присоединял свой голос к общему хору. Незаметно для меня, под чьей-то невидимой рукой, лампы стали гаснуть, и всех нас окружал, сближая и разъединяя, мрак. В темноте сначала еще продолжалось пение, но постепенно стихло, и только слышались звуки органа и странные шорохи от движения людей.

Тогда кто-то приблизился ко мне, и меня обняли женские руки. Кто-то своими губами прикоснулся к моим и наложил на них поцелуй. Я воскликнул:

– Реа, ты?

Ее голос мне ответил глухим шепотом:

– Здесь нет имен, одни только верные.

Одно время я сопротивлялся настояниям обнимавшей меня женщины, но в каком-то опьянении был мой ум после всего испытанного, и тело мое – в каком-то онемении, словно в смертельной усталости.

Я уступил, и так свершился мой брачный союз в неведомом мне доме, среди мне неведомых людей, со странной девушкой, каким-то демоном посланной мне навстречу на пути моем в Рим...

Когда снова зажглись лампы, сперва одна, слабо озарившая темноту, потом другая, я мог видеть, как поспешно покидали белые фигуры одна другую и торопливо расходились в разные стороны. Реи около меня не было.

Все, в ярком свете, как будто избегали смотреть друг на друга, и кто-то сказал:

– Пора расходиться.

Мне вернули мой темный плащ, и все присутствующие осторожно, поодиночке начали удаляться из залы. Какой-то человек, судя по лицу, простой работник, подошел ко мне и угрюмо сказал:

– Будь осмотрителен, юноша, не попадись ночным стражам и остерегись болтать лишнее...

Я молча наклонил голову в знак утверждения, потом меня проводили до двери, и, выйдя на улицу, я с наслаждением вдохнул после душной комнаты свежий воздух и нетвердой поступью направился через весь ночной Город к дому дяди.

#### XIV

После этой ночи я спал сном тяжелым и, проснувшись, увидел, что мне надо торопиться к началу занятий в школу Энделехия. Я сам не знал, зачем я тороплюсь к нему, потому что мысль о самоубийстве еще не покидала меня, но все же, поспешно одевшись и подкрепив силы сыром и глотком вина, направился к выходу.

Проходя через атриум, я увидел маленькую Намию, которая, укрывшись в угол, около армариев с масками предков, горестно плакала. Последние дни, занятый разнообразными и тяжелыми событиями своей жизни, я с ней мало встречался, и мне даже казалось, что девочка меня избегала. Теперь я подошел к ней

и спросил:

– Что с тобой, милая сестрица? Кто тебя обидел? Почему ты не хочешь больше со мной говорить? Или ты на меня рассердилась?

Намия вдруг вскочила, тряхнула своей хорошенькой головкой, словно затем, чтобы высушить слезы, и глаза ее сделались злыми, как у раздраженной собачки. Она мне ответила:

– Какое тебе до меня дело? Уходи. Я тебя ненавижу. Ты думаешь, что я плачу из-за тебя? Что мне в тебе! Я о тебе давно перестала думать. Ты оказался так же глуп и незанимателен, как все другие. А если я кого-нибудь люблю, кто лучше тебя, и о нем плачу, это тебя не касается.

Проговорив эти слова, девочка, по своему обыкновению, быстро выбежала из атрия, а я был тогда слишком занят своими печальями, чтобы раздумывать над ее горем, и продолжал свой путь.

В тот день я был в школе крайне невнимателен, и мои товарищи не раз толкали меня, когда я, углубившись в свои унылые думы,

переставал слушать учителя и оставался сидеть неподвижно с бесполезным стилем в руке. Один из товарищей даже сказал мне:

– Клянусь Геркулесом, Юний, ты, должно быть, влюблен.

Выйдя из школы, я пошел не домой, но на форум, так как мне хотелось в шуме и движении, там никогда не стихающих, успокоить свое волнение. Я переходил из одного форума, в другой, входил в различные лавки, у торговца сосудами приценивался к бронзовому кубку, у книгопродавца рассматривал новоизданную книгу, смотрел, как ловко исполняет дело меняла, быстро отсчитывая монеты, вмешивался в толпу бедняков, которая никогда не покидают форумов, готовая предложить свои услуги любому наемщику для чего угодно: – рукоплескать его речи или любимой им плясунье, освистать его соперника или просто, в одеждах, полученных на время, изображать из себя клиентов, – слушал грубые речи и сам вступал в чужие разговоры. Потом на Римском форуме я сел подле арки Тиберия и долго смотрел, как на священном месте, тесно огороженном торжественными храмами,

быстро сменялись разнообразные картины, как прогуливались здесь всегда и форум, по древнему закону приходящие сюда лишь в тогах, как изумленно оглядывались кругом недавно приехавшие провинциалы или чужеземцы, в причудливых одеждах, появлялся важный сановник, сопровождаемый толпой, то проходила кучка веселых гуляк. Все вокруг было пестро и шумно, лучи солнца сверкали на старом мраморе и бронзе, голоса, смех и крики не смолкали ни на минуту, и можно было думать, что по-прежнему на этом месте бьется сердце всего мира.

Несколько развлеченный своей прогулкой, я пообедал в какой-то попине поблизости, где долго молча сидел одинокий за столом, потом еще побродил по улицам и по полю Агриппы и только на склоне дня вернулся домой.

В тот вечер тетки не было дома, и дядя, который скучал без слушателей, позвал меня к себе выпить с ним по кубку вина. Хотя рассуждения дяди мне давно наскучили, я не уклонился от приглашения, потому что мне тягостно было оставаться одному. Как всегда, дядя скоро заговорил о древнем величии Рим-

ского народа и о гибели, к которой ведут Рим последние христианские императоры.

– Боги уже давали нам предостережения, племянник, – говорил мне Тибуртин, – но мы им не внемлем. Все продолжают обычную жизнь, бездельничают, пьянствуют и не думают о благе республики. Варвары везде переходят границу империи и селятся на Римских землях. Хуже того, тех же самых варваров принимают в Римское войско, из них образуют легионы, оскорбляя тем священное имя: легион! и им же поручают защиту границ! Вспомни мои слова: если не опомнятся граждане, не возьмутся за старый Римский меч, в самую Италию вторгнутся какие-нибудь племена из Германии и Скифии, и переживем мы новое нашествие галлов!

Думая сделать угодное сенатору, я сейчас же привел предсказание Горация:

*Варвар, увы, победитель, на прахи  
наступит, и всадник  
Копытом звонким мир встревожит  
Города,  
Те, что от солнца и ветра таим  
мы, кости Квирина*

*(Увидеть страшно) он размечет дерзостно.*

Но дядя живо возразил мне:

– Нет, нет! этого не будет никогда! До самых стен Города может дойти варвар, но священной черты не переступит. Еще стоят на своих местах святилища аргеев и весталки блюдут залогом незыблемости Рима, и в Курии еще парит статуя Победы. Знай, племянник, пока на эти святыни не посягнули, – нечего Риму бояться. А кто святотатственный, будь он даже христианин, осмелится на них посягнуть?

Не знаю, было ли то предчувствие, ниспосланное неким богом, или случайное совпадение, которое нередко наблюдается в жизни, только после этих слов дядя стал говорить о алтаре и статуе Победы подробно и с увлечением.

– Божественный Август, – говорил он, – был третьим основателем Рима, после Ромула и Камилла. Помнишь богами подсказанные слова центуриона: «Стой, воин, здесь всего лучше останемся!» Тогда речь была только о Городе. Август сделал Рим средоточием все-

ленной, повелителем мира. Август первый сказал, что вне империи, управляемой Римом, нет и быть не должно ничего, кроме варварства. Потому-то Август, нашедший Город кирпичным и оставивший его мраморным, воздвиг множество новых храмов, с великими священнодействиями, как бы основывая новый Город, ибо старому было дано назначение новое. И, завершив новую Курию, откуда Сенат должен был своей мудростью править миром, Август по ее середине поставил алтарь и древнюю статую Победы, знак того, что Риму дано вовек торжествовать над врагами. Дважды пожар истреблял Курию Юлия – при Нероне и при Карине, но дважды боги спасали крылатую статую Победы, и вновь сенаторы пред ее алтарем приносили свои клятвы. Так и Рим не раз бывал охвачен пламенем гибели, но всегда выходил из огня победоносным и крылатым. И так всегда будет, племянник, пока отцы Города собираются вокруг этого священного алтаря.

Я тогда не очень внимательно слушал рассуждения Тибуртина, так как не придавал им цены. И сам он скоро перешел к соображени-

ям, кто будут назначены консулами на следующий год, намекая, что он, Тибуртин, был бы достоин этой чести предпочтительно перед другими. Когда секстарий вина нами был допит, я попрощался и ушел в свою комнату, чувствуя утомление после дня, целиком проведенного в ходьбе.

Скоро я задремал беспокойным сном, но вдруг мне показалось, что в комнате кто-то есть. Я открыл глаза и, действительно, во мраке различил белую женскую фигуру. Всмотревшись, я убедился, что это – Намия, почти раздетая.

– Милая Намия, зачем ты здесь? – спросил я шепотом.

Мне пришло в голову, что Намия подвержена той священной болезни, в которой люди, подчиняясь чарам луны, ходят по комнатам и даже по высоким крышам, во сне, с закрытыми глазами. Но Намия не спала; она бросилась к моему ложу, стала перед ним на колени и, плача, сказала мне:

– Братик! милый братик! Я тебе солгала. Я тебя не ненавижу. Я плакала по тебе. Я тебя люблю, мой братик. А ты меня не любишь. Ты

любишь эту противную Гесперию. Я все знаю, мне передали. Ты у нее постоянно бываешь. Три последних ночи ты провел у нее. Ты ее любовник. Я этого не могу перенести.

Я обнял худенькое тело маленькой Намии, стал ее целовать и пытался успокоить.

– Полно, сестрица, – говорил я, – все это выдумки, неправда. Три последних ночи я, может быть, провел дурно, но, клянусь великими богами, не у твоей сестры. Я у нее бывал, это верно, потому что она меня звала к себе, но между нами о любви не было речи. А что ты говоришь о своей любви, тоже неправда: ты еще маленькая девочка и ничего не понимаешь. Время любить к тебе придет позже, а пока будь умной, отри свои глаза, ступай спать и останься моим хорошим другом.

Намия на мои слова рассердилась и ответила зло:

– Ты говоришь так умно, как учитель грамматики. «Есть некоторые глаголы безличные, например, первого порядка: „*luvat me, te, illum, restat, distat...*“ Все это верно, а только я тебя люблю! Возражай мне, что хочешь, а я тебя люблю!

Потом, снова заплакав, она продолжала:

– И я хочу, чтобы ты тоже меня любил. Милый, хороший братик, на что тебе эта Гесперия, у которой, кроме тебя, десятки любовников. Я сделаю для тебя все, что женщины делают для мужчин. Я все понимаю, и я знаю, зачем отец Никодим потихоньку приходит к матери. Я буду твоей самой хорошей любовницей. Только люби меня.

В каком-то исступлении маленькая Намия непременно хотела лечь рядом со мной на ложе и добивалась, чтобы я ласкал ее. А я не знал, что делать, так как постыдным почитал нанести обиду дочери моего гостеприимного хозяина. Между мною и Намией началась борьба, во время которой она то рыдала, то царапала и кусала меня, то целовала безудержно.

– Нас услышат, сюда придут, – молил я.

– Мне все равно, мне все равно, – возражала девочка, – пусть все узнают. Я хочу, чтобы ты меня любил. А если нет, я пойду и утоплюсь в Тибре.

Не знаю, чем окончилась бы эта наша борьба, если бы вдруг в доме, несмотря на

поздний час, не послышался неожиданный шум, торопливые шаги и голоса. Испуганный, я сказал Намии:

– Это тебя ищут. Подумай, что я скажу твоему отцу, если он тебя застанет у меня. Уходи скорее, Намиа, а завтра я тебе все объясню.

Намиа упрямо спросила:

– Ты клянешься, что завтра мне прямо ответишь, будешь ли меня любить или нет?

– Клянусь Юпитером, – сказал я.

После этой моей клятвы Намиа, также смущенная, соскользнула с ложа и скрылась в темноте. Но шум все продолжался и даже делался более громким. Подумав, что нехорошо оставить девочку без защиты, если мать грозит ей за ее ночное поведение, я наскоро оделся и вышел в атрий.

Там была в сборе вся семья. Два раба освещали атрий фонарями, которые держали в руках. Дядя был одет в сенаторскую тогу и дрожащей рукой творил возлияние перед маленьким домашним алтарем. Тетка и Аттузия, в ночных одеждах, перебивая друг друга, в чем-то его упрекали.

Увидя меня, дядя обратился ко мне:

– Ну, милый Юний, – сказал он, – сегодняшним разговором накликали мы с тобой беду, такую беду, что теперь дело идет о спасении республики.

– Что же случилось? – спросил я.

– Ночью прибыл посол от императора, – ответил дядя, – и привез повеление: немедленно, слышишь ли, немедленно, ночью же, вынести из Курии алтарь и статую Победы, о которых я тебе говорил. Это – конец, так как хотят лишить Рим покровительства богов. Это – последний удар, а затем закроют все храмы, заставят всех Римлян поклоняться Христу, а непокорных будут бросать на съедение зверям. Боги отступятся от нас, и совершится гибель империи.

– Куда же ты идешь? – спросил я.

– Куда? – гордо возразил дядя. – В Курию! Сенат соберется немедленно, и мы воспротивимся исполнению неправого повеления. В такую минуту Римляне должны показать себя Римлянами и спасти империю. Грациан думает, что он может все, но сенат и Римский народ покажут ему, что он заблуждается. Подайте мне плащ.

Тогда яростным голосом заговорила тетка:

– Остерегся бы так говорить о святости императора, при рабах, бездельник! Одних этих слов довольно, чтобы тебе голову отрубили, нас всех бросили в темницу, а имущество наше отобрали в фиск! Ты только и делаешь, что пропиваешь добро, нажитое твоими предками, а теперь вовсе нас погубить задумал!

Аттузия добавила:

– Христианнейший император намерен истребить идолов в Курии, где заседают его сенаторы. Его благодарить нужно за искоренение суеверий, а не противиться его божественной воле. Господи, благодарю тебя, что ты дал мне дожить до этого счастливого часа.

– Молчите, женщины! – строго произнес дядя. – Эти вопросы должны решать мужи.

– Мы тебя не пустим, – решительно сказала тетка, загораживая дяде дорогу. – Завтра же всех сенаторов, которые скажут слово против императора, отправят в ссылку. И куда ты-то спешишь. Думаешь, там без тебя не обойдутся?

– Здесь отец семейства я, – так же сурово

возразил дядя. – По Римскому праву я имею власть жизни и смерти над тобой.

– Да ведь тебя убьют! – уже со слезами закричала тетка, все закрывая своим телом выход.

– Прекрасно и сладко пасть за отечество, – ответил ей Тибуртин стихом Горация.

Он неожиданно сильной рукой отстранил свою жену и с высоко поднятой головой направился в вестибул. Но, сделав два шага, остановился и нерешительно добавил:

– Только вот что, вели подать мне кубок вина, а то на улице холодно.

– Нет тебе вина, пьяница! – закричала тетка с озлоблением. – Хочешь идти, так иди трезвый.

– Да, я пойду и без вина, – сказал Тибуртин.

Он вышел из дому, и за ним последовали рабы с фонарями.

Тетка, рыдая, начала причитать, как плакальщица на похоронах.

– Погибли мы! Завтра же отберут у нас и дом, и земли, и рабов, и все имущество! Будем мы голодать и спать в холоде! Господи Иисусе Христе, разве мало я тебе молилась! Разве не

делала я вкладов в церкви и не давала обетов сделать еще более богатые! За что ты меня так жестоко караешь!

– Успокойся, – уговаривала ее Аттузия, – никто не обратит внимания на их смехотворное заседание. Да и сами они не посмеют пойти против воли императора. Соберутся, посмотрят друг на друга и разойдутся.

Пока женщины разговаривали, новая мысль пришла мне в голову: что Гесперия, муж которой не был сенатором, не должна еще знать новости о императорском эдикте.

Вдруг мне показалось, что я должен немедленно известить ее о нем. Не раздумывая долго, я набросил плащ на плечи и тоже бросился бегом на улицу.

## XV

Я ни о чем не думал, пока не достиг ворот дома Гесперии. Только здесь, на пустынной и темной улице, я спросил себя, как я войду в дом в такой поздний час. Но тотчас мне вспомнились те условные знаки, о которых говорил Юлианий, и я без колебания постучал дверным молотком четыре раза.

Скоро послышался голос раба, спросивше-

го меня:

– Кто там? Я ответил:

– Иисус распятый.

Ворота открылись; я уверенными шагами прошел по ночному саду. В дверь дома я тоже постучал четыре раза и дал тот же ответ на вопрос, кто стучит; меня впустили и в дом. Сонный привратник на меня смотрел недоверчиво, но я ему сказал:

– По важному делу мне нужно видеть госпожу Гесперию.

Привратник вызвал молодую рабыню, которая проводила меня в атрий и, сказав, что известит Гесперию, скрылась.

Только тогда мною в первый раз овладело смущение.

Я стоял, одинокий, в огромном полутемном атрие, слабо освещенном одной лампадой, которую рабыня поставила на подножье статуи Флоры. Все кругом было тихо, и минуты шли с медленностью необыкновенной. Та радость, с какой я бежал к дому Гесперии, постепенно сменялась страхом ее увидеть.

Мне вдруг показалось нелепым, что я ночью тревожу Гесперию, чтобы сообщить но-

вость, о которой через несколько часов заговорит весь Город. Не будет ли Гесперия вправду, если в ответ на мои слова рассмеется и гневно мне прикажет идти домой и не мешаться не в свое дело? Я подумал также, что поступил неосторожно, воспользовавшись тайными знаками, о которых узнал случайно. Гесперия должна будет предположить, что я какими-то кривыми путями, подслушивая на перекрестках или расспрашивая рабов, стараюсь проникнуть в ее тайны с намерениями дурными. Она, может быть, не позволит мне больше никогда приходить к ней и постарается избавиться от опасного соглядатая.

Так размышляя, я с радостью убежал бы из дома Элиана, но уже было поздно отступать, и я с тоской продолжал ждать Гесперию. Наконец послышались шаги, замерцал свет лампад, и появилась Гесперия в легкой stole, накинутаой поверх туники, без всяких обычных украшений, сопровождаемая двумя рабынями, которым она сделала знак удаляться. Гесперия направилась прямо ко мне и спросила без гнева:

– Что тебя привело ко мне, Юний? Не слу-

чилося ли чего дурного с твоим дядей?

Приветливый голос Гесперии привел меня в еще большее смущение; я чувствовал, что мои ноги дрожат, и, собрав все силы, с трудом произнес:

– Domina! Прости, что я тебя потревожил. Этого, может быть, не должно было делать. Но ты ко мне была так добра. Мне показалось, что тебе важно это узнать. Сейчас в дом дяди принесли известие. От императора прибыл посол. Приказано вынести из Курии алтарь и статую Победы. Дядя говорит, что это – погибель империи. Созвано ночное заседание Сената. Хотят принять решения важные.

Я говорил запинаясь и бессвязно, и с каждым словом мне становилось все более и более стыдно за свой необдуманый поступок. Потом, совсем смутившись, я замолчал и стоял, опустив глаза, как провинившийся ученик перед своим литератором. Но Гесперия мне ответила с прежней ласковостью:

– Ты – милый, и хорошо сделал, что прибежал рассказать это мне. Известие, конечно, важное, хотя судьба империи и не зависит от того, та или другая статуя стоит или нет в та-

ком-то храме. Но эдикт Грациана может взволновать тех простых людей, которые на этот алтарь смотрят как на лучший оплот Рима, и последствия могут быть губительны.

Я смотрел на Гесперию, и она, без блеска золотых колец и запястий, драгоценных серег и жемчужных ожерелий, с обнаженными, словно мраморными руками, казалась мне прекраснее, чем когда-либо. Я испытывал такое желание поклоняться ей, как никогда, и мне казалось блаженством даже умереть пред ее очами. Я сжимал губы, чтобы не закричать ей: «Я тебя люблю, Гесперия!» – но она вдруг спросила:

– А как ты вошел сюда, Юний? Почему рабы тебя впустили в такой поздний час?

От стыда мои щеки покраснели, я отступил на шаг, и не знал, что говорить, а Гесперия продолжала спрашивать безжалостно:

– Откуда ты узнал тессеру? ты ее где-нибудь подслушал? тебе ее кто-нибудь сказал?

Что было мне говорить? Следовало лгать, придумывать объяснения, но перед Гесперией лгать я не смел. И, как бросаются в самую середину битвы, я вдруг упал на колени перед

Гесперией, как перед святыней божества, и воскликнул:

– Гесперия! я должен тебе сознаться во всем! Случай выдал мне одну из твоих тайн. Я знаю, кто собирается в твоём доме и зачем. Я знаю, что ты, Симмах, Претекстат и Флавиан замыслили. Я знаю, кого вы назначили преемником Грациана. Но ты видишь, что, узнав эту тайну, я ее ото всех хранил, о ней ни перед кем ни одним словом не обмолвился. И верь мне, что я ее буду хранить свято, хотя бы меня подвергли пытке, – буду хранить не потому, что дал тебе клятву в этом, даже не потому, что ваше дело – это дело мое, это дело всех истинных Римлян, но потому, что я тебя люблю, Гесперия, потому что для меня счастье – служить тебе.

Я сам не понимал, как я решился сделать последнее признание, но мною тогда владело то отчаяние побежденных, о котором говорит Вергилий: «Побежденным спасение одно – не мечтать о спасенье!» Я ждал, что Гесперия рассмеется над словами безумного юноши или гневно мне прикажет замолчать, но когда я поднял на нее глаза, я увидел в том по-

лусвете, который нас окружал, что ее лицо кротко и печально. Она тихим голосом сказала:

– Ты также, бедный мальчик. Меня любить не должно. Я теперь все равно что мертвая статуя и более не буду любить никого. У меня сердце стало твердым, как камень. Ты разобьешься о него, бедный, как маленькая лодка о скалы Пахина. Теперь я люблю лишь одну: ту цель жизни, к которой я стремлюсь. Знай, что я более не женщина, и отойди от меня. Ты – живой и ступай к живым.

Но я, все стоя на коленях, продолжал говорить в безумии:

– Я не властен тебя не любить, Гесперия! Да, я – юноша, я – мальчик, и ты вправе мне сказать, что любовь юноши подобна зыби на реке, сменяющейся с каждым ветром. Но разве не бывает такой любви, которая приходит лишь один раз в жизни и уз которой нельзя разорвать до самой смерти? Я тебя полюбил не потому, что ты всех прекраснее в Риме, не потому, что ты была первая прекрасная женщина, которую я встретил, но потому, что так решили боги, и я тебя буду любить всегда, все

годы моей жизни, – все равно, буду ли я близ тебя или далеко. Я знаю, что я тебя недостойн, что тысячи других, с которыми я не смею соперничать, тебя молят о любви. Но ведь я у тебя ничего не прошу. Я хочу только, чтобы ты мне позволила тебе поклоняться и тебе служить. Единственная награда, о которой я мечтаю, это – тебя видеть, большего мне не надо.

– Так все говорят, – сказала Гесперия.

– Пусть же в первый раз, – воскликнул я, – эти слова станут правдой! Любят не за то, что получают любовь, а потому, что так повелел в боях неодолимый Эрос. Энона продолжала любить своего Парида, им отвергнутая. Гемон умер у могилы своей Антигоны, хотя уже ничего не мог от нее ждать. И я буду тебя любить, хотя бы сердце твое и было, по твоим словам, каменным, хотя бы мне и предстояло умереть у твоих ног.

Тут Гесперия рассмеялась и мне ответила:

– Ты, Юний, опять увлекаешься. Ты все бредишь героями древних сказаний. Но уже пора тебе подумать, что мы живем не в век героев, но людей. Я не Лаконская Елена, и ра-

ди меня умирать не стоит.

– Хорошо, – сказал я, вставая с колен, – я более не буду докучать тебе признаниями любви. Я понимаю, что они тебе не нужны. Но не отвергай меня. Подумай: где ты найдешь более преданного слугителя, нежели я? Ты говоришь, что любишь одно: далекую цель своей жизни. Позволь же мне помогать тебе, служить тому же, чему ты служишь. Я – молод, но в молодости есть сила. Я – неопытен, но отважусь на то, перед чем отступят мужи. Я тебя люблю, и потому буду повиноваться каждому твоему слову, буду тебе верен, как самый честный раб. Доверься мне.

Все время мы говорили, стоя посреди атрия. После же моих слов Гесперия медленно отошла к стене, села в кресло и, опустив голову, задумалась. Я за ней последовал, продолжая свои настояния. Наконец она покачала головой и произнесла решительно:

– Нет, Юний, тебя я не могу вовлекать в наше дело. Мне жаль твоей молодой жизни и жаль твоей матери, которую я знала.

– Гесперия! – с отчаянием ответил я. – Я тебе признаюсь, какая мысль меня занимала

эти последние дни. Поняв, что я тебя люблю, что эта любовь окончится лишь с моей жизнью и что счастья она мне дать не может, я хотел пойти на берег Тибра и броситься в воду. Юпитером клянусь, я так и сделаю, если ты меня отвергнешь. Если я не могу тебе служить, мне больше на этой земле нечего делать – ни теперь, ни после.

– Ты сам не понимаешь, о чем просишь, – сказала Гесперия. – Служить мне – значит отказаться от себя, отказаться от всех радостей и надежд, подчиняться мне, без колебания, хотя бы я приказывала тебе противное чести, служить тому, кому я повелю, хотя бы ты его презирал и ненавидел. Умереть за того, кого любишь, легко, но я потребую большего. Этого ли ты хочешь?

– Этого я хочу, – сказал я.

– Поклянешься ли ты, – спросила Гесперия, – не только никому, ни в дружеской беседе, ни перед палачом, не открывать того, что ты можешь узнать, но и никогда меня не спрашивать, зачем я что-либо делаю или приказываю исполнить? Поклянешься ли, что никогда во мне не усомнишься, не сделаешь

ни одного возражения, не откажешься ни от какого дела, как бы страшным и даже постыдным оно тебе ни показалось?

– Клянусь, – сказал я твердо.

– Клянешься ли ты, – спросила Гесперия, – ничего не скрывать от меня, сообщать мне о себе все, даже свои самые тайные мысли, клянешься ли, по моему приказанию, притворствоваться и лгать, и убить человека, если я потребую, и украсть, если это будет нужно, и не побояться быть позором и посмешищем людей, если я этого захочу?

– Клянусь, – сказал я.

– Клянешься ли ты, – спросила Гесперия, – никогда не просить у меня награды, что бы ты для меня ни совершил, никогда не добиваться моей любви и своей любви ко мне не выражать ни одним словом, ни одним движением? Клянешься ли ты, если все-таки ты встретишь женщину, которая тебе понравится, покинуть ее по одному моему знаку, отречься от нее, отвергнуть ее?

– Клянусь, – сказал я.

– Поклянись еще, – добавила Гесперия, – что ты, если я тебе прикажу прийти к дверям

моей спальни, когда я буду в ней со своим возлюбленным, и стать на страже, будешь охранять вход, как верный воин, что в тот час ты мой покой ничем не нарушишь и никому не позволишь переступить через порог.

– Клянусь, – сказал я с трудом.

– Клянись самой страшной клятвой, – потребовала Гесперия.

– Во всем, что ты от меня требуешь, – воскликнул я, – и во всем другом, что ты можешь потребовать, я тебе клянусь, Гесперия, клянусь Стиксом, – клятва, которой сами боги страшатся. И этой клятвой, снять которую не властны ни олимпийцы, ни подземные боги, я связываю себя на всю жизнь. Стиксом клянусь, Гесперия, тебе повиноваться, быть тебе верным и любить тебя до своей могилы и после, за вратами смерти.

Такую страшную клятву я произнес в пустынном и темном атриуму не пред каким-либо алтарем, но пред ликом женщины, которая для меня была божеством. Выслушав мои слова, Гесперия тихо встала и мне протянула руку, и когда я ее поцеловал, сказала голосом строгим:

– Помни эту клятву, Юний. Я от тебя потребую ее пополнения от слова и до слова. Боги грозно отомстят тебе, если ты ее нарушишь. Но и я умею мстить тем, кто меня обманывает. Теперь уходи, уже поздно, и хотя ты мой родственник, но неприлично, что ты так долго остаешься в моем доме ночью.

– И ты ничего мне не прикажешь, – горестно спросил я, – ты не хочешь, чтобы я сейчас же начал свое служение?

– Ты мне поклялся ничего у меня не просить, – возразила Гесперия. – Когда будет надо, я тебя позову.

Я продолжал печально смотреть на Гесперию, но вдруг она, словно неожиданная мысль пришла ей в голову, быстро добавила:

– Впрочем, приди ко мне завтра, в полдень. Может быть, я тебе дам одно поручение.

Произнеся последние слова, она тотчас повернулась и вышла из атрия, а меня охватила безудержная радость, как если бы самые счастливые обещания мне были даны.

Мне хотелось целовать след ног Гесперии на мраморе пола, и казалось, что воздух атрия еще полон ее присутствием. Опомнив-

шись, я пошел к выходу, растолкал сонного привратника, бегом пробежал через сад и через минуту уже был на улице. Ночной, почти безмолвный Рим, белые стены оград, смутные образы ближних домов, и белые громады отдаленных храмов, и самое темное небо в звездах, – все мне представлялось прекрасным. Я простирал к кому-то, может быть, к незримым богам, руки, невольно, словно пьяный, восклицал бессвязные слова и вслух говорил сам себе:

– У тебя опять есть жизнь, Юний! Ты счастливее всех смертных, потому что можешь служить Гесперии. Ты достиг всего, о чем смел мечтать, потому что она теперь знает о твоей любви. Как хорошо быть в Риме, где живет она, как хорошо быть под тем же небом, которое покрывает ее! Как хорошо дышать, и жить, и чувствовать любовь! Благодарю вас, бессмертные боги!

## XVI

**Б**ыл ровно полдень, когда на следующий день я подошел к дому Гесперии, так как не осмелился прийти раньше. У ворот я сошелся с Юлианием, который на меня посмот-

рел удивленно и спросил:

– Тебя Гесперия звала к себе сегодня?

– Да, звала, – ответил я.

– Конечно, я очень рад, милый Юний, – сказал Юлианий, – что ты сегодня будешь с нами, но все-таки меня удивляет, что Гесперия не спросила моего совета. Я тебя знаю за человека надежного, но она еще с тобой знакома мало.

В атрии нам пришлось дожидаться Гесперии, и Юлианий все время пытался от меня разузнать, почему я был позван сегодня, но я давал ответы уклончивые. Наконец появилась Гесперия, как всегда, одетая пышно, но при свете дня вовсе не похожая на ту ночную женщину, которой еще недавно я давал свои клятвы. Гесперия сказала нам:

– Вы оба будете нужны; я вам дам важные поручения.

– Значит, – спросил Юлианий, – ты Юния привлекла к нашему делу?

– Да, – строго ответила Гесперия, – я ему верю. Не решившись возражать, Юлианий спросил, какое решение принято.

– Сенат вчера постановил, – ответила Гес-

перия, – послать к императору Симмаху с тем, чтобы он просил о восстановлении алтаря Победы. Но сейчас у меня в доме совещаются все наши, должно ли этим ограничиться.

– Может быть, мне следует идти к ним? – спросил Юлианий.

– Нет, – не без легкой насмешки ответила Гесперия, – они все обсудят одни. Тыждидайся здесь. А ты, Юний, – добавила она, – иди со мной: мне надо с тобой говорить.

Я видел, как такой ответ был Юлианию неприятен, сам же я почувствовал себя опять счастливым, как увидевший родную Итаку Улисс, когда услышал этот зов Гесперии. Мне было довольно того, что она отличила меня перед Юлианием и захотела со мной говорить наедине, и я даже не задумался, каково может быть то поручение, о котором говорила Гесперия. Словно на крыльях Меркурия, я последовал за ней в уединенную комнату, полутемную, напоенную ароматом восточных благовоний, где Гесперия, заставив меня сесть и убедившись, что рабы не подслушивают, сказала мне так:

– Юний! Я ничего не делаю наполовину. Я

тебе доверилась и хочу доверять вполне. Я хочу, чтобы ты все узнал, о чем только догадываешься. Я тебе открою все наши замыслы, так что в твоей воле будет погубить и меня, и многих других. Не перебивай меня: я знаю, что ты этого не сделаешь. Итак, слушай. Да, мы хотим спасти империю от той гибели, которую ей готовят последние императоры; да, мы хотим вернуть Риму то значение в мире, какое ему по праву подобает. Для этого мы должны взять власть в свои руки, уничтожив того Грациана, который сделался простой игрушкой в руках безумного Амбросия, ненавидящего древнюю славу империи, заветы отцов и самих богов бессмертных. Да, с нами лучшие люди Рима; Претекстат, понтифик Солнца, посвященный во все сокровеннейшие мистерии, Флавиан, который сейчас при Феодосии, квестор священного дворца, Симмах, знаменитый писатель нашего времени. Видишь, Юний, я разоблачаю перед тобой наши тайны, я называю имена, я отдаю в твои руки нашу судьбу, — потому что, если наши замыслы станут известны, нас ожидает одно: смерть! Отплати же и ты верностью за дове-

рие.

Я мог бы возразить Гесперии, что она не прибавила ничего нового к тому, что накануне я сам сказал ей, не упомянула ни одного имени, кроме тех, которые я тоже называл. Но я под таким был очарованием ее близости и ее голоса, что в ту минуту мне казалось, будто она, действительно, решилась со мной быть до конца откровенной. И это сознание, что Гесперия смотрит на меня как на человека близкого, наполнило меня такой радостью, что я воскликнул:

– Говори мне все смело! Я – с тобой, я – с вами! Я готов на все, самое опасное, и никакая смерть меня не устрасит!

– Я в этом уверена, Юний, – продолжала Гесперия, – но слушай внимательно. Из тех людей, которых я назвала тебе, один Флавиан человек решительный. Под обличем придворного он скрывает сердце истинного Римлянина, не боится опасности и согласен идти ей навстречу. Его нет в Риме, а другие не таковы: они любят рассуждать и действовать с уверенностью в успехе. Мы совещались сегодня утром, что нам должно предпринять по-

сле того эдикта, о котором ты первый мне сообщил ночью. Конечно, не в том дело, что оскорблен еще один из священных алтарей богов: мы были свидетелями за эти годы слишком многих таких оскорблений. Но повеление императора не может не вызвать волнения среди всех, еще почитающих заветы старины, и я прямо сказала, что должно этим волнением воспользоваться. Я предлагала немедленно овладеть Городом, призвать верные нам легионы, Грациана объявить врагом отечества и выбрать нового императора. Присутствуй здесь Флавиан, он настоял бы на этом, но мои слова сочли за пустые мечтания женщины. Претекстат и Симмах повторяли, что мы не готовы к открытой борьбе, что у Грациана пока больше сил, чем у нас, и что преступно вовлекать империю в новую гражданскую войну. Эти доводы одержали верх, потому что люди всегда предпочитают согласиться с теми, кто советует помедлить... Решено удовольствоваться посольством от Сената к императору, которое, наверное, будет безуспешным... Однако я подчиниться такому решению не хочу. Долее медлить нельзя, пото-

му что с каждым годом нас только крепче опутывают сети врагов. Надо быть смелым и помнить, что только тот может победить, кто не боится поражения. Одна против всех я хочу действовать, и ты в этом должен мне помочь, Юний!

Гесперия проговорила эту маленькую речь, может быть, заранее приготовленную, с таким искусством, как оратор в суде, но я мало вникал в ее доводы. С меня было довольно того, что Гесперия меня звала помочь ей, меня избирала из числа всех других, чтобы мне доверить свой замысел, и я сказал в ответ:

– Это то, чего я хочу! Дай мне служить тебе, и я буду счастлив! Приказывай, я буду повиноваться.

Гесперия села рядом со мной, ласково обняла меня одной рукой, а другой нежно стала гладить мое лицо и, наклонившись ко мне близко, тихим шепотом продолжала:

– Они рассчитывают умом, а мы с тобой хотим жить сердцем. Я люблю ту цель, к которой стремлюсь, а ты клялся мне, что любишь меня. Есть ли такое в мире, чего не могут сделать двое, если ими движет любовь? Вдвоем

мы можем больше, чем они с помощью всех своих легионов. Надо только верить и не бояться смерти.

– Приказывай, – повторил я, почти изнемогая.

Запах ароматов и ласка Гесперии опьяняли меня, как самое сильное вино, и я дрожал, как и бреду. В тот миг я не отказался бы ни от чего, что могла потребовать от меня Гесперия, – и она это знала.

– Милый Юний! – прошептала она мне, словно нашептывая любовные признания, – я хочу, чтобы ты совершил дело трудное и страшное. Но после всего, что ты мне сказал, я не хочу обижать тебя, требуя с тебя малого. Для той, кого любишь, сладостно исполнить лишь то, что угрожает смертью.

– Умереть по твоему повелению – это счастье, – прошептал я, задыхаясь от нежного прикосновения руки Гесперии.

Гесперия осторожно отодвинулась от меня, взяла что-то со стола и сказала мне голосом более спокойным:

– Вот здесь две вещи: возьми их. Это кошелек с деньгами, а это – кинжал.

– Деньги? – переспросил я, вставая изумленный. – Зачем мне брать у тебя деньги. Они мне не нужны.

– Я тебе это приказываю, – сказала Гесперия, нахмутив брови. – Они тебе будут нужны. Ты завтра поедешь с Симмахом в Медиолан.

Я растерянно смотрел на Гесперию, не понимая, какое отношение имеют ее слова к тому, что она говорила раньше, и слабо пробормотал:

– Неужели, после всех клятв, которые ты с меня взяла, ты просто хочешь меня от себя отослать?

– Юний! – строго возразила Гесперия, опять приближаясь ко мне. – Ты поклялся ни в чем мне не противоречить, ни о чем меня не спрашивать. Где же твои клятвы? Ты завтра поедешь в Медиолан с Симмахом.

– Я это сделаю, если ты приказываешь, – печально сказал я.

Гесперия опять приблизилась ко мне и опять шепотом добавила:

– В Медиолане Симмах произнесет перед Грацианом свою речь. Император, конечно,

откажет ему, тогда... Тогда ты вспомнишь, что я тебе дала кинжал... Если Грациан умрет, если вся империя будет охвачена бурей, – а кто захочет признать его преемником ребенка Валентиниана? – само собой придет время действовать, и никто уже не скажет, что надо еще медлить, еще выжидать... Ты меня понял?

Я, наконец, все понял, и странное чувство, смешанное из радости и ужаса, наполнило мою душу. А Гесперия стояла предо мной со строгим выражением лица, прекрасная, как Калипсо, и смотрела мне прямо в глаза. Я опять упал перед ней на колени и произнес:

– Ты посылаешь меня на смерть!

– Да, – отвечала она, – может быть, на смерть.

– Я исполню, что буду в силах, клянусь богами, – сказал я.

– Я знала. Что ты согласишься, – произнесла Гесперия.

И вдруг, став, подобно мне, на колени, она охватила обоими руками мои плечи, быстро приблизила ко мне свое лицо и свои губы наложила на мои. Был поцелуй, который, каза-

лось, проник в самую глубину моего существования, такой длительный и сладостный, что я почти потерял сознание. На один миг я не знал, еще живу ли я среди людей или уже отдан тому последнему блаженству, которое, по учению новых философов, встречает достойные души в минуту смерти, в минуту их слияния с Вечным...

Когда я очнулся, Гесперия вновь стояла предо мной такой же строгой, какой была, когда произносила свою искусную речь. Она протягивала мне кошелек и кинжал и говорила:

– Возьми и помни.

Я безвольно взял в руки переданные мне вещи.

– Теперь ступай и пришли ко мне Юлиания.

Я вышел, почти шатаясь, добрался до атрия и, не слушая, о чем меня спрашивал Юлианий, грубо сказал ему:

– Ступай к Гесперии!

Долгое время прошло, пока я вполне оправился: все мое воображение было заполнено поцелуем Гесперии, и мне казалось, что я все

еще чувствую напечатление ее губ на моем лице. Понемногу рассудок вернулся ко мне, и я даже стал думать, что, вероятно, в эту самую минуту она совершает то же, что со мной, с Юлианием, а может быть, и нечто большее...

Но тут послышался шум шагов, и в атрий вошло все общество, бывшее в доме Гесперии: она сама, ее муж, Юлианий и несколько человек, раньше мне незнакомых, среди них – Претекстат и Симмах, оба в сенаторских тогах.

Претекстат был уже дряхлый старик, с лицом Катона, согбенный летами, но казавшийся высоким и повелительным. Нельзя было, видя его, не почувствовать к нему уважения. В Симмахе я узнал того посетителя Гесперии, которого не раз наблюдал во время своих ночных вигилий перед ее домом. Симмах был строен, высок, с благородным лицом, но было в его движениях что-то женственное.

Первым ко мне подошел Элиан, который сказал мне:

– Итак, Юний, ты хочешь помогать нам. Но ты должен знать, что мы не замышляем ничего дурного против божественного импера-

тора. Мы хотим только остеречь его от тех дурных советников, которыми он окружен. И запомни еще, что мы умеем наказывать тех, кто нам изменяет. У нас, как и у императора, везде есть очи и уши. И прежде всего ты должен в доме дяди молчать обо всем, что здесь услышишь. Старик Тибуртин человек достойнейший, но порой бывает откровенен с теми, с кем не следует. Если же ты будешь нам верен, мы твою судьбу устроить сумеем.

Элиан мне был давно ненавистен, и выслушивать от него советы мне было нестерпимо. Я постарался с достоинством ответить, что хочу служить их делу только потому, что считаю его своим, чту богов и люблю вечный Рим. Элиан мои слова принял как пустые речи ученика реторов, но старик Претекстат в ответ одобрительно закивал головой.

– Верно, верно, юноша, – сказал он. – Прежде всего должно чтить богов бессмертных. И не столько следует страшиться человеческих угроз, сколько их кары. На страшные муки обрекают подземные судьи оскорбителей святынь. Флегия и Иксиона вспомни, какие они испытывают в Тартаре мучения. От

всех грехов очиститься можно достойными жертвами, только оскорбителя богов не очистят никакие обряды.

Во время такого разговора я чувствовал себя маленьким мальчиком среди взрослых, но, по счастью, обратился ко мне Симмах, заговоривший деловым голосом:

– Мне Гесперия сказала, что ты поедешь со мной, Юний. Приготовься же, так как мы выезжаем завтра утром. Приходи ко мне, а я живу на Целии, в третьем часу и принеси свои вещи, а также захвати с собой дощечки и стиль; я не беру с собой писца, и ты будешь записывать, что я тебе буду диктовать.

После этого мужчины продолжали говорить о посольстве Симмаха, и меня изумляло, как мало внимания они оказывали Юлианию, который постоянно старался вставлять и свои замечания. Между тем Гесперия, отозвав меня в сторону, сказала мне:

– Тебе здесь больше нечего делать, Юний, уходи. Ступай по улицам, на форумы, в термы и везде слушай, что говорят о эдикте Грациана. Тебя никто не знает, и при тебе остерегаться не будут. Все, что услышишь, ты пере-

дашь Симмаху. О том же, чтобы тебе дано было право выехать из Города, мы позаботимся. Прощай.

– И больше я тебя не увижу? – жалобно спросил я.

Гесперия посмотрела на меня взглядом, в котором мне хотелось прочесть обещание чего-то особенного, и ответила:

– Если ты вернешься, исполнив мое поручение, ты меня увидишь.

Она отвернулась и отошла от меня, а я незаметно для других вышел из дома.

## XVII

Забежав к себе домой, чтобы переодеться и спрятать деньги и пугион, данные мне Гесперией, я в точности исполнил ее приказание.

Я опять бродил по улицам и толкался среди толпы на всех форумах, но, к моему удивлению, нигде не было речи о вчерашнем повелении императора. Вся обычная жизнь Города шла своим порядком. Менялы отсчитывали деньги, покупатели торговались в лавках, щеголи показывали свое умение носить тогу или разные азиатские одежды, в углах

форумов бедняки, сидя на мостовой, играли в кости, таберны были полны и шумны. Говорили обо всем, что занимало Рим и вчера, и третьего дня, словно никто и не знал о эдикте императора, о ночном заседании Сената, о негодовании лучших людей империи. Впрочем, я заметил среди народа немалое число подозрительных лиц, одетых и богато и бедно, которые, подобно мне, прислушивались ко всем беседам, охотно вмешивались в чужие разговоры, и думаю, что не ошибся, приняв их за императорских соглядатаев.

Не узнав ничего на форумах, я пошел в термы Диоклециана, в которых еще ни разу не был. В другое время мое внимание привлекли бы поразительная роскошь их убранства, великолепная мозаика полов, строгость высоких колонн, роспись стен и дивные создания древнего искусства, собранные там волею их строителя. Но в тот день мне некогда было любоваться на мрамор и на статуи, на хитрые украшения, которыми отличалась каждая из многих сотен комнат, образующих эти термы: я добивался одного – услышать, что говорят граждане о судьбе алтаря Победы.

Так как время года было уже холодное, то piscina была почти пуста, большинство посетителей, которые пришли не в библиотеку, спешило перейти из фригидария в тепидарий, и его громадный зал был полон распростертыми на мраморных скамьях голыми телами, около которых хлопотали прислужники, усердно растиравшие их руками и бронзовыми стригилями.

Я также позвал мальчика, чтобы он растер меня, и выбрал место около двух тучных мужчин, со сладострастием предававшихся наслаждениям бани и неумолчно разговаривавших друг с другом. На этот раз я попал удачно, так как речь точно шла об алтаре Победы, хотя говорившие и остерегались быть особенно откровенными в общественном месте.

– Слава Господу Иисусу Христу, – говорил один из лежавших, подставляя под стригиль свои плечи, – может быть, теперь легче будет дышать в Городе, не правда ли, Соллерст? Только в одном Риме, во всей империи, и уцелели эти нечестия. Куда ни пойдешь, везде встречаешь соблазн: храмы идолам открыты, а в нос так и бьет проклятый дым от жертво-

приношений.

– Ну, нет, милый Меробавд, – возражал Соллерст, повертываясь толстым животом вверх, – зачем стеснять верования других? Пусть каждый молится, как ему угодно: боже-ство одно для всех, хотя бы его и почитали под обликом гнусных идолов.

– Как бы не так, – ответил Меробавд, черты лица которого выдавали его германское происхождение, – ты думаешь, греха нет кланяться ложным богам? Это – ересь, мой милый, смертная ересь. За такие мысли и от церкви отлучат. А что же святые мученики, которые пострадали за то, что не хотели поклоняться кумирам? Нет, мы воистину должны прославлять божественного императора за то, что он спасает нас от соблазнов. Дома у себя молись хоть чурбану, если тебе этого хочется, а ведь это стыд и позор был, что в самой Курии курили фимиам бездушной статуе.

Меробавд после своей речи сел на скамье и спросил служителя:

– А ты, любезный, что думаешь об императорском эдикте?

– Светлейший муж, – ответил тот, – как мы можем рассуждать о святости императора! Скажу только, что давно пора все эти богомерзкие статуи разбить молотком да бросать в Тибр. По улицам стыдно ходить, – столько их в Городе наставлено.

– Хорошо рассуждаешь, – сказал Меробавд, – ну, разотри мне бока.

Некоторое время слышался только звук стригиля, очищавшего кожу почтенного германца, и его довольное сопение. Потом Соллерст, желавший, вероятно, несколько переменить разговор, спросил:

– А правда ли, что Сенат единогласно постановил послать посольство к императору и просить о восстановлении алтаря?

– Уж и единогласно! – возразил Меробавд, – вовсе не единогласно, а лишь малым большинством голосов. Да и то потому, что сенаторы-христиане не пошли в Курию. Прилично ли им было идти и обсуждать прямую волю императора, которой должно повиноваться. Кроме того, ты знаешь, что за люди эти идолопоклонники: будешь им возражать, а они изобьют, хотя бы то было и в Курии. Ну,

да кончились их веселые дни, это ясно.

– Ох, – произнес Соллерст, вставая, – пойдем попаримся в калдарии, натремся маслом, да пора и обедать.

Охая от удовольствия, оба разговаривавших направились в другую комнату. Скоро и я последовал за ними, но уже не разыскал их в большой толпе. Служители не преминули сообщить мне, что у них есть красивые мальчики и отдельные комнаты; я, однако, от таких услуг отказался. Наскоро закончив все, что полагается делать в термах, умастив тело в элеотезии, что было не лишнее перед предстоящей мне дорогой, я вышел на улицу.

Еще около часу я безуспешно ходил по Городу, наконец вернулся в дом дяди.

Здесь меня ждало несколько неприятных встреч.

Прежде всего меня остановила тетка, видимо, уже предупрежденная Гесперией о моем отъезде.

– Ты что же это, Юний, задумал? – сказала она мне. – Твои родители поручили мне тебя, чтобы я наблюдала за тобой, как мать, а ты со мной и посоветоваться не захотел? Тебе

учиться нужно, чтобы после деньги зарабатывать, а ты вмешиваешься в дело, тебя не касающееся, да и по не своему уму. Что ты на дядю смотришь: он всегда был глуп и только и умеет, что проживать отцовские имения. Ну, да ведь он – сенатор, его тронуть, может быть, и не посмеют, а тебе свернут шею, как цыпленку. Что захотел, – ехать к императору!

Я возразил решительно:

– Ты знаешь взгляды моего отца. Я уверен, что он мой поступок одобрил бы. И нет ничего дурного в том, что я еду писцом при таком знаменитом человеке, как Квинт Аврелий Симмах. В его обществе я только могу научиться хорошему.

– Тоже бездельник твой Симмах, – ответила мне тетка. – Послушай-ка, что о нем говорит отец Никодим. Что Симмах сочиняет сладенькие письма, от которых иные женщины с ума сходят, еще не значит, что он знаменитый человек. Просто – болтун, который до седых волос за женщинами бегаёт, хотя у него своя семья, жена и дети. Доброму от него не научишься!

Освободившись кое-как от выговоров тет-

ки, я наткнулся на поджидавшую меня Намию.

– Братик, – спросила она строго, – ты помнишь свое вчерашнее обещание?

– Милая сестрица, – ответил я, – ты слышала, что за это время случилось. Я не о чем другом не могу думать. Ведь дело идет о благе всей империи. Когда я вернусь из Медиолана, я, клянусь Юпитером, отвечу тебе на все твои вопросы.

– Я понимаю, что это значит, – сказала мне Намия. – Так всегда говорят, когда не хотят прямо ответить. Но я теперь знаю, что мне должно делать.

Не дав мне сказать ни слова более, Намия скрылась, а я, постояв несколько мгновений в нерешительности, должно ли следовать за ней, решил было пройти в свою комнату, когда подбежал Мильтиад и сказал мне, что меня зовет дядя.

Дядю я застал весьма расстроенным, – видно было, что он выпил вина больше обыкновенного; меня он встретил такими словами:

– Все погибло, племянник! Мы были Римляне, был Рим и великая слава народа Рим-

ского. Увидел я вчера в Курии, что нет более доблести в Городе. Все перепугались, как школьники; все сенаторы оказались трусами. Я слышал, что ты едешь с Симмахом, но я тебе этого делать не советую. Все это посольство схватят и бросят в темницу, и тебя в том числе. И скажу тебе, что сам я в Риме оставаться не намерен. Завтра же собираю свои вещи и еду куда-нибудь в Малую Азию, чтобы обо мне забыли. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову или сослали меня на какой-нибудь пустынный остров.

– Что ты, дядя, – возразил я, – разве можно быть столь малодушным. Тебе ничего не угрожает. Не казнят же всех сенаторов сразу.

– Все возможно в наш век, – ответил мне Тибуртин. – Разве ты забыл, как сто лет назад казнил Аврелиан! Палачи устали рубить головы сенаторам и всадникам. А при Констанции еще большее число нобилей было тайно задушено в тюрьмах. Да и Валентиниан не щадил нас, хотя он был истинный Римлянин, несмотря на то, что христианин. Доживу ли я еще до завтрашнего дня. Почему я знаю: может быть, моим рабам уже приказа-

но удавить меня ночью. Я себе в спальню боюсь идти.

Долго я успокаивал почтенного сенатора, который был так напуган, что каждую минуту просил посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь у двери. Наконец, когда нами был выпит еще секстарий кипрского, я отвел дядю, совсем пьяного, на ложе и с помощью верного Мильтиада уложил спать. Все же Тибуртин заплетающимся языком еще попросил меня положить около него меч, которым владеть он, вероятно, не умел.

– Если придут убийцы, – сказал он, засыпая, – я брошусь на свой меч... как Брут...

Только после всех этих происшествий я добрался до своей комнаты. Мне предстояло собраться в путешествие, и я долго раздумывал над тем, что мне делать с пурпуровым колобом, спрятанным на дне моего дорожного лака. Оставить его в доме дяди мне казалось неосторожным, и я решил, что всего лучше взять его с собой, вместе со всеми другими вещами. Я захватил в дорогу также все свои деньги и лучшие одеяния.

На другой день рано утром я приказал ра-

бу нести свои вещи на Целий, в дом Симмаха. Проводить меня вышла только одна тетка, которая на прощание сказала мне еще несколько язвительных упреков:

– Отец тебе деньги дал на учение, а не на путешествия. Сначала наживи свои, а потом трать их по своему желанию.

– Я не истрачу не асса своих денег, – возразил я, – обо всем позаботится Симмах.

Это несколько успокоило тетку, и она добавила:

– Ну, кто знает, может быть, это путешествие тебе и на пользу будет. Там при императорском дворе прославленный Амбросий. Если только удостоишься ты того, чтобы его видеть, наверное, ты обратишься к истине: это человек святой.

В доме Симмаха на Целии, одном из тех четырех домов, которыми владел он в Городе, строении роскошном и замечательном, застал я уже все готовым к отъезду. Симмах, в дорожном плаще, прощался с женой, Рустичианой, женщиной уже не молодой, и детьми, из которых младший сын был на руках у кормилицы. Вся семья, клиенты и рабы

столпились в атрии, и многие плакали, словно провожая хозяина в опасный военный поход.

У дверей дома стояло несколько каррук и повозка, нагруженная вещами, к которым я присоединил и свой ларь. Симмах позвал меня сесть с ним рядом, в последний раз сказал несколько слов домашним, все его спутники также разместились по местам, и дан был знак ехать. Лошади побежали по мостовой, рабы с криками расталкивали впереди толпившийся народ, провожая нас до городских ворот. Быстро промелькнули уже знакомые мне улицы, дома, храмы, стены форумов и возвышавшиеся над ними дворцы Палатина. Еще раз взглянул я в ту сторону, где стоял дом Гесперии, и, миновав Фламиниевы ворота, мы выехали за город.

Я под плащом сжимал рукоятку кинжала, данного мне Гесперией.

## Книга вторая

### I

Наш маленький поезд состоял из двух каррук, одной простой реды и повозки с вещами. В первой карруке ехал со мной Симмах, во второй – два других сенатора, согласившихся участвовать в посольстве, Пробин и Оптат, в реде – те рабы и служители, которых сочли нужным взять с собой в дорогу.

Оказавшись рядом с таким человеком, как Симмах, я, разумеется, первое время чувствовал себя крайне стесненным. Мое смущение увеличивалось еще тем, что до того времени мне не приходилось ничего читать из прославленных сочинений Симмаха. Он же сначала также держал себя со мной высокомерно, почти не удостоивая меня разговора, и мне оставалось только молча наблюдать памятники, окаймляющие Фламиниеву дорогу, а после однообразные виды южной Этрурии.

Однако понемногу Симмах убедился, что я не так недостоин его беседы, как ему первоначально казалось, и, когда я выказал некоторое знание Римской литературы, он охотно

стал со мной делиться своими мыслями. Так мы заговорили о моем соотечественнике, уроженце Галлии, славном поэте Дециме Магне Авсонии, которого Симмах знал лично, встретившись с ним при дворе Валентиниана в Тревирах, и Симмах мне сказал:

– Это прекрасный поэт, стихи которого насыщены лучшими образцами древности, но последний поэт Римский. Камены, которых приманил в Лациум гений Горация, покидают страну, им негостеприимную. Умирает самый язык латинский, из которого варвары, заполнившие империю вплоть до Сената, сделали новое наречие, звучащее грубо и дико. Погибает знание литературы древней, старые рукописи гниют ненужные в библиотеках, и писцы заняты переписыванием нелепых измышлений разных христианских лжефилоффов. Исторические сочинения заменены краткими извлечениями, вместо новых поэм нам предлагают центоны, составленные из стихов Вергилия, ораторам более негде произносить их речи, и поэты тратят свое время на сочинение гимнов в оправдание божественности Христа. Мы – последнее поколение Римлян,

которым дано наслаждаться великими богатствами нашего прошлого и принести последние камни, чтобы довершить великолепное здание нашей истории. Нам на смену придут люди, которым речь Ливия или Цицерона уже не будет понятна, которые над темными для них преданиями предков будут смеяться, и мир вернется в тот хаос, из которого вывели его основатели империи – Цезарь, Август, Траян.

Эта безутешная речь Симмаха крайне меня поразила, и я со всем должным уважением спросил его:

– Светлейший муж! Почему же ты, думая так, предвидя близкое падение Рима, принимаешь на себя его защиту, едешь сейчас к императору просить о восстановлении в Курии алтаря Победы? Не все ли равно, будет осуществлен эдикт Грациана или нет, если в конце концов Римской славе суждено погибнуть? Стоит ли делать какие-либо усилия, если, по твоему мнению, в лучшем случае можно лишь на несколько лет отсрочить гибель?

Симмах внимательно посмотрел на меня своими умными и добрыми глазами, отки-

нулся в глубь карруки и потом, словно нехотя, несколько ленивым голосом ответил мне:

– Видишь ли, Юний, если Риму и суждено погибнуть, он должен погибнуть с достоинством: слишком прекрасно и величественно было его прошлое, чтобы можно было допустить его до унижительного конца. То, что я сейчас говорю тебе, я обыкновенно таю от всех и считаю преступлением разглашать. Наше дело – до последней минуты оберегать величие древнего Рима. Мы как бы хранители прекрасного, но ветхого храма; мы знаем, что балки в нем подгнили, что стены угрожают падением; но мы не даем этого увидеть непосвященным. Пусть в прежней красоте стоит перед взорами всех славное здание, и пусть не распадется оно по частям, но сразу рухнет, погребая весь мир под развалинами.. Когда приходилось мне стоять у власти, – а я был, как ты знаешь, корректором Лукании и Бруттия, проконсулом Африки и занимал немало других важных должностей, – я всегда требовал, чтобы все обычаи старины исполнялись строго. Так, например, когда я, будучи понтификом Весты, узнал, что одна весталка

В Альбе нарушила свой обет, я настоял, чтобы, по древнему закону, ее живой опустили в могилу. Я старался, чтобы все, что нам завещали века, было сбережено благоговейно, и не позволял дерзновенной руке современности посягать на седины обычая. Я буду до конца моих дней беречь святыню нашей древности и золотому Риму готовить красивую смерть.

Впервые мне приходилось слышать такие речи, и притом их произносил тот, от кого я всего менее мог ожидать подобных предсказаний. Я привык, напротив, когда заговаривали о судьбе империи, выслушивать горделивые панегирики ее мощи, ее новому расцвету, ее вечности. И, несмотря на все мое почтение перед моим знаменитым собеседником, я не мог ему не ответить:

– Нет, я не верю в твои печальные пророчества! Рим вечен, и нет в мире такой силы, которая могла бы его сокрушить. Уж не германцы ли, или не скифы ли придут в Город, чтобы владеть его землей, – те самые, которые способны только на грабежи пограничных областей и, едва увидев блеск образован-

ности Римской и силу империи, бывают счастливы вступить в ряды легионеров или добиться званий гражданина? Уж не безумие ли христиан, которое на время отуманило столько голов, будет способно затмить в Римлянах тот их ясный ум и те их способности, которые были вскормлены тысячелетием? Тяжелые годы пройдут, как туча, подобно тому, как не раз проходили жестокие бури над империей, и опять встанет наш древний Рим в неизменном величии, как глава вселенной. Не читаем ли мы даже на монетах надпись: вечный Город. Вечным ему и судили быть бессмертные боги!

Так и подобным образом разговаривая, мы подвигались вперед по Фламиниевой дороге, которая по своей прочности и прекрасному устройству может быть причислена к удивительнейшим сооружениям древности. Сначала мы беспрестанно обгоняли прохожих и проезжих, потом путешественники стали встречаться реже, наконец наш поезд оказался одиноким среди зимних полей, пересеченных прямым, как тетива лука, каменным путем. После почти четырех часов беспрерыв-

ной езды мы решились остановиться у одной мансионы, чтобы отдохнуть и переменить лошадей.

То было небольшое двухэтажное строение, окруженное конюшнями и другими пристройками, неприятного и угрюмого вида. Перед домом стояло немало разных повозок и толпилось много людей, очевидно, путешественников, ожидающих лошадей и мулов. В открытую дверь была видна обширная комната, тоже полная людей, проводивших вынужденный досуг за кубками вина. Несколько в стороне лежало красивое этрусское селение, с домиками в греческом вкусе, окруженными садами, и все опоясанное невысокой стеной.

Наши рабы поспешно бросились в дом, чтобы предупредить начальника мансионы о том, какие выдающиеся гости приехали к нему, а мы остались перед входом, расправляя члены тела, утомленные от долгого сидения.

– Я так устал, – сказал Симмах Оптату, – что готов отказаться от всей поездки и отсюда вернуться в Город.

Вид у Симмаха, действительно, был очень утомленный, он как-то согнулся и словно с трудом передвигал ноги.

– Однако ты привык к дальним путешествиям, – возразил Оптат, – ездил на Рейн и в Африку и бесчисленное число раз через всю Италию.

– И всего больше я ненавижу путешествия, – возразил Симмах. – В течение многих дней быть лишенным и бани, и книг, испытывать утомление и однообразие пути – это худшее наказание, какое можно выдумать. Из всех смертных я всего более жалею о вечном путешественнике, Адриане.

Между тем появился мансионарий, человек суровый, с чертами лица этрусскими и говоривший с этрусским выговором. Этот разен, как по сю пору именуют себя этруски, приветствовал наше общество весьма почтительно, предложил нам войти в лучшие комнаты дома, но в то же время определенно заявил, что лошадей у него нет.

– Передай ему, Юний, – сказал Симмах, не желавший разговаривать с мансионарием лично, – что мы едем по повелению Сената.

Мы – послы Сената, и нам он обязан дать лошадей немедленно.

Оптат для большей убедительности показал мансионарию диплому на проезд, выданную Сенатом, но этруск остался непоколебим.

– Я назначен, – возразил он, – по повелению божественного императора августа Грациана и обязан лошадей давать лишь тем проезжим, которые представят повеление от префекта или магистра оффиций.

– Негодяй! – закричал Симмах. – А разве Сенат существует не по воле императора! Знаешь ли ты, что я сейчас напишу префекту, и тебя за твое ослушание завтра же бросят в тюрьму! Клянусь Юпитером, несдобровать тебе, если будешь упорствовать!

Этруск при имени отца богов быстро перекрестился и ответил:

– Светлейший муж! Я верно служу императору, и меня префекту не за что отправлять в тюрьму. А лошадей у меня нет, потому что последних я отдал сегодня послам епископа римского.

Оптат и Пробин убедили Симмаха войти в дом отдохнуть, надеясь, что им удастся угово-

рить упрямого этруска. Мы поднялись во второй этаж, где нашли сравнительно хорошие комнаты и где рабы тотчас стали готовить нам обед. Симмах был по-прежнему раздражен и в негодовании повторял:

– В каких-нибудь двадцати милях от Рима с послами Сената обращаются, как с первыми встречными! Первая должность, которую я буду себе просить, это – префектура Италии, и тогда я научу этих потомков лукумонов уважать звание сенатора!

Вскоре появился Оптат, принесший известие важное. Оказалось, что утром, опередив нас, по той же дороге уже проехало посольство от сенаторов-христиан, направлявшееся также к Грациану. В великой тайне сенаторы-христиане собрались накануне у епископа Римского Дамаса, составили письмо к императору о том, что решение Сената было принято насильственно, и поспешили отправить послов в Медиолан.

Симмах при таком известии сразу лишился своей твердости и своего мужества. Странно было видеть, как, после слов Оптата, мгновенно изменилось лицо Симмаха, как он, по-

чти в бессилии, упал на скамью и оставался некоторое время неподвижным, словно пораженный молнией Юпитера. Потом унылым голосом он произнес:

– Если это так, то нам всего лучше немедленно вернуться в Город.

– Помилуй, – возразил Оптат. – Напротив, тем более нам ехать необходимо и должно поторопиться, чтобы опередить епископское посольство.

– Нет, – ответил Симмах, – я теперь знаю, что наше дело проиграно. Мы живем в такое время, когда слушают только христиан. Быть христианином в наши дни – это средство получить милости двора. И если к императору явятся два посольства, одно – с именем Сатурния, другое – Христа на устах, нет сомнения, что благосклонно будет принято только последнее. А Дамаса я знаю: это человек лукавый и неукротимый; чего он хочет, того всегда добьется.

Уныние, овладевшее Симмахом, не помешало ему, как, впрочем, всем нам, хорошо победать, тем более, что местное, фалернское, вино было превосходно. После обеда Оптат

отправился опять разговаривать с мансионарием и в конце концов, с помощью разных угроз и обещаний, добился того, что тот дал нам лошадей. Как я подозреваю, он с самого начала был уверен, что уступит, и только, исполняя чей-то тайный приказ, старался нас задержать сколько мог дольше.

Переменив лошадей, мы все же подвигались далее довольно медленно, так как позднее время года значительно испортило дорогу. С каждой новой милей я чувствовал все большее и большее утомление, Симмах, по видимому, тоже, и наши с ним беседы прекратились. Думать о том, что ждало меня в Медиолане и что мне представлялось чем-то смутным и страшным, мне не хотелось, и я предпочел дремать. Было совсем темно, когда мы добрались до города Старые Фалерии, где было решено переночевать.

Попав в гостиницу, я думал, что мне позволено будет тотчас подставить свою голову под сладкие маки Морфея, но Симмаху, который перед тем казался совершенно изнеможенным, именно тогда пришло желание работать. Он позвал меня к себе в комнату, ве-

лел подать свет и начал мне диктовать письма. Почти засыпая, непослушной рукой выводил я буквы на воске, и стил едва не выпадал из моих пальцев.

Поразило меня то, что Симмах, который говорил даже в небрежной беседе чрезвычайно красноречиво, начиная диктовать, едва ли не вполовину утрачивал всю яркость своей речи. Все же в первоначальном наброске письма еще находилось немало блестящих выражений, смелых оборотов и красивых сравнений. Однако, продиктовав письмо вчерне, Симмах начинал его исправлять, преимущественно выкидывая слова, ему казавшиеся лишними, и сокращая несколько предложений в одно. Понемногу от письма оставалось всего несколько строк, по большей части сухих и холодных, хотя и написанных с изяществом и безукоризненным латинским языком.

– Я должен заботиться о своих письмах, – как бы извиняясь, сказал мне Симмах, – это, вероятно, единственное, что сохранится от меня, как писателя. Уже теперь есть лица, которые собирают мои письма, словно письма

Цицерона или Плиния, и составляют из них сборники для потомства. Знаешь ли: случилось, что моих рабов, отправленных с письмами, схватывали по дороге особо посланные люди, не с целью грабежа, а только затем, чтобы списать мое письмо и список доставить своему господину.

Последнее сообщение Симмах сделал не без скрытого самодовольства.

Было, кажется, за полночь, когда Симмах меня отпустил, и я, кинувшись в постель, не обращая внимания на множество клопов, напавших на меня с не меньшим ожесточением, чем когда-то на Гитона, заснул сном непробудным.

## II

Утром мы возобновили наше путешествие. Дорога становилась все более затруднительной, так как местность постепенно делалась более гористой. К тому же начался непрерывный дождь, слепивший глаза лошадям и заливавший нас, несмотря на плотную покрывку карруки. В то же время мы страдали и от холода, против которого не помогало даже вино, которое мы с собой везли в изоби-

лии.

Симмах сделался угрюм и неразговорчив и только время от времени высказывал самые безотрадные суждения. Так, например, глядя на заброшенные поля, которые когда-то были возделаны, на одичалые маслины, на покинутые дома, с дверями, заколоченными досками, что нередко были видны по сторонам дороги, он говорил:

– Посмотри, Юний, какая пустынная страна. Италия разорена налогами и междоусобиями, жители покидают селения и разбегаются. Скоро не останется италийцев, и все Римляне будут состоять из галлов, испанцев и африканцев.

Или, видя плохое содержание дороги, он жаловался:

– Никто не заботится о поддержании того, что сделано предками. Сила Рима – в его дорогах, которыми он связал весь мир в одно целое, по которым он может перебрасывать товары и легионы из одного края света в другой. Прадеды наши знали, что надо делать: строили дороги, мосты, крепости. А в наше время воздвигают базилики Христу и его свя-

тым или деньги государства вкладывают в монастыри, чтобы они лежали там без пользы.

Впрочем, при всех трудностях пути, мы к позднему вечеру доехали до Мевании, маленького городка в красивой долине, хотя повозка с нашими вещами и отстала от нас далеко. В общем за этот второй день мы сделали больше пятидесяти миль, что можно назвать хорошей скоростью. Однако Оптат и этим был недоволен.

– Цезарь, – говорил он, – проехал однажды путь от Рима до Родана, почти восемьсот миль, меньше чем в восемь дней! Ему случилось в день проезжать по сто двадцати пяти миль. Ицел привез Гальбе из Рима в Клунию известие о смерти Нерона в неполные семь дней. Посол, везший при Вителлии в Рим известие от прокуратора Бельгики о возмущении четвертого и двадцать второго легиона, проскакал тысячу четыреста сорок миль в девять дней. Тиберий, когда спешил из Тицина к больному Друзу в Германии, сделал в сутки двести миль!

– Довольно, милый Оптат, – возразил Сим-

мах, – мы знаем, что ты человек начитанный. Но все, тобой перечисленные, ехали или за наградой, или по важному делу. А куда нам спешить? Мы едем за немилостью императора, а при этом можно и не торопиться. Да и пусть сначала при дворе уляжется впечатление от посольства Дамаса. Мы поступим умно, если дадим себя перехитрить.

После Мевании Оптат пересел в карруку к Симмаху, а я поместился с Пробином. Это был человек уже далеко не молодой, который со мной разговаривал, как с мальчиком. Но он сообщил мне много важных сведений о императоре и его дворе, которые мне не были известны.

– Грациан, – говорил он, – почти отказался от власти. Целые дни он проводит в огороженных лесах, где забавляется тем, что стреляет загнанных туда животных. Недаром его сравнивают с Коммодом. Все эдикты, издаваемые от имени императора, написаны Амбросием. Это он – истинный правитель империи. Он овладел душой молодого императора и подчинил ее себе, угрожая ему мучениями ада и обещая блаженство после смерти за со-

действие целям христиан. Пока Грациан следовал советам своего первого наставника, знаменитого Авсония, он был правитель деятельный и во всех возбуждал лучшие надежды. Тогда его равняли не с Коммодом, а с Титом Счастливым. Грациан выказал себя даже хорошим полководцем в походе против аллеменов. Но как поступать должен человек, когда он уверится, что вся земная жизнь – лишь пустая суэта, что настоящее существование начинается лишь за дверью гроба? что истину знают одни христианские священники и что им дана власть прощать грехи и тем открывать душе путь к вечному блаженству? Когда Амбросию удалось все эти убеждения вложить в слабую душу юноши, – тому ничего другого и не осталось делать, как предоставить правление империей епископу, просвещаемому непосредственно божеством. Сам же Грациан заботиться не о судьбах империи, а о спасении своей души, стараясь в жизни совершать как можно меньше грехов или, по крайней мере, только такие, которые тот же Амбросий может ему немедленно отпустить.

– Таким образом, – спросил я, – у нашего

посольства нет никакой надежды на успех?

– Не совсем так, – возразил Пробин. – Во-первых, мы можем надеяться на доводы такого замечательного оратора, как Симмах, который составил речь искусную и умеренную. К тому же Симмах, в родстве с Амбросием и, может быть, лично сумеет его убедить не раздражать население Города. Во-вторых, можно будет постараться поколебать значение самого Амбросия. Тебе не неизвестно, что среди христиан давно враждуют две партии: последователей учения Афанасия и учеников знаменитого Ария. Императрица Юстина, мать соправителя Грациана – мальчика Валентиниана, придерживается арианства. Поэтому Амбросий постарался устранить ее от дел правления, заставил жить вдали от двора, в Сирмии, и лишил Валентиниана той доли власти, какая ему по праву принадлежит. Мы же постараемся соединиться с приверженцами Юстины и общими усилиями одолеть Амбросия, которым многие недовольны и среди христиан.

Все эти соображения мне показались малоутешительными. Но все же я был очень бла-

годарен Пробину за его рассказы, объяснившие мне положение дел. Кроме того, Пробин сообщил мне немало важного о самом Амброзии, о разных видных лицах, состоящих при императоре, а также о том, как я должен буду вести себя при дворе, если мне придется туда явиться с посольством, и какими титулами именовать различных сановников.

Когда мы молчали, я предавался воспоминаниям о Риме, о Гесперии, о ее поручении. Впрочем, о последнем и старался думать как можно меньше, решив все предоставить воле Фортуны, богини с глазами, закрытыми повязкой. Зато я сладостно вспоминал все подробности того поцелуя, который мне дала Гесперия, и мне не было скучно бесконечное число раз представлять, как я видел близко, близко от себя ее прозрачное лицо и алые губы.

Третью ночь мы ночевали на маленькой мансионе, расположенной в горах, так как непогода решительно не позволяла нам продвигаться вперед. Здесь Симмах, который сказал, что чувствует себя больным, решительно объявил, что он далее не поедет и отсюда вер-

нется в Город. Двум его друзьям пришлось очень долго его уговаривать, как плачущего ребенка.

– Из-за чего мы себя мучим, – спрашивал Симмах, – блуждая в холод и в дождь по большой дороге, ночуем в грязных гостиницах и терпим всякие лишения? Никому не будет никакой пользы от нашего посольства, а себе мы испортим и желудки, и настроение духа, и, может быть, всю жизнь. Три дня я не держал в руках не одной книги. Ах, я сейчас с восторгом стал бы читать даже Толкования Оригена!

С большим трудом Симмаха удалось успокоить, и наутро он, конечно, первый стал всех торопить в дорогу.

К вечеру четвертого дня мы добрались до берега моря и остановились в городе Фанум Фортуны. Благодаря тому, что в этот город ведет Фламиниева дорога, здесь поворачивающая на север, в нем всегда царит оживление. В гавани, хотя над морем свирепствовали и Эвр и Нот, стояло много судов, улицы были полны разноплеменным людом, многочисленные таберны шумны. Весть о приезде

Симмаха быстро разошлась по городу, к нашей гостинице, носившей название «Тритон трубящий», собралась толпа юношей, желавших видеть знаменитого оратора, и нас сочли нужным посетить с приветствием представители городской курии. Это все ободрило Симмаха, и он перестал жаловаться на трудности путешествия.

От Фанума Фортуны дорога сделалась легче, и погода нам благоприятствовала. В больших городах, через которые нам случалось проезжать, появление Симмаха тоже возбуждало любопытство многих, и это явно льстило его самолюбию. Мы всячески торопились, тем более что епископское посольство далеко опередило нас, но все же потратили еще четыре дня на переезд через Умбрию и по Эмилиевой дороге через Галлию Цисальпинскую. Из Пармы мы отправили одного из рабов верхом в Медиолан известить о приближении Сенаторского посольства. Сами же мы только на исходе восьмого дня путешествия, совершенно измученные дорогой, оставив повозку с вещами позади, завидели, наконец, вдали стены Медиолана.

**В** Медиолане наше посольство остановилось в доме члена местного сената, имевшего титул *comes vacans*, Тита Коликария, человека богатого и давнего друга Симмаха. Коликарий встретил нас с великим почетом, отвел всем четверым, и мне в том числе, великолепные комнаты и обещал всяческое содействие в нашем деле. Но в первый вечер мы ни в чем ином не нуждались, кроме освежительной бани, масла для растирания утомленного тела и хорошего ужина.

На другой день утром рано я пошел осматривать город, ставший за последние годы главным местопребыванием императорского двора. Блеск Медиолана меня поразил, несмотря на то, что во мне еще были живы впечатления Рима. Я видел пышные мраморные перистилии, уставленные прекрасными статуями, много роскошных домов, прямые, широкие улицы, величественное здание закрытого театра, громадные бани Геркулеса, на окраине города обширный цирк, — и все это было окружено мощной стеной с глубокими рвами. Но улицы, после Римского шума,

казались мертвыми и пустынными, хотя особенно часто встречались на них люди, торжественное, шитое золотом одеяние которых выдавало в них высших сановников.

Когда я вернулся домой, меня к себе позвал Симмах, и я удивился неожиданной неутомимости этого человека. Сразу забыв о трудном восьмидневном пути под зимней непогодой, он принялся за работу с таким рвением, словно не покидал своего Римского дома. Симмах продиктовал мне больше десяти писем, правда, коротких, но из которых каждое было образцом изящества и притом ни одно не походило на другое ни по языку, ни по высказанным мыслям. Эти письма были немедленно отправлены с рабами во все концы империи, в том числе к Флавиану в Константинополь.

На обед Коликарий пригласил большое общество, так как все лучшие люди города желали увидеть Симмаха. Благодаря его вниманию, я также участвовал в этом замечательном симпозиуме, о котором, конечно, не умолчат летописи нашего века. И тот Медиолан, где я ждал для себя чего-то страшного, волчьих пастей Сциллы, в первый день моего в

нем пребывания встретил меня веселым праздником и мудрыми речами философов.

Хозяин дома не поскупился на пышное убранство триклиния, в котором происходил пир. Не говоря о том, что стены и колонны комнаты, а также маленькая сцена, находившаяся в глубине, были, невзирая на время года, пышно убраны цветами и зеленью, что лоджа были устланы дорогими коврами, а стол заставлен серебряной посудой, — но было здесь немало других ухищрений, обличавших ловкость и изобретательность домоправителя. Так, множество маленьких лампад было помещено в прозрачные вазы, сквозь которые свет проходил причудливо-измененным; другие лампы были поставлены позади больших стеклянных сосудов, наполненных водой, в которых мелькали разноцветные рыбы. Мальчики-рабы, прислуживавшие за столом, были разделены на смены, и каждая из них одета в одежды одного и того же цвета, так что зал то наполнялся толпой служителей в белом, то в зеленом, то в желтом; у всех при этом были венки на головах. Тихая музыка, доходившая откуда-то издали, словно че-

рез водное пространство, не смолкала во все время обеда, независимо от того, что на сцене появлялись то мимы, то плясуньи, то декламаторы стихов.

Приглашенных собралось не меньше, как человек сорок, но имен большинства из них мне не удалось узнать; я только мог заключить, что многие из них принадлежали к высшим сановникам империи, так как одни носили консулярскую тогу, другие – белую одежду кандидатов, третьи – одежды, великолепно вышитые золотом с золотыми пряжками, и, обмениваясь между собой речами, они беспрестанно употребляли титулы: *vir clarissimus*, *illustrius*, *spectabilis*, дукс и комит. Женщин было сравнительно немного, но все они были одеты также богато, в шелковые столы с богатыми инститами, с головы до ног сверкали золотом и драгоценными камнями, так как не только носили ожерелья, запястья, кольца, но помещали алмазы и сапфиры даже на шпильках в волосах и на застежках сандалий. Скромнее других была одета жена нашего хозяина, молчаливая и всегда грустная Фальтония.

Коликарий своим поведением на пире несколько не напоминал незабвенного Тримальхиона, но, напротив, старался оставаться незамеченным, предоставляя гостям полную свободу. Так как мне указали одно из самых скромных мест, – что было естественно, – то первое время обеда я не мог слышать ничего из тех разговоров, которые происходили на другом конце стола, где Симмаха и двух других сенаторов поместили около хозяина и его жены. Я довольствовался тем, что забавлялся ловкими мимами, с антихийской ловкостью разыгравшими какую-то пантомиму, смотрел милых арабских и испанских плясуньей, скакавших вокруг поставленных вверх острием кинжалов, и не отказывался от изысканных блюд, которые в бесчисленном числе подавали рабы, сменяя закуски, состоявшие из искусственных яиц, начиненных ломтиками сони, из тоненьких колбасок, из сирийских слив и сицилийских фиг, – всякого рода рыбами, разными мясными кушаньями, куропатками, фазанами с затейливыми приправами и еще многим иным. Не отказывался я и от великолепных вин, которыми мальчишки-ви-

ночерпии непрерывно наполняли наши кубки, следуя всем приглашениям «царя пиршества», хозяина и отдельных гостей, – выпить здоровье божественного и возлюбленного императора, славного гостя Симмаха, его спутников Оптата и Пробина и других, на что, конечно, следовали предложения от членов нашего посольства – выпить здоровье приветливого хозяина, его жены, их родственников и разных именитых граждан Медиолана.

Я, впрочем, обменялся несколькими словами с юношей, возлежавшим рядом со мной, который, судя по всему, принадлежал к отряду доместиков и имя которого было Ардабур. Я у него спросил имена некоторых гостей, и он, удовлетворив мое любопытство, добавил:

– Это все – цвет медиоланского общества. За последние годы в нашем городе собрались замечательнейшие люди всей империи. Лучшие ораторы, знаменитейшие художники и поэты, великие философы, – все съехались в Медиолан. Отсюда теперь распространяются по всей земле законы изящества и хорошего вкуса, и нет города, где жизнь была бы более приятной, веселой и утонченной.

Понемногу изобильные кубки, по выражению Горация, всех сделали красноречивыми, и тогда на том конце стола, где помещались почетные гости, возник настойчивый спор, скоро привлечший общее внимание. Другие гости невольно смолкли, и все могли присутствовать при замечательном состязании ума и остроумия знаменитых собеседников.

Молодой человек (о котором Ардабур мне сообщил, что это – племянник примицерия священной спальни, Флавий Эций, мечтающий стать новым Тацитом, а пока так запутанный в долгах, что у него и волоска свободного нет) говорил, отвечая, по-видимому, на речь Симмаха, которой я не слышал.

– Нет, в этом я тебя правым не считаю. Как ты хочешь, чтобы жизнь Римская оставалась неизменной в течение столетий? Что не изменяется, то и не живет, и что было прекрасно для древности, для нашего времени уже непригодно. Справедливо, что люди наших дней не похожи на современников Цицерона, у нас другие обыкновения, другие одежды, и говорим мы языком, отличающимся от их языка. Но разве эти современники Цицерона

были похожи на квиритов Ромула и Тация? Какой именно век ты хочешь оковать навеки, запретив старому Сатурну исполнять свое дело? Почему ты считаешь, что истинные Римляне жили в одно время с Катилиной, а не с Фабрицием или не с Александром Севером. Во дни Ливия уже не понимали договоров, писанных старинным языком, и надписей на древних статуях. Это потому, что язык латинский усовершенствовался. Зачем же ты хочешь нас заставить говорить языком Ливия и изгнать из нашей речи все те новые слова и обороты, которые ей придают новое разнообразие и новую красоту? Ты осуждаешь, что мы переняли одежду у народов азиатских, — но ведь она красива и приятна для глаза, а старая Римская тога поистине надоела, да и неудобна. Если бы Фабий Пиктор рассуждал, как ты, он не должен был бы вводить в Рим искусство живописи, ссылаясь на то, что раньше этого у Римлян не бывало. Ты недоволен, что способ управления империей и провинциями изменился. Но ведь только это и дало возможность Римлянам вновь ввести порядок в свои безмерные владения, которые

при Галлиэне едва не распались на отдельные царства. Великий Диоклециан изменил форму правления, но разве не то же сделали древние Римляне, завоевав Сицилию и назначив для ее управления третьего претора? Нет, из того, что на нашей памяти все в империи изменялось, пошло другим порядком, приняло новые формы, вывожу я именно то, что Рим жив и силен, что он с каждым веком обновляется, как дерево, дающее новые ветви и покрывающееся новой листвой. А ты хочешь, чтобы Рим стал засохшим стволом, старую кору которого должно благоговеино беречь.

Эций говорил с уверенностью человека, который привык, что его словами восхищаются, не особенно громким, но отчетливым голосом, делая небольшие, но плавные жесты, оттеняя заключительные клавзулы и явно обращаясь ко всем присутствующим. Речь была выслушана с величайшим вниманием и была сопровождена одобрительными возгласами. Все обратили глаза на Симмаха, словно гости Дидоны на отца Энея, и славный оратор, который слушал своего противника с благосклонной улыбкой, помолчав немного,

ответил так:

– Мой дорогой Эций! Не сам ли ты опровергаешь себя, когда выступаешь врагом латыни Цицерона в речи, которая может служить образцом по чистоте языка. Дело в том, что есть в прошлом хорошее и дурное. И если от дурного должно избавляться, заменяя его лучшим, то хорошее подобает охранять и оберегать. Что же делает наш век: не стремится ли он уничтожить все старое, преследуя только новизну и не заботясь о том, хороша она или нет. Благородную, белую тогу, которая Сенату в глазах Кинея придала вид собрания царей, сменили на тяжелые одежды, превратившие людей в неуклюжие статуи; простоту старинных нравов – на азиатскую роскошь и на африканский разврат, убившие доблесть и мужество; ясность языка Плиния – на напыщенную ретику или на такое наречие, в котором больше слов германских или скифских, чем латинских. Наши древние учреждения были созданы Римлянами и испытаны в течение веков мира и войны; а новые – выдуманы придворными, заботящимися лишь о своих доходах, а не о благе империи. Ты спрашива-

ешь, какой век избрать для подражания, – тот, в какой могущество Рима возрастало, а не падало; тот, когда рождались великие полководцы, писатели и философы, а не тот, когда остается только вспоминать славное прошлое. Пусть гибнет то, что несовершенно, но не должно того касаться, что образует самую сущность имени Римского. Если все изменять, нам придется от этого имени отказаться, так как ничего общего с Римом древности у нас не останется. Хочешь ли ты, чтобы вместо империи Римской явилась империя Германская и чтобы законы вселенной писались на языке франков? По-моему, то будет не только погибель Рима, но и мира.

– Не все было так прекрасно в старину, – воскликнул Эций, не желавший уступать. – Или ты забыл поборы Верра в Сицилии? продажу голосов в трибутных комициях? моря, в которых кишели пираты? дороги, полные разбойниками? Забыл, что там, где прежде были пустыни, теперь стоят цветущие города? что Галлия, которая после Цесаря славилась только окороками и пивом, теперь прославлена своими реторами? что Испания и

Африка полны библиотеками? что жизнь стала утонченнее, что образованность распространилась по всей земле, что весь народ стал просвещеннее? И, клянусь Кастором, такой философ нашего времени, как Ямблих, стоит болтуна Цицерона, такой историк, как Аммиан Марцеллин, не ниже Тацита, такого математика, как Папп Александрийский, не имела древность ни Греции, ни Рима, и за одну «Моселлу» нашего Авсония я отдам всего Лукана с Силием Италиком в придачу!

Это возражение Эций произнес с такой страстностью, конечно, намеренной, что невольно привлек к себе сочувствие слушающих, и Симмах, сознавая, что победа не на его стороне, вместо возражения обратился к язвительной насмешке.

– Послушать тебя, – сказал он, – богиня Астрея вернулась на землю, вновь наступил золотой век. Может быть, ты одобряешь и то, что Римляне отказались от религии своих предков и строят храмы новому божееству.

– Что ж в этом дурного! – уже запальчиво воскликнул Эций. – Разве не предрекали древние поэты, что царство Юпитера должно кон-

читаться, как имело свой конец царство его отца Сатурна, и разве Эсхил не сказал нам, что придет некто, который Юпитера

*с неправого  
Низвергнет трона в неизвест-  
ность!*

Почему мы знаем, что не кончилось царство Юпитера? Симмах хотел опять что-то возразить, но хозяин дома, Коликарий, быстро вмешался и сказал:

– Милые мои гости! я не хочу, чтобы в моем доме подымали спор о религии и подвергали обсуждению ту веру, которой следует божественный император. Мы все благодарны за любопытные мысли, высказанные нашим молодым другом, Флавием Эцием, и еще более за то, что наш знаменитый гость, Квинт Аврелий, захотел поделиться с нами своим красноречием и мудростью. Я же вам предлагаю выпить за вечный Рим и за вечную славу народа Римского. Мальчики, наливайте!

В шуме кубков все слова потонули, и хотя я видел, что спор еще продолжался, но до меня долетали только отдельные слова, «редкие

пловцы, появившиеся в обширной пучине». В то же время на сцене показались девушки с цимбалиями и крепитакулами и начали исполнять какую-то шумную песню.

Пир продолжался до позднего вечера и закончился настоящей овацией в честь Симмаха, которого увенчали лавровым венком и в честь которого особые певицы пропели нарочно для того написанную оду.

#### IV

Когда я на следующий день, после пира, утром вышел на улицу, чтобы освежить голову, внезапно воспоминание о данной мною клятве встало передо мной, неотступное, и, сколько я ни пытался отогнать его, как летом отгоняют назойливую муху, оно отовсюду направляло на меня свой натянутый лук. Едва ли не в первый раз я понял весь ужас того положения, которое я согласился принять, и потому ли, что разлука с Гесперией несколько охладила мое юношеское сердце, или потому, что все же для человека нет ничего страшнее, чем темная смерть, мною овладел самый постыдный страх. Глядя на мраморные колонны и величественные сте-

ны медиоланских домов, я с тоской спрашивал себя, неужели в этом самом городе мне суждено изведать ужасные минуты убийства, а потом мучения чудовищных пыток и жестокую смерть.

Однако ни одной минуты я не помышлял о том, чтобы отказаться от исполнения своего обещания, скрепленного страшной клятвой. Без колебания я повторял себе, что теперь отступить уже поздно, потому что отступнику были бы навсегда закрыты пути к Гесперии, а по-прежнему я в жизни не видел иного счастья, как быть близ нее, и такое решение огненными буквами было вписано в моей душе. Но если прежде я был готов на все, чтобы только выполнить волю Гесперии, был готов открыто, где-нибудь во дворце или на площади, перед тысячами зрителей, броситься на Грациана и, исполнив свое дело, отдать себя в руки судей или палачей, – то теперь я начал искать, нет ли возможности совершить то же самое тайно, так, чтобы уберечь свою жизнь, возвратиться в Город и там, может быть, дожждаться награды за свою верность.

Размышляя об этом, я бродил по улицам

Медиолана, но никакого решения трудной задачи мне не представлялось. Устав от раздумий, бесплодных, как поиски первого начала всего сущего, я пытался изменить направление своих мыслей. Мне уже говорили о том, какую толпу слушателей собирает Амбросий, проповедуя в новом, им выстроенном христианском храме. К этому храму я и направился, желая также послушать знаменитого оратора, тем более что был тот седьмой день недели, который особенно христианами чтится. «Этим я исполню совет тетки, – говорил я себе, шутя, – посмотрим, обратит ли меня красноречие Амбросия к вере во Христа».

Храм действительно был наполнен посетителями, и притом, в нем было множество людей, которых одежда и осанка обличали их высокое положение: женщины в богатых столах, с пальцами, совершенно закрытыми драгоценными кольцами, молодые щеголи с завитыми волосами и раскрашенными лицами, пожилые сановники в расшитых золотом тогах, протекторы, домашники. Соответственно этому перед храмом стояла целая толпа рабов, белых и черных, и длинный ряд носилок.

Отряд воинов охранял порядок, и мне не без большого затруднения удалось проникнуть в храм.

Уже давно я не бывал в христианских храмах, и меня поразило пышное, хотя и безвкусное убранство, представившееся моим глазам. Стены были выложены цветным мрамором, в разных местах были вставлены мозаичные картины, везде виднелись мраморные изваяния. В храме совершалось служение, но присутствующие так громко переговаривались между собой, шутили и смеялись, что мне, который был принужден стоять у самых дверей, ничего не было слышно. Только когда настало время проповеди, все стихло, и все приготовились слушать.

На кафедру взошел не старый еще человек, с прекрасными Римскими чертами лица, с властительным взглядом, немного начинавший лысеть, отчего его лоб казался больше, и с красивой, густой, тоже немного седой бородой. Едва он заговорил, в храме наступила такая тишина, какая бывает в театрах, когда актер приступает к самому важному месту трагедии, и голос проповедника, суровый и увле-

кающий, сразу наполнил все пространство. Вот приблизительно что в тот день говорил Амбросий:

«Вы слышали, что сказал Спаситель наш: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“. Но кто суть друзья наши и как мы должны любить их? Должны ли мы, исполняя заповедь любви, нарушать другую заповедь, высшую: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим“? Велик подвиг любви, но позволено ли во имя ее совершать поступок нечестный? Философы спрашивают: можно ли ради любви к другу предать родину? должно ли стать предателем, чтобы исполнить завет любви? Ответим им: „Нет, выше заповеди любви к друзьям поставлена другая – любви к Богу. Если любовь твоя побуждает тебя пойти и совершить убийство, вспомни, что раньше сказано с высот Синая: “Не убий!” Служите правде, которая написана в сердцах ваших, и не измените ей даже ради любви. Апостол пишет галатам, чтобы они носили бремена друг друга, во имя любви. Но помогайте друзьям вашим

добрым советом, а не злом. Если во имя любви к другу совершите вы поступок дурной, вы только двойное зло причините, – себе и другу своему. И помните, что любовь не своекорыстна. Кто ждет за свою любовь награды, тот любви не имеет...”

Против своего ожидания, я не без любопытства вслушивался в развитие мысли проповедника, который словно намеренно для меня избрал тему своей речи, когда внезапно кто-то тихим голосом около меня назвал мое имя. Я обернулся и увидел, что какая-то женщина, быстро удаляясь, сделала мне знак следовать за ней. Изумленный, я вышел из храма и тут узнал Рею.

– Реа! – воскликнул я, пораженный. – Каким образом ты здесь? Ведь не на крыльях же Персея и не на колеснице Триптолема ты перенеслась из Рима в Медиолан! Или ты волшебница?

– Молчи, – возразила Реа, – и иди за мной.

Спорить в густой толпе, теснившейся у входа в храм, было неуместно; я последовал за Реей и, едва мы оказались в месте более уединенном, заговорил опять:

– Чего ты от меня хочешь? Зачем ты меня преследуешь? Я не хочу быть с тобой! Оставь меня!

– Юний, – произнесла Реа строго, – вчера я весь день ждала, но ты не вышел из дому. Сегодня я нашла тебя, и ты должен идти со мной. Пойдем.

– Я с тобой не пойду! – воскликнул я гневно.

Реа покачала головой и, опять сделав мне знак следовать, пошла вперед. Я колебался, что мне должно делать. Но здесь снова мысль о пурпуровом колобии, хранившемся в моем ларе, представилась мне. «Хорошо, – сказал я себе, – в последний раз я исполню ее желание, чтобы, наконец, навсегда разорвать гибельные узы, связывающие меня с этой странной девушкой».

Я последовал за Реей.

Мы шли по направлению к окраине города, к тем воротам, откуда был выход к реке. Там стояли маленькие, старые домишки, несколько не напоминавшие нового Медиолана, потемневшие от лет, с деревянными надстройками. Оглянувшись и убедившись, что я

иду за ней. Реа вошла в одну из дверей, зиявших, как черные пасти.

Войдя следом, я увидел мастерскую каменщика. В полутемной, грязной комнате, среди разбросанных каменных глыб и осколков мрамора работало несколько человек, одетых в одни туники. Удары долота и молотков отдавались от стен, и нестерпимый гул сразу так оглушил меня, что я невольно попятился. Преодолев это чувство, я прошел мимо обтесываемой плиты для гробницы, с изображением Доброго Пастыря, и вошел в другую комнату, вся обстановка которой состояла из деревянного ложа и стола.

Затворив плотно дверь, Реа мне сказала:

– Юний! великий час приблизился. Он здесь, я это узнала. Мы должны исполнить решенное Судьбой и ему возвестить его назначение.

Оставшись стоять у самой двери, сложив руки на груди, глядя прямо в глаза девушки, я постарался произнести как мог тверже и решительнее.

– Я твоих бредней слушать не хочу. Я никакого дела с тобой совершать не намерен. У ме-

ня есть свои дела, и важные, и у меня есть своя жизнь, с тобой не связанная. Клянусь бессмертными богами, которым я верен, я твоим уловкам больше не поддамся. Завтра в эту самую комнату я принесу ту проклятую вещь, которую ты насильно вложила в мои руки, и больше я не буду отвечать на твой голос. Больше я тебя не знаю, проклиная случай, который тебя со мною свел, а если ты будешь меня преследовать, обличу в префектуре все твои преступные козни.

До сих пор, при всех моих встречах с Реей, она меня побеждала какой-то непонятной властью, в которой я подозревал даже силы магии. Поэтому, произнося свои слова, я тайно призвал на помощь богиню Венеру, решившись не поддаваться влияниям Гекаты и чарований. Но внезапно лицо Реи, на которое прямо мои глаза были устремлены, покрылось бледностью мраморных статуй, ее руки беспомощно повисли, как у мертвой, она минуту на меня смотрела с выражением такого ужаса, какой могла бы внушить разве только голова Медузы, – и потом девушка всею тяжестью своего тела упала на пол.

Может быть, мне, не обращая на то внимания, тотчас следовало бежать из этого дома, предоставив Рею ее судьбе, но, видя ее распростертою, как человека, пораженного молнией, я не мог преодолеть невольного порыва участия. Я бросился к Рее, стал около нее на колени, поднял ее голову, попытался вернуть девушку к жизни. Но долгое время ее лицо оставалось мертвенным и бледным, веки смеженными, полураскрытые и тоже побледневшие губы неподвижными. Только когда я уже готов был звать кого-нибудь к себе на помощь, Реа вдруг очнулась, судорожно схватила меня руками и слабым голосом проговорила:

– Юний, тобой овладел злой дух.

Стараясь быть как можно ласковее, все поддерживая лежащую Рею, как раненую амазонку, я ей ответил:

– Милая Реа! Мною демон не овладевал. Я просто тебе говорю, что ты во мне ошиблась. Я не хочу служить ни Христу, ни Антихристу, потому что я не христианин и почитаю учение христиан гибельным заблуждением или опасным обманом. Я пойду своей дорогой, а

ты иди своей и вместо меня выбери себе помощником другого. Я же никакого вреда тебе не сделаю и твоих тайн никому не открою.

Тогда Реа, которую я всегда почитал сильной и как бы подобной мужчине, начала рыдать, притом так неудержно, словно скорбь мучила все ее тело от горла до пальцев ног. Она то лила слезы, как Ниоба, то, так же, как Ниоба, каменела в моих объятиях, то дрожала так сильно, словно была в тягостной лихорадке. Я не знал, как ее утешить, и бессвязно повторял:

– Приди в себя... Я тебе и раньше все это говорил... Подумай... Не могу же я для твоего удовольствия уверовать в Христа... И почему тебе нужен я?

– Ты! ты! – повторяла Реа сквозь рыдания. – Ты – один. Ты назначен Богом. Ты избран. Он мне послал тебя. Ты должен. Ты не властен отречься.

Так мы лежали оба на грязном полу, сжимая друг друга в объятиях, и я, чтобы чем-нибудь успокоить бедную девушку, осторожно, как ребенка, поцеловал ее в лоб. В ту же минуту она с яростью впиалась губами в мои гу-

бы и стала поцелуями покрывать мое лицо, прижимая ко мне свою грудь. Я сопротивлялся этим ласкам, неожиданным и страшившим меня, уклонял лицо, отстранял тело девушки, но она меня все теснее привлекала к себе, примешивая к словам отчаяния слова нежности и страсти.

– Юний! мой Юний! Ты мне послан Богом! Он меня сделал твоей невестой! Мы Богом обречены, Юний. Обречены на славу и позор. Мы должны вместе погибнуть, Юний. Мы должны быть вместе, Юний, мой Юний!

Понемногу эта исступленность несдержанных ласк, эта близость к женщине, дыхание и теплоту которой я чувствовал на своем теле, эта странность минуты, более похожей на безумие, чем на событие жизни, самая уединенность места, которое казалось лежащим где-то за пределами земного круга, победили меня. Я вновь уступил любовным настояниям Реи, как в ту ночь, когда, после чудовищного служения в неведомом мне зале с коринфскими колоннами, она во мраке приблизилась ко мне. Под стук долота и молотков, дробивших камень и высекавших образ Доброго Пастыря,

восстановился мой странный союз с загадочной девушкой.

Когда потом Реа сказала мне: «Ты придешь сюда через день!»— я уже не нашел слов, чтобы ей возразить. Я наклонил голову в знак согласия, хотя в душе у меня и был мрак, подобный тому, который царствует на безмолвных берегах Ахеронта.

Выйдя на улицу, снова увидя залитые зимним солнцем мраморные громады медиоланских строений, услышав издали гул веселой толпы, выходящей из христианского храма после проповеди Амбросия, я готов был думать, что все свершившееся только темный сон, примчавшийся ко мне из Тартара через дверь из слоновой кости.

## V

Вечером я писал письма под диктовку Симмаха, и потом он сказал мне:

– Завтра ты пойдешь со мною к Амбросию: я хочу говорить с ним.

На другой день мы вышли из дому рано, причем Симмах, чтобы не обращать на себя внимания, оделся как можно проще. Я нес за ним различные выписки, которые, по его сло-

вам, могли ему понадобится.

Амбросий жил неподалеку от христианского храма, в маленьком белом домике. Мне говорили, что, избранный епископом, Амбросий роздал все свое имущество бедным, оставив себе только небольшое число рабов, доходы со своих имений, – причем отдавал эти доходы почти полностью своей сестре Марцелине, – и свою библиотеку. Поэтому Амбросий, в юности привыкший к жизни роскошной, теперь жил весьма скромно.

У дверей дома нас встретил раб, и Симмах его спросил, можно ли видеть Амбросия.

– Входите свободно, – ответил раб, – каждый желающий во всякое время может говорить с епископом, и он даже запретил предупредить его о посетителях.

Мы прошли несколько пустых комнат и увидели знаменитого проповедника склонившимся над столом, который был завален горами разных книг. Книги останавливали взгляд и во всех других местах комнаты, в особых книгохранилищах, на скамьях и прямо на полу. Так как читавший не расслышал наших шагов, Симмах первый к нему обра-

тился с вопросом:

– Узнает ли меня Аврелий и позволит ли говорить с ним?

Амбросий поднял глаза, посмотрел на нас и ответил:

– Приветствую тебя, Симмах. Я был уверен, что ты придешь. Я готов говорить с тобой.

Он отодвинул книгу, которую читал, и указал Симмаху на кресло, бывшее подле. Я остался почтительно стоять у двери, откуда мне был слышен весь разговор.

– Ты, однако, ошибся, именуя меня Аврелием, – продолжал епископ, – крещение рождает человека к новой жизни, и у меня нет другого имени, кроме Амбросия.

– Нет, – возразил Симмах, – ты для меня представитель славного рода Аврелиев, мой родственник, сын префекта, сам носивший пояс с золотой пряжкой. Я к тебе пришел, как к Римлянину, которому близки судьбы империи, как к человеку, в жилах которого кровь победителей мира и который не захочет унижить то величие, до которого его предки подняли священный и вечный Город. Ты знаешь, зачем я прибыл в Медиолан, ты угадываешь,

о чем я хочу говорить с тобой, и ты понимаешь, почему я пришел к тебе раньше, чем добиваться приема у императора.

Очень спокойно выслушав эту речь, Амбросий ответил голосом сдержанным, но решительным:

– Симмах! Я, конечно, знаю, зачем ты прибыл в Медиолан. Но поездка твоя и твоих товарищей – бесплодна. Наш благочестивейший император внимательно обдумал свой эдикт, и его решение бесповоротно. В Сенате христианского императора не может стоять статуй ложным богам.

– Не говори уклончиво! – со страстью прервал Симмах. – Нам не перед кем притворствоваться. За этого моего писца я ручаюсь: он будет нем, как мертвый. Всем известно, что император чтит твою мудрость и исполняет твои советы. Не от него, а от тебя зависит судьба Сената и народа Римского.

– Это не так, – все столь же спокойно возразил епископ, – я, как и мы все, лишь смиренный слуга священной особы императора. Но если бы, действительно, он опять снизошел ко мне, чтобы спросить моего совета, как слу-

жителя алтаря, получившего дары Духа Святого, – да, я сказал бы ему, что его волей руководил сам Бог. Пора, пора нам с корнем вырвать из империи последние остатки губельных заблуждений, стереть последние следы нашего долгого рабства, ибо ты, Симмах, еще не знаешь, что истинная вера дает человеку истинную свободу.

– Оставим этот язык реторам, – сказал Симмах, видимо раздражаясь, – я знаю, что ты получил хорошее воспитание. Будем говорить просто. Неужели ты думаешь, что все жители империи признали иудейского Христа? Неужели тебе не известно, что мириады граждан чтят, – одни Юпитера, другие Баала, третьи Озириса? Почему религии должны враждовать между собой, а не могут жить в мире, если все они учат одному: поклоняться Божеству? Когда наши предки завоевывали землю, они не были нетерпимы к верованиям других народов, но охотно принимали в свой пантеон чужих богов, давали Митре и Исиде место рядом с Фебом и Дианой. Почему же вы, христиане, проповедующие любовь, знаете только ненависть к другим верам?

– Мы проповедуем любовь к истине и добру, а не ко лжи и обману, – ответил Амбросий. – Что такое ваши так называемые боги, одни с песьей головой, другие безобразные, с сотней грудей, боги-насильники, преследующие коварством и хитростями женщин, поднимающие один на другого оружие, лгущие, прелюбодействующие, совершающие тысячи преступлений? Их ли мы должны любить, познав Бога единого, вечного, вездесущего, Бога истины и милосердия?

Эти слова епископ произнес уже гораздо менее спокойно, с явным намерением обидеть собеседника. Полуседая борода Амбросия тряслась. Но Симмах сдержал свое негодование и возразил тихо:

– От тебя подобных возражений я не ожидал. Ты знаешь так же хорошо, как я, что те образы, в каких изображают богов наши поэты и художники, и та сущность, которую мы чтим в богах, не одно и то же. Но я пришел не спорить с тобой о вере. Великая и непостижимая тайна вселенной не поддается человеческим исследованиям. Я пришел говорить с тобой от имени тех тысяч и тысяч людей, кото-

рые поклоняются богам и для которых алтарь, который ты приказал выбросить из Курии, есть нечто священное. Как ты с легким сердцем поднимаешь руку на их верования и чувства, оскорбляешь их в том, что для них дорого. В течение более чем тысячи лет Рим благочестиво поклонялся божествам, установленным царем Нумой, – как же ты, без колебания, наносишь удар Риму, как убеленному сединами старцу? Римляне родились свободными и в свободе избрали свою веру, – почему же не оставить их в мире наслаждаться своими старинными обрядами, так как иных они не желают? Городу неведомо то учение, которому ему приказывают следовать, но он знает, что тот, кто берется исправлять почтенную старость, принимает на себя неблагодарный и бесславный труд.

– Теперь ты пользуешься приемами реторов, – с насмешкой сказал Амбросий. – Чего же ты требуешь? чтобы мы ни в чем не шли вперед сравнительно с нашими предками. Когда-то в Риме было установлено служение божеству Нерона; угодно ли тебе сохранить и этот алтарь? Если в нашем прошлом были за-

блуждения, мы об них должны жалеть и стремиться от них отказаться. Не стыдно и в старости исправлять свои ошибки, и не стыдно Риму изменяться со всем миром. Нет позора в том, чтобы перейти на сторону тех, кто прав, и никогда не поздно учиться истине.

Симмах встал, запахнул тогу, и мне было видно, что он даже дрожит от волнения.

– Аврелий! – сказал он. – Века, когда Римляне чтили богов, увенчаны славой и благодеянием. Призывая Юпитера и Марса, Римляне весь мир подчинили своей власти. Боги удалили Ганнибала от стен Города и галлов из Капитолия. Не легкомысленно ли отвергать старое, которое доказало свою силу и свою благотворность, и подвергать себя неизвестности, хватаясь за новое, еще не испытанное! Можешь ли ты быть уверенным, что новая религия внушит то же мужество в сердца легионариев, послужит такой же обороной для границ империи, как религия Нумы, Цесаря и Августа?

Амбросий тоже встал, выпрямился во весь рост, смотрел гневно и более напоминал полководца на поле битвы, чем служителя хри-

стианского храма. Я не мог не подумать, что в другой век он водил бы наши легионы к славным победам и был бы воинами поднят на щит. Повышенным и почти яростным голосом епископ произнес:

– Почему ты приписываешь победы Римлян богам, а не искусству императоров и храбрости легионов? Ты говоришь, что боги удалили галлов из Капитолия. Но ведь они все-таки сожгли Рим! И если Капитолий не был взят, то не боги были тому причиной, а гуси. Где же тогда был твой Юпитер? не он ли кричал по-гусиному? Еще ты уверяешь, что боги защитили Рим от Ганнибала. Но тогда надо признать, что с этой защитой они не поторопились. Почему они ждали до самой битвы при Заме и позволяли пунам истреблять Римлян и при Тицине, и при Требии, и при Трасименском озере, и при Каннах? Сколько крови не было бы пролито, если бы твои боги действовали не так медлительно! Притом ведь и Карфаген так же веровал в ложных богов, как и Рим. Выбирай же: если боги были победителями вместе с Римлянами, тогда они были побеждены вместе с пунами. А если бо-

ги позволяли себя побеждать в прошлом, где же залог, что в будущем они нас будут водить только к победам?

Никогда я не видел Симмаха до такой степени взволнованным. Совершенно бледный, с трудом подавляя гнев, он сделал последнюю попытку убедить торжествующего епископа.

– Оставим богов, – сказал Симмах, – и подумаем о людях. Религия отцов учила доблести, военному мужеству, прославляла силу; религия Христа учит кротости, смирению, совету уступать противнику. Империя окружена врагами; везде варвары переходят границы; провинция за провинцией отпадает от наших префектур. Своими беспощадными мерами ты достигнешь одного из двух: или ты лишишь империю храбрых воинов, или ты возбудишь в ней гражданскую войну между приверженцами старой и новой веры. В обоих случаях восторжествуют враги, и империя погибнет. Неужели ты не Римлянин и тебе не дороже всего слава отечества?

– Пусть гибнет Рим! – громовым голосом воскликнул епископ. – Пусть гибнет империя! На ее развалинах я создам другую, вечную и

непоколебимую. Я воздвигну новый Рим, и уже не Город подчинит себе некоторые племена земли, но Церковь христианская объединит в одно стадо все народы! Алтарь Победы не будет восстановлен в Римском Сенате! Я прикажу запереть все храмы ложных богов по всей империи! Я запрещу служить идолам и в общественных местах, и в частных домах! Я дам на земле торжество истинному Богу, и пусть рушатся земные царства, ибо царство Его не от мира сего.

Трясущимися губами Симмах произнес в ответ:

– После этого ты для меня – не Римлянин. Ты – не из рода Аврелиев. Ты – враг отечества. Итак, между нами война?

Но Амбросий быстро уже овладел собой, его лицо снова приняло выражение льстивого придворного, и он о снисходительной улыбкой возразил:

– Нет, Симмах! я не воюю с людьми, но только с неправдой и ложью. Я тебя жалею, как брата, пребывающего в заблуждении. Подумай о моих словах и иди с миром.

Мы вышли. Симмах был в таком возбужде-

нии, что я едва поспевал за его шагами. Всю дорогу он повторял:

– Мы еще будем бороться! Еще не решено, за кем победа.

Однако, едва придя в дом Коликария, Симмах вдруг сразу пал духом. Оптат и Пробин ожидали нашего возвращения, чтобы расспросить нас о последствиях нашей попытки. Симмах, с видом человека совершенно изнеможенного, бросился на ложе и, передав вкратце ответ Амбросия, воскликнул с безнадежностью:

– Наше дело проиграно. Никакой надежды нет. Нам осталось одно – немедленно возвратиться в Город.

Оптат, Пробил, и я вместе с ними стали убеждать Симмаха не терять мужества и продолжать борьбу, но нам пришлось долго трудиться, пока он начал уступать нашим доводам.

## VI

**В** день, назначенный мне Реей, я, как не раз и прежде, долго колебался, прежде чем пойти к ней. Но услужливая мысль опять представила мне длинный ряд доказательств

в пользу того, что я исполнить приказание Реи должен.

Только на этот раз, преодолев невольную робость, я отыскал на дне своего дорожного лагя свертки, когда-то отданный мне на Аппиевой дороге, и понес его с собой, твердо решив освободиться, наконец, от его опасного присутствия среди моих вещей. Вполне понятно, впрочем, что, когда я шел по улицам Медиолана, мне все время казалось, что прохожие обращают на меня особенное внимание и подозрительно всматриваются в мою ношу.

Я пришел слишком рано, Реи еще не было дома, и в мастерской каменщика работал только сам ее хозяин, которого я и спросил, скоро ли вернется живущая у него девушка.

– Мария из Рима? – сказал он, продолжая стучать молотком по камню, – да, она мне говорила, что ты придешь, и приказала тебе ее ждать. Можешь здесь присесть.

Мне пришло в голову воспользоваться отсутствием Реи и, расспросив каменщика, хоть что-нибудь узнать о странной девушке, нить жизни которой, должно быть, по недосмотру

одной из Парок, спуталась с нитью моей жизни. Я сел на глыбу необделанного мрамора и заговорил с работавшим человеком, а так как он трудился над фигурой маленького Амура, то я и спросил лукаво:

– Прошлый раз я видел, что ты высекал Христа, а сегодня – сына Венеры. Разве ты не боишься осквернить этой работой свои руки?

Каменщик посмотрел на меня подозрительно, чему я не удивился, так как в наши дни города полны соглядатаями, и ответил уклончиво:

– Мы исполняем то, что нам заказывают, и разбирать, каковы заказы, не наше дело, только бы правильно платили деньги.

– Ты меня не бойся, друг, – возразил я. – Я – приезжий, тоже из Рима, и спрашиваю тебя без всякой дальней цели. Даже скажу тебе, что я из посольства Симмаха, прибывшего сюда по делу об алтаре богини Победы, о чем ты, вероятно, слышал. Из этого можешь понять, что я сам – не христианин.

Каменщик был человек немолодой и осторожный; он не сразу поддался на мои зазывания, но понемногу убедился, что я говорю от

души. Тогда он сказал мне, хотя и понизив голос:

– Сознаюсь тебе, юноша, – впрочем, это многие знают, – что я тоже верен старым богам, чту Юпитера всемогущего и Меркурия крылатого, как тому научила меня мать. Но в наше время, если не будешь угождать требованиям заказчиков, останешься без дела. Теперь только и спрос, что на гробницы с изображениями Христа или святых, а образы бессмертных богов мы даже и делать почти разучились.

Признав во мне единоверца и единомышленника, каменщик стал разговорчивее и даже предложил мне с ним распить по кубку простого вина, чем я и воспользовался, чтобы заговорить о Рее.

– По правде сказать, – объяснил мне старик, – я сам хорошенько не знаю, кто такая эта девушка. Привел ее ко мне мой племянник, Либертин, который живет в Риме у одного христианского священника и приехал сюда с епископским посольством. «Приюти ее, дядя, говорит, это девушка бедная, в гостинице ей жить дорого, да одной и неприлично».

Комната у меня была свободная, мы там иногда готовые вещи складываем, к тому же обещала мне эта Мария заплатить за нее. Что же, думаю, пускай живет. А беспокойства нам от нее мало: целые дни она рыщет по городу и никого у нее не бывает, только вот ты второй раз приходишь. Если же остается дома, то сидит и молчит, в одно место смотрит, словно дурочка, или книгу читает, которую с собой привезла. Если хочешь, я о ней спрошу Либертина, откуда он ее узнал. А я-то уже стар стал, чтобы в чужие дела вмешиваться, своих довольно; давно привык, что лучше тому живется, который смотрит, а не спрашивает.

Большого от каменщика узнать мне не пришлось; притом скоро пришла сама Реа. Она меня встретила так, как если бы и сомневаться не могла, что я в тот день у нее буду, тотчас повела меня к себе и плотно затворила дверь. По всему судя, Реа была неспокойна и чем-то встревожена.

– Я тебе принес, Реа, это, – сказал я, подавая ей свой сверток.

– Хорошо, – ответила мне, без удивления, девушка, – эта вещь нам скоро понадобится.

Я не знал, о чем говорить дальше, и некоторое время мы оба сидели молча. Я внимательно рассматривал Рею, и она опять мне казалась молодой и красивой. Черты ее сурового лица были правильны, брови изогнуты красиво, зубы яркой белизны, а высокая грудь соблазнительно подымала складки паллы. Я подумал о том, что в конце концов судьба, послав мне Рею, не совсем была ко мне немилостива, и, вспомнив объятия, в которых так недавно она меня сжимала, невольно почувствовал желание изведать их еще раз. Я подошел к девушке ближе, взял ее за руку и сказал ласковым и вкрадчивым голосом:

– Ты меня прошлый раз испугала, Реа. Сначала ты была в таком отчаянии, словно уже Прозерпина готовилась срезать волос на твоём темени, а потом пришла в исступление, как вакханка. Но я о том дне не жалею ни сколько: напротив, благодарю за него богов. Это был день радости, и я его никогда не забуду.

Словно пробужденная от сна моими словами, Реа подняла на меня глаза, потом от меня отстранилась и ответила почти с гневом:

– Что ты говоришь, Юний. Мы здесь с тобой не затем, чтобы беседовать о радостях. Не для них призвал нас Бог с разных путей. Нас ожидает страшное, будь же готов испить эту чашу.

Не знаю почему, но Реа, гордая и разгневанная, показалась мне удивительно прельстительной. В той самой комнате, где всего два дня назад она согревала поцелуями мое лицо, мне казалось так естественно и просто возобновить эти поцелуи. Итак, продолжая держать за руку Рею, я другой рукой обнял ее стан, наклонился к самому ее лицу и сказал не без подлинного волнения:

– Милая Реа! Ты мне говорила, что меня любишь. Я принимаю эти твои слова и охотно исполню все, что ты от меня требуешь. Но ты меня не отталкивай, когда сама дважды шла навстречу мне. Сегодня мне первому хочется обнять и поцеловать тебя.

Еще решительнее Реа меня оттолкнула, встала, выпрямилась, как ствол кипариса, и воскликнула с негодованием:

– Опомнись, Юний! Ты со мной говоришь, как с кинедом. Я девушка из хорошей семьи,

и тебе стыдно так меня унижать потому только, что здесь нет мужчины, чтобы меня защитить. Я тебя люблю, как брата, как избранного Провидением, чтобы вместе со мной служить Высшей воле, но иной любви к тебе у меня не может быть, так как я посвятила себя Богу. Приди в себя, вспомни, зачем ты здесь, и выслушай то, что мне надо сообщить тебе.

В голосе Реи было негодование неподдельное, и одну минуту я готов был думать, что моя память меня обманывает. Но, окинув взглядом комнату, я узнал даже то место на полу, где плачущая Реа обнимала меня страстно; всматриваясь в ее лицо, я видел те самые губы, которые вонзали поцелуи столь напряженные, что они причиняли боль; и не только желание ласки, но уже и чувство обиды за неожиданный отказ заставили сильнее биться мое сердце. Я вдруг схватил Рею в объятия, покрыл поцелуями ее щеки, несмотря на все сопротивление девушки, и твердил, смеясь:

– Не притворяйся, Реа, ведь я тебя знаю! Я знаю, какой огонь ты таишь, горячий и сладостный! Я знаю, что ты умеешь ласкать луч-

ше всех женщин в мире и что твоим поцелуям могла бы позавидовать сама Клеопатра. Не будь жестокой к своему Юнию!

Реа вырывалась из моих рук сначала ожесточенно, потом все слабее, повторяя только три слова:

– Юний,пусти меня! Юний,пусти меня!

Скоро ее глаза наполнились слезами, но я продолжал борьбу, помня уверения Насона, что такого рода насилие девушкам нравится. Когда, однако, слезы Реи перешли в рыдания и она застонала отчаянно, словно раненная насмерть, я испуганно выпустил из своих рук ее тело, опасаясь, что с ней сделается такой же припадок, как в прошлый раз. Реа упала на ложе, вниз лицом, а я, пытаюсь оправдаться, сказал ей:

– Неужели ты забыла, Реа, как здесь, в этой самой комнате, ты меня уверяла, что мы с тобой обручены, повторяла мне слова нежные, меня ласкала сама, и неужели забыла, как раньше того, в Риме...

Продолжая рыдать, Реа проговорила:

– Зачем ты меня так мучишь, Юний? Зачем ты мне в лицо клеветешь на меня! Да,

моя сестра ведет постыдную жизнь, но разве я в том виновна! Наш отец умер, мы бедны, и все вправе думать о нас все дурное. Но, клянусь тебе Пречистой Матерью Христа, я не заслуживаю твоих подозрений. Никто не может упрекнуть меня ни в чем недостойном, и никогда я не нарушала законов стыда...

Я мог бы напомнить девушке, что в Риме, на том служении, которым она руководила, призывали лгать и злодействовать, убивать и богохульствовать, но Реа была в таком отчаянии, что я предпочел не возражать ей ничего, думая только об одном, как ее утешить. Я осторожно сел близ нее, поднял ее голову и стал просить у нее прощения и за свои, слова, и за свои поступки. Тут же я вспомнил о Гесперии, о клятвах, которые давал в Риме, и мне стало стыдно, что я так легко мог поддасться соблазну. Душой моей овладело чувство непритворного раскаянья. К тому же, глядя на заплаканную Рею, движения которой сделались неловкими, а лицо старообразным и некрасивым, я уже не понимал, что заставляло меня добиваться ее ласк.

Понемногу Реа успокоилась, отерла запла-

канные глаза и вновь заговорила со мной доверчиво. Я ничем не противоречил ей, и она с важным видом сообщила мне следующее:

– Милый Юний, я его нашла. Я увидела его на улице, и некий голос мне повторил трижды: это – он. Волосы у него, как разметавшееся пламя, уста, как кровавая рана, взор благостный, как у агнца. Он еще не ведает о своем призвании. Мы с тобой первые придем поклониться ему, как пришли пастыри к вертепу, где в яслях лежал Младенец. Ангелы воспоют и нам: «Слава в вышних Богу». Только должно торопиться. Роковой год на исходе. Больше никогда не повторится то же сочетание светил небесных. И если мы пропустим срок, мы привлечем на свои головы страшное проклятие.

Когда я слушал эту причудливую смесь разумных слов с бреднями, в которые мог бы поверить разве только «Иудей Апелла», у меня мелькнула мысль, что я могу воспользоваться безумием Реи, освободиться от которой у меня все равно не оставалось надежды, для своих целей. Постаравшись перенять ее азиатские приемы речи, я сказал ей в таких же

неопределенных выражениях, как говорила она:

– Милая Реа! Теперь я понимаю, на какой великий подвиг ты меня зовешь. Но не поддается останавливаться на полпути; будем тверды и доведем наше дело до конца! Чтобы расчистить путь новому царю мира, должно уничтожить прежние власти. Некто должен будет исчезнуть, чтобы уступить место Грядущему.

– Так! Так! – воскликнула в восторге Реа. – Мы и это свершим.

Наклонившись близко к Рее, я произнес шепотом:

– Мы должны устранить Грациана...

Пораженная моими словами, как если бы я сообщил ей некоторое откровение, Реа вскочила с ложа; ее зрачки расширились, щеки залились алой краской; она протянула мне руки, как бы благословляя меня.

– Наконец, ты все понял, Юний! – произнесла она. – Ты покорился воле Божией, а большего не может человек. Благодарю тебя, Боже, отныне я знаю, что предреченное исполнится.

В глубине души мне было стыдно, что я пользуюсь безумием или легковерием бедной девушки, но тут же я дал себе клятву, что Рею не подвергну никаким опасностям, а лишь воспользуюсь ее помощью. Реа же казалась безмерно счастливой тем, что я, наконец, заговорил в ее духе и перестал отрекаться от того дела, к которому она меня звала. В ее душе было странное сочетание непонятной силы пророчицы и простой слабости женщины; мужского ума, помогавшего ей выполнять самые трудные замыслы, и детской доверчивости, позволявшей ей принимать, как истину, самые нелепые уверения; стыдливости добродетельной девушки и готовности на самые бесстыдные поступки, которые, пожалуй, смутили бы и какую-нибудь Квартиллу.

В тот день я долго оставался у Реи, и пока она говорила без устали, то в темных восклицаниях предсказывая скорое наступление великих и страшных событий, то с восторгом возвращаясь к моей мысли и разбирая подробно вопрос, каким способом проникнуть во дворец к Грациану (при этих рассуждениях я тревожно посматривал на дверь, за которой

нас могли подслушивать), то просто и наивно рассказывая мне приключения своего путешествия с Летой из Испании в Италию, – я тщетно старался понять, кто предо мной: безумная или мудрая, обманщица или обманутая. Я заметил только, что Реа ни словом не обмолвилась о своем прошлом, не дала мне ни одного намека, по которому я мог бы угадать, как оказалась она вовлеченной в круг странных людей, делом своей жизни избравших служение грядущему Антихристу. Реа и после этой беседы осталась для меня живой загадкой, перед которой я чувствовал себя Давом, а не Эдипом.

На прощание она сказала:

– Ты ко мне сюда придешь в субботний день, это – день священный, в начале сумерек. Я к тому времени все разужаю и все устрою. Как Симеон-богоприемник и Анна-пророчица, мы пойдем с тобой, чтобы предречь судьбу вступающему в мир на свое служение.

Я ушел от Реи в том смятении противоречивых чувств и дум, в каком всегда расставался с ней. Я сознавал, что далее бороться с

ее волей уже не в силах и что все прочнее затягиваются нити той сети, которая соединила меня с ней. И в то же время я не мог бы отказать от того, что было в этой девушке нечто для меня странным образом прельстительное, заставлявшее меня порой забывать о далекой Гесперии.

Когда в таком раздумье шел я по улице, вдруг среди теснящихся на перекрестке прохожих я увидел лицо, представившееся мне знакомым. Сейчас же я вспомнил, что это тот сириец, которого когда-то мы с моим Ремиги-ем встретили в Римском Порте. Сириец был одет в ту же, как тогда, широкую греческую хламиду, был в той же высокой шапке, но на его пальцах я заметил драгоценные перстни, чего, кажется, у него прежде не было. Сердце у меня сжалось от дурного предчувствия, тем более что и сириец, по-видимому, узнал меня и даже кивнул мне головой в знак приветствия, улыбнувшись нагло, причем ярко заблестели его тщательно выбеленные зубы, оттеняемые алостью его толстых губ и чернотою его длинной бороды.

Не ответив на приветствие сирийца, сде-

лав вид, что я его не узнал, я торопливо прошел мимо.

## VII

Вскоре после того, по поводу поднесения императору золотого венка от граждан города Арелаты, было назначено при дворе большое торжество. Так как император, – вероятно, благодаря проискам Амбросия, – не назначал особого дня для приема Сенаторского посольства, то, по совету Тита Коликария, Симмах и его товарищи решили явиться во дворец в день этого торжества, на что, как сенаторы, они имели право. По моей просьбе, Симмах позволил мне его сопровождать, и таким образом мне довелось увидеть императорский прием. Но снисходительность Симмаха навела меня на мысль, что он Гесперией был посвящен в ее замысел и намеренно старался дать мне возможность Грациана узнать в лицо.

Не без волнения я подходил с сенаторами к дворцовым твердыням, сложному нагромождению строений, пышных и огромных, но обличавших все отсутствие вкуса нашего времени. К старинным зданиям здесь были

приставлены, без всякой гармонии, новые, и различные стили отдельных частей дворца неприятно враждовали между собой. Если издали громада священного дома и производила свое впечатление, то вблизи она лишь обличала падение того искусства, которое когда-то Акрополь, а позднее Капитолий и Палатин сделали мраморным чудом.

У входа мы встретили такое количество препятствий, столько лиц и так часто осведомлялись, имеем ли мы право присутствовать при выходе святости императора, что, не будь с нами Коликария, всем хорошо известного в Медиолане, Римским сенаторам, может быть, не удалось бы даже проникнуть в священный дворец. Один из распорядителей, в одежде начальника кандидатов, решительно приказал отряду воинов загородить нам дорогу, ссылаясь на особый список, который держал в руках и в котором самим Македонием, магистром оффиций, было точно указано, кто должен быть в этот день допущен на прием. Понадобилось все красноречие нашего путевода и его угроза пожаловаться препозиту священной спальни, с которым он был в

отношениях дружеских, чтобы сломить упорство кандидата.

Я при этом обратил внимание на то, что весь дворец был наполнен стражами всякого рода: уже у входа стояли конные схолярии, внутри каждую дверь охраняли вооруженные кандидаты, в других покоях виднелись, с копиями в руках, протекторы и доместики. Все это дало мне понять, что личность Грациана оберегается достаточно заботливо и что нет никакой надежды напасть на него открыто, хотя бы даже обрекая на гибель самого себя.

Что касается убранства дворца, то его роскошь, если говорить правду, не удивила меня, так как она сводилась к изобилию позолоты, дорогих ковров и разноцветных мраморов. Среди незначительного числа статуй, украшавших покои, не было таких, которые отличали бы резец великого художника, а мозаичные картины мне показались исполненными рукой неуверенной и неискусной. Без всякого колебания я отдал предпочтение убранству небольшой виллы Гесперии на Холме Садов, так как в том доме чувствовалось незримое присутствие Камен.

В моих выводах поддерживало меня поведение Симмаха, который хотя и не проронил ни слова, но, судя по выражению лица, также крайне неодобрительно отнесся ко всему, что нас окружало. Впрочем, его раздражало также обращение придворных с послами Сената, и я безошибочно видел, что Симмах лишь с трудом сдерживал справедливое негодование.

Большая зала, куда нас, наконец, провели, заставив пройти несколько десятков однообразных комнат, была полна ожидающими. Патриции и различные сановники, в одеяниях, блиставших золотом, стояли рядами, вполголоса беседуя; отдельно стояли куриалы Арелаты, уже держа наготове свой дар августу; немало было среди присутствующих и служителей христианской церкви, думаю я, епископов, одетых еще более пышно, чем другие. Все как-то невольно обращали ежеминутно взоры к стоявшему в глубине залы высокому императорскому трону из слоновой кости с золотом, среди украшений которого всюду видны были кресты.

Когда мы стали на указанное нам место, к

нам подошел один из сановников, – как я узнал впоследствии, примицерий нотариев, – и, почтительно приветствовав Симмаха и его сотоварищей, спросил вкрадчивым голосом, довольны ли послы Сената своим пребыванием в Медиолане.

– *Vir spectabilis!* – ответил ему Симмах, – ты знаешь, что у меня одна забота: выполнить поручение отцов. Поскольку мне это удастся в Медиолане, постольку я буду считать его прекраснейшим городом.

– *Vir clarissime!* – возразил примицерий, – судьбы наши и всех наших дел в священной воле святости августа, – да дарует ему бог счастье и долголетие. Мы же все весьма польщены, что нас посетил столь знаменитый человек, как ты.

Видя, что примицерий заговорил с Симмахом, к нам стали подходить другие сановники и, обменявшись различными изъявлениями вежливости, то осведомляться о последних событиях в Риме, то как бы случайно, передавать различные придворные новости, казавшиеся им, по-видимому, крайне важными. Один с восторгом рассказывал о ловкости

Грациана, на последней охоте убившего собственноручно семнадцать ланей; другой – о замечательном стихотворении, ему поднесенном, в котором слова были расположены так, что, складывая первую букву первого стиха со второй – второго, третьей – третьего и т. д., и наоборот, последнюю букву первого стиха с предпоследней – второго, третьей от конца третьего и т. д., можно было прочесть полный титул императора, – стихотворении, за которое автор получил в подарок двух замечательных испанских собак; еще один, наконец, но без коварства, сообщил, что архиепископ Медиоланский намерен в скором времени совершить поездку в Город.

Я всматривался в лица окружавших меня людей и везде видел только льстивые улыбки, лукавые глаза и под слоем румян угадывал щеки, потерявшие краску от постоянных ночных пиров. Не было ни одного лица среди этих придворных дельцов, по слову которых изменялись судьбы целых диэцес, которое напоминало бы те мужественные лики, что сохранены в мраморах, изображающих Сципиона, Суллу, Агриппу, Германика, или даже те,

что смотрят на нас с гробниц Аппиевой и Фламиниевой дороги. Кроме того, с прискорбием я убеждался, что у большинства черты лица даже не были Римские, но предательски выдавали их греческое, германское, африканское или азиатское происхождение. И я вспомнил жалобы лучших Римлян, что власть над империей вверена ныне иноплеменникам и достается не в силу доблести и ума, но или передается по родству, или покупается деньгами, или добывается лестью и угодничеством.

Между тем был подан какой-то знак, и все засуетились, поспешно занимая назначенные места, так как сейчас должен был появиться император. Такое неподдельное смущение было на всех лицах, давно привыкших к притворству, многие так побледнели, что я не мог не подумать о стихах Горация:

*Гремящий с неба, мнили мы, царствует  
Юпитер...*

Я ожидал звука военных труб или ударов воинов о щиты, но, напротив, настало всеоб-

щее молчание и полная тишина. Отодвинулась тяжелая, вся расшитая золотом, завеса у дверей, и началось императорское шествие.

Впереди выступали аланские воины, – народ, пришедший к нам с диких берегов Оксидана, – в скифском одеянии, отороченном мехом, с громадными луками в руках. За этими любимыми телохранителями императора шли евнухи, в длинных восточных плащах, с серьгами в ушах; далее – несколько самых приближенных к императору сановников, похожих, в своих разукрашенных и тяжелых тогах, скорее на литые статуи, чем на живых людей: двигаясь, они не сгибали колен, не поворачивали шеи, смотрели прямо перед собой пустым взором и, кажется, с трудом ступали под гнетом надетого на них золота и драгоценных камней. Наконец, за ними шли рядом Амбросий и Грациан, и новый отряд аланов замыкал шествие.

При появлении императора все присутствующие опустили на правое колено и низко склонили голову, выполняя обряд поклонения.

Как я ни свыкся с мыслью, что времена

свободной республики, времена, когда сам народ Римский выбирал своих магистратов, давно и навсегда для Рима миновали, как я ни примирился с сознанием, что прежде ненавистное для каждого Римлянина именование царя, погубившее когда-то самого Цесаря, должно быть в наш век признано истинным именем для правителя империи, — все же, впервые присутствуя при унижительном поклонении, достойном любого азиатского деспота, я почувствовал, что возмущается во мне кровь моих предков, Юниев, видевших солнце свободы над свободным Городом. Стоя на коленях, преклонив голову, как если бы я не в силах был выдержать сияния императорского лика, как не могла выдержать Семела образа Юпитера, представшего ей с молниями в длани, я испытывал только чувство стыда, а вовсе не восторга и умиления, может быть, потому, что моя юность прошла вдали от двора, в той маленькой Лакторе, где еще сохранялись вольности, некогда дарованные родному городу завоевателем Галлии. В ту минуту к моему убеждению, что Грациан — опаснейший враг дорогих для меня преданий

Рима и безумный гонитель богов бессмертных, присоединилось живое чувство обиды от унижения, испытанного мной самим и каждодневно переживаемого Римлянами, – и жажда выполнить обещание, данное мною Гесперии, возгорелась во мне с новой силой.

Тем временем все, имевшие звание патриция, подходили по очереди к императору и целовали его в грудь с правой стороны, а он отвечал им поцелуем в голову. Когда этот обряд закончился, Грациан порывистыми шагами, непохожими на движения статуеподобных сановников, взошел, или почти взбежал, на ступени трона и сел. Амбросий медленно поднялся вслед за ним и стал рядом, а скифские лучники расположились вокруг трона. Лишь тогда все присутствующие получили право встать с колен.

Понятно, что я устремил глаза на императора, стараясь запомнить как можно лучше его внешность и лицо.

Несмотря на торжественность приема, Грациан пренебрег Римской тогой и был одет, наподобие своих аланских телохранителей, в скифское одеяние с мехом. Только его одежда

и его обувь были густо обшиты самоцветными камнями, нестерпимо сверкавшими при каждом его движении, что ему придавало вид плясуна на сцене. У Грациана была небольшая голова; волосы были зачесаны на лоб, а повыше была надета небольшая диадема, также унизанная драгоценными камнями, с одним громадным камнем над самым лбом и с двумя свободно спадавшими концами сзади, украшенными изумрудами. Лицо Грациана было довольно приятно, несмотря на несколько большой нос, но выражение лица было надменно, и глаза смотрели исподлобья. Он казался моложе своих лет и скорее напоминал избалованного юношу, чем грозного повелителя, который, как Юпитер на небе, правит всем на земле.

Окинув взглядом собравшихся, император заговорил; голос у него был резкий и неприятный.

— *Viri clarissimi, illustrimi, spectabiles!* Нашей мудрости было благоугодно на сегодня назначить прием послов нашего города Арелаты-Константины. Так как все города империи нам равно любезны, то ныне подтвер-

ждаем мы то, что нами было объявлено во всеобщее сведение: города, которые желают отправить послов к святилищу нашему, могут это делать беспрепятственно. Двор нашей божественности всегда для них открыт. Пусть послы приблизятся.

Послы Арелаты, пятеро почтенных, по виду, человек, уже немолодых, с седыми бородами, неловко и робко подошли к трону и еще раз преклонили колена. Затем один из них начал речь, восхваляющую мудрость и святость императора, которого он называл «другом божиим», «соучастником божества», «августом по святости». Не буду здесь вспоминать всей речи и скажу только, что оратор, с галльским искусством закругляя свои периоды, не забыл уверений Ювенала:

*Ничего нет такого, чему бы  
Не поверила Власть благосклонно,  
когда ее хвалят.*

Едва окончилась речь и обряд поднесения золотого венка, Грациан, с прежней стремительностью, поднялся с трона и устремился вниз; за ним последовал Амбросий и часть

аланских стражей, так как, по-видимому, даже среди раболепных придворных император не вполне был уверен в своей безопасности. Грациан милостиво обходил собравшихся и иным из них говорил несколько незначительных слов, принимаемых, как изречения самой богини мудрости – Минервы. Когда император приблизился к нам, Амбросий, наклонившись, сказал ему что-то на ухо; Грациан быстро взглянул на Симмаха, тотчас отвернулся и прошел мимо, не удостоив Сенаторское посольство ни одним словом.

Вскоре после того император и его приближенные, в прежнем порядке, удалились из залы. Присутствующим снова вернулась способность двигаться и говорить, все кругом зашумело, как рой ос, но мы остались совершенно одиноки. Никто более не решался приблизиться к послам Сената, нас сторонились и обходили, словно пораженных проказой. Даже наш гостеприимный хозяин и заботливый вожатый, Коликарий, куда-то скрылся. Нам не осталось ничего другого, как поспешно направиться к выходу.

Я не смел поднять глаза на Симмаха, и все

сенаторы также угрюмо молчали во все время нашего пути от священного дворца до дому. Немилостивый взгляд императора принадлежит к числу самых страшных несчастий, какие только могут постичь человека в наше время.

## VIII

После посещения дворца крайнее уныние овладело всем нашим посольством. Как кажется, все три сенатора, и больше других сам Симмах, жалели о том, что согласились принять участие в поездке. Не оставалось никакой надежды на успех дела, и каждый с тревогой думал, что император более не допустит его ни до каких важных должностей и что с этих пор всю остальную жизнь придется проводить в неизвестности, раскаиваясь в своей смелости.

Впрочем, сенаторы еще продолжали добиваться приема у Грациана; мало того, неудача словно пробудила в Симмахе новые силы и заставила его с новым упорством взяться за дело. Ежедневно он собирал товарищей на совещание, удаляясь с ними в уединенную комнату; начались у сенаторов сношения с каки-

ми-то людьми, выдававшими себя за друзей императрицы Юстины, и с другими арианами. Но меня на эти совещания не допускали, и Симмах даже перестал диктовать мне письма, очевидно, высказывая в них мысли, которые желал сохранить в тайне. В доме Коликாரия я жил совершенно одиноко, и по целым дням мне некому было сказать слово.

В субботний день я пошел к Рее. Ее я нашел очень озабоченной, но оживленной, и она мне сказала:

– Юний! Все эти три дня я работала для нашего дела. Против нас стоят сильные с копьем и мечом, но мы идем на них во имя Господа. Господь – защита наша, Бог – твердыня убежища нашего. Не убоимся наступить на аспида и василиска; смело попррем пятой льва и дракона. Ибо то, что свершить намерены мы, свершится по воле Бога живого.

– Милая Реа, – возразил я, – говори со мною проще. Я христианских книг не читал, и мне твои пророчества непонятны. Я готов помогать тебе, но скажи прямо, что мы должны делать.

Однако Реа в тот день не склонна была

подчиняться правилам божественной логики и, вместо ответа, с глазами, устремленными ввысь, сказала:

– Сегодня – день торжества великого. Был град и огонь, смешанный с кровью; большая гора, пылающая огнем, поверглась в море; звезда Полярная пала на реки и источники водные; затмевалась третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть созвездий. Ныне падает звезда с неба, и дан ей ключ от кладези бездны. Нам должно принять сей ключ и отворить сии врата.

После таких невразумительных речей я не стал вникать в то, что говорила дальше Реа, так как не почитал себя мудрее квиндецимвиров, толкующих Сибиллины песни. Реа же, продолжая пророчествовать, надела паллу, взяла приготовленный сверток, в котором я не без страха угадывал присутствие пурпурового колобия, и позвала меня идти за ней.

Мы вышли на улицу, когда уже смеркалось и сквозь зимний туман тускло светили первые звезды. Как всегда, Реа шла быстро и молча, а я за ней следовал с волнением, в котором тревога перемежалась любопытством.

Но так как человек привыкает ко всему, то этот раз я уже не испытывал в душе прежней бури чувств, похожей на буйство всех четырех ветров, освобожденных царем Эолом.

Помня первое пророчество Реи, я полагал, что она приведет меня к какому-либо богатому дворцу, но вместо того, пройдя много пустеющих улиц, мы остановились у дверей домика маленького и скромного. Реа уверенно постучала дверным молотком и, когда на стук никто не откликнулся, повторила удар. После долгого промедления кто-то подошел к запертой двери и спросил, кто стучит.

– Странники мира, посланные благим демоном, – ответила Реа.

За дверью на это ничего не ответили, и слышно было, что шаги удаляются; потом вновь кто-то подошел к двери и произнес:

– По воле ли ты стучишься к наасенам?

Рео ответила:

– Мессией распятым клянусь, что здесь друзья мудрости.

Тогда дверь раскрылась, и мы вошли.

В вестибule было совершенно темно, как и в остии. Встретивший нас человек провел нас

через атрий и, откинув занавес, впустил в небольшую комнату, слабо освещенную одним светильником. Там за столом возлежало пять человек, уже немолодых, с чертами лица греческими и еврейскими; при нашем появлении глаза всех внимательно обратились к нам. Приведший нас был тоже старик, с длинной бородой, и он заговорил первым:

– Дом Филофрона, – сказал он, – всегда открыт для странников. Скажите, кто вы, путники, и я прикажу приготовить для вас баню и умащения, а потом предложу для утоления вашего голода все, что может дать человек небогатый, как я.

– Филофрон! – возразила Реа, —не лукавь! Не гостеприимства мы пришли у тебя искать, но мудрости, и не как добрый хозяин ты нам открыл двери своего дома, но как учитель. Во имя Распятого вы собрались здесь, и во имя Распятого мы вошли к вам.

– Вы, добрые люди, верно, ошиблись, – возразил один из сидевших, – и не туда попали. Мы – бедные евреи, которым позволено, по благодати императора, спокойно исповедать веру отцов своих. Мы не ищем проселитов и

ничему не учим. Мы сошлись здесь просто затем, чтобы в кругу друзей провести вечер субботний.

Но Реа, словно повинувшись голосу подсказывающего ей бога, уверенно устремилась вперед, в темный угол комнаты, где свешивалась тяжелая занавесь, укрепленная на железной палке. Без колебания Реа отдернула эту занавесь, и за ней, при мигающем свете светильника, открылся род алтаря, на котором было поставлено медное изваяние Змея. Присутствующие невольно вскрикнули и поднялись с мест, как будто готовые на нас броситься, и на минуту меня охватил самый постыдный страх, так как я признавал себя вполне во власти этих людей, к которым мы насильственно вторглись. Но Реа, царственным движением руки остановив всех, сказала твердо:

– К чему вы хотите обмануть нас? Разве вы не видите, что Дул направил наши шаги к вам и открыл нам час вашего собрания? Хорошо ли, зажегши факел, скрывать его под спудом? Голодных хотели вы накормить; откажете ли в подаянии духовном алчущим правды?

Впечатление, произведенное речью и по-

ступком Реи, было сильное. Все смотрели на девушку, гордо стоявшую перед алтарем, удивленно пожимали плечами и обменивались вполголоса словами на неизвестном мне языке. Наконец один старик еврей, лицо которого было примечательно большим шрамом, рассекавшим его лоб сверху донизу, сказал так:

– Если вы, путники, пришли от наших друзей, из Египта, то дайте нам знак...

– Нет, – возразила Реа, – мы никем из друзей ваших не посланы. Но не опасайтесь, что в нас вы найдете врагов. Не так приходят соглядатаи, подосланные магистром. Мы пришли с открытой душой, не таитесь от нас и вы. Мы – братья ваши по духу, хотя и не связаны еще с вами клятвой.

Все время, пока происходил этот странный разговор, я стоял в стороне, не зная, что мне должно делать, и, вероятно, был похож в самом деле на лазутчика из школы *agentes in rebus*. Между тем еврей со шрамом на лбу, которого другие называли Манагим, подумав, ответил:

– Темны твои речи, девушка. Но мы твоим

словам верим. Садись с нами, участвуй в нашей беседе и скажи, чего ты от нас хочешь.

Все снова поместились вокруг стола, и Реа заговорила, удивляя меня своей твердостью и умением во всех обстоятельствах сохранять обладание собой. В кругу чужих и враждебных людей, которых видела она впервые, она себя держала, как власть имеющая, и скорее повелевала, чем задавала вопросы. Таким, конечно, был богоравный Улисс, когда, не открыв своего имени, сидел у феакийцев на пиру в доме царя Алкиноя и царицы Ареты.

На первые вопросы Реи Филофрон и другие гости отвечали уклончиво; но было в голосе Реи и во всем существе ее какое-то особое магическое очарование, которое несколько раз я испытывал на самом себе. Постепенно и те шестеро человек, которые так неохотно и с такими опасениями допустили нас на свое собрание, поддались этому тайному влиянию юной пророчицы. Притом изумляло всех то знание Писания, какое проявляла Реа, и я видел, как несколько раз, выслушав ее объяснения того или другого текста, Манагим и Филофрон обменивались восхищенным взглядом.

– Поистине, Всевышний просвещает твой ум! – воскликнул один раз Манагим, не имея сил сдержать своего восторга.

Другие на эти слова одобрительно закивали головами.

– Скажи нам, кто ты, девушка? – спросил, наконец, Филофрон, – почему пришла к нам, что имеешь открыть нам.

– Нет! – возразила властно Реа. – Сначала вы скажите нам, не утаивая ничего, во что веруете, чему поклоняетесь, чего ожидаете.

Уже настолько овладела Реа душами присутствующих, что никому ее требование не показалось неуместным. Словно под каким-то очарованием были эти старики, которые согласны были поверить свои заветные тайны неведомой девушке, пришедшей к ним неизвестно откуда, даже имени которой они не знали. И, смотря на такое удивительное ослепление людей пожилых и опытных, я не удивлялся более, что надо мной, юношей, Реа проявляла порой неодолимую власть.

Манагим сказал:

– Я тебе открою все до конца, так как вижу, что истинно по воле Сущего ты пришла к

нам.

Светильник продолжал мигать, раскачивая на стенах тени возлежавших. Бронзовая Змея на алтаре словно выгибалась и распрямляла свои кольца и все выше подымала свой плоский череп, с высунутым из пасти жалом. Два изумруда, вставленных в ее голову на месте глаз, злоеще сверкали при каждой вспышке огня. Седые бороды стариков ближе нагнулись к столу. Совершенная тишина наступила в комнате, и Манагим начал говорить голосом очень тихим, почти шепотом, с той суровой осторожностью, с какой поверяют важные тайны.

– Великое я вам открою, путники. Узнайте же, что не Единый сотворил сей мир. Сын предвечного Хаоса, Иалдабаод, создал солнце, луну и звезды, а духи планет, повинувшись ему, создали, по образу и подобию своему, человека, чтобы тешиться им, как игрушкой своей гордости. Тогда Сущий, по милосердию своему, вдохнул в человека дух божественный. В гневе, Иалдабаод послал Омиоморфа, духа змееобразного, но не подлинного Змея, чтобы лукавыми речами воспретить людям вку-

шать от древа Познания. Но Верховная София, приняв свой истинный облик Змея, раскрыла коварство вечного Врага. Адам вкусил от запретного плода и, став мудрым, как боги, постиг в себе веянье духа божественного и бессмертного. Страшась с того часа своего собственного творения, изгнал Иалдабаод людей из кущей райских и вселил их на землю, низшее из небесных тел. И чтобы вернуть их к поклонению себе, он воздвиг среди людей Мессию, который должен был учить о величии и славе сына Хаоса. Однако не покинул благой Заступник человеческий род и на земле, но исполнил Мессию духом истины, так что стал он Христом, учителем правды. Телом распятый на кресте, духом вознесся Христос на небо и ныне ведет великую борьбу с злым демоном, чтобы в конце времен лишить его владычества и посрамить вполне. Люди, сотворенные Иалдабаодом на погибель, должны через Христа найти путь последнего Познания и вернуться к слиянию с первым небесным Эолом, верховной Премудростью. Такова тайна мира, девушка, которую мы храним, приняв от вдохновленных богом учите-

лей. Такова великая борьба между демоном злым и добрым демоном, делящаяся поныне, в которой всем на земле надлежит участвовать. Смотри на это изображение древнего Змея, девушка, и помни, что это он открыл людям силу Познания и дал им узнать, что они божественны и бессмертны. Змею и Христу поклонимся, братья, ибо через них явилась нам предвечная София. Им послужим и их возблагодарим!

За последнее время я много слышал бредней разных мечтателей, воображавших, что они проникли в сущность вселенной, но все же меня поразила до крайности эта проповедь старого еврея, в которой мудрость новой философии причудливо смешивалась с учением христиан и с откровениями Гермеса Трисмегиста. Одно мгновение я мог думать, что Манагим смеется над нами, но его со товарищи, против ожидания увлеченные его речью, как по призыву верховного жреца, поднялись с ложа и запели какой-то гимн, только не на латинском языке, а, может быть, на еврейском или египетском. В то же время один из участников собрания подошел к алта-

рю и возжег на нем курения, так что комната осветилась, а бронзовый Змей весь заблистал и словно совсем ожил, качаясь, растягиваясь и выше подымая голову в жертвенном дыму.

Я предпочел бы бежать из этого сборища змеепоклонников, но Реа, вдруг переменив свой смиренный вид на осанку исполненной богом Сибиллы, словно сбросив личину, вся выпрямилась и заговорила голосом звенящим и повелительным. Она в ту минуту вновь стала той пророчицей, какую я ее видел в Риме на собрании ее единомышленников, исступленной, как жрица Бакха, и безумной, как Аполлонова пифия. Так сказала она своим пораженным изумлением слушателям:

– Поклонники Змея! Как некогда Павел среди Афинян, по всему вижу, что вы благочестивы. Но и в вашем капище написано: неведомому Богу. Сего, которого вы, не ведая, чтите, я и пришла проповедать вам. Истиной владеете вы, но не в полной мере. Вижу в учении вашем ее зерно, которое прорасти должно. Трижды козни того, кого вы именуете Иалдабаодом, были разрушены высшей Премудростью. Иалдабаод сотворил человека

на поношение: Господь вложил в него дух божественный. Иалдабаод послал Змееподобного демона – дать лукавую заповедь о невкушении плодов от райского дерева: Господь явил истинного Змея, открывшего пути Познания. Иалдабаод воздвиг Мессию – вернуть людей к поклонению себе: Господь обратил Мессию во Христа. Узнайте же и вы, что ныне новый соблазн замыслил Враг, и не кто другой, как я, поставлена Господом одолеть Лукавого. Се – идет в мир тот, кого народы назовут Антихристом: по волею Господа должен он стать Христом, вторично пришедшим, Судиею праведным, который возблестит, как молния, что исходит от Востока и видна бывает даже до Запада. Не ведаете вы, что времена приблизились и сроки исполнились, но я вам о том возвещаю. Я – ангел демона доброго. Я пришла указать вам пути новые. Мне дано указать вам того, кому отныне вы должны поклоняться. Не дано будет более отсрочки ни на одно время, ни на полвремени. Поспешите повиноваться, потому что горе тем, кого Жених застанет не бодрствующими!

Таким яростным голосом произнесла это

Реа, так величественна она была с высоко поднятой головой, с глазами, расширенными и словно пронизывающими насквозь, что, по видимому, все, и я в том числе, были охвачены каким-то трепетом ужаса. Но одну минуту все были в колебании, и я чувствовал, что может произойти одно из двух: или змеепоклонники, вдруг очнувшись от того очарования, которое поработало их, прозрев внезапно от своей временной слепоты, в негодовании кинутся на нас, как на дерзких обманщиков, осыплют насмешками и бранью, с побоями вытолкают за дверь, как непрошенных проповедников, или, поверив словам Реи, признают в нас истинных посланников своего бога и преклонятся пред нами. И вот – вдруг сам Ма-нагим, сразу утратив свою учительскую уверенность, воздел руки ввысь и воскликнул, весь дрожа:

– Братья! я верую! Истинно говорю вам, Премудрость говорит ее устами.

Это восклицание было как бы знаком. Другие, как стадо, бросающееся, закрыв глаза, за вожаком в пропасть, ринулись к Рее, целовали подол ее паллы, повторяли слова поклоне-

ния, смотрели на нее, как на представшую им богиню. Я видел, что иные даже плакали от умиления.

Когда первый порыв восторга миновал, Реа спросила повелительно:

– Где юноша? почему вы его скрыли от нас?

Опять на минуту наступило неловкое молчание, и Филофрон проговорил неуверенно:

– О каком юноше ты говоришь? Среди нас нет юношей...

– Филофрон, – строго возразила Реа, – для чего ты допустил сатане вложить в твое сердце – солгать Духу святому? Не человеку ты солгал, но Богу.

Старик перед этим упреком юной девушки смутился, как малый школьник, и торопливо вышел из комнаты. Он возвратился тотчас же, и за ним с испуганным видом шла пожилая женщина, гречанка по виду, и юноша лет четырнадцати, напротив того, с лицом самоуверенным и вызывающим. У юноши было лицо Вифинского Антиноя, неприглаженные волосы образовывали ореол над челом, словно мраморным, детские, но необычно боль-

шие глаза смотрели надменно, а прекрасные, чисто греческие губы были ярко-алы и на бледном лице казались только что нанесенной раной, обогрелой чистой, свежей кровью. Так был прельстителен юноша красотой лица и гибкостью движений, что если бы его в эту минуту увидел отец богов, он вновь послал бы своего молниеносного орла, чтобы унести на Олимп нового соперника Ганимеду.

– Юний! – сказала мне Реа, – исполним наше счастливое дело!

Не отдавая отчета в своих поступках, повинуюсь безвольно, я приблизился к Рее, а она быстро развязала свой сверток, и пурпуровый колобий заблестал при огнях светильника и алтарных курений. Мы оба опустились на колени перед юношей, как преклонялись недавно патриции и сенаторы пред Грацианом, и Реа торжественными движениями облекла Аптиноя в императорскую одежду. Еще прекраснее показался он в пурпуровом плаще, оттенившем белизну его лица и стройно облегшим его стан. Или не понимая, что с ним делают, или привыкнув к поклонениям на тайных служениях Змею, юноша стоял перед

нами безмолвный, но не опуская лучистых глаз.

Вторично преклонившись, Реа произнесла торжественно:

– Привет, привет, привет, трижды блаженный! По велению Духа святого я, служительница Грядущего, первая возлагаю на тебя знаки твоей власти. Ныне видели очи мои спасение мира.

Из присутствующих никто не сказал ни слова, не сделал ни одного движения, чтобы помешать Рее: змеепоклонники приняли все совершившееся, как должное. Реа же, встав, сказала кратко:

– Я еще вернусь к вам. Теперь проводите нас к выходу. Оставайтесь с миром и помните мои слова.

И опять никто не возразил ничего, так как всеми владело какое-то обаяние. Филофрон, взяв в руки лампаду, показал нам путь и с низким поклоном открыл дверь. Мы вышли на улицу.

Я, за все время нашего недолгого пребывания в доме Филофрона не произнесший ни слова, с наслаждением вдыхал свежий ноч-

ной воздух. Но Реа, до конца сохранившая редкое обладание собой, внезапно словно опьянела от восторга или помешалась от радости. Она сделалась совершенно другой, непохожей на ту, которой была среди змеепоклонников, стала смеяться и плакать, обнимала меня порывисто и восклицала громко, забыв, что нас могут услышать прохожие:

– Милый Юний! мой Юний! Благодарю тебя. Ты сделал меня самой счастливой на земле. Ты дал мне увидеть то, на что я не надеялась. Я знала, что Бог привел меня к тебе.

– Помилуй, Реа, – возразил я, – все сделала одна ты. Я тебе ничем не помог и ни на что не был нужен.

– Нет, нет! – повторяла Реа. – Это – ты, это – ты! Ты меня привел сюда! Ты мне дал силы говорить и одержать победу! Я готова поклоняться тебе, я готова целовать тебе ноги!

Рео заставила меня войти к ней и в своей комнате предалась новому порыву радости. Она хохотала совсем как сумасшедшая, произносила речи бессвязные, бросалась то на ложе, то на пол и, действительно, пыталась целовать мне ноги и руки. Наконец, схватив

меня в свои объятия, перешла к тому иступлению страсти, какое я у нее уже видел раньше, и не выпускала меня из своих рук, пока я не стал отвечать на ее вызовы. Так этот вечер, начатый служением Змею, закончился служением Аматусии, и я, поздно ночью возвращаясь в дом Коликария, уносил смуту в душе от зрелища человеческого безумия и истому в теле от долгих любовных ласк.

## IX

После этого дня началась для меня в Медиолане жизнь необычная и совершенно непохожая на ту, которую я мог ожидать, уезжая из Рима.

С делами нашего посольства я почти ничего не имел общего и, продолжая жить в доме Коликария, часто за целый день не встречался ни с кем из Римских сенаторов. Порой даже обедать мне приходилось одному, так как Симмах и его сотоварищи уходили из дому для тайнственных переговоров с друзьями Юстины, на которые меня с собой не брали. Только изредка Симмах призывал меня в свою комнату для мелких письменных работ, но, обеспокоенный неудачами и утомленный

хлопотами, он не вступал со мной в разговоры, был вообще молчалив и утрюм.

Зато каждодневно я бывал у Реи, которая все более и более привлекала меня к себе причудливостью своей души, необъяснимой таинственностью своей жизни и своим неподдельным расположением ко мне. Мне нравились ее речи, пересыпанные словами из христианских священных книг, часто малопонятные, почти всегда восторженные; меня прельщали ее внезапные переходы от ликования к отчаянию, от разумной деловитости к явному безумию; наконец, мне все более желанными становились те ее ласки, которые, в иные вечера, она внезапно расточала мне со щедростью гетеры или участницы ночных служений Приапу, тогда как в другое время оставалась холодной и неприступной, готовой, как Лукреция, скорее умереть, чем нарушить целомудрие.

Но, сближаясь с Реей, я все же не мог проникнуть сквозь покров тайны, окружавшей ее, подобно облаку, которым боги окутывали в песнях Гомера героев, когда желали их сделать незримыми. Рее случалось уходить из

дому на целый день, и никто не знал, куда она шла и что делала в Медиолане, и хозяин дома, где она жила, встречавший меня как доброго приятеля и единомышленника, никогда не мог мне дать об этом никаких сведений. Мне случалось видеть, как Реа беседовала с людьми самыми различными, от сановников, в расшитых золотом тогах, и воинов, с красным цингулом и золотой пряжкой, до простых ремесленников, в грубых ленах, и оборванных нищих, похожих на ночных грабителей; но она не отвечала мне на вопросы, откуда она их узнала и какие у нее с ними дела. Живя весьма скромно, Реа, однако, всегда имела в своем распоряжении какие-то деньги, происхождение которых мне тоже было непонятно, и только один раз, без всякого смущения или стыда, она попросила меня дать ей золотой солид, что я, разумеется, тотчас исполнил.

Не менее загадочной оставалась для меня душа Реи, и по-прежнему я не знал, считать ли ее в числе лишенных рассудка, которой ее безумные грезы представляют, как действительность, то, чего нет, или почитать ее вдох-

новленной некими богом, причем лишь наша слепота побуждает нас не верить ей, как некогда не верили трояне прорицаниям Александры. Иногда я почти готов был предположить, что Реа просто распутная девушка, прикрывающая свои искания сладострастия вымышленными историями о скором пришествии Антихриста, в которого сама не верит; в другие часы своей скромностью, своим непритворным негодованием при всяком вольном слове, которое я решался произнести, Реа заставляла меня думать, что порывам страсти она предается против воли, может быть, одержимая в эти минуты демоном. Целыми часами Реа могла говорить разумно, выказывая много сообразительности и разносторонние познания, но потом неожиданно переходила к бессвязным восклицаниям и предсказаниям, воображая себя какой-то еврейской пророчицей.

Первоначально я был уверен, что к Рее меня привлекает прежде всего любопытство, потом то одиночество, в котором я оказался в Медиолане, наконец, желание найти в ней помощницу для исполнения моих замыслов;

но мало-помалу встречи с ней сделались для меня и привычкой, и сладостной необходимостью. Темная тоска поработала меня, если долгое время я не видел Реи, и я спешил из богатых покоев Коликария в ее скудную комнату, втайне надеясь, что в этот день странная девушка вновь пожелает любовных ласк. О Гесперии я все более и более думал, как о чем-то далеком, от чего меня отделяют целые года, или как не о живой женщине, а об одной из сонма бессмертных, и хотя не забывал ее божественного лица, ее улыбки, столь сладостной, что она, по словам поэта, напоминала полную луну, выплывающую из-за тучи, однако уже не находил в душе тех чувств, которые меня заставляли так страдать и так наслаждаться в Риме. И если я упорно продолжал искать способов выполнить данное обещание, то теперь уже больше потому, что оно было подкреплено страшной клятвой, и потому, что личность Грациана, после всего пережитого в Медиолане, возбуждала во мне ненависть и отвращение, чем из стремления жизнь свою возложить на алтарь Любви, как свой самый драгоценный дар. Не раз с горе-

чью я даже говорил себе, что, пользуясь чарами своей красоты и моим юношеским увлечением, посылая меня ради своих целей на верную гибель, Гесперия поступала скорее как скифская царица Томирида, чем как Римлянка, воспитавшая свой дух на книгах философов и на созданиях художников.

Тем не менее я продолжал убеждать Рею, так как ни от кого другого не мог ожидать содействия, что наше дело не завершено, пока мы не расчистили вполне путь к императорскому трону тому, кто должен на него воссесть, дабы царствовать над всеми народами. Как ни слабы были мои доводы, их было достаточно, чтобы легко всем увлекающаяся Реа приняла мою мысль, как свое собственное убеждение. Готовая, подобно дочерям Даная, без усталости работать хотя бы над неисполнимым предприятием, она принялась за осуществление моего замысла с такой настойчивостью и с такой ловкостью, которые для меня были недостижимы.

После одного из своих таинственных исчезновений, продолжавшегося почти целые сутки и заставившего меня мучиться скрытой

и неожиданной ревностью, Реа сообщила мне, что нашла возможность беспрепятственно проникать в священный дворец. Где-то ей удалось завести знакомство с одним стариком, по имени Питарат, занимавшим видное положение среди дворцовых педагогов. Реа уверяла меня, что он имеет полную возможность вводить во дворец кого угодно, и советовала мне заручиться его дружбой. Мы придумали басню, будто я намерен написать стихотворение в похвалу императору и желаю ознакомиться с покоями дворца, чтобы описание их вставить в свою поэму. Под таким предлогом началось мое знакомство с Питаратом.

Для первого разговора я позвал его в одну из лучших копон Медиолана и угостил секстатрием привозного греческого вина.

Питарату было лет шестьдесят; он был плешив, выбрит начисто, и его маленькая, круглая голова, со старческими, всегда прищуренными глазами и множеством мелких морщин, собравших всю кожу лба и щек, казалась случайно приставленной к телу, еще крепкому и не согнутому старостью. Он носил

квадратный греческий гиматий и всегда ходил с толстой палкой, потому что хромал на одну ногу. Всю свою молодость он служил моряком, плавал в самых отдаленнейших морях земного круга, но, сломав ногу во время кораблекрушения, должен был оставить это дело и, при содействии какого-то патрона, получил место во дворце, не требовавшее особой работы и, по его признанию, доходное.

Как все старики, Питарат любил болтать, и мне в первый же день пришлось выслушать немало его рассказов о путешествиях, бурях, дивных странах за морями, чудесных животных и о всем подобном.

– Теперь, юноша, мореплавание падает, – говорил, между прочим, Питарат, охотно осушая кубок за кубком, – но в мое время мы еще делали славные поездки! Зато я все на земле видел собственными глазами и знаю, что везде одно и то же! Меня уже не проведут рассказчики разных небылиц, которые ты сам, вероятно, слушал, развесив уши. Много теперь развелось молодых краснобаев, которые на деле нигде дальше Александрии не бывали, а о чужих землях сочиняют всякие сказки,

одна страшней другой. Теперь что! Все товары индийские и из земли синов идут к нам через аксомитов или персов, – вот и приходится нам переплачивать вдесятеро. А я еще плавал на египетской торговой триреме, которая из Миос-Гормоса так прямо и поплыла сначала на Салику, потом в Каттигару. Надо тебе сказать, что Эритрейское море такое, что дуют на нем только два ветра: летом с Запада, а зимою с Востока. Мы сорок дней плыли так, что не было видно земли ни справа, ни слева, небо да вода – и только. Приплыли в Метору, где слонов на улицах столько же, как у нас лошадей, и что же ты думаешь? Тамошние люди, в чалмах, пьют вино фалернское и лаодикийское, одеваются в арсинойские ткани, украшают свои столы фиванским стеклом и ставят в домах статуи наших художников! Потом столько же дней мы плыли до страны синов, и там тоже все слышали о империи, ждали наших товаров, а женщины только и мечтали, чтобы нашей сурьмой подвести себе глаза! Притом везде ходят наши деньги, золотые, серебряные и медные, и индийцы припрятывают их столь же охотно, как Римские

граждане. Да, юноша, есть на свете и диковинки, но люди везде одни и те же. И уж если это тебе говорит старый Питарат, который избородил землю от Восхода Солнца до Заката, так если другой скажет, будто за морем живут великаны или люди крылатые, плюнь ему в глаза.

Такой вывод, однако, не помешал Питарату тут же мне рассказать совершенно невероятную историю о лесном народе обезьян, живущем на островах Сатиров, с которым он и его товарищи-моряки будто бы вели войну. Лесные люди покрыты с головы до ног шерстью, лицо у них странное, с клыками, подобное волчьему, голос дикий, непохожий на человеческий, ходят они, упираясь в землю руками, которые у них непомерной длины. Силы они необыкновенной и могут вырывать с корнем целые деревья или ворочать огромные камни, должно быть, такие, о которых сказал поэт, что их не возложили бы на плечи и «дважды шесть» современных нам людей. Живут лесные люди на деревьях, в гнездах, питаются плодами, но иногда делают нападения на туземцев, главным образом, что-

бы похитить у них женщин, до которых очень падки.

Я сделал вид, что верю и такой нелепости, и слушал после рассказы о других путешественниках, которые проникали в отдаленнейшую Рапту, где слоновая кость валяется по дорогам, как булыжники, в страну Лунных гор, где из озер, похожих на моря, вытекают две реки, образующих священный Нил, о бесстрашных мореплавателях, которые, переплыв Океан, нашли за ним новую землю, громадные острова, большие, чем Азия, Ливия и Европа, взятые вместе, и о многом другом, что я мог отнести только к числу тех небылиц, о которых с таким негодованием упоминал Питарат в начале своей речи.

Когда вина было выпито много и еще больше рассказано удивительных приключений, я приступил к почтенному педагогу со своими просьбами. Он нисколько им не удивился, что меня несколько встревожило, и выразил полную готовность показать мне весь дворец, проводить меня по всем комнатам от первой до последней, по всем проходам и залам и даже дать мне возможность проникнуть в опо-

чивальню императора. Впрочем, Питарат добавил, что за такую услугу я буду должен ему заплатить, потому что он, если его содействие станет известным, может лишиться своего места, и я, конечно, это нашел вполне справедливым.

Когда я сообщил Рее об обещаниях Питарата, она по-детски захлопала в ладоши и воскликнула радостно:

– Видишь теперь, Юний, что явно сам Господь покровительствует нам, все трудное делая легким и все невозможное – доступным! Бремя его легко и иго его – благо!

Меня, однако, мучили темные предчувствия, и в ту же ночь мне приснился страшный сон, в котором мне казалось, что лукавый Питарат, в виде громадного, раздутого паука, прядет передо мною прочную паутину и зовет меня ласковым голосом: «Плыви ко мне, юноша, плыви, – ветер попутный!» Как ни мало был я опытен в снотолкованиях, однако не мог не понять, что мое сновидение предвещает мне недоброе. И унылая тоска, долго владевшая мною после пробуждения, подтверждала мне, как верный признак, что

сновидение было правдивое.

Это не помешало мне в назначенный день прийти к старому моряку, жившему в самом дворце, в его задней части, – на «корме», как говорил он, – в маленькой комнатке, украшенной причудливыми вещами, которые он привез из своих странствий: индийскими дротиками, масками, выделанными в стране синов, египетскими амулетами, персидскими вышивками и тому подобным. Тщательно пересчитав принесенные мною деньги, Питарат их спрятал в кованый ларец с хитрым замком и потом, действительно, повел меня во дворец, где тогда императора не было, так как он, несмотря на зимнее время, уехал охотиться в свое поместье под городом.

Оказалось, что проникнуть во дворец с заднего хода не так трудно, как мне это думалось: вход не охранялся решительно никем, если не считать двух рабов, которые были заняты в тот день мытьем пола и которых при случае можно было или обмануть, или подкупить. Я снова увидел грубое великолепие императорских покоев, безвкусное нагромождение золота, бронзы, разноцветных мраморов,

посредственных статуй и христианских изображений. Разумеется, я постарался хорошо запомнить дорогу, через бесчисленные проходы, к опочивальне Грациана, где стояло его громадное ложе, украшенное распятием и Римскими орлами; ложе было закрыто парчовыми завесами, на которых была вышита история какого-то христианского святого, и я подумал, что за этими тяжелыми тканями легко спрятаться незаметно и дожидаться удобного часа в ночи, чтобы нанести удар без промаха.

Питарат, получив деньги, был особенно любезен, прихрамывая, бегал передо мной и говорил безостановочно: то объяснял назначение той или другой комнаты, того или другого предмета, охотно приводя сравнения из корабельного мира, называя окна колумбариями, колонны – мачтами, залы – палубами, то возвращался к рассказам о своих путешествиях по чудесным странам и неведомым морям. Но я все менее и менее доверял его благожелательности и всячески старался рассеять подозрения, какие могли у него возникнуть, добросовестно играя роль поэта и вслух под-

бирая разные пышные выражения для прославления священного дворца и его божественного обитателя.

## Х

Вскоре после этого моего посещения священного дворца Симмах передал мне два письма: одно было от моего отца из нашей Лакторы, другое – от Гесперии из Рима.

Письмо от отца было длинное. В нем вполне выражалась его душа, – душа истинного Римлянина, достойного жить в лучшие времена, нежели наше, за которую сограждане называли его новым Катонем, а я не только любил сыновней любовью, но и почитал, как живой образец доблести. Вот что писал мне отец:

«Стало мне известно, мой любезнейший сын, что ты, прервав свои занятия в школе и приняв участие в посольстве от Сената Римского, с прославленным Аврелием Симмахом, поехал в Медиолан, где ныне пребывает август. Излишне было бы говорить, как высоко я чту значение Сената и сколь я желаю, чтобы ты свои поступки всегда сообразовал с его волей и с его решениями, в которых слышится

голос самого народа Римского. Также я думаю, что близость к Квинту Аврелию Симмаху, человеку достойнейшему, потомку славных Аврелиев и писателю, сочинения которого уже теперь всеми встречаются с большой хвалой, может быть, для тебя полезна и благодетельна. Однако я все-таки тем, что ты не исполнил моих наставлений и изменил свою жизнь, не спросив моего совета и разрешения, крайне огорчен.

Ты находишься еще в том возрасте, когда рано самому выбирать дорогу жизни, но должно следовать указаниям людей старших и более опытных. Юность без рассуждения готова взяться за всякое дело и с жадностью устремляется на все новое, думая, что у нее для всего достанет сил, и нетерпеливо желая все испытать. Но опыт учит нас, что истинная мудрость состоит в том, чтобы соразмерять свои плечи с бременем, которое собираешься поднять, и не браться за труд, который превышает твои силы. Надо искать дела сообразно со своими способностями, а не со своими желаниями. Я послал тебя в Город с тем, чтобы ты расширил свои познания и, из уроков фи-

лософии, научился отличать хорошее от дурного, подготовив тем себя для честного служения отечеству, что есть наш первый долг. Такая задача вполне по твоим силам, и тебе надлежало сначала ее выполнить, и лишь потом ты мог бы думать, на каком поприще и каким путем тебе всего лучше использовать свои знания и свои дарования к пользе империи.

Присоединившись к числу людей, которые решили почтительнейше просить августа изменить свою волю, ты выказал больше неосмотрительной заносчивости, чем благоумной скромности, подобающей юноше твоих лет. Обсуждать вопросы, относящиеся к делам правления, должны только люди, основательно изучившие право и историю, иначе легко упустить из виду главное и мелочам придать значение слишком большое. Давно было указано, что не раз события, считавшиеся злом, оказывались счастливым сочетанием обстоятельств, и, наоборот, те, которые принимались всеми с изъявлениями радости, вели после к гибели. Тебе рано судить о том, есть ли среди мудрых мер, принимаемых

императором, такие, которые должно изменить, и юноша проявит больше ума, стараясь хорошо исполнять существующие постановления, нежели домогаясь, хотя бы вместе с другими, издания новых. Я был бы более доволен, если бы ты, вместо того, чтобы торопиться участвовать в делах империи, приложил больше усердия к своему настоящему делу и радовал меня известиями о своих успехах в школе и добрыми отзывами своего учителя.

Поэтому я настаиваю, мой дорогой Децим, чтобы ты немедленно возвратился в Рим и возобновил прерванные уроки реторики, предоставив исполнять поручение Сената лицам старше себя и обязанным к тому своим положением. Не место тебе в Сенаторском посылстве, так как пока ты должен еще учиться и готовить из себя достойного гражданина, а не учить других и участвовать в трудах правления. Займись прилежно собиранием знаний, помня, что в наш век без этого ни в чем невозможно достичь успеха. Не забывай также, что, кроме честного имени, я не могу оставить тебе никакого сокровища и что по-

этому тебе самому придется заботиться о благополучии своей жизни. Человек образованный, как говорит поэт, в самом себе всегда имеет богатства. Мудрость обладает силой побеждать все бедствия: скорбь, бедность, позор, заключение, изгнание, – это говорит нам философ. Позаботься о том, чтобы приобрести образование и мудрость, – этим ты обеспечишь свою жизнь, и этим же ты сделаешь себя способным с честью носить имя Римского гражданина, не стыдя и славного имени Юниев. Исполняя старательно те обязательства, которые ты на себя принял, прибыв в Город с целью учения, и этим ты мне и всем другим больше докажешь добрые склонности своей души, чем вмешательством в дела, тебя пока не касающиеся.

Твоя мать присоединяет свою просьбу к моему приказанию. Она и твоя сестра здоровы. Твоего скорого ответа мы ждем уже из Города. *Vale ut valeam*».

Письмо от Гесперии было гораздо более кратким. Она писала так:

«Гесперия Юнию. S. D. Мой милый Юний. Уже много времени прошло с тех пор, как ты

уехал, и у меня давно нет никаких о тебе известий. Мне тебя очень недостает в Риме, и я сама не думала, что буду так о тебе скучать. Мне хочется, чтобы скорее окончились все дела, ради которых ты поехал в Медиолан, и ты опять пришел ко мне так же, как приходил прежде. Когда мы увидимся, я скажу тебе много для тебя приятного и неожиданного, впрочем, неожиданного также и для меня. Vale».

Эти два письма подействовали на меня совершенно различным образом.

Все в письме отца, – и приводимые им слова Сенеки, писателя, которого он особенно любил и изречения которого часто повторял, и суждения, подсказанные благоразумием и осторожностью, и самый слог, тяжелый, но ясный, – так живо напомнило мне семью и родной город, что я едва не заплакал, читая свиток. Сквозь суровые укоры и строгие наставления отца просвечивала его любовь ко мне и его забота о моей участи. И, – хотя не юношеская заносчивость и не преувеличенное мнение о своих способностях заставили меня присоединиться к Сенаторскому посоль-

ству, но власть любви и страсти, с которыми не под силу бороться неопытному сердцу, – я не мог не признать справедливым того, что писал отец, и не сознаться себе, что попал в беду, рано променяв тишину школы на бури жизни. Вместе с тем горько мне было думать, что отец своим приказанием – немедленно покинуть Медиолан, чем он хотел избавить меня от опасности, только вынуждает меня поторопиться с выполнением моего страшного замысла и как бы толкает меня, чтобы я, головой вперед, бросился прямо в пасть льву.

Напротив, по виду столь ласковые строки Гесперии не только меня не обрадовали, но почти рассердили, так как в них я почувствовал притворство и лицемерие. Гесперия, упоминая о чем-то «для меня приятном и неожиданном», что она намерена сказать мне при встрече, желала, вероятно, чтобы я в этих неопределенных словах увидел намек на чувство любви ко мне, возникшее в ней, и надеялась этим темным признанием, от которого при случае легко отречься, раздуть в моей душе, как кузнечным мехом, пламя страсти и пробудить во мне, – может быть, ослабшую, –

готовность действовать. Но я ни на минуту не поверил, будто Гесперия тоскует по мне, и все ее письмо мне показалось лишь новым доказательством того, с каким холодным расчетом она пользуется своей красотой и моей любовью для своих целей. Если бы подобное письмо я получил в первые дни моего знакомства с Гесперией, я бесчисленными поцелуями покрыл бы каждую его строку и сберег бы его, как величайшую драгоценность; но недели разлуки, размышление, а может быть, и влияние Реи сделали меня более рассудительным: я принял письмо только как напоминание о том, что дал клятву – пойти на верную смерть, и, не без негодования, бросил дочечки в свой ларь, на дно, где лежал недавно пурпуровый колобий.

Как бы то ни было, из обоих писем следовало одно и то же: что я должен спешить; да и какие причины оставались у меня, чтобы медлить? Надеяться на случайную встречу с Грацианом было нельзя; способ проникнуть во дворец был найден; наше посольство легко могло, в любой день, получить приказание покинуть Медиолан. «Действительно, доволь-

но ждать, – сказал я самому себе. – В таком деле никакие, самые осмотрительные предосторожности не помогут. Все зависит от богини Фортуны: ей я поручаю и свое дело, и свою судьбу. Пусть решительным днем будет завтрашний».

С таким решением в уме, но вовсе не с веселым сердцем я пошел к Рее, так как больше не с кем мне было поговорить откровенно в последний, может быть, вечер своей жизни.

Небо было бледно, но безоблачно, как то часто бывает зимой; колесница Феба клонилась к закату, и лучезарный венец бога бросал на город косые, яркие и холодные лучи; на улицах было пустынно, и высокие дома, с тяжелыми мраморными колоннами, казались необитаемыми. Я думал о том, что, вероятно, никогда более не буду созерцать этого вечернего часа, и мне странно было, что, несмотря на то, я шагаю так же просто, как всегда, что ни мой слух, ни мое зрение не изощрены, что красоту мира я ощущаю не сильнее, чем вчера, и что даже мое сердце бьется столь же ровно. Еще думал я о том, что, может быть, уже завтра я узнаю великую тай-

ну смерти, и для меня будет решен вопрос, кто прав, – приверженцы ли религии Юпитера, христиане ли, философы ли. Сольется ли моя душа с элементами мира, будет ли мой призрак блуждать вокруг мертвого тела, тогда как моя тень сойдет в Тартар, а мой дух вознесется в жилище блаженных, окажусь ли я в христианском аду, где будут меня терзать дьяволы до дня, когда я предстану на Страшный суд вторично грядущего в мир Христа, или на берегах Стикса, Ахеронта, Коцита и Флегетона я встречу блаженные и несчастные облики древних героев, воочию увижу царящего над мертвыми Ахилла, мучения Иксиона, Пирифоя, Тантала, вечную скорбь Лаодамии, Элиссы, Сапфо, грозное величие Александра, Цесаря, Траяна?

По счастью, я Рею застал дома и тотчас сообщил ей о своем решении. Не удивилась, не испугалась Реа, встретила мои слова, как то, что давно ожидала, но проявила твердую уверенность, что мое предприятие окончится успешно. С таким лицом и такими словами говорила со мной Реа, что сразу ко мне вернулась бодрость, и на время все мрачные пред-

чувствия и горестные опасения, словно змеи по знаку заклинателя, в моей душе свернулись кольцами и уснули.

– Не нами обречен Грациан, но перстом Всемогущего, – говорила Реа. – То, что будет совершено, есть решение Судьбы. Чего же нам бояться? Разве могут люди противиться Богу? Если бы мы даже были во сто раз менее осмотрительны, во сто раз менее приняли предосторожностей, все равно мы достигли бы цели, потому что это предрешено не нами. Мы – только видимое орудие незримой воли, которая сама поведет нас, сама устранил все препятствия с пути, сама даст нам удобный миг и случай! Я в видении видела тело Грациана простертым на мраморном полу, с железом в груди, и спасти императора не может уже никакая сила на земле!

Слушая пророчества Реи, я готов был верить, что на другой день мне предстоит не совершить страшное преступление, но только исполнить какое-то почетное поручение, – увенчать венком победителя на играх или продеklamировать чужое стихотворение. Но чем более успокаивали меня доводы девуш-

ки, тем неотступнее мне хотелось сознаться ей, что мысль убить Грациана явилась не у меня, а у кого-то другого, кто о пришествии Антихриста не помышлял вовсе. Я боролся с собой, чтобы не совершить клятвопреступления и не рассказать Рее о Гесперии все, и были минуты, когда начальные слова признания уже, как бы огнем, горели на моем языке. Однако я сумел преодолеть соблазн и сделал Рее только намек на свою тайну:

– Милая Реа, – сказал я. – Ты должна узнать, что в Медиолан я ехал уже с намерением совершить то, о чем мы сейчас говорим... Одна женщина в Риме, имени которой я тебе не назову и которую, как мне казалось, я люблю любовью беспредельной, подала мне эту мысль... Она не любила меня, но воспользовалась тем, что я, ради любви к ней, согласен был исполнить все ее приказания... Она была убеждена, что посылает меня на смерть, но все же послала... А я знал, что она так думает, и все же повиновался...

С большим трудом произнес я эти слова, но едва я их сказал, как мне стало легче, потому что тяжело хранить в душе мучительную

тайну, никому ее не поведав. Реа же, выслушав мое признание, внезапно сделалась ласковой, как мать или старшая сестра, любовно обняла меня, словно разгадав чутьем мои томления, стала гладить мне волосы и ответила:

– Та женщина тоже была орудием Провидения. Бог часто злые намерения обращает ко благу. Она думала послать тебя на гибель, а направила к славе. Было надо, чтобы ты оказался в Медиолане, и Бог вложил тебе в сердце призрачную любовь к той женщине, приведшую тебя сюда. Было надо, чтобы последний император уступил место Царю Грядущему, и Бог злую волю той женщины устремил не на кого другого, как на Грациана. Чудны и таинственны пути Господни.

– Это была не призрачная любовь, – проговорил я с еще большим трудом, – я ее люблю и теперь.

– Что мы знаем о своей любви? – возразила Реа. – Как часто нам кажется, что мы любим, тогда как, поистине, это только слепота земная. И как часто мы думаем, что ненавидим, но эта ненависть есть любовь. Душа человека

подобна морской глубине, где грубый камень можно принять за перл, а драгоценный коралл за простую водоросль.

Говоря так, Реа припала ко мне с тем страстным поцелуем, который все мое существо заставлял дрожать от желания. Было что-то в этой девушке, что ее ласки делало для меня ни с чем не сравнимыми, единственными и неотразимыми. Словно наши два тела изначально были созданы одно для другого, так что каждому трепету одного из них в полноте соответствовала дрожь другого. Через минуту я уже ничего не помнил о всем страшном, предстоявшем мне через несколько часов, и все мое отуманенное сознание было залито только одним: ощущением близости Реи.

– Ты ее люби, люби вполне, люби, сколько хочешь, – повторяла Реа, учащая поцелуи, от которых оставались на коже следы крови, – ты ее люби, – так надо, чтобы ты ее любил...

Выйдя от Реи уже поздно, когда по улицам распростерся сумрак, я, вместо того чтобы прямо вернуться в дом Коликария, пошел ко дворцу, желая еще раз убедиться, что доступ в

него возможен. Действительно, никто меня не окликнул, когда я, обойдя здание вокруг, приблизился к тому заднему входу, через который намеревался проникнуть во внутренние покои. Я остановился в некотором расстоянии от ворот, всматриваясь в них и обдумывая, как мне будет лучше действовать на следующий день.

Внезапно я увидел тени двух человек, шедших по направлению ко дворцу. Они были закутаны в плащи, так как было довольно холодно, и разговаривали между собой вполголоса. Раба, который фонарем освещал бы им дорогу, с ними не было. Я едва успел спрятаться за выступ стены, чтобы они меня не заметили.

Когда эти два человека прошли мимо меня, я узнал их обоих: то был Питарат, педагог, водивший меня по комнатам священного дворца, и тот сириец, императорский соглядатай, которого я и Ремигий встретили когда-то в Римском Порте и который, по-видимому, знал, что Реа и Лета везли с собой, среди дорожных вещей, пурпуровый колобий.

Почему они вместе? какая существует

между ними связь? не могут ли они обменяться теми сведениями, какие есть у каждого из них относительно меня? — эти мысли сразу встали в моей голове, и все самые дурные предчувствия, временно заглушенные ласками Реи, ожили вновь. Я чувствовал, что весь дрожу, что сердце мое почти останавливается от страха.

Питарат и сириец вошли во дворец через ту дверь, которую я выбрал для себя. Темное пространство перед воротами осталось пустынным. Но я долго еще не решался выйти из своего убежища, потом осторожно, прячась во мраке, перебрался на другую сторону площади и быстро пошел домой, тщетно отгоняя от себя мрачные думы.

## XI

С утра следующего дня я стал готовиться к задуманному делу.

Я написал письма в Лактору, к отцу, к матери и к сестре, высказал им всю свою любовь к ним, просил у них прощения за все беспокойства, какие им причинял в разное время, но остерегался сделать хотя бы один намек на то, что могло меня ожидать, чтобы

эти мои письма не послужили против меня уликой.

Еще большего труда стоило мне письмо к Гесперии, так как всякое неосторожное слово в нем могло служить уликой уже не только против меня, но и против нее. Много раз я перевертывал стиль и стирал написанное на мягком воске, и много раз я склонен был совершенно отказаться от последнего прощания с той, которая в течение многих дней была для меня божеством, но, наконец, мне удалось написать несколько строк, до известной степени выражавших мои чувства. Вот что я написал:

«Децим Авсоний Гесперии. S. D. P. Domina, верь, что ни те тысячи миль, которые нас разделяют, ни недели, которые прошли с того дня, как мы расстались, не заставили меня забыть тебя и слова, что я тебе говорил. Не смертным судить деяния богов, и все твои повеления – для меня решения Оракула, которым я повинуюсь без размышлений. И в этой жизни, и за пределами гробницы я равно буду поклоняться тебе, и какая бы судьба меня ни ждала в жизни, всегда счастлием буду по-

читать, что мне суждено было тебя узнать.  
Cura ut valeas».

Запечатав эти письма, я осмотрел кинжал, данный мне Гесперией, убедился, что он хорошо отточен, и спрятал его на груди. После этого мне более ничего не оставалось делать, и я решил пойти проститься с Симмахом, который был добр ко мне, и поблагодарить Тита Коликария, который оказал мне, вместе с другими членами посольства, радушное гостеприимство.

Симмах был в своей комнате один и что-то писал в пугилларах. Так как я почти никогда не приходил к нему без зова, то он меня спросил, что мне от него надо. Я сказал так:

– Письмо, которое ты мне передал, было от моего отца. Он гневается, что я покинул Рим и прервал учение, и требует, чтобы я немедленно возвратился в Город. Так как посольству, кажется, больше нельзя надеяться на успех и так как тебе я более не нужен, то, может быть, ты позволишь мне исполнить приказание отца.

Симмах внимательно на меня посмотрел и ответил:

– Нет, мой Юний, мы еще не потеряли надежды сломить упорство неистового Амбрoсия. Но, конечно, я могу обойтись без твоих услуг, – здесь я найду себе писца. Если тебе более нечего делать в Медиолане, ты должен подчиниться воле отца и немедленно ехать назад в Город.

Последние слова подтвердили мне, что Симмах о клятве, данной мною Гесперии, знал.

Потом, без всякого перехода, Симмах продолжал:

– Послушай, какие стихи я сейчас написал. И он прочел мне следующую эпиграмму:

*Белый снег осыпал Альпы,  
Строгий Норд встревожил море;  
Путь утратив, гибнет странник,  
Гибнет в мутной мгле моряк.*

*Но ведут святые хоры  
На вершине острой Пинда  
Вечно юные Камены, —  
Их предводит Аполлон.*

*И, незримо, звезд царица,  
Светит в сумраке Диона,*

*Всем влюбленным обещаю  
Радость сладкую надежд.*

– Находишь ты это хорошим? – спросил Симмах.

– Мне ли судить твои стихи! – возразил я. – Ты живешь для того, чтобы будущим столетиям доказать, что сила поэзии в Риме не иссякала никогда. Я же могу гордиться тем, что не только жил в одном веке с тобой, но и стоял перед тобой лицом к лицу.

Говоря так, я, конечно, просто льстил; в действительности я был удивлен, что среди важных дел и забот сенатор находил время и охоту заниматься сочинением стихов. Но давно замечено, что поэты всегда бросаются на похвалу своим сочинениям, как голодные рыбы на жирного червя. Хотя Симмах и довольно наслушался за свою жизнь похвал, он все же каждый раз принимал их, как самые дорогие подарки, и после моих слов стал говорить со мной гораздо охотнее и приветливее. Я этим воспользовался, чтобы точнее узнать, насколько он посвящен в замыслы Гесперии.

– Как ты думаешь, – спросил я, – изменится ли положение дел, если место Грациана зай-

мет другой император?

– Да, тогда изменится все, – быстро ответил Симмах. – В императоре чтут сына Валентиниана. На ученике Авсония лежит отблеск славы победителя Британнии и Африки. Грациану подчиняются потому, что отец его сумел запугать народ на много десятилетий вперед. Довольно исчезнуть одному человеку, Грациану, который столь же смертен, как ты, я и мой раб, – и многое невозможное станет возможным, и вся история империи изменится.

– Кстати, скажи мне, – спросил я еще, – вернулся ли Грациан в Медиолан.

Симмах опять многозначительно посмотрел на меня и ответил медленно:

– Он вернулся вчера утром и теперь живет в своем дворце уединенно...

После этого ответа я не сомневался более, что Симмах знает, с какой целью я живу в Медиолане. Поэтому, вынув написанные письма, я сказал:

– Значит, ты мне разрешаешь ехать в Рим. Я так и сделаю, и покину Медиолан завтра же, если то позволят боги. Я рассчитываю, что

ты сможешь мне получить лошадей, потому что самому мне будет это сделать трудно. А на тот случай, если со мной произойдет какое-либо несчастье в пути или раньше, – вот письма: пошли их тогда тем, кому они назначены.

Симмах встал, как кажется, взволнованный, подошел ко мне и поцеловал меня в лоб, потом сказал:

– Я все исполню, милый Юний, будь в том уверен. А завтра, с раннего утра, у заставы на Эмилиевой дороге тебя будет ждать готовая карпента и верный раб. Ты можешь, если это понадобится, уехать, не простившись. Если же тебя постигнет какое-либо несчастье, мы все, узнавшие тебя, будем тебя поминать с любовью. Но верь в помощь богов бессмертных!

Злая тоска, словно когти гарпии, сдавила мое сердце при этих ласковых словах Симмаха. Я не мог ничего отвечать и выбежал из комнаты. Мне было жаль самого себя, и мне было горько, что другие меня жалеют.

Успокоившись несколько, я пошел к Титу Коликарию. Но оказалось, что его нет дома, и

меня провели к его жене Фальтонии, показывавшейся редко и почти все время проводившей в дальних покоях за домашними работами. Когда я вошел к ней, она тоже занята была вышиванием. В руках у нее был широкий шелковый пояс, по которому она золотом изображала проказы амуров, соперничая с искусством косских мастеров, а две рабыни, стоя около ее кресла, держали моток золотой пряжи и помогали ей.

Я объяснил, зачем пришел, и Фальтония, выслушав мои благодарственные слова, подняла на меня свои грустные глаза, всегда окруженные синевой и потому казавшиеся особенно глубокими, и сказала:

– Да, ты хорошо поступишь, Юний, если послушаешься отца и вернешься в Город, в свою школу. Как прививки можно делать только к молодой виноградной лозе, так воспитывать душу можно только в молодости. Учись хорошенько, собирай дельные советы учителей, старайся стать хорошим человеком. Потом выбери себе добрую жену и поезжай жить в родной город, подальше от шумного Рима и императорского двора. Я жила

больше твоего и могу тебе сказать, что счастье не в блеске, не в богатстве, не в славе, а в мирной жизни. Не ищи почестей: они принесут с собой зависть и ненависть; не заботься о делах империи: при всяком правлении можно прожить счастливо в своем маленьком домике; не добивайся, чтобы твоя жена была красавицей: женщина некрасивая ласкает мужа не менее нежно, а любит всегда больше. Ты видишь: я живу в богатстве, и мой муж занимает важную должность, но я от этого не стала более счастливой...

Произнеся эту горациановскую проповедь о том, что

*В сей жизни счастлив тот, кто  
от забот далек, —*

Фальтония улыбнулась своей обычной грустной улыбкой и, помолчав, добавила, что не считает себя вправе делать мне наставления, но думает, что жизнь в Медиолане, когда я иногда целые дни провожу неизвестно где, не служит мне на пользу. Сказав в ответ несколько незначительных слов, я покинул Фальтонию, не только не успокоенный, но с

еще большей тяжестью на душе. Все словно стоворились ослабить мою решимость и направляли стрелы своих слов в самые незащищенные места моего сердца.

После советов Фальтоники мне ясно представилось, как много есть в мире прекрасного, чего я не изведаль и даже не попытался узнать. Передо мной была целая жизнь, в которой я мог испытать и счастье взаимной любви, и наслаждения, какие дает почет среди сограждан, и веселие в кругу близких друзей, а я вместо того поспешил бросить себя на позорную смерть ради улыбки первой красивой женщины, встреченной мною. Я сравнивал себя с мальчиком, который, отправляясь в город на ярмарку, выпросил у отца несколько сестерций, но на первых же шагах проиграл их в кости, а потом с завистью смотрит на палатки, где показывают крокодилов, на занавеси, за которыми тешат зрителей борцы и фокусники, на лари с орехами и сладостями и грустно думает, что мог бы воспользоваться всеми этими радостями, если бы был более бережлив.

Остаться дома мне было нестерпимо.

Уложив все свои вещи как бы для отъезда, убедившись, что кинжал со мною, так же как и деньги, которые мне могли понадобиться, я вышел на улицу. На этот раз день был сумрачный, и громадные клубы облаков ползли по небосводу так же уныло и медленно, как мои мысли. Люди шли по всем направлениям: одни торопились по делу, другие празднично гуляли, разговаривали друг с другом и, прищурясь, оглядывали проходящих женщин, но мне были ненавистны и те и другие: озабоченный вид тех и беспечность этих казались мне оскорбительными, когда я был обречен на смерть.

Я зашел в таберну, съел кусок козьего сыра и выпил вина; это немного меня ободрило. Потом, преодолев волнение и невольную дрожь, я пошел ко дворцу. Было еще рано, и на площади ежеминутно появлялись прохожие. Постояв некоторое время перед воротами, я опять вернулся в город и опять стал ходить бесцельно по улицам.

С каждой минутой мое предприятие мне казалось все более и более нелепым.

«Предположим, – думал я, – что мне удаст-

ся войти в ворота незамеченным. На лестнице дворца я, наверное, встречу дворцовых рабов. Я попытаюсь подкупить их, но как поручиться, что они, взяв деньги, не укажут на меня стражам? Пусть даже я проникну внутрь дворца, – есть ли вероятие, что я тайно доберусь до спальни императора? Наконец, если я и окажусь в ней, будет ли это все? Разве Грациан не может пойти сегодня спать в другую комнату? Разве рабы, раздевающие его, не могут заметить моего присутствия? Разве я могу быть убежден, что моя рука не задрожит, и я, в первый раз в жизни нанося смертельный удар человеку, не промахнусь? Какое сочетание длинного ряда чудес нужно для того, чтобы мой замысел осуществился!»

Со дна моей души, словно туман, встающий летним вечером и застилающий все кругом, поднималось убеждение, что всего разумнее – отказаться от задуманного. Мне становилось ясно, что на том пути, который я выбрал, и мог лишь погубить себя, но убить Грациана не было никакой надежды. Все сильнее и сильнее искушал меня соблазн – вернуться домой, пока не поздно, и завтра

уехать из Медиолана, но не в Рим, так как мне было стыдно встретиться с Гесперией, а в Афины или в Антиохию... Однако мысль об том, что о моей клятве знает также Симмах, что он станет презирать меня за трусость, удерживала меня. Я напоминал себе слова Реи, что за меня сам Бог, и подтверждал их изречением Цицерона: «Нет ничего, что не мог бы совершить Бог».

Когда смерклось, я вторично подошел ко дворцу. На этот раз площадь была пуста. Невыразимое томление овладело мною. Я предпочел бы, чтобы какое-нибудь внешнее обстоятельство помешало мне. Но все, по-видимому, благоприятствовало моему замыслу. Ворота были приотворены, и нигде не было видно стражей.

С величайшим напряжением чувства, ощущая какую-то колющую боль в сердце, я вознес мольбы самому Отцу богов и людей.

«Iuppiter Optimus Maximus, – взывал я про себя, – ты когда-то низверг в Тартар своего отца, Сатурна, ты сокрушил гигантов, что громоздили Оссу на Пелион, чтобы лишить тебя власти! – помоги мне и защити меня! Ради

твоей славы я иду на это дело, чтобы вернуть прежнее величие твоим храмам и алтарям, чтобы уничтожить чужеземную веру, которая дерзает соперничать с верой отцов и глумится над тобой и сонмом тебе подчиненных богов! Пошли мне удачу, дай мне силы, потому что я стою за правое дело и за тебя!»

Так взывая, а также повторяя слова установленных молитв, я скользнул в ворота. Дворцовый двор также был пуст. Я подошел к двери, через которую вводил меня во дворец Питарат. Она не была заперта. С сердцем, бьющимся, как молот, я вошел во дворец и быстро стал подниматься по узкой каменной лестнице, совершенно неосвещенной, спотыкаясь и натыкаясь на стену.

Я был уже на второй площадке, когда два человека вдруг бросились на меня. Один схватил меня за горло, другой за руки, и притом так стремительно, что я не успел взяться за оружие. Тотчас же луч тайного фонаря осветил мое лицо, а я в этом мерцающем свете узнал напавших на меня: то были Питарат и сириец.

Несколько мгновений мы все трое молча-

ли, – я от ужаса и изумления, – потом старый моряк, со злым смехом, сказал мне:

– Вот, милый поэт, зачем тебе надо было узнать расположение дворцовых комнат! Вместо того чтобы написать оду, ты просто пришел воровать императорское серебро. Ну, ты скоро узнаешь, как оно дорого стоит.

При таком обвинении я весь затрепетал, как если бы кто-нибудь меня ударил по лицу.

– Лжешь, негодяй! – крикнул я, – я не могу быть вором.

Ожесточенным усилием я вырвался из рук хромого старика, хотя он был еще довольно силен, и отбросил к стене тщедушного сирийца. Но тот, ловко отскочив в сторону, свистнул особенным образом, и на помощь к моим врагам подбежало двое рослых алан. Эти сжали меня с такой силой, что их пальцы, как клещи, впились в мое тело, и я уже не мог шевельнуться.

Тогда, хихикая в свою очередь, сириец подкрался ко мне и принялся меня обыскивать, причем его холодные пальцы, словно ноги какого-то отвратительного гада, прикасались к самому моему телу. Нащупав на моей груди

пугион, которым я так и не успел воспользоваться, сириец с торжествующим видом показал его товарищу:

– Будь свидетелем, что я это нашел у молодчика. Ну, милый Децим Юний, племянник сенатора, тебе подробно истолкуют, можно ли ходить ночью по дворцу с кинжалом за паху. Да напомним, может быть, и то, годится ли защищать преступников, злоумышляющих на особу императора, когда их хотят уличить в преступлении. Теперь тебе все объяснят и покажут!

Пока сириец говорил и его отвратительное, грубо накрашенное лицо, которое иные женщины, вероятно, считали красивым, кривилось от злобных усмешек, я овладел своим порывом и, стиснув зубы, решил не говорить ли слова.

– Ну, что же, – продолжал глумиться сириец, – думаешь ты по-прежнему, как твой товарищ, что я гожусь только в канатные плясуны? Или способен я и на кое-что лучшее, например, выслеживать таких плясунов на дворцовых лестницах, как ты? Или, может быть, ты сюда попал по ошибке? думал, что

здесь живет какая-нибудь красотка, которой нужен храбрый защитник?

Я продолжал молчать. Сириец, обшарив мою одежду и отобрав мой кошелек с деньгами, переменял голос и приказал стражам:

– Свяжите его и тащите в ту тюрьму, которую я указал. Да смотрите: вы своей жизнью отвечаете за него! Если вздумаете его выпустить, оба вы будете завтра же без головы!

Аланы достали ремни и скрутили меня так крепко, что руки и ноги у меня были словно перерезаны. Потом эти молчаливые исполнители приказаний, эти новые Кратос и Биа, поволокли меня вниз по лестнице, не заботясь о том, что мои связанные ноги не могли двигаться. На каком-то повороте я ударился головой о стену так сильно, что почти потерял сознание. Поэтому я плохо помню, что было далее. Меня свели, или, вернее, снесли в какое-то подземелье во дворце, отперли железную дверь и, как безжизненную связку товара, швырнули в черный мрак. Я упал на сырой каменный пол тюрьмы.

Начались для меня тюремные дни.

Когда я пришел в себя и глаза мои освоились с темнотой, я увидел, что моя темница была обширным подземельем, со сводами, составлявшими, вероятно, подземную часть дворца. Окон в стенах не было, и только высоко над дверью было небольшое отверстие, забранное толстой решеткой, выходившее, вероятно, на полутемную лестницу, так как сквозь него проникал какой-то серый луч, едва нарушавший полный мрак. Стены были липкие, и по ним постоянно текли струйки влаги; по полу бегали сороконожки и ползали мокрицы; воздух был сырой и смрадный. Одним словом, было все то, на что обычно жалуются узники, хотя подземелье, как кажется, не было построено с тем, чтобы служить тюрьмой. Здесь не было обычных трех этажей, из которых в самый нижний заключенного спускают по веревке, — но мое положение от того не было легче.

В первый же день моего заключения пришли два тюремщика, не то саксоны, не то скотты по виду, развязали ремни, которыми были стянуты мои члены, сняли с меня мой

плащ и мои галльские башмаки и заковали мне руки и ноги в оковы, цепью приковав меня за ногу к стене. Я был так слаб и так удручен свершившимся, что сначала не пытался сопротивляться, но когда германцы стали меня приковывать к стене, как низкого раба, я в негодовании закричал, что я – Римлянин и племянник сенатора и что никто не вправе так меня унижать. Вместо ответа тюремщики грубо закричали на меня на непонятном мне языке, а один из них не то толкнул, не то ударил меня, показывая, что я вполне в их власти. Поняв свою беспомощность, я более не произнес ни слова.

У стены, около того места, где меня приковали, лежала груда сырой и гнилой соломы; она должна была служить мне ложем, на котором я проводил все время, так как цепь не давала мне двигаться. Те же тюремщики приходили в тюрьму ежедневно и приносили мне обычное пропитание узников: половину твердого хлеба, порой покрытого плесенью, и глиняную кружку воды, пахнувшей ржавчиной. Кроме этих германцев, я не видел более никого, и ничего не знал о том, что соверша-

ется в мире. На все мои вопросы, просьбы и угрозы, тюремщики отвечали или молчанием, или грубым окликом: да, может быть, они и не понимали по-латыни.

Первые дни моего заключения я провел в глубоком унынии. Я испытывал жестокую боль во всем теле и особенно в голове; сознание мое было мутно, как у больного лихорадкой. Я почти не вставал с соломы, стараясь ее грязными ключьями защитить себя от сырости и холода. Есть тюремный хлеб я едва мог, и меня мучил злой голод. Жестоко я страдал и от униженности своего положения, от того, что мои руки – в оковах, что я, как привратник или как корабельный гребец, прикован цепью, что варвары-германцы распоряжаются мною. Мне казалось, что смерть была бы легче такого унижения.

Одна мысль при этом не покидала меня: та, что я так бесцельно и так неразумно погубил свою молодую жизнь. Я вспоминал людный Рим и его шумные форумы, по которым так недавно гулял и я, вспоминал пышные пиры, на которых участвовал, с умными речами гостей, с приманками красивых плясуний

и искусных флейтисток, вспоминал школу и мудрые поучения Энделехия, вспоминал друзей и круг семьи и высокий холм родной Лакторы. При сознании, что всего этого мне более не суждено увидеть никогда, отчаяние и ярость овладевали мною, и я то рыдал, не жалея слез, то бился о холодный пол, как рыба, брошенная на прибрежный песок. Дорого я заплатил, – так я восклицал, – за единый поцелуй продажной женщины, за единый миг, показавшийся мне когда-то вратами к последнему блаженству!

При воспоминании о Гесперии я временно выходил из своего оцепенения, становился на колени, потрясал закованными руками, грозил отсутствующей кулаком, кричал угрозы и проклятия. Она отдавала свое тело одним за деньги, другим за славу, третьим по прихоти минуты; она была возлюбленной консулов и мимов, поэтов и цирковых наездников; она унижалась до того, что делила ложе с рабами, которые приглянулись ей скуластым лицом или видной осанкой; она в течение целых месяцев держала у себя на содержании, как любовника, низкого негодя и трусливого прохо-

димца Юлиания, который не постыдился за-  
грязнить память своей матери, чтобы выдать  
себя за сына императора! А меня, в уплату за  
одно сладкое лобзание, в котором Гесперия  
проявила только искусство опытной гетеры,  
за одно лицемерное коленопреклонение, ко-  
торое Гесперия, конечно, разыгрывала перед  
многими другими, – она послала на верную  
смерть, не заботясь о том, исполнимо ее пору-  
чение или нет, довольствуясь тем, что, может  
быть, чудесный случай поможет мне из урны  
Судьбы с тысячью роковых жребиев выта-  
щить один счастливый!

Я не верил более в то, что Гесперия, беря с  
меня клятву, заботилась о благе Римского на-  
рода и о торжестве нашей древней религии. Я  
не верил более в бескорыстие и благородные  
чувства Гесперии, хотя она и говорила мне,  
что живет лишь для торжества своего дела. Я  
был убежден, что ею двигали побуждения  
низменные и личные. Всего вероятнее, – так  
рассуждал я, – она мечтала об том, чтобы  
свергнуть Грациана, возвести, во время смут,  
на трон цезарей своего ставленника, хотя бы  
того же Юлиания, бездушную игрушку в сво-

их руках, и после править его именем, или даже, разведясь еще раз с мужем, стать императрицей, увенчать себя диадемой. Я говорил, что Гесперию или соблазняли такие примеры, как пышность Агриппины, разврат Мессалины, власть Юлии Домны, слава Мамеи, или что она желала явить новый пример истории Римской и показать изумленному миру первого императора-женщину, подобно Пальмирской царице Зенобии и древней Семирамиде.

Я произносил все бранные слова, какие знал, называл Гесперию Медеей, собственных детей рубящей на части, Пасифаей, в сладострастном порыве гонящейся за быком, называл всеми позорными именами, которые бросают в лицо дешевым продажным женщинам в низших лупанарах моряки. Я призывал на голову Гесперии месть всех богов, Олимпийских и подземных, просил Сатурнию отомстить ей за поруганную супружескую верность, Весту – за оскорбленный семейный очаг, богиню Верности – за нарушенные клятвы, молил, чтобы страшными карами обрушилась на нее ночная Геката, чтобы тело ее

покрылось язвами и струпьями, чтобы загнались ее льстивые глаза и стала дряблой ее соблазнительная кожа, чтобы Бледность и Страх не отходили от ее ложа. Если бы в те минуты Гесперия оказалась около меня, я мог бы кинуться на нее, как зверь или грубый скиф, мог бить ее и топтать ногами; я хотел ее смерти, как смерти злейшего врага.

Когда проходило исступление, я вновь падал на солому, но и лежа долго еще продолжал произносить проклятия, все, какие только мог вспомнить и из книг, и из речей Реи, умевшей проклинать с силой необыкновенной.

От Гесперии мысли мои обращались к моей участи, и тогда ожесточение сменялось тоской и страхом. Я хорошо знал, что в наши дни обычные формы судопроизводства не считаются обязательными, особенно в делах, так или иначе касающихся особы императора. Теперь часто судят человека, когда нет налицо даже законного обвинителя, не требуя улик и доказательств, не давая возможности защищаться, не оставляя права апелляции, — притом дело ведут не судьи, назначенные

правильно, в кругу законной аудитории, но иной раз магистры конницы, не знающие законов, получившие судебную власть на несколько дней, по устному приказанию императора. Поэтому я мог ожидать, что меня, хотя я был сын всеми чтимого гражданина, предки которого занимали курульные должности, отдадут на произвол какого-нибудь вольноотпущенника из германцев, что мне не позволят представить никаких объяснений и что свирепый сармат отрубит мне голову здесь же, в грязной тюрьме. Почему я мог надеяться на лучшую участь, чем та, которая постигла Галла, племянника императора Констанция?

Кроме того, – и это, быть может, всего более пугало меня, – я знал, как широко пользуются в наш век всякого рода пытками, прежде бывшими в употреблении лишь у варваров, чтобы силой немилосердных мучений вынудить признания у людей, даже неповинных и непричастных к делу. При одном представлении страшных орудий палача: бичей, раздирающих кожу спины, клещей, вырывающих клочьями мясо, кобылы,

на которой человека растягивают, как кусок материи, веревок, с помощью которых вывертывают кости из суставов, дыбы и других приспособлений, о которых повествует нам Туберон в истории Регула, я холодел от ужаса и, закрыв глаза, молил бессмертных о быстрой смерти. Воображая, что к моим членам прикасается свистящий воловий ремень или раскаленное железо, я о цикуте Сократа думал как о благодеянии и блаженстве. К тому же я не сомневался, что под пыткой мои судьи начнут требовать от меня, чтобы я назвал своих сообщников, и мне страшно было признаться самому себе, что у меня не найдется мужества стойка Зенона, откусившего себе язык, чтобы не дать ложного показания Кипрскому царю: я боялся, что, измученный жестокими страданиями, я не только назову, как свою сообщницу и подстрекательницу, Гесперию, но открою существование тайного общества, собирающегося в доме Элиана, оклеветшу Симмаха, а может быть, и вовсе чуждых делу лиц, как моего друга Ремигия или дядю Тибуртина.

В таких невеселых и мучительных думах

проходили первые дни моего заключения.

Однако давно сказано, что человек ко всему привыкает, и незаметно для меня совершилось то, что я стал привыкать к своей тюрьме. Голод заставил меня есть заплесневелый хлеб, жажда – пить ржавую воду. Несмотря на цепи, почти не дававшие мне двигаться, я временно оправился от той болезни, которая мучила меня, и почувствовал некоторую бодрость в теле. Глаза мои совершенно освоились с темнотой темницы, и я стал различать все ее углы, научился укрываться от насекомых, кишевших на полу, и даже развлекался, забавляясь ими. Вместе с тем мои мысли стали делаться более светлыми, мне начало казаться, что моя судьба не так ужасна, как я думал, и, наконец, на несколько дней, поселилась вместе со мной в темнице богиня Надежда, – «обманчивая надежда», «сладостное зло», «высшее из зол», – как говорит поэт.

Прошло уже несколько дней, – так я рассуждал тогда, – с тех пор, как меня схватили во дворце с пугионом за поясом, между тем никакой перемены в моем положении не произошло: меня не приводили на суд, не

подвергали пытке и не предъявили никакого обвинения. Не значит ли это, что опасным преступником меня не считают? Да и в чем состоит мое преступление? – только в том, что я проник без разрешения в жилище императора. Что касается кинжала, то ведь могло быть, что я обычно носил его на себе и просто не позаботился снять, входя во дворец без всяких коварных намерений. Наконец, – говорил я себе, – мое исчезновение должен был заметить Симмах, который хорошо относится ко мне и который, конечно, попытается меня спасти. Я – не безвестный бродяга, я – член Сенаторского посольства, я – сын видного человека, я – Римлянин, принадлежащий к славному роду Юниев. Неужели не найдутся люди, которые пожелают избавить империю от нового стыда бесправной казни?

Подобные размышления я вел вслух, сам перед собой, как бы произнося целые защитительные речи. Вместе с тем я стал обдумывать, нет ли возможности из тюрьмы бежать.

Мне представлялось, что у меня достанет сил, чтобы сломать цепь, которой я прикован к стене, убить моих тюремщиков и, переодев-

шись в платье одного из них, выйти свободно за пределы дворца. Чтобы вернуть себе утраченные силы, я занимался телесными упражнениями, напрягал свои мускулы, раскачивал и расшатывал свою цепь. Возобновил я также попытки разговаривать с германцами, приносившими мне хлеб и воду, но по-прежнему ответа не получал.

Настолько я чувствовал себя бодрым, что даже, чтобы скоротать время, занялся сочинением стихов. При этом мне не хотелось соперничать с Насоном, в элегиях изливавшим жалобы на свою горестную участь и на тяжесть своего изгнания, но я слагал эпиграммы на разные общие вопросы, утешая себя размышлениями о судьбе всех людей и о коварстве случая. На тюремной стене, около своего ложа, я прочел несколько надписей, нацарапанных, с грубыми ошибками, каким-то моим предшественником по заключению, и среди них такое изречение:

*Тех, кто меня сюда бросил, да пожрут собаки.*

Найдя осколок камешка я рядом выцара-

пал свои эпиграммы и после не раз сам перечитывал их, самодовольно находя, что они могут выдержать соперничество со стихами моего славного соотечественника, Авсония. Особенно остались у меня в памяти две эпиграммы:

I

*Ночь вышивает по сини огнистых  
созвездий узоры,  
Ночью сильнее аромат Флоры  
прекрасных детей,  
Ночью на темных распутьях  
волхвы вызывают Гекату,  
Ночь – для веселых пиров, ночь –  
для любовных утех.  
Днем проходит над миром Титан  
в венце лучезарном,  
Сменою красок глаза день много-  
цветный слепит,  
Днем произносит решенья консул  
на кресле курульном,  
В школах днем мудрецы мудрые  
речи ведут.  
Что же я изберу: неба ясность,  
любезную Фебу,  
Или поля темноты, бродит его  
где сестра?*

*Будьте равно мне желанны, сень  
ночи и своды дневные:  
Мудрым я буду в одних, буду  
счастливым в другой.*

## II

*Евредуку – змея, Орфея – взгляд,  
дар – Алкида,  
Город троян – красота, сына Ат-  
рида – жена,  
Этих губит любовь, тех рев-  
ность, тех алчность, тех ску-  
дость, —  
Что же такое вся жизнь: ряд бес-  
пощадных силков.*

Сознаюсь, впрочем, что рядом со своими стихами я написал также следующие слова: «Дочь Кебрена, я отомщу тебе!»

Злоба против Гесперии не покидала меня и в эти дни, и я, мечтая о том, что вновь буду на свободе, неумолимо составлял замыслы мщения.

Однако богиня Надежда недолго гостила в моей темнице, и суровая действительность скоро заставила ее опять распусть крылья и улететь к другим, чтобы и их обманывать

своими льстивыми песнями. Прежде всего, день проходил за днем, а помощи не являлось ниоткуда, даже никакой вести я не получал от моих друзей. Потом, после ряда тщетных опытов, я убедился, что оковы прочно держатся на моих руках и ногах и что даже сколько-нибудь ослабить цепь, приковывающую меня к стене, я не в силах; поистине, оковы были «адамантовые», как у Прометея, и уже по одному тому мечтать о побеге было безумно. Кроме того, дурная еда и спертый воздух сделали то, что ко мне вернулась болезнь, и я вновь стал то дрожать от нестерпимого холода, то пылать в невыносимом огне. Снова мною овладело уныние, я позабыл о стихах, и снова целые дни проводил на ложе, в неподвижности, даже не поворачивая головы к тюремщикам, когда они входили в темницу.

В эти дни я обратился душой к богам. Я молил о помощи и спасении бессмертных, давая обеты всякого рода, обещал принести богатые жертвы, если буду освобожден, клялся отдавать десятую долю всего, что буду получать, Геркулесу, если он мне поможет. В тюрьме не

было алтаря, который я мог бы обнять, и некому было мне подсказывать точные слова молитв, но, и взывая своими словами, с непокрытой головой, я все же молился усерднее многих других, надевших белые тоги, украсивших головы венками из листьев, повторявших слова самого великого понтифика. Я возносил моления Юпитеру всемогущему, Меркурию с окрыленной стопой, таинственному Митре, которого философы отождествляют с Солнцем и Аполлоном, и той Великой Матери Богов, святилище которой особенно чтится в нашей Лакторе.

Я дошел до такого унижения, что обращался с мольбами даже к иудейскому Христу, обещая уверовать в него и сделаться христианином, если он спасет меня. Я припоминал слова христианских молитв, которые мне случилось слышать, обращался к богу, называл его «Отче наш» и, стоя на коленях, умолял простить мне мои грехи. «Твой ангел вывел из темницы апостола Петра, – говорил я, – выведи меня, и я уверую в тебя! Ты явился, на пути в Дамаск, Савлу, гнавшему твоих последователей, и Савл стал твоим апостолом: явился

мне, и я пойду проповедовать твое имя!» Я крестился, как то делают некоторые христиане, и распростирался ниц, как перед алтарем.

Потом моя болезнь усилилась до того, что меня стал мучить бред. Лежа без сознания, я видел перед собой тех, кого там не было, и слышал голоса, которые там не раздавались. То мне представлялось, что я нахожусь в лупанаре, где Реа изобретает неведомые формы ласк и заставляет меня, вместе с толпою продажных женщин, поклоняться Змею; то, что я сижу на пиру, в доме Коликария, и всех изумляю разумностью своих речей. Один раз мне показалось, что ко мне в темницу вошел тот юноша, похожий на Антиноя, с кроваво-алыми губами, которого мы с Реей облекли в пурпур, и, торжествуя, сказал мне: «Я сделаюсь царем мира, народы поклонятся мне, а ты за это должен будешь погибнуть. Твое тело – ступень к моему трону!» Другой раз я явственно увидел, как сквозь стену, в легком сиянии, проник Циллений, являвшийся в таком виде отцу-Энею, и, простирая ко мне свой кадуцей, произнес стих, не знаю откуда сохранившийся в моей памяти:

*Орк в преисподнюю вас, не колеблясь, умчит, обнаженных.*

Но чаще всего являлась мне Гесперия, – в различных образах, одетая в шелк и совсем обнаженная, но всегда с жестокой усмешкой на устах и с беспощадными словами. То она перед моими глазами совершала злодеяние с наряженным, как женщина, Юлианием, то злобно потешалась над моим бессилием и несчастьем, то, став на колени, говорила: «Ведь я тебя поцеловала, мой Юний, мой милый Юний, чего же тебе больше! Разве мой поцелуй не достаточная награда за жизнь? не говорил ли этого ты мне сам? Я даже скучала по тебе в Риме. Разве это не высшее, о чем может мечтать человек? Тебя будут терзать пытками, будут ломать твои кости, вырывать твои жилы, выжгут тебе глаза, – но ты восклицай: „Я счастлив, потому что терплю все это во имя прекрасной Гесперии!“ А я, поистине, прекрасна!» И, говоря так, она изгибала свое обнаженное тело, показывала мне плечи, грудь, бедра, являла всю красоту статуи и все величие богини, показывала всю ловкость гетеры и все искусство жрицы Приапа.

А когда, в порыве желанья и ярости, я устремлялся к Гесперии, она ускользала от моих рук, хохотала издали и опять кричала мне: «Не забудь, что ты прикован цепью! Ты свое получил от меня – поцелуй, один поцелуй, а другие получают все остальное, мои ласки, мою любовь, мои страстные слова!»

Такие видения бреда мучили меня беспрерывно целыми часами, а, очнувшись, я опять видел вокруг сырые стены темницы, каменный пол, с бегающими по нем сороконожками, да тусклое пятно над дверью, откуда лился слабый серый свет, непохожий на солнечный луч. И мне приходило в голову, что обо мне просто позабыли, что долгие годы, всю, может быть, жизнь мне суждено провести в подземелиях священного дворца, что к солнцу и к звездам я вновь выйду лишь седым и расслабленным стариком.

### XIII

**М**не казалось, что я в темнице провел бесконечно много дней, число которых я даже перестал считать. Между тем, как я узнал потом, все мое заключение длилось немногим больше месяца. Но болезнь заставляла

меня видения бреда принимать за действительность и недолгое, сравнительно, испытание превратила для меня в бесконечную пытку.

Было утро, как я догадывался по тому, что забранное решеткой отверстие над дверью чуть-чуть серело, когда ко мне в темницу, кроме обычных двух тюремщиков, вошло еще двое стражей. Я лежал на соломе, измученный ночным бредом, весь содрогаясь от внутреннего холода, и не обратил на вошедших никакого внимания. Но вместо того, чтобы швырнуть мне полукруг хлеба и поставить около моего ложа разбитый кувшин с водой, пришедшие приблизились ко мне и стали снимать с меня цепи, одну отперев ключом, другие разбивая молотком. Смутно я подумал, что меня сейчас поведут на допрос и на пытку, но в ту минуту мне все было безразличным, и я не сделал никакой попытки сопротивляться.

Освободив меня от цепей, тюремщики подняли меня, но я не мог стоять на затекших ногах и валился, как раненный насмерть гладиатор. Тогда двое из вошедших, обменявшись

Словами на незнакомом мне языке, взяли меня за руки и поволокли к двери. Я почти не мог ступить, и меня несли, как безжизненное тело.

За дверью темницы была лестница, и мы, пройдя по ней ступеней пятьдесят, оказались на площадке с низенькой железной дверью; люди, ведущие меня, открыли эту дверь, и я вдруг оказался на маленьком внутреннем дворе дворца, окруженном высокими белыми стенами, ослепительно сверкавшими под ясным зимним солнцем. Этот яркий свет, вонзившийся в мои глаза, привыкшие к постоянной темноте, показался мне ударом ножа, — я зажмурился от боли и ужаса. В то же время чистый январский воздух, влившийся в мою грудь, опьянил меня, как самое крепкое вино, и несколько минут я ничего не понимал.

Когда, наконец, я открыл глаза и, щурясь от нестерпимого блеска, стал озираться, растворились ворота, и я увидел, что прямо ко мне идет Симмах, улыбаясь и наклоняя голову в знак приветствия. Вдруг безмерная радость охватила меня; я не думал в ту минуту о том, что мне принес Симмах, хорошие вести

или плохие, пришел ли он спасти меня или в последний раз проститься со мной: я был счастлив уже тем, что вновь увидел человека, себе близкого, что могу сказать хоть одно слово тому, кто меня знает. Я упал бы на колени, если бы стражи не поддерживали меня, и воскликнул:

– Симмах! благодарю тебя! Всем, всем передай, что умирать страшно.

Я сам не сознавал, что говорю, и слезы полились у меня из глаз. Симмах подошел ко мне близко и сказал просто:

– Юний, ты – свободен.

Не то чтобы я не понял слов Симмаха, но я сразу почувствовал, какое отчаянье овладеет мною, если я им поверю, а они потом окажутся ошибочными. Поэтому, защищая себя от будущего разочарования, лицемеря в тот миг с самим собой, я переспросил:

– Что ты говоришь? Я не расслышал.

Симмах повторил:

– Ты – свободен. Но здесь не место говорить. Не произноси ни слова. Иди за мной.

Я продолжал смотреть на Симмаха, и здесь другая мысль испугала меня: что все это –

снова бред, видение лихорадки или коварный обман, посланный каким-то демоном, и во второй раз я переспросил, с тоской, но уже с надеждой:

– Повтори мне свои слова. Я не верю.

Симмах взял меня за руку и повторил уже строго:

– Нет времени медлить. У меня есть приказ о твоём освобождении. Должно воспользоваться им немедленно. Иди за мной и тотчас уезжай из Медиолана.

После этих слов Симмаха уже не могло быть сомнений. Но потому ли, что я был слишком измучен, или потому, что вся радость моего сердца вылилась в ту минуту, когда я увидел Симмаха, только у меня не нашлось сил, чтобы еще больше обрадоваться известию о своём освобождении. Я даже не сразу нашел, что ответить, и некоторое время молча смотрел на Симмаха.

Симмах, как всегда, был одет изысканно; на нем был теплый паллий, застегнутый на плече драгоценной фибулой; на ногах, ввиду холода, вместо крепид, senatorские кальцеи, так старательно вычищенные, что они свер-

кали на солнце; голова тоже была покрыта шапкой вроде простого, но изящного пилея, словно Симмах собирался в путешествие. В эту минуту я вспомнил, как ужасен мой внешний облик: на мне была вся изорванная и невероятно грязная туника, сквозь которую просвечивало тело; ноги были босы; волосы на голове всклокочены. И вместо ответа я сказал:

– Могу ли я ехать в таком виде! Мне стыдно даже смотреть на тебя! К тому же теперь зима, и без плаща я замерзну.

– Я обо всем позаботился, – возразил Симмах, кажется, удивленный моим возражением, – только иди за мной.

Стражи, по знаку Симмаха, выпустили меня; но я, едва сделав два шага, закачался и упал: ноги не держали меня. Симмах сильной рукой поднял меня и повел. У ворот он показал стоявшему там начальнику стражи приказ, подписанный Македонием, и нас пропустили. За воротами Симмаха дожидались носилки с четырьмя рабами.

– Садись, Юний, – приказал мне Симмах, – они тебя отнесут до Эмилиевой заставы, где

уже ждет тебя карпента и Аврелиан, на которого ты можешь положиться. Когда-нибудь после я расскажу тебе, как мне удалось тебя спасти. В наши дни все продается, можно было купить и твою свободу. Кстати, скажи мне, есть ли у тебя деньги?

Я ответил, что у меня отняли все, что у меня было. Симмах дал мне кошелек и подтвердил еще раз:

– Не останавливайся нигде. Из пределов Лигурии выезжай как можно скорее. Нет такого приказа, который нельзя было бы взять назад. И о том, что с тобой случилось в Медиолане, говори как можно меньше.

Только здесь я заметил, что еще не поблагодарил Симмаха за свое спасение.

– Симмах! – воскликнул я. – Ты мне спас жизнь. Теперь моя жизнь принадлежит тебе. Когда захочешь, ты ее можешь потребовать, и я умру за тебя.

Симмах чуть-чуть улыбнулся в ответ на эти мои восторженные слова, потом помог мне сесть в носилки и махнул рукой. Рабы быстро побежали по мостовой, а я, задернув занавеси носилок, с наслаждением распро-

стерся на мягком, чистом, ароматном ложе и покрылся одеялом из мохнатого амфималла. Но переход от душной тюрьмы и грязного вороха соломы к красивым позолоченным носилкам с постелью, набитой упругим волосом и обрызганной восточными благоуханиями, от положения узника, ожидающего каждый день пытки и казни, к сладостному отдыху на плечах послушных рабов, был так стремителен, что я не мог сохранить обладания собой и всю дорогу плакал, залив слезами вышитую шелком подушку.

У заставы меня действительно ждала запряженная карпента, около которой стоял раб Симмаха, старик Аврелиан. В прежние дни я не достаивал его слова, но теперь встретил, как близкого друга, и, несмотря на то, что он был сыном раба, обнял и поцеловал, плача. Аврелиан завернул меня в широкий теплый плащ и уложил в карпенту, как ребенка. Тотчас мы отправились в путь, покидая Медиолан с такой поспешностью, что у меня не было никакой возможности осведомиться о судьбе Реи, которую, может быть, также выследил проклятый сириец и кото-

рая, может быть, подобно мне, томилаась в каком-нибудь душном подземелии.

С самого начала пути моя болезнь опять начала меня мучить, и я то впадал в забытье, то громко бредил, воображая себя в тюрьме, прикованным за ногу цепью к стене. Я громко кричал, умоляя пощадить меня или проклинаю врагов, а иногда декламировал свои стихи, сочиненные в темнице. На первой остановке Аврелиан отвел меня в баню, вымыл мое измученное и исхудалое тело и расчесал волосы, но это мне не помогло, и лихорадка не ослабевала. Мансионы и города, поля и горы, ясные и ненастные дни мелькали мимо меня, смешиваясь с образами бреда, и все мое обратное путешествие из Медиолана в Рим было похоже на один длинный и мучительный сон, который терзает больного на его печальном одре.

Но все та же единая мысль, которая завладела моей душой в темнице, преодолевала и бред и смятение мыслей. Она носилась над хаосом моих чувств и воспоминаний, над этой «нестройной и бессвязной громадой». Она примешивалась ко всем моим видениям,

ко всем моим словам, разумным и несознательным. Она стояла передо мной, как божество, требующее поклонений и умиловительных жертв, как Баал, ждущий, что в его раскаленную пасть бросят живых младенцев, чтобы успокоить его ненасытную алчность. Эта мысль была та, что я выразил в надписи, сохранившейся, как загадка для будущих узников, на тюремной стене, в подземелье священного дворца в Медиолане: «Дочь Кебрена, я отомщу тебе!»

Ненависть к Гесперии, с беспечной душой пославшей меня на смерть, палила меня огнем. Вместо прежней благоговейной любви, вместо того чувства, что испытывают верующие перед алтарем, ощущал я только ожесточенную злобу, в которой захлебывался, как тонущий в соленой воде океана. Отомстить Гесперии, наказать ее, унижить ее, заставить ее изведать хотя бы половину тех страданий, какие я пережил, – вот с каким страстным, неукротимым желанием я ехал вторично в Рим.

## Книга третья

### I

**В** Рим из Медиолана я приехал совсем больным, так что плохо сознавал даже, что со мной происходит. Старик Аврелиан отвез меня в дом Симмаха, и там жена славного оратора, Рустициана, приняла меня с истинным участием. Мне дали прекрасную комнату, где меня уложили в постель, и ко мне позвали знаменитого медика Эвсебия, который случайно был в Городе.

Эвсебий, тщательно меня осмотрев и исследовав, даже выстукав все тело молоточком и выслушав ухом биение моего сердца по способу Гипократа, нашел, что я болен острой лихорадкой, предписал мне лежать покойно в течение десяти дней, ничем не волноваться и назначил мне множество лекарств, которые я должен был принимать поочередно, через равные промежутки времени. Ухаживать за мной Рустициана приказала тому же Аврелиану, который успел ко мне привыкнуть за дни нашего путешествия, а за тем, чтобы я правильно принимал лекарства, вызвалась

следить Валерия, родственница Рустицианы, старая девушка, лет сорока, жившая в доме Симмаха. В первое время я был так слаб, что почти неподвижно лежал целые дни в постели, подчинялся, не споря, всем приказаниям медика и в положенные часы пил горькие настойки из трав и глотал разные целительные снадобья.

Исполняя совет Симмаха, данный им в письме, Рустициана не известила Тибуртина о моем возвращении в Город, и никто не знал, что я нахожусь в Риме. Жизнь в доме шла очень тихо, так как Рустициана, соревнуясь в добродетели с матерью Гракхов, считала неприличным принимать посетителей в отсутствие мужа, и даже на утреннее приветствие являлся лишь небольшой круг самых близких клиентов. Рано вечером двери запирались, везде гасились огни и все расходилось по своим комнатам. Поэтому в течение многих дней я в Риме был столь же одинок, как в своей темнице, и у меня было достаточно досуга для размышлений.

Тягостные события, пережитые мною за последние два месяца, сильно изменили мою

душу и заставили меня задуматься над такими вопросами, к которым я прежде относился с юношеским легкомыслием. Воспитанный в семье, где благочестиво сохранялись все заветы отцов, где соблюдались все обычаи старины, где пред домашним ларарием всегда курился дым и ежедневно совершались возлияния, — я с детства привык чтить богов бессмертных, и им поклоняться мне казалось столь же естественным, как дышать. Потом любовь к величию Рима, ко всему, что было им создано в века его лучшей славы, когда Римляне весь мир покоряли силой меча и всему миру давали благо своих законов, любовь к прекрасным стихам наших поэтов и к величественным сооружениям наших художников заставила меня видеть врага во всяком, кто поднимал руку на те верования, придерживаясь которых наши деды вознесли до звезд славу имени Римского. Никогда, однако, я не пытался измерить глубину своей веры, подобно тому как моряки измеряют лотом глубину воды в море, и никогда не требовал у себя отчета, подлинно ли я верую в богов, так, как христиане веруют в своего Христа. Теперь

же, когда я лично увидел ожесточенную борьбу между приверженцами двух религий, когда по воле Судьбы мне довелось присутствовать на тайных собраниях проповедников новой веры, когда на примере Реи я убедился, что всю свою жизнь можно посвятить служению святыне, – я почувствовал, что в моей душе поселился и ядовитыми глазами озирает все basilisk сомнения: истинна ли моя вера.

О своих тайных думах мне не с кем было говорить, кроме Валерии, и, как только мой недуг стал ослабевать, как только успокоились постоянные боли в голове и прояснилось мое сознание, я невольно поведал ей о том, что меня в те дни всего больше занимало. Валерия была некрасива, у нее было сухое лицо темно-серого цвета, тонкие бескровные губы и впалая грудь, но она была образованна, как редко бывают женщины, читала много книг, знала медицину и обладала познаниями в естественной истории. Все это, а также то, что она жила в доме Симмаха, знаменитого ревнителя религии и преданий предков, не мешало ей иметь склонность к учению христиан, хотя открыто она не принадлежала к

их общине и не посещала их храмов.

Большую частью разговоры наши происходили поздно вечером, когда все в доме стихало. Валерия приходила ко мне напомнить, что я должен принять какое-нибудь вечернее лекарство, потом садилась около моего ложа, и я начинал поверять ей свои сомнения. Одетая во все черное, Валерия напоминала не то христианскую монахиню, не то древнюю Сибиллу; она выслушивала меня с терпением и отвечала мне медленно, не волнуясь, ровным голосом. Ее ответы и рассуждения всегда были так умны и обстоятельны, что я не мог не признать ложным мнение древних о том, что женщина не способна к философии. И иногда приходило мне в голову, какой замечательный был бы в мире мудрец, если бы возможно было соединить в одно ум тех четырех человек, с которыми свела меня судьба: глубокие мысли Энделехия с блестящими соображениями Симмаха, изящные поучения Гесперии с обдуманнми речами Валерии.

В один из таких вечеров я задал Валерии вопрос, одинакова ли вера у приверженцев религии предков и у христиан.

– Я наблюдал и тех и других, – сказал я, – и мне представляется, что не одно и то же разумеют христиане, говоря «fides», и мы, говоря «opinio dei». Мы воспитаны поэтами и философами, мы о богах привыкли думать и принимаем их, так сказать, умом. Христиане, – хотя в последнее время, подражая нам, они тоже пишут философские трактаты, – не столько думают о боге, сколько ощущают веру в своей душе. Мы в жизни ищем радостей, почестей, славы, а христиане как будто ни о чем другом не заботятся, кроме прославления имени божия: ни о чем не хотят говорить, кроме своей религии, все на свете готовы погубить ради проповеди своего учения. Мы чтим богов, мы им поклоняемся, мы им приносим жертвы, но этому отводим лишь часть своей жизни, а христиане все словно помешаны и каждую минуту способны перейти в иступление. В нашей религии все ясно и разумно: такова и наша вера; христианское учение постоянно твердит о чуде: такова и их вера, непонятная и безумная.

Подумав над моими словами, Валерия вот что ответила мне, словно объясняя урок уче-

нику:

– Я полагаю, Юний, что все религии говорят об одном и том же. Римляне завоевали весь мир, и у всех народов нашли веру в бога. Одни поклоняются Исиде, другие – Баалу, мы – Юпитеру, но все чтут Божество, (Θεου). Есть в человеке особое влечение к божеству, из чего и возникла религия, как есть особое влечение к познанию, создавшее науки, и особое влечение к подражанию, создавшее искусства. Это влечение к Божеству не что иное, как желание постичь сокровенные тайны вселенной. Религия открывает эти тайны, но для каждого народа открывает в разных, ему доступных образах. Под одними образами рассказывали народу об этих тайнах жрецы в Египте, под другими – нам наши поэты, Гомер и Гесиод, под третьими – Христос своим последователям. Простые люди видят только рассказы, которые между собой отличаются. Философы же понимают, что Осирис растерзанный, или Бакх страждущий, или Христос распятый – это одно и то же. Поэтому все религии равны между собой, ни одно учение не более истинно и никакая вера не более под-

линна.

Другой раз я указал Валерии на то различие, что боги являлись в мир в отдаленной древности, когда божественное еще смешивалось с земным, а Христос жил на памяти историков, при императоре Тиберии, и по виду ничем не отличался от других людей.

– Все в рассказах о богах, – говорил я, – прекрасно и воистину божественно; все в сказании о Христе низменно и обыкновенно. Боги вмешивались в великие события, боги помогали в войне греков с троянами. Диоскуриды являлись в великой битве при Регилле, а Христос воскрешал неведомых евреек в маленькой Палестине и чудом насыщал случайную толпу при Геннисаретском озере. Осирис был растерзан Тифоном, тоже божеством, а Христос судим нашим прокуратором и распят, как разбойник, Римскими легионарями. Почему Христос, будучи богом, всемогущим и всеведущим, не прошел по всей земле, через Индию, Ахайю, Африку, Италию, Галлию, везде проповедуя свое учение? Оно тогда гораздо скорее получило бы распространение, и истина, – если учение Христа истина, – легче стала

бы доступна всем людям. Зачем было для сообщения человечеству величайших откровений выбирать такой трудный путь, как проповедь в маленькой стране, языка которой никто за ее пределами не знает? Валерия на это ответила мне так:

– Христиане делают ошибку, желая, чтобы учению Христа следовали все народы без исключения. Истина – одна, но учителей ее много. Христос знал, как должно учить истине евреев; Орфей знал, как учить ей греков; Зороастр, как учить ей персов. Все, верующие в Божество, должны, оставив распри, следовать учению своих учителей. Кому понятнее проповедь Христа, пусть следует ей; кому ближе стихи нашего Овидия, тот в них найдет то же самое. Когда люди поймут это, прекратится вражда из-за несогласия в вере, наступит снова золотой век, и богиня Астрея возвратится на землю.

Меня мучили еще те обеты, которые я дал в темнице, когда клялся то принести богатые жертвы Меркурию, если он избавит меня от смерти, то уверовать во Христа, если он освободит меня от уз. Я не знал, кого же я должен

благодарить за свое спасение. Но Валерия только посмеялась над таким моим затруднением.

– Неужели ты думаешь, – сказала она, – что Христу, если он – бог, нужно обращение, сделанное в исполнение обещания? Ты словно хочешь ему заплатить долг, который проиграл в кости. Если ты колеблешься, кого благодарить: Меркурия или Христа, лучше оставь при себе свою благодарность.

Я должен добавить, что, удивляясь уму Валерии, я все же далеко не был удовлетворен всеми ее объяснениями. Все у нее выходило слишком просто и слишком ясно, а я чувствовал, что есть в этих вопросах какая-то иная трудность и иная глубина. Поэтому я твердо решил не довольствоваться ответами Валерии, но, как только я вернусь к обычной жизни, найти одного из тех прославленных учителей веры, о которых с таким восторгом говорят христиане, какого-нибудь мудрого отшельника, какие есть еще и в наши дни, и из его беседы постараться узнать, скрывается ли действительно некая тайна в учении Христа, прав ли я был, считая это учение нелепым и

гибельным заблуждением, или ошибался, упрямо закрывая глаза перед лучами истины, сиявшими вокруг меня.

В ожидании того времени, когда это станет для меня возможным, я продолжал, в дни моего медленного выздоровления, свои беседы с Валерией, причем, конечно, мы говорили не об одном христианстве, но касались вопросов самых различных, и девушка постоянно поражала меня разнообразием своих познаний. То она мне говорила о учении индийских брахманов, то о воззрениях халдеев на значение звезд, то объясняла разные явления природы, как крутящиеся смерчи на море, которые легко опрокидывают целую трирему, или как удивительные галисы, световые круги вокруг солнца, то, наконец, передавала рассказы Плиния о чудесных особенностях некоторых драгоценных камней, как, например, драконита, который должно вырезать из черепа спящего дракона, так как вынутый из головы животного убитого камень теряет весь свой блеск, – и многое другое. Вообще у Валерии был совершенно мужской ум, за что в доме Симмаха ее часто называли, шутя, не Вале-

рия, а Валерий, и я совершенно забывал порою, что она – женщина. Я даже рассказывал ей некоторые истории своей жизни, которые постыдился бы передать девушке, – так же просто, как рассказал бы их товарищу за кубком вина.

Поэтому меня очень удивило, когда я заметил, что с некоторых пор обращение со мной Валерии изменилось. Она стала проявлять гораздо больше заботливости обо мне, нежели того требовало мое уже поправлявшееся здоровье, с излишним усердием устраивала мое изголовье и укладывала меня на подушки. Она особенно часто и охотно клала свои руки мне на лоб и на грудь, чтобы убедиться, что у меня нет жара, и подолгу не отнимала их. Несколько раз она целовала меня, придавая своим поцелуям такой вид, словно это поцелуи сестры или матери. Сначала такое поведение Валерии только забавляло меня, но потом я стал сердиться, так как она была столь некрасива, что у меня не находилось никакого желания отвечать на ее ласки.

«Неужели с Валерией у меня повторится то же, что было с Реей? – думал я с некоторой го-

речью. – Неужели я принужден буду, по своей слабости, ласкать эту высохшую старую девушку, от которой, в свое время, отказались все мужчины? Или был прав мой Ремигий, и я в самом деле нравлюсь всем старухам?»

Я всячески старался дать понять Валерии, что вижу в ней только приятного собеседника и что моя благодарность за ее заботы не идет так далеко, чтобы отвечать на ее любовные заискивания. Иногда я даже выражал это довольно грубым образом, резко вырывая свою руку из рук Валерии или отталкивая ее от себя, если она ко мне прижималась. Валерия не обижалась на подобные поступки, иногда только краснела от стыда, отчего ее серое лицо делалось еще непривлекательнее, но спустя некоторое время опять пыталась, хотя и робко, приблизиться ко мне. Минутами мне становилось жалко бедную девушку, за всю свою жизнь не изведавшую любовной ласки, но преодолеть невольное отвращение к ней я был не в силах и спешил навести разговор на какой-нибудь философский вопрос.

Однажды вечером мы заговорились слишком долго, не заметив даже, что миновала

полночь. Разговор шел о том, от чего происходят землетрясения, и Валерия объясняла мне, что ветры проникают в находящиеся под землей пещеры и потом, вырываясь оттуда с шумом, колеблют почву и разрушают целые города. Красноречиво Валерия изображала различие между отдельными родами землетрясений, между ректами, когда земля разрывается, и хасматиями, когда земля проваливается, остами, при которых вся почва трясется, и пальмациями, при которых почва только содрогается, между эпиклинтами, разрушающими все под острыми углами, и брастами, разрушающими под углами прямыми, оживляя свое объяснение примерами, взятыми из истории разных стран и времен. Объяснения Валерии были столь занимательны, что я заслушался их, как пения сирен, и не заметил, что она совсем прилегла ко мне на ложе, обняла меня нежно рукой и почти шепчет мне свои слова на ухо.

Я опомнился лишь тогда, когда почувствовал щеку Валерии около самой своей щеки; невольно вздрогнув, я безжалостно оттолкнул от себя девушку и воскликнул в гнев,

так как не мог сдержать себя:

– Как ты можешь, Валерия, так стыдить меня перед хозяевами этого дома! Что, если бы сейчас вошла сюда Рустициана и увидела нас в таком положении. Она сказала бы, что я дурно отплатил ей за ее гостеприимство, и была бы права, осыпав меня самыми жестокими упреками.

Валерия, как всегда в таких случаях, смутилась и покраснела, но тоже, вероятно, решилась на этот раз высказать все, что было у нее в душе, и жалобно произнесла:

– Я у тебя ничего не прошу, Юний, но почему ты не хочешь позволить мне тебя поцеловать? Я много тебя старше, и ты мог бы быть моим сыном. Я тебя полюбила с первого дня, как младшего брата, и мне так приятно ласкать тебя.

– Не притворяйся! – возразил я в негодовании. – Не брата и не сына ты во мне видишь. Но ты умна и должна понять, что в твои годы поздно мечтать о любви.

Валерия вся сжалась, как побитая палкой собака, и начала плакать, может быть, не столько над жестокостью моих слов, сколько

над всей своей жизнью, которая прошла среди книг и умных разговоров, но без любви и страсти. В ту минуту мне стало ясно, как безразлично, в кого верить, в Юпитера или во Христа, следовать учению брахманов или Орфея, если нет в жизни радости любви. «Может ли одна любовь к богу наполнить всю жизнь?» – спросил я себя, и тотчас же ответил: нет, не может, если только эта любовь не будет безумием, но безумец способен наполнить свою жизнь чем угодно, – уверенностью, что у него в голове таится птица с золотыми глазами, что ему даровано умение понимать язык деревьев, и всем подобным. Человек прежде всего хочет жить и наслаждаться радостями жизни, и лишь после того думает о боге, о своем служении ему. Даже Рея, которую можно признать безумной, – разве могла победить в себе всей силой своей веры желание счастья?

Я смотрел на бедную Валерию, некрасивую старую девушку, похожую на какой-то черный комок, которая знала так много любопытных вещей и так умно рассуждала о боге, но теперь плакала жалкими слезами над тем,

что никто не хочет ее ласкать и любить, как любят друг друга мужчины и женщины, – и мне опять казались ненужными мои размышления о истинности той или другой веры. Ошибался я или был прав, – думал я, – не все ли равно: в конце концов ведь не из ревности к древней религии поехал я в Медиолан и подверг себя смертельной опасности, а ради любви к Гесперии, которую я считал прекраснее всех женщин в мире. И довольно было, чтобы мне желанной стала близость к Рее, чтобы я охотно исполнял какие-то безумные обряды в честь грядущего Антихриста.

Кое-как успокоив плачущую Валерию, я заставил ее покинуть мою комнату. Но с того дня пребывание в семье Симмаха мне сделалось тягостно. К тому же мое здоровье совсем восстановилось, и я решил вернуться в дом дяди.

## II

**П**о моей просьбе Рустициана сообщила Тибуртину о том, что я – в Риме, и я после того перестал скрываться в отдельной комнате, начал обедать вместе со всей семьей Симмаха, в большом триклинии, и даже выходить

на улицу, хотя был еще так слаб, что при первых своих прогулках не уходил дальше ближайшего угла.

Симмах жил тогда в старинном доме на Целии, принадлежавшем семье Аврелиев еще со времен республики. Дом несколько раз перестраивали и расширяли, но все же он сохранил все особенности старых римских строений. Кроме атрия и перистилия, все другие помещения были маленькие и темные. Стенной живописи почти нигде не было, и единственной роскошью в убранстве была великолепная мозаика полов, очевидно, устроенная позже, и медные украшения потолков. Впрочем, был при доме особенный сферистерий для игры в шары, которой со страстью придавался, как говорят, сам великий оратор.

Зато среди обстановки дома было множество вещей удивительной красоты и исключительной ценности, причем многие из них были памятью тех славных походов, которые совершили предки Симмаха, вывозившие из чужих стран богатую добычу. Во всех комнатах стояли на подставках, были прикреплены к стенам и висели с потолка великолеп-

ные лампы, к которым кто-то из Аврелиев питал, должно быть, особое пристрастие: были здесь лампы медные, серебряные и одна даже вся из золота. К месту и совсем не к месту были везде размещены зеркала греческие, брундусийские и восточные. Не менее богаты были ложа, кресла, светильники и столы всех видов и для всякого назначения: ложа для отдыха и для чтения, кресла из слоновой кости, мраморные и плетеные, столы мозаичные, из редкого дерева, круглые, в форме буквы С и всякие другие, перед которыми тот знаменитый стол, за который Цицерон когда-то заплатил 5000 сестерций, показался бы, конечно, бедным.

Но главной драгоценностью дома была, бесспорно, библиотека, составившаяся за несколько столетий. Она занимала несколько комнат, куда редко кто заглядывал, и, вероятно, никто на свете не знал, какие богатства она в себе таит. Только незначительная часть свитков была расположена по местам, в стенных нишах и армариях, множество лежало прямо на полу, грудями, словно груды овощей у уличного торговца. Здесь в одну кучу были

свалены старые издания знаменитых писателей, в наши дни замененные новыми, как уверяют, более исправными, и сочинения всеми забытых авторов, которых никто не хочет перечитывать. Здесь же лежали бумаги рода Аврелиев, собрания старых писем к великим предкам Симмаха, может быть, исписанные рукою диктаторов и префектов, философов и поэтов, может быть, записки выдающихся людей своего времени, драгоценные для историков. Все это лежало, как пожива для мышей и книжных червей, гнило, покрывалось плесенью, истлевало. К библиотеке было приставлено несколько рабов, но они довольствовались тем, что время от времени пытались стереть накопившуюся пыль да перекладывали груды книг с места на место.

Впрочем, в оправдание Симмаха, которого никто, разумеется, не заподозрит в отсутствии любви к старине и литературе, я должен напомнить, что, кроме этого дома на Целии, у него было в Городе два других, три виллы под самым Римом и не меньше тринадцати в разных местностях Италия. Во всех этих домах также были библиотеки, и из них одна,

которой преимущественно пользовался знаменитый оратор, помещавшаяся в его доме за Тибром, содержалась с большим тщанием. Там некоторые книги были вставлены в дорогие переплеты с серебряными застежками, а наиболее ценные свитки были заключены в особые, пышно украшенные мембраны и снабжены изящными умбиликами из слоновой кости, с привешенными к ним надписями, на которых значилось не только название книги и ее автор, но также имя владельца, имя ретора, занимавшего ее эмендацией, и год приобретения. В этой библиотеке я видел книги, изданные с роскошью необыкновенной, писанные разноцветными чернилами, украшенные рисунками в красках и с золотом.

Войдя в жизнь семьи Симмаха, я, впрочем, по-прежнему, оставался одиноким. После приема клиентов, причем почти ежедневно им раздавались мелкие денежные пособия, чем поддерживался древний обычай спортулы, Рустициана удалялась в свою комнату, а к детям приходили их учителя, которые и оставались до самого завтрака. После завтрака из-

редка приходили самые близкие родственники. За обед садилось редко больше шести-семи человек, так что громадному числу рабов, наполнявших дом, решительно нечего было делать. К тому же старый домоправитель из вольноотпущенников, Вулькациан, все держал в таком порядке, что жизнь шла, как хорошо устроенные водяные часы.

Но в первый день, после того как дядю известили о моем пребывании в Городе, ко мне пришла тетка Мелания и Аттузия, которые, хотя обычно и не посещали дома Симмаха, сочли нужным проведать больного племянника и двоюродного брата. Тетка для такого посещения даже надела какую-то вышитую столу, а сверх нее довольно богатую паллу, впрочем, отставшие от современного вкуса на два десятилетия и, может быть, принесенные ею еще в приданое. Аттузия же ничего не изменила в своей обычной одежде темного цвета.

Рустичиана предупредительно оставила нас одних в атрии, и я, конечно, постарался приветствовать тетку со всей той почтительностью, какая подобала случаю. Но тетка сразу набросилась на меня с самыми беспощад-

ными упреками.

– Не говорила ли я тебе, – начала она, – что твое поведение не доведет тебя до добра! Я хорошо знаю отца твоего, Тита Юния, и знаю, что особенным богатством вы похвалиться не можете. Быть декурионом в Лакторе это значит впятеро больше тратить, чем получать, а от поместья вашего, кроме расходов, вам ничего не видать! Тебе следовало получше учиться да постараться завести знакомства с богатыми юношами, у которых отцы имеют место при дворе, тогда ты мог бы рассчитывать, что устроишь свою судьбу. А теперь что вышло из твоей неразумной поездки неизвестно зачем в Медиолан? Время учения ты пропустил, и когда после ты будешь просить, чтобы дали тебе какую-нибудь должность, все скажут: это какой Юний, не тот ли, что ездил с Сенаторским посольством? и постараются от такого опасного человека отделаться. Деньги ты растратил, доброе имя потерял да вдобавок расхворался: ведь каков ты, на тебя смотреть жалко!

Из слов тетки я понял, что ей о моем заключении в тюрьме ничего не известно, и от-

вечал уклончиво, говоря, что сам раскаиваюсь в своем поступке и намерен начать жизнь по-новому.

Аттузия, подняв на меня свои унылые, рыбьи глаза, сказала наставительно:

– Вот, Децим, как Бог карает тех, кто не хочет внимать святым словам истины. Ты был лишен поддержки Господа и потому впал в пучину бедствий. Увидь в этом перст Провидения, указующий тебе путь спасения. Кто служит истинному богу, молится усердно каждый день утром и вечером и слушает слово Божие в храме, тот всегда имеет своим заступником спасителя нашего, господа Иисуса Христа. Неужели и ныне ты не понял безумия идолопоклонства и неужели после пережитого ты не прибегнешь к кресту, этой единственной верной надежде в мире?

Как ни желал я быть сдержанным и не говорить ничего неприятного моим посетительницам, однако не мог не возразить:

– А разве все, верующие во Христа, во всем и всегда преуспевают и с ними никогда не случается никаких несчастий? Кажется, и христиане бывают больны, так же как и идо-

лопоклонники, и, напротив, иные, не верующие во Христа, живут очень счастливо. Мне думается, что я захворал оттого, что простудился, а не оттого, что плохо веровал.

– Ты легкомысленно кощунствуешь, Децим! – строго сказала Аттузия. – Болезни и горести посылаются христианам как испытания, и они принимают их с радостью, а тебе твои несчастья ниспосланы были, как предостережение с Неба. Если ты не захочешь внять явному гласу Божию, увидишь, в какие бедствия ты еще будешь ввергнут.

Я спора не продолжал и стал расспрашивать о дяде и маленькой Намии. Тетка ответила мне, что дядя сначала очень беспокоился, хотел в самом деле уехать из Рима в Азию, но скоро успокоился и вернулся к своему обычному времяпрепровождению. Когда же тетка заговорила о Намии, ее голос неожиданно изменился, она едва не заплакала, и я, к своему удивлению, узнал, что у толстой Мелании, постоянно занятой только счетом денег, тоже есть душа и способность любить нежно.

– Я не знаю, что делается с нашей Нами-

ей, – сказала она, отирая глаза. – Одно время мы прямо думали, не помешалась ли девочка. Раз она три дня сидела в своей комнате и никому не хотела показаться. А то убежала из дому и где-то пропадала несколько часов: подумай, какой стыд! А Аттузия несколько раз заставляла ее, что она лежит у себя в постели и плачет. Или она больна какой-то болезнью, или кто-то ее сглазил дурным глазом. Я ее пыталась расспрашивать, но ведь ты сам знаешь, можно ли от нее чего-нибудь добиться! Прошу тебя, когда ты будешь у нас, попробуй с ней поговорить, может быть, ты что-нибудь выведаешь.

– Я ей советовала молиться, – наставительно сказала Аттузия. – Злой дух борет человека, если он не огражден крестом и молитвой. Намия в таких годах, когда искушение близко. Если бы она больше слушала отца Никодима, вся ее болезнь давно прошла бы. А ты, матушка, сама виновата, что не принуждала Намию посещать храм и выполнять все предписания церкви.

– Боже мой! – воскликнула тетка, – разве я о ней не заботилась! Но она пошла в мою по-

койную мать, Олимпию, та была, – упокой Господи душу ее, – такая же взбалмошная и упрямая. Отец, бывало, чуть грудь не надорвет, кричит на нее, а она уставится глазами в стену и молчит, слова не промолвит целыми днями. Не удивительно, что соседи считали ее колдуньей.

– Не хорошо говорить дурно о бабке, – заключила этот разговор Аттузия, – но, кажется, Олимпия, действительно, занималась греховным делом гадания. Этот ее грех мы теперь искупаем страданиями и должны сносить их безропотно, чтобы облегчить муки ее бедной души.

Продолжать разговор о Намии мне не хотелось, так как я догадывался о настоящей причине ее болезни, да и тетка скоро опять заговорила обо мне, и еще много умных советов услышал я от нее в тот день. Аттузия же презрительно молчала, с явным осуждением оглядывая богатую обстановку дома Симмаха. При расставании я обещал, что через день вернусь в дом дяди.

– Благодарение Богу, – сказала мне тетка, – у тебя есть родственники в Городе, и незачем

тебе жить из милости у чужих людей. У нас для сына Руфины всегда найдется комната, и лишний человек нас не стеснит. Живи у нас, сколько хочешь.

Едва я успел усадить в носилки тетку и Аттузию, как ко мне пришел другой посетитель: мой друг Ремигий, откуда-то тоже узнавший, что я в Городе.

Я давно не видел Ремигия и очень ему обрадовался, так как многими чертами своей души он мне нравился. Но с первых же минут я заметил, что с Ремигием что-то случилось: он побледнел и похудел, и не оставалось следа той веселости, которая делала его самым желанным председателем на дружеских пирах. Казалось, что за мое отсутствие из Рима некий гневный бог подменил Ремигия.

– Милый Религий, – сказал я, – можно подумать, что был тяжело болен не я, а ты. Объясни мне, что это значит. Или какая-нибудь фракийская волшебница изводит тебя чарами?

Ремигий ответил мне уныло:

– Ты почти угадал. Действительно, я подпал под чары волшебницы. Со мной случилось самое плохое, что только может быть с

людьми: я люблю!

– Ну, это еще не такая беда, – возразил я, смеясь. – К тому же это, кажется, не так ново. Ты ведь можешь всегда повторять стихи Назона:

*Прочие юноши часто влюбляются:  
вечно любил я;  
Если ты спросишь, что я делаю  
ныне: люблю!*

Ремигий, встав с кресла, стал ходить взад и вперед по комнате, и в его движениях не было прежней самоуверенности, но какое-то беспокойство и тревога. Он ответил:

– Нет, Юний, именно я был в числе тех, которые часто влюбляются. Было много женщин, от которых я с ума сходил, – так они мне нравились, но которых я забывал через месяц, как тень на перекрестке. Я считал, что женщины существуют для нашего удовольствия, так же как хорошие вина. Напиться допьяна старым цекубским и добрым каленским или повеселиться ночь с красивой флейтисткой мне всегда казалось одно и то же. А вот теперь все изменилось, и, кроме одной женщины, нет для меня других на свете.

Я сам над собой смеюсь, повторяю днем и ночью:

*Катулл несчастный, перестань  
безумствовать!*

и ничего не могу с собой поделаться!

Я решительно не узнавал Ремигия, хотя он и пытался улыбаться, говоря свои грустные речи, и, конечно, я его спросил:

– Кто же эта удивительная девушка, одержавшая победу над непобедимым сердцем Ремигия? Она смертная или из рода богов?

Ремигий посмотрел на меня пристально и ответил с видом несколько вызывающим, чем он старался прикрыть чувство неловкости или стыда от своего признания:

– Ты бы никогда не угадал кто, клянусь Геркулесом! Это – девушка, которую ты, вероятно, помнишь, та, которую мы с тобой встретили в Римском Порте. Та Галла, или Лета, к которой я тебя водил незадолго перед твоим отъездом.

Ремигий был прав: этого мне не могло прийти в голову, и я переспросил его с изумлением:

– И ты говоришь, что любишь безумно Лету? Но ведь послушай, милый Ремигий, она сделалась достоянием всех; ты сам покупал ее за несколько сестерций. Она, бесспорно, девушка милая и может нравиться, но как же ее любить? А уж если ты любишь ее, то любовь твоя, по крайней мере, счастливая.

– Ты думаешь? – воскликнул Ремигий. – Это такое счастье, что я предпочту муки Тантала, Сисифа и Иксиона, да еще в придачу всех грешников в христианском аду! Все три фурии гоняются за мной по пятам и хлещут своими бичами! Такое счастье, что я желаю его всем моим врагам, существующим и тем, которых еще пошлет мне судьба!

Волнуясь и безуспешно стараясь шутить, Ремигий рассказал мне, что с ним произошло за время моей жизни в Медиолане.

Сначала Ремигий посещал Лету просто как красивую девушку, но постепенно так к ней привык, что не мог дня провести без нее. Он несколько раз предлагал ей покинуть лупанар и поселиться с ним вместе, но Лета отказывалась, находя, что Ремигий недостаточно богат для нее. Ремигий все-таки продолжал

посещать Лету, хотя его и мучила мысль, что он принужден делить ее ласки со многими другими. Все деньги, какие только были у Ремигия, он тратил на Лету, она же насмеялась над его дешевыми подарками. Потом богатый подрядчик, владевший в Риме несколькими домами, который называл себя, без всякого, конечно, на то права, Помпонием, выкупил Лету из лупанара и поселил ее в своем доме, за Тибром. После этого положение Ремигия стало еще хуже: Лета не отказывала ему в своих ласках, но им теперь приходилось прятаться и скрываться. Помпоний был очень ревнив, и Ремигий мог видеться с Летой лишь украдкой, подкупая рабынь, приставленных к ней. Кроме того, самое сознание, что Лета принадлежит другому, мучило его нестерпимо.

Представь себе, милый Юний, – жаловался Ремигий, – насмешку над Тримальхионом – вот что такое этот Помпоний. Он толст и лыс, груб и невежествен, он говорит «*alvus*» о женщинах, «*lepor*» вместо «*lepus*» и беспрестанно повторяет: «*ad instar et memini me fecisse*», а когда начинает рассуждать о литературе, пу-

тает Варрона с Варием. Это не мешает ему метить в консулы. Галла меня все-таки с ним познакомила, я у него бываю в доме и часами слушаю его глупое хвастовство, а после должен уходить, тогда как он остается с Галлой! Иной раз я готов разбить ему голову! По счастью, он столь же любит наживу, сколько ревнив, и каждый день, утром, сам отправляется осматривать свои дома и работы и собирать деньги со своих жильцов, а я тогда именно и прихожу к Галле. Но вообрази, каково мне приближаться к тому самому ложу, на котором только что лежала эта толстая кабанья туша, из которой в Галлиях сделали бы великолепные окорока! Но что же я могу поделать? У Галлы теперь свои носилки, черные рабы, фригийские рабыни, золотые украшения, шелковые столы, а у меня последние дни нет и медного асса. На беду была та наша встреча в Римском Порте, и не будь я Ремигий, если здесь дело обошлось без колдовства!

Я сам согласен был думать, что Реа и ее сестра владели какими-то тайными чарами, однако приложил все старания, чтобы как-нибудь успокоить и утешить Ремигия. Не

очень веря в то, я напомнил ему, что все на свете проходит, что «время, пожиратель вещей», уничтожает самую сильную любовь, что «тупится сошник, на полях, железный» и что весело бывает после смеяться над миновавшими горестями. Мои утешения, конечно, мало подействовали на Ремигия, хотя он и продолжал подсмеиваться над самим собой. «Это мне мстит всемогущая богиня Венера, – говорил он, – за то, что я смел сомневаться в ее власти!»

Ремигий взял с меня обещание, что я посету его, как только совсем поправлюсь, а с своей стороны обещал повести меня к Галле, в дом Помпония. Прощаясь со мной, Ремигий, уже в дверях дома, повторил с притворной улыбкой:

– Me miserum!

### III

**Н**а следующий день я сказал Рустициане, что намерен вернуться в дом дяди, и усердно поблагодарил ее за ее заботы обо мне во время моей болезни. Сборы мои были недолги, так как все мои вещи были уже уложены в том дорожном ларе, который Симмах

давно прислал мне из Медиолана с одним из рабов. Но вечером в последний день моего пребывания в доме Симмаха мне пришлось пережить тягостное объяснение с Валерией.

Валерия, по обыкновению, пришла ко мне поздно вечером, в последний раз дать мне какое-то лекарство. Но на этот раз разговор у нас долго не складывался, и я тщетно пытался вызвать Валерию на какие-нибудь общие рассуждения. Наконец она сказала печально:

– Неужели, милый Юний, ты больше никогда не вернешься в наш дом и я больше никогда тебя не увижу?

Я ответил, что непременно вернусь, хотя бы для того, чтобы поблагодарить Симмаха, когда он будет вновь в Городе, и что вообще никто не мешает нам с Валерией встречаться.

Ты красивый мальчик, Юний, – возразила Валерия, – и, вероятно, многие женщины тебе это говорили. Но скажи мне, что ты не скучал со мною в те часы, которые мы провели вместе. Тебе были неприятны мои поцелуи, но подумай, я никогда никого не целовала: у меня не было ни сестер, ни братьев, ни мужа, ни

детей... Я тебя люблю нежно, и почему бы тебе не принять мою любовь? Ведь ты взял бы какую-нибудь вещь, если бы я тебе ее подарила; неужели любовь не лучше вышитого пояса или серебряного кубка?

– Ты была очень добра ко мне, – проговорил я с некоторым усилием, – и, разумеется, мне было с тобой хорошо. Я даже не знаю, как мне тебе отплатить за твои заботы. Я навсегда – твой должник.

Видя, что я тронут ее словами, Валерия сделалась смелее; она опять взяла меня за руку и, глядя мне в глаза заискивающими глазами, стала тихо твердить ласковые слова, а у меня не доставало сил заставить ее замолчать. Потом Валерия робко, с потупленным взором попросила у меня позволения лечь рядом со мной на ложе. Я тоже не мог ей отказать, и она нежно приникла ко мне, хотя я с своей стороны ничем не отвечал на ее ласки. Так долго мы лежали молча, и я чувствовал около себя тело девушки, какое-то дряблое и словно покрытое чешуей, а на своей шее дыхание горячее и прерывистое. Время от времени Валерия прикасалась поцелуем к моим волосам,

но я не делал ни одного движения, притворяясь, что сплю. Наконец, утомленный, я действительно уснул, а когда проснулся утром, Валерии со мною уже не было.

Еще раз попросившись с Рустицианой, я приказал рабу нести мои вещи и пошел через весь Город в дом Тибуртина. То был первый раз после моей болезни, что я видел перед собой весь Рим, и он мне казался родным и близким, как если бы я в нем родился и прожил много лет. Его шум и его грязь мне нравились после чистых и безмолвных улиц Медиолана, я с наслаждением всматривался в разноцветную и разноплеменную толпу, двигавшуюся по всем направлениям, и сердце мое вновь билось от гордости, когда я видел перед собой золотую вершину Капитолия.

«Нет, я все-таки Римлянин!» – повторял я самому себе.

Мы уже приближались, по всегда пустынной улочке, к дому дяди, как вдруг я увидел, что навстречу, со старческой поспешностью, бежит Мильтиад, один из домашних рабов. Так как в ту минуту все в Риме мне казалось родным, то и Мильтиаду я обрадовался, как

давнему другу, и окликнул его, спрашивая, куда он торопится.

– Ах, господин, – ответил он, – у нас в доме большое несчастье, а я бегу за медиком.

Больше он не сказал ни слова и побежал дальше, а я ускорил шаги и скоро был в вестибule дома Тибуртина. Уже из остии я увидел, что в доме – тревога, не меньшая, чем в памятный день, когда пришло повеление императора об алтаре Победы. В атрии толпились рабы, а сам сенатор, в одной тунике, беспокойными шагами ходил взад и вперед, молча размахивая руками. Заметив меня, он сказал коротко:

– В несчастный день возвратился ты, Юний! Но к тебе да будут благосклонны боги.

Больше я от него ничего не мог добиться, – он только махал рукой безнадежно. Даже рабы не отвечали на мои вопросы, уныло опуская головы. Я бродил по дому, сам охваченный смутным страхом, и, наконец, повстречал Аттузию, которая с виду была спокойнее других; от нее я узнал, что именно произошло.

– Сегодня утром, – сказала мне Аттузия, –

мы говорили о твоём возвращении. Вскоре после того Намия исчезла из дома. Мать так испугалась, что всюду разослала рабов искать ее. Один действительно разыскал, но – где! Подумай: девочка бросилась в Тибр, чтобы утопиться! Судовщики, бывшие поблизости, вытащили ее из воды и откачали. Но она вся замерзла и теперь чуть жива.

Известие поразило меня, как гром Юпитера; в глазах у меня потемнело, я стоял перед Аттузией, оцепенев, а она, сложив руки молитвенно, добавила:

– И какой грех: покуситься на свою жизнь, которую даровал нам благой Создатель!

Эти последние слова заставили меня вздрогнуть от негодования; я едва не ударил Аттузию, но преодолел себя, повернулся, пошел молча прочь и, добравшись до комнаты, которая считалась моей, повалился на ложе.

«Неужели это все из-за меня! – повторял я в отчаянии. – Неужели я буду виновен в смерти маленькой, милой Намии! Ее тень будет преследовать меня, как убийцу? На горе себе и на горе другим я приехал в Город. Лучше было мне остаться в родной Аквитании, где

жизнь моя текла мирно и тихо. Но что же я совершил? чем я виноват? Валерия говорит, что я – красивый мальчик. Разве же это моя вина? разве это – преступление? Боги сделали меня красивым, но я их не просил о том!»

Мои мысли путались. Я думал о Дидоне, бросившейся на меч после отплытия Энея, думал о Федре, удавившейся после отказа Ипполита. Как все это красиво у поэтов и как тягостно переживать это в жизни! Или я виноват тем, что думаю только о себе, о своем счастье, и правы христиане, требуя, чтобы мы душу свою полагали за ближних? Может быть, легче жить, служа другим, чем угождая себе? Должно быть, у героев древности были иные души, чем у нас: люди того времени умели чтить веления богов, хотя бы через то они, как Эней, как Ипполит, губили других, – а нашему времени только и подходит учение Христа, религия любви и всепрощения! У древних были силы, чтобы исполнять совет поэта:

*Хранить дух твердый в событиях  
тягостных Умей и помни! —*

а мы каждую минуту склонны повторять молитву Распятого: «Да минует меня чаша сия!» Мы выродились, и религия Юпитера-отцеубийцы нам не по силам!

Несколько овладев собою, я стал просить позволения войти к Намии, но меня долго к ней не пускали. Сначала она была без сознания и никого не узнавала. Потом пришел медик, какой-то ученый грек, в длинном гиматии, с бородой, как у Антисфена, но с глазами, как у лисицы. Он больше часа провел в комнате Намии, исследуя ее, потом, войдя, стал объяснять свои выводы тетке, которая слушала его, плача и, как кажется, ничего не понимая из его ученых рассуждений. Подойдя, я прислушался к их разговору, но тоже мало что понял в путаных объяснениях служителя бога Эскулапия и втайне подумал, что хитрый грек стремится учеными словами прикрыть свое невежество, как бедняки пестрым плащом – свою постыдную наготу.

– Я, *domina clarissima*, – говорил он, – держусь эмпирической школы, так как свое искусство изучал в Александрии, где еще хранят мудрые предания Филина, Серапиона,

Зевкса, перед которыми и Агафин, и Аретей, и сам Гален – ничто. Следуя советам моих учителей, вскрытие я произвел тщательное и могу теперь установить все аналогии. Теорема в данном случае вполне благоприятна, потому что было много примеров выздоровления от такой болезни. Кроме того, между настоящим состоянием твоей дочери и простудой в холодной воде можно найти явный эпилогизм. Таким образом, все, что предписывает нам наше искусство, – сделано: причина болезни найдена и аналогии исследованы. Теперь мы будем лечить твою дочь, и ты увидишь, что значат правильные приемы медицины.

Все дальнейшие советы болтливому медика сводились, однако, только к тому, чтобы держать Намию в тепле, до чего можно было додуматься, и не читав великих авторитетов прошлого. Тетка на этот раз отказалась от своей скупости и тут же щедро заплатила хитрому греку, обещавшему прийти и на следующий день. И, как ни вздорны были речи медика, все же после его посещения все как-то успокоились и начали надеяться на счастливый исход болезни.

После медика к Намии провели отца Никодима, несмотря на то, что я просил не мучить бедную девочку его проповедями. Аттузия строго мне возразила:

– Ты так говоришь потому, что не знаешь святого Писания. У апостола прямо сказано, что если кто захворает, должно призвать священника, и его молитва исцелит болящего лучше всех лекарств. Сила молитвы велика, и когда-нибудь ты сам ее испытаешь.

Только под вечер мне сказали, что Намия сама зовет меня к себе.

С сердцем, сильно бьющимся, я вошел в маленькую комнатку Намии. Девочка лежала в постели, вся закутанная, и по ее пылающему лицу было видно, что у нее жар. Я горестно опустился на колени перед ложем, Намия же слабо улыбнулась мне и сказала:

– Итак, мне пришлось тебя увидеть еще раз, братик! Я думала, что умру и тебя больше не увижу. Видишь, ты не верил, что я брошусь в Тибр, а я это сделала. Боги, какая холодная вода в нем!

– Сестрица, милая сестрица! – воскликнул я, – зачем ты это сделала! Почему ты не подо-

ждала, пока я вернусь: я бы тебе все объяснил. Ты поняла бы, что ошибаешься. Я тебя очень, очень люблю, милая сестрица.

– Нет, – возразила Намия, – ты любишь Гесперию. Ты по ее приказанию поехал в Медиолан, я это узнала. А я не хотела жить, если ты меня не любишь.

– Неправда! – простонал я, – я Гесперию ненавижу, клянусь тебе Юпитером, всеми богами! Я ее ненавижу, проклиная. Я ей отомщу за все, и за себя, и за тебя!

Намия неожиданно привстала, села на постели, положила горячую руку мне на шею и заговорила торопливо и порывисто:

– Знаешь, я сначала хотела прямо себя убить. Но потом подумала: разве же это будет достаточное для него наказание? Тогда я решила тебе отомстить по-другому. Я пошла к нашему рабу, – я тебе не скажу к которому, – и заставила его стать моим любовником. Да, да! настоящим любовником, так что я уже не девочка теперь. Потом я пошла на улицу, и когда меня позвал какой-то прохожий, последовала за ним, к нему в дом, и он тоже был моим любовником. И так я ходила много раз, и

все эти дни жила как меретрика. Я даже деньги брала за свои посещения: вот они у меня лежат там, в ящичке. Я тебя сделаю наследником этих денег: может быть, это будет тебе на пользу.

Я не выдержал, слушая речи Намии, зарыдал, как маленький мальчик, и твердил:

– Ты неправду говоришь, Намия! Этого не было! Это не могло быть!

– Нет, все было именно так, все – правда, – отвечала мне она.

Почти не понимая, что я говорю, я попытался утешить девочку, твердя отрывочные слова:

– Это ничего, сестрица! Я тебя люблю. Ты поправишься, Я на тебе женюсь. Я вручу тебе кольцо. «Где я, Гай, там будешь и ты, Гайя!» Мы будем счастливы, Feliciter! Да?

– Нет, – опять возразила Намия, тихо качая головой, я не выздоровлю и не хочу выздороветь, ты на мне не женишься, и я умру. Мне должно умереть. А ты возьми мои деньги, я тебе их оставляю в наследство. Они тебя сделают умнее. Ты красив, Юний, но недостаточно умен. А я была слишком умна и потому должна умереть. Мне один старик сказал, что

я умна, как Психея, но я думаю, что я умнее ее. Она не умела обмануть Амура, а я бы сумела. И ты меня не сумел обмануть, а мог бы.

Здесь речь Намии стала путаться, и было видно, что к ее мыслям примешиваются видения бреда. Ей виделись в постели гарпии, оскверняющие одеяло, и она просила меня прогнать их.

– Юний, милый, – говорила она, – отгони их! Это последняя услуга, которую я у тебя прошу. Неужели и этого ты для меня не сделаешь? Ты ничего для меня не хочешь сделать! Но скоро я умру и больше ни о чем просить тебя не буду.

В совершенном отчаянии я должен был позвать Аттузию. Маленькая Намиа билась и кричала, отмахивалась руками от незримых птиц, а потом вдруг начинала говорить бесстыдные слова, заставлявшие ее сестру креститься. Кое-как мы снова закутали Намию в теплые шерстяные одеяла и уложили ее в постель. Я вышел из комнаты Намии с таким чувством, словно все мое сердце было разбито в мелкие куски, как стеклянный сосуд, по которому били молотком.

О том, чтобы уснуть, я не мог и думать, и еще долго бродил по улицам Города, сжимая кулаки и посылая проклятия Гесперии. Я не переставал думать о Гесперии за все время своего пребывания в доме Симмаха, но после признаний Намии та жажда мести, с которой я вернулся в Рим, выросла в моей душе до размеров крайних. Думаю, что сам Атрей не так ожесточенно жаждал отомстить Фиесту и не более наслаждался мечтами о мести.

«Проклятая Сирена! – говорил я сам себе, – все, все я припомню тебе: и свои слезы на грязных камнях мостовой, когда ты ласкала гнусного лизоблюда, Юлиания, и свои мучения в подземной тюрьме, где я умирал от голода и от цепей, въедавшихся мне в тело, пока ты роскошествовала со своими любовниками в Риме, и смерть этой бедной, маленькой девочки, если она действительно умрет. Ты дала мне кинжал, чтобы убить человека, – хорошо, я воспользуюсь твоим кинжалом, я его направлю против тебя же! Но раньше я заставлю тебя испытать тысячу оскорблений, я придумаю бесчисленные унижения, которым сумею тебя подвергнуть, я сделаю тебя посме-

щищем всего Рима. Всю свою жизнь я посвящу этой мести, так как все равно я уже решил на смерть. Берегись, Гесперия!

Я находил особое наслаждение в том, чтобы повторять такие слова, я ими упивался, как сладким и крепким вином, и прохожие, видя, что я разговариваю сам с собой, должны были считать меня одержимым безумием.

#### IV

Утром на следующий день, встав рано, я долго не мог сознать, что прошло почти три месяца с тех пор, как я покинул дом дяди, что многое за это время изменилось, что сам я уже иной, чем был тогда. Мне все казалось, что я только что приехал в Рим и что всю жизнь в нем я должен начинать сначала. Ах, как я был бы счастлив, если бы действительно вся эта зима оказалась лишь длинным и горестным сном!

В перистилии, на мраморном помосте водоема, дремал старый павлин; я вспомнил, как встретил здесь в первый раз Намию, и мне опять захотелось плакать при этом воспоминании. Я сел на скамью, около стены, смотрел на обветшалое убранство дома, кото-

рое казалось мне теперь еще более бедным, с тех пор как мне пришлось видеть роскошь других домов, и предавался печальным думам. Так меня застал раб, посланный Гесперией, передавший мне письмо от своей госпожи.

Вот что мне писала Гесперия:

«Гесперия Юнию. S. D. Мне грустно, что ты, вернувшись в Город, не известил меня. Хочу тебя увидеть непременно. Приходи ко мне сегодня, в часы перед обедом. Не пишу тебе больше, потому что словам написанным предпочитаю живую речь. Vale».

Этому письму я обрадовался: оно давало мне повод немедленно пойти к Гесперии и сегодня же положить начало моей мести. «Ты сама отдаешься в мои руки, – говорил я про себя, обращаясь к Гесперии. – Смотри, не ошибись в расчетах. Прежде перед тобой был мальчик, которым ты играла. Теперь к тебе придет мужчина, который заставит плясать тебя!»

День прошел в доме уныло, так как Намия чувствовала себя совсем плохо и к ней никого не допускали. Дядя сидел, затворившись в

своей комнате, и ни с кем не хотел говорить. Тетка бродила заплаканная, а у меня не было для нее слов утешения. Все утренние часы я провел в том, что обдумывал, как я должен вести себя с Гесперией, как с ней говорить, как отвечать на ее речи. Сердце мое было твердо, как камень, и мне казалось, что никакие женские соблазны не размягчат его. «Надо быть мудрым, как змий», – повторял я христианскую поговорку.

К назначенному часу я оделся, как мог лучше, и по дороге зашел в тонстрину завить волосы: мне не хотелось явиться перед Гесперией в непривлекательном виде. У тонсора, как обычно, толпился всякого рода народ, щеголи и болтуны, и я охотно обменялся с какими-то незнакомыми мне юношами несколькими остротами. Той робости, которая прежде овладевала мною, когда я шел к Гесперии, я не испытывал вовсе; напротив, я чувствовал себя смелым и решительным и был уверен в успехе.

Жила Гесперия уже не на Холме Садов, а в своем зимнем доме, на Эсквилине, поблизости от храма Надежды Древней. Место было

сравнительно пустынное, и у Элиана здесь тоже был прекрасный дом, обставленный, может быть, с меньшей пышностью, чем его летняя вилла, но зато с чисто Римской строгостью убранства. Ни вне, ни внутри дома не было никаких причуд, все было просто, но величественно и богато.

Дом охранялся рабами с тою же бдительностью, как и вилла на Холме Садов, но когда я назвал себя, меня тотчас впустили. Хорошенькая рабыня, которая, кажется, меня узнала, провела меня через обширные пустые покои, назначенные всего для двух человек, к небольшой комнатке, завешенной пестрым занавесом, и произнесла мое имя. Я уверенно отдернул занавес и вошел.

Но в ту же минуту две руки обвили мою шею, и прямо перед своим лицом я увидел как бы мраморное лицо Гесперии, прекрасное, как лик богини, настолько совершенное по своим чертам, что ни Фидии, ни Пракситель не могли бы измыслить в творческом воображении ничего удивительнее. За месяцы разлуки я не то чтобы позабыл Гесперию, но как-то утратил ясное представление о ее кра-

соте. Я помнил ее слова, ее поступки, но непосредственное очарование, веявшее от ее существа, потерялось и ослабло в воспоминаниях. Когда теперь я вновь увидел ее прямо перед собой, величественную, божественную, в тонкой цикле, осыпанной золотом, я вновь испытал прежнее чувство почти телесной боли. Я стоял перед Гесперией, онемев, и думал: «Нет, нехорошо делают боги, что смертной женщине дают такую красоту!»

А Гесперия, взяв меня за руки, увлекла меня в глубину комнаты, посадила на ложе, рядом с собой, и стала говорить, все тем же своим нежным голосом, похожим на музыку флейт:

– Мой Юний! как я счастлива, что тебя вижу! Когда Симмах написал мне о твоём заключении, я потеряла разум. Я дала обет принести богатые жертвы Великой Матери, если ты получишь свободу. И когда я думала, что это я послала тебя на такое дело, я была готова себя бить и проклинать. Но боги справедливы и спасли тебя для меня.

Такое вступление ошеломило меня, так как его я не ожидал вовсе. Я привык, чтобы

Гесперия обращалась со мной, как царица с рабом или как мудрец с учеником, и, слыша теперь от нее страстные слова женщины, не знал, что о них думать. Но я заранее готовился к какому-то коварству со стороны Гесперии и потому, напомнив себе свое решение – уподобиться в лукавстве змию, отвечал:

– Domina, я знал, на что я иду, и ты от меня опасности не скрывала. Значит, ты передо мной ни в чем не виновата. А я по-прежнему готов тебе служить всем, чем могу.

Гесперия порывисто охватила меня, сжала в объятиях и воскликнула, словно в самозабвении:

– Нет, Юний, больше ни в какие опасности я не пошлю тебя. Ты совершил довольно, чтобы доказать свое мужество и свою преданность мне. Теперь ты можешь требовать награды, которую я тебе обещала.

Невольным движением я высвободился из рук Гесперии, так как принимать притворные ласки не хотел, и возразил, дыша тяжело:

– Зачем ты это говоришь! Неужели я могу поверить, что я тебе так дорог? Ты надо мной смеешься?

Гесперия, не выпуская моих рук, продолжала говорить тем же ласкательным голосом:

– Все это – правда, мой Юний! Теперь я оценила тебя и твою любовь. Я постигла, что боги привели тебя ко мне и что мы должны повиноваться священной воле бессмертных.

Я сознавал, что мне следует притворяться, следует тоже клясться в любви, чтобы обмануть эту женщину и усыпить ее подозрения. Но она говорила с надменной уверенностью в том, что ее любовь для меня – высшее блаженство, и меня непобедимо влекло сказать ей, что это – не так, что я с пренебрежением отказываюсь от того дара, который она мне торжественно предлагает; этот порыв чувства оказался сильнее голоса рассудка. Я встал с ложа, окончательно освободился от рук Гесперии, которая следила за мной недоверчивым взглядом, и ответил:

– А я понял, что между нами не может быть любви. Я заблуждался, когда говорил тебе о своей страсти, и беру свои слова назад, отказываюсь от них. Впрочем, все свои клятвы я помню и, разумеется, подтверждаю их. Я клялся Стиксом, как клянутся боги, и этой

клятвы Римлянин не нарушит никогда.

Мои слова, как кажется, на Гесперию произвели впечатление сильное. В течение нескольких минут она смотрела на меня молча, словно не находя слов. При всей своей самоуверенности, она потерялась и не знала, как держать себя. Но вдруг также встала и, уронив складки своей сверкающей циклы, воскликнула громко:

– Если так, то твои клятвы я возвращаю тебе. Ты мне ни в чем не клялся. Я не хочу, чтобы ты исполнял свои обещания по принуждению. Ты – свободен.

– Никто не может освободить меня от такой клятвы, – возразил я. – По-прежнему ты можешь мне приказывать. Не говори только о любви, потому что это прошло.

Тогда Гесперия подошла ко мне совсем близко, так что я весь был охвачен веяньем тех ароматов, которыми было умащено ее тело, опять протянула ко мне свои, словно из слоновой кости выточенные, руки и спросила тихо:

– Ты меня разлюбил? Ты любишь другую? Отвечай: ты дал обещание не скрывать этого

от меня.

– Я никого не любил, – ответил я, так как это была правда.

Руки Гесперии вновь опустились на мои плечи, и я задрожал от этого прикосновения, как, может быть, трепетал Анхиз, когда к нему приближалась мать его будущего сына. Но когда медленно алые губы Гесперии стали наклоняться к моему лицу, обещая то же пронзающее лобзание, какое я изведal однажды, я, во второй раз подчиняясь невольному движению, опять отклонился от ее поцелуя, отступил назад, и против моей воли у меня вырвался крик:

– Не надо! не надо!

Мгновение Гесперия стояла одна с руками, простертыми в пустоту, потом тихо сделала несколько шагов и упала на ложе, как изнеможенная. Никогда не видел я гордой Гесперии в таком состоянии, потому что она была похожа на пантеру, раненную на арене Амфитеатра, и если бы я мог поверить в искренность ее поведения, я уже мог бы наслаждаться началом своей мести. После недолгого молчания Гесперия заговорила подавленным го-

ЛОСОМ:

– Ты меня отвергаешь? Тебе рассказали обо мне что-нибудь дурное? Тебе сказали, что я жила постыдной жизнью? Что у меня было много любовников? Что многих я обманывала? Что я гублю тех, кто мне доверяется?

– Мне никто ничего не говорил о тебе, – возразил я.

– Все равно! – воскликнула Гесперия, вновь вставая во весь свой рост, – все равно! Все, что тебе говорили и что могли сказать и многое другое, – все правда! Я хуже той молвы, которой окружено мое имя. Да, я прожила постыдную жизнь. Я переменила трех мужей. Я знала сотни мужчин. Я отдавалась наездникам, мимам и рабам. Я продавала себя за деньги. Я подражала в разврате жене Клавдия. И я многих погубила, кто меня любил. Я первая скажу тебе про себя все дурное, что было, и многое такое, что не знает в мире никто, кроме меня. Но все это было в прошлом. Уже давно я живу ради одного: ради того нашего дела, о котором ты знаешь. Постыдную жизнь я искупаю, служа богам и Риму. А когда я увидела тебя, когда я нашла тебя, я подумала, что, может

быть, еще возможно для меня и счастье жизни. Потому что я полюбила тебя, Юний, любовью настоящей и, клянусь тебе, первой в моей жизни. Вот я отдала себя в твою власть, ты меня можешь оскорбить и унижить; ты меня можешь оттолкнуть в наказание за то, что когда-то я оттолкнула тебя. Поступи, как хочешь: я не хитрю с тобой, не притворяюсь, я, как простая девочка, говорю тебе: люблю!

Гесперия произносила эти слова в величайшем волнении, – по крайней мере, так казалось: ее лицо разгорелось, на глазах были слезы, а я слушал ее как помешанный. Я не знал, что мне думать об этих безумных признаниях. Было ли это коварство, игра, доведенная до высшего совершенства, как у иных актеров, умеющих плакать на сцене, изображая страдания Октавии, Медеи или Канаки? Была ли то новая прихоть женщины, не ведающей препятствий своим желаниям и пожелавшей ласк «красивого мальчика», как меня называла Валерия? Или то было истинное чувство, внезапно посетившее гордую повелительницу Рима, мстительницу богини Венеры, мстящей тем, которые смеют презирать ее

власть? То, о чем я мечтал прежде, как о недоступном, невысказанном счастье, – любовь Гесперии, – было передо мной: мне стоило только сделать одно движение, сказать одно слово, и она была бы в моих руках, стала бы меня целовать и обнимать. Но в эту минуту передо мной как бы встал призрак маленькой Намии, лежащей в смертельной болезни на своей девичьей постели, и я с новым порывом возразил решительно:

– Гесперия, я не имею права тебя осуждать за твою жизнь. Я о ней ничего не знаю и ничего не хочу знать. Но сейчас я тебе ничего не могу ответить на твои слова и вот почему. Сообщили ли тебе, что твоя сводная сестра, маленькая Намия, вчера бросилась в Тибр и теперь лежит больная и, вероятно, умрет? И известно ли тебе, почему она это сделала? Я тебе скажу: Намия полюбила меня, а я любил тебя, и вот она предпочла умереть. Как же ты хочешь, чтобы я говорил тебе о любви, когда она умирает.

Все лицо Гесперии при моих словах изменилось. Она опять упала на ложе и простерла руки, как для молитвы. Мне показалось, что

она сейчас потеряет сознание.

– Боги бессмертные! – вскричала она. – Неужели это правда? Намия бросилась в Тибр? И мы с тобой в том виноваты? Побежим тотчас к ней, я прикажу позвать Эвсебия, я выпишу лучших медиков из Константинополя, я отдам все свой деньги: мы ее должны спасти! Расскажи мне немедленно все подробно! Вот когда я требую с тебя исполнения твоей клятвы: ты обещал ничего от меня не скрывать. Расскажи, как ты узнал, что она тебя любит? Как узнала она, что ты меня любишь? Говори все! Бедная маленькая девочка, я ее так любила!

Я рассказал все, что знал, не скрыв ничего, не утаив ни ночного прихода Намии ко мне перед днем моего отъезда, ни тех страшных признаний, какие сделала мне Намия вчера, разумеется, взяв с Гесперии обещание, что она никому другому не перескажет этого. Гесперия слушала мой рассказ с напряженным вниманием, несколько раз прерывая его восклицаниями горести, и, когда я кончил, сказала:

– Теперь я тебя понимаю, Юний! Вот что

было у тебя на душе, когда ты пришел ко мне! Да, не время нам было говорить о любви. Но теперь мы обменялись признаниями: когда-то ты говорил мне, что меня боготворишь, сегодня я тебе призналась, что ты мне стал дорог. Предоставим отныне нашу жизнь воле трех Парок, – пусть они сучат свои нити, золотые и черные, хотя бы уже близко было к одной из них лезвие ножниц. Когда-нибудь мы возобновим речи о наших чувствах. Теперь мы должны обратиться к другому, что важнее и твоей жизни, и моей, что выше, чем наша бедная и маленькая любовь: к судьбам Рима. Здесь, на этом пути, ты не должен и не смеешь покидать меня. Немного нас, верных великим заветам старины, служителей богов бессмертных, но тем теснее должны мы сплотиться в один круг. Мы должны продолжать нашу борьбу с безумием христианства, грозящим погубить все прекрасное и все величественное, что создано в мире. Одно сражение нами проиграно, но война еще не окончена. Ганнибал некогда подступал к самым семи холмам, но кончилось тем, что исполнилось пожелание Катона, и Карфаген был разру-

шен. Нам предстоит разрушить Карфаген новой религии, откуда новые Ганнибалы грозят нам участью более страшной, чем та, которая грозила республике после Канн. Чтобы грядущим поколениям сохранить мудрость Платона, чтобы в будущем опять могли жить Вергилии и Аполлонии, Суллы и Траяны, – останемся столь же тверды после неудачи, как слепой Апхий. Я – женщина, ты – юноша, но я по-прежнему верю, что вдвоем мы можем больше сделать, чем умные сенаторы и искусные вожди народа. В этом деле дай мне руку, останься моим союзником и повтори свои клятвы: умереть за Рим!

Свою длинную речь Гесперия произнесла торжественно и строго, и в эту минуту она опять стала похожа на ту прежнюю Гесперию, уму и решимости которой я удивлялся. Лицо ее напоминало в эту минуту лицо Дианы-охотницы, и вся она казалась чистой и неприступной, так что странно было вспомнить ее недавние признания. Потом она добавила:

– А теперь иди к Намии и скажи своему дяде, что я немедленно пришло к девочке луч-

ших медиков Города. Мы ее спасем, потому что она не должна умереть. Этого не будет, «если что боги правые могут!».

Наклонясь, Гесперия меня поцеловала в лоб, и я уже не сопротивлялся этому поцелую.

Выйдя из дома Элиана, я долго не мог собрать мыслей. Все произошло совершенно иначе, нежели я того ожидал, и к тому, что мне пришлось пережить, я вовсе не был подготовлен. Неспешной походкой возвращаясь домой, я, как бы «по обычаю пифагорейцев», припоминал, слово за словом, все, сказанное мною и Гесперией, все наши движения и поступки. Я старался вникнуть в их смысл и разгадать Гесперию, которая предстала передо мною опять в новом облике, чем я ее знал раньше.

«Если все это с ее стороны притворство, – говорил я себе, – то какова же его цель? Зачем было Гесперии унижаться предо мною, обвинять себя в низких поступках, называть себя подобной жене Клавдия? Что может она получить от меня, человека без состояния, без власти, без особенных дарований? Предположим, что она хочет опять овладеть мною, но

чем же я могу быть ей полезен?»

Однако поверить в искренность признаний Гесперии я все-таки не мог: слишком невероятным казалось мне, чтобы гордая Гесперия, привыкшая к поклонениям, могла внезапно полюбить, и так исступленно, бедного юношу, который недавно сам вымаливал у нее один ласковый взгляд. Какую-то ловушку, какую-то хитрость я чувствовал в поведении Гесперии, но не умел разгадать, в чем они состояли. Я мысленно сравнивал поведение Гесперии, во время разговора со мной, с движениями змеи, которая извивается, свертывается в кольца, отползает назад, пытается напасть и оттуда и отсюда и вдруг, усмотрев незащищенное место, бросается вперед и жалит. Но зачем она вела эту хитрую борьбу со мной, я не понимал.

А в самой глубине души, наперекор всем тем обещаниям, какие я давал самому себе, наперекор всем моим клятвам мести, запечатленным мною даже на стене подземной тюрьмы в Медиоланском священном дворце, – тайная сладость баюкала мои мечты. Так прекрасна была Гесперия, такое очарование

исходило от ее существа, словно опьянительный аромат, что я опять чувствовал себя во власти ее чар: опять казалось мне невозможным жить без Гесперии, опять мне представлялось, что всюду, где нет ее, – пустыня, а там, где она, – те «белые лилии», что окружают блаженных. И это тайное чувство, которое я всячески старался подавить в себе, как тонкий яд, проникало во все мои мысли, отравляло их смертельным и гибельным соблазном. «Сильна ты, Афродита, богиня Книдская!» – готов я был воскликнуть.

Дома я застал всю семью за обедом. Никто меня не спросил, где я был, да и вообще никто почти не произнес ни слова за все время обеда, кроме отца Никодима, который несколько раз начинал было рассказывать городские новости, но, не встречая сочувствия, скоро умолкал. Впрочем, когда рабы уже подали сладкое, дядя угрюмо сообщил мне:

– Скоро возвращается Симмах. Он ничего не добился. Сенат останется без статуи Победы. Горе будет теперь, если готы опять подымутся на нас. Потерять нам тогда Гемимонт, Европу, Родопию, Дарданию, Македонию,

Эпир...

– Господь Бог заступится за свое верное воинство, – вставил отец Никодим.

Дядя сурово посмотрел на него и ответил:

– Завоевывали эти земли не Господь Бог, но Метелл и Муммий, а что завоевал Господь Бог, мы еще не видели.

Отец Никодим тонко улыбнулся и, беря себе несколько сладких пирожков, произнес:

– Он завоевал весь мир, но не силой меча, а силой истины и любви.

Дядя не возразил ничего: ему неохота была спорить.

После обеда мне позволили зайти к Намии. Она была почти без сознания; впрочем, узнала меня и спросила:

– Ты сегодня был у Гесперии?

– Нет, – солгал я, не желая огорчать девочку, – я у нее не был и не пойду к ней.

– Ты ее не будешь целовать? – опять спросила Намия.

– Не буду.

– Поклянись мне.

Что мне было делать, как не поклясться, хотя я и чувствовал, что, может быть, скоро

окажусь клятвопреступником. Я произнес торжественно:

– Клянусь тебе, что не буду Гесперию целовать никогда.

Намия вытащила из-под подушки маленькое серебряное зеркальце и яростно бросила его в угол комнаты.

– Это она мне прислала сегодня утром в подарок, узнав, что я больна. Но я не хочу ее подарков, не хочу! Сломай его, братик, растопчи ногами, брось в огонь. Я его ненавижу, я ее ненавижу! Я из-за нее умираю. Она – проклятая!

Меня поразило это признание, и, хотя с Намией разговаривать не следовало, ввиду ее болезни, я невольно спросил:

– Гесперия прислала тебе утром зеркало? Значит, она знала, что ты больна?

– Она мне прислала зеркало, – отвечала девочка, – проклятое зеркало, заколдованное, чтобы я умерла скорее, но я, может быть, еще не умру! Я теперь не хочу умирать. В Тартаре страшно, там темно, там тени!

Девочка начала метаться и говорить бессвязные слова, и я не мог добиться от нее, зна-

ла ли Гесперия, посылая ей подарок, о ее болезни. Все же темное подозрение поселилось в моей душе. «Неужели, – спрашивал я себя, – Гесперия раньше была извещена о несчастье с Намией и передо мною притворялась, делая вид, что услышала о том от меня впервые? Кто же она: всегда играющая на сцене или безумная, не понимающая, что говорит, как бедная Реа? Или же душа женщины – пучина Харибды, в которую не дано заглянуть мужскому взору?»

Я долго сидел у Намии и вместе с теткой старался то согреть ее коченеющие члены, то охладить сжигающий ее внутренний огонь. Девочка томилась и плакала и все чаще повторяла: «Я не хочу умирать, не хочу умирать!» Мы ее поили лекарствами, приготовленными ученым греком, но Намии от такого питья делалось только хуже, и было видно, что жизнь покидает ее худенькое тело. Чудилось, что страшная Либитина уже стоит у дверей нашего дома.

Поздно ночью ушел я из комнаты Намии, оставив мать у постели умирающей дочери. Уходя, при слабом свете лампы, я заметил,

что в волосах Мелании за эти дни появились седые пряди. И впервые я почувствовал к тетке нежность и уважение.

## V

Болезнь маленькой Намии продолжалась шесть дней, и эти дни были для меня, может быть, тягостнее, чем месяцы моего заключения в подземной тюрьме.

Я считал себя виновным в болезни девочки, и, видя ее страдания и близость ее конца, часто готов был воскликнуть в отчаяньи, вместе с Эдипом: «Земля, разверзись!» С каждым днем ослабевая и как бы растаивая, подобно горсти белого снега, Намия все более страстно желала жить, и, плача, повторяла, в те часы, когда была в сознании: «Вылечите меня! я не хочу умирать! я боюсь умереть! спасите меня!» Она целовала руки грека и другого медика, которого, действительно, прислала к ней Гесперия, и умоляла их помочь ей, но те понемногу теряли свою самоуверенность и все чаще советовали надеяться на помощь богов.

Тетка разыскала где-то в Городе старуху фессалийку, которая лечила заклинаниями.

То была сморщенная женщина, одетая грязно, с нечесаными волосами, бормотавшая на каком-то странном диалекте греческого языка, который я едва понимал. Едва войдя в комнату Намии и едва взглянув на девочку, метавшуюся в бреду, старуха тотчас объявила, что знает, кто наслал болезнь: одна египтянка, живущая по соседству, которая издавна невзлюбила весь дом Тибуртина. Потом лекарка долго обеими руками растирала тело девочки, шептала над ней непонятные заговоры, надела ей на шею амулет, зашитый в тряпичку, и ушла, уверив, что болезнь перейдет теперь на самое египтянку, тогда как Намия через два дня будет совсем здорова. Однако отец Никодим, узнав о посещении знахарки, крайне рассердился, пригрозил тетке муками ада за сношение с ворожеей, что осуждают законы церковные и законы империи, и, при содействии Аттузии, снял с Намии ладанку, так что мы и не узнали, принесла ли она какую-нибудь пользу больной.

Особенно мучило меня то, что я принужден был постоянно лгать умиравшей девочке. Гесперия, с непонятным упорством, каждый

день присылала за мною раба и заставляла приходить к ней, может быть, и потому, что муж ее был в отсутствии. Отказаться от этих приглашений у меня не доставало воли, так как все же сладостно было мне проводить часы наедине с Гесперией, дышать благоуханиями, которыми было пропитано ее платье, видеть близко от себя ее лицо с восковой нежностью кожи. Хотя всегда наши разговоры начинались с предметов общественных, с обсуждения тех способов, какими можно ниспровергнуть власть Грациана и возвести на трон Цесарей человека, готового защищать древнюю религию, – очень скоро мы переходили к нашим чувствам, к тем вопросам, которые ведаёт Цитерея и ее крылатый сын. И когда красавица Гесперия вкрадчивым голосом опять повторяла мне, что в ее сердце загорелась страсть ко мне, что, впервые после многих обманчивых влечений, она испытывает подлинную любовь, что я – ее последний и вместе с тем первый истинный избранник, хотя тысячи других тщетно добиваются одного ее ласкового взгляда, – трудно мне было устоять и не поддаться соблазну. Я уже не отрицал,

что любовь к Гесперии жива в моей душе, но, чувствуя, что и недавняя ненависть только задремала на время, может воскреснуть каждую минуту, едва в поступках этой женщины снова проглянет коварство, уклонялся упорно от решительных признаний.

– Ты не любишь меня, Юний? – спрашивала меня Гесперия, держа меня за руки и как бы погружая свой взор в мои глаза.

– Может быть, я люблю тебя, а может быть, нет, – отвечал я тоскливо.

– Нет! нет! ты меня любишь, ты должен меня любить, я так хочу! – говорила она, как если бы ее желание было волей бессмертной богини.

Не раз Гесперия привлекала меня к себе и начинала целовать поцелуями острыми, как укусы змеи, вкладывая кончик языка в мои губы, – что греки называют (γλώττιο) – а я от таких ласк терял обладание собой и, обессилев, оставался в объятиях женщины, как труп, которым она может распоряжаться по своей прихоти. Гесперия находила слова нежности необыкновенной, ласкающие, как журчание ручья, наполняющие слух, как отдаленный

говор ветра в лавровых листьях. Она, словно мать ребенку, говорила мне, наклоняя надо мной свои большие глаза с расширившимися зрачками:

– Мой маленький, мой милый, мой единственный! Ты именно то, о чем я мечтала долго. Дай мне свою молодость и возьми у меня весь мой опыт жизни. Давай любить друг друга, и вдвоем мы достигнем такого счастья, какого еще не бывало на земле. Сами Олимпийцы позавидуют нам, и будущие поэты станут называть наши имена рядом с именами Протесилая и Лаодамии, Геро и Леандра, Канаки и Макарея!

– Гесперия, – слабо возражал я, – сколько раз в жизни ты говорила те же слова!

– Так что же! – отвечала она. – Я буду твоей первой истинной любовью. Ты – моя последняя истинная любовь! Быть первым и быть последним одинаково прекрасно! Последняя любовь, это значит – любовь вечная, конца которой не будет.

И, зная множество стихов наизусть, она начинала страстно дрожащим голосом декламировать передо мною письмо Федры из «Ге-

роид» Насона:

*Я уже не стыжусь молить, униженно, покорно.*

*Горе, где гордость моя? дерзкие речи? их нет.*

*Верилось мне, что я долго буду бороться, что страсти*

*Я не поддамся вовек; верного что есть в любви!*

*Побеждена, умоляю, царские руки к коленям*

*Я простираю твоим. Все позволяет любовь!*

*Я разучилась краснеть, и Стыд покинул знамена,*

*Сжался, когда сознаюсь, гордое сердце возьми!*

Слушая такие речи, я в самом деле готов был вообразить себя сыном Тесея.

А придя от Гесперии домой, я шел в комнату Намии, садился у ее постели, оберегал ее беспокойный, лихорадочный сон или успокаивал ее мучительный бред. Чувства гордого царевича Ипполита или страстного любовника Геро умирали в моей душе, и их заменяла безмерная жалость к бедной, страдающей де-

вочке. Намия же, когда приходила в себя, каждый раз, с упорством болезни, спрашивала одно и то же:

– Ты не был сегодня у Гесперии? Ты не пойдешь к ней? Ты не будешь с ней целоваться? Ты ее не любишь?

И я клялся Намии, что у Гесперии не был, не пойду к ней, с ней не целовался, не люблю ее. Намия успокаивалась на минуту, но скоро, быть может, забыв о моем ответе, снова начинала тревожиться и снова повторяла те же вопросы, слабым, но настойчивым голосом:

– Скажи, ты не любишь Гесперии?

Почти постоянно мучимая видениями бреда, Намия уже не могла хранить тайну своей любви ко мне и часто начинала говорить о ней в присутствии матери и сестры. Тетка, наполовину потерявшая разум от горя, едва ли понимала эти признания девочки, но Аттузия хорошо их запомнила и, конечно, сделала из них свои выводы. Один раз она даже заговорила со мною о том грехе, какой принимает на душу тот, кто соблазняет единого из малых сих. Но я ответил ей резко, что Намия просто бредит и что вообще я не считаю Атту-

зию вправе давать мне какие-либо наставления. Сжав свои тонкие губы, Аттузия ничего не возразила и на время оставила меня в покое.

Между тем силы Намии все слабели. Она уже не могла сама приподыматься и почти все часы проводила неподвижно, без сознания, иногда выговаривая, среди стонов, отдельные слова. Оба медика объявили нам, что на выздоровление они более не надеются и что девочке осталось жить не более суток. Во всем нашем доме распространилось уныние, и даже рабы, которые любили маленькую Намию, сделались угрюмыми и порой отирали слезы.

Вечером Гесперия опять прислала за мной, сообщая в письме, что у нее есть ко мне очень важное дело. Прочтя письмо, я велел рабу передать Гесперии, что прийти не могу, но, когда он ушел с таким моим ответом, я почувствовал беспокойство и тоску. Мне стало мучительно жаль потерять лишний случай увидеть Гесперию, и, после долгих колебаний, я все же не устоял перед соблазном. Обещав себе, что у Гесперии я пробуду только несколь-

ко минут, я вышел из дому и побежал через Циспий на Лабиканскую улицу.

Гесперия не удивилась, увидя меня, хотя раб уже передал ей мой ответ; она ждала меня и была, по-видимому, уверена, что я приду, несмотря на свой отказ. Как и всегда, она меня встретила не как любовника, но как общника и, достав только что полученное ею письмо Симмаха, начала объяснять, что произошло нового. Она говорила спокойным, деловым голосом, подробно выясняла все мелочи, и трудно было бы подумать, что через несколько минут она способна заговорить речами обезумевшей от страсти Федры.

Симмах писал в письме, которое он просил немедленно уничтожить, что он от достоверных людей узнал о готовящемся возмущении среди легионов Британнии. На этом отдаленном острове войско уже давно было недовольно тяготами службы, несправедливостями начальников, отсутствием тех наград, которые нередко достаются на долю легионов, расположенных в Галлиях и Италии. Нашлись люди, которые решили воспользоваться этим недовольством воинов и убедить их

провозгласить нового императора. Все те, которые почему-либо не добились почестей при Грациане или, наоборот, получили уже столько милостей, что не могли надеяться на новые, рады были случаю возвести на трон нового человека, который должен был бы осыпать своих приближенных и новыми щедротами. Заговор пока известен лишь небольшому числу людей, но втайне уже делаются приготовления к военному походу, и следует рассчитывать, что весной разразится гражданская война.

Письмо кончалось следующими странными словами, смысла которых я сразу не понял: «*Si princeps non vult appellari pontifex admodum brevi pontifex maximus fiet*». Гесперия истолковала мне эти слова, сказав, что речь идет о некоем Максиме, родом испанце, родственнике императора Феодосия, опытным и любимом легионами военачальнике. Максим проживает в Британнии, наполовину занимая почетную должность при расположенных там войсках, наполовину в качестве изгнанника, так как Грациан опасается его влияния и значения. Очевидно, этот Максим

и намечен заговорщиками как будущий император.

Дав мне эти объяснения, Гесперия поднесла таблички, присланные Симмахом, к огню и ждала, пока весь воск растает и все написанное не обратится в бесформенную гущу.

– Тебе не жалко поступать так с письмом Симмаха! – воскликнул я.

– Милый Юний, – возразила Гесперия, – такого письма достаточно для того, чтобы даже мне, хотя я – жена сенатора и, как говорят, красивейшая женщина в Городе, отрубили голову. Когда надо сделать выбор между красноречием и благом империи, я, не задумываясь, принесу в жертву искусство. Если бы у нас не достало боевых снарядов, я не поколебалась бы заряжать баллисты головами статуй Праксителя!

Она сказала это с таким видом, словно сзади стоял писец, который обязан был записывать ее изречения.

– Чем же это восстание Максима может быть полезно для нашего дела? – спросил я.

– Еще не знаю, – ответила Гесперия, – но думаю, что воспользоваться им будет возмож-

но. Недовольство против Грациана растет. Сенаторы каждый день, видя пустое место там, где прежде стояла статуя богини Победы, вновь переживают нанесенное всем нам оскорбление. Ариане раздражены преследованиями, какие воздвиг на них неистовый Амбросий. Простой народ втайне любит своих богов, и в деревнях поселяне с унынием смотрят на то, что храмы, у которых отняты их земли, обеднели и разрушаются. Кроме того, бедняки всегда недовольны существующим правлением и верят, что при другом им будет легче жить. С виду все покоряются гневу сына Валентиниана, но я убеждена, что, затворив дверь своего дома, каждый гражданин посылает ему проклятия. Его ненавидят все, от Океана до Верхнего моря, а может быть, и до границ Персии. Пусть только Максим выступит открыто, мы тотчас поднимем против Грациана всю Италию и всю Паннонскую дицесу: там у нас много друзей. А потом можно будет сговориться, что даст нам Максим в обмен за нашу поддержку!

– Значит, ты согласилась бы на то, чтобы императором стал Максим? – спросил я с за-

миранием сердца, потому что в ту минуту подумал о Юлиании.

– Что делать, может быть, пришлось бы согласиться временно и на это, – сказала в ответ Гесперия.

– А твой Юлианий? – произнес я и почувствовал, что при этом имени краснею, как маленький мальчик.

Гесперия весело рассмеялась и ответила мне так:

– Неужели ты думал, что мы, в самом деле, наденем когда-нибудь диадему Диоклециана на эту тряпичную куклу, отполированную пемзой и украшенную поддельными волосами? Нет, мой Юний, мы бережем его только на самый крайний случай. Полезно иметь в запасе потомка Констанция Хлора, – подобное имя действует на народ. А кроме того, Юлианий может пригодиться нам и для другого. Если бы при дворе Грациана дознались о наших замыслах, мы отдали бы им Юлиания, как главного зачинщика заговора, и этим, может быть, спасли бы себя.

Гесперия говорила о последнем предположении с такой доброй улыбкой, как если бы

речь шла не о том, чтобы предать человека на позор, на пытки и на казнь, но о милой шутке. Глядя на ее спокойное лицо, я невольно подумал: вот та твердость духа, та *aequa mens*, о которой я мечтал недавно. Именно так должен смотреть на людей тот, кто хочет направлять дела всей империи. Так смотрели на людей Сулла и Цесарь, Август и Константин. Что была для них жизнь человека или даже тысячи людей, если ставился вопрос о выполнении их замыслов! Вот истинно Римский дух, утраченный нашим временем, утраченный и мною, – мною, плачущим о смерти маленькой, ничего не значащей девочки!

«Нет, я не Римлянин, – с отчаянием подумал я, – я – христианин».

Но, пользуясь оборотом разговора, я подавил свое волнение и спросил Гесперию, глядя ей прямо в лицо:

– Ты так легко жертвуешь Юлианием. Но скажи мне: разве тебе самой он не дорог? А мне казалось, что вы с ним... близкие друзья.

Гесперия опять засмеялась, – не для того ли, чтобы скрыть смущение, – и договорила мой вопрос до конца:

– Ты хочешь узнать, не мой ли любовник Юлианий?

Я пробормотал что-то неясное, а Гесперия продолжала, уже строго:

– Нет, Юний! Юлианий моим любовником никогда не был и никогда не будет! Мне было бы противно прикоснуться губами к его лицу, раскрашенному дешевыми красками. И ты должен верить, что мои слова – правда. Я не скрывала от тебя, что за свою жизнь я уступала мольбам многих, но этот Юлианий не был в их числе. Хотя бы тысячи доказательств говорили тебе другое, все же верь не им, даже по собственным глазам, а моей клятве. Есть причины, почему я делаю вид, будто и теперь окружена возлюбленными, но это лишь обманчивая внешность. Уже давно, много раньше, чем я поняла, что люблю тебя, Юний, я отвергла всех мужчин. Мой муж – более не муж мне, а только товарищ общего нашего дела; все другие, окружающие меня, – только мои друзья и помощники. Кто похвалится большим, тот солжет. Подобно жрицам Круглого храма, я тоже дала обет, и, если я нарушила его, пусть со мной поступят, как с той

из них, кто провинилась перед богиней!

Я не знал, что думать, слушая Гесперию, которую молва называла самой развратной женщиной Города и которая равняла себя с весталками. Как всегда, казалось, что ее речь идет из самой глубины души, что она говорит с простосердечием ребенка, ее большие глаза смотрели открыто, а грудь поднималась, словно от негодования при мысли, что я могу ей не поверить. Между тем я помнил хорошо, что Юлианий сам с постыдной похвальбой говорил мне о своей близости с Гесперией, я помнил, что видел сам, как он вошел к ней в дом вечером и вышел из него лишь рано утром, качаясь от сладкого утомления. Поверить благородным клятвам Гесперии – значило показать себя прирожденным простаком, но как было не поверить ее вкрадчиво-ласковому голосу, ее ясному взору, ее решительным утверждениям, притом когда было так сладостно верить всему тому, в чем она уверяла?

Чтобы сделать свои слова еще более убедительными, Гесперия, продолжая свои клятвы, обвинила мою шею рукою и, наклонясь к моему

уху, снова стала шептать мне свои нежные признания, говоря, что я – тот единственный, кого она любит, кому согласна отдать свои ласки. Сознание мое затемнилось, словно завесой тумана, я забыл все свои беспощадные мысли о Гесперии, все свои обещания – отомстить ей за себя и за Намию. Я ощущал лишь одно, что близ меня – женщина, быть может, прекраснейшая в мире, та самая, которая недавно казалась мне столь же недоступной, как светлая Диана среди облаков, что она твердит мне о любви и готова принять меня в свои объятия. В моей душе слабо еще раздавался голос, говоривший мне об осторожности, напоминавший о изведенном мною самим коварстве этой женщины, советовавший мне помедлить, не отдавать себя опять в ее опасную власть; но другой голос как бы отвечал первому: «После! после! обо всем этом я подумаю после! теперь же хочу одного – воспользоваться этой минутой, которая, кто знает, повторится ли когда-нибудь! Нет большего счастья на земле, как узнать ласки Гесперии, и я возьму это счастье, чем бы мне ни пришлось заплатить за него!»

В ту минуту я утратил всякую осторожность, которой так настойчиво требовал от себя, потерял способность выбирать слова, не думал о том, к чему приведут мои безумные признания. Дрожа всем телом от порыва страсти, путающимся языком, сам еще не зная, что я скажу, я стал говорить Гесперии о своей любви. Я опять стал на колени перед ней, обнял ее колени, как алтарь божества, и твердил, глядя на ее лицо, словно из глубины на небо:

– Конечно, и я люблю тебя, Гесперия. Когда я говорил иное, я лгал. Ни один миг я не переставал любить тебя, ни в тюрьме, ни у постели умирающей Намии! Все прежние клятвы я повторяю тебе, потому что в душе я никогда не отказывался от них! Я виноват перед тобой, Гесперия, виноват в том, что посмел скрывать от тебя свою любовь к тебе!

Гесперия, слушая меня, нежно гладила рукою мои волосы, и эта тихая ласка бросала в мою страсть больше искр, чем то сделали бы самые пламенные поцелуи. И тогда, не в силах сдержать порыва своей откровенности, я рассказал Гесперии, как проклинал ее в дни

своего заключения, как поклялся мстить ей, как в Медиолане проводил дни с Реей и как изменял клятвам своей любви в объятиях этой странной девушки. Сбивчиво, спутанно я рассказал все, что пережил и перечувствовал за последние месяцы, говоря бессвязно, переходя от одного к другому и возвращаясь к уже сказанному, но не утаивая ничего, открывая самую глубину своей души. И при последних словах, от напряженности чувства и от томительной радости, заплакал детскими слезами, приник лицом к груди Гесперии и воскликнул:

– Теперь не знаю, кому из богов мне молиться! Я много мучился, но мне не жаль моих мучений, и я их не помню. Ты мне сказала, что любишь меня, и это такое блаженство, в котором все прошлое потонуло, как маленькие ручьи в Океане. Гесперия, я был безумен, когда отказывался от счастья твоей любви! Возьми меня, потому что я – твой навсегда!

Плача, я обнимал Гесперию и искал губами ее губ, которыми она в часы наших последних свиданий сама обжигала меня, но на этот раз Гесперия высвободилась из моих рук,

как змея или увертливая пантера. Я остался, стоя на коленях на полу, с простертыми руками, а она, отступив на несколько шагов и закрывая лицо ладонями, проговорила:

– Нет, нет, Юний! Мы еще не должны отдаваться любви вполне. Это будет нашей наградой за успех. Если мы достигнем своей цели, мы получим право на счастье, но пока у нас его нет.

– Это безумие, Гесперия! – воскликнул я, пораженный ее словами. – Ты мне сказала, что любишь меня; я знаю, что люблю тебя бесконечно. Зачем мы будем закрывать себе дорогу к радости? Разве счастье любить друг друга не даст нам новых сил для того же нашего дела?

Гесперия отрицательно покачала головой и отошла в самую глубину комнаты.

– Мы не должны прикасаться к счастью, – сказала она. – Наша богиня не Венера, с своим чудесным поясом радостей, но мудрая Минерва, с высоким копьём. Следуй ее указаниям и забудь пока о Пафии.

Минуту перед тем я был убежден, что стоило мне лишь выразить согласие, чтобы Гес-

перия стала моей, и я долго не мог поверить, что она действительно отказывает мне в своих ласках. Я умолял ее, убеждал ее, снова пытался привлечь ее в свои объятия, но Гесперия все суровее отстраняла мои руки и все решительнее запрещала мне к себе приближаться. Ее лицо опять приняло выражение неприступной строгости, и она повторяла мне уже повелительно:

– Этого не должно быть, Юний. Я так хочу. Оставь меня.

Поняв, наконец, что она непреклонна, я в новом порыве чувства, зарыдал снова, но уже слезами горечи и обиды.

– Зачем ты меня так мучишь, Гесперия! – воскликнул я.

– Мучения нам нужны, – возразила она, – мучения очищают душу, как огонь золото. Знай, что я буду тебя мучить еще больше. Теперь уходи – тебе давно пора быть около Намии.

С этими словами Гесперия выскользнула из комнаты, и я остался один. Подумав минуточку, я направился к выходу. «Она играет тобою, как мышью кошка, – говорил я себе. – Глупый,

глупый! ты опять попался в расставленную ловушку! ты разболтал ей все, что скрывал долгое время. Ей только этого и надо было. Только этого она и добивалась от тебя своей притворной искренностью. Теперь она знает тебя всего, знает, что можно от тебя ждать, и будет пользоваться тобой, как рыбак лодкой, которую сам оснастил!»

С самыми невеселыми думами брел я по улице, но, вдруг вспомнив об умирающей Намии, охваченный стыдом при мысли, что тратил время на унижительные мольбы, когда девочка мучилась предсмертными страданиями, бросился бежать к дому дяди. Был уже поздний час; та часть Города, по которой лежал мой путь, была почти пустынна, и никто не мешал мне пробегать под портиками, как состязавшемуся на арене цирка. Задыхаясь, вошел я в дом, и по строгой тишине, царившей там, сразу понял, что последняя минута близка.

Я осторожно вошел в комнату Намии. Вокруг постели умирающей собралась вся семья, в том числе некоторые клиенты и рабы. Девочка лежала, протянувшись во весь свой

маленький рост, навзничь, с закрытыми глазами, неподвижно. Она, по-видимому, была без сознания. Дядя употреблял все усилия, чтобы сохранить спокойствие, подобающее истинному Римлянину, который должен, подобно Бруту древнему, без слез смотреть на казнь своих детей. Тетка, не переставая, плакала, отирала слезы и плакала вновь. Аттузия, став на колени, молилась по-христиански. Отец Никодим, стоя в головах постели, произносил какие-то молитвы, и никто не обращал на него внимания.

Заметив, что я появился, Аттузия встала с колен, подошла ко мне и сказала:

– Она много раз звала тебя, но тебя нигде не могли найти. Но, благодарение Богу, отец Никодим успел окрестить ее, и душа ее очистилась от грехов. Теперь она вознесется прямо к дверям рая, и такой кончины мы все можем желать себе.

«Желаю такой кончины тебе, и поскорее!» – едва не сказал я вслух, но сдержался, стиснув зубы. Однако в выражении моего лица было, должно быть, что-то злое, потому что Аттузия, не дождавшись ответа на свои

слова, поспешила отойти от меня и снова опустилась на колени. Я занял место около дяди и стоял, пристально глядя на искаженное лицо девочки, по губам которой время от времени проходила судорога.

Так стояли мы в безмолвии довольно долго, как вдруг Намия слабо зашевелилась и приоткрыла помутневшие глаза. Она обвела взором всех присутствующих, словно стараясь понять, в чем дело. Потом этот взор сделался сознательным, и что-то вроде улыбки показалось на губах Намии. Делая большое усилие, едва слышно, но совершенно разумно и даже чуть-чуть шутливо она произнесла:

– Отец, мать, я вас очень люблю, но, кажется, я умираю, мне очень плохо... Мои деньги отдайте Юнию, в наследство, он глупый и от них поумнеет... А мои игрушки – Венере, потому что я – как бы невеста... Ах, мне хотелось бы выйти замуж...

При звуке этого почти замогильного голоса никто уже не мог сдержать слез; тетка зарыдала громко, отчаянно, с вскрикиваниями, дядя заплакал глухо, навзрыд, я тоже чувствовал, что родник моих слез не иссяк у Геспе-

рии, но что они заливают мои щеки.

– Намия, моя девочка, ты не умрешь, не умрешь! – выкрикивала тетка.

Намия, истомленная усилием, какое она сделала, чтобы произнести свою речь, несколько минут лежала молча, потом начала тихо и жалобно стонать. Этого почти невозможно было вынести, и я готов был убежать из комнаты, заткнуть уши, спрятаться в подушки, только бы не слышать этого тихого, но в сердце впивающегося стога. Страдала ли она нестерпимо, или страшно ей было расставаться с жизнью, но она продолжала стонать, однообразным голосом, без слов, без определенного звука, устремив глаза в потолок и приоткрыв рот, как брошенная на песке рыба. Но внезапно стон прекратился, Намия словно еще раз очнулась, еще раз посмотрела на нас, и мне показалось, что она слабо улыбнулась именно мне. Потом она произнесла, и это были ее последние слова:

– Мы должны принести в жертву Эскулапию петуха...

Еще через минуту язык, по-видимому, перестал повиноваться девочке, она затряслась,

стала биться на постели, хотя раньше не в силах была пошевелиться, стала рвать тунику на груди, как если бы задыхалась, ее глаза расширились, и, с глухим стоном, с хрипом, она как-то вся запрокинулась. Мы бросились к самой постели, кто целовал ее одеяло, кто пытался ее поддержать, кто просто рыдал, прижавшись головой к ее подушке. Только отец Никодим произносил какие-то слова своих молитв, но я оттолкнул его, не говоря ни слова, от постели и упал подле нее на колени.

От слез, застилавших мои глаза, я больше ничего не видел. А когда я взглянул снова на маленькую Намию, она уже была неподвижна, и было на ее лице то выражение прекратившихся страданий, какое дает благая Просерпина, обрезая волос на голове обреченного на смерть.

Несколько мгновений в комнате, которая сразу показалась пустой, хотя была наполнена людьми, слышались только рыдания тетки да всхлипывания рабынь, считавших долгом плакать погромче, но вдруг дядя, вспомнив старинный обычай и овладев собой, об-

ратился к умершей с троекратным возгласом, тотчас подхваченным некоторыми из присутствующих:

– Намия! Намия! Намия!

Но ответа уже не было.

## VI

Уныло стало в доме Тибуртина после смерти маленькой Намии. Никогда я не думал, что так любили девочку и дядя, который, казалось, не обращал на нее внимания, и тетка, которая, казалось, всегда была занята только денежными расчетами. Оба они предавались печали неутешной, и если тетка рыдала, как самая добросовестная плакальщица, то еще тягостней было видеть отчаяние сенатора, целые дни проводившего в каком-то окаменении, не желавшего ни с кем и ни о чем говорить, сразу постаревшего на много лет. Только неизменная, как сушеная рыба, Аттузия довольствовалась тем, что подымала глаза вверх и повторяла: «Что Бог дал, то он вправе и взять».

Начались томительные приготовления к похоронам.

Тяжелый спор пришлось выдержать дяде

из-за того, хоронить ли Намию по обряду христиан или согласно с древними Римскими обычаями. Аттузия, с криками, настаивала на том, что Намия – христианка, потому что над ней, на смертном ложе, была совершена тайна крещения. Отец Никодим угрожал, что он пойдет жаловаться, через какого-то Иеронима, которого называл святым человеком и великим писателем, самому архиепископу Римскому Дамасу на то, что христианку насильственно хотят похоронить по обряду идолопоклонников. Но дядя, во всем остальном представлявший делать в доме, что угодно, в этом отношении проявил волю непреклонную. Ударив кулаком по столу, он опять напомнил, что он отец семейства и что в его доме он один имеет право отдавать приказания. Он даже удивил меня своей твердостью, и таков был его голос, что и Аттузия не посмела возражать далее.

Призвав к себе меня, дядя дал мне довольно значительную сумму денег и поручил все хлопоты по похоронам именно мне. Он желал непременно, чтобы тело Намии было сожжено на костре, как то обыкновенно делалось в

века свободной республики, а не погребено в земле, как то предпочитают многие в наши дни, может быть, бессознательно подражая христианам. Кроме того, дядя поставил таким же непременным условием, чтобы погребение совершилось ночью, как то было в обыкновении у наших предков и как то вновь установил божественный август Юлиан.

По счастью, помогать мне вызвался Элиан, вернувшийся в Город на другой день после смерти Намии, потому что без его содействия мне было трудно справиться с горестным поручением, возложенным на меня. Мы вместе вели переговоры с либитинариями и вместе подробно обдумали весь порядок печального обряда. Немного странно было мне находиться в постоянном общении с мужем той женщины, от поцелуев которой столько раз разгорались мои щеки и губы, но он держал себя со мною с достоинством и дружественно. Мне кажется, он не был неосведомлен о моих частых посещениях его дома и догадывался о их причине, но о Гесперии он говорил со мною так же просто, как обо всех других.

Поллинктор натер безжизненное тело На-

мии ароматными маслами, так что тление не касалось ее, и она лежала на пышно убранном ложе, поставленном в атрии, такой же милостивой, какой была при жизни; даже на ее губах, несмотря на предсмертные страдания, сохранилось подобие лукавой улыбки. Девочка была одета в свое лучшее праздничное платье, вокруг ложа были рассыпаны ветки кипариса и цветы, на маленьком алтаре, поставленном подле, постоянно курились ароматы. А у самого входа в дом, над дверью, тоже грустно колыхалась ветка кипариса, указывая всем, что смерть посетила эту семью.

За три дня, что тело Намии было выставлено в атрии, дом Тибуртина посетило множество родственников, которые раньше никогда не появлялись здесь. Между другими приходила двоюродная сестра дяди, следовательно, также моя тетка, Нумерия, вдова консуляра и бывшего префекта Африки. Нумерия хорошо знала мою мать и пожелала меня видеть.

Старая, толстая женщина, очень богатая, как уверяют, но скупая, Нумерия со всеми привыкла говорить резко и повелительно.

Меня она встретила суровыми упреками:

– Что же ты, племянник, целую зиму в Городе, а не выбрал времени навестить меня? Гордиться тебе особенно нечем: если твой отец – декурион в какой-то Лакторе, то мы видали людей званием куда повыше. А если ты своими достоинствами горд, так погоди, пока другие похвалят. Хотя я и старуха и вдовая, а все-таки у меня в доме ты мог бы увидеть людей, которые тебе потом пригодились бы. Пришел бы да поклонился бы, может быть, я что-нибудь для тебя и сделала бы. Теперешняя молодежь кланяться разучилась, а в наше время спины не жалели и выходили в люди.

Я, конечно, ответил, что не был у Нумерии не из гордости, а потому, что не хотел ее тревожить без надобности, и потому, что был очень занят своим учением в школе. Старуха тотчас стала бранить все школы и сказала, что в ее время учились не у реторов, а в консисториях префектов и в войске, зато и получались люди вроде ее покойного мужа, способные занимать кресло консула и управлять целой префектурой. Потом Нумерия набросилась на тетку Меланию и с крайней безжа-

лостностью стала обвинять ее в смерти дочери.

– От хорошей жизни, – говорила она, – не побежит девочка топиться в Тибр. Должно быть, невесело жилось ей в родном доме! А теперь плакать поздно, – что было, не воротишь.

Что-то неприятное сказала она и дяде, прекнув его, что он кичится своим званием сенатора и не ищет должности при императоре.

– Давно пора понять, – объявила Нумерия, – что Сенат оставлен как раб-придверник, сидящий на цепи, и что все его дело – возглашать имена новых императоров. А если посягнут сенаторы на что-либо большее, так и их пошлют в каменоломни, не побоятся! Дожил ты до седых волос, а ума не нажил, воображаешь, что дело делаешь, подавая никому не нужный голос!

Все были рады, когда свирепая старуха села в свои носилки и удалилась, грозно покрикивая на своих напуганных рабов. Но разве не удивительно то, что старикам годы их молодости всегда кажутся золотым веком? Над-

менная Нумерия искренно считала, что правление великого лицемера Констанция, когда империя, как муравейник муравьями, кишела доносчиками, было временем торжества Римской доблести, еще не тронутой испорченностью новых дней!

Несколько раз приходила, конечно, и Гесперия, но я избегал встречаться с ней: мне было страшно взглянуть в ее глаза перед телом бедной Намии, умершей, может быть, именно из-за нее. Посетила дом и Валерия, хотя она не была в родстве с нами, заплакала, смотря на безжизненное тело девочки, и долго томила меня выражениями сочувствия, предлагая свою поддержку, чтобы перенести удар Фортуны. Наконец, пришел и мой Ремигий, которого Намия почему-то не любила: он был бледен и худ, и когда я спросил его, что изменилось в его жизни, ответил словами Вергилия:

– «Будь жребий твой лучше!»

Так как особо назначенные рабы ходили по всему Городу, извещая всех родственников и знакомых о смерти дочери Тибуртина, то в самый день похорон, к вечеру, в дом собралась целая толпа людей, среди которой были,

конечно, и паразиты, никому из семьи не знакомые. Большинство называло себя клиентами сенатора, хотя многих из них мне никогда не приходилось видеть на утренних приветствиях, и можно было быть уверенным, что так же охотно они называют своим патроном любого сенатора или просто богатого человека. Все собравшиеся считали своей обязанностью громко выражать свою скорбь, а женщины – даже плакать, играя роль добровольных префик.

Было уже темно, когда из дому началось шествие, порядок которого устанавливал опытный и ловкий десигнатор. Дядя, Элиан, старик клиент Бебиан и я – вчетвером несли носилки с телом Намии, которые казались такими легкими, словно на них не лежало ничего. За нами шли рабы с факелами, причудливо освещавшими темные улицы и заставлявшими ночных гуляк как-то робко прятаться в тень, и музыканты, игравшие во все время пути веселые напевы. Еще дальше вели под руку тетку и шла вся толпа провожающих. Мужчины были в шляпах, как если бы они отправлялись в дальнейшее путешествие, а

женщины, напротив, с распущенными в знак скорби волосами. Аттузии в числе провожающих не было, так как отец Никодим запретил ей участвовать в идолопоклонническом обряде.

Идти пришлось далеко, почти через весь Город, потому что семейная гробница Бебиев Тибуртинов находилась на Латинской дороге, и около Большого рынка я все же почувствовал такую усталость, что должен был уступить свое место за носилками, а сам присоединился к толпе. Здесь ко мне подошел человек, с всклокоченной бородой, в длинном плаще философов, и назвал меня по имени. Что-то знакомое показалось мне в его лице и в его голосе, но я не мог вспомнить сразу, где встречал его.

– Конечно, Юний Норбан не узнал меня, – сказал мне он, – но однажды мы вместе услаждались дарами Лиея, равно освобождающего от забот земнородных и бессмертных. Я – поклонник славного Тибуртина, одного из последних ревнителей нашей великой старины, и его семейное горе – для меня горе собственное. Вот почему я пришел воздать по-

следние почести безвременно похищенной Лахесой девице, в лице которой, может быть, сошла в царство Орка новая Клелия, не успевшая совершить своего подвига.

Пока мой собеседник говорил, я узнал в нем Фестина, того нищего оратора, которого мы с Ремигием встретили на Римском форуме и потом угощали вином в ближайшей копоне, в один из первых дней моего пребывания в Городе. Чудак тогда понравился мне своей преданностью древности и своим бескорыстным служением музе Клио. Поэтому я отозвался на его речь приветливо; он же, ободренный моим вниманием, тотчас начал одно из тех своих поучений, какие, по-видимому, всегда были у него наготове.

На этот раз он, как то и приличествовало случаю, заговорил о погребальных обрядах, горько жалуясь, что наше время изменило прекрасным обыкновениям старины. Он искренно негодовал на отсутствие на современных похоронах священных пений, высказывал огорчение, может быть, еще более искреннее, на то, что выводится обычай устраивать немедленно по сожжении тела силицер-

ний, на котором могли участвовать все, провожающие тело покойного, описывал все разнообразнейшие виды похорон, какие только были в употреблении у наших предков, выяснял преимущества «bustum» перед «rogus», истолковывал особенности всех надмогильных памятников, простого «tumulus», отдельного «loculus», «кондитория» надземного и подземного, саркофага, мавсолея, кенотафия, циппа и всего подобного; кстати он поминал все прославленные похороны прошедших веков, начиная с похорон Патрокла, друга Ахилла, продолжая похоронами, какие устроил своему убитому брату Ромул, но не доходя далее похорон Валерия Публиколы, погребенного на общественный счет. Когда я слушал уверенную речь Фестина, пересыпанную подлинными словами древних писателей, мне опять казалось, что передо мной какой-то оживший Авл Геллий, и мне грустно было видеть, в каком бедственном положении находится человек, обладающий столь неисчерпаемым запасом познаний.

Когда я уже собирался освободиться от общества Фестина, он сказал мне:

– У меня есть к тебе еще одно важное дело. После того, как усмотрение Фортуны свело меня с тобой и я узнал, что ты – племянник достойного сенатора, пришло мне на мысль посвятить свой досуг расследованиям о происхождении того знаменитого рода, к которому принадлежит твой дядя и которого ныне ты, за смертью его дочери, остаешься, хотя и по женской линии, последним представителем. Все зимние месяцы употребил я на эту работу и, вновь пересмотрев немало книг, изъеденных червями, могу теперь восстановить всю историю Тибуртинов, от времен древнейших до дней святости августа Грациана. Я хочу просить тебя, чтобы ты помог мне представить этот труд, небезынтересный и для тебя, сенатору, который, конечно, захочет и издать его для поучения потомству, и наградить человека, отдавшего много недель на прославление имени Бебиев Тибуртинов.

Чтобы доказать мне свои познания в истории нашего рода, Фестин тотчас стал объяснять мне, что после битвы у Трифана, когда Манлий разбил войско латинов и принудил их отдать Риму часть земель, – из латинского

города Тибура вышел знатный гражданин, – имени его не сохранилось, – который в Городе своим патроном избрал Бебия, предка того трибуна, который прославился, к сожалению, не чем иным, как своей подкупностью в Югуртинскую войну: отсюда будто бы и пошли Бебии Тибуртины. Разумеется, достаточно было бы указать на то обстоятельство, что Бебии были родом плебейским, чтобы опровергнуть все хитро построенное Фестином здание. И все остальное, что он говорил мне, было таким же нагромождением не то что выдумок, но отважных и сомнительных догадок. Но, с одной стороны, у меня тогда не было охоты спорить, а с другой – я знал, что и все другие родословные, которыми гордятся наши современные роды, нисколько не более основательны и также сочинены досужими историками, добивающимися щедрой подачки от того «нового человека», происхождение которого они стараются возвеличить. Поэтому я удовольствовался тем, что дал Фестину несколько неопределенных обещаний, сказав, что дядя сейчас слишком подавлен скорбью, чтобы заниматься таким делом.

Тем временем шествие приблизилось к семейной гробнице Тибуртинов, около которой уже был возведен высокий костер, так как особого устрина при гробнице не было. При красноватом свете факелов все кругом имело вид странный и таинственный; изваяния на соседних памятниках казались живыми, и можно было подумать, что давно умершие лица, суровые Римляне, изображенные рядом со своими супругами, безбородые, с глубокими морщинами на высоком лбу, приветствуют юную Римлянку, явившуюся сюда, чтобы спать вечным сном с ними рядом; по открытому полю убежали и колыхались вытянутые тени; лица присутствующих были то неестественно бледны, то зловеще красны. На минуту настала тишина, только слышался откуда-то лай собаки да топот запоздалого путешественника с Латинской дороги. Мы были похожи скорее на заговорщиков, сошедшихся в пустынной местности, чем на участников печального обряда похорон.

Старый жрец из храма Венеры Либитины, добродушный, толстый человек, начал произносить формулы соответственных молений.

Элиан приблизился к костру, на который были поставлены носилки с телом маленькой Намии, и, отвратив лицо, зажег положенную внизу связку соломы. Когда загорелся огонь и его алые языки, изогнувшись, взбежали по сухим бревнам, еще причудливее и еще страшнее стало все окружающее. Звезды на небе словно померкли. Осветилась окрестность и означились в поле какие-то домики; может быть, жившие в них христиане, завидя свет погребального костра, спешили в ту минуту оградить себя от греха своими молитвами. Раздались рыдания тетки и других женщин. Мужчины, тоже отвращая лица, бросали в костер цветы и принесенные с собой игрушки девочки. Как кажется, всем было жутко и тяжело.

Уже снова музыканты заиграли на флейтах какую-то веселую песню, как вдруг, протиснувшись через плотные ряды родственников и клиентов, перед костром оказался незнакомый человек, одетый так, как одеваются христианские монахи. При ярком пламени костра можно было видеть, что черты его лица скорее греческие, чем римские: у

него был прямой нос, высокий лоб и смелый взор. Он заговорил голосом, покрывшим звуки музыки, страстно, но довольно плавно, делая некоторые ошибки в произношении, но совершенно правильным языком.

– Бедные безумцы! – воскликнул он. – Зачем вы пытаетесь воскресить то, что уже умерло? Что вы хотите доказать, устраивая идолопоклоннический обряд в империи, признавшей учение истинного Бога? Вас собралось здесь человек сто, вы призываете имя Гекаты и других подземных богов, но разве сами вы верите и в свою Гекату, и в этого подземного Плутона, и даже в свой Тартар? Вы сами давно считаете их баснями поэтов, а здесь устроили театральное представление, не подумав, что дело идет о живой душе, только что почившей! Как на сцене, изображаете вы похороны, вместо того чтобы оказать какую-либо помощь той, чья душа, обманутая вашими ложными мудрствованиями, теперь в испуге видит перед своими глазами иной мир...

Первое время все были так ошеломлены появлением незнакомца, что стояли как бы

оцепенев, и он мог свободно произнести начало своей речи. Даже музыканты при звуках его громкого голоса перестали играть и слушали, опустив флейты. Однако, опомнившись, мужчины, в ярости, бросились на оратора, не думая об том, что служители христианской веры находятся под особым покровительством святости императора. Почтенные сенаторы, словно уличные буяны, забывая приличие, забывая, что перед нами погребальный костер, кричали грубые ругательства, хватали незнакомца за его одежду, подымали на него кулаки. Он же, выполняя требования своей религии, не оборонялся, не пытался убежать, но, среди угроз и протянутых к нему рук, стоял спокойно, не уклоняясь от ударов.

Первым одумался, кажется, Элиан, который загородил собою незнакомца, отвел устремленные на него кулаки и громко закричал всем присутствующим:

– Это, товарищи, конечно, сумасшедший, оставьте его в покое, не обращайтесь внимания на его бредни. Должно быть, он пришел в Город из какой-нибудь дальней страны, потому

что не знает его обычаев. Мы здесь исполняем наши обряды с разрешения божественного августа, и никто не вправе мешать нам. Отпустим его, пусть он идет с миром, и будем продолжать наше дело.

Спокойная речь Элиана подействовала, поднятые кулаки опустились, всем стало почти стыдно своего ребяческого порыва.

– Уходи прочь! – крикнул кто-то незнакомцу, – ты не был приглашен и права не имеешь вмешиваться в наше общество.

– Уходи, – строго повторил Элиан, – ты видишь, что тебя не желают слушать.

Незнакомец обвел глазами все собрание, не сказал более ни слова и медленно, не ускоряя шага, стал удаляться. По знаку Элиана музыканты вновь поднесли флейты к губам, и зазвучала веселая песня, славящая сбор винограда. Все снова обратились к костру, который уже пылал со всех сторон, закрыв пламенем и дымом носилки с телом.

Но я, поколебавшись несколько минут, последовал за незнакомцем и догнал его, когда он уже вышел на Латинскую дорогу. Было что-то в лице оратора, что заставило меня от-

несть к нему с доверием: у меня мелькнула мысль, что у него я могу найти ответ на те вопросы, которые смущали меня последнее время. Пройдя несколько шагов сзади незнакомца, я его окликнул. Он остановился.

– Я один из тех, – сказал я, – к кому ты только что собирался обратиться с речью. Тебя не стали слушать, но я готов тебя выслушать, если ты объяснишь мне, почему ты считаешь религию Юпитера и других бессмертных умершей. Потому ли только, что многие прикнули к учению Христа и христиан теперь, может быть, больше, чем оставшихся верными религии предков? Но тогда вспомни, что было время, когда христиан было весьма немного: итак, не числом последователей определяется истинность веры. Потому ли, что ты сам веруешь в Христа иудейского? Но понятно, что каждому его религия кажется истинной, и как вы, христиане, обличаете ложность нашей веры, так будут обличать ложность вашей – персы, верующие в Ормузда, или индийцы, признающие только своих сторуких богов. Откуда ты взял, что мы сами считаем баснями сказания о Гекате? не из то-

го ли, что наши философы пытаются вскрыть их потаенный смысл? Но разве ваши философы не поступают так же со сказаниями о Адаме и Еве и о самом Христе? Если ты можешь мне ответить на эти вопросы, я буду слушать твою речь.

Незнакомец выслушал меня внимательно, не перебивая, но в темноте мне не было видно его лица. Когда я смолк, он заговорил, спокойно и уверенно:

– Юноша, я вижу, что ты говоришь не легкомысленно. Следовательно, и моя речь не пропала даром. Из брошенных мною семян одно упало на добрую почву и дало росток. Важно теперь, чтобы не прилетели птицы и не погубили слабого растения, которое нуждается в заботливом уходе. Иди за мной, и я открою тебе все, что знаю, и ты сам увидишь, на чьей стороне истина. В немногих словах я не могу показать тебе всю бездну премудрости Божией: надо для этого время и подходящее устройство духа.

Я возразил, что не могу покинуть похорон близкого мне лица и что поэтому не могу сейчас же идти за незнакомцем.

– Ты не знаешь слов Спасителя, – возразил он, – «оставь мертвым погребать своих мертвецов». И еще: «Никто, возложивший руку свою на рало и озирающийся назад, не благонадежен для царствия Божия». Иначе ты не колебался бы ни минуты, ибо что важнее: похоронить умершего, уже узревшего тайну жизни, или самому познать истину, нужную для руководства всей жизни? Вспомни апостолов Симона и Андрея: услышав зов Учителя: «Идите за мною», тотчас они, оставив сети, последовали за ним.

Такая самоуверенность незнакомца и рассердила, и несколько рассмешила меня.

– Я не Симон и не Андрей, – сказал я, – да и ты – не тот Учитель. Поэтому не знаю, почему я должен поступать подобно им. Я только прошу, чтобы ты объяснил мне то, что я считаю странным в речи твоей, а ты ли откроешь мне истину, или я тебе, это еще не предрешено.

Незнакомец, как мне показалось, горестно вздохнул и, подумав минуту, сказал:

– Пусть будет по-твоему, юноша. Если ты захочешь меня видеть и слушать, приходи ко

мне в базилику святого Климента, близ амфитеатра Флавиев, что воздвигнута недавно на месте старого храма вашего Митры. Ты найдешь меня там каждый день: спроси только служителя Николая, и тебя проведут ко мне. Я же буду ждать тебя и молиться о тебе.

– Хорошо, я приду, – сказал я просто, потом быстро повернулся и пошел прочь, не оглядываясь.

Когда я вернулся к нашему обществу, костер уже был залит, и либитинарии ловко собирали прах бедной Намии в грубую урну, из которой он должен был перейти в другую, изящной греческой работы, уже заготовленную у нас дома. Тетка, сидя на ступенях гробницы, все продолжала плакать, и Гесперия, с которой я во все время похорон не обменялся ни одним словом, нежно утешала ее. Наконец жрец торжественно возгласил обычное:

– Illicet!

Мы сказали праху Намии наше последнее «Vale», и урна была поставлена в гробницу; женщины сели в носилки, рабы с факелами пошли вперед, и началось обратное шествие в Город. Все были крайне утомлены и шли

молча. Со мною шел Ремигий, но и нам не хотелось разговаривать. Он только напомнил мне мое обещание пойти с ним к Галле, на один из ее обедов.

– Через два дня, – сказал он, – Помпоний устраивает праздник в честь дня своего рождения. Я сделаю так, что к тебе пришлют раба – звать тебя. Приходи непременно: мне хочется, чтобы ты сам увидел, в каких лапах находится Галла.

Я обещал прийти, так как втайне я надеялся, что у Галлы есть какие-либо вести о Рее, судьба которой очень меня тревожила.

В доме дяди нас ждало еще похоронное угощение, род того силицерния, об исчезновении которого так скорбел Фестин. Но лишь у немногих достало сил принять в нем участие. Среди этих отважных был, конечно, и философ, несмотря на то, что на его появление в доме все посматривали с недоумением. Мне стало жаль бедняка, и я взял его под свое покровительство, объявив, что хорошо его знаю.

Фестин был единственный, кто в этот поздний час решился еще произнести речь. С куб-

ком в руках, он воскликнул, обращаясь к сенатору:

– Великий Эпаминонд, умирая, сказал, что покидает жизнь не бездетным, но оставляет двух дочерей – Левктру и Мантинею. Так не скорби и ты, славный потомок Бебиев Тибуртинов! Безжалостные Парки обрезали нить жизни твоей возлюбленной дочери, но у тебя остается другая дочь, я смею сказать, более прекрасная: Рим! Ее люби и ей посвети остающиеся годы жизни, кои да продлят бессмертные боги, на пользу Города и как пример юношеству истинно Римской доблести. Двенадцать коршунов явилось Ромулу, когда он заложил свой Город, и это залог того, что человек, любящий Рим, никогда не будет одинок!

Вероятно, Аврора уже будила белокурого Феба, когда уходили из нашего дома последние гости. Мне пришлось на этот раз исполнять обязанности хозяина и провожать их до дверей, так как дядя и тетка незаметно удалились в свои комнаты. Когда, наконец, разошлись все и я остался один, среди усталых рабов, убирающих, под наблюдением Мильтиада, остатки пиршества, я уныло оглядел ат-

рий, в котором мне более никогда не суждено было встретить черноголовую девочку, с язвительными словами и ласковой улыбкой, и уныло побрел в свою спальню, куда никогда более не должна была тайно прокрасться маленькая Намия, требовавшая, плача, чтобы я любил ее, «как любят мужчины женщин».

## VII

«Велика сила привычки», – говорит Цицерон, и не было сомнения, что постепенно тетка и дядя примирятся с тем, что не раздается более звонкий голос Намии в их дряхлеющем доме, что, подобно юной Просерпине, похищена она со светлой земли в темную преисподнюю, но первые дни тягостно было видеть постоянное уныние, владеющее ими, следить, как малейший случай напоминает им об умершей дочери, вызывая слезы на их глазах. Угрюмое молчание стояло в доме с утра до вечера, и даже словоохотливый отец Никодим не смел рассказывать о городских новостях, хотя по-прежнему приходил ежедневно, тщательно выбритый и старательно надушенный. Поэтому я рад был, когда, действительно, явился ко мне черный раб, объ-

явивший мне, что его господин, Секст Помпоний, человек щедрый и гостеприимный, дом которого убран статуями великих греческих ваятелей, приглашает меня сегодня принять участие в обеде, устраиваемом им, в знаменательный день его рождения, для своих друзей и для друзей искусства.

Передав рабу благодарность за приглашение и сказав, что на обеде буду непременно, я постарался принять самый щегольской вид, какой только мог, понимая, что только этим могу оказать на Помпония хорошее впечатление. В ближайших термах я дал хорошенько умастить свое тело, завил волосы и надел свое лучшее платье, сшитое мне уже в Городе, у веститора, которого мне в свое время указал Юлианий. К назначенному часу за мной зашел Ремигий, и мы вдвоем отправились в дом Галлы, всю дорогу поминая незабвенный пир Тримальхиона.

– Ты увидишь, – говорил мне Ремигий, – ожившими картины из сатир Петрония. Старайся только не смеяться слишком громко. А если Помпоний начнет читать свои стихи, – он имеет притязание быть также любимцем

Муз, – хвали их, не стесняясь. Конечно, заснуть за их чтением не так опасно, как когда-то под декламацию Нерона, но удачной лестью ты мне можешь оказать добрую услугу. А в общем, уверяю тебя, нам на этом пире будет не скучно, а скорее весело, как на представления мимов.

Я ничего не возразил Религию, но втайне подумал, что если Помпонию суждено быть архимимом, то сам Ремигий играет при нем не другую роль, как мориона.

Дом, в котором Помпоний поселил Галлу и который он, по ее словам, подарил ей, был невелик, но построен в хорошем, старом вкусе. Он стоял на довольно пустынной улочке, но на этот раз перед входом шумела целая толпа рабов, доказывая, что приглашения были разосланы самым щедрым образом. Ежеминутно прибывали новые носилки и подходили приглашенные. Несмотря на то, что было еще светло, над дверью были зажжены фонари и внутри дома повсюду горели луцерны.

Мы объявили привратнику наши имена, и номенклатор побежал по комнатам, громко их выкрикивая. Я заметил, что он с особен-

ным рвением провозглашал при моем имени:

– Племянник светлейшего мужа, сенатора Авла Бебия Тибуртина!

Вслед за Ремигием я прошел ряд комнат, убранных с показной роскошью и частью уже наполненных приглашенными, и мы оказались в небольшом триклинии, предназначенном исключительно для того, чтобы пить вино. Мальчики непрерывно черпали циатами из нескольких огромных кратеров, стоявших там, наполняли кубки и подавали всем желающим. Комната была освещена двумя высокими канделябрами, изображавшими пляшущих сатиров. Здесь же на особом кресле, имевшем вид настоящего трона, сидел, в обществе трех или четырех, по-видимому, наиболее почетных гостей, сам хозяин дома, Секст Помпоний, одетый в пышную кокцину из гавсапы.

Когда Ремигий назвал меня, Помпоний сказал, стараясь улыбаться приветливо, или, как, вероятно, он сам думал, благосклонно:

– Очень рад, что ты пришел на мой скромный праздник. Мне моя дорогая Галла рассказывала, что ты, вместе с Ремигием, оказал ей

важную услугу во время ее путешествия. Будь желанным гостем.

Помпоний указал мне на свободное место около себя, и мне оставалось только повиноваться и присоединиться к беседе.

Разговор шел о падающем значении знати, и Помпоний, с самодовольным лицом, продолжал излагать свои мысли, впрочем, считая долгом иногда как бы извиняться передо мной.

– Да, друзья мои, – говорил Помпоний, – сенаторские роды должны уступить место новым людям. Прости, любезный Юний, я говорю, что думаю, и нисколько этим твоего дядю обидеть не хочу. Нобилитет был когда-то нужен Риму и сделал для него многое. Разные там Сципионы Африканские спасли в свое время Город от галлов и от других врагов. Но теперь другие времена. Теперь осталась только одна сила: деньги. Тот должен властвовать в империи, кто богаче. Все можно купить, и кто способен будет скупить все, тот и будет владеть всем.

Я не почел приличным выступить с возражением, но один из собеседников, судя по на-

ружности, родом из Египта, осмелился робко заметить:

– Ты, конечно, прав, как всегда, Помпоний, однако как же быть с обороной границ: ведь не пошлешь против варваров, вместо легионов, денежные переводы на местных аргентариев?

– Ошибаешься, друг, – гордо заявил хозяин дома, – именно всего лучше и вернее послать против врагов мешки с авреями. Цесарь утверждал, что для ведения войны надо прежде всего деньги, потом деньги и, в-третьих, деньги. А я скажу, что больше ничего и не надо. Дайте мне власть, и вы увидите, что никакой опасности на Рейне не станет: я куплю вечный мир, вот и все! А еще того лучше – куплю вечную войну между германцами, и они перережут одни других!

Хотя Помпоний и спутал Алцибиада с Цесарем, как раньше галлов с пунами, то, что он говорил, не показалось мне ни нелепым, ни смешным, и я слушал его далее уже с любопытством, он же продолжал:

– И разве вы действительно думаете, что нынешние нобили годятся для военного де-

ла? Посмотрите на юношей тех семей, где стены домов увешаны восковыми изображениями предков: какие это все заморыши! Они способны только проживать земли, полученные по наследству, да произносить в Сенате речи, которых никто не слушает! Не то мы, люди, занятые настоящим делом, держащие в своих руках торговлю по всему Внутреннему морю! Это – крепыши, у которых и дети будут крепкими и сильными! Возьмите в пример хотя бы меня: у меня столько денег, что я мог бы купить себе царство и целые дни не выходить из пиршественной залы, – а я, чуть заря, уже за работой, иду в свою таберну на форуме и пересчитываю деньги, посещаю янус, чтобы узнать все новости, обхожу свои дома и собираю плату с жильцов, за всем смотрю сам, всем сам распоряжаюсь и ни одного асса не пропущу без счета! Был Рим патрициев, был Рим нобилей, а теперь будет Рим – наш!

Гости покрыли речь хозяина восторженными восклицаниями в честь его мудрости и, хлопая в ладоши, потребовали вина, чтобы выпить за его здоровье. Так как в эту минуту к Помпонию подошли новые посетители, то

я, воспользовавшись общим замешательством, тихо покинул свое место и отправился разыскивать Галлу, с которой мне хотелось переговорить без лишних свидетелей. Однако она оказалась тоже окруженной какими-то женщинами, в которых нетрудно было угадать, несмотря на их богатые наряды и в изобилии навешанные на них драгоценности, бывших кифаристок и флейтисток или даже особ еще низшего разбора.

Напротив, в Галле, одетой тоже роскошно, небрежно развалившейся на удлиннном кресле, выставяющей руки, унизанные драгоценными перстнями, нарочно позванивавшей жемчужными кроталиями, оттенявшими нежно-розовый цвет ее ушей, не оставалось ничего похожего на ту девушку, которую еще недавно все могли купить за несколько сестерций и которую я несколько месяцев назад видел совершенно обнаженной в убогой комнатке дешевого лупанара. Приветствовав меня кивком головы, Галла предложила мне несколько вопросов таким голосом, словно мы встречались с ней только в самых благородных домах Города и словно она всю жизнь

привыкла иметь дело только с женами сенаторов и префектов.

– Ты, как я слышала, – сказала она, – был недавно в Медиолане. Вот город, который я никогда не видела и который мне хотелось бы посмотреть. Понравился ли он тебе?

Я ответил, что Медиолан мне понравился, но добавил:

– Кстати сказать, я встретил там твою сестру, Рею. Не имеешь ли ты от нее известий?

По лицу Галлы было видно, что упоминание о Рее ей неприятно, и она отозвалась очень сдержанно:

– Нет, мы не обмениваемся с нею письмами.

И тотчас, чтобы не дать мне возможности продолжать настояния, обратясь к одной из своих собеседниц, заговорила о чем-то другом.

Покинув Галлу, я воспользовался временем, чтобы оглядеть дом. В нем было, действительно, несколько хороших статуй греческой работы, сносная живопись на стенах, содержание которой предупредительно объяснял посетителям атриенсий, невероятной ве-

личины клепсидра, устроенная так, что она точно показывала часы дня и стражи ночи, зимой и летом, ряд армариев с разными диковинами и другие вещи, явно помещенные там затем, чтобы их рассматривали. Впрочем, я заметил, что нигде не было видно ларария, из чего заключил, что хозяин дома – христианин. Подобно мне, несколько человек гостей, должно быть, также попавших в дом Помпония впервые, бродило по залам, разглядывало выставленные напоказ редкости и громогласно выражало свое восхищение.

Одним из последних появился в доме Юлианий, которого я не видел со времени моего отъезда из Города. Юлианий был одет особенно роскошно, хотя и в тогу, но не белого, но лилового цвета, что, вероятно, привело бы в негодование Катона, и пальцы его были унизаны перстнями, вероятно, с поддельными камнями. Меня Юлианий встретил, как самого близкого друга, хотел даже обнять, только я уклонился от его поцелуя, – и, отведя в сторону, стал расспрашивать о происшедшем со мною в Медиолане, делая намеки, будто ему все, что касается меня, известно. Я, разу-

меется, не рассказал ему ничего и на все его дружественные зазывания отвечал кратко и строго, показывая ему, что вовсе не считаю его близким.

Когда мы так разговаривали, к нам приблизился Ремигий, и Юлианий, у которого всегда в запасе были слова, как у хорошего стрелка стрелы, немедленно перевел речь на любовь и стал нескромно похваляться расположением к себе многих из присутствующих здесь женщин. Нам с Ремигием неприятно было слушать эти вольные панегирики самому себе, но Юлианий, не довольствуясь тем, вдруг заговорил о хозяйке дома:

– Посмотрите, мои друзья, как расцвела *domina* Галла! Хорошее дело взял на себя Помпоний и хоть на что-нибудь да пригодился! Прежде мы отдавали собственные квинарии за ласки этой милой девушки; теперь же он один платит за всех, а мы пользуемся все тем же!

При таких словах Ремигий побледнел и, раньше чем я успел его остановить, воскликнул:

– Ты лжешь, Юлианий! Теперь ты ничем

не пользуешься у Галлы! Постыдно так клеветать на женщину!

Как ни обидны были слова моего друга, но Юлианий просто засмеялся, вместо ответа, и спокойно возразил:

– Об этом всегда знают только двое, а третий – бог, которого иные поэты признают слепым.

Не желая слушать такие речи, Ремигий стремительно повернулся спиной к Юлианию и отошел прочь, а я последовал за моим другом, стараясь успокоить его негодование. Юлианий же тотчас нашел другого слушателя и, как если бы ничего не случилось, начал ему что-то оживленно рассказывать, может быть, клевета на нас.

Между тем появились рабы, выкрикивающие приглашение возлечь за стол. Следуя за другими, я прошел в большой триклиний, находившийся в самой задней части дома, где был накрыт громадный стол и где в глубине была сцена для мимов и музыкантов. По счастью, меня посадили рядом с Ремигием и в некотором отдалении от Юлиания, так что во время бесконечно тянувшегося обеда я был не

одинок и мог обмениваться своими замечаниями с другом.

После того торжественного пиршества, на котором я участвовал в Медиолане, в доме Тита Коликария, я не мог ожидать ничего для себя невиданного, но признаюсь все-таки, что изобретательность поваров Помпония иногда поражала всех присутствующих. Все блюда были им приготовлены таким образом, что невозможно было угадать, что это такое. Из дичи он делал подобие кабана, из рыбы – маленьких птичек, в яйцах оказывались фрукты, заяц был начинен улитками, и все было в этом роде. К этому надо добавить, что стол был уставлен дорогой серебряной посудой, так что всякий маленький ацетабул стоило рассматривать поближе, что вина в самом деле были хороши и подавались в изобилии, и станет ясно, что пир Помпония выгодно отличался от пира Тримальхиона. К тому же на сцене то петавристирии, со своими головоломными упражнениями на высоко протянутом канате, то неистово кружащиеся плясуньи, то кифаристки, то, наконец, мимы, исполнившие целое представление, непрерыв-

но занимали наше любопытство.

Не слушая речей, которые велись на почетном конце стола, где восседал сам Помпоний рядом с Галлой, державшей себя величественно, и где поминутно раздавались восторженные восклицания паразитов: «Как это умно сказано!» – или даже просто: «Sophos!», я с удовольствием беседовал с Ремигием, с которым мне давно не случалось поговорить вволю, и остался бы вполне доволен приятно проведенным вечером, если бы он не закончился происшествием, которое омрачило, как туча Юпитера, весь пир, нарушив веселое расположение духа всех гостей, и мое в особенности.

Дело в том, что в течение всего вечера Ремигия, взволнованного между прочим похвальбой Юлиания, явно раздражало и то пренебрежение, какое в присутствии посторонних считала нужным оказывать ему Галла, и обращение с ней Помпония, который, не стесняясь тем, что находится в многолюдном обществе, или даже желая похвалиться перед ним своей красивой наложницей, неоднократно со смехом принимался обнимать свою

подругу, щекотать и целовать ее. Видя это, Ремигий с излишним усердием опорожнял за кубком кубок и, все более возбуждаясь, довольно громко высказывал самые злобные суждения о хозяине дома. Пир уже подходил к концу, когда Помпоний захотел к удовольствиям, приносимым Комом и Бакхом, присоединить радости Пегасид и, подстрекаемый одобрительными возгласами сидевших рядом с ним гостей, объявил, что продекламирует несколько своих недавно им написанных стихотворений.

– Ну, теперь мы увидим пляшущего верблюда, – произнес Ремигий так, что это слышали наши соседи по столу.

– Говори тише, – шепнул я ему, но он в ответ только гневно тряхнул плечами.

Помпоний разгладил свою длинную, красиво завитую бороду, придававшую ему вид халдейского мага, встал с осанкой оратора и взял из рук раба принесенный серебряный ларец, в котором хранились его творения. Ремигий не преминул шепнуть мне, что Помпоний держит при себе особого писца, ловкого грека, по имени Мнесилох, обязанности кото-

рого состоят будто бы в том, чтобы переписывать стихи своего господина, а на деле в том, чтобы исправлять их. Но Помпоний, прежде чем начать чтение, почел необходимым произнести такое предисловие.

– Я не учился у реторов, – сказал он, – и не жалею об этом. Поэтом быть нельзя научиться, как о том верно говорит Цицерон. Все дело в прирожденной способности и в покровительстве Муз. Я никаких правил стихосложения не знаю, а иногда могу написать в один вечер двадцать эпиграмм. Думаю, что и самому Марциалу это было бы не под силу.

Гости шумно выразили свое изумление перед поразительным дарованием хозяина, уверяя его, что не только Марциал, но и сам Гомер не совладал бы с такой задачей. Помпоний же, опираясь на плечо раба, что, вероятно, крайне ему мешало, начал декламацию, подражая плохим актерам в усиленном означении метра.

Говорят, что стихи ученика Сенеки, столь осмеянные его современниками, не были особенно плохи, и весьма жаль, что ни один из авторов не захотел сохранить их до наших

дней. Подобно этому и эпиграммы Помпония не показались мне столь нелепыми, как я мог ожидать, хотя их автор, или его греческий пи-сец, и пользовались слишком широко прави-лом грамматиков, гласящим, что иные слоги могут быть либо долгими, либо краткими, смотря по тому, как ты их хочешь поставить.

Первая из прочитанных эпиграмм говори-ла о семи небесных сферах, и она была на-столько замысловата, что я решительно подо-зреваю в ней скорее творение Мнесилоха, скромно удовольствовавшегося денежным подарком, взамен соснового венка, а не наше-го амфитриона. Сколько я запомнил, эта эпи-грамма читается так:

*Семь священных планет, к семи  
прикрепленные сферам,  
По непреложным законам, свер-  
шают свое обращение.  
Фенона первая сфера, с зловещей  
звездой Сатурна;  
Имя второй – Фаэтон, и на ней  
сверкает Юпитер;  
Третья дана Пироенту: там бле-  
щет Марс красноватый;  
Стильбон названье четвертой, с*

*которой светит Меркурий;  
Фосфора пятая сфера, где утром  
сияет Венера;  
Феба – сфера шестая, последняя  
сфера – Дианы;  
Это она отделяет небо от далей  
эфира.*

Гости, конечно, приветствовали такие стихи самыми восторженными восклицаниями, и любопытно было наблюдать, как Юлианий играл двойную игру: он кричал похвалы чуть ли не громче всех, но в то же время успевал подмигнуть мне, намекая, что он понимает все ничтожество тщетных попыток разбогатевшего неуча соперничать с Апулеем. А Помпоний, досыта насладившись льстивыми восторгами паразитов, достал из ларца новый свиток и опять, усиленно скандируя, стал читать другие эпиграммы, воспевающие то знаки Зодиака, то различные ветры, то разные формы любовных объятий, причем последнее стихотворение своим нескромным содержанием вызвало особенно бурные восторги уже полупьяных слушателей. Наконец Помпоний приступил к элегии о Гигантах, начинавшей-

ся, кажется, так:

*Вышний эфир захватить ко-  
гда-то пытались Гиганты  
И на Олимпа царя руки возносили  
свои.*

Далее, как водится, говорилось о том, что попытка Гигантов не имела успеха, что Юпитер сокрушил их молнией, но что в наши дни новые Гиганты, люди труда и ума, к которым Помпоний относил и самого себя, намерены начать борьбу за обладание миром; они грозят не Пелион на Оссу, но мешки с золотом один на другой, скоро взберутся по этой лестнице до неба, захватят в свою власть все должности империи, все почести, будут обладать всеми сокровищами древности, лучшими статуями и любовью красивейших женщин.

Когда Помпоний закончил чтение своей элегии, по меньшей мере любопытной, хотя в ней и попадались выражения, которые уместны были бы только в устах какого-нибудь франка, едва научившегося латинской речи, и все собрание приветствовало счастливого поэта настоящим громовым раскатом руко-

плесканий, – Ремигий внезапно, потеряв обладание собой, воскликнул так громко, что его голос покрыл общий шум:

– Почести ты, может быть, и скупишь, но любовь не продается. Ты можешь купить девушку и запереть ее в золотой тюрьме, но ее сердце останется на свободе. «Если хочешь быть любимым, люби!» – а не довольствуйся тем, что кидаешь солиды.

Я всячески пытался успокоить моего друга, и Помпоний первую минуту, несколько смутившись, готов был сделать вид, что он не слышит слов Ремигия, но тот, словно побуждаемый каким-то демоном, оттолкнул мою руку и с еще большим возбуждением стал говорить:

– Стыдно нам, граждане, что мы здесь слушаем этого начиненного золотом каплуна, который похваляется, что всех нас купит! Римляне по-прежнему носят свое право на окончности мечей. Омерзительно слушать, будто они стали народом торгашей, какими-то грекулами.

Так неожиданны были такие речи в устах Ремигия, всегда склонного относиться к жиз-

ни и к вопросам чести легко, что я не знал, как себя держать с ним. Конечно, тотчас нашлось множество защитников у щедрого хозяина, которые не только осыпали дерзкого проповедника бранью, зло укоряя его в том, что он сначала наелся и напился на счет Помпония, а потом уже вздумал обличать его, но и готовых кулаками доказать свою преданность поэту-мнемону. Особенно неистовствовал при этом Юлианий, который обрадовался случаю отомстить моему другу за недавнюю обиду. Однако все происшествие еще можно было бы как-нибудь уладить, если бы Ремигий не сделал последнего шага, вдруг обратившись к Галле с такой речью:

– И тебе, Галла, стыдно оставаться в обществе человека, который открыто хвастался тем, что приобрел твою любовь за деньги. Докажи, что ты, хотя и жила в лупанаре, честная девушка. Плюнь этому негодяю в его завитую бороду и уходи сейчас же отсюда со мной!

Таких оскорблений Помпоний уже не мог стерпеть. В один миг пропали у него те приемы благородства, которыми он пытался щего-

лять, сразу он превратился в грубого подрядчика, привыкшего кричать на рабов и рабочих, и с яростными ругательствами, весь побледнев от злобы, задыхаясь и брызгая слюной, он стал угрожать, что немедленно прикажет слугам схватить Ремигия и высесть его на глазах всех присутствующих, как негодного школьника. Ремигий, совсем пьяный, покачиваясь, но стараясь принять гордый вид, возражал, что он Римский гражданин и что никто не вправе без суда прикоснуться к нему пальцем. Но уже Юлианий, усердствовавший больше других и зная, что его поддержат рабы Помпония, схватил Ремигия за плечи, готовый повлечь его перед лицом раздраженного хозяина, и между ними началась настоящая борьба, безобразная и непристойная.

Я был в полном отчаянии и не представлял, как спасти своего друга от поругания, потому что разъяренный Помпоний способен был, не обращая внимания ни на какие законы, божеские и человеческие, действительно приказать рабам избить своего оскорбителя, и те, конечно, исполнили бы такое повеление без колебания. По счастью, мне на помощь

пришла сама Галла: с начала ссоры она, вместе со всеми, выражала свое негодование на грубияна, но, должно быть, в глубине души желала спасти его от побоев или иных обид. По крайней мере, среди общего шума и смятения она нашла способ уладить дело наилучшим способом; показывая вид, что она крайне разгневана, она повелительно закричала рослым пафлагонцам, бывшим поблизости, чтобы они тотчас же вытолкали дерзкого крикуна за двери дома. Рабы повиновались и, схватив все еще отбивавшегося Ремигия за руки, поволокли его к выходу. Я, разумеется, последовал за ним, и через минуту мы оказались на темной улице, тогда как за нами слышался негодующий голос Помпония, как видно, жалевшего, что его оскорбитель отделался так дешево.

– Что ты наделал, Ремигий! – горестно восклицал я, поспешно уводя его как можно дальше от опасного соседства с домом аргентария-поэта.

– Все равно! – отвечал мне Ремигий, – я больше такую жизнь выносить был не в силах. Пусть она остается со своим Крезом! Я

рад, что сказал им всем в лицо то, что было у меня в душе.

– Но тогда незачем было идти на этот пир, – заметил я, сколько кажется, вполне справедливо. – А кроме того, будь уверен, что Помпоний не забудет этой обиды: он сумеет тебе отомстить.

– Я первый отомщу ему, – возразил Ремигий, – клянусь Геркулесом, ему не пройдет даром то, что он украл у меня счастье. Я ему докажу, что его бесстыдная философия не права! Но еще раньше я отомщу этому щеголю, гнусному паразиту, выдающему себя за потомка императоров! Я кое-что знаю о Юлиании, – такое, что ему несдобровать! Призываю в свидетели вас, звезды, что я не позволю ему долго оскорблять землю своим присутствием!

Долго еще, пока я вел Ремигия по темным улицам, он продолжал выкрикивать какие-то непонятные мне угрозы, намекая на то, что у него есть важные улики против Юлиания, которыми он теперь воспользуется. Я не мог решить, есть ли у него основания, чтобы так говорить, или его языком владеет Бакх, часто

бывающий во вражде с правдой. «Вино возжигает гнев», – говорит поговорка, и я ожесточение Ремигия прежде всего объяснял числом кубков, дно которых он разглядел, но в глубине души не имел ничего против того, чтобы он взял на себя труд избавить меня и империю от сомнительного сына божественного Юлиана.

Прощаясь с пьяным Ремигием у дверей дома, где он жил, я думал:

«Может быть, эта глупая ссора послужит мне на пользу; кто знает, где иногда таится наше благо; ведь —

*В навозной куче петушок молоденький,  
Ища, что б съестъ ему, нашел  
жемчужину!»*

## VIII

После этого горестного приключения в моей жизни на несколько недель наступило затишье, какое бывает в море после бури, позволившее мне вздохнуть свободно, так как душа моя была измучена непрерывным рядом событий, быстро следовавших одно за другим с самого дня моего вступления на поч-

ву благословенной Авсонии. Я, проведший свою юность счастливо и безмятежно в кругу родной семьи, близ отца, бывшего мне как бы другом, матери, любившей меня нежно, и младшей сестры, которую нежно любил; я, ехавший в Город с единственной целью – учиться и, самое большее, надеявшийся на несколько веселых встреч в копонах Рима с девушками, привыкшими расточать свои ласки, – оказался как бы героем рассказа в духе Апулея и чувствовал себя до глубины потрясенным всей этой стремительной сменой опасностей, заговоров, ночных собраний, любовных признаний, восторгов, отчаяний. Поэтому, когда я узнал, что Гесперия, вокруг которой, как вокруг центра круга, располагались события моей жизни, с той внезапностью, какая была свойственна всем ее поступкам, покинула Город и с Элианом уехала в одно из своих поместий в Кампании, даже не известив меня о том, я испытал как бы какое-то облегчение.

Повинуясь советам дяди, который ежедневно за кубками домашнего вина, облегчавшими его неутешную печаль, не переста-

вал упрекать меня за безделье и ставить мне в пример жизнь знаменитых мужей древности, я решил возобновить свои посещения школы реторики, тем более что и сам понимал, как еще несовершенно мое образование, и нисколько не думал, как то делают многие в наши дни, ограничиться одним пребыванием в числе учеников и принять, подобно современному консулу, *honorem sine labore*.

Хотя зимние месяцы уже были на исходе, я все же, – не без робости, конечно, – пошел к своему учителю Энделехию, чтения которого покинул так неожиданно, с намерением просить его вновь принять меня в число своих слушателей. Оказалось, однако, что мои опасения были небезосновательны, и старый ритор встретил меня с такой же суровостью, как, бывало, встречали лаконские женщины изменников. Он не хотел слушать никаких моих оправданий и на все объяснения моего отсутствия, по необходимости сбивчивые и смутные, отвечал мне одно:

– Кто намерен посвятить себя философии, должен оставить все другие заботы. Для тех же, кто отдает науке только свой досуг, нет

места в моей школе. Если в тебе желание слушать меня не пересилило других влечений, значит, я – учитель не для тебя.

Никакими доводами нельзя было уговорить упрямого философа, и мне пришлось уйти из его школы с позором. Если сознаваться во всех своих чувствах, то я должен добавить, что было у меня побуждение потребовать с ретора обратно отданную ему мною вперед плату за учение, так как в те дни я ощущал большой недостаток в деньгах, но у меня недоставало смелости заговорить об этом с профессором. Добавлю еще, что при всей возвышенности своих поучений Эндеলেখий всегда умел извлекать из своих учеников наибольшую выгоду.

Мне не оставалось ничего иного, как обратиться к другому профессору, и, по совету Ремигия, я пошел в школу Лимения, который, по словам моего друга, умел преподавать так легко, что вся реторика проглатывалась учениками незаметно, как кусок сахара. В школе Лимения над дверями была сделана довольно длинная надпись, воспроизводящая слова из одного письма Плиния: «Среди людей всех ис-

креннее, всех проще, всех лучше ученый». Обставлена школа была пышно, и везде на стенах читались другие надписи, заимствованные из разных философов, древних и новых. Судя по ним, можно было подумать, что этот дом – вместилище всей мудрости мира.

Сам Лимений оказался сравнительно еще молодым человеком, одетым весьма изысканно, очень любезным и, по-видимому, очень гордящимся тем, что он занимает место ретора в Риме. В разговоре со мною он постоянно поминал имя славного Либания, у которого сам учился в Антиохии, и, всячески выхваляя реторику, высыпал мне целую грудку мнений разных прославленных людей. Послушать Лимения, можно было подумать, что выше реторики нет в мире ничего, и даже весь мир едва ли не для того был создан, чтобы процветало искусство красноречия.

– Ты хорошо сделал, – говорил он, – что перешел ко мне от Эндеলেখия. Я не хочу порочить своего сотоварища, но должен сказать, что молодым людям нужна не философия, но реторика. От нее, как учит нас Сенека, легок переход ко всем искусствам. Великий Квин-

тилиан, источник всякой мудрости, давно и прекрасно сказал, что риторика – царица вещей и что она – доблесть. А божественный Юлиан, в бытность свою Цесарем, в одном декрете, назначенном для всеобщего сведения, добавил даже, что литература есть высшая из доблестей. Кто знает ретиорику, способен ко всему, и мой учитель Либаний любит повторять, что только тот знает искусство управлять, кто умеет говорить.

На мое робкое замечание, что зима уже кончается и что мои сотоварищи по школе должны были узнать многое, мне еще неизвестное, Лимений заверил меня, что это ничего не значит, что он быстро и кратко объяснит мне все, что изучили другие его ученики, так что для меня не составит труда продолжать учение с ними вместе.

Действительно, я скоро убедился, что в школе Лимения заниматься гораздо легче, нежели у сурового Эндеlexия, а главное – гораздо веселее. Лимений заставлял своих учеников писать рассуждения на заданные им темы, потом произносить эти трактаты по всем правилам декламации перед товарища-

ми и защищать высказанные суждения в живом споре. Профессор при этом поправлял и произношение, и слог, учил и красивым движениям рук, и изящному сочетанию слов, а также вставлял свои замечания и пояснения. Когда я вошел в школу, некоторые из учеников уже достигли большого искусства в таких диспутах, и мне стоило некоторого усилия поравняться с ними. Однако соревнование только возбуждало охоту прилежнее отделять свои речи, и возможность ежедневно представлять свой труд на суд учителя и товарищей давала охоту работать постоянно.

Я, по крайней мере, посещал школу Лимения с истинным удовольствием, и часы, проведенные в ней, мне казались скорее приятным отдыхом, чем работой. И все же не без грусти я вспоминал чтения моего первого учителя, в которых многое оставалось для меня непонятным, но которые открывали умные дали и с которых каждый раз я возвращался домой взволнованный множеством новых мыслей, пробужденных во мне вдохновенными рассуждениями философа. За словами Энделехия чувствовалось бесконечно мно-

гое, что он знал, но не счел нужным сказать нам; поучения Лимения явно исчерпывали весь круг его мудрости. Если первый был глубоким колодцем, дна которого нельзя рассмотреть, хотя и черпаешь из него живительную воду, то второго следует сравнить с кубком хорошего вина, который можно осушить до дна.

Более месяца я прожил такой мирной жизнью прилежного ученика, не знающего в Городе ничего другого, кроме своей школы, круга товарищей и чтений профессора. Я сошелся с некоторыми из других учеников Лимения, вступил в образованное ими общество «Совы», в котором всего более занимались изучением сравнительного достоинства вин, и охотно принимал участие в их дружеских пирушках в маленьких копонах у Тибра. Страсти моей души успокоились, и единственным темным облаком на кругозоре моей жизни тех дней было постоянное уныние Ремигия, который все же оставался моим самым близким другом. После несчастного пира в доме Помпония он лишился возможности встречаться с Галлой, и это его так удру-

чало, что он утратил всю свою обычную веселость, стал задумчив, как математик, и часто повторял, что ему не мил свет солнца. Целые дни он проводил неизвестно где, занятый мечтами о мести Юлианию и Помпонию, свел знакомство с людьми подозрительными и, когда я звал его выпить, как бывало, секстарий фалерна, отвечал одно:

– Вино более меня не веселит. У меня осталась еще одна задача в жизни, а там я помогу старой пряхе перерезать запутавшуюся нить моей жизни. Как Александр, я развязать узел не умею и разрублю его!

Но и мне та же пряха, по-видимому, не была намерена предоставить жить долго *procul negotiis*, и новые приключения неутомимо подстерегали меня, как охотники убегающего от них оленя.

Я узнал, что в Город возвратился Симмах, и поспешил к нему, чтобы принести ему благодарность за все его заботы обо мне.

В доме на Целии меня встретили, как родного, и я видел, как покрылось алой краской лицо Валерии при моем появлении. С ней, однако, говорить мне не пришлось, потому что

тотчас после обмена обычными вежливыми речами Симмах позвал меня к себе, в таблин, чтобы переговорить наедине. Симмах мне показался постаревшим и очень утомленным. Прервав новые изъявления благодарности, вновь начатые мною, он мне сказал:

– Ты выпутался счастливо, Юний, но знай, что есть при дворе люди, которые тебя не забыли и, может быть, еще припомнят прошлое, но пока оставим это. Точно так же я не буду тебе говорить о том, чего удалось достичь Сенаторскому посольству после твоего отъезда, потому что Гесперия, как она мне призналась, передала тебе содержание моего длинного письма к ней. Случилось, однако, нечто другое, что я не совсем понимаю и ключ к чему, быть может, ты мне поможешь подобрать. За самые последние дни нашего пребывания в Медиолане в городе начались большие волнения среди христиан из-за какого-то нового учения, которое всюду проповедовала неизвестная девушка, умевшая с большой силой увлекать сердца слушающих. Ты знаешь, что я не особенный знаток учения христиан, так как книги их писателей отвра-

цают меня неряшливостью своего слога и детской неумелостью своих силлогизмов, так что мне трудно было ясно представить, о чем шла речь. По-видимому, эта девушка объявила какого-то христианского юношу новым Христом, вторично пришедшим к людям, говоря по-нашему, как бы воскресшим Дионисом, и, как это ни удивительно, нашлись многие, кто этому поверил. Происходили тайные собрания христиан, на которых новообращенные поклонялись этому юноше и – что самое важное – в то же время именовали его императором и преемником Грациана...

Уже с первых слов я догадался, что речь идет не о ком другом, как о Рее, и от волнения едва мог стоять, но, когда услышал, что наш Ганимед объявлен Августом, что для него могло быть лишь ступенью к топору палача, невольно, прервав Симмаха, я воскликнул:

– Что же? их схватили? они в тюрьме?

Симмах внимательно посмотрел на меня и ответил:

– Нет, когда посланные воины, окружив указанный им дом, где будто бы собирались мятежники, проникли в него, там никого не

оказалось. Все сумели и успели скрыться по подземному ходу, и никого из них до сих пор разыскать не удалось. Но несколько рабов, захваченных стражей, под пыткой признались, что все рассказы о тайных собраниях справедливы, что действительно эти последователи нового Христа намерены убить императора и что они своего дела не оставят. Но страннее всего то, – добавил Симмах, продолжая смотреть мне в глаза, – что один из них сообщил, будто на каком-то собрании присутствовал юноша, приехавший из Рима, и, по многим признакам, мне показалось, что он говорил о тебе!

Самые разнородные чувства волновали в ту минуту мою душу: и радость от известия, что Реа находится, хотя бы до срока, на свободе, и стыд перед Симмахом, который мог считать меня изменником, ведущим двойную игру, и, наконец, самый сильный страх при мысли, что мое имя включено в список мятежников, угрожающих жизни Августа. Некоторое время я не мог говорить от смущения, а Симмах продолжал:

– Узнав об этом от достоверных людей, я

почел нужным все рассказать тебе и спросить тебя, действительно ли ты принимал участие в этом сообществе.

Что мог я говорить? Лгать было бесполезно, да Симмах и усмотрел бы легко мою неумелую ложь, но и сознаться во всем, что со мною было, я не смел. Дрожащим голосом и путающимися словами я передал Симмаху часть пережитого мною, утаивая многое, на другое только намекая, но не скрыв, что я действительно был близок с Реей и знал о ее отчаянном замысле, изобразив все как юношеское увлечение женщиной, понравившейся мне. Но, едва закончив рассказ, я был охвачен новым порывом стыда, вспомнив, что моя любовь к Гесперии не тайна для Симмаха и что теперь великий оратор будет меня считать лицемером, клянувшись в вечной любви одной женщине и в то же время сближающимся с другой и исполняющим все ее прихоти. Как зверь, загнанный облавой в круг охотников, я метался безнадежно; мне казалось, что со всех сторон на меня наведены луки и направлены дротики, и я не видел никакого выхода. Покраснев, в последнем смущении, я

стоял, опустив голову, перед Симмахом, и тот, щадя мое самолюбие, сказал только:

– Берегись, Юний! Ты так неосторожен в жизни, что можешь попасть в великую беду. Твое счастье, что, как кажется, пока я один разгадал, кто такой этот приезжий юноша. Если об этом додумаются другие, и у меня не будет сил спасти тебя.

Я поспешил покинуть дом Симмаха, так как мне тяжело было оставаться в нем. С пылающей головой я бродил по Целию, обдумывая свое положение, и опять колебался, не должно ли мне бежать из Города и временно скрыться где-нибудь в маленьком селении Аквитании или Новемпопуланы. Я предвидел, что та тихая жизнь, к которой я едва обратился, должна опять разрешиться бурями и смятением.

Будучи в таком волнении, я остановился около одной недавно отстроенной христианской базилики. Строение было некрасивое и дурного вкуса. Жалко было смотреть на его убогий фронтон, на неровные колонны с нехитрой капителью, на плохой камень, из которого была сложена лестница, ведущая ко

входу, когда вдали, из-за крыш соседних домов, вздымались торжественные очертания храма божественного Клавдия, величественные стены терм Траяна и сама необъятная громада амфитеатра Флавиев. Глядя на жалкое здание, около которого еще были видны остатки мощных стен какого-то старинного храма, которое строители базилики не были в силах даже разрушить до основания, я невольно подумал о бессилии новой веры, неспособной даже своему богу создать достойных святилищ, и мне захотелось узнать точнее, что именно я вижу.

У дверей соседнего дома стоял бородатый ремесленник, праздно разглядывавший сновавших мимо прохожих; я обратился к нему за разъяснениями, и он, будучи, вероятно, христианином, тотчас ответил мне, что передо мною – базилика святого Климента, построенная на развалинах идолопоклоннического (как он сказал) святилища проклятому демону Митре. Такой ответ зажег всю мою кровь, так как нестерпимо слышать от Римлянина подобные суждения о богах, однако название базилики показалось мне уже знако-

мым, и я вспомнил, что именно здесь должен жить тот странный проповедник, который пытался помешать похоронам бедной Намии. Преодолев себя, я снова спросил ремесленника, знает ли он отца Николая.

– Конечно, знаю, – откликнулся он, – ловкий человек, что говорить! Еще никто не мог устоять против него в споре! Всех побивает, – кого одним способом, кого другим, одного, скажем, кулаком прямо в грудь, другого повалит подножкой! Истинный грек! Третий год он у нас живет, и сколько к нему приходит народа, и простые, и духовные, бывают и епископы: желают послушать, – счесть нельзя, и все остаются довольны. Недавно приходил сам Иероним, что при архиепископе Дамасе состоит, говорят, – святой жизни человек, – а тоже пришел учиться у нашего Николая!

Я попросил проводить меня к этому дивному проповеднику, и бородач охотно согласился. Он указал мне, в двух шагах оттуда, старый, уже разваливающийся дом, населенный, очевидно, бедным людом, и сказал, что отец Николай живет там в нижнем этаже, занимая всего одну комнату у старушки, отдающей

жильцам комнаты и углы. Я был в таком состоянии духа, что ничего не могло быть для меня более подходящим, как разговор о вопросах важных и глубоких, который успокоил бы мое смятение, и потому я тотчас же постучался в указанную мне дверь.

Отец Николай, который сам отворил мне, сразу меня узнал, хотя мы виделись только несколько минут и притом в темноте. Напротив, я не без труда признал смелого ночного проповедника, самоуверенный голос которого во мраке ночи звучал строго и властно, в невысоком человеке, неряшливо одетом, с нерасчесанной бородой и лицом, попорченным оспой. В нем не было того очарования, какое придавали ему необычность обстановки, напряженность моих чувств, кровавый свет погребальных факелов и костра.

– Я ждал тебя и знал, что ты придешь, – сказал мне отец Николай, – входи ко мне. Ты приходишь, как Никодим к Учителю, тайно: будь же и столь верным учеником, каким стал этот евангелист, принесший состав из смирны и елея, чтобы умастить тело Иисусово.

– Ты ошибаешься, Николай, – возразил я, – я прихожу к тебе вовсе не тайно: мне не перед кем скрывать свои поступки. То, что я делаю, я делаю открыто. Притом я пришел к тебе с тем, чтобы оспаривать твои суждения, а не для того, чтобы покорно слушать твою проповедь и учиться у тебя, как у обладающего истиной. Если тебе это неприятно, если ты хочешь только поучать и ждешь бессловесного слушателя, лучше разойдемся, не приступая к разговору.

Отец Николай, как мне показалось, грустно оглядел меня, вздохнул и возразил:

– Я не вправе отказывать никому, кто ищет моего слова. Зажегши факел, не должно скрывать его под спудом. Входи, и мы будем говорить.

Он пригласил меня сесть на простую деревянную скамью, потому что такова была вся обстановка его жилья, сел против меня и, пристально глядя мне в глаза, принялся меня расспрашивать, кто я, в какой семье вырос, у кого учился и какова моя религия. Мне представилось обидным, что меня допрашивают, как школьника, и я решил дать своему себе-

седнику должный урок. Ответив ему с учтивостью на его вопросы, я, в свою очередь, стал задавать ему такие же: кто он, где учился и подобное. Однако отец Николай нисколько этим не смутился и охотно удовлетворил мое любопытство, рассказав мне всю свою жизнь.

– Я родом из Пессина, в Галации, – так начал он. – Отец мой был небогатый торговец, занимался скупкой шерсти, которую перепродавал греческим купцам. Он придерживался учения евсевиан, за что нас жестоко преследовали, и я с раннего детства наслышался споров об истинности той или другой веры. В конце концов отца, за его приверженность осужденному учению, бросили в тюрьму, и мы разорились. Мне пришлось, еще будучи мальчиком, самому зарабатывать свой хлеб, и я бродил по городам Малой Азии, занимаясь разными ремеслами. Работал в мастерских ткацких и золотошвейных, был башмачником и золотых дел мастером, одно время даже просто пастухом. Но я постоянно размышлял над тем, кто прав: люди, веровавшие одинаково с моим отцом, или его гонители. Поэтому я никогда не упускал случая ознако-

миться с новым учением и везде, где встречал общину верующих, просил принять меня в свое число. Так, я долго жил с восточными валентинианами, и они открыли мне свое учение, как из Божества родились четы божественных эонов: Разум и Истина, Слово и Жизнь и другие, и как Мудрость, ниспав из плеромы, породила Демиурга, творца мира видимого. Потом манихеи поучали меня, что есть два отдельных начала: Бог в царстве света и Демон в царстве мрака, и что Христос пришел с тем, чтобы победить мрак. Когда после я попал к донатистам, они сказали мне, что все другие христиане заблуждаются, что истина только у них и что я должен наложить на себя тяжкую епитимию во искупление своих прежних верований и вторично креститься, чтобы поистине стать христианином. Покинув их, я нашел приют в одном монастыре, близ Икония, там жил больше двух лет и читал много книг, желая понять, на чьей же стороне истина. В том же монастыре жил старец, по имени Филофил, которому я полюбился. Он согласился быть моим наставником, и мне вдруг все стало ясно. И когда я

понял, что знаю правду, я сказал себе, что скрывать ее не вправе. Я пошел ходить по всем городам империи и везде проповедовал учение истины. В Константинополе был я в дни Собора и на улицах возглашал слово Божие. Нашлись люди, имеющие силу в этом мире, которые позвали меня приехать в Рим. И вот здесь, в этой крепости идолопоклонников, я исполняю свое дело, учу и проповедаю.

Отец Николай говорил совершенно просто, без декламации, так дружественно, как если бы мы были с ним давно близки. Но мне его рассказ живо напомнил бредни Реи, пророчившей о явлении в мир Антихриста, и нелепые вымыслы змеепоклонников, путавших высокие идеи основателя Академии с восточными сказками. Я подумал о том, что христиане делятся на два рода: одни из них, в сущности, не обращают на религию внимания и придерживаются учения Христа только потому, что так веровали их родители, или потому, что в наш век выгоднее следовать вере Августа; другие же, истинно занятые вопросами веры, никак не могут удовлетвориться наивным учением о том, что Бог был распят

Римскими легионарями, ищут в своей религии не существующих в ней глубин, применяют к ней откровения наших мистерий и, выставляя множество разнообразных учений, безнадежно враждуют между собою. Я это и высказал моему собеседнику, добавив:

– Мне кажется, ты плохо начал проповедь, рассказав свою жизнь. Ты явно показал мне, что вы сами, христиане, не умеете согласиться между собой, чему именно учит ваша религия. Так не лучше ли вам сначала порешить это, а уже потом проповедовать ее другим?

Отец Николай как будто только и ждал такого моего возражения. Мне показалось, что глаза его радостно забегали, как у рыбака, у которого заколыхался поплавок заброшенной им удочки. Отец Николай придвинулся ко мне ближе, словно он собирался сказать мне какую-то тайну, которую не должны были слышать посторонние, и заговорил тихонько:

– Ты – юноша умный, и с тобой можно говорить открыто. Иному я не сказал бы того, что скажу тебе. Нарочно я рассказал тебе и историю своей жизни, и о тех общинах, которые привлекали меня к своему учению. И я

сознаюсь тебе, – а ты мои слова заметь хорошенько, – что я не знаю также, кто прав в своем учении: Афанасий ли, или Арий, или Мани, или Донат. И никто этого не знает и не узнает никогда. Но разве же ты не видишь, как их споры доказывают, что христианская религия есть религия живая? О чем спорят, за что борются? – за нечто живое. А о мертвец, будь он даже прекрасен, нет пререканий. Так ваше идолопоклонство, со всеми великими поэмами, написанными вашими поэтами, и великолепными статуями, уцелевшими от работ древних ваятелей, – не более как мертвец. Можно любить умершего и оберегать его тело, но он не встанет, не заговорит, не сделает движения. Вот почему вы между собою согласны, гостеприимно принимаете на свой Олимп и фригийскую Цибелу, и египетского Осириса, и финикийскую Астарту. Что живет, то изменяется, вот почему христиане каждый год создают новые учения и борются друг с другом, преследуют и изгоняют одни других. Не говори мне о том, что ваше учение мудро и прекрасно, я не буду с этим спорить, но оно умерло, это я знаю и вижу. Не все ли равно,

где истина, если явно суждено всему миру стать христианским? С кем быть: с красивым мертвецом или с живым, хотя бы и не достигшим зрелости учением? – вот какой выбор стоит теперь перед каждым, иного нет. Выбери и ты: останешься ли хоронить тело почившей древности или покоришься духу нового времени и станешь в ряды тех, кто служит жизни!

Такой речи я от скромного отца Николая не ожидал никак, и в первую минуту был ею поражен и сбит с пути. Все мои заготовленные возражения оказались излишними перед этим странным проповедником христианства, готовым признать, что истина, может быть, не на его стороне. Некоторое время я только смотрел в лицо моего собеседника, не зная, кто передо мною, – христианин или тайный сторонник религии отцов, искушающий меня, но потом ответил решительно:

– Да, я предпочитаю быть вместе с красотой, хотя бы этот мир и оказался столь презренным, что она не в силах была жить в нем. Я предпочитаю быть вместе с истиной, хотя бы всему миру и суждено было пойти вслед

за ложью. Я останусь верен богам бессмертным, потому что в их смерть не верю: они жить будут вечно. Как наваждение злой волшебницы, пройдет ваша вера, и люди вернуться к поклонению истинным богам, существование которых требуется природою вещей. Ты не убедил меня своими доводами, и от тебя я выйду таким же, каким вошел.

Отец Николай лукаво улыбнулся и ответил:

– Мои стрелы не сразу убивают: но ты ранен, и эту рану почувствуешь после.

Разумеется, я только еще раз посмеялся над самоуверенностью проповедника, но мы продолжали с ним говорить, хотя ничего важного более не было им высказано. И, несмотря на то, что я пришел к нему с тем, чтобы спорить и опровергать, мне отец Николай понравился, как острый диалектик и собеседник приятный. Я не пожалел, что случай вторично свел меня с ним, и, прощаясь, обещал, что наше свидание не было последним.

Беседа с отцом Николаем вернула меня от тихих занятий риторикой к тем великим вопросам, которые раньше занимали мой ум, и

во мне возгорелось новое одушевление – бороться с коварством христиан и защищать всеми силами истинность древнеримской веры. Мне уже казалось постыдным, что известие, сообщенное Симмахом о преследовании Реи и ее сторонников, меня встревожило и испугало. «Все равно, – говорил я себе, – с безумной девушкой и змеепоклонниками, во имя Антихриста пришедшего, или с мудрой Гесперией и сенаторами, по имя Юпитера Статора, но только бы бороться против Грациана, гонителя богов и сторонника христиан!» Мне опять захотелось открытой борьбы, и, не наученный жестоким опытом, я был готов снова с кинжалом за пазухой прокрадываться в священный дворец.

И вот, как если бы боги услышали мои бессловесные мольбы, на другой день в нашем доме появился хорошо знакомый мне раб Гесперии, с письмом от нее. Вернувшись из поездки, Гесперия писала мне, кратко и без объяснений, что я должен быть у нее в тот же день, в полночь. «Как войти, ты знаешь», – говорилось в письме, которое заканчивалось просьбой никому не говорить о приглашении

и немедленно стереть написанное.

Я понял, что в полночь должны собраться в доме Элиана участники заговора, и первое чувство, которое я испытал, читая письмо, было – гордость от сознания, что я как равный принят в среде сенаторов. Но тайная дрожь все-таки пробежала по моим членам, когда я подумал, к каким новым бурям поведет меня новое приближение к Гесперии.

## IX

Чтобы не подать повода к подозрениям, я вышел из дома рано, вечер провел на Агриповом поле, среди празднующихся и влюбленных, издавна облюбовавших это место для своих свиданий, потом сидел в какой-то копоне, наблюдая, как одетые в одну тунику судовщики с Тибра, на медные деньги, играют в кости, и в конце концов к назначенному часу опоздал. Была уже третья стража, когда я стучал у дверей дома Гесперии и произнес условные слова «Иисус распятый», опять чудодейственно открывшие мне доступ. Снаружи весь дом казался мирно спящим, но когда меня провели через темные покои в отдаленный триклиний, вход в кото-

рый был плотно закрыт тяжелой занавеской, я увидел за большим столом, уставленным кратерами с вином и кубками, целое общество.

Здесь было восемь человек, из которых я знал пятерых: Гесперию и Элиана, моего покровителя и спасителя Симмаха, старика Претекстата, когда-то поучавшего меня верности, и Юлиания, присутствие которого на этом тайном собрании поразило меня неприятно, но который меня встретил так, словно бы между нами ничего не произошло. Из числа трех, мне незнакомых, двое не обращали на себя особого внимания: один – почти старик, в сенаторской тоге, угрюмый, с недвижным лицом заговорщика, – человек, о котором невольно думалось, что среди заговоров и козней всякого рода он должен чувствовать себя, как рыба в воде (я припомнил, что уже видел его в доме Гесперии в тот незабвенный день, когда она вручила мне пугион, предназначавшийся для страшного дела); другой – тоже немолодой, с лицом незначащим, но одетый с большим щегольством, выбритый тщательно, с пальцами в перстнях; волосы у

него были тщательно зачесаны на лоб, чтобы скрыть лысину, – единственная черта, сближавшая его с «лысым прелюбодеем», как побежденные галлы называли божественного Юлия. Позднее я узнал, что имя сенатора было Рагоний, а щеголя – Цесоний.

Зато последний из присутствующих, словно Гераклеийский камень железную иглу, сразу приковал к себе мои взоры. Он также был одет в senatorскую тогу, еще не стар, хотя его лицо обличало опыт долгих лет жизни, крепок, силен, с движениями властными, со взглядом повелителя. Есть лица, которые сама Природа определила людям выдающимся, так как нельзя вообразить Александра, покорителя Индии, или Сципиона, победителя Ганнибала, с наружностью копониста, и тот, кого я увидел, от рождения, самым своим лицом, был предназначен для великого. Если бы я встретил его на улице, среди прохожих, я сказал бы себе: вот будущий вождь, завоеватель, император. И теперь, прежде чем мне назвали его имя, я уже знал, что предо мною Вирий Никомах Флавиан, о котором я так много слышал.

Заметив меня, Гесперия пошла мне навстречу, упрекнула за то, что я опоздал, потом сказала, обращаясь ко всем, голосом, не допускающим возражений.

– Вы все знаете, кто это. Это – Юний, участвовавший в Сенаторском посольстве. Свою преданность нам он доказал так явно, что нет надобности подвергать его испытаниям, как неопита, и требовать с него клятв. От Юния у нас не может быть тайн: что известно нам, может узнать и он. Отныне наше число заполнено, и общество наше, по образцу Пиррид, состоит из девяти членов.

Мне показалось, что некоторые глаза продолжали смотреть на меня недоверчиво, что во взгляде Цесония было даже что-то враждебное, а Флавиан долго и упорно рассматривал меня, как бы желая проникнуть в глубь моей души, но возможно, что так подсказывала мне лишь моя мнительность, потому что тотчас беседа, прерванная моим приходом, возобновилась.

Заговорил Симмах, заканчивая речь, произнесенную до меня. Как всегда, он говорил спокойно, не повышая голоса, красиво округ-

для периоды, не забывая и в дружеском кругу приемов оратора. Его слушали внимательно, но без увлечения, и было похоже на то, что заранее все с ним не согласны.

– Я делаю вывод, – сказал он. – На опыте Сенаторского посольства мы видели, к чему приводят меры торопливые и недостаточно обдуманые: к усилению врагов наших и к торжеству противников религии отцов. Унижение, испытанное послами Сената, с которыми император не пожелал даже говорить, пало и на самый Сенат. Приходится нам отказаться от надежды на успех скорый и близкий, приходится стремиться не ко временному триумфу, но к достижениям прочным, медленно готовить почву для будущих побед. Какая бы участь ни была суждена темным Роком Риму в далеком грядущем, ему стоять на своих холмах не десятилетия, но века, и не с нашей быстротечной жизнью кончится существование Города Вечного, и потому не того мы должны добиваться, чтобы своими глазами увидеть алтарь Победы вновь посреди Курии и пороги храмов вновь тучными от сжигаемых жертв, но к тому, чтобы сле-

дующие за нами поколения неизменно видели отверстыми жилища Олимпийцев и чтобы в другие века ни у кого не возникало сомнения, должна ли крылатая богиня парить над собранием отцов конскриптов. Неспешно, но твердо подготавливать, терпеливо сеять и радоваться, что жатву соберут наши дети, не спешить с открытой борьбой, в которой мы можем потерять и то немногое, что еще сохраняем, но воспитывать умы и вербовать воинов для будущих битв, – вот что я предлагаю, товарищи и друзья! Симмах говорил стоя и, окончив речь, сел, и кругом наступило молчание. Все переглядывались, предлагая, безмолвно, один другому дать ответ на доводы знаменитого оратора. Только Юлианий процедил сквозь зубы, но так, что было слышно всем:

– Festina lente!

Молчание прервала Гесперия, воскликнув:

– Не довольно ли мы медлили, отцы сенаторы! Как бы нам не ошибиться в расчете! Так мы подготовим не свое торжество, а чужое. Мы дадим народу привыкнуть к мысли, что молиться надо идти к христианам. Мы да-

дим ему увериться в том, что мы все, и Сенат в том числе, бессильны. И когда наши дети, которым Симмах столь самоотверженно уступает честь дела и славу победы, найдут, наконец, что настала пора, и кликнут клич, уже никто не отзовется!

Вслед за Гесперией поднялся Флавиан, и таково было его значение, что тотчас все замерло и все словно окаменели, ожидая его речи. Тяжело опираясь обеими руками на стол, Флавиан стал говорить, бросая изречение за изречением, как грузные камни из баллисты:

– Прежде всего, спросим самих себя: верим ли мы в богов бессмертных? Если верим, почему же боимся отдать в их руки наше дело? Потом спросим себя: верим ли мы, что народ Римский за нас и за богов? Если верим, почему колеблемся народу предоставить решение спора? Осторожность в деле общественном – добродетель. Но когда она переходит в нерешительность, она становится пороком. Все средства в борьбе с коварным врагом хороши: дурно одно – не пользоваться никакими средствами. Удачной минуты выжидать должно, но и не следует удачную минуту упускать. Ко-

гда встретится снова такое счастливое стечение обстоятельств, как теперь? Рим раздражен святотатством, учиненным над алтарем Победы. Народ оскорблен унижениями, которым подвергнуты храмы богов. Холодная зима и запоздавшая весна предвещают дурной урожай, и по всей империи не будет недостатка в людях голодных и недовольных. В Медиолане, как только что нам рассказывал достойнейший Симмах, в среде самих христиан мятеж. В Британнии легионы – в открытом возмущении, и их вождь, Максим, ищет союзников в Италии. Грациан окружен со всех сторон. Или никогда, или теперь нам должно действовать решительно. Я предлагаю немедленно вступить в сношения с Максимом. Я предлагаю немедленно дать знать всем верным нам легионам, чтобы они были наготове. Едва гражданская война разразится, мы должны власть в Городе взять в свои руки, Сенат назначит нового императора, воля народа довершит остальное. Я знаю, что жребий будущего лежит в темной урне. Но наверняка выигрывает лишь тот, кто играет в нечестные кости. Римлянин всегда готов умереть за

благо родины. Кто Римлянин, тот чувствует, как я. Dixi.

Не без изумления я слушал эти речи сенаторов, из которых один щеголял изяществом оборотов и полнотою периодов, а другой выставлял напоказ намеренную небрежность как бы неотделанного слога, но которые оба и здесь, на тайном собрании заговорщиков, играя своей жизнью, не забывали правил ретирики и, кажется, больше заботились о том, чтобы победить друг друга в красноречии, чем чтобы убедить слушателей. «Прав Лимений, – подумал я, – в наши дни тот знает искусство управлять, кто умеет говорить. Царица мира – реторика!» И, как бы в подтверждение моим мыслям, восторженные восклицания раздавались вокруг всего стола, завершая искусную речь Флавиана.

Элиан одобрительно кивал головой. Гесперия, с глазами, зрачки которых обратились в две искры, протянула оратору свои руки, словно желая объятиями наградить его за смелый призыв. Щеголь, с волосами, зачесанными на лысину, полузакрыв глаза, как бы в сладострастном упоении, и повторил за Фла-

вианом: «Умрем!» Даже Юлианий почел долгом, подняв высоко кубок с вином, изобразить на своем лице восторг и тоже театрально воскликнул:

– Moriamur!

И добавил:

– «Тот царь, кого не страшит ничто!»

Впрочем, после первого порыва общего сочувствия слышались и возражения: старик Рагоний, начав изречением Саллустия, что «слова не прибавляют храбрости», посоветовал на другой день, с трезвой головой, обдумать еще раз, действительно ли все мы согласны подвергнуть опасности и свою жизнь, и занимаемое каждым положение в обществе ради сомнительной удачи; Симмах напомнил слова великого историка, что «не всегда отвага бывает счастливой»; даже Элиан, как человек дела, предложил не торопиться и подождать, пока в гражданской войне перевес окажется на стороне мятежников. Но эти осторожные советы потонули в настойчивых криках Цесония, Юлиания и самой Гесперии.

Флавиан, державшийся, как председатель собрания, предложил подать голоса, и так как

Симмах объявил свое «non liquet», а я не посмел противоречить мнению Гесперии, то единодушно было решено, что настало время начинать открытую борьбу с Грацианом, который явно ведет империю к гибели и стремится с корнем вырвать веру отцов, как засохший куст. Когда Флавиан объявил подсчет голосов, его сторонников охватило буйное ликование, словно они уже одержали решительную победу над врагом, и сенаторы дали, наконец, волю своей ненависти против угнетателя Сената, осыпая в речах императора бранью, достойной только грузовщиков, таскающих кули с хлебом на барках. «Тиран!», «Изменник!», «Амбросиев раб!», «Скифский лучник!» – такие и еще более жестокие восклицания раздавались ежеминутно, намекая на последние суровые законы императора, на его обращение со своим бывшим учителем, Авсонием, на доверие, оказанное им Амбросию, на его пристрастие к скифской одежде...

Потом перешли к обсуждению подробностей предпринимаемого опасного дела, и тогда страсти воспламенились еще больше, так как поднят был вопрос о распределении

должностей. Симмах, не встречая возражений, заявил, что он возьмет на себя префектуру Италии; Флавиан оставлял себе должность префекта Города и желал получить консулат; Претекстат, ссылаясь на свою дряхлость, от власти отказывался, но был намерен удержать за собою звание великого понтифика; Элиану предлагали префектуру Галлий, но на нее выставлял притязания и Рагоний, не хотевший удовольствоваться Виенненским викариатом; Цесоний, напротив, скромно соглашался на место викария диэцесы Африки; наконец, Юлианий, с наглостью, которая почти ошеломила, заявил, что считает себя законным наследником императорского трона, который занимали его предки. Начался шумный спор, причем все отстаивали свои требования так настойчиво, словно в самом деле здесь происходила раздача первых должностей в империи, а не шла речь о возможностях, которыми играет перворожденная дочь Юпитера, не расстающаяся с рулем, символом зыбкости.

Комната наполнилась гулом все возвышавшихся голосов, и сенаторы, только что

произносившие умные речи, позабыв о риторических прикрасах, стали попрекать друг друга, переругиваясь, как простые легионеры.

Старик Претекстат, с жаром, неподобающим его летам, гневно сказал Флавиану:

– Нам всем известно, что такое твоя приверженность богам! В лучшем случае суеверие, в худшем лицемерие. Разве мы не знаем, что один раз ты, чтобы в точности исполнить обязанности понтифика, заставил вместо себя поститься другого!

– Молчи, старик, – грубо возразил Флавиан, – а про тебя рассказывают, что ты сказал Дамасу: «Назначьте меня Римским епископом, и я тотчас сделаюсь христианином!»

Когда же Юлианий стал слишком громко настаивать на своих правах, тот же Флавиан открыто назвал его безродным подкидышем, клеветующим на свою мать, чтобы выдать себя за сына императора Юлиана.

– Мы сделаем из тебя то, что хотим, – сказал Флавиан. – Будь благодарен, если дадим тебе претуру.

– Не знаю, кем вы меня можете сделать, –

гордо возразил Юлианий, – но сделать так, чтобы я не был законным наследником трона Константина, вы не можете!

Симмах угрюмо молчал. Гесперия металась от одного к другому, безуспешно пытаясь всех успокоить и примирить.

Вдруг, среди общего шума, Элиан бросился неожиданно к двери и исчез стремительно за занавеской. Тотчас же мы услышали шум ног, какой бывает при борьбе двух человек, и гневный крик Элиана. Опомнившись, мы все, тесня друг друга, поспешили за ним и увидели, что в темном проходе перед триклинием он держит за горло одного из домашних рабов, который, объятый ужасом, и не пытается сопротивляться.

– Негодяй подслушивал! – воскликнул Элиан, побагровев от ярости. – Это – доносчик, который завтра же рассказал бы в консистории префекта о нашем собрании. Смотрите, он и не отрекается!

Мгновенно наступила полная тишина, и, вероятно, все, как я, почувствовали, что холод и трепет ужаса пробежал по всему телу, словно рой скользких, извилистых змей. Мы

вдруг, во всей очевидности, поняли, что наше собрание не дружеская шутка и не игра и что гибель и смерть, о которых здесь столько говорилось, – не ораторская фигура, а грозящая нам всем действительность. Эта смерть смотрела прямо на нас из выкатившихся глаз раба, которому Элиан сжимал горло рукою, оказавшейся неожиданно сильной.

С полминуты длилось молчание, и Флавиан первый, как бы отдавая приказание, подал мысль:

– Убить нечестивца!

– И подумать, что это – раб-мофон! – с горечью и презрением объяснял Элиан. – Я знаю его с детства, баловал его, когда он был мальчишкой, женил на самой красивой из своих рабынь! Я бы ему свою жизнь доверил!

– Что ты можешь сказать в свое оправдание? – спросил раба Флавиан.

Элиан несколько разжал пальцы, тем более что Юлианий уже схватил раба сзади за руки, а Цесоний держал его за плечи. Раб мутным взглядом посмотрел на нас, но вдруг, с наглостью обреченного, сказал:

– Нечестивцы! Идолопоклонники! Слуги

диавола! За христианского императора умру с радостью! Пострадаю за веру Христову! Прииму венец мученический! Но и вам не миновать палача! Сегодня – я, завтра – вы! Не удалось мне, удастся другому! Найдется у меня преемник, верьте! Боже правый, помилуй меня, грешного!

Раб продолжал выкрикивать бранные слова, угрожая нам небесными карами, но Юлианий силой зажал ему рот. Наскоро был составлен военный совет, и все присутствовавшие единодушно подали голос за казнь. Решительнее всех высказался Юлианий.

– Донос, – сказал он, – самое гнусное из всех преступлений. Доносчик – отвратительнее жабы. Убить его – приятно, как раздавить мокрицу. На крест раба!

Гесперия произнесла холодно!

– Он должен умереть.

Так как спросили и меня, я ответил:

– Иного средства нет. Если мы не уничтожим его, он погубит нас.

Симмах осмотрительно напомнил императорские декреты Адриана, Марка и божественного Константина, запрещающие само-

вольное убийство раба, и даже прочел самый закон Корнелия, применяемый в этих случаях, по которому убийца раба приравнивался разбойнику. Но в ответ все замахали руками, в знак того, что сейчас не время было вспоминать о законах. Однако, когда мы стали обсуждать, как привести наш приговор в исполнение, оказалось, что это не просто. Все были согласны с тем, что не должно вмешивать в это дело других рабов, а из среды нас никто не вызывался взять в свои руки топор палача. Мы переглядывались в нерешительности, пока Гесперия не сказала:

– Ты, Юлианий, только что говорил, что убить доносчика – приятно. Докажи это на деле.

Юлианий явно побледнел и, утратив всю свою обычную непринужденность, не мог найти, что возразить, а Гесперия повторила твердо:

– Я этого требую от тебя!

Лицо Юлиания из зеленовато-бледного стало, или так казалось при слабом свете одной луцерны, освещавшей всю сцену, синеватым, как у мертвеца, и он хрипло пробормо-

тал:

– Если ты требуешь...

– Я приказываю, – сказала Гесперия, и потом добавила: – Вернемся в триклиний, а они исполнят, что должно...

Юлианий, Элиан и Цесоний остались с рабом, приговоренным к смерти, а все остальные возвратились в комнату, где происходило совещание. Но все мы были как-то подавлены свершившимся, избегали смотреть друг на друга, и никто уже не пытался возобновить недавний шумный спор о распределении должностей. Видимо, желая ободрить других, старик Претекстат, как отец, поучающий детей, стал напоминать нам, как смотрели на рабов наши предки.

– Наши отцы понимали, – говорил он, – то, что хорошо объяснил Аристотель: что есть люди, по природе свободные, и есть – по природе рабы. Мудрый Катон знал, что делал, когда советовал бережливому хозяину продавать старых быков, ломаное железо и больных рабов. Старинный закон Аквилия не делал разницы между раной, нанесенной рабу и домашнему животному. Смотреть на раба,

как на человека, значит, поддаваться пагубной заразе христианского учения...

Несмотря на эти успокоительные объяснения, я чувствовал какую-то непреодолимую тоску в душе, и, кажется, ее разделяли со мной все другие, так как все угрюмо смотрели вниз, не возражая, но и не поддерживая оратора. Я уныло думал: что случилось с нами? Где те Римляне, которые, подобно Ведию Поллиону, бросали провинившегося раба в садок с муренами? Тит Манлий Торкват казнил собственного сына за то только, что тот нарушил его приказание, хотя и остался победителем! А мы дрожим и смущаемся, осудив на заслуженную казнь раба, готовившегося предать своего господина! Или мы все, сами того не подозревая, – христиане!

Тем временем возвратился Элиан и его спутники, и никто не спросил их, как была свершена казнь; только легким кивком головы сенатор дал понять, что приговор исполнен. Юлианий оставался желтовато-бледным, как египетский папирус, и я не в силах был на него смотреть; он мне казался еще отвратительнее, чем всегда. Впрочем, и сам он при-

тих, больше за весь вечер не вымолвил ни слова и ушел раньше всех, скрывшись незаметно.

Вернуть все общество к обсуждению нашего дела взяла на себя Гесперия; она сказала, предлагая всем занять свои места:

– Итак, мы решили действовать. Но наша главная надежда – на Британнское восстание, и потому мы должны войти в ближайшие сношения с Максимом. Мы должны не только согласовать свои движения с его действиями, но и обратить его в своего союзника, или, лучше того, в своего слугу. Надобно добиться, чтобы Максим, думая, что стремится к своим целям, осуществлял нашу волю. Из этого следует, что одному из нас необходимо немедленно отправиться в Британнию, пока дороги еще свободны.

Глаза всех обратились на Симмаха, но он возразил поспешно и горячо:

– Что до меня, я от такой задачи отказываюсь. Общему решению собрания я подчинюсь покорно, помня ту клятву, которую дал: делить успех, делить и опасность. Но ехать в Британнию к сомнительному союзнику – я се-

бя обязанным не почитаю. Может быть, восстание Максима будет подавлено в самом начале, а между тем, явившись в лагерь мятежников, я навсегда закрою себе пути в Город, погублю себя, свою жену и детей. Разумные жертвы я готов принести, но на безрассудные не согласен. «Отвага редким в пользу, большинству – на зло!»

– Никто и не ждал, что в Британнию поедешь ты, – ответила Гесперия. – Ты нам нужнее в Городе. Поеду – я.

Заявление Гесперии всех изумило крайне. Я успел заметить, что Гесперия была истинной руководительницей всего заговора, его душой, что без ее упорства все давно отказались бы от этой опасной игры на самом пороге тюрьмы, но мне никогда не приходило в голову, что Гесперия сама может на себя взять исполнение какого-либо трудного дела. Одну минуту я готов был думать, что она сделала свой вызов только затем, чтобы мы поспешили отговорить ее. Цесоний, как кажется, так же понявший ее слова, сейчас же возразил настойчиво:

– Нет, *domina*, мы не допустим, чтобы Го-

род остался без твоего присутствия: он осиротеет. Ехать в Британнию, в пасть зверя, – дело небезопасное, а если с тобой случится малейшее несчастье, мы никогда не простим этого себе.

Элиан тоже заявил решительно:

– Это не женское дело. Ты, Гесперия, увлекаешься. Но я не отпущу тебя.

Гесперия окинула своего мужа высокомерным взглядом и ответила:

– Ты думаешь, что можешь меня не пустить? С каких пор я стала твоей рабой? И почему это не женское дело? Разве Семирамида, в древности, не предводительствовала сама своими войсками? Клеопатра не царила в Египте? Меса и Мамея не правили всей империей? Я покажу вам, что может сделать женщина! Звезды мне свидетели, что менее чем через два месяца Максим будет слушаться каждого моего слова. Его легионы будут идти туда, куда прикажу я. Оставайтесь здесь, медлите, раздумывайте, а я еду в Британнию и одна возьму на себя все наше дело!

Опять начался шумный спор, причем Элиан сердился и угрожал Гесперии, Симмах пы-

тался ее образумить, Цесоний упрасивал ее почти со слезами. Она же твердо повторяла, что исполнит свой замысл, и понемногу всем стало казаться, что он не так безумен, как это нам представилось сначала. Действительно, отъезд кого-либо из сенаторов тотчас был бы всеми замечен, тогда как Гесперия могла уехать в Галлию, не возбуждая особых подозрений. Постепенно перешли к обсуждению подробностей замысла Гесперии, и Симмах спросил:

– Но не одна же ты предпримешь это далекое путешествие. Кого ты возьмешь в свои спутники?

– Приказывай, *domina*, – воскликнул Цесоний, – я буду счастлив разделить с тобой все труды и опасности.

Гесперия отрицательно покачала головой и сказала, еще раз изумляя всех своим решением:

– Я поеду с Юнием.

Не знаю, что я испытал бы несколько месяцев тому назад, когда, одинокий, я рыдал, лежа на камнях мостовой, перед домом Гесперии, если бы мне объявили, что она выбира-

ет меня в спутники своего далекого путешествия. Я мог бы тогда потерять рассудок от радости, благодарил бы бессмертных богов с большей пламенностью, чем юный полководец, впервые удостоившийся орации, – но все пережитое мною изменило мою душу и, услышав слова Гесперии, я вздрогнул скорее от дурного предчувствия. Сразу, словно кольца длинной цепи, мне представились дни всевозможных мучительств, унижений и оскорблений, подвергать которым с таким искусством умела Гесперия. Я видел, что взоры всех обратились ко мне, что Цесоний смотрит на меня с открытой завистью, что Элиан с трудом скрывает негодование или ревность, что Симмах лукаво подсмеивается, но только с трудом я заставил себя проговорить:

– Domina, я недостойн и такой чести, и такого счастья...

Не обращая внимания на мое присутствие, другие стали громко обсуждать предложение Гесперии, указывая на мою молодость, мою неопытность, мое легкомыслие. Я упорно в этом споре не принимал участия и видел, что, изумленная моим молчанием, Гесперия

несколько раз взглядывала на меня с тревогой и недоумением. Наконец, решено было, что воля Гесперии должна быть исполнена, и так как более никаких вопросов не оставалось, Флавиан предложил расходиться. Он сказал, на прощание, торжественно:

– Мне не надо напоминать вам, в какой тайне должно хранить все, происходившее между нами в эту ночь, которую опишут будущие анналисты. Вы все понимаете, что одно лишнее слово может стоить жизни всем нам. Но уже недолго осталось нам таиться и притворяться. Спешите в Британнию, наша Гесперия, заключи союз Севера с Италией против общего врага! Как только ты дашь нам знак, что время пришло, мы сбросим лисьи шкуры и в нашем настоящем образе явимся перед нечестивцами, сквернящими алтари богов. Мы очистим себя священным тавроболем, в торжественном шествии, со статуями бессмертных в руках, пройдем по улицам Города и принесем благодарственную жертву у ног крылатой богини Победы!

Испытывая крайнюю усталость после бессонной ночи, потому что уже давно отсветы

зари проникали даже в наш удаленный триклиний, я тоже хотел проститься, но Гесперия удержала меня, сказав, что ей надо еще говорить со мною. Гесперия казалась неутомимой, и, глядя на нее, опять невольно вспоминалась мать Энея, которая пред героем «проблистая розовой шеей», но такое изнеможение было в моих костях, так всем происшедшим была измучена душа, что неохотно я последовал на зов в знакомую мне комнату, где я ведал минуты и счастья и отчаяния. Гесперия, угадывая мое утомление, сказала коротко:

– Юний! Еще не поздно. Откажись ехать со мною, если в тебе нет прежней страсти. Твои клятвы я тебе возвратила, и ты ничем не связан. Помни, что со мной тебя ждет, может быть, худшее, чем смерть. К своей цели я пойду всеми путями, какие только есть, и тебе придется забыть те слова любви, которые мне говорил ты и я говорила тебе.

Тут мне стало ясно, на чем Гесперия основывала свои замыслы, и я спросил ее бесстыдно:

– Ты хочешь обольстить Максима любо-

вью? А на что же нужен тебе я?

– Ты будешь стоять на страже у дверей кубукула, – так же бесстыдно ответила Гесперия, – чтобы не вошел посторонний.

«Значит, императорскую диадему, которая соблазняет тебя, ты хочешь купить ценой своего красивого тела!» – подумал я, но, как то всегда бывало со мной в присутствии Гесперии, губы мои, словно не по моей воле, проговорили другое:

– Я – навеки твой раб, душой и телом. По твоему приказанию исполню все, даже то, что страшнее смерти.

Улыбнувшись, Гесперия привлекла меня к себе, поцеловала тихо и нежно, без той ожесточенной страсти, какую умела влагать в свои поцелуи, и прошептала загадочно, оставляя возможность тысячи самых сладостных надежд:

– Ты потом узнаешь, Юний, как я тебя люблю.

И я, возвращаясь домой в белом свете раннего утра, опять не знал, люблю ли я Гесперию или ненавижу, поклоняюсь ей или презираю ее.

## Х

После этого ночного совещания Гесперия, словно вспомнив обо мне, опять почти каждый день стала присылать за мною раба и проводить со мною целые часы вдвоем в своей комнате. Если она и не любила меня с той силой, как это иногда утверждала, то все же, несомненно, я ей нравился, я ее забавлял, как детей новая игрушка. Она то приближала меня к себе, опьяняла страстными признаниями и нежными прикосновениями, заставляла меня, когда я терял обладание собой, давать ей самые неумеренные клятвы, то снова меня отталкивала, становилась твердой, как Марпесская скала, насмехалась надо мною и подвергала меня всяческим унижениям.

Самые разнородные чувства к Гесперии сплетались в моей душе в клубок ядовитых змей: часто я ее ненавидел с той же яростью, как в медиоланской тюрьме, иногда, забывая все, подчиняясь красоте, ласкам, дружескому обхождению, опять любил со всем пылом юности; порой я верил, что Гесперия относится ко мне, как старшая сестра, заботливо и внимательно, но сейчас же она являлась пре-

до мной, как недоступная царица, и с беспощадной жестокостью напоминала мне, что я – ничем не примечательный юноша, провинциал, не отличающийся, на ее взгляд, ни умом, ни красотой. Гесперия доходила до того, что безжалостно высмеивала все то, что я в порыве откровенности рассказал ей о Рее и ее встречах со мною в Медиолане и о бедной маленькой Намии, тайно ночью пробиравшейся ко мне в спальню, и тут же похвалялась своими прежними возлюбленными, перечисляя консулов, префектов, знаменитых ораторов, послов персидского царя и многих других, которые ее любили. Гесперия дразнила меня такими признаниями, как сторож зверинца раскаленным железом дразнит медведя, а когда я, доведенный до отчаянья, вскакивал, кричал ей в лицо оскорбительные слова, клялся, что уйду с тем, чтобы не возвращаться никогда, – она вдруг делалась похожей на скромную девочку, плакала и умильно просила у меня прощения, повторяя каждый раз:

– Юний, иногда я сама не знаю, что говорю. Некий Демон владеет мною. Прости меня,

Юний, я клеветчу сама на себя. Есть злые силы, витающие вокруг людей, которые иногда поработают их. Я совершу возлияние светлой Минерве, и безумие отпустит меня.

Она проливали на пол несколько капель вина и начинала говорить спокойно и разумно о нашем путешествии, о своих замыслах, о судьбах Города и империи.

С отъездом из Города Гесперия не спешила, так как желала раньше собрать различные подробности о ходе восстания в Британии и о местопребываниях Максима, а кроме того, ей хотелось непременно присутствовать на торжественных играх в Большом Цирке, которые в это время подготавливались, и в виде великой милости она мне объявила, что я ее буду сопровождать на этот праздник.

Игры давал новый префект Города, Авенций, сменивший Басса, и весь Город был полон слухами об этом торжестве, причем говорили, что устроен будет бой гладиаторов, которого давно уже не видел Рим, может быть, вследствие противодействия христианских епископов, считающих грехом все, что возбуждает мужество и жажду жизни. Хотя эти

слухи не оправдались, все же оказалось, что префект не пожалел денег, чтобы его праздник был достоин Города, где игры устраивали великие императоры – Нерон, Домициан, Каракалла: редкостные звери были привезены из Африки и Испании, собраны были лучшие стрелки, вызваны самые знаменитые мимы и привлечены к участию прославленнейшие квадриги со своими агитаторами. Несколько дней не было в Городе другого разговора, как о предстоящих играх, и даже отец Никодим за завтраком не мог сообщить иных новостей, кроме того, что прибыла новая клетка со львами или захромала левая пристяжная у Центуриона.

Гесперия приказала мне зайти за ней, так как хотела выйти из дому вместе со мной, предоставив Элиану отправиться в цирк в обществе других сенаторов. Однако, когда я не без смущения, с каким всегда входил теперь в дом Элиана, пришел к назначенному часу, оказалось, что Гесперия еще не одета, и она – не знаю, с лукавством или простодушно – распорядилась, чтобы меня провели к ней в комнату. Войдя, я увидел Гесперию в одной лег-

кой и прозрачной тунике, с обнаженными руками и плечами, сидящей в глубоком кресле перед большим зеркалом, тогда как орнатрицы и цинерарии хлопотали около нее, убирая ее волосы. Гесперия не забыла при этом взять в руку длинную иглу, которой женщины обычно колют провинившихся прислужниц, и, торопя рабынь, прикрикивала на них гневно и злобно. На этот раз передо мною была не мудрая Гесперия, рассуждающая о природе богов, и не хитрая руководительница тайного заговора, поставившего себе целью видоизменить жизнь всей империи, но обыкновенная женщина, которую всего более заботила ее наружность, ее прическа и ее платье. На меня Гесперия бросила беглый взгляд, сказала, чтобы я подождал ее, и продолжала одеваться, без смущения показывая мне свои мраморные руки, свои ноги снежной белизны, всю прелость своего божественно-совершенного тела.

Поневоле мне пришлось стать свидетелем всех тайн женской красоты, и с намеренным бесстыдством черта за чертой Гесперия открывала мне, какими средствами она дости-

гает дивного очарования своей наружностью. Ее волосы, частью завитые каламистром, были потом собраны на затылке в пышный титул, обвитый голубыми шелковыми повязками; потом на золотых криналах были укреплены на висках особые цинцинны, тщательно подобранные под цвет собственных волос Гесперии, и эти локоны красиво облегли ее маленькие уши; надо лбом было укреплено великолепное фронтале, украшенное крупной бирюзой. Причесанная таким образом, голова Гесперии сделалась истинным созданием искусства, на которое можно было любоваться, как на мрамор Лисиппа, и, право, ловким рабыням можно было присудить лавровый венок за их искусство. После волос настала очередь лица, и перед Гесперией появился целый круг всевозможных ампулл и унгентариев, склянок, глиняных, мраморных и серебряных сосудов для различных притираний, духов и красок. Уже другие рабыни, в совершенстве знавшие свое дело, маленькими губками растерли щеки, нос и подбородок Гесперии, подкрасили ей губы в ярко-алый и уши в нежно-розовый цвет, сдела-

ли еще более черными ее широкие брови и еще более длинными ее глубокие ресницы. Ее лицо, прекрасное само по себе, после этих забот приобрело ту неземную красоту, которая при взгляде на нее каждый раз заставляла вспоминать о бессмертных богинях. Далее выступили рабыни-обувальщицы, которые облекли ступни Гесперии в роскошные маленькие алуты с жемчужинами и оплели ноги до самых колен шелковыми лентами. Затем с большой осторожностью, как драгоценность, была принесена новая шелковая стола, складки которой были заранее намечены и разглажены, и начался обряд облачения, совершавшийся с таким благоговением, словно одевалась жрица перед жертвоприношением. После всего этого немалый срок занял выбор фибулы, подходящей к цвету столы, и еще больший – выбор ожерелья, серег, браслетов и колец из нескольких серебряных ларцов, поставленных перед Гесперией на столе.

Только в эту минуту Гесперия, наконец, обратила свое внимание на меня и, примеривая золотое ожерелье с гиацинтами, спросила меня, идут ли эти камни к цвету ее лица. Я, разу-

меется, ответил, что на ней все – прекрасно, а она, оглядев меня с головы до сандалий, заметила насмешливо:

– Однако сегодня и ты, Юний, принарядился! завился, как асийский барашек!

Чтобы не обижать Гесперию, я не ответил ей ничего, хотя и подумал, что ей всего менее подобает упрекать другого в заботах о своей наружности, так как времени, потраченного ею на одевание, Цесарю, конечно, достаточно было бы для того, чтобы разбить отряд мятежным галлов.

Когда в конце концов Гесперия бросила последний взгляд в зеркало, в последний раз подправила какой-то непокорный локон и провела последнюю черточку под левым глазом, она сама же стала меня торопить:

– Идем, Юний, наш второй спутник, наверное, дожидается нас.

«Неужели это – Юлианий», – с досадой подумал я, но в атриум среди небольшого круга посетителей, ожидавших Гесперию, его не оказалось. Зато с изысканной вежливостью поспешил к ней Цесоний, с которым я познакомился на ночном совещании, и напомнил,

что должно спешить, если мы хотим застать начало игр. Довольно было взглянуть на Цесония, чтобы догадаться, что он на свое одевание употребил не меньше стараний, чем сама Гесперия, потому что его тога, – изделие какого-нибудь знаменитого браккария, – располагалась вокруг его стана самыми причудливыми складками, а его лицо было раскрашено, как восковая статуя. Рядом с ним и с Гесперией я должен был иметь вид не только скромный, но и жалкий, и это меня несколько смущало и делало неловким. Наедине с Гесперией в ее комнате я чувствовал себя равным ей, смел говорить с ней резко и властно, но, появляясь с ней перед глазами других, я ясно сознавал себя человеком другого круга, втершимся не в свое общество. Мне даже показалось, что Цесоний приветствовал меня и обращался со мною как-то свысока, словно снисходя ко мне лишь потому, что меня по своей прихоти избрала Гесперия, и это чувство еще более раздражало меня.

Сказав несколько любезных слов другим посетителям и обещав встретиться с ними в цирке, Гесперия Цесония и меня позвала сле-

довать за собой. Хотя дни стояли уже теплые, сверх столы она накинула легкую паллу, а волосы, как весталка, закутала тонкой тканью. У дверей Гесперию дожидались богатые носилки и толпа рабов; Цесоний, ловко опередив меня, помог ей сесть и опустил занавески; рабы размеренным шагом двинулись вперед, а мы пошли вслед, и мне поневоле пришлось разговаривать с моим спутником. Но разговор этот состоял в том, что Цесоний покровительственно расспрашивал меня, давно ли я в Городе, что в нем видел, у какого профессора слушаю чтения и все подобное, заставляя меня, как ученика, отвечать ему. Вспоминая, что даже Симмах беседовал со мною, как равный с равным, я тут же в душе дал себе клятву никогда не вмешиваться в чуждое мне общество знати.

По мере того как мы приближались к Большому Цирку, стечение народа все увеличивалось, и скоро рабам стало уже нелегко прокладывать себе дорогу через сплошные ряды идущих людей. Перед нашими глазами словно разыгрывалась в лицах картина, нарисованная сатириком, так как, действительно,

жители всего земного круга теснились к Римскому амфитеатру, все в своих народных одеждах, и с белыми тогами квиритов смешивались пестрые плащи индийцев, полосатые – персов, желтые – мидийцев, причудливое одеяние египтян, аравитян, африканцев, скифские меха, британские шапки, украшения из перьев на обитателях дальних островов. Так много было иностранцев в этой разноцветной толпе, что Рим казался только наполовину населенным Римлянами, причем все говорили, кричали и ругались на своем языке, и самые странные, непонятные восклицания раздавались кругом, по-гречески, по-египетски, по-германски, гортанные говоры народов Африки, изнеженный распев жителей Востока, птичьи звуки, исходящие из уст индийцев, – наречия всех стран, над которыми только пробегает колесница Феба.

Около самого цирка стечение народа было еще заметней, и рабы, бежавшие впереди носилок Гесперии, должны были упорно работать локтями и даже кулаками, чтобы подвигаться вперед, в ответ на что нас осыпали градом разноязычной брани. Хотелось повто-

рить молитву дочери Аппия Слепого, высказавшей пожелание, когда ее слишком стеснила толпа, выходявшая из театра, чтобы ее брат воскрес и проиграл еще одно морское сражение, погубив столько же граждан, сколько в первом! Проникнуть к самым входам в цирк казалось совершенно невозможным, потому что около каждого из них происходили маленькие сражения между стражами и толпой, пытавшейся ворваться насильно. Ежеминутно возникали буйные ссоры по поводу того, что кто-нибудь пытался войти без тессеры или не с того входа, который был указан на его тессере, слышались угрозы и ругательства. Наконец носилки решительно остановились, так как мы оказались перед сплошной толпой народа, и Гесперия, высуновшись на минуту, спросила недовольным голосом:

– Что же это такое? Не стоять же мне целый час посреди площади! Цесоний, устрой это дело!

Что до меня, то я был в этом отношении совершенно беспомощен и только старался держаться ближе к носилкам, чтобы озлоблен-

ная толпа не отомстила мне за те толчки и удары, которые направо и налево раздавали рабы Гесперии. Но Цесоний мужественно втиснулся в самую гущу народа, подвергая крайней опасности свою изысканную тогу, добрался до десигнатора, стоявшего у входа, и потребовал у него защиты жене сенатора. Десигнатор тотчас же отправил к нам на помощь двух стражей, рослых пафлагонцев, и они благополучно проводили нас всех троих до ближайшего vomitorия, через который мы беспрепятственно и проникли в цирк.

За всю зиму, проведенную мною в Городе, мне еще не пришлось побывать в цирке, и понятно, что я с величайшим любопытством рассматривал открывшееся передо мною зрелище. Нам были предоставлены места в первом мениане, поблизости от подия, тотчас за сенаторскими, и притом в кунее, приходившемся как раз против первой меты, так что самые важные части состязания должны были происходить прямо перед нами. Вместе с тем нам был виден весь необъятный цирк, дивное создание Домициана, заставившее поэта воскликнуть в восторге:

*Варварский пусть не твердит пирамид о чуде нам Мемфис;  
Ревностный пусть Вавилон стен не возносит своих;  
Нежные пусть ионийцы не хвалятся храмом Дианы,  
Выю да склонит алтарь, что из рогов возведен;  
И Мавсолей, уходящий в открытое небо, карийцы  
Черезмерной хвалой пусть не возносят до звезд!*

Слева от меня был «городок», красивое строение, где находились комнаты для участников состязаний, конюшни для беговых лошадей, клетки для зверей; прямо – тянулась спина, уставленная обелисками, колоннами, фалами, статуями; кругом, словно холмы, опоясавшие долину, возвышались кавей, уже усеянные все прибывавшими толпами народа. Над рядами голов поднимались новые ряды, людские волны колыхались, кричали, шумели, как волны морские. Головы на самых верхних ярусах казались маленькими мячиками и на противоположной нам, солнечной, стороне сливались в длинное, смутное пятно.

Я подумал о том, сколько тайных радостей таится в этом человеческом море, сколько соединено здесь счастливых пар, и мне вспомнился стих Насона, советующий пользоваться амфитеатром для сближения с своей милой:

*Можешь к ней в тесноте даже  
прижаться совсем!*

Но, разумеется, это не относилось к тем рядам, где находился я, где все держали себя чинно и строго, словно в консистории принцепса. Каждую минуту мимо нас проходили сенаторы и сановники, все они почтительно приветствовали Гесперию, здоровались с Цесонием, останавливались, чтобы сказать несколько слов, и изумленно поглядывали на меня, а я себя чувствовал почти несчастным, попав на не принадлежащее мне место.

Так как мы пришли поздно, то вскоре после того, как мы заняли свою скамью, раздались звуки труб, раскрылись ворота помпы, и началось торжественное шествие всех участвующих в играх и состязаниях. Впереди ехал устроитель игр, новый префект Города, Авенций, одетый в тогу, подобную триумфальной,

на колеснице, запряженной белыми лошадьми, сопровождаемый толпой друзей, клиентов и служащих своей консistorии. За ним шли музыканты-энаторы, наполнившие всю арену звуками туб и букцин; далее на колесницах, запряженных четверкой, – знаменитые агитаторы, собиравшиеся оспаривать друг у друга победу, одетые в цвета своей партии, синие и зеленые, похожие на кукол, так как они были словно спеленаты широкими лентами, не позволяющими им ничем зацепиться во время бега; еще далее – охотники, которые должны были показать сегодня свою ловкость и силу в борьбе с дикими зверями, в причудливых одеждах разных стран и со своим оружием в руках; наконец, сзади всех, мимы, плясуны и петавристирии, которым предстояло закончить представление. Шествие медленно обходило спину, так чтобы все зрители могли подробно рассмотреть его, и Цесоний, с видом знатока, называл Гесперии по именам всех участников и даже всех лошадей, особенно фунал.

Я не буду описывать подробно всех игр, которыми наслаждался, быть может, с излиш-

ним любопытством провинциала, вызывая явно насмешливые улыбки Цесония, и скажу только, что этот день поддержал давнюю славу Римского цирка, являющегося образцом такого рода состязаний для всей империи.

Как только Авенций бросил на песок красную мапу, подав тем знак к началу состязаний, как одно зрелище за другим, словно ряд чудес, стали представлять пред восхищенными взорами зрителей. Мы забавлялись ловкостью, с какой опытные охотники захватывали петлей шеи диких серн, пролетающих по арене, как дуновение степного ветра; смотрели с замиранием сердца, как целая свора свирепых медведей металась вокруг спины, и как один за другим из них падал под метким дротиком отважных иберийцев; любовались громадными скачками могучих рыжих львов, на которых были выпущены еще более сильные быки, поднимавшие на рога царей животных; женщины взвизгивали от страха и восторга, когда растворились дверцы клетки, и появились изящные леопарды, полосатая шкура которых красиво оттенялась на мраморе колонн и статуй, а против этих опасных со-

перников выступили смелые индийцы, вооруженные только тонким луком с губительными стрелами; когда, однако, один из охотников не успел уклониться от яростного прыжка зверя и тот, ринув его на землю, впился зубами в его шею, радостный гул пробежал по всем менианам, и я понял, что еще не угас в народе древний Римский дух, позволяющий смотреть в глаза смерти! Еще много было показано нам других чудовищ, привезенных из галльских лесов, со снежных уступов Альп, из дебрей Гетулии, из пустынь Мавритании, и зрители вдоволь могли насладиться и видом редких животных, и искусством охотников, и страшным зрелищем убийства.

Когда кончилась первая часть представления и на арену вышли служители, чтобы замести следы крови и убрать валяющиеся трупы, Гесперия предложила мне с Цесонием сопровождать ее под аркады, где посетители проводят время перерыва между представлениями и расправляют члены, уставшие от долгого сидения. Едва мы оказались в пестрой толпе прогуливающих, в которой сно-

вали торговцы с фруктами и прохладительными напитками, как тотчас Гесперию окружили ее знакомые, в шитых золотом трабеях, завитые, блистающие золотом перстней, и затрещала, как крепитакул, та легкая беседа, в которой я не мог принять участия, так как говорили о людях, мне незнакомых, о событиях, мне неизвестных: о чьих-то свадьбах, похоронах, о назначениях на разные должности, о предстоящих обедах, обо всем, чем живет круг сенаторов и всадников. С досадой в душе я плелся сзади Гесперии, как вдруг услышал свое имя и, оглянувшись, к еще большему неудовольствию, увидел Юлиания. Опять, как если бы ничего не случилось, он самоуверенно взял меня под руку и начал расспрашивать, как понравились мне игры. Хотя я отвечал нехотя и очень кратко, Юлианий продолжал свою болтовню и спросил меня, поставил ли я какой-нибудь заклад на предстоящее состязание квадриг.

– Я держу громадный заклад за зеленого, – сказал Юлианий, – и советую тебе сделать то же. За него платят пять против одного, но он должен прийти первым. Я вчера всю ночь

провел в конюшнях и знаю лошадей, как свою ладонь. Хочешь, я устрою тебе заклад? Ставь смело все деньги, сколько с тобою есть.

Я, разумеется, отказался от заклада уже по одному тому, что денег у меня почти совсем не было, и тогда Юлианий, понизив голос, попросил у меня займы, говоря, что хочет поставить еще и на второй бег, триг, чтобы окончательно обеспечить себе выигрыш. Когда же я и в этом довольно резко отказал Юлианию, он, пожав плечами, с оскорбленным видом отошел от меня, чему я был очень рад. Но сейчас же около меня оказался Ремигий.

– Как тебе не стыдно, – сказал он, – продолжать знакомство с этим негодяем, недавно оскорбившим меня! Это не по-товарищески!

Я не успел ответить Ремигию, как он продолжал:

– Конечно, это – твое дело. Но все же я хочу с тобой посоветоваться именно об этом твоём приятеле. Квинтилиан где-то говорит, что нет ничего слаще мести, и я с ним согласен вполне. Ты удивлялся, где я пропадал эти последние дни. Теперь я могу тебе сказать, что упо-

требил их на то, чтобы выследить моих обидчиков. Как самый добросовестный соглядатай, я разузнал все, что только можно было, о Помпони и о Юлиании, и, наконец, обоих их держу в своих руках, как паук мух в паутине. Первая очередь за Юлианием, который к тому же сам, во всех копонах, болтает про себя столько, что не стоит большого труда вывернуть его жизнь наизнанку.

Отведя меня под аркаду, где стояла какая-то статуя, Ремигий, спеша и путаясь, стал передавать мне все то, что он разузнал про Юлиания. Я не знал, куда смотреть, когда Ремигий, как великую тайну, сообщил мне, что Юлианий участвует в заговоре, направленном против жизни божественного Августа. Но мое смущение и мое негодование на болтливость Юлиания перешли в настоящее негодование, когда Ремигий приступил ко второй части своих сообщений. По его словам, у Юлиания были несомненные сношения с консistorией префекта и даже непосредственно с чинами школы *agentium in rebus*. Не раз видели, как Юлианий тайно пробирался в консistorию префекта и как в малопосещаемых

копонах он вел беседы с подозрительными людьми, по всему похожими на императорских соглядатаев. Замечали при этом, что после посещения префекта у Юлиания появлялись деньги, причем он объяснял, что получил их из Вифинии от своего дяди, которого, по всей вероятности, у него вовсе не было.

– Я не сомневаюсь, – закончил Ремигий, – что этот Юлианий нарочно заманивает различных лиц в свой заговор, чтобы после выдать их префекту. Он – предатель по природе, и его темной душе низкие поступки столь же пристали, как Геркулесу его дубина или Амуру его лук. Мне доносить – противно, но я думаю, что сделаю доброе дело, если обличу Юлиания раньше, чем он приведет в исполнение свои постыдные замыслы.

В крайнем волнении я не знал, что отвечать Ремигию, так как, ревностно преследуя Юлиания, он мог тем самым погубить меня, Гесперию и всех нас. Но сказать этого Ремигию я не мог и удовольствовался тем, что стал уговаривать его помедлить, настаивая, что всякий донос, даже с добрыми целями, – дело недостойное Римского гражданина. Ремигий

возразил мне:

– Не думаю, чтобы медлить было уместно. Я знаю много другого о Юлиании: знаю, что он запутан в долгах до последнего волоска. Недавно он представил одному аргентарию заемное письмо от богатого торговца из Коринфа. Аргентарий, проверив подпись, заплатил деньги. А теперь оказывается, что подпись была поддельная. Юлианию грозит позор и тюрьма, если он не вернет деньги. Ты понимаешь, что ввиду этого он сам не будет медлить, и я тоже должен поторопиться, если хочу предупредить его.

Наш разговор был прерван звуками труб, объявлявших начало бега. Расставшись с Ремигием, я пошел на свое место, обеспокоенный и встревоженный, но долгое время не мог выбрать минуты, чтобы передать все Гесперии. Она сначала была всецело занята болтовней с окружавшими ее знакомыми и только из вежливости обращала ко мне отдельные слова, а потом с не меньшим любопытством увлеклась зрелищем бега, так как держала крупный заклад за квадригу синих. Она рукоплескала избранному ею агитатору, кри-

чала ему приветствия вместе с чернью верхних рядов и во время самого бега даже встала с места, чтобы лучше следить за его ходом. Лицо ее под слоем румян покраснелось, глаза разгорелись, и можно было подумать, что в жизни ничто, кроме конских ристаний, ее и не занимает.

Что до меня, то, в своем волнении, я уже не мог следить с прежним вниманием за происходящим на арене. В этот день было лишь два заезда, причем в одном из них участвовало четыре квадриги, а в другом пять триг, но то были лошади, снискавшие всесветную славу в амфитеатрах Италии, Галлии и Испании, и на колесницах стояли наездники, имена которых с благоговением произносились всеми любителями этого рода состязаний. В самом деле, трудно представить себе зрелище более красивое, более увлекательное, чем стремительный бег этих новых Триптолемов, которые, стоя неподвижно, как бронзовые статуи, сохраняли на всем лету полное присутствие духа, правили, натянув вожжи, всеми четырьмя лошадьми, и на поворотах, огибая обе меты, когда колесницы наклонялись к земле

почти под прямым углом, умело выбрасывали вперед свою четверню. Лошади, явно понимая, что от них требуют, напрягали все свои силы, вытягивали шеи, и казалось, что их ноги не касаются земли, что еще миг – и эти Пегасы взлетят на воздух, оспаривая первенство у крылатых драконов Медеи. Не обошлось без неудачи, и одна колесница, облетая на седьмом круге вторую мету, со всего размаха опрокинулась на песок, но я видел, как наездник вовремя взмахнул левой рукой, в которой держал острый нож, одним ударом обрубил вожжи, крепко намотанные на его правую руку, и тем спасся от неминуемой гибели, потому что упал в стороне, отброшенный силой падения на несколько шагов, а не под ноги лошадей и не был повлечен дальше. Пока я засмотрелся на эту сцену, в которой проявилось поразительное самообладание и ловкость человека, шумные крики и гул рукоплесканий показали мне, что состязание окончено: против ожидания всех, победили, как предсказывал Юлианий, зеленые, которые давно уже не были первыми у меты, и громадное большинство зрителей проиграло

свои заклады. С приветственным гулом смешивались восклицания недовольных, и раздавались крики, обвинявшие наездников в обмане. Гесперия, также проигравшая, рассердилась не в шутку и, когда я попробовал заговорить с ней, отвечала мне гневно, что я ей мешаю.

Недовольство зрителей возрастало и грозило перейти в открытое буйство, и когда возничий-победитель появился на своей колеснице перед рядами, чтобы, согласно с обычаем, торжественно объехать вокруг арены, его встретили свистками и негодующими восклицаниями: «обманщик», «мошенник». Распорядители поспешили со вторым бегом, и на арене быстро появились триги, не менее красивые и не менее знаменитые, чем только что бежавшие квадриги. Снова повторилось захватывающее дух зрелище летящих лошадей, и так как на этот раз победил общий любимец, агитатор Центурион, то цирк понемногу успокоился. После второго бега следовали любопытные упражнения десульторов, которые скакали, стоя, на неоседланных лошадях, выезжали сразу на двух лошадях, то

перепрыгивая с одной на другую, то стоя каждой ногой на спине одной из них, наконец, прыгая, на всем скаку лошади, сквозь обручи и через протянутые канаты. Это представление примирило всех с проигрышем, и, когда был объявлен второй перерыв, народ опять с веселым шумом хлынул волнами под аркады.

Только в эту минуту я нашел время пересказать Гесперии то, что мне сообщил Ремигий, но того впечатления, какое мои слова на нее произвели, я не ожидал. Сразу сбежала у нее с лица та приветливая улыбка, с которой она не расставалась в цирке, сразу пропала ее легкомысленная веселость, и я опять увидел перед собой ту Гесперию, которую знал. Нахмутив брови, она мне сказала:

– Я давно подозревала, что Юлианий замышляет предательство, но думала, что мы обеспечены теми уликами, какие есть в наших руках против него. Однако проигравшийся игрок иногда ставит на кон, как в индийских сказках, свою жизнь. Если твой друг прав и Юлианий точно вступил в сношения с префектурой, – нам может грозить большая беда. Необходимо в самом скором времени

сделать это все яснее зеркала.

Я объяснил Гесперии причины, почему в этом деле был дорог каждый час, и она нахмурилась еще больше. В течение нескольких мгновений, забыв, что она находится в цирке, что на нее устремлены тысячи глаз, Гесперия, стоя у колонны, раздумывала, видимо, ища выхода из затруднения. В это самое время я увидел, что к нам приближается Элиан, но Гесперия уже подняла голову с прояснившимся взором, обменялась с мужем какими-то незначащими словами, ничего ему не сказав о моем сообщении, и потом отозвала меня опять в сторону.

– Юний, – сказала она мне, – ты должен немедленно достать мне дощечки и стиль: мне надо написать письмо.

Я понял, что отказываться нельзя, и, не возразив ни слова, пошел на поиски. По счастью, мне пришло в голову обратиться в «городок», и, так как несколько мелких монет у меня с собою было, я скоро вернулся к Гесперии и, торжествуя, передал ей то, что она просила. Даже не поблагодарив меня, она наклонилась к окну, выходявшему на площадь,

быстро написала несколько строк, а потом вновь обернулась ко мне.

– Видел ты, – спросила она меня, – против нас, во вторых рядах, юношу, курчавого, с буллой на поясе, особенно негодовавшего после проигрыша синего? Я знаю, что он служит в консистории префекта, и слышала, что он давно мечтает о знакомстве со мною. Я тебе сейчас укажу его, а ты передашь ему мое письмо.

Мы вернулись на наши места, и Гесперия показала мне на завитого щеголя, похожего скорее на торговца ароматами, чем на будущего сановника империи. Я все еще недоумевал, не понимая, что намерена сделать Гесперия, она же, заметив это, с легкой усмешкой, прежде чем запечатать таблички, подала их мне.

– Если хочешь, прочти, – сказала она. Искусшение было слишком сильно, и я пробежал глазами написанное. В письме стояло следующее:

«Ты, может быть, знаешь меня, но я до сегодняшнего дня тебя не знала. Твои глаза мне нравятся, и я желала бы говорить с тобою. Ес-

ли таково и твое желание, будь сегодня, по окончании игр, у Большого рынка, у средней колонны, и последуй за женщиной в черном, которая позовет тебя. Может быть, твои мечты неожиданно исполнятся. Не „прощай“, но „здравствуй“!»

Гесперия невозмутимо смотрела на меня, когда я читал это письмо, в котором она назначала совершенно ей незнакомому человеку любовное свидание, когда же я кончил чтение, добавила:

– Он догадается, что писала я, потому что сейчас пристально смотрит на нас. А про меня рассказывают в Городе, что я выбираю своих любовников на улицах, так что он письму не удивится. Итак, ступай и исполни мое поручение.

– Где же ты будешь с ним разговаривать, не на улице же? – спросил я.

Гесперия улыбнулась.

– У меня есть для таких встреч свое убежище, – отвечала она. – Когда-нибудь я тебе покажу его.

Я не стал спорить дальше и с тяжелой душой пошел исполнять странное поручение.

Проплутав довольно долго по разным прецинкционам, потолкавшись от одного балтея к другому, я, наконец, добрался до того места, где сидел незнакомец, и, вежливо поклонившись, передал ему письмо Гесперии со словами:

– Это мне поручила отдать тебе одна женщина, имя которой ты, может быть, угадаешь.

Едва незнакомец взял письмо, я, не глядя на него, быстро удалился и почти бегом вернулся на свое место.

Последнюю часть представления я смотрел еще невнимательнее, нежели бега, хотя весь цирк хохотал, видя забавные кривляния мимов и головоломные упражнения петавристариев. Была разыграна целая пантомима, заново сочиненная и намекавшая довольно явно на неудачу Сенаторского посольства, ездившего в Медиолан, по делу об алтаре Победы. Впрочем, аттической соли в пантомиме не было, и ее автор далеко не сравнялся в остроумии с Аристофаном, так что никто не мог на нее обидеться. Представление закончилось великолепным изображением пожара, охватившего целый дворец, быстро для этого

воздвигнутый на арене. Перед глазами зрителей горели целые башни и рушилось целое здание, а в огне скакали и кривлялись ловкие плясуны, вызывая восторг всего собрания. Эта последняя часть игр понравилась едва ли не больше всех, и народ, расходясь, громко выражал свою благодарность Авенцию, сумевшему поддержать славу Римского цирка и предания своей семьи, хотя, как передавали, он и был тайным христианином.

Прощаясь со мною, Гесперия мне сказала:

– Ты, Юний, можешь идти домой отдыхать; мне же предстоит еще работать для нашего общего дела. Клянусь Юпитером, сегодня я узнаю всю правду о Юлиании. И на нашем ночном собрании он сам произнес свой приговор, говоря о рабе, замышлявшем предательство.

– Если окажется, что мой Ремигий прав?.. – спросил я, не доканчивая речи.

– Юлианий умрет, – спокойно ответила Гесперия.

Опять я содрогнулся, глядя на эту женщину, которая утром вся была предана заботам о своей красоте, тратила часы на притирания

и выбор украшений, а вечером обрекала на смерть, может быть, своего любовника, которого несколько недель назад обнимала, целовала и называла нежными именами. «В каких новых обликах предстанет мне этот Протей, принявший пока вид женщины, – думаю, – и не будет ли права моя Реа, если она, встретившись с ней, признает ее за воплощение христианского Дьявола?» Так я думал, возвращаясь из цирка в унылый дом сенатора.

## XI

Подобно тому как река, приближаясь к тому месту, где она свергается водопадом, начинает течь стремительней, так жизнь иногда ускоряет свое течение, словно готова упасть в разверстую бездну. Сколько ни успел я привыкнуть к быстрой смене событий за те месяцы, что провел в Городе, все же новый водоворот моей жизни, закружившийся после того дня, когда с Гесперией я был в цирке, опять меня поразило и ошеломило. В два-три дня я видел столько перемен, совершившихся в судьбе людей, мне близких, что мне казалось, будто некий Демон то бросает

меня в огонь, то опускает в ледяную воду.

Утром, после праздника, данного новым префектом Города, я поспешил к Ремигию, чтобы остеречь его от какого-нибудь необдуманного и поспешного поступка. Я ожидал, что застану своего друга унылым, распростертым на ложе, обдумывающим, как Фиест, замыслы мести, но, вместо того, столкнулся с ним в дверях дома, где он жил, и лицо Ремигия, против обыкновения последних дней, было оживлено и обличало радость. Увидя меня, он схватил меня за руку и воскликнул:

– Милый Юний, я только что узнал, что моя Галла вчера бросила Помпония, ушла из дома, не взяв с собой ни одного криналя. Я бегу к ней. Я был уверен, что она – девушка добрая!

Большого от Ремигия я не мог добиться и только попросил его, до новой встречи со мною, не предпринимать ничего против Юлиания. Ремигий так был увлечен полученным им известием, что охотно дал мне обещание, какое я просил, и убежал от меня, словно на крыльях Эвра. В ту минуту я порадовался удаче друга и в душе возблагодарил

за него Киприду бессмертную, все устраивающую к лучшему.

Подумав, что мне делать, я направился было к Гесперии, но раб-придверник объявил мне, что госпожа спит и сегодня не позволила пускать к себе никого. Так как идти в школу у меня не было охоты, то я вернулся в дом сенатора и поспел прямо к завтраку. Ничего не подозревая, я занял свое привычное место, между дядей и отцом Никодимом. Этот, по своему обыкновению, набивая усердно себе желудок, не забывал высыпать перед своими невнимательными слушателями свежие новости Города.

На этот раз отец Никодим, конечно, говорил о вчерашних играх, восхваляя мудрость префекта Авенция, не позволившего выступить на арене гладиаторам. Отец Никодим приписывал это влиянию Амбросия, которого, по его словам, Авенций очень уважал и с которым был в постоянной переписке. Дядя, почти всегда слушавший доклады христианского священника молча, на этот раз вмешался в беседу и сказал:

– Хоть и не по душе мне поступки этого

Амбросия, но я ценю в нем истинного Римлянина, истинного Аврелия. Став христианским епископом, он остался Римским магистратом. Церковью он управляет, как префект, и с императором говорит, как первый из сенаторов.

Тетка, разумеется, с негодованием осудила сравнение, сделанное мужем, а отец Никодим, тоже защищая епископа, стал говорить о его пребывании в Городе. Амбросий был в Риме в те недели, когда я томился в медиоланской тюрьме, и, по словам отца Никодима, в эти дни знатнейшие матроны оспаривали друг у друга честь принять в своем доме славного гостя; Амбросий же всех изумлял простотой своего обращения, силой своего ума и даже способностью творить чудеса. Я рассеянно слушал сомнительные рассказы о том, как Амбросий исцелял немых и параличных, и длинную повесть о том, как он, когда хозяин одного дома стал похваляться перед ним своими богатствами, молча встал и вышел, а дом на другой день обрушился. Но вдруг отец Никодим обратился прямо ко мне.

– Да вот вам другой пример, – сказал он, – самый новый. Ты, Юний, кажется, знал

несчастливого молодого человека, именем Юлианий, который, подобно тебе, упорствовал в заблуждениях идолопоклонства. Однажды, когда епископ шел по улице Города и все почтительно давали ему дорогу, навстречу попался этот Юлианий и, несмотря на то, что был гораздо моложе годами, пути не уступил. Спутники святого человека хотели достойно проучить дерзкого юношу, но сам Амбросий строго запретил им это, скромно посторонился и только сказал: «Этот человек кончит плохо».

– И что же? – спросил я в волнении.

– Сегодня предсказание исполнилось, – торжественно произнес отец Никодим. – Юношу нашли в его комнате повесившимся.

Тетка и Аттузия, ахнув, молитвенно вознесли руки, я же воскликнул:

– Не может быть! Я еще вчера видел Юлиания; он был здоров, весел, вовсе не намеревался кончать жизнь...

– Что жизнь человеческая, – возразил отец Никодим. – Как цветок полевой, сегодня цвел, а завтра спросишь, где он, и нет его.

– Так это правда? – опять спросил я, потому

что не мог примириться с известием. – Юлианий сам наложил на себя руки?

– Я знаю это от человека верного, – возразил отец Никодим.

Дядя снова вмешался и тоже высказал сомнение:

– Ты что-нибудь путаешь. Я видал Юлиания. Он был повеса, но добрый Римлянин. Никогда не выбрал бы он род смерти, достойный раба: истинные Римляне, когда решались умереть, открывали себе жилы.

– Одинаково постыдно, – наставительно заметил отец Никодим, – умереть от кинжала и от веревки, если Создатель не позвал еще к вечной жизни.

Он добавил к рассказанному несколько подробностей. Накануне Юлианий был в цирке и выиграл большой заклад. Получив деньги, он повел друзей в ночные копоны и пировал до утра. Но еще раньше полуночи к нему пришел неизвестный человек, объявивший, что должен его дожидаться. Действительно, он дождался возвращения Юлиания и ушел из дому пред рассветом. Утром соседи удивились, увидя дверь в помещение к Юлиания отво-

ренной, и, войдя к нему, нашли уже похолодевший труп.

Споров, поднявшихся за нашим столом о том, сам ли Юлианий покончил со своею жизнью или был убит ночным посетителем, я почти не слушал. В страшном событии мне виделась рука Гесперии, и крайнее волнение потрясло меня. С трудом дождавшись конца завтрака, я опять побежал на Целий.

Раб-придверник повторил мне те же слова, как утром, – что госпожа не велела пускать к себе никого. Но так как я настаивал упорно и так как меня хорошо знали в доме, раб согласился, наконец, передать мою просьбу одной из рабынь. Та пошла сказать о моем приходе Гесперии и, вернувшись, сообщила, что госпожа согласна меня видеть, но только на несколько минут, так как у нее болит голова.

Меня провели в комнату Гесперии: там она лежала на ложе, завернувшись в легкий плащ, который закрывал ей даже лицо. На мои беспокойные вопросы Гесперия отвечала нехотя и очень сдержанно; когда я спросил, узнала ли она правду о Юлиании, ответила:

– Нет, Юний, представь себе: тот человек

не пришел на назначенное место, и я напрасно прождала его полчаса.

Не поверив Гесперии, я спросил ее прямо:

– А знаешь ли ты, что Юлиания нашли сегодня утром повесившимся или кем-то повешенным?

Гесперия выставила маленькую часть лица из-под ткани, которой его кутала, посмотрела на меня и сказала протяжно:

– Я этого не знала. Конечно, он сам произнес над собою суд. Тем лучше для нас, мы избавлены от хлопот наказывать изменника.

Больше я ничего не мог добиться от Гесперии и ушел от нее с уверенностью, что она притворяется, что все свершившееся было подстроено ею, этой Харибдою, созданной на погибель людей.

Покинув Гесперию, я принялся вторично разыскивать Ремигия, но это мне не удалось, так как его не оказалось ни дома, ни в тех копонах, которые он обычно посещал. Но, толкаясь по Городу без цели, я неожиданно увидел самую Галлу, но не в бедной одежде, пешком, как я думал ее встретить после рассказа Ремигия, но в новых роскошных носилках, бо-

лее богатых, чем могли у нее быть при Помпони. Человек двадцать рабов сопутствовало ей, расталкивая впереди толпу, и Галла, небрежно развалясь, разглядывала, сквозь большой изумруд, раздвигавшихся перед ней прохожих. Изумленный, я протиснулся к носилкам и приветствовал девушку.

– А, это ты, Юний, – сказала мне Галла, нарочно коверкая выговор, наподобие того, как произносят по-латыни гречанки, – очень тебя рада увидеть. Если ты свободен, иди за мной.

Я последовал за носилками и, конечно, спросил, правда ли, что Галла покинула дом Помпония.

– Да, – отвечала она, – он мне надоел своею скарденностью. Я просила его подарить мне жемчужное ожерелье, которое высмотрела в таберне около Форума; это ожерелье очень шло ко мне, и я хотела явиться в нем на вчерашних играх. Помпоний же, потерявший какие-то деньги из-за слухов о гражданской войне, мне отказал. Тогда я предпочла уехать от него.

– Где же ты сейчас живешь? – спросил я.

– Увы, – я покидаю Город, – ответила де-

вушка, – меня увозит на Восток пресид Кариин.

Это было ново, и я осведомился:

– Ты намерена там остаться навсегда?

– Ни в каком случае, – быстро возразила Галла, – я не люблю греков. Но моего нового друга, наверное, скоро переведут в Галлии, и я вернусь с ним. А после покажусь снова и в Городе. Я еще заставлю Римлян говорить обо мне.

Судя по стремительным успехам, какие сделала эта девушка на моих глазах, я не сомневался, что она сдержит свое слово, и только спросил еще:

– А что же Ремигий? Он не едет с тобой?

Галла прищурила глаза и сказала:

– Он для меня слишком тощ. Я люблю птицу пожирнее.

После такого ответа я попрощался с Галлой и вернулся домой, не ожидая ничего хорошего для моего друга.

На другой день Ремигий ворвался ко мне, когда я был еще в постели. Вид у него был расстроенный, он был бледен и говорил порывисто.

– Ты все знаешь, Юний? – спросил он.

– О Юлиании?

– Нет, о ней, о Галле!

Я ответил, что знаю все, и Ремигий разлился в потоке бесконечных жалоб.

– Кому мне теперь мстить? – спрашивал он. – Меня все обманули. Жертва моя ушла из моих рук. Помпоний сам одурачен. Пойти и убить Галлу? Но разве она стоит того?

Напрасно я указывал Ремигию, что он сам подготовил свою судьбу, отдав свою любовь девушке из лупанара, – он не хотел слушать никаких доводов, продолжая называть себя несчастнейшим из смертных. Исчерпав все убеждения и утешения, я воспользовался тем, что на столе у меня лежала книга Сенеки, которую я читал перед сном, и, взяв ее, я привел моему другу несколько изречений мудреца: «Человека доблестного можно назвать несчастным, но быть несчастным он не может», «Огнем испытывается золото, несчастьем – сильные люди», «Бедствие есть причина проявить доблесть», – и другие подобные.

Ремигий вырвал свиток из моих рук, яростно швырнул его в угол и закричал:

– Проклинаю всех древних мудрецов и всю мудрость мира! Мы не живем, а только проверяем изречения древних! Всю нашу жизнь мы превратили в подражание старине! Не хочу ее больше! Прошлое умерло, и мы, новые люди, чувствуем по-новому. Пусть Сенеке казалось доблестью сносить несчастья, а я не хочу терпеть их, и у меня найдется средство избавиться себя от печальных дней.

Горячность, с какой Ремигий говорил эти слова, напугала меня, и я, поспешно одевшись, предложил моему другу погулять, так как не хотел оставлять его одного. Ремигий неохотно согласился, мы пошли сначала на форумы, любуясь никогда не утомляющим зрелищем пестрой, шумной, переменчивой толпы, потом сидели в какой-то копоне, и я уже думал, что успокоил друга. Но когда я стал ему говорить, как стыдно отчаиваться при первой неудаче в жизни, он возобновил все свои жалобы. И как прежде Ремигий был неистощим, подбирая все новые доводы в пользу того, что жить легко, весело и приятно, так теперь он, словно бусы на нитку, нанизывал все новые доказательства того, что

жизнь скучна, полна горестей, недостойна мыслящего человека.

– Для чего мы с тобой живем? – спрашивал он. – Правда, приятно выпить несколько кубков доброго вина, весело провести вечер с хорошенькой девушкой, может быть, есть удовольствие в том, чтобы стать пресидом провинции или на старости лет облачиться в консульскую трабею. Но ради этих немногих радостных минут сколько часов, дней и годов скорби должен пережить каждый человек! Сколько испытать желаний, которые неосуществимы! Сколько изведать унижений, от которых нет защиты! Сколько раз изведать неблагодарность близких, неверность возлюбленных, обман людей, тысячи низких поступков со стороны врагов, которых нажил лишь тем, что ты умнее их! И что же в конце концов? Смерть, небытие, исчезновение. Стоит ли после этого жить, страдать, даже просто сносить зубную боль? Изо всех изречений любезных тебе древних мне теперь милы только стихи Катутла:

*Едва мелькнув, закатится день  
краткий,*

*Одна ночь вечная дана для сна  
нам...*

Никакими усилиями я не мог отклонить моего друга от таких грустных рассуждений, и он, осушая кубок за кубком, все говорил со мною в духе Эврипида, развивая его мысль, что «земле должно быть возвращено земное». Наконец я сказал Ремигию:

– Стань христианином, и ты обретишь надежду. Христиане верят в блаженную жизнь за гробом, в воздаяние за страдания, испытанные в этой жизни.

– Это не очень ново, – возразил мой Ремигий. – Не тому ли самому, и много раньше, учили наши поэты. Перечти своего Вергилия. Но мы уже не настолько молоды, чтобы верить басням поэтов. Я твердо знаю, что за похоронным костром нет ничего, и это моя последняя надежда.

Тогда я попытался направить мысли Ремигия в другое русло и стал говорить ему о странной смерти Юлиания. Ремигий, занятый своими печальями, еще ничего не слышал об этом таинственном происшествии, о котором уже спорил весь Город, и, несколько оживив-

шись, настойчиво расспрашивал меня о подробностях. Я передал все, что сам знал, и даже не умолчал о суждении, высказанном Тибуртином о роде смерти бедного щеголя. Мне пришлось горько жалеть о своей болтливости, потому что мои слова, может быть, подали Ремигию первую мысль о том, что вскоре он и привел в исполнение...

Под каким-то предлогом Ремигий вышел из копоны, где мы сидели, и не вернулся. Продав своего друга около часа, я принужден был убедиться, что он тайно бежал от меня. С тяжелым сердцем я вернулся домой, и предчувствия не обманули меня, так как в тот же вечер я узнал о горестной судьбе Ремигия.

Покинув меня, он пошел в термы Каракаллы, самые роскошные из существующих в Городе. Сначала он поднялся в библиотеку, спросил себе «Размышления» императора Марка и долго читал их, несмотря на высказанное проклятие всем древним. Потом, вероятно, на последние деньги, занял отдельное помещение в несколько комнат и велел послать к себе красивейших мальчиков. Затем, выслав их и оставшись один, он в теплой ван-

не открыл себе жилы, как то советовал мой дядя всем истинным Римлянам, ищущим смерти, и как то сделал в свои дни философ Сенека, сентенции которого я недавно читал моему другу. Когда служащие догадались заглянуть к Ремигию и позвали к нему врача данной городской регионы, было уже поздно: Ремигий слабой рукой срывал повязки, которые пытался наложить медик, и вскоре скончался.

Хотя я узнал Ремигия едва год назад, на пути в Город, я успел полюбить юношу, острого на язык, умного, честного. Его ранняя смерть тронула меня глубоко и навела на печальные мысли о людях наших дней, неспособных противостоять самым первым и самым малым ударам Фортуны. «Неужели, – думал я, – подобных же, и даже более жестоких неудач не встречали в своей юности Сципион, Цезарь, Август? Что, если бы и они, в свое время, так же малодушно отказались бы перетерпеть выпавшие на их долю черные дни? Тогда, быть может, не Рим, но Карфаген владел бы миром, Галлия не была бы присоединена, империя осталась бы без устройства». Но эти

соображения не мешали мне плакать над несчастной участью друга, и мне казалось, что под своды Орка сошел самый близкий мне человек.

Конечно, я принял на себя распоряжаться похоронами Ремигия, тотчас послал письмо его родителям и известил о горестном событии его сотоварищей по школе. Однако этого дела до конца мне довести не пришлось. Прежде всего новая беда рухнула на дом Тибуртина: дядя застал ночью в спальне своей жены отца Никодима. Ни для кого не было тайной, почему христианский священник так возлюбил дом сенатора, ревностного защитника веры отцов, но дядя, всегда занятый или делами Сената, или своими книгами, или, что бывало чаще всего, кубками вина из своих поместий, не подозревал ничего дурного. Открытие поразило его так, что он тут же, по древнему праву, хотел убить свою жену, и только отсутствие оружия у сенатора спасло перепуганную Меланию, так много любившую говорить о добродетели. Наутро тетка и Аттузия куда-то скрылись из дома Тибуртина, а сам он, утратив и мужество и волю, только

горько плакал и всячески жаловался мне на свою неудачную жизнь.

– Я все терпел, – говорил он мне, – и то, что в моем доме, доме Римлянина, потомка Бебиев, устроили христианскую молельню, и то, что дочь мою сделали христианкой, и то, что новая жена моя отбирала у меня все деньги и держала под замком мой погреб с винами! Но чтобы Римская матрона, хотя бы и гречанка родом, обесчестила мужа со служителем религии, враждебной империи, враждебной богам отцов, этого я снести не могу! Не мне одному здесь нанесено оскорбление, но всему нашему роду, изображениям предков, Сенату и народу Римскому. Лучше остаток дней своих я проведу в одиночестве, как изгнанник, лишенный огня и воды, чем прощу преступницу и допущу ее в дом, ею оскорбленный. Имени ее не хочу никогда более слышать и буду считать, что была у меня лишь одна дочь – та, что ныне в полях Элисийских!

Я, бедный, метался из дома, где жил Ремигий и где делались приготовления к его похоронам, в дом дяди, которого опасно было оставлять одного на попечение грубых и

ненадежных рабов, и чувствовал себя как бы потерянным в хаосе событий. Наконец, в нашем доме появились Элиан и Нумерия, которые до некоторой степени внесли порядок в жизнь и взяли на себя необходимые распоряжения. Но тут я получил письмо от Гесперии, которая объявляла мне, что мы должны немедленно выезжать из Города. Напрасно я просил дать мне время исполнить последний долг перед другом, сказать ему последнее «vale», дождаться, пока несколько успокоится дядя. Гесперия была неумолима и на все мои доводы отвечала, что долг пред империей выше, чем все обязанности личные.

– Тебя огорчает судьба дяди, – говорила она мне, – а я должна была бы позаботиться о судьбе матери. Но предоставим это все Времени, этому все легко устрояющему богу. Может быть, судьба всего мира зависит от нашей поспешности.

Втайне я думаю, что Гесперия торопилась так из боязни расследования, предпринятого префектом Города по поводу таинственной смерти Юлиания. Во всяком случае, Гесперия не дала мне отсрочки ни на один день, и на-

кануне похорон моего Ремигия я должен был вместе с нею покинуть Рим. Впрочем, после смерти маленькой Намии, после так быстро последовавших одно за другим двух самоубийств – Юлиания и Ремигия, после позорного происшествия в доме Тибуртина мне казалось, что ничего дорогого мне в Риме более не остается. Он был мне столь же чужд, как девять с лишним месяцев тому назад, когда я впервые подъезжал к Портуенским воротам, не зная еще, что меня ждет в этом золотом средоточии вселенной. В глубине души я даже рад был покинуть темный водоворот страстей, козней, преступлений, который мы называем Вечным Городом, забывая только, что не менее страшным водоворотом была душа той, которая была моей спутницей в предпринимаемом путешествии.

## Книга четвертая

### I

Путешествие мое с Гесперией значительно отличалось от моей поездки с Сенаторским посольством. Придя в назначенный, утренний час к дому Гесперии, я увидел целую вереницу повозок, нагруженных мешками и ларями, как если бы было задумано переселение нескольких семейств. Большая толпа рабынь и рабов хлопотала около карров и карпент, устраивая удобные сиденья и размещая вещи: все шумели, кричали, бранились. Скоро я узнал, что мы повезем с собою всевозможные припасы: вина и заготовленные снеди, ящики с одеждами и утварью, все, что только может понадобиться женщине, или, вернее сказать, все, что может удовлетворить прихоти десяти женщин. В отдельном ковине ехал вольноотпущенник Египций, который должен был управлять всем нашим поездом, а всего в путь отправлялось около двадцати человек, из которых часть была вооружена, на случай нападения разбойников. И я, наблюдая эти приготовления,

не мог не подумать, что Гесперия решила не возвращаться в Рим.

Мне сказали войти в атрий, где я и просидел, совершенно одиноким, до самой минуты отъезда, так как, по-видимому, никто из клиентов о нем извещен не был. Наконец появилась Гесперия, закутанная в шерстяную пенулу с кукуллом, хотя даже ранним утром было уже вполне тепло, а следом, с лицом мрачным, шел Элиан, приветствовавший меня всего несколькими холодными словами. Чувствуя себя виноватым перед этим человеком, я такого приема ему не мог поставить в вину и молча присутствовал при сцене прощания мужа и жены. Гесперия неожиданно показала себя очень нежной, несколько раз поцеловала Элиана и сказала ему, намекая на цель своего путешествия:

– Прощай, будь без меня весел и помни, что я еду, чтобы исполнить важное.

Мне Гесперия приказала сесть с ней рядом в легкую карпенту, верх которой мог открываться, но, откинувшись в угол, закрыла глаза и не произносила ни слова. Мы медленно двинулись по улицам Города, где уже начина-

лось обычное дневное движение: купцы открывали свои лавки, служащие шли на место своей службы, женщины направлялись на рынки, разносчики с лотками и корзинами, рабочие, носильщики, гадатели и разный люд высыпал из домов. Все с любопытством оглядывали, останавливаясь, наше движение, так как наш поезд напоминал, конечно, путешествие какой-нибудь восточной царицы, древней Семирамиды или Зенобии.

Третий раз мне пришлось свершить весь путь от Рима до Медиолана, но на этот раз мы не только не торопились, но как будто намеренно старались подвигаться вперед так медленно, как только возможно. Часто в поле мы останавливались, выходили из карпенты, и для нас на нежной весенней траве или на разостланных коврах рабы приготавливали маленький пир, в котором, кроме меня и Гесперии, принимал участие и Египций, оказавшийся человеком смышленным и не лишенным образованности. На ночь мы останавливались не в мансионах, но в домах и виллах людей, знакомых Гесперии, или тех, к которым были у нее письма, — и подобных лиц

встречалось так много, что невольно я себя спрашивал: не вся ли Гесперия знает Гесперию-прекрасную или хотя бы слышала о ней?

Везде нас встречали с почетом, а в иных богатых виллах в честь жены сенатора и прославленной красавицы Города устраивались целые празднества. В Умбрии, на вилле Марка Корнуция, доводившегося родственником Элиану, где мы пробыли полных трое суток, все время прошло в непрерывных пирах и увеселениях. Извещенный заранее о приезде Гесперии, хозяин созвал гостей даже из удаленных местностей и не пожалел денег на роскошь своего приема. Мы то пировали в пышных покоях виллы, блиставшей мраморами и позолотой, расписанной лучшими художниками века Адриана, украшенной тонкой мозаикой и наполненной греческими статуями, убранной драгоценной обстановкой и увешанной сардийскими, александрийскими и карфагенскими коврами; то шли веселиться в великолепный сад, разбитый искусным садоводом по обе стороны маленькой речки, с мраморными беседками, прозрачными водоемами, хитро подстриженными дере-

вьями, множеством редких растений, кончавшийся у обширного здания терм. Гости, среди которых были первые лица провинции, всячески старались сделать для Гесперии приятным пребывание в доме Корнуция, и едва ли не все прославляли ее красоту, окружали ее поклонением и видимо добивались ее благосклонности. В последний день перед нашим выездом гостеприимный хозяин устроил представление в домашнем театре, и мы могли видеть «Прометея освобожденного», в старинном переводе, прекрасно исполненного молодыми рабами Корнуция.

В таком же роде были наши остановки в других виллах и городских домах, причем разнообразились они только большей или меньшей роскошью, в зависимости от богатства хозяина, но всегда Гесперия оставалась средоточием внимания всех, и везде приходилось ей выслушивать немолчные гимны своей красоте.

Со мною Гесперия обращалась совсем не просто, и я, уже привыкший за девять месяцев жизни в Городе к лукавству женщин, явственно видел, как она старательно опутыва-

ла вокруг меня свою сеть, готовя меня, вероятно, для какого-то нового трудного предприятия. Более я уже не был неопытным юношей, каким впервые с ней встретился, но понимал коварство и обдуманность поступков Гесперии, которая опять то приближала меня к себе, то подвергала всем мучениям больно жалающей ревности. Иногда во время переездов Гесперия долгими часами не говорила со мною ни слова, делая вид, что углублена в свои размышления; иногда, когда мы оставались вдвоем, словно вдруг вспомнив обо мне, начинала просить прощения за свою невнимательность, ласкать мне волосы нежными руками и вкрадчивым голосом напоминать, что любит меня; иногда при нашем пребывании на чьей-нибудь вилле нарочно проводила весь вечер на моих глазах с каким-нибудь провинциальным щеголем, улыбалась ему ласково, давала тайком целовать свои руки и плечи, ободряла его искания, так что в мечтах тот, наверное, уже торжествовал победу над прославленной красавицей Города... Потом, видя, что эти изведенные способы оказывают на меня мало действия, Гесперия прибегала

к более жестоким: приказывала мне тайно прийти к ней ночью в спальную, опять меня целовала горячими устами, приникала ко мне телом, обвитым одной тонкой туникой, и, промучив меня своими приближениями до зари, утром настойчиво прогоняла из своей комнаты, опять напоминая:

– Наше счастье, Юний, должно начаться тогда, когда будет исполнено наше дело. Имей мужество ждать...

И странно: хотя теперь я понимал ясно игру этой женщины, все же по-прежнему одной близости к ней было достаточно, чтобы я сознавал себя ее покорным рабом. Было что-то в самом ее существовании, в чертах тех изгибов, которые принимало ее тело, в запахе тех ароматов, которыми она себя умащала, и в запахе ее волос, к которым порой она позволяла мне прикасаться губами, – что делало ее для меня единственной среди всех других. Уже то не была детская любовь к женщине, прекрасной и богинеподобной, но неодолимое влечение к ней одной всего моего тела, привыкшего быть близ нее и терявшего способность жить вне этой близости, подобно тому как человек

не может жить без воздуха. Мои чувства словно бросили якорь подле Гесперии, и этот якорь запутался где-то в глубине среди подводных скал и растений, так что ладья более не могла сдвинуться с места.

Когда я оставался с Гесперией наедине, видел перед собою ее лицо, плечи, грудь, руки, когда вдыхал знакомое благоухание ее одежды и ее кожи, я снова мог говорить и даже мыслить лишь то, что она хотела и что она от меня ожидала. Пользуясь этим, Гесперия вновь заставляла меня давать ей страшные клятвы, и я покорно призывал подземных богов во свидетельство того, что исполню каждое ее повеление, подчинюсь каждому ее приказу. Я чувствовал, что незримо она вновь вооружает мою руку кинжалом, – я еще не знал, против кого, – но опыт прошлого не служил мне на пользу, и я не сомневался, что вновь пойду убивать, если она того захочет.

– Юний, мой милый Юний, – говорила мне Гесперия, – я скажу тебе словами христиан: «Претерпевший до конца – спасется». Терпеть же осталось немного.

– Хотя бы вечность! – отвечал я, зная, что

такого именно ответа ждет она.

А однажды Гесперия сделала мне такое признание:

– Ведь я не виновата, Юний, что я красива. Красота – моя сила и мое отчаяние. Все, что я имею, я достигла этой красотой, но и все горе, все страдания, что я пережила, были созданы ею же. Всю свою жизнь я несу тяжесть этой красоты и забочусь об одном: не показать другим, как она меня давит. Мне стыдно, когда меня любят за одну красоту, но мне обидно, если, несмотря на красоту, меня кто-либо не полюбил...

Когда Гесперия говорила это, – где-то в горах во время нашей стоянки, выделяясь, как мраморная статуя на лазурном небе, – она действительно была прекрасна, как Троянская Елена, эта «общая Эринния», по выражению Вергилия. «На погибель людей создана ты!» – подумал я и потом, также про себя, добавил: «На погибель мою!» А вечером того же дня, когда мы прибыли в дом местного пресиды, Гесперия выбрала своей жертвой его сына, юношу, преданного наукам; за несколько часов, проведенных с ним, заставила его почти

обезуметь от страсти, и наутро, когда мы уезжали, он, не стыдясь, плакал, умоляя позволить ему нас сопровождать.

Среди таких сцен совершалось все наше путешествие, и я не изменю правде, сказав, что мне оно принесло безмерно больше страданий, чем радости. Измученный резкими переходами Гесперии от ласковости и дружелюбности к холодности и враждебности, истомленный ее издевательствами над порывами моей любви, потеряв все надежды на настоящее сближение, я иногда в одиночестве вновь помышлял о бегстве. Я говорил себе, что самым для меня разумным поступком было бы тайно ночью покинуть своих спутников и идти хотя бы пешком прочь от Гесперии и прочь от Города в родную Аквитанию, где я вновь обрету мир и ясность. Но, и обдумывая замыслы своего бегства во всех их подробностях, я в глубине души знал, что в исполнение их не приведу, что я повлачусь за Гесперией всюду, как некогда Римский триумвир за триерой египетской царицы.

Когда через восемнадцать дней после нашего выезда из Города вдали забелели стены

знакомому мне Медиолана, я их приветствовал, как маяк спасения. Мне казалось, что в этом городе, где кончалась первая часть нашего пути, я найду какое-то решение окруживших меня загадок. Втайне я надеялся встретить Рею и, как падающий в пропасть готов схватиться за гибкий стебель дикой розы, у этой безумной девушки надеялся найти помощь и спасение.

## II

**В** Медиолане мы воспользовались гостеприимством того же дома Тита Коликария, в котором жило и Сенаторское посольство. Не без суеверного страха вошел я в те же покои, из которых вышел в последний раз затем, чтобы быть брошенным во мрак и ужас подземной тюрьмы: мне казалось, что эти комнаты не могут не принести мне нового несчастья. Однако все в доме смотрело иначе, нежели в первый раз: какая-то особенная тишина его наполняла; виделось меньше рабов; многие комнаты были совсем заперты. Дело в том, что сам Коликарий два дня тому назад выехал из города вместе с императором и всеми его приближенными, направляясь в Гал-

лии и на берега Рейна, так как Грациан получил, наконец, известие о возмущении в Британнских легионах и о новом движении германцев.

Гесперия просила Фальтонию не устраивать никакого торжества и не приглашать никого к обеду, желая отдохнуть после путешествия и заняться делами. Опередивший нас окольными дорогами табелларий доставил письма из Рима, и Гесперия позвала меня разбирать их. Были среди них сообщения важные, как, например, письмо Симмаха, говорившее о положении в Городе. Симмах писал, что народ в Риме взволновался ввиду вздорожания припасов, плохого подвоза хлеба из Африки и Сицилии и предвидящегося неурожая. Это дало повод Сенату, ссылаясь на волю народа, предложить выслать из Города всех иностранцев, чтобы бесплатной раздачею хлеба могли пользоваться лишь одни Римские граждане. Такой мерою Сенат надеялся удалить из Рима значительное число христиан и ослабить тем враждебность населения к сторонникам родной старины. Исключение предполагалось сделать только для

актеров, мимов и всех лиц, занятых в увеселениях Города, так как среди них христиан мало. Однако в вопрос вмешался новый префект, Авенций, которого считают другом Амбросия и тайным христианином, и воспретил приводить эту меру в исполнение. Конечно, такое запрещение послужило только на пользу Сената, в котором народ стал видеть защитника своих исконных прав.

– Это хорошо, – сказал я, прочитав письмо вслух, – если Грациан будет побежден, Рим сразу станет нашим.

Гесперия мне ничего не ответила и только странно и чуть-чуть насмешливо улыбнулась.

Когда все письма были нами рассмотрены, она послала за Марком Рустиком, членом Медиоланской курии, человеком, с которым я раньше не встречался, но который, по-видимому, был посвящен во все наши замыслы. То был низенький старичок, служивший еще при божественном Юлиане и бывший другом одного из его сподвижников – Пентадия. Рустик говорил затейливо и осторожно и сначала косился на меня, но, видя, что Гесперия

оказывает мне полное доверие, разошелся и рассказал немало любопытного, так как все, что делалось в Медиолане, было ему столь же известно, как хорошему хозяину его дом.

Понизив голос, старичок рассказывал нам о ссоре между императором и Амбросием.

– Епископ последнее время, – говорил он, – забрал такую силу, что без его разрешения и птицы не могли летать в империи: надо было иметь на хвосте его метку. Он христианин, это так, и даже вождь христиан, но душа у него осталась Римская, не может он забыть, что был консуляром: ему бы диктаторские фаски, право жизни и смерти; а императора он чуть ли не своим подчиненным считал. Грациан всегда у кого-нибудь в подчинении, – кто к нему близко, тому и поддается, как женщина. То им вертел по своему усмотрению выживший из ума Авсоний, а потом вот неистовый Амбросий: сперва мы везде реторские школы открывали, а теперь стали строить везде церкви. Но все-таки душа у Грациана своевольная; как он был испорченным мальчишкой, таков и теперь, хотя нападать предпочитает не прямо, а тайком. Помните,

как только уехал от Авсония, так все его законы отменил. Потом приезжает старый реторко двору, а император на него и не смотрит. Так и с Амбросием: поехал епископ к вам в Город, а здесь уже тотчас забрал силу Македоний, магистр официий. Прежде епископ имел позволение во всякое время входить к императору без доклада, словно Меценат к Августу. Вернувшись в Медиолан, идет, по обыкновению, к своему Грациану, как в свой дом, а ему говорят: «Никого не дозволено пускать». Он было возражать стражам: «Вы что же, меня не узнали? Запрещение ко мне не относится!» – «Нет, – говорят, – не приказано ни для кого делать исключения». У епископа, рассказывают, так борода и запрыгала, но он Римлянин, умеет себя держать, повернулся и вышел. Потом стал думать, как ему вернуть к себе Грациана, придумал прийти к нему с просьбой о помиловании одного негодяя, которому должно было отрубить голову, – самая христианнейшая просьба. Даже нарочно, хитрая лиса, выбрал не христианина, а человека, державшегося веры отцов. Опять приходит и лицом к лицу натывается на самого Македо-

ния. Тот ему опять говорит: «Император не велел никого допускать к себе, – он развлекается охотой». Амбросий посмотрел дерзко и возражает: «Я по делу церкви, исполняю долг епископа, никто меня не смеет остановить!» – и хочет прямо пройти в ворота. Но ведь нашего Македония ничем не смутишь, он мигнул скифским стражам, те натянули луки и ждут: им все равно, епископ так епископ! А стрела ведь одинаково проткнет сердце, что раба, что императора, что епископа, и Амбросий-то это хорошо знает: сам стрелял немало. Видит он, что дело плохо, не потерялся, шмыгнул в сторону, обошел ограду да через маленькую калиточку и пробрался в лес. Там уже Македоний с императором, стоят, рассуждают, и вдруг к ним подходит сам Амбросий. Македоний позеленел, Грациан затрясся, уж не знаю от гнева или от страха, а епископ стал на колени и говорит: «Не встану, пока ты, возлюбленное мое чадо, не подаришь мне жизнь несчастного, ибо богу одному дано отымать жизнь!» Смотрит Амбросий своими глазищами, как змея на птицу, на Грациана, а тот уже весь в его власти, ни в чем не может ему пе-

речить. Ну, да и Македонии – хитрец испытанный, ему бы евнухом быть при дворе персидского царя: только что император объявил свою милость, сейчас на коне – в тюрьму и приказал преступнику отрубить голову. Потом возвращается и говорит: «Я, Твоя Святость, поскакал исполнить твое приказание, но было уже поздно, правосудие уже совершилось». Тут Амбросий посмотрел на него, должно быть, обо всем догадался, и говорит: «Скоро придет день, когда и тебе придется спасти свою жизнь, ты тогда обратишься к церкви, и церковь останется заперта перед тобой». Хорошенькое пророчество, не правда ли? А на другой день Грациан уехал, с Амбросием не повидавшись, как говорят, догадался разгневаться на то, что тот нарушил его императорское приказание. И сидит теперь епископ в своем доме один, как сыч, и предчувствует, что кончилась его слава. А кругом все всячески прославляют Македония, потому что еще Помпей сказал, что у восходящего солнца больше поклонников, чем у заходящего.

Слушая длинную болтовню старика, Геспе-

рия, как это она делала и при чтении писем, что-то записывала в свои маленькие пугиллары, с которыми не расставалась во все время пути. Потом она начала подробно и настойчиво расспрашивать Рустика о всех других событиях и происшествиях в Медиолане и вела допрос, как самый хитрый судья. Рассказав множество незначащих пустяков, пересыпанных клеветами и злыми отзывами решительно обо всех поминаемых лицах, старик неожиданно заговорил о деле, которое касалось меня близко, так что, слушая его, я весь похолодел. Именно, он стал рассказывать о том мятеже христиан, который подняла Реа со своими сторонниками.

По его словам, мятежники, которым удалось бежать из Медиолана, были сначала малочисленны. Но скоро к ним стали примыкать жители селений, недовольные поборами и притеснениями. Тогда против мятежников, отказывающих в повиновении императору, была отправлена когорта с приказанием переловить всех и доставить в город. Произошло однако неожиданное: колонны, вооруженные вилами и старыми мечами, разбились в

правильном бою Римскую когорту и обратили ее в постыдное бегство. Понимая все же, что против значительных сил им не удержаться, они после того удалились в горы к Ларию и там возмутили еще пять или шесть селений. Император перед самым своим отъездом отдал распоряжение послать против них префекта с полным легионом и в корне уничтожить восстание. В настоящее время с этой толпой всякого сброда идет настоящая война, Римские воины загородили все дороги, держат мятежников в осаде и ждут только подходящего времени, чтобы идти приступом на их горное гнездо.

Трудно описать, в какое смятение привел меня этот рассказ старика. Мне ясно вспомнился образ странной девушки, которая влекла меня в области, мне чуждые, но с которой провел я столько сладких минут. Мне представилась Реа, окруженная своими новыми приверженцами, людьми, ей чужими и грубыми, без поддержки и дружественного совета, – и мне стало бесконечно жаль ее. Еще я подумал о том, что кому-то она, может быть говорит те же нежные слова, как когда-то

мне, и – странное дело – я почувствовал, что гарпийные когти ревности вонзаются мне в сердце. Наконец, я сказал себе, что, окруженная врагами, запертая целым легионом в горах, она со своими друзьями обречена на неизбежную гибель, и мне захотелось Рею предупредить, спасти, отговорить от ее безумного предприятия. Воображая пред своими глазами ее тело, насилуемое дикими скифами грациановского войска, пробитое стрелами или копьем, ее голову, с безумными глазами, отсеченную от плеч мечом, – я сознавал, что долг мой – идти к ней и увести ее из той середины Тартара, в которую она бросилась сама в своем безудержном ослеплении.

Когда Рустик, рассказывавший еще немало другого, наконец ушел, я тотчас обратился к Гесперии с просьбой отпустить меня на несколько дней, чтобы попытаться проникнуть к Рее, тем более что все равно мы намеревались пробыть в Медиолане не меньше недели.

– Быть может, – говорил я, – мне удастся там сделать что-нибудь полезное для наших замыслов. Быть может, этих христиан мне

удастся привлечь на нашу сторону, так как у нас общий враг – Грациан. Наконец, быть может, я сумею помочь им в их борьбе с императорскими войсками, и это тоже будет для нас не лишнее.

– Не лицемерь! – возразила мне Гесперия. – Ты просто хочешь вновь увидеть ту девушку, о которой ты мне говорил. Несмотря на все твои клятвы в любви ко мне, ты горишь от желания опять ее обнимать. Ты недостаточно насытился ее ласками, а мужчины любят каждую женщину исчерпать до дна.

Невольно покраснев, я стал клясться Гесперии, что она не права, что нет никого в мире, кого я любил бы, кроме нее, что никакая другая женщина не может быть мне желанна, что руководит мною только ревность к нашему общему делу, которому я могу быть полезен по своей прежней близости к Рее.

– Все равно я тебе не верю, Юний, – сказала Гесперия, – я вижу, что эта Герса очаровала моего Меркурия (Так иногда меня называла Гесперия), но все равно я не могу тебя отпустить ни на час. Ты мне нужен всегда, и я не знаю, когда именно. Затем подумай, что при-

ют мятежников оцеплен войском, проникнуть туда можно, но выйти оттуда будет нелегко. Тебя убьют или захватят, а все мои расчеты построены на том, что со мною должен быть человек, совершенно мне верный. Нет, тебе идти нельзя.

Когда я попытался настаивать еще, Гесперия нахмурила брови и произнесла уже строго:

– Ты поклялся повиноваться каждому моему слову. Что же, при первом же испытании ты хочешь нарушить свою клятву? Если так, ступай, но тогда ко мне ты не вернешься никогда. Я так сказала.

Конечно, после этого я стал просить прощения в своей дерзости, отрекался от своего желания и умолял вернуть мне прежнюю благосклонность. Однако весь тот день Гесперия, как бы наказывая меня, больше со мною не говорила. За обедом она беседовала исключительно с Фальтонией и рано удалилась в отведенную ей комнату, сославшись на усталость после дороги.

Я, очутившись вновь в той же комнате, где когда-то обдумывал способы убить императо-

ра, испытал непобедимую дрожь. Мне то казалось, что в углу еще стоит мой ларь с роковым колобием, то, что сейчас отворится дверь, войдет с коварной улыбкой сириец и меня опять потащат в смрад подземной тюрьмы. Ощущение всего недавно пережитого мною было так сильно, что нечто вроде позорной робости овладело мною. Я стал думать о том, что моя мысль – идти в стан к Рее – была безрассудной. Помочь ей я не мог ничем, но легко мог погибнуть вместе с нею или, по меньшей мере, быть схваченным среди мятежников. Тогда, наверное, я снова попал бы в подземелье и на этот раз, вероятно, не миновал бы пытки и рабской смерти. Эти размышления убедили меня, что Гесперия поступила правильно, отказав мне в своем разрешении, и я готов был радостно ее благодарить за то, что она спасла меня от немалой опасности и от поступка безумного. С такими мыслями я и заснул.

Но утром Гесперия призвала меня к себе и сказала мне:

– Юний, я передумала, ты можешь идти в лагерь христианских мятежников, я это тебе

разрешаю.

– Нет, нет, – возразил я, – ты была права, мне не следует идти к ним, я остаюсь с тобой.

– Нет, – ответила, в свою очередь, Гесперия, – ты пойдешь к ним. Я не хочу, чтобы ты думал, что я запрещаю тебе видеться с твоей возлюбленной. Иди и делай с ней, что хочешь, но только возвратись сюда до истечения восьми дней. После этого срока я уеду одна.

Я стал спорить, уверяя, что у меня более нет никакого желания видеть Рею, что накануне я был безумен, выразив такое намерение. Но снова Гесперия сдвинула брови и снова строгим голосом приказала мне повиноваться ей.

– Я так хочу, – повторила она. – И притом ты действительно можешь быть там полезен нашему делу. Я найду для тебя надежного проводника. Ты проникнешь в самое сердце мятежа и потом расскажешь мне все, что там видел и что там делал.

Я увидел, что спорить бесполезно, и так уже привык к неожиданным переменам решений Гесперии, что в конце концов не

слишком изумился. Правда, ночные соображения еще несколько тревожили меня, но все же втайне я был рад вновь увидеть Рею. Поэтому я подчинился приказаниям моей госпожи, повторив только, что иду к мятежникам не ради женщины. Гесперия же так деятельно принялась за приготовления к моему путешествию, словно то была самая ее заветная мысль. Она вновь вызвала к себе Рустика и попросила его найти для меня проводника, который мог бы провести меня в горы, мимо стражи, выставленной префектом.

Весь день, занимаясь разными делами, принимая разных лиц, Гесперия возвращалась к моему путешествию и торопила Рустика. Когда к вечеру нужный человек был отыскан, Гесперия призвала меня для последних указаний и советов. Она говорила с деловым видом, холодно, словно отдавая приказание домоправителю.

– Лепонций Кунигаст, – говорила она, – проводит тебя завтра утром до самых мест, занятых мятежниками. Дальше ты должен будешь найти дорогу сам. Высмотри у христиан все: их силы, их вооружение, их способы сра-

жения; узнай все их потаенные замыслы. Намекни им о той борьбе, которую мы начинаем. Если удастся, убеди их подождать с решительными действиями, временно скрыться, рассеяться в горах и потом нанести удар одновременно с нами. Это все ты должен сделать, и да помогут тебе боги, прежде же всех быстрый посол Меркурий. Теперь слушай дальше. Здесь, в Медиолане, я буду ждать тебя до ближайшей нундины, и если к тому времени ты не вернешься, поеду дальше, в Галлии. Ты же, если тогда будешь жив, не возвращайся в Медиолан, но попытайся добраться горными дорогами в Генаву. Там, около города, есть поместье нашего верного друга, Мания Вибиска. Назови ему мое имя, и от него ты узнаешь, где я. Тогда спеши за мною, я буду ехать медленно, так как у меня много дел по пути. Ничего не говорю тебе о том, как ты должен хранить в чужом стане и среди врагов, если попадешь в их руки, наши тайны: это ты сам знаешь. Теперь же возьми это.

И опять, как много месяцев назад, Гесперия подала мне кошелек с деньгами и кинжал. У меня не было ни оружия, ни денег, и я

не мог отказаться от такого дара, но воспоминание о первом поцелуе Гесперии так мучительно сдавило мое сердце, что я едва не заплакал при этих спокойных, строгих словах, так непохожих на страстный шепот того другого дня.

– Гесперия! – воскликнул я, – когда-то ты предложила мне те же две вещи, но, помнишь, с ними ты дала мне свои губы. Дай, дай мне их и сегодня, и тогда ты будешь уверена, что я скорее умру за тебя, чем сделаю одно движение, которое может тебя обидеть.

Я уже протянул руки, чтобы обнять женщину, но она, своим обычным движением уклонилась от моего поцелуя, хотя эти последние дни, во время нашего переезда, я целовал ее так много раз. Решительно отстранив меня, Гесперия сказала:

– Ты не получишь сегодня моих губ. Они останутся у меня как залог твоей верности. Когда ты вернешься прежним ко мне, может быть, я тебе ни в чем не откажу. Иди с этой надеждой, а теперь – прощай.

Повернувшись, Гесперия вышла из комнаты, и я ее достаточно знал, чтобы не настаивать.

вать больше. Глаза стали у меня влажными от обиды и горя. «Я вернусь достойным ее!» – сказал я сам себе, и образ Реи представился мне в ту минуту таким чужим, таким ненужным, что я опять проклинал себя за свою глупую затею. Мне казалось, что я готов отдать все, только бы не быть принужденным ехать в стан мятежников, остаться с Гесперией, продолжать с ней наше путешествие.

Несколько успокоившись, я рассмотрел дары Гесперии. То был прекрасный испанский кинжал, на ручке которого был красиво изображен бог Меркурий с факелом и вырезаны два слова: «Disce mori». В кошельке было золото и серебро и письмо к какому-то аргентарию Генавы с приказанием выплатить подателю еще две тысячи денаров. Я подумал о том, как внимательно позаботилась обо мне Гесперия, и это меня несколько утешило.

В тот день я более не видел Гесперии: она намеренно не хотела мне показаться, чтобы у меня в воспоминаниях осталось то ее лицо, какое я видел в час нашего прощания. Только какой-то раб, по ее приказанию, передал мне, что я должен быть готов в начале четвертой

стражи. Действительно, еще было темно, когда ко мне в дверь постучались. Но я уже не спал и, быстро одевшись, вышел на зов. Незнакомый человек в простой одежде стоял у дверей и спросил меня на плохом латинском языке:

– Это ты, кого я должен проводить в горы?

Я ответил утвердительно и вернулся в свою комнату, чтобы сделать последние приготовления к пути. Я спрятал монеты и денежное письмо под платьем, а кинжал прикрепил у пояса, чтобы оружие всегда было у меня под рукою. Через несколько минут мы вышли, вдвоем с моим вожатым, из дома Тита Коликария. Аврора едва лишь успела растворить ворота неба, и легкая прохлада еще плыла по пустым улицам императорского города.

### III

Пройдя почти весь город, мы вышли через ворота, причем мой проводник предъявил стражам пропуск, подпись под которым заставила их оказать нам знаки величайшего почтения. Недалеко от городской стены, в маленьком диверсории, нас ждали оседланные

лошади. Все эти доказательства внимания, проявленного ко мне Гесперией, опять исполнили мою душу чувством умиления.

На лошадях мы поехали по прекрасной дороге, шедшей прямо на север. Мой спутник плохо владел латинским языком, а я не понимал его странного горного наречия; кроме того, он вообще был, по-видимому, неразговорчив, и мы подвигались вперед молча. У меня было время предаваться своим размышлениям, и я думал о Гесперии. Я вспоминал все, что она говорила мне на прощание, ее поступки, ее лицо, и новая волна радостной любви заливала мою душу.

Мне казалось несомненным, что отпустила меня Гесперия только из чувства ревности, которая, как все в ее душе, принимала формы обратные, чем у других женщин. Догадавшись, что меня влечет к Рее, что мне томительно хочется еще раз ее увидеть, Гесперия почувствовала себя оскорбленной, именно как женщина. И тогда как для всех других это послужило бы причиной воспретить мне мою поездку, она, напротив, настояла на том, чтобы я отправился в стан мятежников. Именно

потому, что она ревновала меня, она желала дать мне все возможности ее ревность оправдать. Так думая, я, впервые в жизни, начинал верить в то, что Гесперия меня действительно любит.

Потом мои мысли обратились к тому месту, куда я направлялся. Я стал думать о Рее, и в том порыве любви, нежности и благодарности к Гесперии, который владел мною, я тут же давал себе клятвы не поддаваться более хитрым искушениям девушки. «Гесперия! – восклицал я в душе, – я оправдаю твое доверие, оправдаю более, нежели ты ожидаешь! Я скажу Рее, что ее не люблю, что ее замыслы мне вполне чужды, что я не христианин и не сторонник ее религии Змия и Антихриста, что я чту и всегда буду чтить богов бессмертных! Я скажу Рее, что явился лишь затем, чтобы спасти ее от неизбежной гибели под мечом легионариев. Я ей предложу бежать со мною, а если она откажется, то мне не в чем будет себя винить. И на все ее безумные заискивания и льстивые ласки я сумею ответить строго и холодно. На всем круге земли я не хочу другой женщины, кроме Гесперии, пре-

красной, мудрой, великой Гесперии!»

И вполголоса я повторял те слова, что мне сказала Гесперия на прощание: «Когда ты вернешься прежним ко мне, может быть, я тебе ни в чем не откажу», – слова, заставлявшие мое сердце усиленно биться предвкушением какого-то неведомого счастья.

Между тем мы продолжали подвигаться вперед по той же прекрасной дороге. Сначала она была окаймлена садами и возделанными полями, но потом все чаще стали встречаться покинутые дома и заброшенные нивы. В некоторых селениях, через которые мы проезжали, едва ли не половина всех жилищ стояла с дверями и окнами, заколоченными досками. Я беспрестанно порывался ускорить шаг коня, чтобы скорее достичь стены Альп, которые все отчетливей и величественней вырисовывались передо мною, но мой проводник сдерживал мое нетерпение, говоря, что все равно нам должно будет прервать наше путешествие, чтобы в утреннем сумраке обойти отряды, выставленные префектом на тропах, ведущих в горы. Мы позавтракали с моим молчаливым спутником в дорожной

стабуле, причем пропитание показалось мне достаточно скудным после роскошных пиров, на которых я участвовал за последние дни, и потом продолжали наш путь на север, пока не достигли первых холмов. Здесь мой проводник объявил, что мы должны остановиться, хотя было еще совершенно светло и мы могли бы еще до темноты достигнуть берегов Комацея.

Ночь мы провели в хижине какого-то пастуха, вместе с ним и его свирепыми собаками, похожими на леопардов из цирка, тесной и душной. Но еще до пробуждения Эос проводник уже разбудил меня, торопя в путь. Лошадей мы оставили у пастуха, а сами отправились окольными путями, по каким-то, едва различимым, тропинкам. Горная местность едва начиналась, но торжественные вершины, на которых не постыдился бы избрать свое местопребывание сам отец богов и царь людей, сверкали своими снегами в ясной утренней мгле и казались странно приближенными к нам. Спотыкаясь о мелкие камни, цепляясь за кусты там, где приходилось идти вдоль обрывов, я не мог не любоваться красо-

той страны, которая венчает Италию, как диадема императора.

Мы то подымались на самый гребень холма, то вновь спускались в долину, чтобы начать новое восхождение. С одной из вершин мой проводник показал мне рукою вдаль и сказал кратко:

– Новый лагерь.

Я смутно различил вдали правильный четырехугольник окопов и рвов, и мне даже показалось, что я вижу значок, поставленный перед преторием и трибуналом. Странно, что какая-то сладкая тоска сдавила мне сердце, словно во мне заговорила кровь моих предков, водивших Римские легионы к победам, и словно мне стало больно, что сам я не ношу меча и не привык прислушиваться к звукам военной трубы. Я настолько забыл, что в эту минуту именно Римских легионариев должен опасаться больше всего, что готов был рукоплескать и кричать приветствия, как женщины, когда по городу проходит войско.

Когда мы окружили еще около мили, мой проводник сказал мне:

– Дальше ты пойдешь вот по этой тропе, и

ты придешь, куда тебе надо. Мы теперь миновали все сторожевые отряды, и мое дело исполнено. Я вернусь обратно.

Поблагодарив моего спутника, я хотел дать ему несколько серебряных монет, но он отказался решительно, сказав, что за все услуги ему уплачено. На своем настоять я не мог, и честный Лепонций, попросившись со мною, повернулся и быстрыми шагами стал удаляться, так что скоро я остался совершенно один в местности пустынной и мне неизвестной. Кругом было тихо, как в стране мертвых, никакого признака жилья нельзя было заметить нигде, и одну минуту у меня даже мелькнуло соображение, что проводник завел меня сюда с коварством, чтобы погубить в горах. Однако я поспешно отогнал от себя эту мысль, сел на камне под лучами Феба, палившими уже горячо, и стал обдумывать свое положение, прежде чем продолжать дальнейший свой путь.

С детства я привык к жизни среди книг великих древних авторов, которые всегда были лучшими друзьями моего отрочества, и все годы моей недолгой жизни прошли в безопас-

ности большого города или загородного поместья. Но также с детства непонятное влечение жило во мне, манившее меня к опасностям и приключениям, может быть, отголосок иных чувств, знакомых моим славным предкам, чьи изображения украшают атрий моего родного дома, – мужей, умевших подставлять свою грудь под тучи парфянских стрел, персидских дротиков и под угрозу германских мечей. И теперь, зная, что я окружен врагами, что сзади меня – Римские легионарии, готовые схватить меня, как мятежника против святости императора, а впереди – иступленные почитатели Змия, которые, быть может, примут меня за императорского соглядатая и первые предадут смерти, – я не испытывал страха, но, напротив, необыкновенная бодрость разливалась по моим членам. Душа моих предков оживала во мне, исконная душа Римлянина-воина, здесь, на этой пограничной полосе, где скоро должен был разразиться бой между сторонниками Грациана и мятежниками, в своем безумии мечтающими установить на земле новую веру и новое царство – грядущего Антихриста. «Дерзающим

помогает Фортуна!» – сказал я себе словами моего любимого Вергилия и, встав, пошел по указанному мне направлению.

Около часа я шел вперед, и местность становилась все более дикой и все более гористой, деревья и кусты на приволье росли кругом, закрывая вид на удаленные снежные вершины, но по-прежнему ничто не указывало мне, что поблизости живут люди. Внезапно звуки какого-то пения стали достигать до меня, странно поражая серые скалы и завязая в колючих кустарниках. Я замедлил шаги и сжал рукою кинжал, данный мне Гесперией, готовясь в первый раз в жизни оружием отстаивать свою жизнь и свободу. Тропа в этом месте делала крутой изгиб вокруг почти отвесной скалы, и мне не было видно, кто идет навстречу мне, хотя уже все явственней слышались голоса, среди которых я без труда различил и женские. «Не новый ли Сфинкс ждет меня, как нового Эдипа, на этой горной дороге?» – шутя, спрашивал я сам себя.

И вот из-за поворота показалось странное шествие: впереди шла женщина, одетая во все алое, с обнаженным мечом в руке; ее голо-

ва была увенчана белой повязкой вроде диадемы или тех, что носят жрецы. За женщиной двигалась целая толпа в самых разнородных одеждах, большею частью простых, причем все шедшие тоже держали в руках мечи, дубины или ветви. Медленно подвигаясь, все пели некий гимн, похожий на песнопение христианского служения, но слов которого я не мог различить. И когда между нами было уже не более как шагов сорок, я вдруг узнал, что женщина в алом не кто иная, как Реа.

Пока я стоял от изумления неподвижным, Реа приблизилась ко мне, простерла торжественно руку и возгласила!

– Salve, Юний, ожидаемый и желанный, мой брат возлюбленный, приходящий вовремя к новым людям.

И вдруг вся толпа, неистово потрясая мечами, кольями и ветвями, закричала ей в ответ нестройно и дико, почти оглушая меня этим воплем:

– Salve, salve, Юний!

Я не знал, что говорить, что делать, но Реа схватила меня руками, поцеловала в губы и властным голосом приказала своим прибли-

женным:

– На руках несите его в наш храм.

Тотчас, прежде чем я успел сделать одно движение, десяток дюжих рук подхватил меня и поднял на воздух. Через минуту шествие тронулось обратно под пение того же странного гимна, а я неловко колыхался, высясь над головами толпы, и предпочитал подчиняться неизбежному, потому что не мог придумать, как я могу сопротивляться. Впрочем, я воспользовался своим положением, чтобы осмотреть сопровождавшую меня толпу: в ней было не меньше ста человек, из которых больше половины были женщины, все шагали бодро и весело, и мне казалось, что на всех лицах была какая-то неодолимая уверенность и что все глаза были словно у пьяных.

Так мы обогнули отвесную скалу, вокруг которой вилась тропа, спустились в небольшую долину, сплошь заросшую кустарником, и потом вновь стали подыматься на новую возвышенность. Тогда я увидел, что там, прилепясь к другой скале, была расположена семья маленьких домиков, грубо сложенных из серого камня. Из этого селения навстречу нам

тянулась новая вереница людей, мужчин, женщин, детей, причем даже казалось странным, что в таком пустынном месте могло быть такое стечение народа, которому негде было даже поместиться.

По мере того как мы приближались к тем, кто шел впереди других, Реа быстро говорила им несколько слов, и все тоже начинали восклицать восторженно:

– Salve, Юний!

Поистине, как триумфатор, я был внесен в это маленькое горное селение, и несшие меня не прежде позволили мне стать на ноги, как когда я оказался перед дверью дома, несколько более обширного, чем другие, украшенной зеленью и грубо сделанным из дерева изображением Змия. То был, как я вскоре узнал, одновременно храм и дворец, и двое простоватых юношей с копьями в руках стояли у дверей, как сторожевые. Реа, подойдя ко мне, позвала меня войти в храм и растворила дверь, толпа же, пропустив нас, почтительно осталась у порога.

В небольшой комнате с земляным полом почти не было обстановки. Часть помещения,

впрочем, была отгорожена занавеской, перед которой стояло невысокое ложе, вероятно, знавшее когда-то лучшее соседство, если судить по украшениям в виде позолоченных змей, конечно, и соблазнившим исповедников новой веры. На этом ложе в сладком сне покоился юноша, в котором я тотчас признал нашего Антиноя, представшего нам на ночном собрании змиепоклонников. Подойдя к юноше, Реа легким прикосновением разбудила его и сказала:

– Проснись, Люциферат! К тебе я привела нового брата, твоего предтечу, Иоанна, приготовившего тебе пути царственные! От него ты крещен во Иордане огненном, и ныне ты воздай ему по заслугам его.

Юноша оглядывался столь же изумленно, как я, и тоже, как я, не знал, что отвечать. Тогда Реа обернулась к народу, продолжавшему с любопытством толпиться у двери, и, повысив голос, заговорила ко всему сборищу:

– Люди новые! Исполнилось последнее ожидание наше! С нами тот, кого мы так долго тщетно ждали. Теперь заполнено все число апостолов ваших и не страшны нам мечи

врагов наших и угрозы преследующих нас. Посланники Князя воздушного станут на защиту нашу и слепотой поразят всех, кто подымет руку на нас. Радуйтесь, люди новые, слава великая уже осенила вас и торжество великое ожидает нас. Народы всех земель поклонятся нам, и из нас изойдет спасение миру. Теперь разойдитеесь по домам, потому что свершили мы, что было нам предназначено, а вечером вновь мы соберемся на молитву общую Господину нашему. Тогда узнаете, что нам предстоит. Идите.

Повинуясь приказанию Реи, все начали удаляться, и дом опустел, так что в комнате осталось нас трое: Реа, я и мой Антиной, которого теперь называли Люцифератом. Я все еще не промолвил ни слова и все еще не знал, как мне приступить к Рее после нашей долгой разлуки. Но Реа, оставив меня, набросилась с грубыми упреками на красивого юношу.

– Стыдись, Люциферат, – сказала она с гневом, – неужели ты никогда не научишься говорить! Разве не предупреждала я тебя, что в один из этих дней к нам должен прийти

Юний, твой брат по духу? Разве не учила я тебя, что должен ты ему сказать? Или ты все забыл?

Красавец юноша, нареченный императором и признанный Антихристом, виновато потупил глаза под упреками девушки и возразил нежным голосом:

– Милая моя сестрица! ты знаешь, что я не умею говорить. Кроме того, я спал и не сразу мог понять, кто пришел. Ты на меня не сердись, я тебя очень люблю.

– Молчи, негодный, – ответила Реа, —нашел чем оправдываться: он спал! Ты целые дни спишь и ничего другого не делаешь! И я не сестра тебе более: со мной теперь мой брат, Юний. Тебе же я выберу другую сестру из наших женщин.

При такой угрозе юноша весь побледнел и жалобным голосом, словами бессвязными стал умолять Рею не прогонять его от себя, но она оставалась неумолимой. Тогда нашел возможным вмешаться я и сказал:

– Милая Реа, если ты меня называешь братом, как друга, ты права, но если ты в это название влагаешь иной смысл, ты очень оши-

баешься. Я пришел сюда лишь затем, чтобы спасти тебя, и надеюсь, что мне это удастся. Ты, вероятно, не знаешь, какая опасность тебе грозит. Но здесь остаться я могу всего один день, так как важные дела заставляют меня немедленно возвратиться в Медиолан.

Не обращая внимания на мои слова, Реа продолжала говорить к юноше:

– Ложись опять и спи еще. Но не смей выходить из дому без моего позволения. И если придет твоя мать, пошли ее ко мне. Прощай.

Взяв меня за руку, Реа вывела меня из дома, и я заметил, что, уходя, она закрыла дверь на ключ, так что бедный Люциферат остался в комнате запертым. На улице Реа снова приняла свою царственную осанку, приказала юношам с копьями охранять вход в храм, не впуская в него никого, и медленно повела меня на край селения, причем встречавшиеся почтительно расступились перед нами. Так мы дошли до маленькой хижины, которую занимала сама Реа и у дверей которой тоже стоял человек на страже; Реа ввела меня внутрь, старательно закрыла дверь, потом усадила меня на скамью и, вдруг став обыкновенной

женщиной, опустилась предо мною на колени и разлилась в безудержных жалобах:

– Юний, мой Юний! как долго я ждала тебя! Я каждый день выходила с народом навстречу тебе, но тебя все не было. Но теперь ты со мною, и снова все хорошо. Теперь я опять верю и в себя, и в свое дело.

С утра я ничего не ел и не пил и был довольно утомлен переходом по скалам, однако я поспешил воспользоваться случаем, чтобы сразу выяснить свое положение. Я отстранил руки Реи, так как она обнимала меня, и сказал ей строго:

– Не будь безумной, Реа. Я пришел только потому, что узнал, какими опасностями ты окружена. Знай, что Грациан, с которым вы мечтаете бороться, выслал против вас полный легион. Я сам видел новый лагерь в горах. Еще через несколько дней легионарии ворвутся сюда, и вы все, ты и твои новые люди, будете перебиты мечами или уведены в город, где вас бросят в тюрьму. Ты должна бежать со мною: еще есть время. Оставь свою безумную затею. После, в свободное время, я укажу тебе другие пути, чтобы ниспроверг-

нуть власть Грациана, теперь же надо думать лишь о собственном спасении.

Словно изумленная, Реа встала с колен, посмотрела мне в лицо и возразила гордо:

– Ты все забыл, Юний, за те месяцы, что был далеко от меня. Мы не можем быть побеждены. Мы, помощью сил тьмы, уже торжествовали над воинами Римскими. Мы восторгуемся еще не раз. Нам Роком суждена победа. За меня вся Реция, и стоит мне сказать слово, как десять тысяч человек придут сюда, чтобы сражаться за своего Господина. Силы врагов мне не страшны.

– Ты опять безумствуешь и обольщаешься, – ответил я. – Вспомни судьбу Помпея, тоже уверявшего, что ему достаточно топнуть, чтобы из земли вышли легионы. И что могут твои пастухи и колонны, вооруженные старыми мечами и вилами, против легиона, окрепшего в боях с франками! Ты знаешь, что я не менее твоего желаю гибели Грациану; послушайся меня, я дам тебе совет, как успешнее бороться с императором и нанести ему больший вред.

– Я слушаю голос Божий, указывающий

мне, по какой дороге идти, – гордо ответила Реа. – Я подчиняюсь Року, ибо из его лука брошена я, как стрела, в стан врагов. Я – в руке Бога живого, и он направляет мои шаги.

Пока Реа говорила так, я рассматривал ее лицо и вновь отчетливо видел, что она была некрасива и старообразна. У нее был сероватый цвет кожи, неправильные черты, глаза, в обычное время казавшиеся бесцветными. И ничего, кроме большой жалости к этой женщине, не было в моей душе. С радостью подумал я, что ее чары более надо мною не властны, и без всякого волнения спросил ее:

– Неужели ты думаешь, что этот юноша, которого мы застали сонным, в самом деле назначен для того, чтобы стать Господином мира? Мне кажется, он более пригоден быть гистрионом.

Волнение овладело Реею при этих моих словах; она, в своем пышном одеянии, опять опустилась на колени предо мною, наклонила голову в белой жреческой повязке, как виноватая, и тихо прошептала:

– Ты – прав. Мы с тобою ошиблись: это – не он. Наш императорский колобий не на тех

плечах, которые должен был бы украшать. И в этом мое горе.

Тогда я воскликнул:

– Если ты поняла это, не связывай своей судьбы с делом погибшим. Твои успехи, – весьма небольшие, впрочем, – зависели лишь от того, что ты в себя верила. Кто усомнился в себе, тот уже не может побеждать!

Но с обычным своим упорством Реа возразила:

– А в этом ты не прав! Если это – не Он, то все же где-то уже явился другой, истинный. Пророчества не могут обманывать. Все равно мы должны начать нашу борьбу, ибо времена и сроки исполнились: ты сам это знаешь. Здесь мы положим начало, и наши победы воссияют миру, как яркий маяк. Там, в другой стране, где ждет Он, истинный, услышат о них, и тогда, с пением молитв, мы пойдем поклониться настоящему Царю, грядущему, чтобы установить свое царство.

Я рассердился на упрямство девушки, которая на этот раз говорила не в бреду, не в иступлении, не как Сибилла, но с ясным разумом, и ответил резко:

– Глупая, неужели ты хочешь, хотя бы с десятью тысячами полудиких рецийских селян, без оружия, без умения, без опытных предводителей, вести войну со всей империей? Вы будете рассеяны, как мякина по ветру. Оставь свои бредни и пойми, над какой пропастью ты стоишь.

– Глупый! – возразила Реа. – Неужели ты думаешь, что я надеюсь на силу оружия? Я верю и знаю, что силы невидимые помогают нам, а что перед ними легионы, закованные в железо? Как протекающая вода, исчезнут они и побегут, как робкие бараны от волка. Не выдуманные Диоскуры споборают нам, но духи сильные, разящие огнем, ищущие победы после унижений долгих! Сломятся роги нечестивых и вознесутся роги праведных.

Так мы спорили с Реей еще долго, но напрасно я тратил все доводы логики, какие только мог найти, – она ничего не хотела слушать. И, наконец, я решил, что сделал достаточно, чтобы не упрекать себя никогда в гибели этой девушки. «Она сама избрала свою судьбу, – сказал я себе, – и теперь мне остается позаботиться о своей».

Решив так, я круто переменял разговор и напомнил Рее, что устал и голоден. Она, к моему удивлению, не удивилась моим словам, не ответила мне гневными упреками, не стала говорить, что должно заботиться о душе, а не о теле, но тотчас встала, пошла за перегородку, отделявшую часть домика, сама принесла мне хлеба, козьего сыра и немного вина. Пока с понятной жадностью я утолял свой голод, Реа стала участливо расспрашивать меня обо всем, что со мною произошло после того, как мы виделись в последний раз. Я рассказал о неудаче своей попытки убить Грациана, о своем тягостном заточении, о возвращении в Город и не скрыл, что теперь еду в Британнию с важным поручением. Все это Реа выслушала внимательно, ничего не возражая и делая вид, что все знала раньше, но о себе и своих приключениях не сказала мне ни слова, как я полагаю, умышленно. Вообще я заметил сразу, что безумие ее ослабло: она говорила вполне разумно и реже пересыпала свою речь словами из христианских священных книг.

«Клянусь Геркулесом, – говорил я себе, –

она выздоравливает!»

Но когда я кончил свой завтрак, Реа, словно забыв мои слова о Британнии, неожиданно сказала:

– Теперь я прикажу созвать совет старейшин: надо, чтобы они узнали тебя.

– Помилуй, – возразил я, – на что им меня узнавать! Сегодня же вечером я уйду отсюда, – один, если ты не хочешь за мною последовать, – и не возвращусь никогда. Я прибыл сюда лишь затем, чтобы тебя видеть.

– Сегодня ты не уйдешь отсюда, – отозвалась Реа.

– Так завтра, – сказал я настойчиво.

Рео, как это ей случалось часто, не обратила на мои слова никакого внимания, но, отворив дверь, приказала человеку, сторожившему вход, идти и собрать тех старейшин, которые были поблизости. Страж поклонился и пошел исполнять приказание. Я пожал плечами и повторил:

– Завтра мне необходимо вернуться в Медиолан: меня ждут.

– Она не дожидется тебя, или, вернее, ты ее не дождешься! – произнесла Реа пророческим

голосом. – От века ты обречен мне.

Я подумал о том, что мне полезно узнать как можно больше о жизни и замыслах мятежников, и перестал спорить.

#### IV

Медленно стали собираться в низкую и душную хижину Реи те, кого она называла старейшинами. Все, входя, почтительно Рею приветствовали и, молча, садились на скамьях, стоявших вдоль стен. По большей части то были люди не молодые, даже старики, простые селяне, с грубыми лицами, обветренными горными вихрями, и внешность только двух или трех выдавала горожан. Все, вероятно, уже слышали о моем прибытии, потому что всматривались в меня внимательно. Когда собралось восемь человек, Реа спросила:

– Остальных трех нет?

Кто-то ответил:

– Оба Иакова – в Малом Селе, а Матфей, по твоему приказанию, проповедует горным пастухам.

– Хорошо, – сказала Реа, – значит, в сборе все. Теперь есть среди нас и двенадцатый,

тот, кого мы называли Иоанном. Он к нам прибыл, чтобы исполнить число.

Говоря так, она подошла ко мне и взяла меня за руку; я невольно встал; а все присутствовавшие тоже встали и поклонялись мне.

После короткого молчания тот, кого потом называли Андреем, спросил:

– А знает ли новый брат все правила нашей общины?

Реа поспешно ответила:

– Он раньше других пришел к истине, и мы должны не спрашивать его, но его слушать.

Андрей, старик, с длинной седой бородой, возразил осторожно:

– Мы знаем, что брат Иоанн много послужил проповеди истины и пострадал за нее, но пусть все же он, как все другие, даст клятву соблюдать наши правила, подчиняться нашим решениям, служить только нашим целям и вечно быть во вражде с императором, неправо занявшим престол Грядущего.

– Нет, Нет, Андрей, – быстро воскликнула Реа, – от него мы не будем спрашивать клятвы. Иоанн – ученик любимейший, и мы ему

верим без клятвы. И еще объявляю вам, что его с этого дня я избираю своим братом. Этого с вас довольно.

Было явно, что собравшиеся таким решением Реи не довольны, но никто не посмел спорить. Один лишь Андрей с упрямством сказал:

– Пусть все-таки он отдаст все, что имеет, в общину, – ибо никто из нас не должен обладать своим имуществом.

Реа тогда обратилась ко мне с такими словами:

– Возлюбленный брат! Ты знаешь, что ко всем врагам нашим мы не ведаем пощады: для них у нас – кинжал, и меч, и яд. Но между нами, до тех пор, пока мы не победили мира, у нас все общее: все мы братья и сестры друг другу, каждый и каждая – муж и жена друг другу, и кто что имеет, отдает это всем другим. Так и ты, входя в общину новых людей, передай все, что есть у тебя, всем другим, и будешь обладать всем, чем владеют другие.

Я покорно вынул несколько серебряных монет и выложил их на стол, делая вид, что больше у меня ничего нет. По-видимому,

скудное содержание моего кошелька произвело дурное впечатление на присутствующих. Тот, кого потом называли Фомою, спросил меня:

– Брат! У тебя подлинно нет ничего более? Вспомни историю Анания и Сапфиры. Ведь неправду ты скажешь не человекам, но Богу.

При таких словах Реа пришла в крайний гнев и, выпрямившись, закричала на Фому:

– Как смеешь ты высказывать эти сомнения! Видно, недаром мы тебе дали имя Неверного! Молчи и знай, что брат Иоанн ближе тебя стоит и ко мне, и к Грядущему.

После такого заявления никто более не решился возражать. Другие апостолы молчаливо признали меня включенным в свое число. Кто-то напомнил, что уже время перейти к вопросам очередным, и начался род военного совета, на котором я присутствовал с великим изумлением.

Из собравшихся старейшин двое, кажется, совсем не говорили по-латыни, некоторые говорили с грубыми ошибками и мало, и только двое горожан свободно владели благородным языком Западной империи. Поэтому,

слушая произносимые речи и вникая в их смысл, порою просто хотелось смеяться. Но сами апостолы держали себя с важностью необыкновенной, как если бы они были на заседании полного Сената или в консистории принцепса. Один за другим они сообщали, что успели узнать за день, и предлагали те или иные меры.

Сначала речь шла о мелких проступках жителей селения, о юноше, не пришедшем на вечернее богослужение, о женщине, утаившей в свою пользу петуха, о девушке, отказавшей брату, который требовал ее любви. Старейшины обсуждали эти преступления и тут же постановляли свои решения, без соблюдения каких бы то ни было форм судопроизводства, не спрашивая даже обвиняемых и приговаривая их то к отлучению от общественных обедов, то к принудительным работам на кухне, то к несению лишней сторожевой службы. Только после этого перешли к делам более важным и заговорили о том, что единственно должно было бы занимать внимание всех – о наступлении на стан мятежников префекта с его легионом.

Все уже были осведомлены, что Римский лагерь стоит в каких-нибудь шести-десяти милях от селения. Некоторые рассказывали, что видели передовые отряды и военных лазутчиков под самой горой. Кто-то уверял, что одна когорта обходит горы, чтобы оцепить всю местность. Раздались даже голоса, что в самом селении есть переодетые соглядатаи.

Когда зашел спор о том, что делать, старейшины стали подавать мнения одно другого нелепее. Андрей предложил на всех дорогах поставить изображение Змия, говоря, что это одно отразит все приступы легионариев, потому что их глаза будут ослеплены. Варфоломей высказался за то, чтобы обратиться к легиону с проповедью и тем его весь привлечь на свою сторону. Фома решительно настаивал на том, чтобы немедленно вступить в открытый бой, но сомневался в победе и советовал после нее прямо идти на Медиолан.

Тогда и я счел минуту подходящей, чтобы вмешаться в обсуждение, и сказал так, применяясь к речам присутствующих:

– Братья! Вы, верно, забыли, что такое наши легионарии. Во-первых, это – люди, при-

выкшие к безусловному повиновению своему начальнику. Они, если им прикажут, не шевельнув бровью, размечут тысячи изображений священного Змия. Во-вторых, это, часто, – дикие германцы или скифы, которые не станут слушать наших проповедей, да и не поймут их. Им проповедать столь же бесполезно, как говорить к мертвым скалам. В-третьих, это – бойцы, закованные в железо, хорошо вооруженные, с которыми – конница и баллисты. От отца к сыну переходит ремесло воина, и поколение за поколением привыкают они к военным трудам; их ли вы надеетесь сокрушить с толпой людей необученных и плохо вооруженных? Я вам дам свой совет: мы все должны рассеяться по горам, всюду собирать новых приверженцев, всюду сеять мятеж, привлечь на свою сторону другие легионы и ждать, когда к восстанию будет готова вся Реция и соседние провинции.

Говоря так, я полагал, что правильно исполняю поручение Гесперии, так как только большой мятеж нескольких провинций мог бы быть полезен нашему делу, а не маленькое восстание нескольких селений, которое,

конечно, без труда будет подавлено военными силами. Но Реа, которая с беспокойством следила за моей речью, боясь, что я скажу что-нибудь неуместное, здесь прервала меня и воскликнула:

– Брат Иоанн – прав! Не на силу, не на хитрость, не на убеждения должны мы уповать, а единственно на помощь незримых покровителей наших! Или вы забыли, что ангелы тьмы берегут нас и крылами своими покроют нас в час битвы? Но с последними словами брата мы не можем согласиться: не отступать должны люди новые, но идти вперед, не прятаться, но выйти на яркий свет. Не так ли, брат Петр?

Лица всех обратились к человеку, молчавшему до сих пор, еще не старому, с лицом горожанина, умным и хитрым, и, улыбнувшись, он заговорил плавно и правильно, обличая хорошее знакомство с правилами ретирики. Видимо, стараясь говорить как можно проще и яснее, он сообщил, что в одиннадцати селениях, пока примкнувших к мятежу, можно собрать до двух тысяч мужчин. К ним надо присоединить несколько сот горных

пастухов, готовых помогать в борьбе с ненавистными императорскими войсками. Однако только половину этих сил можно вооружить мечами, копьями, шлемами, наколенниками; на долю остальных приходятся ножи, дубины, самодельные луки. Поэтому сосредоточивать всех людей в одном месте и вступать в открытый бой было бы безумно. Напротив, должно силы раздробить, укрепить каждое селение, каждую гору и везде сопротивляться до последней возможности.

– Из каждой скалы, – говорил Петр, – мы должны создать крепость. Каждый дом должен на несколько дней задерживать легионариев. Мы будем поражать врагов из-за угла стрелами, будем скатывать им на головы камни, будем ночью поджигать их стоянки. Когда в одном месте сопротивляться станет невозможно, мы будем переходить в другое. Посмотрим, долго ли префект выдержит такую борьбу. Римские воины отступят перед неприятелем невидимым и сами потребуют, чтобы их отвели обратно в долины. Мы останемся в горах властелинами и будем собирать новые силы.

Речь была настолько дельная, что спорить против нее было трудно, и даже простые селяне поняли все преимущество предлагаемого им способа действий, который, впрочем, немногим отличался от того, который советовал я. После недолгих рассуждений все согласились с Петром, и он, как бы приняв на себя обязанности вождя, стал отдавать другим подробные приказания. Так, Филиппу и Варфоломею он сказал идти немедленно в какие-то отдаленные селения и там строить укрепления; Матфея послал к горным пастухам, чтобы раздать им оружие; нам всем посоветовал завтра же утром покинуть место, где мы находились, и перебраться в Новое Село, которое защищено самой природой, так как стоит над глубокой пропастью и прислонено к высокой скале. И с этим все также согласились почти без спора.

На том военный совет закончился. В комнате становилось жарко и душно, все мы были рады выйти на свежий воздух, и один за другим старейшины с низким поклоном покидали собрание. Так как я не знал, что мне делать, то Петр, обменявшись с Реей несколь-

кими словами, подошел ко мне и сказал:

– Брат Иоанн, Царице надо отдохнуть, пойдем со мною, я покажу тебе все достойное внимания.

Мне оставалось только подчиниться, и Петр повел меня через все селение, где на улице весело толпились его жители. Одни были заняты домашними работами, другие укладывали свое добро, вероятно, уже прослышав о предстоящем переселении, третьи просто разговаривали между собою на местном наречии, хохоча, толкая друг друга. Все было так просто, как в любом маленьком горном селении, и ничто не выдавало, что здесь – средоточие мятежа, потребовавшего посылки целого легиона, что здесь – столица, где пребывает новый император, соперник божественной особы Грациана, что здесь, в маленьком домике, спит тот, кого прочат во владыки вселенной, кто думает стать противником и победителем Христа, заместителем его в умах людей нашего времени.

Водя меня по селению, Петр показывал мне то дом, где было собрано оружие, немалое количество мечей, копий, щитов, дроти-

ков, шлемов, то длинные общественные столы, за которыми все жители обедали вместе под открытым небом, то большие печи, сложенные прямо на земле, на которых женщины, назначенные на этот день, уже начали готовить пищу. По дороге Петр знакомил меня с разными встречавшимися людьми, и те, узнав мое имя, уже известное им, приветствовали меня, как одного из вождей. Я воспользовался случаем и старался обо всем расспросить моего спутника, но он был очень осторожен и, охотно отвечая на мои вопросы, касавшиеся устройства общины, делал вид, что не слышит меня, когда я его спрашивал, кто он сам, откуда попал сюда и какие цели преследует. Я видел только, что он – человек бывалый, опытный, образованный, и недоумевал, что заставило его соединить свою судьбу с делом, явно безнадежным.

Разговаривая, мы миновали последний дом и продолжали подвигаться вперед, вниз, по той тропинке, по которой меня утром принесли в селение. На одном повороте Петр предложил мне отдохнуть, и мы сели на камне, так что перед нами простиралась вся до-

лина, поросшая кустарником, между которым извивалась тропинка, ведущая на дорогу к Медиолану. Мне захотелось исследовать ее подробнее, так как я уже не сомневался, что из стана мятежников мне придется бежать тайно, и потому, посидев немного, встал и сказал своему спутнику:

– У тебя, вероятно, есть дела в селении, возвращайся туда, а я пройду еще несколько шагов вперед: может быть, мне удастся подметить присутствие поблизости Римских лазутчиков.

– Нет, нет, – возразил Петр, – дальше идти нельзя: мы оба должны вернуться в селение к обеду.

– Но я не хочу обедать, – сказал я.

– По нашим правилам, на обеде мы должны присутствовать все, – ответил Петр.

Я не без гнева сказал в ответ, что если правила так стеснительны, то их исполнять я не намерен. Не знаю, сделал ли Петр при этом какой-нибудь знак, но только в эту минуту из кустов появилось двое рослых юношей с толстыми дубинами в руках и загородили мне дорогу. Поняв, что меня насильно заставляют

вернуться, я невольно схватился за кинжал, но здесь произошло следующее: рукою, быстрой, сильной и ловкой, Петр, прежде чем я успел опомниться, вырвал у меня кинжал и с добродушной улыбкой сказал мне:

– Возлюбленный брат Иоанн! Ты, верно, не понял, что мы обязаны отдать общине не только свои деньги, но и все, чем мы владеем. И этот твой кинжал должен быть также присоединен к складу оружия. Он нам пригодится: таких хороших кинжалов у нас мало.

Охваченный понятным раздражением при таком насилии, я резко стал негодовать на то, что у меня отнимают мою вещь, мне необходимую, но Петр опять возразил:

– Ты ошибаешься: у тебя берут твой кинжал, но зато ты становишься обладателем всего того оружия, что собрано нами. Взамен одного кинжала ты получаешь сто с прибавкой многих мечей, копий, дротиков. Ты стал богаче, а не беднее. Притом твой кинжал тебе возвратят, когда тебе в нем будет нужда: в час боя.

Говоря так, Петр прочел надпись на рукоятке кинжала: «Учись умирать!» – и усмехнул-

ся.

После этого мы пошли обратно в селение, но я, конечно, уже не мог разговаривать с моим спутником, так как гнев, ярость и злоба буйствовали в моей душе, сплетаясь и расплетаясь, как змеиные волосы Горгоны. Я чувствовал теперь, что при всем почете, какой мне оказывали, в стане мятежников я был пленником, и понимал, какой опасности себя подверг, предприняв свое безрассудное путешествие. Однако в то же время я надеялся, что с помощью Реи, которая, по-видимому, готова была меня защищать против всех, я сумею освободиться и еще к сроку вернуться в Медиолан. Я обдумывал планы побега и даже помышлял о том, чтобы отомстить этому Петру, унизившему меня своим насилием. С такими невеселыми мыслями я вернулся в селение, где уже делались последние приготовления к общественному обеду.

Как то было в древней Спарте, по улицам были расставлены длинные столы, за которыми уже размещались все жители: мужчины, женщины, дети. Для старейшин был приготовлен стол особый, и Петр повел меня к

нему, предупреждая не без насмешки, что пища будет, может быть, не столь изысканна, как я к тому привык.

– Мы на войне, – говорил он, – а во время походов надо уметь питаться одним хлебом и водою. Эти люди, разумеется, лучшего не видали во всю свою жизнь. Но вспомни Великого Александра, вылившего при переходе через Гедрозию ту воду, что воин принес ему в шлеме. Мы должны поступать так же.

Я не ответил ничего, так как мне было нестерпимо разговаривать с моим оскорбителем, но отметил в душе, что этот Петр охотнее в своих речах приводил примеры древности, чем имена Христа и слова христианского святого Писания. Я подумал, что он – или изменник, императорский соглядатай, или человек подлый, из личных целей прикидывающийся христианином, одним из «людей новых», как они называют себя. И, думая так, я решил быть настороже и свои сомнения сообщить Рее.

Ни Реи, ни Люциферата среди нас не было, так как, по словам того же Петра, они готовились к вечернему служению, и, как это ни

странно, я при этом известии испытал чувство, похожее на порыв ревности. Угрюмым сел я за стол и во все время обеда молчал, а на обращаемые ко мне слова Петра старался отвечать как можно короче, каким-нибудь «ita», чтобы только прекратить разговор. К тому же главным кушаньем оказалось что-то, действительно напоминавшее спартанскую черную похлебку, а так как я не купался в Эвротe, то и пришлось мне ограничиться одним козьим сыром, хлебом и местным вином, бывшим, впрочем, на столах в изобилии. Зато за другими столами господствовало безудержное веселие, раздавались громкие голоса, смех, вскрики, и я видел, как там мужчины бесстыдно обнимали женщин и как сидевшие рядом вольно заигрывали с маленькими девочками и мальчиками.

Благодаря медленности, с какой кушанья подавались на столы, обед затянулся до сумерек, чем, кажется, все были скорее довольны, но вдруг Петр, взглянув на солнце, скрывавшееся за горой, встал, ударил ножом по доске стола и крикнул таким голосом, что он пронесся всюду:

– Братья! время кончить нашу общую трапезу! Настал час вечернего служения!

И тотчас все повскакали из-за столов и двинулись с шумом к тому домику, который называли дворцом-храмом. Я заметил при этом, что среди толпы было много совсем пьяных. Около храма все остановились и по чьему-то знаку начали петь свой гимн, – слов которого нельзя было разобрать, – еще более пьянея от тесноты и пения.

Меня Петр поставил около самой двери, и я видел, что другие апостолы расположились поблизости. Между тем вокруг постепенно темнело и на небе означались первые звезды.

Вдруг двери храма раскрылись, и стала видна внутренность дома, освещенная маленькими луцернами. Прямо перед входом, на каком-то подобии трона, восседал Люциферат в высокой египетской тиаре и в том пурпурном колобии, который так долго тревожил меня, покоясь на дне моего дорожного ларя, а в руке у юноши был жезл с золотым изображением Змия. Около стояла Реа, закутанная в белый плащ; лицо ее при мерцании света казалось бледным и странным, и вновь

я в ней узнал ту пророчицу, которая умела увлекать за собою обезумевших людей. Еще в глубине комнаты я различил Филофрона и его жену, которых видел когда-то в Медиолане, на собрании Змиепоклонников.

При этом зрелище толпа закричала восторженно и неистово, а иные даже падали на колени и простирали молитвенно руки к своей Царице. Но Реа сделала знак, чтобы все замолчали, и, выступив вперед, остановилась на пороге дома. Здесь несколько мгновений она стояла, качаясь, как пьяная, потом заговорила голосом громким и звучным, который должен был долетать до последних рядов толпы:

– Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в нас веруйте. Мы – путь и истина и жизнь; нет пути к Богу, как только через нас. Кто любит нас, того и мы возлюбим и воочию явимся ему. И мужайтесь, любящие, ибо нам дано победить мир. Что и где были вы? – в неизвестности скитались, и вот мы призвали вас, чтобы вы владели народами и повелевали странами. Люди новые! ведайте, что вам все разрешено и все позволено, что ни в чем

нет для вас запрета. Вы все святы, потому что возлюбили нас и тем освятили свою душу и свое тело. Нет ныне никакого осуждения тем, которые в Пришедшем живут не по плоти, но по духу. Всякий грех освятится в вас, зло совершите – и будете увенчаны с Неба, преступите закон – и ангелы возопиют вам: «Слава!» Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Дерзайте, братья, потому что должны вы чувствовать святость, нисшедшую на вас! По всей земле разольется учение наше, и неверные станут рабами нашими, и власть над людьми дастся вам за то, что первыми вы явились к поклонению Пришедшему. Сильные унизятся, гордые будут низложены, владыки преклонятся, и вам дан будет скипетр земли. К победе и к царству веселия идите за нами, люди новые!

Еще долго так говорила Реа, причем, вероятно, иным все же не было слышно ее слов, а другие не понимали их, не зная нашего языка; но на всю толпу речь производила впечатление удивительное. Женщины уже не могли удержаться, плакали и что-то восклицали, старики селяне дрожали, словно от холода,

все порывались вперед, чтобы стать ближе к пророчице. Тогда Реа, прервав свою проповедь, опять сделала знак замолчать, и хор девушек довольно стройными голосами запел то подобие христианской литании, которое я слышал в Городе. Снова раздавались в ночном безмолвии горного селения страшные призывы к греху, злодейству, убийству, и толпа, в которой многие стояли на коленях, отвечала на возгласы:

– Да будет!

Когда же литания кончилась, старуха, жена Филофрона, подала Рее сосуд с вином, и девушка, вновь вышедши на порог, возгласила те же слова, что произносятся и на христианских богослужениях...

.....

Волнение народа достигло к этой минуте напряжения высшего, Реа же продолжала молитвенно:

– Час настал сумрака, покрывающего все деяния! час настал радости и наслаждений! час настал награды за дневные труды! Сумрак священный, черные крылья единого нашего Заступника, великого, мощного Царя Тьмы!

Когда затмилось солнце, когда погас свет ненавистный, служим тебе помыслами и делами, ибо достойно восхвалять тебя душами и телами нашими, кои ты освятил. Владыка сильный, радости ниспосылай, за которые твои слуги тебя славят. Слава тебе, приведшему мрак.

Подступив тогда к Люциферату, продолжавшему сидеть безмолвно и неподвижно, со своим озмиенным жезлом в руке, как восковая кукла, Реа ему подала сосуд с вином, и тот приник к нему губами. Потом медленно она стала снимать с отрока его одеяния: и пурпурный колобий, и тунику, и золоченые полусапожки, и когда его тело было совсем обнажено, к нему припала губами, целуя его поцелуями длительными и сладострастными. При этом виде некое безумие охватило толпу, и смятение наступило среди всех стоявших перед храмом. Мужчины бросались к женщинам и женщины к мужчинам, и здесь же, на глазах у других, замыкали один другого в объятия. Словно какая-то оргия времен Эллагабала повторялась на маленькой лужайке, в этом, затерянном в горах, селении, или слов-

но громадный лупанар вдруг оказался перенесенным за много миль от большого города и предан простым селянам, недавно еще казавшимся добрыми работниками и честными женами. Я видел, как в свете звезд падали на землю обнявшиеся пары и продолжали ласкать друг друга, а тишина наполнилась тихими вскриками и радостными стонами.

Но я не в силах был наблюдать совершающееся, потому что внезапная и нестерпимая ревность сжала мне сердце. Я не мог вынести зрелища Реи, отдававшей свои ласки кому-то другому, хотя еще несколько часов назад говорил себе, что она мне чужда и что больше я не поддамся ее обольщениям. Не помня себя, я вбежал в дом и хотел оттолкнуть девушку от обнаженного тела в сладкой истоме покоившегося отрока, но меня удержали сильные руки Филофрона. Я освободился, однако, от объятий старика и вторично устремился к Рее с горькими упреками. Но в ту же минуту я заметил, что двери храма уже закрыты и что в полуосвященной комнате нас всего четверо: Реа, старик, спящий Люциферат и я.

Реа тихо выпрямилась и шепотом сказала

мне:

– Юний! он – спит, и я всегда усыпляла его, потому что не хочу другого брата, кроме тебя. Ты был мне послан судьбой, и иного я не знаю. Иди за мною.

Старик, погасив догоравшие луцерны, бесшумно скрылся. Обнаженный Антиной был простерт на своем троне без движений. Последний отголосок воли побуждал меня теперь бежать из этого дома соблазна, но Реа в своем белом плаще вновь казалась мне прекрасной. Было ли то влияние вина, которое я пил за обедом, или странного служения, при котором я присутствовал, или чудовищного зрелища, которого я был свидетелем, но уже я не мог сопротивляться девушке. Она ласково, но настойчиво повлекла меня за собою за перегородку, разделявшую храм на две половины, и я покорно, в невольной дрожи, следовал за нею.

Как слабая попытка оправдать свое поведение, скользнула в моем уме мысль, что только на дружбу и любовь Реи я могу рассчитывать, чтобы вырваться из рук мятежников, державших меня в плену, но и сам я почти не

поверил такому своему соображению. Я снова поддался таинственным чарам, исходившим от всего существа Реи, снова был в ее власти, как спутники Улисса во власти волшебницы Цирцеи. Словно во сне увидел я мягкое ложе, приготовленное в маленькой комнатке, в глубине храма, и словно во сне почувствовал на своем лице те же нежные уста девушки, которые только что прикасались сладострастно к обнаженному телу отрока. Я не сопротивлялся более, и странно желанной представлялась мне эта удивительная девушка, днем еще казавшаяся некрасивой и старой: как будто что-то необыкновенно дорогое и давно утерянное обретал я вновь. И уже я сам шептал любовные слова, безудержные и неразумные, уже сам добивался губ, алевших в темноте, сам сжимал в объятиях тело гибкое, как у змеи, и дрожавшее в моих руках, как речной тростник под ветром...

Так в эту первую ночь, проведенную мною в стане мятежников, я нарушил клятвы, что со всей искренностью давал и самому себе, и пославшей меня в путь Гесперии.

Когда утром я проснулся, при свете солнца, проникавшего в комнату через ставни, закрытые неплотно, Реи со мною не было, и я, вспоминая вчерашний вечер, не мог понять ни своих поступков, ни своих чувств. Оправив одежду, я вышел за перегородку и увидел, что Люциферат продолжал покоиться в объятиях, не знаю, Ицелона или Фантаса, на своем змееукрашенном ложе. Больше никого в храме не было, но когда я попытался выйти на улицу, оказалось, что двери заперты вновь и что я закрыт в нем, как узник.

Понятное раздражение наполнило мою душу после такого открытия, и, подумав немного, я решил, что против людей, держащих меня в заточении, как пленника, всякая хитрость позволена. Я начал будить прекрасного юношу, что удалось мне не сразу, причем, сознаюсь, прельщенный его красотой, я прибежал и к помощи поцелуев, охотно прикасаясь губами к тому телу, которое накануне сладострастно целовала Реа. Когда мой Аниной, наконец, открыл свои удивленные глаза и понял, кто перед ним, я, верно угадывая, что ко мне он отнесется с недоверием, всячески по-

старался рассеять его предубеждения.

– Милый мальчик! – сказал я. – Как я рад, что нам с тобою пришлось остаться наедине. Ты, может быть, видишь во мне врага, но я – несчастный, которого коварством завлекли сюда и здесь держат взаперти, как и тебя, впрочем. Я хочу тебе довериться, потому что у тебя лицо доброе и нет у тебя причин желать мне зла. Вчера я видел, как ты огорчился от слов Царицы, сказавшей, что вместо тебя теперь она меня избирает своим братом. Хочешь сделать так, чтобы она вернулась к тебе? Тогда помоги мне бежать отсюда: лучшего мне не надо.

Люциферат сначала слушал мои слова подозрительно, но я продолжал говорить со всей убедительностью, какую только мог почерпнуть в своей жажде свободы, и так как юноша не отличался ни особой остротой ума, ни более тонкой сообразительностью, то понемногу он поверил моим доводам и в конце концов воскликнул простодушно:

– Неужели это правда, и ты в самом деле здесь, у нас, в плену, а не пришел с тем, чтобы отнять у меня сестру?

– Клянусь звездами, – сказал я, – что у меня в мыслях нет отнимать у тебя твое счастье, и что если ты мне поможешь, я отсюда уйду и не возвращусь никогда!

Уверившись в моей искренности, юноша огляделся кругом, убедился, что мы одни, и, наклонясь ко мне, стал быстро и сбивчиво шептать свои признания.

– Знаешь, – говорил он, – если так, я тоже уйду с тобою. Мне здесь очень худо. Когда мы жили в городе, меня все любили и многие ласкали. Здесь мать и отец отдали меня Царице и позволяют ей делать со мною все, что она хочет. Прежде она тоже была добрая, но потом стала злая. При других она меня ласкает, а когда мы бываем вдвоем, только бранит и иногда бьет. Меня никуда не пускают и целый день велят спать. Будь ты теперь моим братом, уведи меня отсюда, я тебя буду очень любить.

Особенно многого юноша сообщить мне не мог, так как он не способен был замечать, что совершалось вокруг него, да и мало что ему приходилось видеть, все же я кое-что от него выспросил. Так я догадался по его смутным и

спутанным рассказам, что жители селения делятся на две стороны: одну, меньшую, составляют приверженцы Реи, верящие в ее бредни и в то, что Люциферат – пришедший Антихрист; другую, гораздо более многочисленную, – поклонники Змия, называющие юношу своим живым алтарем. Между двумя сторонами постоянно происходят ссоры, а порою даже драки, и только стараниями Реи да Петра, значащего, по-видимому, в общине много, удается поддерживать некоторое согласие и успокаивать распри. Юноша передал мне еще тайное совещание своих родителей, на котором они говорили о том, чтобы Рею убить, так как она враждебна их вере и отвергает поклонников Змия от истины.

Рассказывая все это, Люциферат по-детски плакал, и так мне стало жаль юношу, более прекрасного, чем звезда, что опять я обнял его обнаженное тело, достойное мрамора, и опять начал его покрывать поцелуями. Увлеченный этими ласками и согретый близостью нежных членов мальчика, я не расслышал, как проскрипел ключ в дверном замке и растворился вход. Внезапно и не без смущения

ния я увидел перед собою Петра, подошедшего к нам уже вплотную. Апостол строго и подозрительно смотрел на нас, а я, выпустив из рук гибкое тело, почувствовал новый прилив ненависти к человеку, вчера жестоко меня обидевшему.

Помолчав мгновение, Петр сказал мне:

– Брат Иоанн, нам всем время в путь. Медлить нельзя, и не час теперь предаваться забавам. Дорога наша дальняя. Вставай и иди за мною.

Я ничего не ответил Петру, предпочитая не говорить с ним, но не считал возможным и спорить. Встав с ложа, я последовал за Петром на улицу, стараясь держать себя независимо, как равный. А когда мы выходили из дверей храма, мимо нас прошел Филофрон, видимо, затем, чтобы увести Люциферата.

Улица была оживлена, как в рыночный день, так как жители все уже приготовились к переселению, решенному вчера. Мужчины, женщины, дети, одетые по-дорожному, с котомками за плечами, гудели, как пчелиный рой, переходили с места на место, несли какие-то лари и узлы, навьючивали несколько

откуда-то появившихся мулов, переговаривались весело и хохотали беспечно. Отдельно держался отряд юношей, в полном вооружении, в шлемах и под копьем, который должен был, очевидно, охранять других во время пути. Дома стояли растворенными, и все селение уже имело вид покинутого и разоренного улья.

Петр меня провел к домику Реи, где собрались апостолы, державшиеся более молчаливо, вероятно, в сознании своей ответственности, как вождей, и все они меня встретили как товарища и им равного, называя братом Иоанном. Петр уверенной рукою постучал в дверь домика, и почти тотчас она открылась, и на пороге в том же алом одеянии, в каком встретила меня вчера, появилась Реа, в сопровождении двух девушек, заменявших ей рабынь, — Фивы и Агны. Словно истинная Царица, какая-нибудь Нитокрида Египетская, она сделала всему сборищу приветственный знак рукою, села с помощью Петра на подведенного ей оседланного мула и, тронув повод, поехала вперед, а за ней зашагал отряд вооруженных; следом шел Филофрон с женою, сы-

ном Люцифератом и друзьями; потом мы, апостолы, а еще дальше толпа народа, вытягиваясь по узкой тропе, как некий дракон, и высоко подымая над головами золоченые изображения Змия. Оглянувшись на шествие, на людей, уносивших с собою все свое имущество, уводивших за руки малых детей, я подумал о том, что не иначе, когда-то, предки наши отправляли из Города избыток жителей и ветеранов в свои новые колонии.

Никто в толпе не жалел о покидаемом селении, которое, впрочем, для многих было лишь привалом в пути на несколько дней, но все шли шагом бодрым, не жалуясь на часто тяжелую ношу, продолжая свои разговоры, прерываемые смехом и песнями. Можно было представить, что люди идут в соседнее селение на годичный праздник в честь какого-нибудь веселого божества, где им предстоит лишь пить вино и плясать до поздней темноты, а не в укрепленный стан, чтобы там обороняться против натиска Римского легиона. С первой же мили я заметил, что без присмотра меня не оставили, так как рядом со мною оказался не отстававший от меня ни

на шаг апостол Фаддей, старик, с лицом морщинистым и загорелым, словно неискусно вырубленным из дерева. Первоначально я смотрел косо на своего неотступного стража, но потом, скучая в пути, уступил его попыткам вступить со мною в беседу, хотя скоро должен был отказаться от надежды что-либо от него узнать, так как невежество и легковерие этого старика поистине были шире самого моря.

– Да, брат Иоанн, – говорил он мне, выговаривая слова грубо, как все реты, – счастье нам выпало такое, какого нельзя было ждать. Святые мученики нам позавидовали бы! Легко ли сказать, – мы в апостолах! Притом первый-то раз сходил Христос в унижении, чтобы пострадать, а теперь грядет со славою и в торжестве. Исполнится пророчество, и мы воссядем на двенадцати престолах судить двенадцать колен израильских.

Фаддей, как дальнейшие его речи мне показали, разницы между Христом и Антихристом не понимал, Рею почитал девою Марией, воплотившейся вторично, истинных размеров земного круга не подозревал и был уве-

рен, что добрая половина империи примкнула к восстанию, что через несколько дней все войска Грациана будут нами истреблены и мы вступим торжественно в самый Рим. Разубеждать апостола у меня не было оснований, и потому возражать я ему не пытался, что не мешало ему, послушно исполняя обязанности моего стража, восторженно рассказывать о чудесах, на его глазах сотворенных Царицей, о помощи ангелов в бою с легионерыми, о радости той жизни, какую теперь ведут люди новые и которая есть уже прообраз блаженства праведных в Раю.

– Думаю, – наивно заметил он, – что нам живется лучше, чем героям в полях Элисийских. Да и как же могло быть иначе? Время ли нам поститься, когда с нами жених наш?

Дорога наша, перейдя долину, углубилась в горы, становясь все уже, и нам постоянно приходилось то одолевать трудные подъемы, то переходить ручьи, то пробираться сквозь сросшиеся кустарники. Подобно мне, все другие, вероятно, тоже ощущали усталость от ходьбы, да и Титан, стоя высоко в небе, палил жестоко. Поэтому около полудня был сделан

на небольшой луговине привал, и из вьюков достали наши съестные припасы, все тот же грубый хлеб, и козий сыр, и вино, но наши люди были этому обеду рады, как пиру Лукулла. Радостно все разместились на нежной, душистой траве, пропели, как приапическую песню, какие-то молитвы и, запивая неприхотливую пищу прошлогодним вином, тешились, как члены какого-нибудь братства, вышедшие на увеселительную прогулку. Перед началом этого пира Реа, обходя сидящих, с важным лицом благословляла их обед, и многие остались в убеждении, что такое благословение совершило чудо: благодаря ему скудных запасов достало на всех, все ели, насытились и еще собрали остатки в корзины.

После обеда еще часа два мы должны были идти вперед, взбираясь все выше и выше, пока вдруг с одного поворота не открылся нам, в своей синей красоте, Комацей. Молча, но со сладостным восторгом, я приветствовал «тебя, о, Ларий великий», – озеро, помянутое бессмертным поэтом, и все время, пока наша тропа открывала нам новые просветы на зеленую водную гладь, протянутую внизу,

подобно безмерной полосе лучшего шелка, на прихотливые изгибы окружающих ее смарагдиновых склонов и смуглых скал, на всю пышность и многоцветность поставленной перед нами дивной картины, далью для которой служили снежные вершины, а рамой – безоблачное небо, – повторял стихи великого Мантуанца:

*Нет, ни Мидийцев земля, богатая  
лесом, ни пышный  
Ганг, и не ты, о, Герм, от золота  
мутный, не смогут  
Спорить с Италией славой, ни  
Бактра, ни Инды, ни даже  
Вся, что песками тучна, принося-  
щими ладан, Панхэя.*

Но толпа, шедшая со мною, в которой многие были, впрочем, уроженцами этих гор и с детства привыкли к красоте страны, не обращала внимания на величие зрелища, и хор все пел свой нелепый гимн, восхваляющий богатство Иерусалима нового, сходящего от Бога, где стены будут из ясписа, врата – двенадцать жемчужин, в основаниях – яспис, сапфир, халкидон, смарагд, улицы – чистое золо-

то, строения – прозрачное стекло.

Увлеченный созерцанием и мыслями о Италии, царице мира, я не заметил, как мы приблизились к цели нашего путешествия. То был сравнительно большой поселок, почти похожий на городок, разместившийся на широком уступе горы, отвернувшемся от озера. Площадка сзади была действительно zagrożена высокой, почти отвесной скалой, и казалось, что к Новому Селу есть лишь один доступ – по узкой тропинке, крутыми извивами подходившей к нему с соседнего холма, через неглубокую лощину. Даже неопытному глазу становилось ясно, что это место, с военной точки зрения, защищено самой природой и что небольшой отряд легко здесь может обороняться против натиска неприятеля, сильнейшего вдесятеро.

В Новом Селе ждали нашего прибытия, так как о нем известили посланные вперед гонцы, и когда приближение наше было замечено сторожевыми, на край горной площадки выбежали люди, издали представлявшие маленькими куколками из глины, махали руками и, вероятно, кричали приветствия. В на-

шей толпе все, словно забыв усталость, отвечали тем же, также махали руками и древками с изображениями Змия, кричали что-то и присоединяли свои голоса к пению девушек, так что скоро образовался нестройный хор из сотен голосов. В то же время невольно мы зашагали быстрее, спеша к отдыху и желанному приюту.

На полдороге, где начинался подъем, нас встретили выбежавшие вперед жители Села; они падали ниц перед мулом, на котором ехала Реа, бросали у ее ног зеленые ветви и кричали: «Благословенна идущая во имя господне!»

По мере приближения к Селу толпа возрастала, и наше шествие опять обратилось в триумфальное, потому что эти люди новые были готовы ликовать и торжествовать по всякому поводу. Я же тщательно наблюдал за Реей и видел, что поклонения она принимала как должное, с тем сознанием своих заслуг, с каким Флакк приглашал Мельпомену увенчать его Дельфийским лавром, и в ответ на восторженные клики только наклоняла немного голову, как император перед чернью. «Ты ли

это, – думал я, – бедная, безродная девушка, которую в Римском Порте защитил я, юноша-путешественник, от наглости сирийца, который почитал себя в воле делать с тобою, что ему вздумается?»

Медленно подъехала Реа к домику, уже приготовленному для нее, и у дверей Петр, опять с величайшей почтительностью, помог ей сойти на землю. Обратившись к стоящим поблизости, Реа сказала:

– Мы все – сестры и братья. Дом каждого из нас – дом другого. У нас нет иных врагов, кроме тех, кто не с нами. Пусть же сестры и братья радостно принимают к себе сестер и братьев. Вы все – сыны Божии по вере в нас, и потому все друг другу родные. Итак, одни входите в дом, как к отцу, к сыну, к мужу или жене; другие встречайте входящих, как родителей, как детей, как супруга или возлюбленную, бывшую в отсутствии. Ныне радуйтесь все, что вы вместе!

После этих слов Реа вошла в дом с Фивой и Агной, а наша толпа, исполняя указание Царицы, рассыпалась по селению, и каждый выбирал себе дом и сожителей по своему вкусу.

Женщины радушно звали к себе мужчин и тут же протягивали уставшим с пути чаши с вином, старики, кряхтя, сваливали свои котомки у случайного порога, женщины, беспечно бросив своих дневных спутников, выбирали более статного из юношей, наперерыв звавших их в свое жилище. Уже и я готов был последовать общему примеру, когда подошел ко мне Петр, всюду успевавший, и сказал мне голосом, возражений не допускавшим:

– Брат Иоанн! тебе приготовлена комната, где ты будешь жить с братом Фаддеем: так решила Царица.

Меня провели на самый край Села, где в небольшом домике часть была отгорожена для нашего жилья и где старик Фаддей уже положил свою мантику. Подумав, я решил, что мне благоразумнее не противоречить пока желаниям Реи, и, так как меня оставили одного, тотчас лег отдохнуть, после нелегкого перехода, на одну из деревянных скамей, составлявших все убранство моего нового дома. В те минуты я решительно проклинал свое юношеское безрассудство, сделавшее меня пленником христианских мятежников, завед-

шее меня в неизвестные мне глубины Альпийских гор, удалившее меня от Гесперии, с которой я мог бы быть вместе в этот самый час. Мысли невеселые стали опять надо мною кружиться, как в летнюю жару язвительные комары, и я сам осыпал себя горестными и бесполезными упреками, вытянувшись на жестком ложе, слушая гул радостных голосов, который летел ко мне и с улицы, и из домов, переполненных вновь пришедшими и местными жителями Села.

Конечно, обдумывал я и способы побега, но ни к какому окончательному решению не направил моих мыслей благосклонный бог, и только одно обещание я торжественно дал себе: но поддаваться более чародейственным соблазнам Реи.

– Венера Небесная! – молился я, – ты, царящая на морях, знаешь глубины души человеческой и видишь, что нет во мне другой любви, как к прекрасной Гесперии. Пусть она меня оскорбляет, коварно со мною обращается, посылает меня на гибель, – я ей хочу быть верным. Охрани же меня, Эрицина, от подводных камней и мелей, от опасных скал Па-

хина, о которые может разбиться корабль моей любви, потому что жажду я его сохранить, как мой дар тебе.

Но и в тот день Аматусия не вняла моим мольбам, или уже *sic erit in fatis*, только все вновь совершилось в том же порядке, как накануне. Через некоторое время меня вызвали на общественный пир, на этот раз устроенный на земле, так как в Селе не было достаточного числа столов для всех собравшихся. Опять происходило общее пьянство и ликование, в котором я всячески старался не принимать участия, опять, при свете звезд и факелов, началось странное богослужение, которое, может быть, всего более напоминало женские мистерии в честь Приапа; опять я увидел Рею, в час, когда она говорила к народу и выполняла чудовищные обряды, – преображенной, как если бы было в ней два существа: дневное – простая, некрасивая, хотя и разумная девушка, играющая, как в театре, роль Царицы, и ночное – неодолимая соблазнительница, постигшая чары и зелья фессалийских колдуний, умеющая казаться прекрасной и возжигать в сердце такое пламен-

ное желание, которое подобно боли от кинжальной раны, и чтобы бороться с которым надо иметь силы Алкида или ту помощь, какую своему Ипполиту давала божественная Делосская Охотница.

Словно некий сон развивался перед моими глазами, по мере того как все ускореннее бежали минуты вечернего часа, посвященного обрядам в честь Пришедшего, или словно тайная отравка разливалась в моей крови, по мере того Реа из сомнительной Царицы полудикого сборища превращалась в исступленную жрицу и безумную пророчицу, и опять, на виду у зачарованного множества, с мерными движениями служительницы алтаря, сладострастно целовала обнаженно-прекрасное тело отрока Люциферата. Должно быть, и другие поддавались действию того же волшебства, потому что я видел, как преображались простые и грубые лица колонов и пастухов, днем покорно и усердно выполнявших трудные работы, как то ненасытной похотью, то несказанным восторгом воспламенялись их взоры и как женщины, недавно представлявшиеся скромными, или чуждыми всякой

страсти, или перешедшими ее возраст, а с ними даже мальчики, едва ли понимавшие слово любовь, и девочки, которым было бы рано приносить свои игрушки к ногам пенорожденной богини, вдруг как бы вовлекались в неистовую пляску вакханок, сами тянули руки к объятиям, ласк требовали насильственно и искали их бесстыдно, готовые, подобно своим древним сестрам, растерзать в клочки сопротивляющегося Орфея. Как стрелы далеко разящего бога, некогда разносившие смерть по Ахейскому стану, во все сердца вонзались здесь стрелы вожделения, и это торжество Афродиты-всенародной, под нежданной личиной проникшей в круг исповедников новой веры, делало понятным, что их побуждало разорвать узы семьи, отречься от прежней мирной жизни, обречь себя тягостным трудом и грозным опасностям, вплоть до самой смерти, и объясняло бесхитростные слова, сказанные мне утром апостолом Фаддеем: «Думаю, что нам живется лучше, чем героям в полях Элисийских».

В тот день, как накануне, поддался я заразе общего безумия, снова моему сбившемуся с

пути разуму показалось самым страшным – отдать поцелуи Реи-Царицы другому, и моим ослепленным чувствам представилось самым желанным – еще раз изведать непонятную остроту ее ласк. словно верный последователь почитания Змия или Пришедшего, послушный ученик тех выдумок, которые, путая учения философов и мечты Зороастра, излагала Реа, я опять признал себя братом избравшей меня сестры и не противился ее искушающей воле. Но все же в глубине души уже в ту ночь я понял, что гибну, как гибнет человек, нечаянно забредший в трясину и почувствовавший, что обе его ноги ушли в вязкую топь.

## VI

После того проходил день за дном, повинуюсь велениям старого Сатурна, и у каждого, как у древнего друга этого бога, было два лика. Время до заката солнца было посвящено работам, главным образом военным упражнениям и возведению укреплений для обороны Нового Села; часы после захода – безумным богослужениям и произволу страстей. И тщетно было мне повторять всем из-

вестный стих: «А между тем бежит, бежит невозвратимое время!» – тина засасывала меня все глубже.

В Новом Селе всего собралось не меньше шестисот человек, из которых много больше половины было мужчин. Конечно, едва ли не для трети – места в домах не нашлось, и эти проводили ночь под открытым небом, пользуясь тем, что наступало лето, хотя в этот год погода стояла не совсем теплая. Но радости каждого вечера, превращавшие для людей новых каждый день в праздник, как для фламинов Юпитера, свобода той жизни, которую установила в своей общине Реа, и безрассудная вера в конечное и скорое торжество над всеми врагами, которую она сумела внушить, делали то, что никто на лишения не жаловался, все с рвением величайшим относились к своим обязанностям и без возражений выполняли те приказания, какие от имени Царицы и совета старейшин отдавал Петр. Если были в среде наших людей распри, то они возникали только из споров о вере, когда, словно на одном из тех совещаний, которые под именем соборов любят устраивать христиане,

часть начинала прославлять истинность учения о божестве Змия, а часть поучать о тайне бытия Пришедшего, и грубые селяне, не умея разобраться в хитростях диалектики, от логических доводов переходили к доказательству своей правоты кулаками. Но такие столкновения первое время, когда всем жилось благополучно, легко успокаивал своими повелительными разъяснениями Петр или, в крайнем случае, Реа, решения которой всеми выслушивались как божеский голос из Додонской листвы.

Почти каждодневно небольшие отряды, преимущественно юношей, отправлялись на добывание припасов, спускались с нашей горы, прокрадывались или врывались в дальние селения, не примкнувшие к мятежу, переезжали в лодках через Ларий, доходили до округа Авсуции или на юг до Кома и даже дальше, и возвращались с желанной добычей, принося в Село ковриги недавно испеченного хлеба, прикатывая бочки вина, залежавшиеся в домашних погребах, пригоняя баранов, иногда и быков. Такие разбойничьи набеги тешили отвагу нашей молодежи и

поддерживали жизнь всей общины, члены которой, освободившись от всем надоевшей повседневной работы, давившей прежде ярмом их жизнь, теперь ни в чем не знали недостатка и, сытые и пьяные, могли вольно предаваться очередным оргиям. Не удивительно поэтому, что вера в среде людей новых не ослабевала, что все более и более убеждались они в божественности откровения, принесенного им Царицею, что на самой Рею они смотрели как на посланную с неба, чтобы открыть двери той темницы, какой раньше было их существование, и ввести их заживо в сады блаженства.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы жизнь в Новом Селе проходила в праздности, так как, по настояниям Реи и Андрея, Петр всех заставлял усердно готовиться к неизбежному нападению Римского войска. Все мужчины, словно в постоянном лагере, учились владеть оружием, метали в цель копья, стреляли из лука, бились друг с другом на мечах, по ночам стояли, поочередно, на страже. В то же время единственную тропу, ведущую к Новому Селу, мы перегородили высоким валом, сло-

женным из камней, вышиною в два человеческих роста, причем площадка на вершине была еще защищена деревянным портиком с бойницами. Поблизости поместили, под прикрытием выступающей скалы, откуда-то добытую старую ручную баллисту, управление которой было Петром поручено не кому другому как мне. То возвышение, на котором баллиста стояла, у нас называли горой Фавором, ручей, протекавший через Село и кидавшийся водопадом в пропасть, – потоком Кедропом, скалу, замыкавшую нас с севера, – Си-наем.

Как-то неприметно заботы нашей жизни становились мне не чужими, и если первые дни я медлил в стане мятежников потому, что меня стерегли и я не знал, какой мне избрать путь для бегства, то позднее, когда надзор надо мною ослаб и с окружающими местностями я несколько ознакомился, меня удерживало только то странное оцепенение воли, которое всегда мною овладевало в присутствии Реи. Первое время я почти каждый день говорил себе, что уйду завтра, но искушающее желание провести еще одну ночь с

Реей всегда заставляло меня откладывать исполнение своего замысла, и услужливый ум придумывал ряд оправданий, вроде того, что я все же способствую нашему делу, поддерживая попытку мятежников, или что теперь Гесперия уже покинула Медиолан, и мне должно переждать неделю, чтобы встретить ее в Винненской провинции. Я даже, как ни казалось мне первоначально постыдным готовиться к истреблению Римских легионариев, деятельно занялся вверенной мне баллистой, изучил устройство этой военной машины, — отнюдь не досягавшей высотой до неба, — и долгие часы проводил, приучая четырех юношей, данных мне в помощники, к меткой стрельбе, по-детски радуясь на их успехи.

Среди жителей Села, обращенного в воинский стан, я, впрочем, не сдружился ни с кем, так как мне были чужды эти грубые люди, вдобавок сбитые с толку призрачными мечтами о предстоящем им величии. В их головах, привыкших думать лишь о простом и близком, пророчество о царстве Антихриста превращалось в ожидание роскошных домов, где они каждый день будут пить вина вволю, а

хитрое учение о том, что должно умножать грех, чтобы приблизить час Страшного суда, – в призыв убивать людей богатых и образованных и грабить их имущество. Мне становилось нестерпимо, когда какой-нибудь горный пастух, некстати приводя слова из Посланий апостолов, начинал уверять меня, что скоро мы будем пировать в Золотом Доме, а бывшие префекты, квесторы, комиты, дуксы станут нам прислуживать. Перед подобными людьми мне даже нравилось играть несвойственную мне роль Иоанна, брата Царицы и любимого ученика Господина, и я приучился держать себя с толпой, как начальник. И только с одним Люцифератом порою я беседовал охотно, так как прекрасный отрок не мудрствовал, а просто скучал в нашем уединении и искренно меня полюбил за то, что я с ним говорил не как с богом, но как с другом, и целовал его не благоговейно, но страстно.

Впрочем, встречи и беседы с моим Антиномем мне приходилось по возможности скрывать, потому что Рее они не нравились: ей хотелось сохранить меня для себя одной. В Селе она была еще более одинокой, нежели я, и

только наедине со мною решалась приподнять ту театральную маску, в которой выступала перед другими. При этом разительную перемену примечал я в Рее сравнительно с тем, какой я ее знал в Городе и в Медиолане. Она стала рассудительнее и спокойнее, и та восторженность, которая прежде почти никогда ее не покидала, теперь проявлялась лишь в отдельные часы, особенно на богослужении и пред народом. Тогда опять она была «полна богом», и ее речь лилась как варварская, но пышная поэма, потрясая слушателей неожиданными сопоставлениями и сравнениями, которых не предусмотрел бы никакой профессор реторики. Напротив, оставаясь со мною, Реа иногда совсем лишалась сил, вся окружающая ее таинственность рассеивалась, как облако, скрывающее бога, и я убеждался, что она тоже – обыкновенная женщина, со всеми обычными слабостями человека.

Однажды перед нашим храмом возник ожесточенный спор между Филофроном с его друзьями и апостолом Фомою с приверженцами Реи относительно того, когда именно наступит по всей земле царство Пришедшего.

Филофрон, как человек более разумный, поучал, что высшая Мудрость постепенно отнимает владычество у сына Хаоса, что часть народов преклонится пред нашим Люцифератом, но другие будут обращены лишь новыми мессиями, которым еще предстоит воплотиться. Фома, наперекор своему имени, не хотел слышать ни о каких сомнениях и настаивал, что, по пророчествам, именно при Августе Грациане наступит конечное торжество людей новых. Спорящие сначала довольствовались силлогизмами и ссылками на священные книги христиан, но потом начали кричать и браниться, и, так как толпа кругом возрастала и шумела угрожающе, понадобилось вмешательство Реи. Она торжественно вышла к противникам на порог храма, выслушала их доводы, подумала и объявила, как оракул:

– О тайнах спорите вы, и не вам разрешить их. От воплощения Слова до торжества Пришедшего должно пройти 3 333 333 часов, дневных и ночных, – и этот срок уже на исходе. После на такое же время должно утвердиться царство Восстающего из мрака. Кто

способен слышать, услышит.

Толпа выслушала этот приговор в молчании, и люди стали расходиться, опустив головы, соображая и вычисляя. Когда же я вошел к Рее, она плакала, упав головой на скамью, и была в полном унынии.

– Я погибаю, Юний, – сказала она мне. – Мне стыдно самой себя. Я говорю к народу не то, к чему меня побуждает дух: я хитрю и лгу.

Я спросил ее, зачем она это делает, и Реа отвечала, продолжая рыдать:

– Пророчества были истинны, но я соблазнилась близким торжеством! Враждебные силы бродили кругом, чтобы обольстить меня, и я поддаюсь их обману. Свое дело я соединила с делом этих поклонников Змия, потому что их было много. Но не помощь я обрела, а тяжкий груз, который меня давит и сокрушит вконец. Вижу, что Рок в наказание отвратил от меня лицо свое, и чувствую, что это не я поведу людей к жизни новой.

Так в эту минуту мне было жаль девушку, плакавшую над кенотафием своих лучших надежд, что я как бы забыл все безумие ее мечтаний. Я опустился подле нее на колени,

обнял и утешал ее, уверяя, что счастье к ней вернется. Словно сам уверовав в ее видения, я напоминал ей пророчества о близком наступлении нового века, и так Рее хотелось верить в мои слова, что она без негодования выслушала даже стихи Насона, которые я, забывшись, продекламировал:

*Беспредельно и граней не знает  
могущество Неба.*

И, – странное дело, – подобные сцены отчаянья Реи, которые повторялись не раз, вместо того чтобы вполне отвратить меня от дела, потерявшего смысл даже для его зачинательницы, более крепкими узами привязывали меня к девушке, пути которой, против моей воли, перекрестились и слились с моими. Во мне выросло, вместе с жалостью, упорное желание: вернуть Рее уверенность в себя, вновь сделать ее сильной и счастливой, вновь видеть ее лицо преображенным, как бы освященным молнией Юпитера. Эта почти отеческая забота о погибающей девушке и темная страсть, привлекавшая меня к ней в часы, когда связывала нас сама Цитерея, бы-

ли столь непохожи на мое поклонение прекрасной и мудрой Гесперии, что одно чувство с другим в моей душе не сталкивалось, одно другое не оскорбляло, и я одновременно мог служить обоим, как двум богам единого Олимпа. По-прежнему следуя мечтой за путем Гесперии, храня в душе ее заветы и указания, по-прежнему на всю жизнь считая себя обреченным в жертву ее жестокости и коварству, я оставался близ Реи, способствовал выполнению ее замыслов, служил ее делу, и это было столь же естественно, как то, что свободная республика продолжала существовать при власти Августа.

Словно какой-то сон, наведенный чарами, длилась та моя жизнь, в которой я носил имя апостола Иоанна, но я не спешил и не стремился проснуться.

## VII

**Н**е знаю, сколько дней прошло в этом смутном сне, но понемногу ряд событий, не совсем неожиданных, нарушил обычный ход жизни в Новом Селе. Действуя медленно, но неуклонно, префект окружил все пространство, охваченное мятежом, и начал предпри-

нимать походы против отдельных селений, разоряя их и истребляя жителей. К нам являлись, в испуге и отчаянии, то гонцы из других селений, то беглецы оттуда, рассказывая про неистовства, совершаемые посланными против них когортами. Несколько наших отрядов, вышедших на добывание припасов, наткнулись на Римских воинов и были истреблены. Наконец, префект занял противоположный берег Лария и сделал для нас невозможным переправляться туда за добычей. Понемногу в нашем Селе стал ощущаться недостаток в хлебе и, что было для нас всего тягостнее, в вине.

Пока длился наш беспечный праздник, враги Реи, преимущественно сторонники поклонников Змия, не смели поднять головы и без возражений подчинялись власти Царицы. Но как только начались затруднения, тотчас выступили хулители, которые сначала осторожно, потом более открыто стали обвинять Рею в том, что своим бездействием она всем готовит гибель. Поклонники Змия говорили, что прежде, таясь от императорских соглядатаев, они жили мирно и безопасно исповеда-

ли свою веру; теперь же, когда их принудили к явному восстанию, им нечего ожидать, кроме копья легионария и плахи палача. Люди собирались на улицах, громко обсуждали положение, злобно жаловались на лишения и Царицу уже не встречали более с тем безграничным преклонением, как прежде.

В один из дней, для нас особенно неудачных, когда припасов в Селе было так мало, что мы не знали, чем прокормить жителей, а в то же время к нам прибыло десятка два пастухов, так как воины префекта преследовали их, как диких зверей, устроена была попытка возмущения. Толпа заговорщиков, преимущественно стариков, окружила дом, где мы, апостолы, собрались, как обычно, чтобы вести суд и обсуждать дела, буйствовала, кричала угрозы. К шумящим вышел Петр, но его строгие окрики и суровые повеления цели не достигли, и люди продолжали бесчинствовать, называя нас тиранами и предателями. Тогда Реа, в порыве негодования, который всегда делал ее прекрасной, появилась на пороге, бледная, как бог Страх, ударила о доски змиевидным жезлом, который держала в руке, и

гневно спросила, на что жалуются собравшиеся.

Так сильно было обаяние Реи, что, едва она стала в лицо заговорщикам, те смутились и смолкли, и только после молчания выступил старик Лука и стал говорить:

– Мы недовольны, – сказал он. – Не ту жизнь мы здесь ведем, как достойно. Разве мы для того бросили наши дома и семьи, чтобы сидеть в горах, терпеть лишения, а порою пировать? Пусть апостолы, как в старину ученики Христа, идут и проповедают новое учение по всей земле.

– Вы, значит, не веруете в Пришедшего? – спросила Реа, еще более бледнея.

– Веруем и исповедуем, – твердо возразил Лука, – только мы веруем, постигнув истину учения, и потому хотим ее проповедать другим. А вы соблазняете малых сих, прельщая их тем, что здесь каждый, что ни ночь, избирает себе новую жену. Берегитесь, – не о вас ли написано, что лучше такому человеку надеть на шею мельничный жернов и утопиться в пучине морской!

Дух Пифийский нисшел на Рею, и она заго-

ворила:

– Безумный! хулящий учение вечное, проповедь спасения, обетование блаженства! Ветхий закон ты помнишь, нового же не разумеешь. Слушайте, что сказал апостол древний: Закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Так вы, люди новые, умираете для закона Ветхого, чтобы принадлежать другому, и нет для вас соблазна ни в чем, и ни в чем греха. Никакого нет на вас обязательства, или только одно: жить в радости. Люди новые должны быть счастливы и во всем творить волю свою, не заботясь ни о чем, ибо Отец небесный сам позаботится об них. К свободе призваны вы, братья, и против нее ли восстаете? Чего хотите? – нового рабства? Тело и душу вашу мы расковали, но вы вновь возжелали цепей и скорпионов. Что ж! покиньте нас, возвращайтесь в

города, преклоните выю пред ложно именуемым себя императором, снесите всяческие унижения, даже до побоев. Но знайте, что отыметя у вас владычество над миром и отдано будет другим. Если вы не верите каждому моему слову, я – не Царица вам и вы – не братья мне, нет между нами союза, и я пойду к другим благовествовать им спасение.

Реа сорвала диадему с своей головы, бросила наземь жезл и, думаю, была в этот миг похожа на Великого Македонца, когда он гневно отсылал свои войска на родину и грозил, что один пойдет к Гангу – покорять Индию. И хотя речь Реи не вполне отвечала на сомнения и упреки стариков, такова была ее власть над умами, что буйствовавшие, словно пристыженные дети, смолкли, опустили глаза, просили прощения, иные даже став на колени. Возмущение затихло, и вечером в тот день, после весьма скудного обеда, опять совершилось торжественное богослужение, и опять народ предавался всей свободе, которую и разрешала и требовала новая вера.

Тем не менее положение наше становилось день ото дня хуже, почти все проходы в

горах были заняты отрядами префекта, и почти нигде было добывать пропитание для жителей Села. Нам явно грозили бедствия осады, и я не без тревоги вспоминал рассказы о страданиях, пережитых Сагунтом, когда его обложил величайший из врагов Рима. Даже некоторые из апостолов говорили открыто, что мы сами готовим себе гибель, и первый Андрей бесстрашно нападал на Петра, обвиняя его в нерадении или измене.

Наконец на одном из наших военных советов дошло до открытой ссоры.

Когда Петр предложил послать отряд юношей с тем, чтобы он прокрался в Римский лагерь и там попытался добыть для нас припасы, Андрей воскликнул с презрением:

– Только детей можно обольщать такими выдумками! Ты, верно, хочешь, чтобы всех нас перебили по очереди! Зачем нас держать столько времени здесь, взаперти, словно свиной, откармливаемых на убой? Братьев наших в других селениях избивают, община наша уменьшается, об апостолах, посланных в дальние местности, нет вестей. Чего же мы ищем: чтобы Римляне добрались и до нас?

Завтра же мы должны всем народом выйти отсюда, ударить во врагов, и те легионы сил, о которых нам говорила Царица, даруют нам победу!

Андрея поддержал Фома, который всегда был сторонником мер решительных, и Фаддей, который считал наши жалкие силы неодолимыми. Петр, в речи, построенной умно, возражал им, напомнил, что сходные укоры делались и Фабию Кунктатору, который, однако, спас республику; потом разъяснил, какое преимущество для нас заключается в том, чтобы обороняться, а не наступать, и доказывал, что мы, если потерпим еще немного, истощим все силы Римского легиона, заставим префекта отступить в долину и тогда быстро наверстаем потерянное. Но спорящие не хотели слушать Петра, нападали на него все яростнее и беззастенчивее, и он в конце концов им сказал:

– Если вы не хотите меня слушать, я замолчу. Я один среди вас знаю, что должно делать, и веду вас к торжеству. Но так как вам хочется погибнуть, идите одни, а я с этого часа от руководства делами отказываюсь.

Сказав так, он отвернулся от других и не хотел более говорить, словно Ахилл, оскорбленный в собрании Ахейских вождей, но это Андрея привело в исступление, и он закричал:

– Ты замолчал, потому что тебе говорить нечего, потому что мы твои ковы разгадали! Я давно догадывался, что ты подослан императором, чтобы погубить нас, и потому нарочно заманил в эту дыру. Ты полагаешь, мы не знаем, что ты даже тайно сносишься с префектом! Ты не апостол, но предатель, и заслуживаешь одного – казни.

Тут поднялся неистовый шум, все вскочили с мест, одни защищали Петра, другие его проклинали и устремлялись на него, как когда-то в курии сторонники Брута на Цесаря, но Петр оставался спокойным и, среди общего смятения, продолжал сидеть неподвижно, презрительно озирая собрание. В порыве гнева старики колоны, забывая латинские слова, выкрикивали свои ругательства на местном наречии, Фома, как одержимый Демоном, размахивал руками и чуть не плясал, то набегая на Петра, то отступая под его строгим взглядом.

Андрей даже схватил тяжелую скамью и замахнулся ею. Опять смятение успокоила Реа, которая своим телом загородила Петра и сказала:

– Как вы смеете бесчинствовать в моем присутствии? Кто я для вас? Не Царица ли я? Не свободна ли я в своем выборе? Если для других я не Царица, то для вас Царица, ибо печать моей царственности – вы в Господине нашем. Я избрала Петра апостолом, и я отвечаю за него. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Кто властен указывать мне и Богу? Мне известно, кого поставить апостолом, а вам неизвестно. Повинуйтесь, а не мудрствуйте, ибо пути, которыми мы вас ведем, выше вашего понимания.

Слова Реи заставили всех притихнуть, и поднятые руки опустились, но так как ропот продолжался, она добавила пророчески:

– Ждать вам осталось недолго: ныне говорю вам – трижды не взойдет солнце, как вы увидите свое торжество над врагами!

Этот последний довод убедил всех, старейшины медленно расселись по своим местам, избегая смотреть друг на друга, и военный со-

вет возобновился. Но, словно отдав все свои силы на миновавший взрыв, апостолы более не возражали ни на что и теперь без спора согласились с предложениями Петра. Он вышел с собрания, высоко держа голову, как победитель, но я подумал, что, как эфирскому царю, ему было больше славы, чем радости от победы.

Когда в тот день, после богослужения, мы остались вдвоем с Реей, я, выбрав подходящее время, заговорил с нею о Петре и сказал ей, что обвинения Андрея мне представляются справедливыми.

– Мне самому давно подозрителен Петр, – говорил я. – Он не верует ни в Христа, ни в Пришедшего, ни даже в Юпитера, – ни в какого бога. Какие же выгоды может получить от союза с нами этот человек, хитрый, знающий, умный? И его распоряжения, с виду дельные, действительно ведут к тому, чтобы усыпить нашу осторожность и дать возможность префекту одним ударом захватить и тебя, и юношу Люциферата, и с корнем исторгнуть все восстание.

Хотя Реа в ту минуту была возбуждена

недавним служением, на котором она, как всегда, говорила к народу, и хотя наш разговор происходил в час ласк, когда, соединив объятия, мы приникали друг к другу на нашем жестком, деревянном ложе, едва прикрытом бараньей шкурой, – девушка, услышав мои слова, задрожала; руки ее разомкнулись, я угадал во мраке, что ее голова упала на грудь, и чуть слышно она прошептала:

– Ты прав, Юний: он нам враг, он эмиссарий Грациана...

– Тогда зачем же ты защитила его сегодня! – воскликнул я. – Надо завтра же объявить народу и старейшинам, что ты уверилась в правоте Андрея. Петра мы схватим, будем судить, казним, избавимся от опасного врага...

Реа тихо мне ответила:

– Часто Бог ведет нас к торжеству путями, которые нам непонятны. Орудие гибели он может сделать орудием спасения. Думая уничтожить нас, этот Петр, быть может, подготовит наше торжество. Он один среди нас знает военное дело, и он один способен руководить сражением. Верю, что козни его распадутся во

прах, и сам он удивится, увидев, что послужил к прославлению Пришедшего.

– В твоих словах есть противоречие, Реа, – возразил я. – Сколько раз ты мне говорила, что полагаешься не на силу оружия и не на искусство вождя, а на помощь незримых воинов. И сейчас еще ты вверяешься таинственной силе, которая обратит к добру злые замыслы и коварные козни. Как же при этом ты возлагаешь какие-то надежды на знания Петра, на его умение начальствовать в сражении, на все эти земные ухищрения? Будь смелой, верь только себе и своему делу, и не позволяй себя обманывать, если ты знаешь, что это – обман!

Девушка еще более уныло проговорила:

– Милый Юний, эту веру в себя я теряю. Все, что было истинно и прекрасно в малом кругу, стало иным, когда я пришла к народу. Притворство и ложь опутали меня своими сетями, и я не вижу, каким способом вернуться к истине!

И вдруг, с настоящим отчаянием, она воскликнула:

– Боже мой, Боже мой, почто ты меня оста-

вил!

С этим криком она залилась слезами, упала ничком на постель и билась в рыданиях, потому что скорбь, которую пред людьми ей приходилось сдерживать, нашла свой выход, и, в последней безнадежности, Реа повторяла сквозь плач:

– Гибну, гибну, и все гибнет!

Мы были вдвоем в маленьком домике Реи, где ставни у окон были закрыты, и луцерна погашена, так что непроницаемая тьма окружала нас. Но я как бы видел перед собою маленькое худенькое тело девушки, содрогающееся от судорог, лицо, все залитое слезами, обезумевшие глаза, которые больше нигде не встречали света спасательного маяка. Прикинув к Рее, ощущая грудью теплоту ее груди, чувствуя близ себя все ее тело, ласка которого исполняла меня радостью единственной, я в ту минуту опять испытывал лишь одно: желание утешить плачущее дитя, спасти эту девушку, дать ей полное исполнение ее безумных грез.

Я сказал:

– Реа, Реа, успокойся, приди в себя. Ты меня

призвала, как помощника, и я им хочу быть. Дни настали решительные, надо действовать без колебаний. Завтра же мы обличим предателя, и завтра же мы начнем наше дело сначала. Ничего еще не потеряно, и мы еще воспоржествуем.

Но вдруг Реа, в неизъяснимом ужасе вырвавшись из моих объятий, соскочила с постели, бросилась прочь, пробежала несколько шагов по комнате и с подавленным криком упала на пол. Я поспешил к ней, высек огонь и зажег лампаду. Реа полусидела на полу и озиралась кругом дико, руками судорожно перебирая свои распущенные волосы.

– Что с тобою? – спросил я в невольном испуге.

– Ты ничего не слышал? не видел, Юний? – спросила девушка.

Я ответил, что нет, и Реа, трепеща, передала мне, что внезапный луч пронизал тот мрак, в котором мы лежали, что некий муж, в сияющем облачении, предстал пред ней, подобный тем, что христиане рисуют на своих изображениях святых, и протянул ей свиток, на котором было написано буквами кроваво-

го цвета: «Завтра ты умрешь». Рассказывая это, Реа содрогалась, как если бы над ней уже был занесен разящий меч, и никогда я не видел такого выражения ужаса, как на ее лице, члены ее ослабли, как у сонной или мертвой, и она едва понимала то, что я ей говорил, – состояние, которое где-то верно описал Цесарь.

Как ребенка, я перенес Рею опять на постель и употребил все усилия, чтобы успокоить и привести в себя. Но девушка долго не могла освободиться от страшного воспоминания, и все ей казалось, что сейчас опять появится лучезарный вестник, возвещающий ей смерть. Я прибег ко всем доводам логики, чтобы доказать Рее, что страх ее напрасен, что видение было не предвестие, посланное неким богом, но лживый сон, гость, прилетевший из Тартара не через роговую дверь, но через дверь из слоновой кости. Я напоминал Рее, что в ту минуту, когда явился призрак, она лежала ничком, и, следовательно, представший существовал только в ее грезах, а не в действительности; что я, находившийся рядом, не видел и не слышал ничего. Не забыл я указать и на то, что ничто не предвещало нам

опасности и что завтрашний день, по всем вероятностям, должен был пройти столь же спокойно, как сегодняшней.

Когда Реа несколько успокоилась и стала понимать мои рассуждения, я вернулся к прежнему разговору и вновь стал советовать освободиться от Петра, к которому сам продолжал чувствовать и ненависть, и скрытое раздражение. Потрясенная и утомленная, Реа на этот раз уже не спорила и только слабо возразила:

– Но они, люди, не станут подчиняться мне. Они все же видят во мне только женщину. Вести в бой должен, по их понятиям, мужчина.

Тогда я сказал, и в ту минуту говорить иначе не мог:

– Не бойся и не останавливайся перед этим. Ты забываешь, что с тобою я. Меня ты назвала Иоанном, любимейшим из учеников Господина. Это имя я принимаю и буду его достоин. Это я поведу людей новых на бой с нашим врагом!

Легкий румянец окрасил обычно бесцветные щеки Реи, и она, впервые в ту ночь, под-

няла на меня глаза радостные и исполненные надежды.

– Итак, ты опять – мой? – тихо спросила она.

– Я – твой, Реа, – ответил я, – опять и навсегда.

## VIII

**М**не, однако, не пришлось привести свой замысел в исполнение. На другой день, рано утром, нас с Реей, уснувших крепко после долгих ласк, разбудили тревожным известием, что в виду Села появились передовые разьезды Римского войска. Когда я вышел на улицу, Петр, с мечом у пояса, в шлеме, в пышном халкохитоне вождя, распорядился там, раздавал вооружение, назначал места, где кому стоять, женщинам приказывал оставаться в домах и заботиться о раненых.

Было не время перед началом боя подымать неурядицу в наших рядах, и потому я ничем не выдал того уговора, к которому мы пришли ночью с Реей, предоставил Петру начальствовать, но решил следить за всеми его действиями и, по возможности, ни на миг его не выпускать из виду.

– Вот общее желание исполняется, – сказал Петр, завидя меня. – Мы будем сражаться с врагами. Ступай, выбери себе в складе подходящее вооружение и займи свое место у баллисты. Кстати, возьми обратно тот кинжал, о котором ты так жалел: сегодня он тебе может пригодиться.

Петр протянул мне кинжал Гесперии, и я взял его, без одного слова, но когда, невольно, я прочел надпись на его рукоятке: «Учись умирать», – мое сердце сжалось.

По пути в склад оружия мне пришлось идти мимо храма, и, заметив, что Люциферат там один, я зашел поговорить с ним. Юноша был печальнее, чем обыкновенно, так как его пугало предстоящее сражение, он жаловался, что я не исполнил своих обещаний, – не бежал с ним из Нового Села, – а потом, между прочим, сказал:

– Сегодня меня совсем забыли, потому что со мною нет даже Марка: Петр услал его...

Марк был расторопный мальчик, приставленный к Люциферату для услуг, и, изумившись, что такого нужного человека могли куда-то отослать, я стал спрашивать подробно-

сти. Оказалось, что накануне вечером Петр призвал к себе Марка, и с тех пор его никто более не видел в Новом Селе. Я вспомнил обвинение Андрея, что Петр тайно сносится с префектом, и мои подозрения еще усилились.

В складе оружия я выбрал подошедший мне круглый шлем с перьями и небольшой круглый щит, а на правое бедро повесил испанский меч. Я не надел панциря, потому что непривычка к нему затруднила бы мои движения, и не взял копья, так как не умел им владеть. В военном одеянии я был, вероятно, довольно смешон, хотя Фива, повстречавшись со мною, и сказала мне лукаво:

– Из тебя вышел очень красивый воин.

Скоро появилась и Реа, в своем алом платье, с змиевидным жезлом в руке; на ее лице не было следа ночных тревог, и она, напротив, казалась радостной, бодрой и уверенной в удаче, как никогда. Величественным шагом Царицы проходила она сквозь толпу собравшегося народа, в кратких словах всем пророчествуя о победе. Петр пошел ей навстречу и сказал:

– Ты, Царица, должна остаться в храме и

там молиться о той помощи тайных сил, на которую мы надеемся.

– Нет, – возразила Реа, – мое место среди сражающихся: я буду с ними!

Потом добавила, обращаясь ко всем нам:

– Не была ли я права, говоря, что трижды не взойдет солнце, как мы увидим наше торжество?

Петр насмешливо улыбнулся, но ничего не возразил и стал разъяснять апостолам, что каждый должен делать во время нападения. Старики, нахмутив брови, внимательно слушали объяснения Петра, но, по-видимому, понимали плохо.

Так как к Новому Селу был всего один подступ по тропе, перегороженной валом, то там и была сосредоточена вся оборона. У левого края вала, на выступе скалы, стояла моя баллиста, около которой, за неимением свинцовых ядер, был сложен большой запас тяжелых камней. На самом валу были помещены три отряда: первый – лучников, которые должны были издали поражать неприятеля стрелами; второй – особых бойцов, назначение которых было в том, чтобы на подошед-

ших близко сбрасывать камни, тяжелые балки и лить горячую смолу, и, наконец, третий – наших триариев, которым предстояло, под начальством Фомы, сражаться грудь с грудью с легионарями, если бы они взобрались на самый гребень укрепления. Внизу за валом, на который вели три лестницы, были поставлены свежие отряды, чтобы сменять усталых и убитых, и все мальчишки из Села, чтобы служить гонцами и приносить сражающимся новое оружие и боевые снаряды. Всем этим было занято около двухсот человек, а другой подобный же строй ждал наготове, под копьём, своей очереди в глубине Села. И снова я не мог оспаривать распоряжений Петра, вполне дельных и полезных.

Утро прошло в томительном ожидании, которое, как сказал поэт, хуже самого сражения. За это время я несколько раз заговаривал с Реей, но она была, как опьяневшая, и повторяла только:

– Пришел час моей славы. Да прославится Отец в Дочери своей.

Чтобы вернуть Рею к действительности, я напомнил ей о ночном видении, но она воз-

разила:

– То был соблазн Ненавидящего меня. Ложным видением он хотел ослабить мои силы. Но сбудется предреченное пророками. Вижу теперь, что моя судьба ведет меня к великому и что истинны пути мои. Наступает время владычества Пришедшего.

Других речей, кроме подобных восклицаний, я от Реи добиться не мог и оставил ее, занявшись своей баллистой.

Колесница Феба уже высоко вскатилась на склон неба, когда мы увидели первых врагов. На противоположном холме, от которого мы были отделены лощиной, показались всадники в одежде Римских воинов. Наши лучники тотчас пустили в них несколько стрел, но безуспешно, и всадники скрылись. Через некоторое время на том же холме появились скифские стрелки и, прячась за подвижными плутеями, в свою очередь, стали пускать стрелы в наше Село, но, так как расстояние было велико, их стрелы также или не долетали до нас, или бессильно падали на самом валу. Это ободрило всех, и в нашем стане громко смеялись над неудачей неприятеля.

Наконец, на том месте, где утвердились враги, произошло новое движение: вероятно, преодолев большие трудности, легионарии вскарабкались на холм небольшую катапульту, и нам было видно, как они ее заряжали, как наворачивали канат на колесо, как целились в нашу сторону. В эту минуту я впервые ощутил дрожь страха, и мне стало стыдно, хотя я и объяснил себе свою робость просто непривычкой к военному делу. Мы все продолжали наблюдать за действиями Римских воинов, как вдруг с сильным шумом дротик ударился в вал, и на нас полетели комья земли. Почти тотчас же ударил второй дротик, потом третий, и я видел, как побледнели стоявшие около меня юноши. В конце концов, летучее железо нашло свою жертву, — один из наших, неосторожно выставившийся из бойницы, был поражен прямо в грудь и повалился навзничь, стуча щитом и шлемом, как о том прекрасно говорит Гомер: «на падшем доспехи взгремели».

Эта первая смерть на минуту произвела смятение в наших рядах, но Петр громким голосом остановил нескольких, побежавших

было прочь. Он приказал всем лучше укрываться за портиком вала и ни в каком случае не выходить под удары стрел. Вместе с тем он распорядился, чтобы в самом Селе женщины запели наш гимн, и звуки этой веселой песни, которую повторяло горное эхо, действительно вливали новую отвагу в сердца. Уже беспечно смотрели мы, как безвредные дротики один за другим вонзались в укрепление, делая его похожим на спину дикобраза.

Я оставался со своим маленьким отрядом близ своей баллисты, и мы пятеро удачно прятались за выступом скалы, откуда хорошо было видно все поле сражения. Реа величественно сидела за валом, на большом камне, как статуя некоей богини, почти не шевелясь, не двигая рукой, в которой сжимала свой жезл. Петр, как истинный полководец, переходил от одного отряда к другому, поднимался и на вал, успокаивал, отдавал приказания.

Около часа передовые отряды префекта осыпали нас дротиками и стрелами, пока не убедились, что не могут этим нанести нам никакого вреда. Тогда послышался звук бук-

цины, и на вершине холма стала строиться пехота. Вероятно, то была целая когорта, которая готовилась идти на приступ. При ярком солнце сверкали шлемы, четырехугольные щиты, выкрашенные все в желтый цвет, оконечности длинных копий легионариев, и было красиво их ровное движение, обращавшее собрание людей в одно целое. Я невольно сравнил это войско с толпою наших бойцов, одетых, кому как случилось, толпящихся нестройно, неумело подымавших свои клипеи, скуты, пармулы, даже пельты, бравших то в одну, то в другую руку самые разнообразные гасты, пилы, лапцеи, германские фрамеи, македонские конты, даже простые спары, или домашние топоры, и почти пожалел, что я не в рядах наших врагов. Плотнo сомкнувшись, легионарии спокойно зашагали вниз по тропе, направляясь к нашим высотам, и грозно над их строем высился значок когорты с изображением вепря.

Тогда Петр приказал действовать баллистой; мы привели машину в готовность, положили в нее тяжелый камень, натянули вербер и спустили затвор. Так как много дней мы

упражнялись в стрельбе в цель, то промаха не было, и, описав в воздухе дугу, громадная тяжесть рухнула в самую середину быстро движущегося строя. У меня при такой удаче захватило дух от радости, наши приветствовали восторженными кликами меткий удар, и нам было видно, как несколько человек из числа легионариев повалилось на землю; но другие продолжали идти тем же мерным шагом, опять сомкнув ряды.

Охваченный волнением военного состязания, которое испытывал впервые в жизни, я порывисто приказал вновь зарядить баллисту, и второй камень ударил в подступающего неприятеля, потом и третий, и четвертый. В то же время наши стрелки опять натянули луки и стали посылать вниз стаи стрел, из которых не все пропадали даром. Теперь это мы осыпали врага метательными снарядами, и ликовали, и кричали при каждом успехе. Уже на тропе, ведущей в наше Село, валялись странно скорчившиеся тела в медных шлемах, но когорта, в полном молчании, неуклонно подвигалась вперед, только несколько ускорив шаг, чтобы скорее выйти

из-под ударов.

Шагов за двести от нашего вала, когда камни баллисты стали уже бесполезными, легионарии остановились, подняли щиты над головами и, образовав таким образом «черепашу», стали стремительно подниматься наверх. Я до сих пор знал о сражениях лишь по рассказам великих историков и поэтов, и теперь, в первый раз наблюдая, как все это совершается в действительности, испытывал детскую радость и неодолимое любопытство. Я забыл, что сам принимаю участие в бою, все мне казалось какой-то веселой игрой, и, не думая о людях, сраженных, может быть, насмерть камнями моей баллисты, я только любовался стройностью и соразмерностью движений хорошо обученных легионариев. Говоря по правде, душою я был с ними, с этими Римскими воинами, преемниками тех, которые одерживали победы под Замой и при Тиграноцерте, чем с толпой смятенных колонов и пастухов, ободрявших себя чуждыми мне криками: «Слава Пришедшему!», «Змий, свят образ твой!»

Достигнув вала, когорта пошла на при-

ступ. Быстро были приставлены лестницы, и воины стали карабкаться вверх. На них наши, крича неистово, бросали камни и палки, лили кипящую смолу, но они, прикрывая голову щитами, все подымались. В десяти шагах от меня началась рукопашная схватка. Мне было видно, как копья втыкались в живое тело, как мечи разрубали плечи, как люди с воем и стоном валялись на землю и оставались лежать в каких-то неестественных и смешных положениях. При этом зрелище новый порыв страха охватил меня, я почувствовал, что бледнею, так как мне представилось ясно, что я испытаю, если вражеское лезвие вонзится в меня, и мне стоило больших усилий остаться на месте, а не броситься бежать прочь, ища защиты где-нибудь за домом. Но когда я боролся с этим постыдным чувством робости, я вдруг увидел, что Реа, в своем алом одеянии, делавшем ее целью всех ударов, появилась на гребне вала, среди бойцов, и, размахивая жезлом, что-то кричит им. В ответ на призывы Реи наши отвечают оглушительным криком, приветствуя Царицу. Убитых тотчас сменяют запасные, и, словно люди, из-

давно привыкшие к военному делу, эти простые селяне колют копьями, рубят мечами, подставляют щиты под удары, сталкивают наступающих в пропасть. Пристыженный примером Реи, я тоже, преодолев робость, приказал лучникам стрелять в задние ряды когорты, и стрелы опять посыпались на Римских воинов.

Неожиданно я увидел, что один из легионариев, отделившись от строя и правой рукой прикрывая, видимо, раненое плечо, быстро спускается обратно в лощину; через минуту за ним последовал другой, потом еще несколько, — и вот вся когорта обратилась в бегство. Я наблюдал, как центурионы, с золотыми фалерами на груди, пытались удержать бегущих, я слышал звук туб, призывавший к новому приступу, но уже ничто не могло остановить отступления. Неприятели бежали от нашего окопа, одни бросая щит, другие прикрываясь им от стрел, падали, вскакивали, карабкались на окружные уступы, позорно прятались в кустах. Не оставалось сомнения, что мы победили.

Реа, обернувшись с гребня вала к Селу, вы-

крикивала какие-то слова, которые за общим шумом нельзя было расслышать. Недавние бойцы, в порыве радости, обнимали друг друга и поздравляли с победой. Из Села прибежали женщины и тоже что-то вопили и махали руками. А я, забыв всякую осторожность, выступил из-за своего прикрытия и, охваченный негодованием к бегущим, кричал им зло и бессмысленно:

– Труссы! трусы! трусы! Вы – не Римляне! Это сброд скифов и сарматов! Позор империи, что у нее такое войско!

Когда все несколько успокоилось, когда бегущие удалились от нас на такое расстояние, что мы не могли достать их ни стрелами, ни камнями баллисты, а потом и вовсе скрылись из виду, а в окружающих нас горах снова наступило безмолвие, мы все, оставив стражу на валу, собрались посреди Села на совет. Общее воодушевление к этому времени значительно упало, стоны и проклятия раненых, доносившиеся из домов, заставляли содрогаться, а еще не убранные тела убитых, валявшиеся около вала, красноречиво говорили об том, что может ожидать каждого из нас. Толь-

ко Фома ликовал, приписывая себе всю честь победы, да Реа как будто не замечала ничего и, с глазами исступленными, ежеминутно поднимая руку к небу, твердила, что этот день оправдал и ее надежды, и ее пророчества.

– Видите, видите, – повторяла она, – что не страшны нам легионы вражеские! От лика моего бегут они и тают, как воск от огня! Победа была суждена нам, и мы получили ее, как дар от Охраняющего нас!

Мне показалось, что лицо Петра мрачно, и я подумал, что он ждал и желал иного исхода битвы, но, стараясь иметь вид тоже торжествующий, он сказал нам:

– Как Спартанцы Леонида, мы отбили полчища нового Ксеркса, это – предзнаменование благое.

– Ты забываешь, – заметил я, – что в конце концов Леонид и его триста были уничтожены.

– Но среди нас нет малийца Эфиальта, – быстро возразил Петр, – который показал бы врагу путь через гору Эту.

Ни у кого не было сомнений, что неприятель

тель нападение возобновит. Поэтому Петр распорядился отправить отряд юношей на разведки и перенести к валу новый запас стрел, метательных дротиков и камней для баллисты. Вместе с тем он посоветовал всем отдохнуть, и на улицах стали расставлять корзины с хлебом и сыром. Выкатили также две последние остававшиеся у нас бочки вина и предоставили всем пить, сколько кто хочет.

Это, однако, не могло вернуть людям прежней бодрости; не было слышно ни веселых разговоров, ни смеха, ни пения; все задумывались, и видно было, что бог дурного предчувствия обходит ряды обедающих и каждого касается своими черными перстами.

Я зашел было в храм и застал там несколько человек, в диком ужасе жавшихся около изображения Змия. К самому его подножию припал Люциферат, совершенно обезумевший от страха, а около него рыдала его мать и угрюмо сидел Филофрон, – подобно Приаму и Гекубе перед разрушением Илиона. Завидя меня, оба вскочили и стали мне кричать, что мы не имеем права их удерживать насильно, что они хотят уйти отсюда, отдаться на волю

Римлян и молить у префекта пощады. Сам Люциферат бросился к моим ногам, целовал мне колени и твердил:

– Милый брат Иоанн! Уведи меня! спаси меня! Я буду любить тебя! Я буду целовать тебя! Я не хочу быть убитым.

С трудом вырвавшись из рук юноши, я повернулся к двери, но мне загородил дорогу Филофрон, браня меня и по-латыни и по-еврейски; когда же я силой выбрался из храма, долго еще кричал мне проклятия, угрожая мне местию Змия и Саваофа.

Потом я заглянул в дом, где женщины перевязывали раненых, но там в воздухе, пропитанном кровью, тоже слышались стоны и проклятия. Только немногие, даже умирая от ран, прославляли Змия и радовались победе, но другие, – и таких было большинство, – громко жаловались и с усилием подымали кулаки, угрожая мне, как одному из виновников их страданий. «Будь проклят и ты, и все апостолы, и ваша Царица!» – крикнул мне один из лежавших, которому Фива, побледневшая и потерявшая всю свою веселость, врачевала голову, рассеченную тяжелым

Римским мечом.

Я предпочел вернуться к своей баллисте и сел на свою скамью, откуда мог озирать всю лощину. Я видел распростертые по дороге трупы людей, убитых нашими снарядами, видел раненых, которых не подняли товарищи и которые теперь тщетно старались уползти в более безопасное место, видел хищных птиц, уже кружившихся над местом боя. Местами зеленая трава потемнела от пролившейся крови. Я восстановил в памяти недавнюю картину битвы и тихо проговорил стих Тибулла:

*Там льется кровь, там резня,  
ближе подходит к нам смерть.*

Слово «смерть» заставило меня вздрогнуть, и я задумался над тем, что суждено мне в этот день. Неужели, думал я, к вечеру я буду лежать, подобно одному из этих легионариев, уже бездыханным или умирающим, со жгучей болью в пробитой железом груди, не имея сил встать или жалостно корчась на окровавленной земле? «Смерть есть закон природы», – говорят философы, но смерть по-

сле долгой жизни, когда человек насыщен всем изведанным и виденным, а не насильственный обрыв жизни, у самого ее порога. Неужели мне суждено пойти вслед за моим милым Ремигием и обнять его бледную бескровную тень на полях асфоделей? Зачем? За что? Что общего у меня с этими бессмысленными мятежниками, проповедниками нелепой веры в Змия и еще более нелепой веры в Антихриста Пришедшего, который оказался юношей, годным лишь в гистрионы?

Вдруг бесконечно желанной показалась мне жизнь на земле, в душе проснулось желание видеть солнце и зелень, вернуться к родным, к дорогому отцу и матери, учиться, познавать тайны мудрости и любить. Лицо Гесперии выплыло предо мной, словно из дыма курильниц при волхвовании, и опять вся сила моей любви овладела мною. Смешными показались мне мои ночные чувства, обещания, которые я дал Рее, и чужой эта самая Реа, верящая в какие-то несбыточные надежды. Что, однако, было мне делать? Бежать? – но куда? не в руки же тех легионариев, которых я только что осыпал камнями из баллисты. Я

был все еще узником, все еще в плену и против своей воли был должен сражаться за погибшее дело.

Такие и подобные этим мысли проходили в моей голове, и, укрывшись за выступом скалы, стоя одиноко, я готов был плакать, а может быть, и плакал, потому что никто меня не видел в моем уединении.

Из моей задумчивости вывело меня возвращение наших лазутчиков: двое из них прокрались к самой стоянке Римского войска и видели, что оно готовится к новому приступу. Они говорили, что у Римлян теперь уже две катапульты, а число легионариев определяли приблизительно в тысячу человек. Тотчас, по приказанию Петра, у нас стали вновь готовиться к обороне, все заняли свои места, и отряды наших бойцов, с Фомой во главе, опять выстроились на валу; но я ни в ком не видел прежнего одушевления, и лица воинов, под блестящими шлемами, были угрюмы.

## IX

Прошло, однако, еще около часа, прежде чем военные действия возобновились, и только в начале десятого часа вечера на хол-

ме выдвинулись стройные очертания катапульт. Снова враги начали засыпать нас дождем якулей, но на этот раз машины, вероятно, были как-то усовершенствованы, потому что стрелы перелетали через вал и поражали людей в самом Селе. Послышались среди нас крики, стоны и плач, и я думаю, не окружай нас с трех сторон пропасть, а с четвертой отвесная скала, многие, если не все, обратились бы в бегство. Но бежать было некуда: благодаря стараниям лукавого Петра, мы были заперты, как в мышеловке, и обречены на истребление.

Расстроив наши ряды обстрелом, враги снова пошли на приступ, но на этот раз строй, вышедший против нас, был гораздо многочисленнее: по-видимому, шли на нас две когорты, двигавшиеся одна за другой. Безо всякой надежды на успех, с сердцем, каждую минуту замиравшим от томительного ожидания чего-то ужасного, я распорядился стрельбой из баллисты, и на этот раз наши выстрелы были гораздо менее метки. Первая когорта, прикрываясь щитами, быстро перебежала через лощину, и, скорее, чем я мог сообразить,

как это произошло, уже возобновился бой, грудь с грудью, у нашего вала.

Если во время первого сражения я испытывал приступы постыдной робости, то, чтобы быть правдивым, я должен признаться, что теперь один сплошной страх сковывал мои члены, останавливал мое дыхание, не давал мне видеть. Так как я уже не мог быть полезен при баллисте, я сошел с возвышения и поместился подле Реи, которая, ничего не видя и не слыша, а может быть, и ничего не понимая, старалась одушевить воинов, стоя внизу, перед самым валом, выкрикивая громкие слова, убеждая всех верить в победу. Но мне все казалось, что я нахожусь в самом опасном месте боя, что каждый летящий дротик направлен в меня, что каждая следующая минута будет последней, и я испытывал позорную радость, видя нападающего бойца, при сознании, что это не я.

Прямо предо мною, как стена, высился воздвигнутый нами вал, и на нем, беспорядочно суетясь, наши люди отбивали с громкими криками натиск легионариев. Поминутно по лестнице сбегали вниз окровавленные бойцы

и, словно ошеломленные, постояв минутку, бежали дальше. «Радуйтесь!» – кричала им вслед Реа, но они ее не слушали, торопясь хотя на миг укрыться от страшного зрелища боя. А на смену ушедшим то Андрей, то Фаддей, то Иуда вели новые отряды, и люди послушно взбирались по лестницам, чтобы подставить свое тело под удары оружия, побуждаемые не знаю какой надеждой. Порой сверху слышался могучий, хриплый голос Фомы:

– Людей! Копий! Щитов!

И Петр, хмуро наблюдавший за ходом битвы, тотчас приказывал нести на вал оружие или посылал туда подмогу.

С каждой минутой мой неодолимый страх увеличивался, мои колени дрожали, неотступно я хотел одного – отдалиться от самого опасного места, и сказал Рее:

– Ты должна уйти отсюда: тебя могут убить. Пойдем, я отведу тебя в безопасное место.

Словно разгадывая мое чувство, Реа мне отвечала презрительно:

– Иди ты, Юний, если боишься или не веришь. Меня не тронет вражеская стрела.

Незримые щиты охраняют меня. Видишь, видишь, крылатые всадники мчатся по воздуху на врагов наших. Юноши, в бой!

Потом она опустилась на колени и стала молиться вслух:

– Великий, темный, некогда поверженный, ныне восстающий в силе и славе своей, на тебя уповаю, да не постыжусь вовек! Ты – крепость народа твоего, ты спасительная защита помазанника твоего! Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда воздымаю руки мои к нисходящему на нас сумраку ночи! Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо ты заступник наш. Рассей врагов наших, рассея в гневе, чтобы их не было, и да познают народы, что ты восстал в величии и владычествуешь до пределов земли. Как сновидение пробуждении, да исчезнут идущие на нас, как будто и нет их. Чтобы утвердить царство свое, царство из мрака восстающее, помоги нам! Дождем пролей на неверующих горящие угли, огонь и серу; палящий ветер – их доля из чаши. Ибо ты могущ, жесток и неодолим, и видят лицо твое, достойное того. Эй, гряди! гряди! и возвести нам час новой победы!

Произнося такие странные слова, Реа распростерла руки, образуя всем своим телом как бы крест, но в эту минуту оглушительный крик наверху вала заставил меня взглянуть туда. С ужасом я увидел среди наших четырехугольные щиты легионариев и их шлемы, на которых блистало заходящее солнце. В то же время дротики посыпались в нашу сторону и в новый отряд подкрепления, который в эту минуту вел к валу Андрей. В безотчетном ужасе бросился я в сторону, но тут один из дротиков со всего размаха ударил в Рею. Не успев опустить распростертые руки, она, как большая алая птица, рухнула на землю.

На мгновение забыв свой страх, словно сам уязвленный в сердце стрелою жалости и любви, я подбежал к лежащей девушке. Дротик попал ей прямо в лицо, прошел сквозь рот, и острие вонзилось в землю, пригвоздив к ней голову Реи. Кровь вырывалась из ее рта и лилась, как из крана, смачивая кругом землю; глаза же девушки, еще открытые, были недвижны и не выражали ничего, кроме смерти.

При таком ужасном зрелище уже послед-

ний страх, тот, который, по рассказам, навел на людей голос Пана, охватил меня. Блуждающими глазами я огляделся кругом и увидел, что легионарии заняли весь гребень вала, что они сбрасывают наших воинов вниз, теснятся к лестнице и что тщетно Фома, проявлявший мужество исключительное, старается сплотить немногих уцелевших для новой обороны.

Не помня себя, не зная, зачем я это делаю, я сбросил с левой руки свой щит, как то сделал когда-то при Филиппах сам Венусинский Орфей, отстегнув балтей, бросил меч и побежал по направлению к домам. За мною слышались яростные и победные крики легионариев, натиск которых еще сдерживали последние защитники вала; передо мною по улицам, обезумев, метались мужчины и женщины, тоже крича и не зная, куда им укрыться. Целая толпа ломилась в двери храма, думая там найти убежище; некоторые устремлялись к краю пропасти, предпочитая броситься в бездну, чем попасть в руки разъяренного врага. Крики, стоны, вопли наполняли воздух, как в том месте Тартара, где несут

свое наказание нечестивцы. Впрочем, были и такие храбрецы или безумцы, которые с пением нашего священного гимна спешили к валу, чтобы продолжать сопротивление, и в этом числе были как апостолы, так и юноши, почти мальчишки, и даже воинственные женщины.

Не желая разделить их участь, конечно, доблестную, я продолжал бежать прочь от вала и, только миновав последние дома, остановился; мое сердце билось прерывисто, и пот выступил у меня на лбу; я чувствовал, что сейчас меня настигнет страшная смерть, и не видел способа, как мне от нее спастись. Вдруг я заметил впереди себя фигуру человека, поспешно пробиравшегося к скале, загораживавшей ту площадку, на которой было расположено Новое Село. Всмотревшись, я узнал Петра, которого я было упустил из виду, и тогда дикая злоба зажглась в моей душе к этому человеку, который погубил нас. Я вдруг догадался, что это именно он, напуганный угрозой апостолов, дал, через Марка, как тайного гонца, приказ напасть на нас именно сегодня и что, следовательно, это он убил Рею и те-

перь приготовил смерть и для меня.

– Остановись, предатель! – закричал я и, обнажив кинжал Гесперии, бросился вдогонку.

Петр или не слышал моего голоса, или не желал ответить, но продолжал бежать, поразительно скоро для такого немолодого человека, как он, все по направлению к скале, а я бежал за ним. Достигнув почти отвесной стены, Петр неожиданно начал подниматься на нее по незаметной тропинке, существование которой я до того времени не подозревал. Цепляясь за кусты и за выступающие камни, он взбирался все выше и выше. Я же был в ту минуту в таком состоянии, что не мог рассуждать здраво, не понял даже того, что Петр указывает мне дорогу к спасению, и думал лишь об одном – догнать изменника и отомстить ему. Поэтому я последовал примеру Петра и смело стал карабкаться по такому пути, на который никогда не отважился бы в спокойном состоянии духа.

Так мы поднимались вверх; Петр был впереди меня и, зная дорогу, удалялся все больше и больше; я – сзади, крича ему угрозы и про-

клятия, поднимаясь на руках на нависшие камни, порой держась за хрупкую ветку кустарника и за колючий стебель, иногда почти срываясь в пропасть, но каким-то благосклонным Демоном спасаемый от падения. Снизу из Нового Села продолжали доноситься крики и стук оружия, показывавший, что сражение еще не было кончено, что мятежники продолжают упорно обороняться даже перед лицом последней гибели. А кругом нас быстро темнело, так как солнечный диск зашел за гору и из долин поднимался тот Мрак, который тщетно Реа призывала нам на помощь.

Я уже потерял Петра из виду, но все продолжал карабкаться, чутьем, как зверь, находя дорогу, потому что в минуту смертельной опасности человеку возвращаются способности животного; я изнемогал, я задыхался, мои окровавленные руки едва имели силы держаться за выступы камней, как вдруг увидел, что я уже на вершине скалы. Мне вновь в глаза сверкнуло солнце, прежде чем погрузиться в провал между дальними горами, и живительный вечерний ветер порывом ударил мне в грудь. Обессиленный, я упал на чело

скалы, но потом, сделав последнее усилие, отполз в сторону, спрятался между высоких камней, где меня не могли бы заметить, и, как то ни удивительно, тотчас погрузился в сон.

## Х

Разбудили меня голоса, раздававшиеся около моего убежища, и, осторожно высунувшись из-за камней, я увидел двух мужчин из числа жителей Нового Села, которые, присев на уступ, переговаривались вполголоса. Так как они говорили на местном наречии, я их слов понять не мог, но догадался по безнадежным голосам, что Новое Село в руках легионеров и что все дело бывших приверженцев Реи погибло. Одно время я готов был выйти к прежним сотоварищам, но потом счел более благоразумным не показываться. Только когда сидевшие поднялись и пошли прочь, я, следуя за ними ползком, заметил избранную дорогу, сообразив, что они должны были знать все пути этой местности, если им было известно, как и Петру, о существовании тропы, ведущей на вершину скалы.

Когда беглецы скрылись из виду, начав

спуск в направлении к озеру, я не без труда дотащился до обрыва и заглянул вниз. Там представилось мне зрелище горестное, и я вспомнил стихи «Энеиды»:

*Уж вставал над хребтом высоким  
Люцифер Иды,  
День выводя; захватив, дверей за-  
нимали пороги  
Данаи; не было нам никакой на-  
дежды на помощь.*

Стража была поставлена у вала и у дверей домов, в которых, конечно, были заперты пленные; часть воинов еще спала, растянувшись на земле; и везде, наводя ужас своим видом, валялись мертвые тела наших и врагов.

Поспешив отвернуться от тягостной картины, я возвратился к своему приюту, откуда открывалась другая, божественная: великолепных гор, то, вдали, облеченных в снеговые мантии, то, ближе, зеленеющих лесами с просветами небесных озер и смарагдиновых луговин, под сводом безмятежного Урана. У меня не было колебаний, что должно было мне предпринять, так как, кроме поспешного бег-

ства, ничто иное не могло меня спасти от позорной смерти, но такую усталость я чувствовал во всех членах, что сомневался, достанет ли у меня сил на него. Мои руки и ноги были изранены и распухли, одежда вся изорвана о колючие кустарники и камни, голова непокрыта, так как шлем я где-то потерял. Несколько утешало меня лишь то, что у меня уцелел кинжал Гесперии и что в потайном кармане я разыскал данный мне ею кошелек и денежное письмо к аргентарию Генавы.

Несколько собравшись с силами, я принудил себя идти по тому пути, которым скрылись виденные мною беглецы. Преодолевая утомление, боль и мучившую меня жажду, я добрался до противоположного края скалы и начал спуск по извилистой тропе, иногда совершенно терявшейся. Вероятно, префекту не было известно об этом восходе, потому что иначе наш Синай в самом деле мог оказаться для нас Этою, на которую намекал Петр: с вершины было легко небольшому отряду, оставаясь в безопасности, истребить всех жителей Села.

Вперед я подвигался медленно, постоянно

останавливаясь для отдыха, но, по счастью, утолив жажду из встречного ручья, и только далеко за полдень спустился в долину. Если бы я поддался одним своим желаниям, я, бросившись в густую траву, предпочел бы там лежать до другого утра, но, призвав имена богов, после краткой остановки все же повлекся дальше, ставя себе целью достичь Лария. В полубреду я повторял себе: «Ты должен дойти до берега!» – и, едва ступая израненными ногами, упорно продолжал свой путь. В эти часы я вполне понял страдания македонцев на страшной дороге от пределов побежденной ими Индии.

Уже вечерело, когда я добрал до берега прекраснейшего из альпийских озер и долго блуждал в разных направлениях, не зная, как мне переправиться на другую сторону. Наконец я наткнулся на небольшую рыбацью хижину и, так как выбора у меня не было, постучал в дверь. Лицо старика рыбака, вышедшего на мой стук, показалось мне достойным доверия, и я сказал ему, что прошу его дать мне чего-нибудь поесть и перевезти меня на противоположный берег, за что я заплачу хоро-

шо: остаться в хижине на ночь я не смел, боясь, что префект разослал отряды, чтобы ловить беглецов.

Рыбак, как я полагаю, догадался, что я из числа жителей Нового Села, но оказался человеком и с доброй душой, и с честным сердцем. Он обещал мне исполнить мою просьбу и свое обещание сдержал, разделив со мною свой скудный ужин и потом, уже в сумраке, перевезя меня на утлом челне через Комацей. Ни о чем этот старик меня не расспрашивал, – да, впрочем, он плохо говорил по-латыни, – и на прощание дал мне в дорогу краюху хлеба. Я же, радуясь своему спасению, так щедро заплатил за услугу, что привел рыбака в изумление, сходное с ужасом.

– Да охранит тебя, мой господин, – сказал он мне, с трудом находя слова, – пресвятая дева Мария. Вижу, что ты – человек знатный. Прости мне мою простоту.

Не разубеждая старика, я с ним расстался: он поплыл обратно, все рассматривая монеты, которые держал в руке, а я углубился в лес, «падубом черным кругом и кустами торчащий». Ночь я провел, взобравшись на дере-

во, почти без сна, страдая от боли, дрожа от холода и каждый миг ожидая, что на меня нападут волки, которых в той местности много. Сравнительно с этим жутким приютом я согласен был признать царственным ночлегом мои ночи в медиоланской тюрьме.

К утру я чувствовал себя обессиленным до последней меры, совсем больным и почти умирающим. Моя голова горела, тело потрясала лихорадка, глаза видели плохо, а члены отказывались повиноваться. Все же я опять принудил себя идти, опираясь на палку, которую себе срезал, выбирая, как моряки, направление по солнцу, призывая на помощь бессмертных, но часто думая, что больше не в состоянии буду сделать ни шагу. Временами я падал от усталости и лежал на мху без сознания, иногда, остановившись, спрашивал себя, не прав ли был мой Ремигий, говоря, что не стоит терпеть в этой жизни страдания, когда так легко освободиться от них навсегда, но затем, поддерживаемый какой-то смутной надеждой, опять выпрямлялся и, словно слепой, шел по тропе, держась за деревья.

Постепенно у меня начался бред, и мне то

казалось, что ласковые голоса меня окликают по имени, то, что страшный голос мне приказывает остановиться; образы недавнего боя восставали вокруг меня, и я видел людей, залитых кровью, с дротиками, вонзившимися им в грудь и в живот; призрак мертвой Реи являлся мне, и девушка с воспламененными глазами мне повторяла: «Юний, мой Юний! нам суждены победа и счастье! Поцелуй меня, Юний, мой брат, мой возлюбленный!»

На одном перекрестке я явственно расслышал бряцание оружия и шум шагов легионеров и, потрясенный ужасом, забыв боль и усталость, бросился бежать. Натыкаясь на стволы, я метался между деревьями, кружась на одном месте, ожидая смертного удара. И вдруг мне представилось, что около меня стоит мой отец, печальный и суровый, берет меня за руку и говорит:

– Куда ты зашел, Децим! Вот что значит не повиноваться указаниям отца. Теперь слушайся меня и иди – туда!

Отец повернул меня прямо на Запад, и тотчас видение исчезло, но я упал на колени и воскликнул:

– Sequor et qua ducis adsum!

Напрягая уже последние силы, я двинулся сквозь заросли в направлении, указанном мне правдивым видением, и вдруг на лесной поляне предо мною оказалось грубо сколоченное из нетесанных бревен жилье. Я довлечился до двери и, не получив ответа на стук, толкнул ее: она растворилась. Я увидел чисто прибранную комнату, деревянные скамьи, грубые армари с кастрюлями и другой посудой, простое ложе под опрятными одеялами, а посредине тлеющие угли в домашнем очаге и над ним – маленький ларарий, где стояли неумело вырезанные из дерева статуи Меркурия и Весты. Знамением спасения явились мне эти изображения родных божеств, я был охвачен такой же радостью, как если бы вошел в отцовский дом, в Лакторе, и, добежав до очага, упал около него на пол, говоря вслух:

«Вам я пребываю верен, боги бессмертные! Теперь, когда я на краю гибели, охраните меня, блаженные! Тебе, сын Майи, тебе, исконная богиня Лация, вручаю мою судьбу!»

Должно быть, около часа провел я распро-

стертый на полу, не имея сил подняться, когда вдруг послышались неспешные шаги, и в комнату медленно вошли двое, – сначала дряхлая, морщинистая старуха, потом столь же дряхлый, но бодрящийся старик; изумленно они смотрели на неожиданного гостя, но я, умоляюще протянув руки, произнес:

– Добрые люди! Вижу, что вы чтите бессмертных! Вспомните, что странников охраняет сам Юпитер. Сжальтесь надо мною и дайте приют несчастному путнику, больному и изнемогающему от усталости.

Всмотревшись в меня, старик мне ответил на хорошем латинском языке:

– Не бойся ничего, путник. Законы гостеприимства для нас священны. Никто не скажет, что старый Стридул отказал просящему у него во имя богов. Отныне ты – наш гость и будь в этом доме, как в семье твоих родителей.

Слезы потекли у меня из глаз, – так я был измучен, – и, поднявшись, я поцеловал грубую руку простого старика, потому что этим воздавал благодарность не ему, но богам, вера в которых объединяет людей. Старик же,

поставив в угол удочки и сети, которые были у него в руках, приказал жене готовить ужин, а меня позвал сесть за стол. Скоро мы все трое сидели перед благоуханной ухой, и сладостно мне было видеть, как Стридул перед едой совершил, за неимением вина, ключевой водой возлияние бессмертным.

Я придумал для старика правдоподобную историю о том, что я, будто бы, ехал с товарищем через горы, направляясь из Медиолана в Генаву, но что на пути на нас напали разбойники, друга моего, пытавшегося сопротивляться, убили, а меня увели, как заложника; что после долгих страданий в плену я бежал, но сбился с дороги и совсем погибал, если бы счастливый случай или Гений этого места не направил моих шагов к хижине Стридула. Выслушав мой рассказ, старик сказал:

– Может быть, то были вовсе не разбойники, а шайка тех новых христиан, которые недавно подняли мятеж против императора. Часть их засела здесь неподалеку в Новом Селе, что на горах, и их люди опустошали окрестности хуже самых лютых грабителей. Но сегодня я слышал от одного прохожего, на-

правлявшегося в Авсуцию, что префект добрался до их гнезда и вконец разорил его.

Вероятно, весьма изумился бы старик, узнав, что я сам птенец того же гнезда, но я остерегся сознаваться в этом.

С своей стороны, я спросил, что заставляет Стридула с женой жить столь уединенно, в диком лесу, и старик откровенно и доверчиво рассказал мне свою несложную жизнь.

Он родился в семье колона, близ Модичий, в императорском имении Ламбрионе, рано женился и был вполне счастлив, обрабатывая свой клочок земли и принося первые плоды года в жертву богу, о чем когда-то мечтал Тибулл. Мирно текла его жизнь в трудах и благочестии, и старик, имея пятерых сыновей, надеялся столь же мирно встретить и бога с опрокинутым факелом. Однако в правление Валентиниана одно несчастье за другим стало падать на голову старика. Прежде всего, сверх всякого обычая, безмерно увеличили налог с его земли, так что семье едва оставалось, чем кормиться. Старший сын, Марк, не любивший земледелия, хотел учиться у золотых дел мастера, но это ему запретили, ска-

зав, что по закону сын колона должен оставаться колоном, когда же он самовольно ушел в Медиолан, его вернули насильно; тогда он бежал и пропал без вести. Другой сын, Люций, полюбил девушку в городе, дочь купца, и так как она отвечала на его искания, решил на ней жениться; но закон позволял колону жениться лишь на дочери колона, и кончилось тем, что Люций наложил на себя руки. Третий их брат был убит легионарными, когда они проходили через земли Стридула и юноша не допускал их грабить имущество отца. Четвертый умер от заразной болезни, свирепствовавшей в крае. Наконец, последний, Квинт, вся надежда престарелых родителей, был обличен в том, что препятствовал ревностным христианам разрушать местное святилище Цереры, его судили, и палач ему отрубил голову. Старики остались одни, им не под силу стало своим трудом добывать столько, чтобы платить налоги, да к тому же им грозили, что у них отнимут всю землю, если они будут продолжать поклоняться идолам. Тогда, однажды ночью, они бросили родной дом со всем имуществом, ушли в горы, и вот уже

несколько лет живут, скрываясь, никем не знаемые и свободные, пропитываясь рыбной ловлей и охотой на мелких зверей, вспоминая прошлое и свято сохраняя веру в богов, унесенную ими в глубь лесов от преследователей.

Когда старик Стридул рассказывал это, его жена, которую он сам называл Лакриматой, плакала навзрыд.

– Да, – говорила она, – все у нас было: дом, скот, довольство, сыновья; вот теперь не осталось ничего; живем с диким зверьем в лесу, по неделям не слышим человеческого голоса, а умрем, некому будет на наше тело бросить горсть земли.

– Мы не одни: они с нами, старуха! – строго возразил Стридул, указывая на изображения богов.

После ужина Лакримата устроила для меня прекрасную постель на охапках свежей травы, покрытых грубым, но чистым полотном, и впервые после многих дней я мог бы уснуть спокойно, если бы меня не мучила лихорадка.

За ночь я разболелся совсем, утром уже не

мог подняться с ложа, и такое недомогание продолжалось с того дня больше недели. Приютившие меня старики не бросили своего случайного гостя, но с заботливостью, на которую я рассчитывать не имел права, ухаживали за больным. Старик ловил для меня своим ветхим неводом лишнюю рыбу, старуха лечила мои раны травами искуснее, чем городские медики, и оба относились ко мне как к родному сыну. Лакримата даже уверяла меня, что я похож на их покойного Квинта, и иногда плакала надо мною, укутывая мое сотрясаемое ознобом тело в теплое одеяло. Я же не знал, чем отблагодарить этих бескорыстных людей и как прославить благосклонность бессмертных, пославших мне чудесное видение, чтобы привести в эту лесную хижину.

Живя в доме Стридула и Лакриматы, я наблюдал их жизнь, и они, по взаимной любви друг к другу, по доброте их сердца и открытости их души, мне представлялись новыми Филимоном и Бавкидою, из века героев перенесенными в нашу буйную современность. Такой же был у них «малый дом, крытый болот-

ным тростником», так же «во всем доме было их лишь двое» и друг другу они «и повиновались и приказывали», так же свято сохраняли они обычаи и правила жизни, в свой час готовили обед, в свой час ложились спать, и даже, для полного сходства, у них был в хижине стол с неровными ножками, так что под одну приходилось подкладывать камень. А когда я видел, с какой старческой нежностью встречала Лакримата мужа, когда он возвращался домой после рыбной ловли, или с какой неугасшей любовью старик заботился о жене, чтобы она не устала от работы или даже не сделала лишнего шага, – я не сомневался, что если бы и моим хозяевам Сатурний задал свой вопрос:

*Молви, правый старик, и жена, достойная мужа  
Правого, что вы хотите... —*

Стридул ответил бы, как его древний прообраз:

*так как согласную прожили  
жизнь мы,  
Пусть час один нас двоих унесет;*

пусть костра не увижу  
Я жены никогда, и пусть ею схоро-  
нен не буду.

Умиление мое перед двумя стариками я выразил в такой эпиграмме, написанной в дни, когда начал выздоравливать и бродил по окрестностям:

*Царственной где диадемой из  
льдистых огромных алмазов  
Сладостный сад Гесперид мудрый  
венчал Демиург,  
Где погибали в ущельях слоны од-  
ноглазого Пуна,  
В дни, как Беллоны грозой Рим он  
мечтал сокрушить, —  
Ныне в долине зеленой приют об-  
рел долгожданный,  
Новый ты, Филимон, с новой Бав-  
кидой своей.  
Их укрывайте, о горы, что были  
страшны Ганнибалу,  
Озеро, чудо земель, рыбой их  
скромно питай,  
Вы же, всемогущие боги, чьи чтут  
алтари они свято,  
Благо явите одно, – вместе им  
дав умереть.*

Эти стихи я подарил Стридулу, когда наступила для меня возможность возобновить мое путешествие, и другой платы старик не согласился с меня взять. Напрасно я показывал ему кошелек, полный деньгами, старый колон твердил, что принял меня во имя богов и только от бессмертных будет ждать награды за своё дело. Лакримата же горько плакала, прощаясь со мною, и уверяла, что за эти недолгие дни полюбила меня как сына. И мне самому было грустно расставаться с уединенной хижинкой, где я нашел больше любви, чем в общинах христиан, и больше веры, чем в среде заговорщиков, ведущих борьбу за восстановление алтаря Победы в Курии.

Лакримата тщательно починила мою одежду и обувь, Стридул снабдил меня на дорожку котомкой, где было достаточно хлеба и сушеной рыбы, и объяснил мне, какого пути я должен держаться. По его совету, так как я боялся показаться в Коме, я решил идти на Сибрий, потом на Агаминское Село и, наконец, в Эпоредию, откуда есть Августова дорога на Генаву. Старик далеко проводил меня от своего дома, и, когда я с сыновней почтительностью

в последний раз целовал его, я думал, что встреча с ним и его женой останется лучшим моим воспоминанием за весь этот мятежный год моей жизни, когда воля Фортуны сводила и разводила меня со столькими людьми.

## XI

Своего переезда до Генавы я описывать не стану, потому что по пути, помимо обычных дорожных приключений, ничего любопытного со мной не случилось. Денег, благодаря заботливости Гесперии и моей предусмотрительности, у меня было достаточно, и я не терпел никаких лишений, если не считать скучного ожидания лошадей в мансионах, скудной еды, которой приходилось довольствоваться в маленьких селениях, и жестоких укусов клопов, бессонных врагов каждого путешественника. Но эти неприятности с избытком вознаграждались величием разнообразия видов той страны, через которую пролегал мой путь, и не проходило дня, чтобы я не дивился красоте и разнообразию тех горных громад, что самой природой поставлены, как мощная стена, закрывающая прекрасную Италию от варваров Севера.

Достигнув после утомительного перехода пешком до городка Сибрия, я впервые за много недель посетил термы, умастил свое измученное тело, купил себе новое платье, взамен пришедшего в ветхость, и был истинно счастлив, слыша на улицах звучную латинскую речь. Не без удивления я здесь узнал, что уже приближаются календы Августа, так как во время своей, похожей на длительный сон, жизни в Новом Селе потерял счет дней, словно потерпевший кораблекрушение на пустынном острове. В Сибрии мне сообщили также последние новости о событиях в империи, о том, что Максим переправился со своим войском в Германию вторую, к устьям Рена, и открыто начал борьбу против Грациана.

Все это заставило меня подумать о том, что я, может быть, напрасно держу путь на Генаву, так как сроки, назначенные мне Гесперией, давно истекли, а начавшиеся военные действия вряд ли допустят меня с нею соединиться, если я даже осведомлюсь точно о ее местопребывании. Однако, словно властное повеление некоего бога, в моей душе неподвижно стояло желание вновь увидеть Геспе-

рию, и к этой отдаленной цели влеклось все мое существо, как некогда к берегам Италии беглецы из разрушенной Трои. Наперекор доводам рассудка, я стремился к одному: ехать в ту Генаву, в которой мне приказала быть Гесперия. Мне казалось, что первый ласковый взгляд Гесперии заставит меня позабыть все пережитые горести, отгонит от меня окровавленный призрак Реи, страшным видением часто встававший у моего ночного ложа, вернет мне прежнее спокойствие духа, уверенность в себе, надежду на счастье в жизни. Как больной, который ждет исцеления у чудотворного источника, или как безумный, который твердит только одно слово, я повторял себе: «В Генаву! в Генаву!» – и не жалел ни денег, ни сил, чтобы ускорить свое путешествие.

В Сибири я купил лошадь, которую потом продал, доехав на ней до Эпоредии, где вместе с одним попутчиком, купцом из самой Генавы, нанял реду. Спутник мой, именем Лемовиций, оказался человеком бывалым, не раз совершавшим переправу через Альпы, что было подвигом в дни Ганнибала, а ныне оценивается определенным числом денариев.

Благодаря опытности этого Лемовиция и благосклонности Фортуны, мы благополучно избежали всех опасностей пути, нигде не повстречались с разбойниками, счастливо преодолели трудности подъемов на чудовищные высоты Пенина, куда гений Августа сумел провести Римскую дорогу, и после двухнедельного переезда спустились, наконец, в прежнюю страну грозных Аллоброгов, где теперь мирное население Виенненской провинции наслаждается всеми благами Римского мира.

Мой попутчик хорошо знал Мания Вибиска, – лицо, в округе пользующееся почетом за свое богатство, и потому я без лишних расспросов и поисков, в той же реде, в которой мы совершали последнюю часть пути, был подвезен к самым воротам роскошной виллы, построенной в виду города, на высоком берегу великолепного Лемана. Здесь я распрощался с Лемовицием, направившимся в Генаву, а сам, захватив немногие вещи, бывшие со мною, приказал рабам, стоявшим у входа в сад, известить хозяина о моём прибытии. У меня не было коммендатицийного письма,

которое представило бы меня Вибиску, но имя Гесперии, которым я воспользовался, произвело действие чудесное, и я тотчас был введен в дом.

Вибиск был человек не молодой, очень тучный, похожий лицом на статуи Виттеля, но меня он встретил радушно и объяснил, что Гесперия ему писала о моем возможном появлении у него, что опять наполнило мою душу благодарностью и умилением. Немедленно хозяин приказал рабам приготовить для меня ванну и ужин, а мне предложил распоряжаться в вилле, как в своем доме. Я должен добавить, что то были не просто любезные слова, но что действительно Вибиск меня принял так, как должен истинный Римлянин принимать гостя, но вдобавок с чисто галльской веселостью и с щедростью владельца обширных латифундий. Снова я увидел себя окруженным роскошью, распоряжался услугами множества рабов и в тщательно обставленной вилле нашел все, чего может желать человек просвещенный, — от удобных терм и изысканных кушаний до произведений знаменитых художников и библиотеки из

нескольких тысяч свитков.

С самого начала, – пересказав вкратце свои бедственные приключения, – я осведомился у Вибиска, где теперь находится Гесперия. Вибиск передал мне, что она, не дождавшись меня в Медиолане, благополучно совершила весь путь до берегов Галльского пролива и переправилась в Цесариенскую Флавию, незадолго перед тем, как Максим решил свою высадку. С тех пор Вибиск писем от Гесперии не получал, но знает, что она добилась благосклонности узурпатора, так как неизменно остается близ него и даже вместе с ним участвует в военном походе. Рассказывают, что Максим, человек невысокой учености, простой воин, охотно слушается советов Гесперии и ее мудрости доверяет больше, чем соображениям своих военачальников и указаниям христианских священников. Конечно, такие вести жестоко поразили мою душу, вновь пробудив в ней уснувших випер ревности, но так как нечто подобное я предвидел и раньше, то сумел свое волнение скрыть и постарался перед Вибиском сохранить вид беспечный.

Когда после того мы сели за ужин, за которым собралась вся многочисленная семья Вибиска, его жена, сыновья с женами и дочери с мужьями, хозяин виллы не преминул обнаружить передо мной и свою слабость: он с необыкновенной страстностью предавался астрологии, ради которой забыл все свои дела и которая служила предметом добродушных насмешек всех его семейных. В своей вилле Вибиск построил особую башню, откуда наблюдал движения небесных светил, а его библиотека, как я вскоре убедился, была полна сочинениями о предсказании судьбы по звездам на языках греческом, латинском и даже восточных народов. Любимым чтением Вибиска было: Птолемеёво «Четверокнижие», книги Максима, Гемина, Таруция Фирмана и особенно Фирмика Матерна, которого он признавал величайшим ученым последнего времени, а из поэтов – Манилий, Овидий, Апулей, которых он знал наизусть почти полностью.

Хотя я хорошо помнил беспощадные нападки «Аттических ночей» на науку генетлиаков, старавшиеся выставить халдейские га-

дания в смешном виде, однако, из понятного чувства вежливости, внимательно слушал рассуждения хозяина и, по правде сказать, во все не находил их лишенными смысла. С жаром говорил мне Вибиск, радуясь, что обрел нового слушателя, о двенадцати домах неба, о трех родах эрратических звезд, – приносящих счастье, губительных, средних, – о знаках Зодиака и их отношении к четырем элементам, и всем подобном. Сыновья хозяина порой вставляли шуточные замечания о несбывшихся предсказаниях отца, но он, не смущаясь такими напоминаниями, продолжал восхвалять тайны неба, на котором предначертаны судьбы каждого человека и каждой былинки.

После сытного ужина, залитого превосходным местным вином, Вибиск повел меня на свою башню, чтобы показать редкие сочинения магов, карты неба, сложные таблицы движений планет и хитрые инструменты, помогающие при наблюдении звезд. На открытой площадке крыши, где перед нами засверкали огни эфира, Вибиск, охваченный своим обычным восторгом перед чудесами звездно-

го мира, не мог удержаться, чтобы не продекламировать торжественно:

*Глянь в лучезарную высь, что все  
призывают, как бога!*

И тут же, спросив у меня день и час моего рождения, предложил мне к завтрашнему дню составить мой гороскоп. Узнать свое будущее соблазнительно для всех, и я принял предложение с благодарностью, но присутствовавший при этом старший сын Вибиска заметил:

– Вспомни, отец, что ты предсказал нашему главному пастуху долгую жизнь и неожиданное богатство, а его на другой же день забодал до смерти взбесившийся бык.

– Этот неуч, – возразил Вибиск, – просто не знал точно дня своего рождения, вот он и получил предикт, относящийся не к нему.

На другой день Вибиск действительно показал мне мой гороскоп, над составлением которого проработал до поздней ночи и который мне показался сделанным с большим знанием дела. Может быть, я не сумею точно передать все ученые выражения, которые

употреблял мой добровольный предсказатель, спутаю иные из его слов, но общий смысл пророчества я запомнил верно. Вот что приблизительно мне сказал Вибиск:

«Ты родился под знаком Девы, а такие люди откровенны, честны, благородны, обладают быстрой сообразительностью, душой чувствительной, но тщеславны, нетерпеливы, предпочитают жизнь в довольстве, влюбляются легко, не умеют хранить тайн ни своих, ни чужих. В небе в день твоего рождения господствовали две планеты: Люцифер и Пиронт, а из созвездий – Дева и Близнецы, что образует аспект квадратный, ребенку враждебный. Посему ты должен больше всего остерегаться сочетания Венеры и Марса, голубя и волка. Однако злое влияние Пироента тем ослаблено, что он был в знаке Кастора и Поллукса, дающих спасение через дружбу. Через несколько лет тебе будет вторично грозить гибель, так как снова Венера и Марс будут в сочетании, и тогда ты должен будешь искать спасения в помощи друга, родившегося под знаком Стрельца. Конец же твоей жизни будет осенен знаком Рыб, потому что полный

квадрат образуют созвездия: Дева, Близнецы, Стрелец, Рыбы».

Я внимательно вслушивался в предсказания Вибиска и потом, наедине, долго об них думал. Если слова об опасности для меня сочетания Венеры и Марса, то есть любви и войны, находили свое оправдание в недавних событиях моей жизни, то пророчества о друге, родившемся под знаком Стрельца, и о том, что конец моей жизни будет осенен знаком Рыб, остались для меня непонятными. Последующая моя судьба, так как в искусстве и знаниях Вибиска я сомневаться не могу, мне покажет, есть ли что верное в загадочной науке халдеев.

Много другого сообщил мне Вибиск о значении звезд, а также о знаменитейших пророчествах древних астрологов, и я с удовольствием воспользовался бы более долгое время обществом умного хозяина и его приветливой семьи, если бы неотступное желание увидеть Гесперию не жгло моего мозга. По-прежнему страшные картины миновавших дней и образ убитой Реи мучили мои сны и мою бессонницу, и я верил, что исцелить ме-

ня может лишь одна Гесперия. Поэтому, отдохнув меньше недели в вилле Вибиска от длинного переезда, я стал просить хозяев, чтобы меня отпустили в дальнейший путь. Вибиск высказал сожаление, что я так поспешно покидаю его дом, но понял, что удерживать меня не должно, и отечески поручил меня заботам Юпитера, охранителя странников. При этом Вибиск посоветовал мне ехать в Лугдун и дал мне письмо к пресиду Лугдунской провинции, Марциану, другу Гесперии, намекнув, что этот человек знает все ее замыслы и, конечно, осведомлен, где она теперь находится.

Я еще колебался, выбирая более благоприятный день для начала нового путешествия, когда пришли грозные вести из местностей, охваченных войной. Письмо, посланное Вибиску тайно его другом из Парисий, сообщало, что от устья Рена все города обеих Германий и обеих Бельгик отворили ворота Максиму, признав его власть, что Грациан укрылся в своей любимой Лютеции, но его войска волнуются и не хотят сражаться с счастливым завоевателем. Письмо кончалось словами, что

ко дню, когда это послание будет Вибиском прочитано, судьба императора, наверное, будет уже решена.

При таких известиях я не мог не торопиться, получил деньги по денежному письму у аргентария Генавы и занял место в общественной карпенте, поддерживающей сообщение между этим городом и прежней столицей Галлии. Ночь накануне моего отъезда была бурная, гремела осенняя гроза и сверкала молния, но когда небо несколько прояснилось, Вибиск взошел со мною на свою башню и спешно рассмотрел положение светил, чтобы вывести предсказания о предпринимаемом мною путешествии. Я знал, что Вибиск, хотя об этом мы с ним не говорили, сочувствует делу Гесперии, однако, покачав седой головой, он сказал мне:

– Жестокие времена и страшные события предвещают звезды. Можно было бы ждать поворота дела к лучшему, светила —

*Знаки, однако, дают не неверные  
скорби грядущей.*

Ты едешь, юноша, в великую смуту, на зре-

лице кровавое. Да охранят тебя боги от мечей и кинжалов, и прежде всего (добавил он по праву старика) от женщины, которую мы все чтим, но душа которой тверже железного клинка, а помыслы острее лезвья кинжала.

Такое предупреждение, разумеется, не могло меня остановить, и на другой день я попрощался с берегами светло-синего Лемана, с пышным домом местного Креза, с его гостеприимной семьей и с самим добрым хозяином, который, забывая, что в его распоряжении леса, огороженные на сотни миль забором, для охоты с гончими собаками, дни и ночи проводит над старинными книгами и в созерцании вечных звезд.

## XII

Дорога из Генавы на Лугдун идет по долине Реки Родана, делая много поворотов, и на переезд мы потратили двое суток, хотя по прямому направлению между этими двумя городами едва ли более 50 лиг. К прежней столице Галлии я подъехал вечером девятого дня перед сентябрьскими календами.

Когда, год назад, я, скромный провинциал, отправлялся в свое первое путешествие, мне

показалось бы недопустимой дерзостью постучаться, прося приюта, у двери правителя такого города, как Лугдун. Но «что сильнее привычки?» – как справедливо заметил поэт, и после того, как я совершил длинный путь в одной реде с Симмахом, участвовал на пирах в домах сенаторов, комитов, богачей, присутствовал на императорском приеме в священном дворце, – я не подумал искать в городе гостиницу и прямо направился к дверям Марциана. Несмотря на поздний час, великолепные улицы Лугдуна были полны народом, таберны – шумны, и раза два я даже заметил уличных ораторов, собравших вокруг себя толпу, которую, впрочем, немедленно разогнали ночные вигили.

В доме пресида меня приняли далеко не так радушно, как в вилле Вибиска, и сам Марциан приказал мне передать, что он занят и видеть меня не может. Однако дружественное письмо Вибиска все же оказало свое действие, мне отвели удобную комнату, приготовили для меня ванну и после нее подали ужин, за которым мне пришлось сидеть в полном одиночестве. Уже привыкший к раз-

ного рода неприятностям, я не стал унывать от такой встречи и остаток дня провел в том, чтобы написать Вибиску небольшое письмо, в котором благодарил его за коммендацию и немного подсмеивался над его дурными предвещаниями.

Утром пресид позвал меня к себе, в свой таблин, весь заставленный армариями с деловыми свитками, расположенными под цифрами, и я увидел человека лет пятидесяти, с постоянно нахмуренными бровями, с глазами, избегающими смотреть на собеседника, с губами тонкими и плотно сжатыми. На вопрос пресиды о цели моего приезда я ответил, что должен по важному делу видеть известную ему Гесперию, жену сенатора Элиана Меция, и надеюсь получить от него сведения, где она находится. Я добавил, что решил обратиться за такой помощью к пресиду только по совету Вибиска, его друга, который заверил меня, что я своей просьбой не причиню слишком большого беспокойства.

– Ты, вероятно, не знаешь, – сказал пресид в ответ на мои слова, – что эта женщина соединилась с врагом родины. Если бы тебя не

защищало письмо моего друга, я должен был бы немедленно бросить тебя в тюрьму за сношения с мятежниками.

Догадавшись, что пресид говорит так из осторожности, я постарался в длинной и уклончивой речи намекнуть ему на то, что также участвую в римском заговоре, знаком с Симмахом, Флавианом, Претекстатом и осведомлен о сочувствии их делу самого Марциана. Мои намеки произвели свое действие, и пресид заговорил со мной менее сурово.

– Все, что я могу сделать, – сказал он, – для тебя и для твоих друзей, которые все также мои друзья, это – позволить тебе остаться в моем доме и дожидаться, когда я получу вести о жене Элиана Меция. Как только мне сообщат, где она находится, я передам это тебе: добиться встречи с нею будет уже твое дело. Только не забывай, что ты находишься в доме правителя провинции, получившего свою должность милостью императора и выполняющего свой долг, как честный магистрат.

Иного я и не искал, и потому, поблагодарив пресиду, я удалился.

Так как никакого дела у меня не было, я

пошел на улицу, намереваясь осмотреть город, славящийся своими зданиями, огромными театрами, прекрасными акведуками, но тотчас заметил, что население Лугдуна в еще большем возбуждении, нежели накануне. Граждане поминутно собирались в кучки и шумно обсуждали что-то, из копон вырывался шум буйных споров, и по площадям скакали германские всадники, водворяя порядок и запрещая произносить речи. Я стал вмешиваться в толпу и прислушиваться к разговорам, а потом и прямо задавать вопросы стоящим рядом со мною, но долгое время все, – конечно, принимая меня за соглядатая, – отказывались мне отвечать или отвечали словами неопределенными. Наконец нашелся один юноша, более смелый, который не побоялся объяснить мне, в чем дело.

– Если ты приезжий, – сказал он, – я понимаю, что ты удивляешься. Тогда узнай, что произошли события первой важности. Ночью прибыли достоверные гонцы с известием, что Грациан разбит. Пять дней его войска стояли у Парисиев, против войска Максима, но в бой идти не соглашались. На шестой день маври-

танская конница Грациана открыто ушла в стан императора Максима, а за ней последовали многие другие отряды. Грациан, потеряв все надежды, бросил остатки войска и с немногими верными скачет теперь сюда, думая найти убежище в нашем городе. Мы же хотим, чтобы и Лугдун закрыл перед Грацианом ворота, так как иначе за помощь ему Максим подвергнет город жестокому наказанию.

– Но справедливы ли эти известия? – спросил я.

Юноша наклонился ко мне ближе и сказал почти шепотом:

– Поутру к пресиду Марциану прибыл комит Виктор от самого императора Максима и подтвердил все!

Как ни тихо были произнесены эти слова, но какой-то человек в поношенном плаще, оказавшийся подле нас, осведомился:

– Что это вы здесь говорите о императоре Максиме?

– Я говорю, – не смущаясь, возразил юноша, – что Господь Бог не допустит, чтобы наглый мятежник одержал верх над благочести-

вым защитником святых алтарей, императором Флавием Грацианом Августом.

С этими словами мой собеседник юркнул под ближний портик, а я тоже поспешил скрыться.

Однако в других местах города я увидел людей, гораздо более смело выражавших свои чувства. Толпа кричала громко: «Слава Августу Максиму!» и «Да погибнет Грациан!» У здания местной курии стояла мраморная статуя Грациана, и народ, окружив ее с дубинами и веревками, пытался свалить ненавистное изображение: германские всадники не без труда оттеснили толпу и спасли статую. Особенно усердных крикунов стражи хватали и силой уводили, вероятно, в тюрьму, отбиваясь от толпы, старавшейся освободить взятых. Насмотревшись на такие случаи, я предпочел вернуться в дом пресиды.

Завтракать меня позвали в маленький триклиний, где собралась вся семья Марциана, но за столом ничто не указывало на волнения, происходящие в городе. Рабы бесшумно и почтительно разносили кушанья, дочери пресиды и его жена расспрашивали меня о

моем путешествии через Альпы, двое молодых людей, сидевших тут же, остроумно шутили и говорили о новых книгах, присланных из Рима, выставляя на вид свое знание писателей, и только сам Марциан оставался мрачным и необщительным. Однако завтрак еще не был закончен, как в триклиний вошел, видимо, взволнованный, официант и что-то прошептал на ухо пресиду, который сейчас же встал и, торопливо извинившись, удалился.

После этого происшествия оживление за столом сразу пропало, так как все поняли, что случилось нечто важное. Лицо матроны побледнело, разговор прервался, и завтрак был доведен до конца наскоро. Гости немедленно простились, жена пресида ушла в свои комнаты, но я намеренно продолжал занимать рассказами двух молодых девушек, чтобы не быть вынужденным вернуться в назначенную мне комнату. Мы сели в зале с колоннами, заменявшем в доме атрий, и я напрягал все силы ума, чтобы быть занимательным, повествуя о невероятных высотах Пенина, о синеватом просторе Лемана и зеленоватом —

Комацея, выдумывая истории о нападении волков и разбойников, о ледяных морях, преграждающих путь, о драконах, гнездящихся в черных ущельях, и многое другое.

Хитрость моя оказалась успешной, потому что мои юные слушательницы продолжали смотреть мне в рот, когда у входа слышались и шумные клики народа, и топот лошадей. Еще через несколько мгновений в комнату вошла целая толпа с пресидом во главе, подвигавшимся, пятясь, с величайшей почтительностью, а среди следовавших за ним я сразу признал высокую сухопарую фигуру императора Грациана. Одетый, по своему обыкновению, в скифский наряд, но весь засыпанный золотыми украшениями, он держался безо всякого величия, как человек, ежеминутно ожидающий оскорбления. Его лицо было бледно, глаза ввалились, он судорожно переступал с места на место, и только когда он заговорил, в его голосе почувствовалась привычка повелевать.

Никто не заметил присутствия в зале меня и двух девушек, и Грациан, едва перешагнув через порог, обратился к Марциану:

– Пресид! Теперь повтори свою клятву на святом Евангелии! Ты не думай, что я перестал быть твоим императором! Власть мне досталась от отца и дана от Бога, и не дерзкому мятежнику отнять ее у меня! За меня Италициана, Испании, Африки. У меня еще сто тысяч войска. Мой брат Феодосий поможет мне, едва узнает о моем положении. Я сумею наградить за услугу щедро. Но берегись предать меня. Если не я, то Феодосий отомстит тебе жестоко. Ты ужаснешься той казни, какую он найдет для тебя. Клянись мне в верности на Евангелии!

– Я тебе уже дал клятву, Твоя Вечность, – возразил пресид. – Могу ли я изменить моему благодетелю и императору, поставленному над нами самим Богом?

– На Евангелии! на Евангелии! – упрямо повторял Грациан.

По приказанию Марциана, кто-то из его людей побежал за Евангелием, а Грациан, все расхаживая у двери, продолжал говорить отрывисто, в бранных выражениях понося Максима, давая обещания беспощадно наказать изменившие ему войска и города, закрывшие

перед ним ворота, снова угрожая пресиду страшными карами в случае нарушения верности. Одежда императора была запылена и забрызгана грязью, и в таком же состоянии было одеяние его людей, которые казались растерянными не меньше своего повелителя. Только двое среди них, суровые воины, с франкскими чертами лица, в полном вооружении германцев, сохраняли достоинство и невозмутимо озирали все собрание; позднее я узнал, что то были – Меробавд и комит Баллон, два самых приближенных лица к императору. Напротив, грек, одетый в златотканую, но изорванную и испачканную тогу, недавно еще всесильный магистр официий – Македоний, был живым изображением растерянности: его глаза блуждали, руки тряслись так, что это было видно, он не находил себе места и, опираясь на стену, неумолчно шептал молитвы.

Тем временем принесли Евангелие, великолепную книгу в переплете, украшенном серебром, и пресид, взяв ее в одну руку, другую же подняв ввысь, произнес торжественно:

– Призываю во свидетели всемогущего Бо-

га, что нет в моей душе лукавства, когда клянусь сохранять должную верность Его Вечности, нашему императору Цесарю Флавию Грациану Августу, отцу отечества, победителю германцев, аламаннов, франков, готов, Великому, – пока угодно будет Небу продлить его жизнь. Клянусь до последнего дыхания служить ему, оберегать его священную особу и, доколе Господь по неисповедимым предначертаниям своим не отозвал его от нас, не признавать никого другого императором префектуры Галлий и опекуном-соправителем префектуры Италий. Если же нарушу эту клятву, да буду проклят людьми и отвергнут Богом, да лишится моя душа надежды на спасение и да идет в огонь ада на вечные мучения.

Выслушав такую клятву, Грациан сразу повеселел, совсем не по-императорски ударил пресиды по плечу и воскликнул:

– Теперь я тебе верю. Ты – честный человек и в своем поступке не расквешься. Даю тебе мое слово: в следующем году ты будешь префектом Города! А сейчас – пусть нам готовят обед, потому что мы умираем с голода!

Только в эту минуту пресид заметил меня и, сделав несколько шагов ко мне, спросил недовольным голосом:

– Почему ты здесь, любезный Юний? Ты видишь, что здесь не место посторонним.

Но Грациан прервал слова Марциана, крикнув весело:

– Оставь его, пресид. Мы – в походе, и не время считаться чинами. Я хочу, чтобы за нашим обедом присутствовали все мои люди, эти верные мне воины, и вся твоя семья, все, кто в твоём доме. Мы будем пировать, потому что Грациан не может смутиться от измены проклятых мавров.

Не довольствуясь этим, император сам подошел ко мне и к стоявшим рядом со мною дочерям пресиды и еще раз повторил, что желает нас видеть за своим обедом. Особенно настойчиво он это говорил старшей из двух сестер, миловидной Павлине, которая ему, по видимому, приглянулась. Однако Грациан не забыл добавить, вновь обращаясь к пресиду:

– Но распорядись запереть ворота города, и пусть войско, какое здесь есть, будет наготове. Может быть, еще сегодня нам удастся по-

казать когти надменному британнцу.

Марциан поспешно изъявил готовность исполнить все распоряжения императора, а пока предложил ему отдохнуть в наскоро убранных для него покоях, после чего Грациан удалился. Весь его комитат также был размещен в различных комнатах, и по дому торопливо забегали рабы, делая приготовления к императорскому обеду. Я же, окидывая мысленным взором чудесное сцепление событий, заставлявшее меня пировать за одним столом с человеком, в спальню которого я прокрадывался, как убийца, тая кинжал под одеждой, подивился причудливости человеческих судеб, и еще более загадочными и странными предстали мне —

*И Фортуна, могущая все, и Рок неизбежный.*

### XIII

За те сравнительно недолгие часы, которые потребовались поварам Марциана, чтобы выполнить возложенную на них трудную задачу, домоправитель сумел из большого триклиния создать пиршественный зал, достой-

ный императора. Из других покоев в триклиний перенесли ряд статуй и среди них – изображение самого Грациана, украсив его лавровым венком; по углам расставили кадки с деревьями и ящики с цветами; на сцене расположился хор фидицинов; стол заблистал белоснежными маппами, хрусталем, серебряной посудой. Жена и дочери префекта облеклись к обеду в шелковые паллы с длинными фимбриями, а сам он – в праздничную тогу магистрата, которая сверкала золотом лерии и унизывавшими ее самоцветными каменьями.

На этот раз Грациан совершил свой выход в триклиний торжественно: ему предшествовали лица из числа его спутников, а мы, все присутствующие, следуя примеру пресиды, склонились при появлении императора почти до земли. Грациан был одет в Римскую тогу, вероятно, предложенную ему Марцианом, на ногах императора были пурпуровые сандалии, в волосах – белая диадема, с изумрудами и пурпуровыми лемнисками, падавшими до плеч. Люди Грациана также украсили себя, кто чем мог, и весь их круг вновь про-

изводил впечатление пышности и роскоши.

Встретив императора и проводив его на почетное место, в возглавии стола, пресид подошел к Меробавду и Балиону, явившимся к обеду в полном вооружении, и сказал им почтительно:

– *Viri spectabiles!* К чему это оружие на нашем празднике, когда мы чувствуем обожаемого императора и все готовы умереть за него? Позвольте мне взять у вас эти ненужные угрозы общему веселию.

– Оставь, пресид! – возразил Меробавд. – Мы с нашим мечом не расстаемся ни за столом, ни в спальне. Мы, франки, любим полагаться только на самих себя, да и император не захочет, чтобы около него мы были безоружными.

Пресид не настаивал и занялся размещением своих гостей, причем людей императора сажал не рядом друг с другом, а разделяя их теми, кого пригласил сам, или женщинами. Но Меробавд не подчинился и этому распоряжению: бесстыдно отстранив младшую дочь Марциана, которая хотела сесть слева от Грациана, он занял ее кресло, хотя для него,

как для мужчины, было приготовлено ложе, и сказал твердо:

– Мое место здесь. Император хочет, чтобы я был подле него.

Мне опять досталось скромное ложе на конце стола, рядом с каким-то германцем, почти не говорившим по-латыни, и я опять с удобством мог делать свои наблюдения. Я смотрел, как рассаживались гости, следил за выражением их лиц, слушал льстивые речи пресиды и втайне был полон негодованием. «Как! – говорил я себе, – этого Марциана Гесперия считает своим другом, поверенным своих тайн, а он, когда сам Грациан в его руках, унижается перед императором ради каких-то наград в будущем, вместо того чтобы одним ударом уничтожить врага империи и богов! Кто мог бы помешать пресиде? Не в его ли распоряжении военные силы Лугдуна? Не явно ли население сочувствует Максиму? О, если бы Гесперия знала, в какой западне находится ее враг и кто помогает ему спастись!»

Между тем торжественный пир начался, была прочитана христианская молитва, выслушанная присутствующими стоя, зазвуча-

ли нежным голосом фиды, цитары и лиры, рабы стали подавать первые блюда промульсида, а мальчишки – смешивать в кратерах вино. Грациан предавался веселию празднества с таким безраздумием, что я удивлялся, как этот человек, властвовавший над полумиром, видевший самые богатые пиры, не знавший, есть ли препятствия для исполнения его желаний, мог сохранить в душе столько юношеской живости и такую способность наслаждаться минутой, «уловлять день». Я завидовал Грациану не за его высокий сан и могущество, уже поколебленное, но за ту беспечность, с какой он, преследуемый врагами, нашедший временный приют в городе, к нему расположенном враждебно, весело шутил над своими неудачами, нисколько их не скрывая, и беззастенчиво заигрывал с понравившейся ему Павлиной, которая не знала, как отвечать на вольные намеки Августа.

– Тебе жить не здесь, – расслышал я слова Грациана, обращенные к ней. – Лугдун был великим городом при Нероне, а теперь это – первое село в империи, не больше. Такая красавица должна быть в Риме или в Треверах,

где найдутся мужчины, способные оценить красоту этих плеч. Если никто другой не похитит тебя, я сам увезу тебя отсюда, чтобы ты была на своем месте, как хорошая жемчужина в подходящей оправе.

Меробавд угрюмо молчал во время обеда, и комит Балион следовал его примеру; даже вино не дало свободы их языкам. Македоний зорко наблюдал по сторонам, отвечая осторожно и хитро на предлагаемые ему вопросы. Другие гости, среди которых было немало простых кандидатов, по мере того как кубки успокаивали их опасения, все более и более увлекались пиром, говорили любезности женщинам, хохотали громко, вообще вели себя так, словно они на дружеской попойке, а не в доме пресиды и в присутствии императора.

Уже выпито было, по предложению Марциана, за священное здравие императора число кубков, равное числу букв его имени, и, по предложению Грациана, за здравие пресиды, его жены и прекрасных дочерей; уже не в первый раз мальчишки вновь наполняли кратеры, чтобы щедро черпать из них циатами;

уже приступили мы к феркуле, а фидицинов сменили на сцене хорошенькие рабыни-тибицины, когда вдруг оглушительные крики народа, раздавшиеся на улице, проникли даже сквозь толстые стены дома. Можно было угадать, что толпа неистовствует от восторга, и Грациан, с несколько встревоженным лицом, спросил, что это значит. Пресид ответил ему:

– Не знаю точно, Твоя Вечность, но думаю, что добрые жители Лугдуна радуются по поводу твоего благополучного прибытия в наш город.

– Это надо расследовать, – строго сказал Македоний.

– Поди спроси их, что им нужно, – распорядился Грациан, – и пусть на счет фиска устроят угощение всему городу: хочу, чтобы сегодня все пировали.

Пресид вышел из триклиния, а вертевшийся около стола ареталог, раньше потешавший нас смешными выходками, сказал, не без дерзости:

– Да, Август, брось народу хвост: что у тебя и осталось, кроме хвоста!

Грациан нахмурился, а комит Балион

крикнул гневно:

– Не зазнавайся, скурра! Как бы я не отрубил тебе и хвост, и твой колпак вместе с головой!

В эту минуту префект уже вернулся, но следом за ним шел высокий воин, судя по лицу, грек, в золоченом вооружении магистра конницы. Так как я сидел против двери, мне было видно, что далее подвигается целый отряд вооруженных людей.

– Кто это? – величественно спросил император, оборачиваясь к двери, но вдруг, узнав вошедшего, вскочил стремительно, так что серебряное блюдо покатилося на пол, отшатнулся, не зная, куда броситься, и закричал в каком-то детском ужасе:

– Андрагафий!

Тотчас в комнате наступило великое смятение, все повскакали со своих мест, германские воины и кандидаты подняли крик, не то от негодования, не то от страха, Македоний, как ловкая лиса, шмыгнул к стене, Меробавд и Балион выхватили из ножен мечи, но, прежде чем я успел сообразить, что происходит, пятеро вооруженных людей, по знаку

Андрагафия, кинулись на Грациана. Я видел, как клубок тел завертелся на том месте, где только что, весь бледный, стоял император, перед глазами у меня мелькнули взлетевшие ввысь и опустившиеся клинки, и по всему триклинию пронесся пронзительный вопль Грациана:

– Амбросий! Амбросий! где ты?

В следующий миг Меробавд ринулся на убийц, раздался мощный удар его меча, отраженного чьим-то щитом, и в мирном триклинии началась схватка, словно в жилище Улисса при избиении женихов. Но уже новый отряд вооруженных вступил в комнату, загородил дорогу комиту Балиону, порывавшемуся на помощь к своему сотоварищу, и своим грозным видом как бы окаменил тех из людей императора, которые помышляли о сопротивлении. Одни из них остались бессмысленно сидеть перед дымящимся блюдом, другие, схватившие было столовые ножи, как оружие, застыли неподвижно, сжимая их в руке, третьи упали на колени и униженно молили о пощаде, а женщины между тем со стонами метались по триклинию, ища выхода.

Все это продолжалось не больше времени, сколько надо, чтобы залпом выпить кубок вина, и, едва опомнившись от неожиданности, я уже видел труп верного франка, распростертый подле тела того, кто еще сегодня был повелителем всего Запада. Оцепенение присутствующих стало проходить, и в комнате раздался повелительный голос Андрагафия:

– Да здравствует император Цесарь Великий Максим Август!

Несколько голосов недружно ответило:

– Да здравствует Максим Август!

Комит Балион, которого пять или шесть воинов, отняв у него меч, держали крепко за руки, внезапно вырвался, отбежал к стене и прерывающимся голосом бросил Марциану:

– Так вот, пресид, цена твоей клятвы на Евангелии! Всемогущим Богом ты клялся сохранить верность императору и в тот же день предал его! Иуда, ты разделишь участь с предателем Христа.

Пресид, который присутствовал при убийстве Грациана, спокойный, но сам бледный, как труп, возразил глухо:

– *Vir spectabilis!* Не я поднял руку на свя-

ценную особу императора. Все произошло помимо моей воли. Я клялся служить императору Грациану, доколе он жив, и этой клятвы не нарушил.

– Гнусный лицемер! – воскликнул франк. – Таковы вы все, Римляне! У вас нет храбрости даже на то, чтобы самим совершить преступление. Вы для этого нанимаете руки германцев, а свои умываете, как Пилат. Но Правый Судья рассудит, на чьих кровь.

Несколько воинов снова двинулись к комиту, чтобы захватить его, но он остановил их движением руки и сказал еще:

– Не трудитесь убивать меня. Мне самому стыдно жить в наши дни измен и предательств. Мне стыдно жить в империи, где даже жизнь императора продается за деньги. Я тоже клялся до смерти служить Грациану, и я свою клятву сдержу точно.

Франк извлек из-за пояса кинжал, быстро погрузил его себе в грудь и, в содроганиях смерти, упал на мозаичный пол триклиния, подле ящика с высокими розами; третий труп присоединился к двум другим.

– Довольно убийств! – произнес Андрага-

фий. – Именем Августа Максима объявляю всем прощение и милость. Только один из вас будет немедленно взят под стражу за тяжкие преступления, учиненные им. Воины, задержите бывшего магистра оффиций, Македония!

Тут заметили, что Македония в триклинии нет: воспользовавшись общим смятением, он выскользнул из комнаты. Андрагафий тотчас отрядил людей в погоню за ним, а всем нам приказал покинуть зал, где лежало тело почившего императора. Люди Грациана все же, по выходе из триклиния, были окружены стражей, и им не позволили выйти из дому; нам всем остальным было объявлено, что мы свободны идти, куда хотим.

Потрясенный всем виденным, я, после некоторого колебания, вышел на улицу. По городу уже разъезжали преконы, выкрикивая на перекрестках, что император Грациан скоропостижно скончался, и приглашая возгласить славу Августу Максиму. Толпа встречала это известие возгласами одобрения, впрочем, далеко не столь восторженными, как то можно было ожидать; недовольные же не смели

высказывать своего мнения теперь, когда Лугдун был наводнен конными воинами Андрагафия. Но о действительной судьбе Грациана тотчас узнал весь город, и об этом говорили открыто на площадях.

Скоро я услышал и об участии Македония. Почти чудом выбравшись на улицу, он, обезумев, метался по Лугдуну, надеясь найти убежище у алтаря, но в ослеплении ужаса не замечал церквей и пробегал мимо их дверей. На окраине города его настигли посланные за ним в погоню и убили его. Так исполнилось предвещание Амбросия: «Скоро придет день, когда и тебе придется спасти свою жизнь: ты тогда обратишься к церкви, и церковь останется заперта пред тобой».

Вечером этого кровавого дня, предугаданного Вибиском по сочетанию светил, весь Лугдун осветился огнями: зажглись на домах лучерны, у ворот – факелы, на площадях – смоляные бочки. Я продолжал до поздней ночи бродить по улицам, долго не решаясь вернуться в дом, оскверненный убийством, и раздумывая над событиями, которых был свидетелем. Я сравнивал свою нерешительность

и свои волнения в дни, когда мечтал убить Грациана, с той уверенностью и с тем спокойствием, с какими нанесли ему смертельный удар германцы Андрагафия, а также благородную смерть франка Балиона, поразившего себя прямо в сердце, с изнеженным самоубийством моего друга Ремигия, сначала пресытившего свои чувства в кругу красивых мальчиков. Не стали ли деяния и доблесть уделом других народов, – спрашивал я себя, – а Римлянам не осталось ли только гордиться величием прошлого и сладострастно истекать кровью в тепловатой ванне? И хотя со времен Приама не раз повторялась на подмостках истории трагическая сцена, как «на берегу лежит великое тело» и падает тот, кто недавно был «гордым повелителем стольких народов и земель», все же судьба Грациана заставляла подумать вновь о неверности и судеб империи и личной судьбы человека. Сопоставляя свое незаметное существование с блеском императора, от которого вчера еще зависели тысячи и тысячи жизней, я в поучение себе твердил стихи Флакка:

*Знает ли кто, придадут ли к*

*дням, до сегодня прошедшим,  
Боги и завтрашний день?*

#### XIV

Когда на следующий день семья пресиды собралась за завтраком и среди нас оказался не кто иной, как магистр конницы Андрагафий, мне было стыдно смотреть в глаза Марциану. Я не мог забыть, что он запятнал свою душу клятвопреступничеством и что ему в лицо было брошено страшное обвинение человеком, готовым покинуть этот мир неправды. И хотя мы сидели в маленьком триклинии, мне все представлялось, что пол залит кровью и что повторяется пронзительный вопль убиваемого Грациана:

– Амбросий! Амбросий! где ты?

Между тем сам хозяин беспечно разговаривал со своим гостем о вопросах ничтожных, как будто ничего важного вчера не произошло: о жизни в Британнии, о походе от устья Рена, об общих знакомых. На меня никто не обращал внимания, и дочери префекта молчали за все время завтрака, может быть, подавленные воспоминаниями о вчерашнем пире. Это на меня оказало такое тягостное

действие, что я подумывал покинуть дом пре-  
сида и переехать в какую-нибудь гостиницу,  
но когда мы уже вставали из-за стола, Марци-  
ан, обращаясь ко мне, сказал:

– Сегодня мне предстоит высокая честь  
принять под своим кровом Августа Максима.  
Я узнал, что среди лиц, сопровождающих Его  
Вечность, будет та женщина, жена сенатора  
Элиана Меция, к которой у тебя, любезный  
Юний, есть поручения. Ты ее сегодня уви-  
дишь.

Кровь отхлынула у меня от лица, и я не  
мог произнести ни слова, потому что все за-  
слонила собою мысль: «Сегодня я увижу Гес-  
перию!» То, что я пережил за последние меся-  
цы: оргии Нового Села, битва, в которой мне  
грозила верная смерть, трагическая гибель  
Реи и злодейское убийство императора на пи-  
ру, – все, все потонуло в этом сознании, как в  
водах Океана исчезают брошенные камни.  
Так сильно было потрясение, что я убежал в  
свою комнату, упал на ложе и вдруг заплакал.

По мере того как проходили часы, мое вол-  
нение возрастало неудержимо: мое сердце ко-  
лотилось, руки остывали, я испытывал страх

больший, чем под копьями легионариев. По временам мне казалось, что от томления я умру, не дождавшись вожделенной минуты. Я пытался подготовиться к тому, что скажу Гесперии, но мои мысли путались, и я молил богов об одном: дать мне дожить до встречи.

Когда улицы Лугдуна наполнились шумом и кликами народного сборища, приветствующего императора, когда вновь топот лошадей звонко раздался у дверей дома, – я почти падал от изнеможения и сладкого ужаса. С трудом, как больной, я вышел в ту самую колонную залу, где вчера еще мы встречали Грациана и где сегодня собрались знатнейшие лица города, куриалы, люди Андрагафия и семья пресиды, чтобы приветствовать победителя. Затерянный в толпе, я руками сжимал свою грудь, чтобы подавить трепет обезумевшего сердца.

И под восторженные крики «Salve!», под стук щитов германских легионариев, тяжелой походкой воина, в боевой одежде, со шлемом на голове, вступил в комнату Максим. Загорелый испанец, с чертами лица грубыми, с движениями решительными, он прошел на

середину зала и остался там, тогда как все возглашали: «Слава Цесарю Великому Максиму Августу!» Император махнул рукою, давая знак, чтобы замолчали, и из нашей среды выступил старик, первый местной курии, который, поклонившись низко, начал произносить приветственную речь. Но я этой речи не слушал, я всматривался жадно в комитат Августа, где было несколько женщин, и вдруг увидел Гесперию, со скромною гордостью державшуюся в стороне. Она была одета в простой дорожный плащ, и только одно украшение сверкало на ее груди: большой золотой крест.

Если видение Гесперии ослепило мои глаза, то этот крест потряс все мое существо. Что он означает? Почему этот знак христианства на ее груди? Зачем она выставляет напоказ символ того, против чего неутомимо борется? Такие вопросы так остро вонзались в мою душу, что я даже не испытывал более волнения от близости Гесперии. Я думал, я старался понять, я сам осуждал свои обидные догадки, но горькое подозрение жгло меня своим огнем.

Приветствия, обращенные к императору,

длились бесконечно долго, и провинциальные ораторы употребляли все усилия, чтобы поддержать всесветную славу галльского красноречия. Периоды, красиво построенные по точным правилам ретирики, следовали за периодами; экскламации, аллокуции, сермоцидации, диссимуляции сменяли друг друга; одинаковые слова то повторялись в анафорах, то отскакивали одно от другого в эпифорах, то противоречиво сталкивались в оксюморонах; можно было подумать, что я опять в школе Лимения, слушаю пробные речи моих сотоварищей. Наконец Максим, утомленный изысканностью панегириков, к которым не привыкло его ухо, более знакомое с ржанием коней и бряцанием доспехов, отмахнулся от ораторов, как от надоевших мух, и пошел во внутренние покои дома. Все, суетясь, поспешили за ним, и на миг в зале наступило некоторое смятение.

Этой минутой я воспользовался, чтобы подойти к Гесперии, и сказал ей:

– Diva, ave!

Гесперия взглянула на меня и, как будто не сразу вспомнив, кто я, ответила равнодуш-

но:

– Это ты, Юний? Здравствуй. Не совсем в назначенное время ты вернулся ко мне.

– Я все же вернулся, Гесперия, и мне надо, непременно надо передать тебе все, что я видел и что узнал.

Гесперия досадливым взором посмотрела на меня, но, поняв, что я не отступлюсь от своей просьбы, и, видимо, не желая спорить, так как на наш разговор обращали внимание посторонние, быстро проговорила:

– Хорошо, вечером я прикажу позвать тебя ко мне. Будь здоров.

Она уже двинулась в том же направлении, куда прошел император, но я, в отчаянии, готовый быть навязчивым, заступил ей дорогу и спросил:

– А почему у тебя на груди крест, Гесперия?

Кругом теснились люди, какие-то женщины, причесанные пышно, официалы в красных цингулах, и Гесперия, подняв глаза к потолку, ответила:

– Я познала истинного Бога. Спаситель в неизреченном милосердии своем призвал меня к себе, как заблудшую овцу. От полноты

души я желаю, Юний, чтобы ты последовал моему примеру.

После этого ответа Гесперия решительно пошла вперед, а я остался один среди опустелой залы и в великолепии этого дома чувствовал себя в такой же пустыне, как Марий на развалинах Карфагена.

Напряжение, с каким я ждал встречи с Гесперией, разрешилось теперь в беспредельное изнеможение: моя душа и мой ум были пусты, как выпитый кубок, и я даже не в силах был негодовать или отчаиваться. Опять в своей комнате я бросился на ложе и пролежал на нем, без сна и без мыслей, те часы, пока длился прием императора и новый пышный обед, на который меня не позвали. Сумерки наполнили комнату, дом пресиды затих постепенно, а я все лежал, глядя на красные разводы по стенам, медленно поглощаемые тенью. В воображении предо мною стояла Гесперия, по-прежнему прекрасная, по-прежнему манившая к себе все мои чувства, и дрожь потрясала меня, когда я представлял, что мог бы обнимать ее на этом самом ложе, – но в глубине души таилось сознание, что случилось

что-то безмерно важное, что-то безнадежно непоправимое, что-то навсегда изменившее мое отношение к этой женщине.

Когда появился раб, посланный Гесперией, чтобы проводить меня к ней, я опять испытал чувство страха: что я ей скажу? как я буду слушать ее слова? И мне было почти стыдно, что в то же время желание приблизиться к Гесперии было живо во мне, что тайная надежда обнять ее, прижать свои губы к ее, еще раз изведать сладость ее ласки – подымалась со дна души. Гордость говорила мне, что я поступил бы благороднее, если бы сегодня же, не придя к Гесперии, покинул Лугдун, но вместо того я покорно пошел вслед за ее рабом.

Гесперия заняла отдельный дом, поблизости от жилища пресиды, маленький, но уютный. Знакомые мне рабыни Гесперии, с которыми она не рассталась, проводили меня к своей госпоже. В легком вечернем одеянии, с тем же крестом на груди, возлежала Гесперия на ложе, предложила мне сесть подле и беспечным голосом начала расспрашивать о моих приключениях.

Делая над собою усилие, я откровенно рас-

сказал все, что пережил после нашей разлуки в Медиолане, не скрыв и своей близости с умершей Реей. Я говорил нескладно, путаясь, потому что мой ум был занят другим; когда же я кончил, Гесперия сказала:

– Ты опоздал, Юний. Были дни, когда ты мне был очень нужен, и я горько жалела, что тебя нет со мною. Но я все устроила без тебя, сама. Напрасно ты совершил свое тягостное путешествие через Альпы. Поезжай же теперь в свою Лактору – отдохнуть и повидаться с родными, а потом возвращайся в Город – учиться. Сказать по правде, ты прошлую зиму не очень усердно посещал школу.

– Итак, ты более не хочешь, чтобы я был близ тебя? – спросил я.

– У меня теперь другая цель в жизни, – возразила Гесперия, – и ты не можешь идти рядом со мною.

– Ты изменила нашему делу? – тихо спросил я, – ты продалась христианам?

Прекрасная в минутном гневе, Гесперия встала с ложа и, надменно глядя на меня, произнесла строго и отчетливо:

– Мы сейчас наедине, и я не повторяю тебе

тех слов, что сказала тебе сегодня днем. Какова моя вера, это – мое дело, но я нашла нужным носить этот крест и признавать Распятого. Ты же не имеешь права меня допрашивать. Упреков я слушать не хочу. Больше нам говорить не о чем. Уходи от меня и больше не ищи встреч со мною.

С жестокой болью сжалось мое сердце при мысли, что я должен расстаться с Гесперией навсегда, что отныне я никогда более не увижу ее. Снова мне показалось, что можно и стоит снести все: терпеть унижения, быть посмешищем людей, совершить позорную измену, только бы быть подле этой женщины. Но чувства негодования, презрения, ненависти еще боролись в душе с любовью, и я проговорил глухо:

– Ты ругаешься над богами бессмертными. Ты презираешь гнев Олимпийцев. Смотри, чтобы страшной казнью не покарал Громовержец твоего предательства!

Тонкие ноздри Гесперии раздулись от гнева, жемчужины зубов сверкнули из-за кровавых губ, голова ее откинулась, и еще более строго и властно она произнесла:

– Так говорить я тебе не позволяю. Уходи немедленно. Более ты меня не увидишь никогда.

Гесперия сделала шаг, чтобы выйти из комнаты, но уже моя гордость была побеждена: я упал к ногам Гесперии, которые обнимал так часто, приник губами к ее сандалиям и в привычном самозабвении, не находя нужных слов, воскликнул:

– Нет, нет, Гесперия! Ни судить, ни упрекать тебя я не могу, потому что я, как и прежде, обожаю тебя, поклоняюсь тебе! Нигде, никогда, ни в бою, ни на ложе с другой женщиной, твой образ меня не покидал! Другой любви в моей душе не может быть, сколько бы ни суждено было мне бродить по этому миру! Прости мне мое безумие, оставь меня близ себя: иначе я не могу жить!

Гесперия попыталась отстранить меня, но я полз за ней по полу, цепляясь за край ее платья, и продолжал твердить свои клятвы и просьбы. Я говорил, что опять отдаю в ее распоряжение свою жизнь, свое тело, свои помыслы; что я по-прежнему буду ее слугою, ее рабом, ее вещью, что исполню каждое ее при-

казание, как бы страшно оно ни было; что я готов убить, кого она укажет, готов стоять на страже у дверей ее спальни, когда она будет на ложе с другим, готов принять ту веру, какую она укажет.

– Ты хочешь, чтобы я стал христианином, Гесперия?– спрашивал я. – Я завтра же признаю Распятого, буду посещать христианские храмы, буду молиться Христу, крещусь. И я ничего не требую взамен: только позволь мне порою смотреть на тебя, иногда говорить с тобою!

Я презирал себя, когда произносил эти слова, но говорить иначе не мог, и я умолял долго, а Гесперия долго отказывала мне безусловно, но потом стала уступать и, наконец, сказала:

– Если ты этого так хочешь, Юний, я попрошу императора: он милостив и даст тебе какую-нибудь должность при своей особе. Но помни: ты со мною будешь встречаться лишь при других. Ты не явился вовремя ко мне, предпочел делить ложе с твоей Реей, и все свои обещания я беру обратно. Теперь прощай.

Почти насильно она заставила меня выйти из дому, и я не знаю, когда мне было тяжелей: когда я шел к Гесперии или когда возвращался от нее.

## XV

Всю зиму я прожил после того при дворе узурпатора жизнью унылой и позорной.

Гесперия сдержала обещание, и император Максим назначил меня в свой комитат, в официю приемов. Я сопровождал нового Августа во всех его переездах, часто присутствовал на его выходах, жил вместе со схолой магистрианов, но вся моя работа сводилась к тому, что я писал или, точнее, переписывал, те редкие письма, которые отправлялись от имени императора. Такая должность была противна моим вкусам и не соответствовала моим познаниям, приближенные императора смотрели на меня свысока, а кроме того, меня удручало сознание, что я служу тирану, незаконно захватившему власть в моей родной стране.

Живя при дворе, я часто видел Гесперию, но, как она меня предупреждала, всегда в присутствии других лиц. Когда к Максиму

приехала его жена, Елена, уроженка Британнии, дочь богатого дукса Евдды, Гесперия была причислена к сопровождающим ее женщинам и почтительно исполняла свои обязанности, но ни для кого не было тайною, что душою Августа всецело владела прекрасная Римлянка. Во всех городах, которые мы посещали, Гесперия помещалась в отдельном доме, но император ежедневно посещал ее, часто приходил вечером и порою оставался до следующего дня. Говорили, что ничто в провинциях не делается без воли прекрасной Римлянки, что она поправляет все декреты Августа, и ее советами объясняли те мудрые меры, которые принимал Максим и до которых он сам, человек малоученый и простой, вряд ли мог бы додуматься.

При дворе строго соблюдались все правила христианской церкви, совершались долгие богослужения, христианские священники пользовались величайшим почетом, однако сам император вовсе не был набожен. Крещение он принял, по настоянию войска, всего за несколько дней перед тем, как открыто надел диадему, и в разных тонких различиях веро-

ваний был плохо осведомлен. Это не мешало Августу принять сторону последователей Афанасия против ариан, и в этом тоже видели настояния Гесперии, которая мстила арианам за то, что в свое время они недостаточно поддержали ее стремления. Я тоже постоянно присутствовал на службах в христианских храмах, хотя переменить веру меня не принуждали.

После кратковременного пребывания в Лугдуне мы переехали в Треверы, великолепный город, может быть, второй по красоте на Западе, поставивший свои широкие стены по холмам на берегу воспетой Авсонием Моселлы. Здесь, откуда еще недавно Валентиниан сильною рукою правил империей и где юный Грациан послушно внимал советам своего первого, мудрого наставника, Максим теперь стремился вполне утолить свою жажду величия и власти. В пышном дворце Валентиниана, одетый в пурпур, он принимал поклонение льстецов, наслаждался их падением ниц перед собою, их бесстыдным восхвалением его ума и его мощи, а по вечерам – буйными попойками с бывшими сотоварищами по ору-

жую, во время которых, как говорят, забывал о своей диадеме и вместе с другими пел непристойные песни, сложенные в лагерях. Мне передавали за достоверное, что в этих ночных пирах, не отличавшихся ни приличием, ни воздержанностью, принимала участие и Гесперия.

В Треверах нас посетил епископ Амбросий, как посол императрицы Юстины, приехавший, с комитом Бавтоном и братом императора Марцеллином, предложить мир от имени юного Валентиниана II: Юстина соглашалась признать Максима Августом и императором Галлий, Британний и Испаний с тем, чтобы Валентиниану были предоставлены провинции по другую сторону Альп. Максим принял епископа надменно, много дней заставил его ждать приема и, наконец, выслушав предложения, объявил, что Юстина и ее сын лично должны явиться в Треверы и отдаться под покровительство нового Августа, который лучше других сумеет оберечь их жизнь и достояние. Некоторые говорили, что Максим желал заманить в свои руки Валентиниана и погубить его, но я думаю, что узур-

патор хотел просто насытить свою гордость, заставив брата своего недавнего повелителя склониться у своих ног.

Мне случалось встречать Амбросия на улицах Треверов, по которым он ходил всегда без сопровождения, одетый скромно, с опущенными глазами. Но было в его походке величие, в чертах лица – непреклонная твердость, и я думаю, что не был прав Марк Рустик, когда уверял, что кончилась слава Медиоланского епископа: кровь Аврелиев не позволит ему долго оставаться в тени, и империя когда-нибудь еще почувствует вновь его тяжелую руку. То обстоятельство, что он, верный поборник учения Афанасия, принял на себя посольство от лица Юстины, ревностной защитницы ариан, показывает, что Амбросий готов схватиться за любой предлог, только бы снова выступить на арену общественных дел и стать посредником между императорами.

От Максима Амбросий уехал без определенного ответа, и произошло это, может быть, оттого, что гордость не позволила ему обратиться за поддержкой к Гесперии. Прекрасная Римлянка, как все ее у нас называли,

была при дворе всемогущей, во все вникала и обо всем успевала думать. Об одном только Гесперия как бы забыла совершенно – о моем существовании. Пренебрежительно отвечая на мои приветы, отвращая лицо от моих страстных взглядов, она за все мое пребывание в Треверах не удостоила меня разговором с собой. Только раза два она отдавала мне приказания, столь же спокойным голосом, как любому из воинов, и его спокойствие оскорбляло меня больше, чем гнев или укоры. Она держала себя со мною так, как если бы никогда мы не приближались друг к другу, как если бы никогда она не слушала благосклонно моих признаний, никогда не говорила мне сама о своей любви ко мне, никогда не припадала к моим губам страстными поцелуями. Порой, встречая холодный, недоумевающий взгляд Гесперии, останавливавший мои робкие попытки с ней заговорить, напомнить ей прошлое, высказать все томление моей души, я сам готов был думать, что это прошлое лишь приснилось мне, что Гесперия ничего не знает о моем безумном сне и всегда была для меня далекой и недоступной, как небожи-

тельница.

Мое время проходило в скучной и бесплодной работе, в общении с товарищами, которых занимали только попойки и посещение городских лупанаров и среди которых я не нашел ни одного, с кем мог бы сблизиться, наконец, в мучительном ожидании, что с Гесперией произойдет одно из чудесных изменений, свойственных ей, и она вдруг сама позовет меня к себе, скажет, что опять хочет быть со мною, опять меня любит. Незначительный магистриан, довольствующийся своим скудным жалованьем, так как я стыдился даже уведомить отца, где нахожусь, я влачил цепь безрадостных дней, не видя ничего лучшего и в будущем. Таково было уныние, владевшее мною, что я охладел и к книгам и, хотя в городе были хорошие библиотеки, по целым неделям не раскрывал ни одного свитка, не говоря уже о том, чтобы попытаться продолжать свое образование в местных риторических школах, поставленных, благодаря щедротам Грациана, на большую высоту.

Много раз я говорил себе, что такое существование недостойно меня, но у меня недо-

ставало воли разорвать с ним, покинуть двор Максима и навсегда расстаться с надеждою приблизиться к Гесперии. Как то было в Риме, так в Треверах, красота ее меня поработала: в свое время покинуть Рею мне было трудно потому, что ее ласки давали мне радость единственную; теперь покинуть Гесперию мне казалось еще труднее потому, что я испытывал ни с чем не сравнимый восторг, смешанный с жестоким мучением, глядя на нее, приближаясь к ней, ежедневно подвергаясь ее оскорблениям. Каждое утро я начинал сладостными мечтами о том, где сегодня я увижу Гесперию, и каждый вечер, вспоминая обиды, которые она с небрежным видом нанесла мне за день, я сжимал рукою сердце, порывисто бившееся не то от боли, не то от счастья.

Однако с каждым днем мне становилось все тяжелее длить мою позорную жизнь, и мое самолюбие все настойчивее повторяло мне, что так или иначе я ее изменить должен. После долгой борьбы с самим собою, после горьких раздумий в течение целых ночей и одиноких слез я, наконец, решился на половинную меру. Максим отправлял свое посоль-

ство к Юстине и Валентиниану, чтобы продолжить переговоры, начатые при посредстве Амбросия. Я попросил, чтобы меня назначили в это посольство, надеясь, что разлука с Гесперией успокоит мои чувства и даст мне силы принять твердое решение. Моя просьба была удовлетворена, и, в звании магистриана, я поехал, с другими членами посольства, в Медиолан, куда переселился юный брат Грациана.

Опять довелось мне совершить переезд через Альпы и, по мере того как мы подвигались вперед и вставали передо мною знакомые местности, словно какая-то шелуха спадала с моей души. В моей памяти вставали пережитые мною бурные и счастливые дни, удивительный, оставшийся мне непонятным образ Реи, картины битвы, в которой я участвовал, «схватки и бой, пролитие крови, людей истребление», странным мне стало казаться, что теперь я могу довольствоваться местом маленького служащего при сомнительном императоре, и честолюбие в моей душе начало брать верх над безнадежной любовью. «Нет, – говорил я себе, – лучше вести жизнь

безрадостную, но доблестную, лучше отречься от счастья навсегда, но быть полезным родине, чем изнывать в постыдном бездействии, скованным, как раб, цепями неразделенной страсти!» Встречая вновь людей, честно поклоняющихся богам предков, я чувствовал, что во мне возрождается вера в защиту бессмертных, и по ночам, наедине, я молил Олимпийцев помочь мне вернуться к настоящей жизни и набожно прочитывал молитвы, которым когда-то меня учила мать: «*Luam Saturni, Iurites Quirini, Heriem Iunonis...*»

В Медиолан мы приехали одновременно с новым Сенаторским посольством, во главе которого опять стоял Симмах. Римский Сенат, по смерти Грациана, решил сделать вторичную попытку добиться разрешения восстановить в Курии алтарь Победы, и вторично великий оратор взял на себя труд произнести перед юным императором речь в защиту древней Римской веры. Симмах узнал меня, когда мы с ним встретились на улице Медиолана, и дружески позвал меня к себе.

Словно чудодейственной водой, врачующей недуги души, была для меня приветли-

вость префекта, который принял меня как равного, несмотря на свое высокое положение и все возрастающую славу писателя. Умные речи Симмаха о современном положении дел, о новом распадении империи, об обязанностях каждого Римлянина в такие смутные дни были для меня целебным напитком, возбуждающим силы и желание бороться. Но, может быть, всего живительнее подействовали на меня рассказы Симмаха о жизни в Городе и о знакомых мне лицах.

Симмах сообщил мне, что мой дядя, Тибуртин, вновь принял в дом свою жену Меланию и ее дочь Аттузию, но сильно пал духом, окончательно предался радостям Бакха, так что почти не посещает заседаний Сената. Но работа тайного общества нисколько не прекратилась со времени отъезда Гесперии; напротив, можно даже сказать, что участники заговора добились значительных успехов: сам Симмах в этом году был префектом Города, Флавиан – префектом префектуры Италии, Претекстат назначен консулом. Таким образом три вождя общества сосредоточивали в своих руках власть над всей страной древнего

Рима, от Альп до Сикулийского моря, и могли действовать настойчиво на пользу своих замыслов. Симмах не надеялся на успех и второго посольства, но был уверен, что известие о нем произведет на население нужное впечатление и что его релация Валентиниану, которая будет обнародована, подготовит умы для будущего восстания против императоров, насильно заставляющих потомков Ромула служить иудейскому Христу.

Наш разговор невольно привел нас к имени Гесперии, и Симмах спросил меня, встречаюсь ли я с нею. Откровенно я рассказал то, что знал о положении Гесперии при Максиме, а также о ее мнимом обращении в христианство, добавив, что ее поведения и ее намерений я не понимаю. Симмах мне ответил задумчиво:

– Я, конечно, слышал о том, что ты мне рассказываешь. Но я тоже перестаю понимать нашу Гесперию. Она писала мне из Треверов, требуя, чтобы я верил в ее честность, хотя бы все улики были против нее. Сознаюсь тебе, что такую веру мне сохранить нелегко. Если ее поступки не переменятся, я боюсь,

что мне придется поступки не считать ее...

Симмах остановился и потом, с видимым усилием, договорил:

– ...считать ее за женщину, которая добивалась одного: разделять с кем-нибудь императорский престол.

Эти слова больно ударили меня по сердцу, и я еще долго помнил их звук, даже после того, как расстался с Симмахом.

К сожалению, мне не пришлось слышать речи Симмаха, которую он произнес в консistorии принцепса, перед юным императором, в присутствии Юстины, Амбросия, арианского епископа Авксенция и высших придворных чинов. Теперь, когда эта релация обнародована, мы все можем судить о поразительном блеске красноречия Симмаха и о неопровержимости его осторожных и скромных доводов, а я еще узнал в ней те же мысли, которые когда-то великий оратор высказывал в моем присутствии самому Амбросию, в его доме. Говорят, что Юстина, из ненависти к последователям Афанасия и из боязни волнений в Городе, была готова согласиться на просьбу Римского Сената, но Амбросий опять

одержал верх, повторяя свое излюбленное соображение, что должно истреблять все признаки поклонения идолам, хотя бы это грозило величайшими бедствиями, так как преследование Юпитера угодно Христу. «Истинное благочестие, – сказал опять епископ, – состоит в том, чтобы предпочитать небо – земле, блага вечные – выгодам сегодняшнего дня». Добавляют, что Амбросий даже пригрозил императору воспретить ему вход в храмы, если он сдастся на доводы Симмаха, и юный Валентиниан, испуганный такой угрозой и убежденный красноречием епископа, отказал Сенаторскому посольству в его просьбе. Оно должно было покинуть Медиолан, не добившись успеха.

Перед отъездом Симмаха я зашел к нему проститься и, помня его жестокие слова о Гесперии, а также думая о своем подозрительном положении при христианском дворе Максима, спросил:

– А мне, Симмах, веришь ли ты? Не считаешь меня за человека, ищущего только выгод? Не думаешь, что я изменил своей вере?

Симмах ответил мне, откровенно намекая

на мою страсть к Гесперии:

– Тебе, Юний, я верю, потому что понимаю тебя. Любовь извиняет все.

Слова такого человека, как Симмах, были для меня большим утешением, но сам я не все в своем поведении мог извинить любовью. Оторвавшись от Гесперии, от прямого очарования ее близости и ее непобедимой красоты, я получил способность рассуждать более здраво, а может быть, и благосклонные боги услышали мои мольбы и послали мне свою поддержку. К тому времени, когда наше посольство, добившись благоприятного ответа от Юстины, за спиной которой, конечно, стоял Восточный император Феодосий, собралось в обратный путь, – мое решение было принято. Я сказал себе окончательно, что должен покинуть Треверы, хотя бы это грозило мне вечной разлукой с Гесперией. Мать-Венера видела, как не легко было мне прийти к такому решению, но она же знает, что поступить иначе я не мог.

Сами боги словно хотели укрепить мою решимость, потому что в Треверах, когда я вернулся с посольством ко двору Максима, пер-

вое, что меня ждало, было письмо моего отца. Откуда-то узнав о моем местопребывании, отец воспользовался тем, что из Лакторы ехал в Треверы наш сосед и давний друг, которому можно было довериться, и послал мне как весть о себе, так и небольшое количество денег. Отец писал, чисто по-римски и сурово, что я унижаю славное имя Юниев Норбанов, служа узурпатору и врагу родины. Упомянув кратко, что моя мать захворала, узнав, где я и что делаю, отец строго приказывал мне немедленно покинуть двор Максима и вернуться к семье. Он добавлял, что обращается ко мне со своими приказаниями в последний раз и, если я им не подчинюсь, будет считать, что сына у него более нет.

В тот же день, – самый день моего возвращения из путешествия в Медиолан, – я написал письмо Гесперии, в котором извещал ее, что покидаю Треверы, и просил у нее позволения лично проститься с нею. Не знаю сам, что водило моим стилем, когда я поверял эту просьбу мягкому воску, но, вероятно, еще какая-то слабая искра надежды тлела под пеплом моего разуверения. Гесперия велела свое-

му рабу передать мне устно, что я могу прийти к ней, чтобы проститься, на другой день вечером.

Следующий день я потратил на то, чтобы получить свою отставку и позволение уехать, чего, впрочем, добился без затруднений. Но, беседуя со своими товарищами по официи о том, что случилось в Треверах во время моего отсутствия, я услышал новости, совершенно изменившие состояние моего духа. Подсмеиваясь, так как моя безнадежная страсть к прекрасной Римлянке была очевидна для всех, один из юных магистрианов рассказал мне, что у императора нашелся соперник, в лице его родного брата, красивого Марцеллина, служившего прежде при дворе Юстины в Сирмии и приехавшего к нам вместе с Амбросием. Заметили, что Гесперия оказывает исключительное внимание Марцеллину, и потом убедились, что он часто входит в дом прекрасной Римлянки тайно и долго остается наедине с нею.

Разумеется, я постарался скрыть свое волнение и ответил, что это все – пустые рассказы, которым не должно давать веры. Но, гово-

ря правду, я был этим сообщением уязвлен больше, чем всем обращением со мною Гесперии за весь год. Я мог терпеть ее холодность, когда она не любила никого другого и только из своих тайных расчетов открывала двери спальни перед императором, но мысль, что Гесперия предпочла мне другого, человека к тому же ничем не примечательного, зажгла всю мою душу факелом нестерпимой ревности. В тот вечер, отправляясь к Гесперии, я, не признаваясь самому себе, зачем это делаю, засунул за пояс кинжал, подаренный ею мне, с надписью: «Учись умирать!»

Прекрасная Римлянка жила в Треверах в маленьком доме, далеко уступавшем по роскоши убранства ее вилле в Городе на Холме Садов. Гесперия встретила меня высокомерно и с первых слов объявила мне, что может слушать меня лишь несколько минут, потому что позже ждет к себе императора. Я употребил все усилия, чтобы быть сдержанным, хотя вся кровь в моих жилах кипела, как над огнем, и сначала в почтительных выражениях объявил о своем решении уехать навсегда. Когда же Гесперия приняла мое сообщение

равнодушно и даже не осведомилась, куда я еду, я рассказал, что видел в Медиолане Симмаха, и передал свой разговор с ним. Глядя прямо в лицо женщины, я повторил отдельно и ясно его слова о Гесперии. Выслушав меня спокойно, она возразила:

– Если бы ты знал, до какой степени мне безразлично, что обо мне думает или не думает Симмах! Какое мне дело до того, верит он в меня или нет!

– Да, Гесперия, – сказал я, – тому, кто изменил вере отцов и своим друзьям, поневоле приходится пренебрегать чужим мнением.

– Ты опять начинаешь говорить дерзости, – воскликнула Гесперия. – Прекратим нашу беседу. Ты со мною простился, теперь уходи: я тебя предупредила, что жду императора.

– Не брата ли императора? – спросил я, чувствуя, что бледнею.

Гесперия встала с ложа и, опять приходя в гнев, кинула мне:

– Юний, ты снова забываешься! Ах, да! ты не в силах снести, что кого-то предпочли тебе! Что же делать, если твои боги, кроме красивого лица, не одарили тебя ничем иным!

Ты способен лишь на то, чтобы влюбляться в женщин и влюблять в себя тех, которые по-плоше, вроде старой девушки Валерии, или этой твоей Реи, любовью которой ты постоянно передо мною хвастался! Я предпочитаю мужчин, способных рассуждать и действовать, а ты волен на это сердиться!

– Так это правда о Марцелине? – спросил я, не зная, что говорю.

Гесперия посмотрела на меня презрительно и произнесла:

– Совершенная правда, но не беспокойся: если ты вздумаешь об ней доносить, я сделаю так, что тебя бросят в тюрьму, как клеветника.

Ответы Гесперии были подобны ударам бича по лицу, и мое сознание мутилось, Я переставал владеть своими чувствами и рассудком. Подступая близко к Гесперии, я сказал еще, весь дрожа:

– Да, это – твое дело: делать так, чтобы людей бросали в тюрьму, казнили, убивали. Из-за тебя я едва не погиб в медиоланском подземелье, из-за тебя умерла маленькая Намия, ты, может быть, собственноручно убила Юли-

ания! И люди и вера для тебя лишь ступени, по которым ты карабкаешься к императорскому престолу! Общая Эринния! Харибда, поглощающая людей! Медуза в красивом обличи! Предательница! клятвопреступница! продажная женщина!

Я был в исступлении, красный дым простирался перед моими глазами, голос Гесперии долетал до меня словно издалека, а она, направляясь к выходу из комнаты, говорила:

– Однако меня ты называл богиней и мои ноги целовал. Все твое благородство вытекает из того, что я своей цели достигла, а ты нет. Уступи я тебе сегодня, ты стал бы превозносить мою мудрость и решительность.

– Ты достигла своей цели? – воскликнул я. – Знаешь ли, быть наложницей сомнительного императора не то же, что быть Августой.

– Уходи, Юний! – тогда закричала мне Гесперия. – А то сейчас придет сюда тот самый Марцеллин и прикажет высечь тебя, как дерзкого мальчишку.

– Нет, ты его не дождешься сегодня! – крикнул в ответ я.

Уже во власти Фурий, я вытащил из-за поя-

са кинжал, заступил женщине дорогу и нанес удар. Я направлял лезвие в грудь Гесперии, но она невольно, при блеске клинка, заслонилась рукою и удар пришелся именно в верхнюю часть руки. Быстро кровь окрасила белую паллу Гесперии и потекла на разостланный по мраморному полу сирийский ковер.

Я видел, как Гесперия побледнела, но силы сразу покинули меня, и, выронив из рук кинжал, я стоял неподвижно и смотрел на женщину остановившимся взором. Так несколько мгновений мы стояли друг против друга, не произнося ни слова, Гесперия – с губами, сжатыми от боли, но не пытаюсь более защищаться, я – с ужасом и отчаянием в душе. Потом я упал на колени перед Гесперией и воскликнул со стоном:

– Гесперия! Гесперия! прости меня! Любовь сделала меня безумным! Пойми, что все та же богиня Венера направила мой удар, как прежде простирала мои руки к объятиям. Узнай из этого всю силу любви, которой ты пренебрегаешь.

Движением ноги Гесперия отстранила меня и прошептала тихо, сквозь зубы:

– Прочь, подлый! Мужества у тебя достаточно лишь для того, чтобы ударить исподтишка. Я тебя презираю.

Нетвердым шагом она вышла из комнаты, но крикнула мне из-за занавеси двери:

– Уходи сейчас же, или я прикажу схватить тебя и судить, как убийцу!

Некоторое время я оставался в комнате, не зная, должно ли мне идти за Гесперией, просить ее прощения и покорно отдаться в руки судей, или же просто повиноваться ее приказанию, уйти, скрыться. Наконец, почти бессознательно, я встал с колен и пошел к выходу. Никто меня не остановил, и я, выйдя из дома, медленно побрел через весь город.

Я был одним из последних, кому стражи позволили выйти за городские ворота. Я сел где-то на валу, под высокой стеной укрепления, и сидел там в сгущающемся сумраке. Внизу сверкала серебром Моселла, за рекою чернел сосновый бор.

Я думал:

«Кончилась моя так недавно начавшаяся и так быстро пролетевшая жизнь. Теперь, когда в ярком свете означалась передо мною вся

низость Гесперии, когда я понял, что ее сиренные слова были пышной ложью, прикрывавшей постыдное честолюбие, когда я измерил всю глубину бесстыдства ее души, не признающей ничего священного, – мне больше не во что верить. Да, Гесперию я называл богиней, и, как богине, я молился ей, видя в ней воплощение высших начал Римской души, и когда это все оказалось обманом, я более не верю, что жив вечный Рим и его великий дух. В короткое время я испытал водоворот страстей, видел ожесточенную борьбу за власть, наблюдал столкновение двух религий, оценил души людей. Что же я узнал? – Что везде, как о том давно говорят философы и поэты, побеждает тот, кто более коварен, кто в жертву честолюбию приносит честность, благородство, веру, кто не пренебрегает никакими средствами для достижения цели. Но еще я узнал, что в наши дни в буйном вихре случайностей, которыми правит слепая Фортуна, в беспорядочном столкновении разнородных помыслов, желаний, страстей, всегда выплывает на поверхность тот, кто искренно или лукаво связывает свое дело с именем Христа.

Умный и благородный Симмах тщетно добивается, всеми силами своего великого дарования, восстановить в общественном здании Города вынесенный из него алтарь. Мой дядя, Тибуртин, по-детски верующий в богов Олимпа, живет в унижении, обманутый женой, осмеянный товарищами. Мой милый Ремигий, истинный Римлянин лучших времен, кончает дни самоубийством. Маленькая Намия умирает. Даже низкий Юлианий, не за то ли, что он оставался приверженцем бессмертных, платит жизнью. А в то же время безвестная, безродная Реа, уча о втором пришествии Христа, подымает целые провинции, заставляет вести с собою всю империю подлинную войну. Максим, крестившись, достигает диадемы. Гесперия, отступив от веры предков, делит его престол. Амбросий стремится судить императоров. Даже отец Никодим блаженствует. Куда я ни взгляну, везде все то же: успех с теми, кто, как Константин, подымает знамение Христа со словами: „Сим победиши!“ Прав был отец Николай, когда говорил мне: „Мои стрелы не сразу убивают, но ты ранен и эту рану почувствуешь после“. Да, я

чувствую яд его Филоктетовой стрелы, разливающийся в моей крови. Древние боги уходят, уступая свое место на Олимпе более молодым, более деятельным, которые готовы занять золотые дома, построенные Вулканом. В леса и горы, в непроходимые пустыни, в бедные хижины уходят прежние Олимпийцы, вместе с моими дорогими старичками, новыми Филимоном и Бавкидою, доживающими свой век в Альпийской долине. Ничто не может устоять перед вихрем, повеявшим с невысокого холма Голгофы: этот ветер уже выбросил алтарь Победы из Курии, и он снесет златоверхие храмы Города, разрушит самый Рим, а может быть, и всю империю. Не пора ли и мне смириться пред этой победной бурей и понять, что никогда более не стоять алтарю Победы в Сенате, что навсегда склонилось знамя Римского легиона перед лабаром с именем Христа!»

Я продолжал сидеть на валу, в холоде и сырости ночи. На другой день я должен был уехать в родную Лактору, чтобы там, в затишье маленького городка, затаить боль кровавых ран, нанесенных мне жизнью, и горькое

разочарование в смелых мечтах моей миновавшей юности. Желание новой борьбы и новой жизни погасло во мне, словно убитое тем ударом, который я нанес Гесперии. Сквозь туман я смотрел на Восток, на ту страну, откуда приходят к нам светловолосые германцы, люди, как Меробавд и комит Балион, еще способные к решительным действиям и несущие с собою наивную веру во Христа, принимая которую, они не изменяли высоким заветам религии отцов. «Не оттуда ли, – подумал я еще, – придет и тот „варвар“, который, „увы, как победитель, наступит на прахи предков“? Не эти ли германцы, готовые разить и не расстающиеся с мечом даже за пиршественным столом, будут той мощной дланью, которая окончательно водрузит символ христианства над всем кругом земель? Старый Бренн! повтори свои надменные слова перед униженным Римом! Горе побежденным! Крест брошен на одну чашу весов, и всего золота мира недостаточно, чтобы перевесить его!».

# Повести и рассказы

## Под Старым мостом *Novelle semplice № 1*

*...Тогда густеет ночь, как хаос на водах,  
Беспмятство, как Атлас, давит душу...  
Лишь музы – девственную душу...  
В пророческих тревожат полуснах  
Тютчев*

**А**нтонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату, Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства, как мятежника.

Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей и переждать время отцовской немилости или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценностей,

ни денег, Антонио незаметно вышел из двorca и вмешался в толпу.

Столица была городом торговым, приморским; ее улицы всегда кипели народом, но Антонио недолго бродил бесцельно: он вспомнил, что теперь должен сам зарабатывать себе пропитание. Чтобы не быть узанным, он решился избрать самый черный труд, пошел на пристань и просил носильщиков принять его товарищем. Те согласились, и Антонио тотчас же принялся за работу. До вечера таскал он ящики и тюки и только после захода солнца отправился со своими товарищами на отдых.

Непривычная работа очень измучила Антонио. Плохой ужин, который ему предложили, и сон на голых досках не могли восстановить его сил. Наутро он поднялся уже с трудом, а после нового рабочего дня вернулся совсем больным. Две недели пролежал он в горячке. Носильщики, как умели, ухаживали за ним и держали его у себя за все время болезни.

Однако, когда Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть то-

варищество, так как оказался непостоянным на работе. Антонио и сам сознавал это. Он отказался от нескольких грошей, которые ему предлагали на дорогу, и снова пошел искать пристанища.

На этот раз положение Антонио было особенно тяжело. Изнуренное тело, дрожащие руки, лихорадочно горящие глаза не могли внушить доверия. Антонио все отказывали в работе: и лодочники на реке, и уличные торговцы, и сторожа у городской стены. Ночь Антонио провел на каменной скамейке под кладбищенской оградой и продрог от дорасветного холода; днем его начал мучить голод, и Антонио, наконец, принужден был продать свою одежду. Наряд, называвшийся во дворце простым, был роскошным для уличного бродяги. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего.

На деньги, вырученные от такой мены, Антонио мог утолить голод, но думы оставались мрачными. Приближалась ночь – опять холодная и сырая. Приступ вернувшейся болезни мучил Антонио. Почти бессознательно он покинул людную часть города и добрался до

окраины, где через реку был перекинут так называемый Старый мост.

Река бурлила, угрюмая и черная; загоравшиеся звезды боязливо трепетали на ее волнах. Но Антонио казалось, что река приветливее, чем город, шумевший вдали. «Нет, видно, я не способен к той жизни, на какую обрек себя, – думал Антонио, – стоит ли дожидаться медленной смерти».

Антонио спустился по крутому скату реки и стал на илистом берегу. В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обагрились; осветился даже суровый Старый мост. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо; вместе с тем ему послышался голос: «Надейся, не падай духом».

– В самом деле – сказал себе Антонио, – еще не все пропало. Мои деньги еще несколько дней не дадут мне умереть с голоду, а что касается до ночлега, то вот передо мной прекрасный даровой приют: свод этого гигантского моста.

Антонио направился к мосту столь твердо, насколько позволяла ему слабость. Сырой туман охватил Антонио под аркой, но все же

здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Антонио стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг что-то зашумело вблизи и какая-то белая тень мелькнула вдоль стены.

Антонио рассмотрел, что то была женская фигура.

– Послушайте, – сказал он, – вы напрасно убегаете, вам нечего бояться.

– А ты кто такой? – спросил его тихий голос.

– Бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста.

– Ты выследил меня?

Антонио не понял этих слов.

– Уверяю вас, – сказал он, – что мои слова – правда. А если и вы искали здесь пристанища, то, вероятно, нам хватит места обоим.

– Твой голос незнаком мне, – задумчиво сказала женщина, – а я было приняла тебя за черного Пьетро. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты и в самом деле пришел сюда случайно?

– Готов поклясться.

– И... – тут говорившая смешалась, – не бу-

дешь ночью тревожить меня?

– Сеньора! Честь женщины для меня дороже всего!

Эта придворная фраза вырвалась у Антонио невольно.

Изнемогая от усталости, он почти не знал, что говорил; голова у него кружилась, колени подгибались.

– Ну, хорошо, – сказала женщина, – так и быть, останемся оба... Помни только, что у меня есть нож... Ты можешь лечь вот здесь... нет, не сюда, правее... видишь вход?..

Антонио кое-как добрался до указанного ему места. То была глубокая ниша, врезавшаяся в стену моста наискось. В ней было тепло и даже почти не сыро. Антонио упал на камни, и тотчас же его охватило забытие.

Очнувшись утром при слабом желтоватом свете, проникшем в нишу, Антонио увидал, что к нему наклоняется молоденькая девушка. Лицо ее было худым и бледным, одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и из еще более жалкой разорванной юбки.

– Что, проснулся? – сказала девушка.

– Благодарю вас, – отвечал Антонио и хотел приподняться, но тотчас же снова упал со стоном.

– Да ты болен?

– Немного, – пробормотал Антонио, почти теряя сознание, – я был тяжело болен и очень устал вчера.

– Да ты, может быть, голоден, я принесу тебе хлеба.

– Нет, благодарю... не можете ли вы достать мне вина, это подкрепило бы мои силы... Вот у меня есть деньги.

– Как? ты богат! – изумилась девушка, увидя несколько серебряных монет, – хорошо, я куплю тебе вина...

Она убежала и скоро вернулась с несколькими оливками и бутылкой дешевого вина. Антонио отпил немного вина и съел одну маслину. Несколько оправившись, он приподнялся на своих камнях.

– Тебе нельзя сегодня ходить по ветру, – сказала девушка, – ты простудишься до смерти... Деньги у тебя есть, полежи здесь... или (прибавила она после некоторого колебания) – иди лучше ко мне: там теплее.

Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь на полу лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем. Антонио увидел в этом убежище подобие хозяйства – маленький котелок, таган, кружку.

– Лежи здесь до вечера, когда я приду, – уговаривала девушка, – здесь все найдется: вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.

– Скажите мне ваше имя, – просил Антонио.

– Зовут меня Марьэттой, – отвечала девушка, произнося по-простонародному имя Марии.

Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки.

Вечером вернулась Мария, продрогшая, усталая.

– Будем ужинать, – сказала она, – кстати, и комнату согреем.

Антонио смотрел, как Мария развела таган, кипятила воду и размачивала в ней хлеб.

– Скажите, чем вы занимаетесь? – спросил Антонио.

– Теперь прошу милостыню, – очень спокойно отвечала Мария.

Антонио показалось, что его сердце сжалось.

– Неужели, – заговорил он в волнении, – неужели вы не нашли других способов пропитания?.. Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.

– Видишь ли, – сказала она, обертываясь к нему всем лицом, – если будешь где-нибудь служить, к тебе будут приставать мужчины, а я этого не могу.

Помешивая хлеб в кипящей воде, Мария продолжала:

– Из этого все... Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца, так просто, из милости... Потом я подросла, стала работать... Подруги мои уж лет одиннадцати начинали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. Потом и ко мне стали приставать мужчины, так что и проходу не стало. Я убежала, попробовала в другом месте – и там то же... Вот я совсем и ушла, стала

прятаться – и сюда-то пробираюсь с опаской, чтобы кто не заметил... Ну, однако, у нас ужин готов, давай есть.

Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает.

Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.

– Ты спи здесь, – сказала она, – а я пойду на твое вчерашнее место.

– Нет, я не могу согласиться, – возражал Антонио, – там холоднее, там сыро. Я прошу вас, лягте здесь же; клянусь вам – я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду...

Мария после долгих сомнений согласилась, и эту ночь они провели почти на одной постели.

На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Силы к нему возвращались. Он позволил себе выйти из убежища и блуждал вдоль берега. По реке сновали лодки и тащились баржи, выше по набережной мелькали носилки и пешеходы. Город кипел жизнью, но Антонио чувствовал, что он уже не принадле-

жит этой жизни, что он вступает в какой-то новый причудливый мир.

В этот вечер они долго заговорились с Марией. Антонио все не мог примириться с ее занятием.

– Зато как свободно, – говорила Мария, – бредешь, куда хочешь; если есть хлеб, ничего не делаешь, уйдешь себе в поле – а главное, никому не обязана.

– Как никому, а тем, которые подают вам?

– Что ж, они с тем и дают, чтобы господь бог им вдесятеро возвратил.

Мария много рассказывала о своей прошлой жизни, о своих немногих знакомых, о своих скромных мечтах. И в эту ночь они спали рядом, как брат и сестра.

Еще через два-три дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Надо было ему опять позаботиться о своем пропитании. Снова начались поиски работы и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Его мучила мысль о том, как этот ужин добыт. Однако Мария предлагала его столь простодушно, что Антонио не решился отка-

зять. Впоследствии он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем.

Началась однообразная тихая жизнь, но полная какой-то странной прелести. Каждое утро и Антонио, и Мария выходили из своей норы. Мария шла в город, Антонио же за городской вал, на берег моря. Там он ложился на песок и целыми часами любовался на бег волн, отдаваясь своим грезам. В этих грезах все реже и реже мелькали пышные залы дворца и прежние друзья принца Антонио. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии.

С ней он встречался большею частью в сумерки. Она возвращалась в их общее жилище, принося с собой хлеб и немного овощей – дневное пропитание. Наступали часы общего разговора при свете углей под таганом. Передавались дневные впечатления, неудачи, смешные встречи. Звучал смех, и часы летели незаметно.

Иногда приходила к ним подруга Марии,

Лора. Она была не старше Марии, тоже лет 16–17-ти, но лицо ее было накрашено, а волосы дерзко взбиты. Прежде она стыдилась Марии, но с тех пор, как под Старым мостом поселился Антонио, стала самоувереннее. Она считала его возлюбленным Марии. Мария не оспаривала этого предположения и весело шутила со своей подругой; Антонио же не любил, когда Лора нарушала их одиночество.

Праздниками для Антонио были те дни, когда Мария находила, что у них денег много и можно отдохнуть. Тогда они вместе шли за город, на берег моря или через поле в лес. Там, выбрав уголок поуютнее, они располагались с незатейливым завтраком. Сначала болтали и смеялись, потом оба довольствовались тем, что их руки соединены, волоса касаются – и эти часы молчания были счастливейшими часами. Случалось, что их заставляла вечерняя роса, а Марии все не хотелось покинуть зеленый приют под вязом и снять свою головку с плеча Антонио.

Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе

прижимались друг к другу; в тесных объятиях они старались согреть коченеющие члены. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело, но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее.

А дни проходили, и небо стало более облачным. Солнце позже подымалось из-за леса и раньше закатывалось за океан. Марии поневоле приходилось больше оставаться с Антонио. Правда, через это случалось иной раз и голодать, но Антонио был счастлив, как ребенок.

Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решился и ждал случая. Этот случай настал в поздний осенний день.

Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услышал легкий стон и увидел вдали женскую тень. Антонио бросился навстречу.

Скоро он увидел, в чем дело. Высокий пле-

чистый старик нищий <одной рукой> удерживал Марию, а другой наносил ей удары.

– Я говорил тебе, – твердил он, – не смей нам мешать. Хочешь просить, иди к нам, а отдельно не смей.

Мария извивалась в его руках. Вот ей удалось выскользнуть, и в руке у нее сверкнуло лезвие. Но Антонио был уже перед стариком. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов.

– Уйди, Тони, уйди, – упрашивала Мария, – я справлюсь с ним.

Антонио отстранил ее. В гордой уверенной позе он продолжал ждать. Нищий быстро поднялся; он приближался со злобой, уже сжав мощные кулаки; свет от фонаря под воротами дома падал на лицо Антонио. Нищий сделал еще несколько шагов, но уже медленнее, потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь.

Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.

– Мария! милая! – твердил он, лаская ее дрожащие руки, – как ты мне дорога! Как я

люблю тебя. Я умер бы, если б с тобой что-нибудь случилось.

– Я тоже люблю тебя, очень люблю, – отвечала Мария и прижималась к нему с доверчивой лаской.

– Тогда мы счастливейшие люди на свете!

– Конечно, Тони, мы очень счастливы.

Антонио на минуту задумался.

– Теперь все решено, – заговорил он, – мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра мы пойдем вместе в часовню, и это будет нашим благословением на брак. Так ли, Мариэтта, невеста моя?

Но Мария отодвинулась от него – смущенно и печально.

– Что с тобой, дорогая? – спросил Антонио, – ведь мы любим друг друга? Возьмем же от любви все, что она может нам дать... Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, эта постель – ароматнейшим брачным ложем.

Мария плакала.

– Замолчи! замолчи! Ах, Тони! Неужели мы не были счастливы! Зачем ты – как все!

Антонио, увлекаемый страстью, целовал

ее волосы, молил ее о любви, со всем исступлением желания клялся в неизменности своего чувства, упрекал и тоже плакал и сжимал Марию жгучими объятиями. С усилием она вырвалась от него и скользнула к выходу. Антонио вдруг понял, что она уйдет навсегда, и бросился за ней. Он охватил ее колени, он весь дрожал, голос его прерывался.

– Мария, куда ты! Неужели ты можешь уйти от меня?

– Мне страшно, Тони... Я вернусь потом, право, вернусь... но мне страшно с тобой, Тони.

Теперь Антонио клялся, что все будет по-старому, что это был порыв, о котором надо поскорее забыть. Его слова были так нежны, дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. Она опять плакала на плече Антонио и осталась с ним. Утомленные волнениями и слезами, они скоро заснули, сжимая друг друга в целомудренных объятиях.

На другой день Антонио и Мария проснулись под неожиданный колокольный гул. Все церкви города гудели. Мария пошла узнать, в чем дело, и вернулась с потрясающим изве-

стием: старик король скончался.

На Антонио эта новость произвела странное впечатление: словно весть из земного мира для духа, уже прервавшего земные оковы.

«Итак, отец умер, – думал Антонио, – на престоле Марко, мой брат, мой личный враг».

Задумавшись, Антонио вмешался в толпу и незаметно зашел в людную половину города, куда попадал редко. Толпа теснилась к герольдам, возвещавшим новости из дворца. Антонио пробрался в первый ряд.

В это время по улице ехала маленькая карвалькада. Антонио узнал своего дядю, Онорио, с его свитой. Рядом с Онорио ехала молоденькая девушка. То была Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, но тотчас опомнился и хотел поспешно скрыться.

Онорио внезапно остановил свою лошадь и спрыгнул на землю. Толпа расступилась, и через минуту он уже настиг Антонио. Тот остановился, пораженный неожиданностью.

Онорио опустил на одно колено.

– Государь, – сказал он, – позвольте мне первому принести вам присягу в верности.

– Онорио! дядя! Что вы говорите! Вы губите себя самого, – воскликнул Антонио, совершенно потерявшись.

– Я знаю, что не ошибаюсь! – радостно промолвил Онорио и добавил, обращаясь к своей свите: – Трубите, вот ваш государь, Антонио III.

На рубище Антонио накинули пурпурную мантию, его посадили на коня и ввели в середину свиты.

Пока скакали ко дворцу, Онорио рассказывал важнейшие события последнего времени. Оказалось, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то и было причиной смерти старого короля.

Между тем уже давно ходили слухи, что принц в одежде нищего скрывается в столице. Отец-король, давно забывший свой гнев, приказывал разыскать сына, но это никому не удавалось.

Через пять минут уже были во дворце. Придворные склонялись перед Антонио; весть о его возвращении уже разнеслась по городу, и народ кричал приветствия, толпясь под стенами дворца.

Как сновидение, исчезла недавняя жизнь в трущобах столицы, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Это было опьянение властью и лестью, в котором погас бледный образ молоденькой девушки, проводившей ночи под сводом Старого моста.

А дни проходили. Уже воцарилась зима и уже прошла, и повеяло весной. Пронесся первый шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу мать и покровительницу. Онорио явно указывал на свою дочь.

Никто не замечал, что странная тоска теснила Антонио. Напрасно он старался забыть-ся то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало на троне, душа жаждала чего-то, искала – и вот среди ночи он услышал ответ, подсказанный воспоминаниями:

– Мария.

Была светлая весенняя ночь, когда кортеж из четырех человек, закутанных плащами,

выехал из дворца. Всадники направлялись к Старому мосту. На последнем повороте трое остановились, а один поскакал дальше. Это был король. С факелом в руках он стал спускаться по откосу.

Вот знакомая арка – вот желтая ниша – факел скрылся в ней; его свет задрожал на каменных плитах. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио и бросилась ему на грудь.

– Тони, ты вернулся. О, мой дорогой, мой милый! Как мог ты меня покинуть, о, какие ужасные месяцы, как страшно быть одной!

Говоря, она обвивала его шею руками. Антонио молчал, всматриваясь в ее глаза. Но вот Мария поразилась его одеянием.

– Тони! ты стал богатым? и ты все-таки не забыл своей Мариэтты.

– Идем со мной, – промолвил Антонио.

– Но куда?

– Разве ты боишься?

– С тобой – ничего.

Антонио завернул ее в плащ и увлек за собой. Четко раздавался топот коней по сонным

улицам, гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.

– Тони, но ведь это дворец?

По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Теперь Антонио обратился к своим молчаливым спутникам.

– Сеньоры! за ваше молчание мне отвечает ваша честь. В награду за вашу услугу можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам: на всей земле нет девушки более достойной этого.

Трое приближенных короля нерешительно склонились перед Марией.

– Тони, – пролепетала она, – что это все?

– Вы были правы, Мария, – отвечал король, – это дворец, Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствия. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой.

Мария хотела говорить, возражать, но король скрылся. Приходилось следовать за сеньором Джулио.

Нарядные прислужницы почтительно встретили Марию; видимо, они ожидали ее.

Взволнованная последними событиями, Мария как бы потеряла свою собственную волю и предоставила себя их распоряжению. Она не замечала ни полунасмешливых взглядов, ни злобных намеков.

Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопала в кружевах, опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе, и с трепетом ожидала чего-то. Но ее ночной покой не был нарушен, и под утро она заснула тревожным сном.

Часто бывал у Марии Онорио. Она любила его посещения: с ним с одним решалась она говорить откровенно, ему одному поверяла она свои тревоги.

Онорио участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения. Впрочем, он рассказывал, как возбуждены против нее и народ и знать, как тяжело будет ей жить, если она действительно выйдет замуж за короля. Мария просила совета; но хитрый придворный выбрал более удобную минуту, чтобы привести в исполнение свои замыслы.

Однажды, когда короля не было у Марии, Онорио засиделся особенно долго. В этот день Мария сильнее, чем когда-либо, чувствовала себя несчастной; ее страшило то, что она должна занять неподходящее ей место, и то, что вообще надо было решиться на такой шаг, как замужество. Мария говорила, что предпочла бы поступить в монастырь.

– Этого вам не позволит государь, – сказал Онорио, – вы говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы... Но если все, что вы рассказывали, сказано искренно, позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте – почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому, что не видит другого пути добиться вашей благосклонности. Будьте к нему снисходительнее, страсть пройдет, и вы избавитесь от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно – этого не потерпит народ. Уступите же желаниям своего государя, вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо.

– Лучше бы умереть, – сказала Мария.

Она разрыдалась, но Онорио говорил еще

долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, она верила, что другого исхода нет. Ночью она долго молилась и, наконец, решила последовать совету Онорио.

Марии пришлось еще пережить все пытки пышного обеда. Наконец, к вечеру она осталась одна в своей спальне – бросившись на постель, она стала плакать.

Прибыл король, горевший нетерпением видеть Марию. Но даже оставшись с ним наедине, Мария чувствовала себя несвободной.

– Развеселись, Мариэтта, – говорил король, – забудь перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони.

– Я не могу, государь, – отвечала Мария. – Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю.

– Ты моя невеста, Мария!

– Государь, умоляю вас, не принуждайте меня к этому.

– Что за пустяки, – воскликнул король, целуя ее. – Я понимаю, что ты когда-то отказывалась. Но теперь совсем иное дело, наш брак благословит церковь и даже сам папа.

Мария грустно смотрела вдаль.

– Ах, государь, – промолвила она, – боюсь, что вы будете обвинять меня, что нарочно вас мучаю. Но право же, я ничего не искала. Я во все не добиваюсь чего-нибудь... Я и так вас люблю...

– В самом деле? – сказал король, ближе и ближе привлекая к себе Марию, – сознаешься опять, что любишь меня. Ну, целуй же своего Тони, обними его, крепче, крепче.

Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятьями. Мария не сопротивлялась.

Луч денницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с Марией.

– Пусть сеньоры поступают как угодно, – говорил король, – через месяц – наша свадьба. Помни это, Мариэтта, жена моя.

Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. Когда Мария осталась одна, ею овладело бесконечное чувство стыда. Она закрывала глаза, ей хотелось незаметно умереть, перестать существовать.

В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Мария не слуша-

ла их намеки, но ей казалось невозможным жить после того, что произошло.

Среди своих приближенных Мария обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами. Воспользовавшись случаем, она отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать.

Слезы и мольбы тронули молодую девушку. Она достала Марии простую одежду и дала ей возможность выбраться из дворца. Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу.

Пробравшись к Старому мосту, Мария скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому, но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она только долго смотрела на темную нишу.

Потом Мария села на камне над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. С лодок окликали ее, над ней смеялись – она не слыхала.

Настал вечер, а затем ночь. Летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и Старый мост задремал.

Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись и тотчас сомкнулись снова.

Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии, грозил смертью всем ее приближенным и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Марьэтты.

Когда осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио, народу были устроены особенно пышные празднества. Всем раздавали хлеб, плоды и вино, по городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.

## Бемоль

### *Из жизни одной из малых сих*

Как только Анна Николаевна кончила пансион, ей подыскали место продавщицы в писчебумажном магазине «Бемоль». Почему магазин назывался так, сказать трудно: вероятно, прежде в нем продавались и ноты. Помещался магазин где-то на проезде бульвара, покупателей было мало, и Анна Николаевна целые дни проводила почти одна. Ее единственный помощник, мальчик Федька, с утра, после чая, заваливался спать, просыпался, когда надо было бежать в кухмистерскую за обедом, и после засыпал опять. Вечером на полчаса являлась хозяйка, старая немка Каролина Густавовна, обирала выручку и попрекала Анну Николаевну, что она не умеет завлекать покупателей. Анна Николаевна ее ужасно боялась и слушала, не смея произнести ни слова. Магазин запирали в девять; придя домой, к тетке, Анна Николаевна пила жидкий чай с черствыми баранками и тотчас ложилась спать.

Первое время Анна Николаевна думала развлекаться чтением. Она доставала, где только можно, романы и старые журналы и добросовестно прочитывала их страница за страницей. Но она путала имена героев в романах и не могла понять, зачем пишут о разных выдуманных Жаннах и Бланках и зачем описывают прекрасные утра, все одно на другое похожие. Чтение было для нее трудом, а не отдыхом, и она забросила книги. Уличные ухаживатели не очень надоедали Анне Николаевне, потому что не находили ее интересной. Если кто-нибудь из покупателей слишком долго говорил ей любезности, она уходила в каморку, бывшую при магазине, и высылала Федьку. Если с ней заговаривали, когда она шла домой, она, не отвечая ни слова, ускоряла шаги или просто бежала бегом до самого своего крыльца. Знакомых у нее не было, ни с кем из пансионных подруг она не переписывалась, с теткой не говорила и двух слов в сутки. Так проходили недели и месяцы.

Зато Анна Николаевна сдружилась с тем миром, который окружал ее, – с миром бумаги, конвертов, открытых писем, карандашей,

перьев, сводных, рельефных и вырезных картинок. Этот мир был ей понятнее, чем книги, и относился к ней дружественнее, чем люди. Она скоро узнала все сорта бумаги и перьев, все серии открытых писем, дала им названия, чтобы не называть номером, некоторые полюбила, другие считала своими врагами. Своим любимчикам она отвела лучшие места в магазине. Бумаге одной рижской фабрики, на которой были водяные знаки рыб, она отдала самую новую из коробок, края которой оклеила золотым бордюром. Сводные картинki, представлявшие типы древних египтян, убрала в особый ящик, куда, кроме них, клала только ручки с голубями на конце. Открытые письма, где изображался «путь к звезде», завернула отдельно в розовую бумагу и заклеила облаткой с незабудкой. Напротив, она ненавидела толстые стеклянные, словно сытые, чернильницы, ненавидела полосатые транспаранты, которые всегда кривились, словно насмехались, и свертки гофреной бумаги для абажуров, пышные и гордые. Эти вещи она прятала в самый дальний угол магазина.

Анна Николаевна радовалась, когда продавались любимые ею вещи. Только когда тот или другой сорт таких вещей подходил к концу, она начинала тревожиться и отваживалась даже просить Каролину Густавовну поскорее сделать новый запас. Однажды неожиданно распродалась партия маленьких весов для писем, которые шли плохо и которые Анна Николаевна полюбила за их бездоленность; последнюю штуку продала вечером сама хозяйка и не захотела выписывать их вновь. Анна Николаевна два дня после того проплакала. Когда же продавались вещи нелюбимые, Анна Николаевна сердилась. Когда брали целыми дюжинами отвратительные тетради с синими разводами на обертке или грубо отпечатанные открытые письма с портретами актеров, ей казалось, что ее любимцы оскорблены. Она в таких случаях так упорно отговаривала от покупки, что многие уходили из магазина, не купив ничего.

Анна Николаевна была убеждена, что все вещи в магазине ее понимают. Когда она перелистывала дести любимой бумаги, ее листы шуршали так приветливо. Когда она це-

ловала голубков на концах ручек, они трепетали своими деревянными крылышками. В тихие зимние дни, когда шел снег за заиндевевшим окном с некрасивыми кругами от ламп, когда за целые часы никто не входил в магазин, она вела длинные беседы со всем, что стояло на полках, что лежало в ящиках и коробках. Она вслушивалась в безмолвную речь и обменивалась улыбками и взглядами со знакомыми предметами. Таясь, она раскладывала на конторке свои любимые картинки – ангелов, цветы, египтян, – рассказывала им сказки и слушала их рассказы. Иногда все вещи пели ей хором чуть слышную, убаюкивающую песню. Анна Николаевна заслушивалась ею до того, что входящие покупатели зло усмехались, думая, что разбудили сонливую приказчицу.

Перед рождеством Анна Николаевна переживала тяжелые дни. Покупатели являлись особенно часто. Магазин был завален грудой картонажей, ярких, режущих глаза, безобразными хлопучками и золотыми рыбами в наскоро склеенных коробках. На стенах развешивались отрывные календари с портретами

великих людей. Былолюдно и неприятно. Но за лето Анна Николаевна отдыхала вполне. Торговля почти прекращалась, нередко день проходил без копейки выручки. Хозяйка уезжала из Москвы на целые месяцы. В магазине было пыльно и душно, но тихо. Анна Николаевна размещала повсюду свои любимые картинки, выставляла в витринах на первое место свои любимые карандаши, ручки и резинки. Из цветной папиросной бумаги она вырезывала тонкие ленты и обвивала ими стертые колонки шкапов. Она громким шепотом разговаривала со своими любимцами, рассказывала им про свое детство, про свою мать и плакала. И они, казалось ей, утешали ее. Так проходили месяцы и годы.

Анна Николаевна и не думала, что в ее жизни может что-нибудь измениться. Но однажды осенью, вернувшись в Москву особенно злой и сварливой, Каролина Густавовна объявила, что будет общий счет товара. В ближайшее воскресенье на дверь приклеили билетик с надписью, что «сегодня магазин закрыт». Анна Николаевна с тоской смотрела, как хозяйка жирными пальцами пересчитывает

вала ее избранные декалькомани, такие тонкие и изящные, загибая края, как она небрежно швыряла на прилавок заветные ручки с голубками. В товарной книге, исписанной осторожным и бледным почерком Анны Николаевны, хозяйка делала грубые отметки с рощерками и чернильными брызгами. Каролина Густавовна недосчиталась что-то многого: целых стоп бумаги, несколько grossов карандашей и разных отдельных вещей – стереоскопов, увеличительных стекол, рамок. Анна Николаевна была убеждена, что никогда и не видала их в магазине. Потом Каролина Густавовна высчитала, что выручка с каждым месяцем все уменьшается. Это она поставила на вид Анне Николаевне с бранью, назвала ее воровкой и сказала, что более не нуждается в ее службе, что отказывает ей от места.

Анна Николаевна ушла в слезах, не посмев возразить ни слова. Дома ей пришлось, конечно, выслушать брань и от тетки, которая то называла ее дармоедкой, то грозила, что подаст в суд на немку и не позволит оскорблять свою племянницу. Но Анну Николаевну не столько пугало, что она без места, и не

столько мучила несправедливость Каролины Густавовны, сколько была невыносима разлука с любимыми вещами из магазина. Анна Николаевна думала о рельефных ангелочках, качающихся на облаках, о головках Марии Стюарт, о бумаге со знаками рыб, о знакомых коробках и ящиках и рыдала без устали. Ей вспоминался предвечерний час, когда уже зажгли лампы, вспоминались ее безмолвные беседы с друзьями, чуть слышный хор, звучавший с полок, — и сердце надрывалось от отчаянья. При мысли, что ей больше никогда, никогда не придется свидеться со своими любимцами, она бросалась ничком на свою маленькую кровать и молила у бога смерти.

Месяца через полтора тетке посчастливилось найти Анне Николаевне новое место, тоже в писчебумажном магазине, но на бойкой, людной улице. Анна Николаевна отправилась на свою новую должность со щемящей тоской. Кроме нее, там служила еще одна барышня и молодой человек. Хозяин тоже большую часть дня проводил в магазине. Покупателей было много, так как поблизости было несколько учебных заведений. Весь день при-

ходилось быть на глазах других, подсмеивавшихся над Анной Николаевной и презиравших ее. Своих прежних любимцев она не нашла здесь. Все выписывалось через другие конторы от других фабрикантов. Бумага, карандаши, перья – все казалось здесь не живым. А если и было несколько таких же вещей, как в «Бемоли», то они не узнавали Анны Николаевны, и она напрасно, улучив минуту, им шептала их самые нежные имена.

Единственной радостью для Анны Николаевны стало подходить вечером, на пути домой, к окнам своего прежнего магазина, запиравшегося позже. Она всматривалась сквозь запыленные стекла в знакомую комнату. За прилавком стояла новая продавщица, смазливая немочка с буклями на лбу. Вместо Федьки был рослый парень лет пятнадцати. Покупатели выходили из магазина, смеясь: им было весело. Но Анна Николаевна верила, что ее знакомые картинки, ручки и тетрадки помнят ее и любят по-прежнему, и эта вера ее утешала.

Долго Анна Николаевна мечтала о том, чтобы войти еще раз внутрь магазина, по-

смотреть опять на старые шкафы и витрины, показать своим любимцам, что и она помнит их. Несколько раз она давала себе слово, что сделает это сегодня, и все не решалась, особенно боясь встретиться с хозяйкой. Но однажды вечером она увидела, что Каролина Густавовна вышла из магазина, взяла извозчика и уехала. Это придало Анне Николаевне смелости. Она отворила дверь и вошла с замиранием сердца. Немочка, с буклями на лбу, приготовила было очаровательную улыбку, но, рассмотрев покупательницу, удовольствовалась легким наклоном головы.

– Что вам угодно, мадемуазель?

– Дайте мне... дайте писчей бумаги...  
десть... с рыбами.

Немочка снисходительно улыбнулась, догадалась, что у нее спрашивают, и пошла к шкапу налево. Анна Николаевна с недоумением и тоской последовала за ней глазами. Прежде эта бумага хранилась в коробке с золотым бордюром. Но прежних коробок уже не было; вместо них были безобразные черные ящики с надписями: «№ 4-й 20 к.», «Министерская 40 к.». В шкапах на первое место были

выставлены стеклянные чернильницы. Груда гофренной бумаги занимала всю нижнюю полку. Открытые письма с портретами актеров были в виде веера прибиты там и сям к стенам. Все было передвинуто, перемещено, изменено.

Немочка положила перед Анной Николаевной бумагу, спрашивая, та ли это. Анна Николаевна с жадностью взяла в руки красивые листы, которые когда-то умели отвечать на ее ласки; но теперь они были жестки, как мертвецы, и так же бледны. Она тоскливо оглянулась кругом: все было мертво, все было глухо и немо.

– С вас тридцать пять копеек, мадемуазель.

Даже цена была изменена! Анна Николаевна уплатила деньги и вышла на холод, сжимая в руках свернутую трубочкой бумагу. Октябрьский ветер пронизывал ее сквозь короткое обносившееся пальто. Свет фонарей расплывался большими пятнами в тумане. Было холодно и безнадежно.

# Мраморная головка

## *Рассказ бродяги*

**Е**го судили за кражу и приговорили на год в тюрьму. Меня поразило и то, как этот старик держал себя на суде, и самая обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала он дичился меня, отмалчивался, наконец, рассказал мне свою жизнь.

– Вы правы, – начал он, – я видал лучшие дни, не всегда был уличным горемыкой, не всегда засыпал в ночлежных домах. Я получил образование, я – техник. У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно: каждый день на вечере, на балу, и все кончалось попойкой. Это время я помню хорошо, до мелочей помню. Но есть в моих воспоминаниях пробел, и, чтобы заполнить его, я готов отдать весь остаток моих дряхлых дней: это – все, что относится к Нине.

Ее звали Ниной, милостивый государь, да, Ниной, я убежден в этом. Она была замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали. Но как она умела в этой

жалкой обстановке быть изящной и как-то особенно утонченной! Она сама стряпала, но ее руки были как выточенные. Из своих дешевых платьев она создавала чудесный бред. Да и все повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим, стряхивал с себя, как дождь, всю житейскую пошлость.

Бог простит ей грех, что она любила меня. Кругом было все так грубо, что она не могла не полюбить меня, молодого, красивого, знавшего столько стихов наизусть. Но где я с ней познакомился и как – этого я уже не могу восстановить в своей памяти. Вырываются из мрака отдельные картины. Вот мы в театре. Она, счастливая, веселая (ей это выпадало так редко!), впивает каждое слово пьесы, улыбается мне... Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Она наклонила голову и говорит мне: «Я знаю, что ты – мое счастье ненадолго; пусть, – все-таки я жила». Эти слова я помню. Но что было тотчас после, да и правда ли, что все это было с Ниной? Не знаю.

Конечно, я первый бросил ее. Мне казалось это так естественно. Все мои товарищи

поступали так же: заводили интригу с замужней женщиной и, по прошествии некоторого времени, бросали ее. Я только поступил, как все, и мне даже на ум не приходило, что мой поступок дурен. Украсть деньги, не заплатить долг, сделать донос – это дурно, но бросить любовницу – только в порядке вещей. Передо мной была блестящая будущность, и я не мог связывать себя какой-то романтической любовью. Мне было больно, очень больно, но я пересилил себя и далее видел подвиг в том, что решился перенести эту боль.

Я слышал, что Нина после того уехала с мужем на юг и вскоре умерла. Но так как воспоминания о Нине все же были мне мучительны, я избегал тогда всяких вестей об ней. Я старался ничего не знать про нее и не думать об ней. У меня не осталось ее портрета, ее письма я ей возвратил, общих знакомых у нас не было – и вот постепенно образ Нины стерся в моей душе. Понимаете? – я понемногу пришел к тому, что забыл Нину, забыл совершенно, ее лицо, ее имя, всю нашу любовь. Стало так, как если бы ее совершенно не существовало в моей жизни... Ах, есть что-то по-

стыдное для человека в этой способности забывать!

Шли годы. Уж не буду вам рассказывать, как я «делал карьеру». Без Нины, конечно, я мечтал только о внешнем успехе, о деньгах. Одно время я почти достиг своей цели, мог тратить тысячи, жывал по заграницам, женился, имел детей. Потом все пошло на убыль; дела, которые я затеивал, не удавались; жена умерла; побившись с детьми, я их рассовал по родственникам и теперь, прости мне господи, даже не знаю, живы ли мои мальчишки. Разумеется, я пил и играл... Основал было я одну контору – не удалось, загубил на ней последние деньги и силы. Попытался поправить дела игрой и чуть не попал в тюрьму – да и не совсем без основания... Знакомые от меня отвернулись, и началось мое падение.

Понемногу дошел я до того, чем вы меня ныне видите. Я, так сказать, «выбыл» из интеллигентного общества и опустился на дно. На какое место мог я претендовать, одетый плохо, почти всегда пьяный? Последние годы служил я месяцами, когда не пил, на заводах

рабочим. А когда пил, – попадал на Хитров рынок и в ночлежки. Озлобился я на людей страшно и все мечтал, что вдруг судьба переменится и я буду опять богат. Наследства какого-то несуществующего ждал или чего-то подобного. Своих новых товарищей за то и презирал, что у них этой надежды не было.

Так вот однажды, продрогший и голодный, брожу я по какому-то двору, уж сам не знаю зачем, случай привел. Вдруг повар кричит мне: «Эй, любезный, ты не слесарь ли?» – «Слесарь», – отвечаю. Позвали меня замок в письменном столе исправить. Попал я в роскошный кабинет, везде позолота, картины. Поработал я, сделал, что надо, и выносит мне барыня рубль. Я беру деньги и вдруг вижу, на белой колонке, мраморную головку. Сначала обмер, сам не зная почему, всматриваюсь и верить не могу: Нина!

Говорю вам, милостивый государь, что Нину я забыл совсем и тут-то именно впервые это и понял: понял, что забыл ее. Вдруг выплыл предо мной ее образ, и целая вселенная чувств, мечтаний, мыслей, которая погребена была в моей душе, словно какая-то Атланти-

да, – пробудилась, воскресла, ожила... Смотрю я на мраморный бюст, сам дрожу и спрашиваю: «Позвольте узнать, сударыня, что это за головка?» – «А это, – отвечает она, – очень дорогая вещь, пятьсот лет назад сделана, в XV веке». Имя художника назвала, я не разобрал, сказала, что муж вывез эту головку из Италии и что через то целая дипломатическая переписка возникла между итальянским и русским кабинетами. «А что, – спрашивает меня барыня, – или вам понравилось? Какой у вас, однако, современный вкус! Ведь уши, – говорит, – не на месте, нос неправилен...» – и пошла! и пошла!

Выбежал я оттуда как в чад. Это не сходство было, а просто портрет, даже больше – какое-то воссоздание жизни в мраморе. Скажите мне, каким чудом художник в XV столетии мог сделать те самые маленькие, криво посаженные уши, которые я так знал, те самые чуть-чуть раскосые глаза, неправильный нос и длинный наклоненный лоб, из чего неожиданно получалось самое прекрасное, самое пленительное женское лицо? Каким чудом две одинаковые женщины могли

жить – одна в XV веке, другая в наши дни? А что та, с которой делалась головка, была именно одинакова, тождественна с Ниной, не только лицом, но и характером, и душой, я не мог сомневаться.

Этот день изменил всю мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения в прошлом, и всю глубину своего падения. Я понял Нину как ангела, посланного мне судьбой, которого я не признал. Вернуть прошлое невозможно. Но я с жадностью стал собирать воспоминания о Нине, как подбирают черепки от разбившейся драгоценной вазы. Как мало их было! Сколько я ни старался, я не мог составить ничего целого. Все были осколки, обломки. Но как ликовал я, когда мне удавалось обрести в своей душе что-нибудь новое! Задумавшись и вспоминая, я проводил целые часы; надо мной смеялись, а я был счастлив. Я стар, мне поздно начинать жизнь сызнова, но я еще могу очистить свою душу от пошлых дум, от злобы на людей и от ропота на создателя. В воспоминаниях о Нине я находил это очищение.

Страстно мне хотелось посмотреть на ста-

тую еще раз. Я бродил целые вечера около дома, где она стояла, стараясь увидеть мраморную головку, но она была далеко от окон. Я простаивал ночи перед домом. Я узнал всех живущих в нем, расположение комнат, завел знакомство с прислугой. Летом владельцы уехали на дачу. И я уже не мог более бороться с своим желанием. Мне казалось, что, взглянув еще раз на мраморную Нину, я сразу вспомню все, до конца. Это было бы для меня последним блаженством. И я решился на то, за что меня судили. Вы знаете, что мне не удалось. Меня схватили еще в передней. На суде выяснилось, что я был в комнатах под видом слесаря, что меня не раз замечали подле дома... Я был нищий, я взломал замки... Впрочем, история кончена, милостивый государь!

– Но мы подадим апелляцию, – сказал я, – вас оправдают.

– К чему? – возразил старик. – Никого мое осуждение не опечалит и не обесчестит, а не все ли равно, где я буду думать о Нине – в ночлежном доме или в тюрьме?

Я не нашелся, что ответить, но старик вдруг поднял на меня свои странные выцвет-

шие глаза и продолжал:

– Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было, а мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю историю этой любви, когда я смотрел на мраморную головку?

## **Республика Южного Креста**

### ***Статья в специальном № «Северо-Европейского вечернего вестника»***

За последнее время появился целый ряд описаний страшной катастрофы, постигшей Республику Южного Креста. Они поразительно разнятся между собой и передают немало событий, явно фантастических и невероятных. По-видимому, составители этих описаний слишком доверчиво относились к показаниям спасшихся жителей Звездного города, которые, как известно, все были поражены психическим расстройством. Вот почему мы считаем полезным и своевременным сделать здесь свод всех достоверных сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе.

Республика Южного Креста возникла со-

рок лет тому назад из греста сталелитейных заводов, расположенных в южнополярных областях. В циркулярной ноте, разосланной правительствам всего земного шара, новое государство выразило притязания на все земли, как материковые, так и островные, заключенные в пределах южнополярного круга, равно как на все части этих земель, выходящие из указанных пределов. Земли эти оно изъявляло готовность приобрести покупкой у государств, считавших их под своим протекторатом. Претензии новой Республики не встретили противодействия со стороны пятнадцати великих держав мира. Спорные вопросы о некоторых островах, всецело лежащих за полярным кругом, но тесно примыкавших к южнополярным областям, потребовали отдельных трактатов. По исполнении различных формальностей Республика Южного Креста была принята в семью мировых государств и представители ее аккредитованы при их правительствах.

Главный город Республики, получивший название Звездного, был расположен на самом полюсе. В той воображаемой точке, где

проходит земная ось и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши, и острие ее шпиля, подымавшегося над городской крышей, было направлено к небесному надиру. Улицы города расходились по меридианам от ратуши, а меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным кругам. Высота всех строений и внешность построек были одинаковы. Окон в стенах не было, так как здания освещались изнутри электричеством. Электричеством же освещались и улицы. Ввиду суровости климата над городом была устроена непроницаемая для света крыша, с могучими вентиляторами для постоянного обмена воздуха. Те местности земного шара знают в течение года лишь один день в шесть месяцев и одну долгую ночь, тоже в шесть месяцев, но улицы Звездного города были неизменно залиты ясным и ровным светом. Подобно этому, во все времена года температура на улицах искусственно поддерживалась на одной и той же высоте.

По последней переписи, число жителей Звездного города достигало 2 500 000 человек. Все остальное население Республики, исчис-

лявшееся в 50 000 000, сосредоточивалось вокруг портов и заводов. Эти пункты образовывали тоже миллионные скопления людей и по внешнему устройству напоминали Звездный город. Благодаря остроумному применению электрической силы, входы в местные гавани оставались открытыми весь год. Подвесные электрические дороги соединяли между собой населенные места Республики, перекидывая ежедневно из одного города в другой десятки тысяч людей и миллионы килограммов товара. Что касается внутренности страны, то она оставалась необитаемой. Перед взорами путешественников, в окно вагона, проходили только однообразные пустыни, совершенно белые зимой и поросшие скудной травой в три летних месяца. Дикие животные были давно истреблены, а человеку нечем было существовать там. И тем поразительнее была напряженная жизнь портовых городов и заводских центров. Чтобы дать понятие об этой жизни, достаточно сказать, что за последние годы около семи десятых всего металла, добываемого на земле, поступало на обработку в государственные заводы

Республики.

Конституция Республики, по внешним признакам, казалась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов, составлявшие около 60% всего населения. Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах была обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью. В их распоряжение, кроме прекрасных помещений и изысканного стола, предоставлены были разнообразные образовательные учреждения и увеселения: библиотеки, музеи, театры, концерты, залы для всех видов спорта и т. д. Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей, медицинская и юридическая помощь, отправление религиозных служений разных культов было государственной заботой. Широко обеспеченные в удовлетворении всех своих нужд, потребностей и даже прихотей, работники государственных заводов не получали никакого денежного вознаграждения, но семьи граждан,

прослуживших на заводе 20 лет, а также скончавшихся или лишившихся в годы службы работоспособности, получали богатую пожизненную пенсию с условием не покидать Республики. Из среды тех же работников, путем всеобщего голосования, избирались представители в Законодательную Палату Республики, ведавшую все вопросы политической жизни страны, без права изменять ее основные законы.

Однако эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов-учредителей бывшего треста. Предоставляя другим места депутатов в Палате, они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках Совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны. Они принимали все заказы и распределяли их по заводам; они приобретали материалы и машины для работы; они вели все хозяйство заводов. Через их руки проходили громадные суммы денег, считавшиеся миллиардами. Законодательная Палата лишь утверждала представляемые ей росписи приходов и расходов по управлению заводами, хотя ба-

ланс этих росписей далеко превышал весь бюджет Республики. Влияние Совета директоров в международных отношениях было громадно. Его решения могли разорить целые страны. Цены, устанавливаемые им, определяли заработок миллионов трудящихся масс на всей земле. В то же время влияние Совета, хотя и не прямое, на внутренние дела Республики всегда было решающим. Законодательная Палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли Совета.

Сохранением власти в своих руках Совет был обязан прежде всего беспощадной регламентации всей жизни страны. При кажущейся свободе жизнь граждан была нормирована до мельчайших подробностей. Здания всех городов Республики строились по одному и тому же образцу, определенному законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши, было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно, в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определенного часа,

возвещавшегося сигналом с ратуши, воспрещалось выходить из дома. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры Совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие Совет. Заводы были полны агентами Совета. При малейшем проявлении недовольства Советом агенты спешили на быстро собранных митингах страстными речами разубедить усомнившихся. Обезоруживающим доказательством служило, конечно, то, что жизнь работников в Республике была предметом зависти для всей земли. Утверждают, что в случае неуклонной агитации отдельных лиц Совет не брезгал политическим убийством. Во всяком случае, за все время существования Республики общим голосованием граждан не было избрано в Совет ни одного директора, враждебного членам-учредителям.

Население Звездного города состояло преимущественно из работников, отслуживших свой срок. То были, так сказать, государствен-

ные рантье. Средства, получаемые ими от государства, давали им возможность жить богато. Неудивительно поэтому, что Звездный город считался одним из самых веселых городов мира. Для разных антрепренеров и предпринимателей он был золотым дном. Знаменитости всей земли несли сюда свои таланты. Здесь были лучшие оперы, лучшие концерты, лучшие художественные выставки; здесь издавались самые осведомленные газеты. Магазины Звездного города поражали богатством выбора; рестораны – роскошью и утонченностью сервировки; притоны соблазняли всеми формами разврата, изобретенными древним и новым миром. Однако правительственная регламентация жизни сохранялась и в Звездном городе. Правда, убранство квартир и моды платья не были стеснены, но оставалось в силе воспрещение выхода из дому после определенного часа, сохранялась строгая цензура печати, содержался Советом обширный штат шпионов. Порядок официально поддерживался народной стражей, но рядом с ней существовала тайная полиция всеведущего Совета.

Таков был, в самых общих чертах, строй жизни в Республике Южного Креста и ее столице. Задачей будущего историка будет определить, насколько повлиял он на возникновение и распространение роковой эпидемии, приведшей к гибели Звездного города, а может быть, и всего молодого государства.

Первые случаи заболевания «противоречием» были отмечены в Республике уже лет 20 тому назад. Тогда болезнь имела характер случайных, спорадических заболеваний. Однако местные психиатры и невропатологи заинтересовались ею, дали ее подробное описание, и на состоявшемся тогда международном медицинском конгрессе в Лхассе ей было посвящено несколько докладов. Позднее ее как-то забыли, хотя в психиатрических лечебницах Звездного города никогда не было недостатка в заболевших ею. Свое название болезнь получила от того, что больные ею постоянно сами противоречат своим желанием, хотят одного, но говорят и делают другое. (Научное название болезни – *mania contradicens*). Начинается она обыкновенно с довольно сла-

бо выраженных симптомов, преимущественно в форме своеобразной афазии. Заболевший вместо «да» говорит «нет»; желая сказать ласковые слова, осыпает собеседника бранью и т. д. Большею частью одновременно с этим больной начинает противоречить себе и своими поступками: намереваясь идти влево, поворачивает вправо, думая поднять шляпу, чтобы лучше видеть, нахлобучивает ее себе на глаза и т. д. С развитием болезни эти «противоречия» наполняют всю телесную и духовную жизнь больного, разумеется, представляя бесконечное разнообразие, сообразно с индивидуальными особенностями каждого. В общем, речь больного становится непонятной, его поступки нелепыми. Нарушается и правильность физиологических отправлений организма. Сознывая неразумность своего поведения, больной приходит в крайнее возбуждение, доходящее часто до исступления. Очень многие кончают жизнь самоубийством, иногда в припадке безумия, иногда, напротив, в минуту душевного просветления. Другие погибают от кровоизлияния в мозг. Почти всегда болезнь приводит к летальному

исходу; случаи выздоровления крайне редки.

Эпидемический характер *mania contradicens* приняла в Звездном городе со средних месяцев текущего года. До этого времени число больных «противоречием» никогда не превышало 2% общего числа заболевших. Но это отношение в мае месяце (осеннем месяце в Республике) сразу возросло до 25% и все увеличивалось в следующие месяцы, причем с такой же стремительностью возрастало и абсолютное число заболеваний. В средних числах июня уже около 2% *всего населения*, т. е. около 50 000 человек, официально признавались больными «противоречием». Статистических данных позже этого времени у нас нет. Больницы переполнились. Контингент врачей быстро оказался совершенно недостаточным. К тому же сами врачи, а также и больничные служащие стали подвергаться тому же заболеванию. Очень скоро больным стало не к кому обращаться за врачебной помощью, и точная регистрация заболеваний стала невозможной. Впрочем, показания всех очевидцев сходятся на том, что в июле месяце нельзя было встретить се-

мы, где не было бы больного. При этом число здоровых неизменно уменьшалось, так как началась массовая эмиграция из города, как из зачумленного места, а число больных увеличивалось. Можно думать, что не далеки от истины те, кто утверждают, что в августе месяце все, оставшиеся в Звездном городе, были поражены психическим расстройством.

За первыми проявлениями эпидемии можно следить по местным газетам, заносившим их во все возрастающую у них рубрику: *mania contradicens*. Так как распознавание болезни в ее первых стадиях очень затруднительно, то хроника первых дней эпидемии полна комических эпизодов. Заболевший кондуктор метрополитэна вместо того, чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им. Уличный стражник, обязанностью которого было регулировать уличное движение, путал его в течение всего дня. Посетитель музея, ходя по залам, снимал все картины и поворачивал их к стене. Газета, исправленная рукой заболевшего корректора, оказывалась переполненной смешными нелепостями. В концерте больной скрипач вдруг нарушал ужаснейши-

ми диссонансами исполняемую оркестром пьесу – и т. д. Длинный ряд таких происшествий давал пищу остроумным выходкам местных фельетонистов. Но несколько случаев иного рода скоро остановили поток шуток. Первый состоял в том, что врач, заболевший «противоречием», прописал одной девушке средство, безусловно смертельное для нее, и его пациентка умерла. Дня три газеты были заняты этим событием. Затем две няньки в городском детском саду, в припадке «противоречия», перерезали горло сорок одному ребенку. Сообщение об этом потрясло весь город. Но в тот же день вечером из дома, где помещались городские милиционеры, двое больных выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до пятисот человек.

После этого все газеты, все общество закричали, что надо немедленно принять меры против эпидемии. Экстренное заседание соединенных Городского Совета и Законодательной Палаты порешило немедленно пригласить врачей из других городов и из-за границы, расширить существующие больницы,

открыть новые и везде устроить покои для изоляции заболевших «противоречием», напечатать и распространить в 500 000 экземплярах брошюру о новой болезни, где указывались бы ее признаки и способы лечения, организовать на всех улицах специальные дежурства врачей и их сотрудников и обходы частных квартир для оказания первой помощи и т. д. Постановлено было также отправлять ежедневно по всем дорогам поезда исключительно для больных, так как врачи признавали лучшим средством против болезни перемену места. Сходные мероприятия были в то же время предприняты различными частными ассоциациями, союзами и клубами. Организовалось даже особое «Общество для борьбы с эпидемией», члены которого скоро проявили себя действительно самоотверженной деятельностью. Но, несмотря на то, что все эти и сходные меры проводились с неутомимой энергией, эпидемия не ослабевала, но усиливалась с каждым днем, поражая равно стариков и детей, мужчин и женщин, людей работающих и пользующихся отдыхом, воздержных и распутных. И скоро все об-

щество было охвачено неодолимым, стихийным ужасом перед неслыханным бедствием.

Началось бегство из Звездного города. Сначала некоторые лица, особенно из числа выдающихся сановников, директоров, членов Законодательной Палаты и Городского Совета, поспешили выслать свои семейства в южные города Австралии и Патагонии. За ними потянулось случайное пришлое население – иностранцы, охотно съезжавшиеся в «самый веселый город южного полушария», артисты всех профессий, разного рода дельцы, женщины легкого поведения. Затем, при новых успехах эпидемии, кинулись и торговцы. Они спешно распродавали товары или оставляли свои магазины на произвол судьбы. С ними вместе бежали банкиры, содержатели театров и ресторанов, издатели газет и книг. Наконец, дело дошло и до коренных, местных жителей. По закону бывшим работникам был воспрещен выезд из Республики без особого разрешения правительства, под угрозой лишения пенсии. Но на эту угрозу уже не обращали внимания, спасая свою жизнь. Началось и дезертирство. Бежали служащие город-

ских учреждений, бежали чины народной милиции, бежали сиделки больниц, фармацевты, врачи. Стремление бежать, в свою очередь, стало манией. Бежали все, кто мог бежать.

Станции электрических дорог осаждались громадными толпами. Билеты в поездах покупались за громадные суммы и получались с бою. За места на управляемых аэростатах, которые могли поднять всего десяток пассажиров, платили целые состояния... В минуту отхода поезда врывались в вагоны новые лица и не уступали завоеванного места. Толпы останавливали поезда, снаряженные исключительно для больных, вытаскивали их из вагонов, занимали их койки и силой заставляли машиниста дать ход. Весь подвижной состав железных дорог Республики с конца мая работал только на линиях, соединяющих столицу с портами. Из Звездного города поезда шли переполненными; пассажиры стояли во всех проходах, отваживались даже стоять наружи, хотя, при скорости хода современных электрических дорог, это грозит смертью от задушения. Пароходные компании Австра-

лии, Южной Америки и Южной Африки несообразно нажились, перевозя эмигрантов Республики в другие страны. Не менее обогатились две Южные Компании аэростатов, которые успели совершить около десяти рейсов и вывезли из Звездного города последних, замедливших миллиардеров... По направлению к Звездному городу, напротив, поезда шли почти пустыми; ни за какое жалованье нельзя было найти лиц, согласных ехать на службу в столицу; только изредка отправлялись в зачумленный город эксцентричные туристы, любители сильных ощущений. Вычислено, что с начала эмиграции по 22 июня, когда правильное движение поездов прекратилось, по всем шести железнодорожным линиям выехало из Звездного города полтора миллиона человек, т. е. почти две трети всего населения. Своей предприимчивостью, силой воли и мужеством заслужил себе в это время вечную славу председатель Городского Совета Орас Дивиль. В экстренном заседании 5 июня Городской Совет по соглашению с Палатой и Советом директоров вручил Дивилью диктаторскую власть над городом с званием На-

чальника, передав ему распоряжение городскими суммами, народной милицией и городскими предприятиями. Вслед за этим правительственные учреждения и архив были вывезены из Звездного города в Северный порт. Имя Ораса Дивилья должно быть записано золотыми буквами среди самых благородных имен человечества. В течение полутора месяцев он боролся с возрастающей анархией в городе. Ему удалось собрать вокруг себя группу столь же самоотверженных помощников. Он сумел долгое время удерживать дисциплину и повиновение в среде народной милиции и городских служащих, охваченных ужасом перед общим бедствием и постоянно децимируемых эпидемией. Орасу Дивилью обязаны сотни тысяч своим спасением, так как благодаря его энергии и распорядительности им удалось уехать. Другим тысячам людей он облегчил последние дни, дав возможность умереть в больнице, при заботливом уходе, а не под ударами обезумевшей толпы. Наконец, человечеству Дивиль сохранил летопись всей катастрофы, так как нельзя назвать иначе краткие, но содержательные и точные телеграм-

мы, которые он ежедневно и по нескольку раз в день отправлял из Звездного города во временную резиденцию правительства Республики, в Северный порт.

Первым делом Дивиля, при вступлении в должность Начальника города, была попытка успокоить встревоженные умы населения. Были изданы манифесты, указывавшие на то, что психическая зараза легче всего переносится на людей возбужденных, и призывавшие людей здоровых и уравновешенных влиять своим авторитетом на лиц слабых и нервных. При этом Дивиль вошел в сношение с «Обществом для борьбы с эпидемией» и распределил между его членами все общественные места, театры, собрания, площади, улицы. В эти дни почти не проходило часа, чтобы в любом месте не обнаруживались заболевания. То там, то здесь замечались лица или целые группы лиц, своим поведением явно доказывающие свою ненормальность. Большей частью у больных, понявших свое состояние, являлось немедленное желание обратиться за помощью. Но, под влиянием расстроенной психики, это желание выражалось у них ка-

кими-нибудь враждебными действиями против близ стоящих. Больные хотели бы спешить домой или в лечебницу, но вместо этого испуганно бросались бежать к окраинам города. Им являлась мысль просить кого-нибудь принять в них участие, но вместо того они хватали случайных прохожих за горло, душили их, наносили им побои, иногда даже раны ножом или палкой. Поэтому толпа, как только оказывался поблизости человек, пораженный «противоречием», обращалась в бегство. В эти-то минуты и являлись на помощь члены «Общества». Одни из них овладевали больным, успокаивали его и направляли в ближайшую лечебницу; другие старались вразумить толпу и объяснить ей, что нет никакой опасности, что случилось только новое несчастье, с которым все должны бороться по мере сил.

В театрах и собраниях случаи внезапного заболевания очень часто приводили к трагическим развязкам. В опере несколько сот зрителей, охваченных массовым безумием, вместо того, чтобы выразить свой восторг певцам, ринулись на сцену и осыпали их побоя-

ми. В Большом Драматическом театре внезапно заболевший артист, который по роли должен был окончить самоубийством, произвел несколько выстрелов в зрительный зал. Револьвер, конечно, не был заряжен, но под влиянием нервного напряжения у многих лиц в публике обнаружилась уже таившаяся в них болезнь. При происшедшем смятении, в котором естественная паника была усилена «противоречивыми» поступками безумцев, было убито несколько десятков человек. Но всего ужаснее было происшествие в Театре Фейерверков. Наряд городской милиции, назначенный туда для наблюдения за безопасностью от огня, в припадке болезни поджег сцену и те вуали, за которыми распределяются световые эффекты. От огня и в давке погибло не менее 200 человек. После этого события Орас Дивиль распорядился прекратить все театральные и музыкальные исполнения в городе.

Громадную опасность для жителей представляли грабители и воры, которые при общей дезорганизации находили широкое поле для своей деятельности. Уверяют, что иные из

них прибывали в это время в Звездный город из-за границы. Некоторые симулировали безумие, чтобы остаться безнаказанными. Другие не считали нужным даже прикрывать открытого грабежа притворством. Шайки разбойников смело входили в покинутые магазины и уносили более ценные вещи, врываются в частные квартиры и требовали золота, останавливали прохожих и отнимали у них драгоценности, часы, перстни, браслеты. К грабёжам присоединились насилия всякого рода, и прежде всего насилия над женщинами. Начальник города высылал целые отряды милиции против преступников, но те отваживались вступать в открытые сражения. Были страшные случаи, когда среди грабителей или среди милиционеров внезапно оказывались заболевшие «противоречием», обращавшие оружие против своих товарищей. Арестованных грабителей Начальник сначала высылал из города. Но граждане освобождали их из тюремных вагонов, чтобы занять их место. Тогда Начальник принужден был приговаривать уличенных разбойников и насильников к смерти. Так, после почти трехвекового пере-

рыва, была возобновлена на земле открытая смертная казнь.

В июне в городе стала сказываться нужда в предметах первой необходимости. Недоставало жизненных припасов, недоставало медикаментов. Подвоз по железной дороге начал сокращаться; в городе же почти прекратились всякие производства. Дивиль организовал городские хлебопекарни и раздачу хлеба и мяса всем жителям. В городе были устроены общественные столовые по образцу существовавших на заводах. Но невозможно было найти достаточного числа работающих для них. Добровольцы-служащие трудились до изнеможения, но число их уменьшалось. Городские крематории пылали круглые сутки, но число мертвых тел в покойницких не убывало, а возрастало. Начали находить трупы на улицах и в частных домах. Городские центральные предприятия по телеграфу, телефону, освещению, водопроводу, канализации обслуживались все меньшим и меньшим числом лиц. Удивительно, как Дивиль успевал всюду. Он за всем следил, всем руководил. По его сообщениям можно подумать, что он

не знал отдыха. И все спасшиеся после катастрофы свидетельствуют единогласно, что его деятельность была выше всякой похвалы.

В середине июня стал чувствоваться недостаток служащих на железных дорогах. Не было машинистов и кондукторов, чтобы обслуживать поезда. 17 июня произошло первое крушение на Юго-Западной линии, причиной которого было заболевание машиниста «противоречием». В припадке болезни машинист бросил весь поезд с пятисаженной высоты на ледяное поле. Почти все ехавшие были убиты или искалечены. Известие об этом, доставленное в город со следующим поездом, было подобно удару грома. Тотчас был отправлен санитарный поезд. Он привез трупы и изувеченные полуживые тела. Но к вечеру того же дня распространилась весть, что аналогичная катастрофа разразилась и на Первой линии. Два железнодорожных пути, соединяющих Звездный город с миром, оказались испорченными. Были посланы и из города и из Северного порта отряды для исправления путей, но работа в тех странах почти невозможна в зимние месяцы. Пришлось отказаться от на-

дежды восстановить в скором времени движение.

Эти две катастрофы были лишь образцами для следующих. Чем с большей тревогой брались машинисты за свое дело, тем вернее в болезненном припадке они повторяли проступок своих предшественников. Именно потому, что они боялись, как бы не погубить поезда, они губили его. За пять дней от 18 по 22 июня семь поездов, переполненных людьми, было сброшено в пропасть. Тысячи людей нашли себе смерть от ушибов и голода в снежных равнинах. Только у очень немногих достало сил вернуться в город. Вместе с тем все шесть магистралей, связывающих Звездный город с миром, оказались испорченными. Еще раньше прекратилось сообщение аэростатами. Один из них был разгромлен разъяренной толпой, которая негодовала на то, что воздушным путем пользуются лишь люди особенно богатые. Все другие аэростаты, один за другим, потерпели крушение, вероятно по тем же причинам, которые приводили к железнодорожным катастрофам. Население города, доходившее в то время до 600 000 че-

ловек, оказалось отрезанным от всего человечества. Некоторое время их связывала только телеграфная нить.

21 июня остановилось движение по городскому метрополитэну ввиду недостатка служащих. 26 июня была прекращена служба на городском телефоне. 27 июня были закрыты все аптеки, кроме одной центральной. 1 июля Начальник издал приказ всем жителям переселиться в Центральную часть города, совершенно покинув периферии, чтобы облегчить поддержание порядка, распределение припасов и врачебную помощь. Люди покидали свои квартиры и поселялись в чужих, оставленных владельцами. Чувство собственности исчезло. Никому не жаль было бросить свое, никому не странно было пользоваться чужим. Впрочем, находились еще мародеры и разбойники, которых скорее можно было признать психопатами. Они еще продолжали грабить, и в настоящее время в пустынных залах обезлюдивших домов открывают целые клады золота и драгоценностей, около которых лежит полусгнивший труп грабителя.

Замечательно, однако, что при всеобщей

гибели жизнь сохраняла свои прежние формы. Еще находились торговцы, которые открывали магазины, продавая – почему-то по невероятным ценам – уцелевшие товары: лакомства, цветы, книги, оружие... Покупатели, не жалея, бросали ненужное золото, а скряги-купцы прятали его, неизвестно зачем. Еще существовали тайные притоны – карт, вина и разврата, – куда убегали несчастные люди, чтобы забыть ужасную действительность. Больные смешивались там со здоровыми, и никто не вел хроники ужасных сцен, происходивших там. Еще выходили две-три газеты, издатели которых пытались сохранить значение литературного слова в общем разгроме. №№ этих газет, уже в настоящее время перепродающиеся в десять и двадцать раз дороже настоящей своей стоимости, должны стать величайшими библиографическими редкостями. В этих столбцах текста, написанных среди господствующего безумия и набранных полусумасшедшими наборщиками, – живое и страшное отражение всего, что переживал несчастный город. Находились репортеры, которые сообщали «городские происшествия»,

писатели, которые горячо обсуждали положение дел, и даже фельетонисты, которые пытались забавлять в дни трагизма. А телеграммы, приходившие из других стран, говорившие об истинной, здоровой жизни, должны были наполнять отчаяньем души читателей, обреченных на гибель.

Делались безнадежные попытки спастись. В начале июля громадная толпа мужчин, женщин и детей, руководимая неким Джоном Дью, решила идти пешком из города в ближайшее населенное место, Лёндонтоун. Дивиль понимал безумие их попытки, но не мог остановить их, и сам снабдил теплой одеждой и съестными припасами. Вся эта толпа, около 2000 человек, заблудилась и погибла в снежных полях полярной страны, среди черной, шесть месяцев не рассветающей ночи. Некто Уайтинг начал проповедовать иное, более героическое средство. Он предлагал умертвить всех больных, полагая, что после этого эпидемия прекратится. У него нашлось немало последователей, да, впрочем, в те темные дни самое безумное, самое бесчеловечное предложение, сулящее избавление,

нашло бы сторонников. Уайтинг и его друзья рыскали по всему городу, врываются во все дома и истребляли больных. В больницах они совершали массовые избиения. В исступлении убивали и тех, кого только можно было заподозрить, что он не совсем здоров. К идейным убийцам присоединились безумные и грабители. Весь город стал ареной битв. В эти трудные дни Орас Дивиль собрал своих сотрудников в дружину, одушевил их и лично повел на борьбу со сторонниками Уайтинга. Несколько суток продолжалось преследование. Сотни человек пали с той и с другой стороны. Наконец, был захвачен сам Уайтинг. Он оказался в последней стадии *mania contradicens*, и его пришлось вести не на казнь, а в больницу, где он вскоре и скончался.

8 июля городу был нанесен один из самых страшных ударов. Лица, наблюдавшие за деятельностью центральной электрической станции, в припадке болезни поломали все машины. Электрический свет прекратился, и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак. Так как в го-

роде не пользовались никаким другим освещением и никаким другим отоплением, кроме электричества, то все жители оказались в совершенно беспомощном положении. Дивиль предвидел такую опасность. Им были заготовлены склады смоляных факелов и топлива. Везде на улицах были зажжены костры. Жителям факелы раздавались тысячами. Но эти скудные светочи не могли озарить гигантских перспектив Звездного города, тянувшихся на десятки километров прямыми линиями, и грозной высоты тридцатиэтажных зданий. С наступлением мрака пала последняя дисциплина в городе. Ужас и безумие окончательно овладели душами. Здоровые перестали отличаться от больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей.

С поразительной быстротой обнаружилось во всех падение нравственного чувства. Культурность, словно тонкая кора, выросшая за тысячелетия, спала с этих людей, и в них обнажился дикий человек, человек-зверь, каким он, бывало, рыскал по девственной земле. Утратилось всякое понятие о праве – признавалась только сила. Для женщин един-

ственным законом стала жажда наслаждений. Самые скромные матери семейства вели себя как проститутки, по доброй воле переходя из рук в руки и говоря непристойным языком домов терпимости. Девушки бегали по улицам, вызывая, кто желает воспользоваться их невинностью, уводили своего избранника в ближайшую дверь и отдавались ему на неизвестно чьей постели. Пьяницы устраивали пиры в разоренных погребках, не стесняясь тем, что среди них валялись неубранные трупы. Все это постоянно осложнялось припадками господствующей болезни. Жалко было положение детей, брошенных родителями на произвол судьбы. Одних насиловали гнусные развратники, других подвергали пыткам поклонники садизма, которых внезапно нашлось значительное число. Дети умирали от голода в своих детских, от стыда и страданий после насилий; их убивали нарочно и нечаянно. Утверждают, что нашлись изверги, ловившие детей, чтобы насытить их мясом свои проснувшиеся людоедские инстинкты.

В этот последний период трагедии Орас Дивиль не мог, конечно, помочь всему насе-

лению. Но он устроил в здании Ратуши приют для всех, сохранивших разум. Входы в здание были забаррикадированы и постоянно охранялись стражей. Внутри были заготовлены запасы пищи и воды для 3000 человек на сорок дней. Но с Дивилем было всего 1800 человек мужчин и женщин. Разумеется, в городе были и еще лица с непомятым сознанием, но они не знали о приюте Дивиля и таились по домам. Многие не решались выходить на улицу, и теперь в некоторых комнатах находят трупы людей, умерших в одиночестве от голода. Замечательно, что среди запершихся в Ратуше было очень мало случаев заболевания «противоречием». Дивиль умел поддерживать дисциплину в своей небольшой общине. До последнего дня он вел журнал всего происходящего, и этот журнал, вместе с телеграммами Дивиля, служит лучшим источником наших сведений о катастрофе. Журнал этот найден в тайном шкафу Ратуши, где хранились особо ценные документы. Последняя запись относится к 20 июля. Дивиль сообщает в ней, что обезумевшая толпа начала штурм Ратуши и что он принужден отби-

вать нападение залпами из револьверов. «На что я надеюсь, – пишет Дивиль, – не знаю. Помощи раньше весны ждать невозможно. До весны прожить с теми запасами, какие в моем распоряжении, невозможно. Но я до конца исполню мой долг». Это последние слова Дивилья. Благородные слова!

Надо полагать, что 21 июля толпа взяла Ратушу приступом и что защитники ее были перебиты или рассеялись. Тело Дивилья пока не разыскано. Сколько-нибудь достоверных сообщений о том, что происходило в городе после 21 июля, у нас нет. По тем следам, какие находят теперь при расчистке города, надо полагать, что анархия достигла последних пределов. Можно представить себе полутемные улицы, озаренные заревом костров, сложенных из мебели и из книг. Огонь добывали ударами кремня о железо. Около костров дико веселились толпы сумасшедших и пьяных. Общая чаша ходила кругом. Пили мужчины и женщины. Тут же совершались сцены скотского сладострастия. Какие-то темные, атавистические чувства оживали в душах этих городских обитателей, и, полунагие, немые,

нечесанные, они плясали хороводами пляски своих отдаленных пращуров, современников пещерных медведей, и пели те же дикие песни, как орды, нападавшие с каменными топорами на мамонта. С песнями, с бессвязными речами, с идиотским хохотом сливались выкрики безумия больных, которые теряли способность выражать в словах даже свои бредовые грезы, и стоны умирающих, корчившихся тут же, среди разлагающихся трупов. Иногда пляски сменялись драками – за бочку вина, за красивую женщину или просто без повода, в припадке сумасшествия, толкавшего на бессмысленные, противоречивые поступки. Бежать было некуда: везде были те же сцены ужаса, везде были оргии, битвы, зверское веселие и зверская злоба – или абсолютная тьма, которая казалась еще более страшной, еще более нестерпимой потрясенному воображению.

В эти дни Звездный город был громадным черным ящиком, где несколько тысяч еще живых, человекоподобных существ были закинуты в смрад сотен тысяч гниющих трупов, где среди живых уже не было ни одного, кто

сознавал свое положение. Это был город безумных, гигантский дом сумасшедших, величайший и отвратительнейший Бедлам, какой когда-либо видела земля. И эти сумасшедшие истребляли друг друга, убивая кинжалами, перегрызая горло, умирали от безумия, умирали от ужаса, умирали от голода и от всех болезней, которые царствовали в зараженном воздухе.

Само собой разумеется, что правительство Республики не оставалось равнодушным зрителем жестокого бедствия, постигшего столицу. Но очень скоро пришлось отказаться от всякой надежды оказать помощь. Врачи, сестры милосердия, военные части, служащие всякого рода решительно отказывались ехать в Звездный город. После прекращения рейсов электрических дорог и управляемых аэростатов прямая связь с городом утратилась, так как суровость местного климата не позволяет иных путей сообщения. К тому же все внимание правительства скоро обратилось на случаи заболевания «противоречием», которые стали обнаруживаться в других городах Рес-

публики. В некоторых из них болезнь тоже грозила принять эпидемический характер, и начиналась общественная паника, напоминая события в Звездном городе. Это повело к эмиграции жителей из всех населенных пунктов Республики. Работы на всех заводах были остановлены, и вся промышленная жизнь страны замерла. Однако благодаря решительным мерам, принятым вовремя, в других городах эпидемию удалось остановить, и нигде она не достигла до тех размеров, как в столице.

Известно, с каким тревожным вниманием весь мир следил за несчастиями молодой Республики. Вначале, когда никто не ожидал, до каких невероятных размеров разрастется бедствие, господствующим чувством было любопытство. Выдающиеся газеты всех стран (в том числе и наш «Северо-Европейский Вечерний Вестник») отправили специальных корреспондентов в Звездный город – сообщать о ходе эпидемии. Многие из этих храбрых рыцарей пера сделали жертвой своего профессионального долга. Когда же стали приходить вести угрожающего характера,

правительства различных государств и частные общества предложили свои услуги правительству Республики. Одни отправили свои войска, другие сформировали кадры врачей, третьи несли денежные пожертвования, но события шли с такой стремительностью, что большая часть этих начинаний не могла быть исполнена. После прекращения железнодорожного сообщения со Звездным городом единственными сведениями о жизни в нем были телеграммы Начальника. Эти телеграммы немедленно рассылались во все концы земли и расходились в миллионах экземпляров. После поломки электрических машин телеграф действовал еще несколько дней, так как на станции были заряженные аккумуляторы. Точная причина, почему телеграфное сообщение совершенно прекратилось, неизвестна: может быть, были испорчены аппараты. Последняя телеграмма Ораса Дивиля помечена 27 июня. С этого дня в течение почти полутора месяцев все человечество оставалось без вестей из столицы Республики.

В течение июля было сделано несколько

попыток достигнуть до Звездного города по воздуху. В Республику было доставлено несколько новых аэростатов и летательных машин. Однако долгое время все попытки преследовала неудача. Наконец, аэронавту Томасу Билли посчастливилось долететь до несчастного города. Он подобрал на крыше города двух человек, давно лишенных рассудка и полумертвых от стужи и голода. Через вентиляторы Билли видел, что улицы погружены в абсолютный мрак, и слышал дикие крики, показывавшие, что в городе есть еще живые существа. В самый город Билли не решился спуститься. В конце августа удалось восстановить одну линию электрической железной дороги до станции Лиссис, в ста пяти километрах от города. Отряд хорошо вооруженных людей, снабженных припасами и средствами для оказания первой помощи, вошел в город через Северо-Западные ворота. Этот отряд, однако, не мог проникнуть дальше первых кварталов вследствие страшного смрада, стоявшего в воздухе. Пришлось подвигаться шаг за шагом, очищая улицы от трупов, оздоравливая воздух искусственными

средствами. Все люди, которых встречали в городе живыми, были невменяемы. Они походили на диких животных по своей свирепости, и их приходилось захватывать силой. Наконец, к середине сентября удалось организовать правильное сообщение со Звездным городом и начать систематическое восстановление его.

В настоящее время большая часть города уже очищена от трупов. Электрическое освещение и отопление восстановлено. Остаются не занятыми лишь американские кварталы, но полагают, что там нет живых существ. Всего спасено до 10 000 человек, но большая часть их является людьми неизлечимо расстроенными психически. Те, которые более или менее оправляются, очень неохотно говорят о пережитом ими в бедственные дни. К тому же рассказы их полны противоречий и очень часто не подтверждаются документальными данными. В различных местах разысканы №№ газет, выходивших в городе до конца июля. Последний из найденных до сих пор, помеченный 22 июля, содержит в себе сообщение о смерти Ораса Дивиля и призыв вос-

становить убежище в Ратуше. Правда, найден еще листок, помеченный августом, но содержание его таково, что необходимо признать его автора (который, вероятно, лично и набирал свой бред) решительно неменяемым. В Ратуше открыт дневник Ораса Дивиля, дающий последовательную летопись событий за три недели, от 28 июня по 20 июля. По страшным находкам на улицах и внутри домов можно составить себе яркое представление о неистовствах, совершавшихся в городе за последние дни. Всюду страшно изуродованные трупы: люди, умершие голодной смертью, люди, задушенные и замученные, люди, убитые безумцами в припадке иступления, и наконец, – полуобглоданные тела. Трупы находят в самых неожиданных местах: в тоннелях метрополитэна, в канализационных трубах, в разных чуланах, в котлах: везде потерявшие рассудок жители искали спасения от окружающего ужаса. Внутренности почти всех домов разгромлены, и добро, оказавшееся ненужным грабителям, запрятано в потайные комнаты и подземные помещения.

Несомненно, пройдет еще несколько меся-

цев, прежде чем Звездный город станет вновь обитаемым. Теперь же он почти пуст. В городе, который может вместить до 3 000 000 жителей, живет около 30 000 рабочих, занятых расчисткой улиц и домов. Впрочем, прибыли и некоторые из прежних жителей, чтобы разыскивать тела близких и собирать остатки истребленного и расхищенного имущества. Приехало и несколько туристов, привлеченных исключительным зрелищем опустошенного города. Два предпринимателя уже открыли две гостиницы, торгующие довольно бойко. В скором времени открывается и небольшой кафешантан, труппа для которого уже собрана.

«Северо-Европейский Вечерний Вестник», в свою очередь, отправил в город нового корреспондента, г. Андю Эвальда, и намерен в подробных сообщениях знакомить своих читателей со всеми новыми открытиями, которые будут сделаны в несчастной столице Республики Южного Креста.

# Последние страницы из дневника женщины

I

15 сентября

Событие совершенно неожиданное. Мужа нашли убитым в его кабинете. Незвестный убийца разбил Виктору череп гимнастической гирей, обычно лежащей на этажерке. Окровавленная гиря валяется тут же на полу. Ящики стола взломаны. Когда к Виктору вошли, тело его еще было теплым. Убийство совершено под утро.

В доме какая-то недвижная суетня. Лидочка рыдает и ходит из комнаты в комнату. Няня все что-то хлопочет и никому не дает ничего делать. Прислуги считают долгом быть безмолвными. А когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу. Боже мой! что за ряд мучительных дней предстоит!

Говорят: пришла полиция.

*В тот же день*

Кто только не терзал меня сегодня!

Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моем столе, на моей бумаге...

Был следователь, допрашивал всех, и меня в том числе. Это – господин с проседью, в очках, такой узкий, что похож на собственную тень. К каждой фразе прибавляет «тэк-с». Мне показалось, что он в убийстве подозревает меня.

– Сколько ваш муж хранил дома денег?

– Не знаю.

– Где был ваш муж вчера вечером перед возвращением домой?

– Не знаю.

– С кем ваш муж чаще встречался последнее время?

– Не знаю.

– Тэк-с.

Откуда я все это могла бы знать? В дела мужа я не вмешивалась. Мы старались жить так, чтобы друг другу не мешать.

Еще следователь спросил, подозреваю ли я кого.

Я ответила, что нет, – разве только политических врагов мужа. Виктор по убеждению

был крайний правый, во время революции, когда бастовали фармацевты, он ходил работать в аптеку. Тогда же нам прислали анонимное письмо, в котором угрожали Виктора убить.

Моя догадка, кажется, разумная, но следователь непристойно покачал головой в знак сомнения. Он мне дал подписать мои ответы и сказал, что еще вызовет меня к себе, в свою камеру.

После следователя приехала мама.

Входя ко мне, она почла долгом вытирать глаза платком и раскрыть мне объятия. Пришлось сделать вид, что я в эти объятия падаю.

– Ах, Nathalie, какое ужасное происшествие.

– Да, мама, ужасное.

– Страшно подумать, как мы все близки от смерти. Человек иногда не предполагает, что живет свой последний день. Еще в воскресенье я видела Виктора Валериановича живым и здоровым!

Произнеся еще должное число восклицаний, мама перешла к делу.

– Скажи мне, Nathalie, у вас должно быть

хорошее состояние. Покойный зарабатывал не менее двадцати тысяч в год. Кроме того, в позапрошлом году он получил наследство от матери.

– Я ничего не знаю, маман. Я брала те деньги, которые мне давал Виктор на дом и на мои личные расходы, и больше ни во что не вмешивалась.

– Оставил покойный завещание?

– Не знаю.

– Почему же ты не спросила его? Первый долг порядочного человека – урегулировать свои денежные дела.

– Но, может быть, и завещать было нечего.

– Как так? Вы жили гораздо ниже своих средств. Куда же Виктор Валерианович мог расходовать суммы, поступавшие к нему?

– Может быть, у него была другая семья.

– Nathalie! Как можешь ты говорить так, когда тело покойного еще здесь, в доме!

Наконец, мне удалось дать понять маман, что я устала, совершенно изнемогаю. Маман опять стала вытирать глаза платком и на прощание сказала:

– Такие испытания нам посылаются небом

как предостережение. О тебе дурно говорили последнее время, Nathalie. Теперь у тебя есть предлог изменить свое поведение и поставить себя в обществе иначе. Как мать, даю тебе совет воспользоваться этим.

Ах, из всего, что мне придется переживать в ближайшие дни, самое тяжкое – это визиты родственников и знакомых, которые будут являться, чтобы утешать и соболезновать. Но ведь «нельзя же нарушать установившиеся формы общежития», как сказала бы по этому поводу моя мать.

### *Еще в тот же день*

Поздно вечером приехал Модест. Я велела никого не принимать, но он вошел почти насильно, – или Глаша не посмела не впустить его.

Модест был, видимо, взволнован, говорил много и страстно. Мне его тон не понравился, да и я без того была замучена, и мы почти что поссорились.

Началось с того, что Модест заговорил со мною на «ты». В нашем доме мы никогда «ты» друг другу не говорили. Я сказала Модесту,

что так пользоваться смертью – неблагородно, что в смерти всегда есть тайна, а в тайне – святость. Потом Модест стал говорить, что теперь между нами нет более преграды и что мы можем открыто принадлежать друг другу.

Я возразила очень резко:

– Прежде всего я хочу принадлежать самой себе.

Под конец разговора Модест, совсем забывшись, стал чуть не кричать, что теперь или никогда я должна доказать свою любовь к нему, что он никогда не скрывал ненависти своей к моему мужу и многое другое, столь же ребяческое. Тогда я ему прямо напомнила, что уже поздно и что в этот день длить его визит совершенно неуместно.

Я достаточно знаю Модеста и видела, что, прощаясь со мной, он был в ярости. Щеки его были бледны, как у статуи, и это, в сочетании с пламенными глазами, делало его лицо без конца красивым. Мне хотелось расцеловать его тут же, но я сохранила строгий вид и холодно дала ему поцеловать руку.

Разумеется, наша размолвка не будет долгой; мы просто встретимся следующий раз,

как если бы никакой ссоры не было. Есть в существе Модеста что-то для меня несказанно привлекательное, и я не сумею лучше определить это «что-то», как словами: ледяная огненность... Крайности темпераментов причудливо сливаются в его душе.

## II

**18** *сентября*

Три дня вспоминаю, как самый тягостный кошмар.

Следователь, судебный пристав, пристав из участка, соболезнующие родственники, нотариус, похоронное бюро, поездки в банк, поездки к священнику, бессмысленные ожидания в приемных, не менее бессмысленные разговоры, чужие лица, отсутствие своего, свободного времени, – о, как бы поскорее забыть эти три дня!

Выяснились две вещи. Во-первых, додумались, что убийство было совершено из мести, так как муж дома денег никогда не хранил (теперь и я это вспомнила). К тому же и бумажник его, бывший у него в кармане, остался цел. Но как убийца проник к нам в квартиру, в бельэтаж, понять никак не могут.

Во-вторых, стало известным, что существует духовное завещание мужа. Ко мне приезжал нотариус, чтобы сообщить это. Он намекал, что главная наследница – я, и что предстоит мне получить не мало.

Похороны, ввиду вскрытия тела, отложены. Я предоставила всеми делами распоряжаться дядюшке. Конечно, он наживет на этом деле не меньше, как тысячи полторы, но, право, это цена не дорогая за избавление от таких хлопот.

Модест не заезжал ко мне ни разу, но не обращай же к нему я первой!

Зато я не отказала себе в маленьком развлечении и на час поехала к Володе.

Милый мальчик обрадовался мне страшно. Он стал предо мною на колени, целовал мне ноги, плакал, смеялся, лепетал.

– Я думал, – говорил он, – что не увижу тебя много, много дней. Какая ты добрая, что пришла. Так ты любишь меня на самом деле!

Я ему клялась, что люблю, и действительно любила в ту минуту за наивность его радости, за настоящие слезы в его глазах, за то, что весь он – слабый, тонкий, гибкий, как сте-

бель.

Что-то давно я не была у Володи, и меня удивило, как он убрал свое помещение. Все у него теперь подобрано согласно с моим вкусом. Темные портьеры, строгая мебель, нигде никаких безделушек, гравюры с Рембрандта на стенах.

– Ты переменял мебель, – сказала я.

Он ответил, краснея:

– Прошлый раз, после твоего ухода, я опять нашел сто рублей. Я ведь дал слово, что не возьму себе ни копейки твоих денег. Я истратил их все на то, чтобы тебе было хорошо у меня.

Разве это не трогательно?

Конечно, и он заговорил о перемене в моей судьбе, но робко, сам пугаясь своих слов.

– Ты теперь свободна... Может быть, мы будем встречаться чаще.

– Глупый, – возразила я, – время ли думать об этом? Мой муж еще не похоронен.

У Володи были припасены фрукты и ликер. Я села на диван, а он стал подле на колени, смотрел мне в глаза и говорил:

– Ты – прекрасна. Я не могу придумать ли-

ца красивее. Мне хочется целовать каждое твое движение. Ты пересоздала меня. Только узнав тебя, я научился видеть. Только полюбив тебя, я научился чувствовать. Я счастлив тем, что отдал себя тебе – совсем, безраздельно. Мое счастье в том, что все мои поступки, все мои мысли и желания, самая моя жизнь – зависят от тебя. Вне тебя – меня нет...

Такие слова нежат, как ласка любимой кошки с пушистой шерстью. Он говорил долго, я долго слушала. Детские интонации его голоса меня гипнотизировали, убаюкивали.

Вдруг я вспомнила, что пора ехать. Но Володя пришел в такое отчаяние, так умолял меня, так ломал руки, что я не в силах была ему отказать...

Быть может, дурно, что я изменяю праху моего мужа. У меня в душе осталось какое-то темное чувство неловкости. Я никогда не испытывала этого, изменяя живому. Есть таинственная власть у смерти.

### III

19 сентября

Люблю ли я Володю?

Вряд ли. В нем мне нравится мое создание.

Какой он был дикий, когда мы встретились с ним в Венеции! Он ни о чем не умел ни думать, ни говорить, кроме тех политических вопросов и дел, из-за которых ему пришлось укрываться за границей. Я в его душе угадала иной облик, совсем как скульптор, который угадывает свою статую в необделанной глыбе мрамора.

Ах, я много потрудились над Володей! Положим, какое единственное было место для воспитания души: золото-мраморный лабиринт города Беллини и Сансовино, Тициана и Тинторетто! Мы вместе слушали с гондол майские «серенады», мы ездили в «дом сумасшедших», навсегда освященный именами Байрона и Шелли, мы, в темных церквах, могли вволю насыщать глаза красочными симфониями мастеров Ренессанса! А потом я читала Володе стихи Фета и Тютчева.

Говорят, можно видеть, как растет трава. Я воочию видела, как преображалась душа юноши и в то же время преображалось его лицо. Его чувства становились сложнее, его мысли – тоньше, но изменились и его речь, и его глаза, и его голос! До меня был «товарищ

Петр» (как его звали «в партии»), неловкий, грубый; я создала Володю, моего Володю, утонченного, красивого, похожего на юношу с портрета Ван-Дика.

А потом! Ведь он мне сознался, – да и не трудно было догадаться, – что я была первая женщина, которой он отдался. Я взяла, я выпила его невинность. Я для него – символ женщины вообще; я для него – воплощение страсти. Любовь он может представлять лишь в моем образе. Одно мое приближение, веянье моих духов его опьяняет. Если я ему скажу: «пойди – убей» или «иди – умри», он исполнит, даже не думая.

Как же мне отдать кому-нибудь Володю? Он – мой, он – моя собственность, я его сделала и имею все права на него...

В нем я люблю опасность. Наша любовь – тот «поединок роковой», о котором говорит Тютчев. Еще не победил ни один из нас. Но я знаю, что может победить он. Тогда я буду его рабой. Это – страшно, и это – соблазняет, притягивает к себе, как пропасть. И стыдно уйти, потому что это было бы трусостью.

Модест для меня загадка, я не распутала

еще нитей его души, да и распутал ли их кто-нибудь до конца? Как для него характерно, что он – художник, и сильный художник, – никогда не выставлял своих вещей. Ему довольно сознания, что после его смерти любители будут платить безумные деньги за его полотна и разыскивать каждый его карандашный набросок. Таков он во всем: он довольствуется тем, что сам знает о себе, и ему не нужно, чтобы это знали о нем другие. Он действительно презирает людей, всех людей, может быть, и меня в том числе, хотя клянется мне в любви.

В Володе я люблю его любовь ко мне. В Модесте – возможность моей любви к нему. Только возможность, потому что я употребляю все усилия, чтобы эта любовь в моей душе не разгорелась.

#### IV

**23** *сентября*  
Похороны состоялись вчера. Описывать их было бы скучно. Все говорили, что в трауре я была очень эффектна.

Во время последней панихиды с Глашей сделался истерический припадок. Такая чув-

ствительность странна. Не была ли она влюблена в Виктора, или даже не были ли они в близких отношениях? Я всегда старалась не вникать в эти дела.

Стало известно и завещание Виктора. Он был очень мил и, за исключением мелких сумм, завещанных его родственникам, отказал все мне. Выяснилось, что у него было процентными бумагами и акциями разных предприятий около 250 000 рублей. Я не предполагала, что у нас так много денег.

Признаюсь, ощущение себя женщиной если не богатой, то состоятельной было мне очень приятно. В деньгах есть сила, и, узнав размеры наследства, я испытала такое ощущение, словно некоторое войско, мне подвластное, стало на мою защиту. Как это ни смешно и даже как это ни позорно, но в душе я почувствовала прилив самоуверенности и гордости...

Перед самыми похоронами у меня было объяснение с Модестом. Он кротко просил у меня прощения за свое нелепое поведение в день убийства и просил провести с ним целый день. По его словам, ему надо мне ска-

зять нечто очень важное и он не в силах сделать это в обычной обстановке. Мы поедем за город.

Как могла я ему отказать? Да и мне самой, после целой недели всевозможных тягот, завершившихся бесконечным похоронным обедом, так будет сладостно на день перенестись в другой мир! Я обещала.

### *В тот же день*

Где есть деньги, там всегда появляются разные темные личности. Вот почему сегодняшнее посещение меня нисколько не удивило.

Глаша доложила мне, что меня, по важному делу, хочет видеть какой-то Сергей Андреевич Хмылев, – «очень добиваются». Я велела его пустить.

Вошел человек гнусного вида, худой и низенький, с лицом безбородым, в сером обтянутом пиджаке. Поклонился он с почти-тельностью преувеличенной, сел на самый кончик стула и долго говорил, голосом неприятным, в нос, какую-то околесицу. Когда я уже начала терять терпение, он заговорил осмыс-

леннее.

– Вам, сударыня, так будет покойнее. Где же вам самой хлопотать обо всем: это дело не женское. Я потому что знал еще покойного родителя вашего, всегда мне удовольствие заслужить вам. Выдадите вы мне эти двадцать тысяч, и все останется вполне благородно. Со мной, вы мне можете поверить, всякая тайна, как ко дну ключ.

Я его спросила:

– Это вам я должна дать двадцать тысяч рублей? По какой же причине?

– А насчет убийства покойного вашего мужа.

– Что же, это вы его убили?

Спросила я это нарочно, чтобы заставить своего собеседника прямо перейти к сути, но его мой вопрос не удивил нисколько.

– Никак нет-с, я не убивал. А только вы сами изволите знать, какое беспокойство, если затянется следствие, пойдут допросы, кто, да что, да как. Опять же, иногда и в виде меры пресечения – тюрьма-с. Наконец, если будут докапываться, мало ли до чего дознаются...

Мне надоели намеки и недомолвки, и я

сказала:

– Послушайте, мне некогда. Говорите прямо, что вам нужно. Вы не хуже меня знаете, что даром денег не дают. Объясните, что вы мне предлагаете и за что я вам должна, по вашему мнению, заплатить двадцать тысяч.

Или мне это показалось, или лицо Хмылева стало наглым до чрезвычайности. Он отвечал мне, смотря в сторону, но уже вполне определенно:

– Я, сударыня, предлагаю вам дело покончить. Вы ничего знать не будете, и от вас ничего не потребуются, только все будет сделано. Убийца сам объявится и повинится, и следствие будет прекращено. Так что никаких обстоятельств более не откроется. Лишнего я с вас ни копейки не спрошу. В ту сумму все включено-с, и кого надо подмазать, и что надо заплатить главному лицу, и наше вознаграждение-с...

После таких слов я встала и спросила:

– Итак, это – шантаж?

– Поверьте, сударыня, – возразил мне Хмылев, – что мне достанется самая малая толика. Мы люди маленькие. Нас тут четверо работа-

ют, и я, почитай, все должен буду другим отдать. Разве я посмел бы с вас такие деньги спрашивать? Особливо, как я честь имел вашего покойного папеньку знать...

Я позвонила и приказала Глаше:

– Проводите этого господина.

Хмылев тоже встал и без всякого смущения добавил:

– Тысчонку-другую мы, может быть, и скинули бы.

– Пойдемте, дяденька, нехорошо, – сказала Глаша.

Когда дверь за Хмылевым была заперта, я спросила Глашу:

– Вы знаете этого г. Хмылева?

– Как же-с, он мой дядя...

– Ну, извините, Глаша, не слишком хороши ваши родственники. Потрудитесь больше его никогда не допускать ко мне.

– Простите, барыня, – сказала Глаша, – он точно человек, не совсем при своей чести состоящий...

Кажется, я довольно точно записала обороты речи Хмылева. Думается мне, что он юродствовал нарочно, так как не хотел говорить

прямо. Но что скрывается за его двусмысленными словами? Только ли угроза обличить мои отношения с Модестом или большее?

## V

25 сентября

Надо описать мою поездку с Модестом.

Прежде всего вмешалась почему-то Лидочка.

Когда я приказала заложить лошадь и сказала, что поеду в Любимовку, Лидочка стала упрашивать взять ее с собой.

– Милая, хорошая Наташа, позволь мне ехать тоже. Мне так хочется. Я буду такая счастливая с тобой.

Я ответила, что хочу отдохнуть, хочу быть одна. Тогда Лидочка вдруг приняла вид серьезный, сдвинула маленькие брови, даже побледнела и сказала:

– Ты – в трауре, тебе неприлично уезжать одной на целый день из дому.

– В уме ли ты, Лидочка? Это не твое дело.

– Нет, мое! Ты – моя сестра, и я не хочу, чтобы о тебе плохо отзывались.

Конечно, я сделала Лидочке выговор за ее

неуместное вмешательство, она расплакалась и ушла в свою комнату. Но, должно быть, тамап была права и обо мне «дурно говорят», если это уже замечают дети...

Во всяком случае все convenances[1] были соблюдены, так как мы с Модестом ехали в разных поездах. Я два часа проскучала одна в пустом вагоне, и Модест встретил меня уже на нашей деревенской платформе. Он был в охотничьей куртке и в маленькой шапочке, что очень ему шло.

Мне, после двухчасового молчания, хотелось говорить и смеяться, и свежий воздух открытых, опустелых полей опьянил меня, как шампанское. Но Модест, как, впрочем, все последние дни, был молчалив, сдержан. Он молчал почти всю дорогу от станции до имения, и мне оставалось только любоваться осенним простором и синим, синим, синим небом.

В усадьбе Никифор встретил меня почти-тельно: видно, до него уже долетела весть, что я – наследница после Виктора.

Когда мы остались одни, за самоваром, Модест сказал мне:

– Мне надо сказать тебе, Талия, нечто

очень важное. Самое важное изо всего, что я говорил тебе в жизни.

– Говори.

– Не здесь. После. В лесу.

После чая мы пошли в лес. День был ясный. «Тютчевский», «как бы хрустальный». В безоблачности неба была непобедимая крохотность. Казалось, природа говорила подступающей зиме: распинай меня, убивай меня, прииму муки покорно, умру без жалобы...

Я бегала по поблеклой траве, как Мария Стюарт в третьем акте трагедии Шиллера. Я пела песенки, как бывало в пятнадцать лет, гуляя с влюбленными в меня гимназистами. Увидев белку, спасшуюся от меня на самую вершину сосны, я обрадовалась, как дитя. Ах, в каждом человеке таится жажда первобытной жизни, и сквозь краткие тысячелетия культурной жизни порою проступает дух долгих миллионов лет, когда человек бродил вместе со зверями по девственным лесам и укрывался вместе с медведями в пещерах!

Мы дошли до Марьиного обрыва и сели там на скамейке над речкой. Я ждала обещанного важного разговора. Модест, против

обыкновения, не находил, по-видимому, слов. Потом, как-то с трудом произнося слова, спросил:

– Ответь мне со всей откровенностью и со всей решимостью: любишь ли ты меня и любишь ли меня одного?

Эти слова были таким диссонансом в гармонии осеннего дня и моей радости! Но я давно знаю, что говорить правду мужчинам нельзя, и ответила покорно:

– Да, Модест, я люблю тебя одного.

После нового молчания Модест опять спросил меня что-то подобное же, и я опять, не споря, дала ему условный, стереотипный ответ.

Мне казалось, что Модест не смеет сказать мне то, ради чего позвал меня сюда. Когда уже мне стало холодно и пора было уходить, Модест, как бы решившись, заговорил:

– Талия! когда, в тот день, я начал говорить с тобой о перемене, произошедшей в нашей жизни, ты мне приказала замолчать. Но я должен тебе сказать, что я думаю, потому что от этого зависит для меня все. Я знаю, что ты любила многих до меня и что я для тебя был

просто новой, интересной игрушкой. (Я хотела возразить, но Модест сделал мне знак молчать.) Но я тебя люблю не так, а по-настоящему, любовью ожесточенной и неограниченной. Скажи мне, что мои чувства дики и примитивны, я не откажусь от них. Люблю тебя, как любит простой человек, не мудрствующий над любовью; как любили в прежние века и как сейчас любят всюду, кроме нашего, так называемого культурного общества, играющего в любовь. Со всей наивностью я хочу обладать тобою вполне, иметь над тобой все права, какие можно. До сих пор мысль, что нас что-то разделяет, что к тебе прикасается другой мужчина, что мы нашу любовь принуждены прятать, приводила меня в ярость и в отчаянье. Теперь, когда вдруг все переменялось, у меня не может быть другого желания, как взять тебя совсем, увериться, что отныне ты – моя, и моя навсегда. И если ты, как только что ты сказала, меня любишь (он сделал ударение на этом слове), у тебя не может быть другого желания, как сказать мне: хочу быть твоей навсегда, возьми меня.

– Ты мне делаешь предложение, Модест? –

спросила я.

– Да, я тебе предлагаю быть моей женой.

– Не слишком ли рано, через десять дней после смерти мужа?

Модест встал и сказал сурово, жестко, почти деловым тоном:

– Если все это было игрой в любовь, скажи мне откровенно, Талия. Я уйду. Если же ты хочешь моей любви, я требую – слышишь! – требую, чтобы ты стала моей женой...

Я попыталась обратить разговор в шутку. Модест настаивал на ответе. Я попросила несколько дней на то, чтобы обдумать ответ. Модест подхватил мои слова и в выражениях формальных предложил мне месяц... Я, смеясь (но, сознаюсь, деланным смехом), согласилась.

Когда мы шли обратно к усадьбе, я сказала, стараясь шутить:

– Какая тебе корысть, Модест, что я стану твоей женой? Если я обманывала Виктора с тобой, почему я не буду обманывать тебя с другим?

– Тогда я убью тебя, – сказал Модест.

– Полно! – возразила я. – Убить может ди-

карь, пьяный мужик, прежде могли рыцари и итальянские синьоры. Ты убить не способен.

– Современный человек, – ответил Модест очень серьезно, – должен все уметь делать: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать.

Больше мы не говорили ни о чем важном. Мне показалось, однако, что предложение, сделанное мне Модестом, было не все то, ради чего он звал меня провести с ним день за городом. Чего-то он так и недоговорил.

Я вернулась домой с последним поездом, ночью поздно. В дверях мелькнуло мне заплаканное и гневное личико Лидочки. Я предпочла не объясняться с ней и прямо прошла к себе.

## VI

**26** *сентября*

Поездка с Модестом оставила в моей душе неприятное впечатление. Сегодня я уже думала о том, что его требования не то дерзки, не то смешны. Я жалела, что не сказала ему это тогда же. Но мне было слишком хорошо на воле, в лесу, и я была с ним добрее, чем следовало.

Когда сегодня ко мне пришел Володя, я ему обрадовалась искренно. Насколько милее, подумала я, этот ласковый мальчик, для которого блаженство один мой поцелуй и который отдает всего себя, не требуя ничего. На что мне Модест, серьезно говорящий о том, как он убьет меня, если можно так легко, так просто быть счастливой с Володей! Трагедии прекрасны на сцене и в книгах, но в жизни Мариво куда приятнее Эсхила!

Оказалось, однако, что и Володя – тоже мужчина и что все мужчины на один лад. (Давно бы пора мне в этом убедиться!)

Уже по одному тому, что Володя отважился прийти ко мне, я могла догадаться, что случилось нечто особенное. При жизни мужа Володя никогда не бывал у меня в доме. Когда же Володя вошел в гостиную, я увидела, что он расстроен до последнего предела. Такой он был грустный и жалкий, что я, если бы не боялась, что Лидочка подсматривает, тут же схватила бы его за подбородок и расцеловала бы в заплаканные глаза.

Сначала Володя уверял, что ничего не случилось.

– Просто я не видал тебя слишком долго (в самом деле я не была у него целую неделю!). Мне стало недоставать тебя, как в подземелье недостает воздуха. Дай мне подышать тобой.

Я постаралась так обласкать его, что он признался. Впрочем, он всегда в конце концов признавался мне во всем.

Объяснилось, что он получил анонимное письмо, написанное не без грамматических ошибок (может быть, намеренных?), в котором сообщалось, что я – любовница Модеста. Передав мне конверт, Володя, конечно, начал рыдать и уверял, что сейчас же пойдет и убьет себя, так как существовать он может лишь в том случае, если я принадлежу ему одному.

– Глупый! – сказала я ему, – как же ты существовал до сих пор, пока был жив мой муж?

– Ведь ты же его не любила, ведь это была случайность, что ты его встретила раньше, чем меня.

Что было делать? Мне так хотелось, после суровости Модеста, вновь увидеть счастливое лицо Володи, услышать его детские, востор-

женные клятвы, что я сказала ему все то, чего он втайне ждал от меня. Сказала ему, что письмо – вздорная клевета, что я люблю его одного, что до встречи с ним не знала, что такое истинная любовь, что после этой встречи переродилась, нашла в глубине своей души другую себя, что не быть верной ему мне столь же невозможно, как не быть верной себе самой, что это не моя обязанность, а мое желание, и так далее, без конца...

Володя утешился быстро, поверил безусловно и робко заговорил о будущем.

– Теперь ты свободна. Почему бы нам не уехать за границу? Здесь у тебя столько дел, связей, отношений. Я понимаю, что тебе здесь невозможно открыто признаться в твоей любви ко мне. Я – еще мальчик, тебя могли бы осудить (это он сказал совершенно наивно). Но где-нибудь в Италии, где нас никто не знает, мы могли бы жить друг для друга. Наша жизнь стала бы осуществленной сказкой. День, ночь, дождь, солнце – все было бы для нас счастьем...

Ах, глупый, глупый! Он очень мил, как маленькая подробность жизни, но если бы мне

опять пришлось провести с ним вдвоем несколько недель, я бы зачахла от тоски и однообразия. Он бы замучил меня и своей невинностью, и своей экзальтацией. Лимонная вода и шипучий нарзан приятны между двумя блюдами, но смысл ужину придают густое нюи и замороженное ирруа.

Я отговорила тем, что на полгода у меня хватит хлопот по наследству. Месяц – Модесту, шесть месяцев – Володе; что я отвечу, когда сроки истекнут? Не брошу ли просто-напросто и маленького ревнивца, и художника-дьявола? Любовь и страсть прекрасны, но свобода – лучше вдвое!

Впрочем, должна была обещать Володе, что приеду к нему нынче вечером.

*В тот же день*

Странная сейчас была встреча.

Я вернулась от Володи (который, право, растрогал меня своей восторженной нежностью) довольно поздно, за полночь. Мне почудилось, что дверь мне отперли с каким-то промедлением и что у Глаши лицо было совсем заплаканное. Не успела я ее спросить, что с ней, как она доложила:

– Модест Никандрович вас дожидаются.

Действительно, Модест встретил меня в дверях.

– Excusez-moi, mon ami, – сказала я ему, – mais jugez vous même: est ce qu'il me convient de recevoir des visites, le premier mois de veuvage, après minuit. Vous me mettez dans une fausse position[2].

Модест извинился и стал объяснять свое неперемное желание увидеть меня сегодня. К нему явился Хмылев, требовал денег и угрожал сделать нам какой-то скандал. Опасаясь, что завтра Хмылев придет ко мне, Модест поспешил меня предупредить, чтобы я не поддавалась на шантаж этого мошенника.

– Вы опоздали, – сказала я в ответ. – Хмылев уже был у меня, и я ему указала на дверь.

– Поступили умно, как всегда, – сказал Модест.

– Но я совершенно не понимаю, чем он грозит нам, – продолжала я. – Еще при жизни Виктора он мог причинить нам разные мелкие неприятности. Но теперь...

– Конечно, конечно! Вижу, что предупредить вас не было надобности. Вы все пони-

маете сами.

Модест поцеловал мне руку и уехал.

Он был явно смущен. Не потому ли он не спросил меня, откуда я возвращалась так поздно? Вообще предлог его ночного визита не показался мне убедительным.

Изумительный человек! Все его поступки, большие и малые, необъяснимы. Никогда не знаешь, зачем он делает то или другое. Быть его женой! да это так же страшно, как быть женой Синей Бороды!

## VII

**29** *сентября*

Модест, по-видимому, понял, что произвел на меня в деревне неприятное впечатление, и постарался его загладить. Он упрямил меня приехать к нему.

В первый раз я ехала к Модесту без лживого предлога, прямо, только не в своем экипаже, а на извозчике. При жизни Виктора, когда у меня было свидание с Модестом, с Володей или еще с кем-нибудь, мне приходилось выдумывать объяснения своего долгого отсутствия из дому. Виктор, конечно, знал, что я ему изменяю, и молчаливым согласием до-

пускал это; когда, возвращаясь, я ему говорила иной раз, что была у портнихи или доктора, он был уверен, что я говорю неправду. Всё же мы считали нужным сохранять эту условную ложь и почувствовали бы себя очень неловко, если бы она была изобличена... Теперь же мне никому не надо было давать отчета – разве только Лидочке, которая все последнее время ревниво следит за моими поступками.

Квартира Модеста оказалась словно преображенной, только потому, что по стенам он развесил свои картины, которые раньше все были собраны в его студии, куда и меня он допускал с великой неохотой. Теперь на входящего со всех сторон глядят странные женщины, созданные Модестом: со спутанными белокурыми волосами, с глазами гизехского сфинкса, с алыми губами вампира. Они то кружатся в пляске вокруг дерева с гранатовыми плодами, то лежат, обессиленные, на мраморных ступенях гигантской лестницы, осененной кипарисами, то, бесстыдные, ждут на широких, тоже бесстыдных, ложах своих жертв... И взоры этих женщин, или этих при-

зраков (не знаю, как точнее назвать), отовсюду обращаются на посетителя, фиксируют его, гипнотизируют его.

Модест, с моего первого шага у него, окружил меня всеми проявлениями ласки и поклонения. Отворив мне дверь, он стал предомной на колени; полушутя, он поцеловал подол моего платья. Он смотрел на меня влюбленными глазами и называл меня своей царицей. Вкрадчивым голосом он читал мне любовные стихи каких-то провансальских поэтов: смысла стихов я не понимала, но чувствовала, что все хвалы трубадуров своим дамам Модест относил ко мне.

Модест, когда хочет, умеет быть нежным, как никто другой. Его пальцы прикасаются с набожной ласковостью; его поцелуи становятся богомольно страстны; он словам, почти непристойным, придает все благоговение молитвы... Или, по крайней мере, таким он мне кажется... В конце концов, я ведь женщина, и когда мне исступленно клянутся в любви, когда меня целуют восторженно, когда кто-то предаёт меня страсти – я уже не могу рассуждать и анализировать. Для каждой женщины,

все равно – исключительной или обыкновенной, утонченной или простой, в наши дни или десятки тысячелетий тому назад, – мужчина, обладающий ею, в минуту страсти кажется владыкою, достойным изумления и поклонения...

Модест, пока я была у него, ни разу не напомнил мне о нашем разговоре в Любимовке. Только потому, что он решительно избегал малейшего упоминания о перемене, происшедшей в моей судьбе, видно было, что в его душе ничего не изменилось с того дня. Но когда мне пора уже было уезжать, Модест достал из книжного шкафа прекрасный географический атлас и стал его перелистывать. Я с некоторым недоумением разглядывала великолепно литографированные карты...

Дойдя до карты южной Италии, Модест показал мне маленький островок, оторвавшийся от всякой земли, Устику, и сказал:

– Если через месяц ты скажешь мне, что быть со мною не хочешь, я уеду сюда и буду здесь жить до моего конца.

– Что за нелепая мысль, Модест! – возразила я. – Зачем тебе жить на какой-то Устике!

Почему не на острове святой Елены, или не на Яве, или просто не в Париже?

– Я еще мальчиком читал об этой Устике, не помню уже где. Меня описание поразило, и в детстве я часто мечтал, что поеду на эту Устику. Как-то незаметно Устика стала для меня символической страной красоты и счастья, какими-то Гесперидами садами... После того я много раз бывал в Италии, но никогда не попадал на Устику; туристам делать там нечего, да мне и жаль было разрушать мои детские иллюзии. Но теперь, когда я подумал, что, может быть, мне придется выбирать на земном шаре одну точку, на которой доживать свою неудавшуюся жизнь, – я решил бесповоротно, что лучше Устики не найду ничего. Там, конечно, синее небо, шумный прибой, красивые скалы, стройные люди; мне ничего другого и не будет надо.

Мне показалось обидно, что Модест хочет запугать меня, как шестнадцатилетнюю барышню, и я ответила не без сухости:

– Полно, Модест! Лесть твоя изысканна, но ты не убедишь меня, будто я занимаю в твоей жизни важное место. Если в самом деле я от

тебя уйду, брошу тебя, как говорится, ты очень спокойно уедешь в Париж, будешь писать свои картины и переживешь еще десяток романов. Не повторяй только своим будущим возлюбленным тех слов, что сказал мне: они не поверят им также.

Модест внезапно принял очень серьезный вид и сказал:

– Милая Талия! Я человек немного не такой, как все. И я оставляю за собою право любить не так, как все. Мне надо, чтобы моя любовь к тебе получила в полном объеме все, чего она хочет. Без этого я жить не хочу и не могу. Я сожгу все мои картины, я раздам свою библиотеку, я не возьму больше кисти в руки, и если останусь жить, то лишь потому, что презираю самоубийство. Ты понимаешь слабость крупной игры, когда игрок рискует всем своим состоянием? Так вот и я на карту моей любви к тебе поставил всю свою жизнь...

Верил ли сам Модест в свои слова? Сомневаюсь. Он – человек слишком сильный, слишком многогранный, чтобы в любви видеть весь смысл жизни. Угрозами и лестью он про-

сто думал вырвать у меня мое согласие...

Но даже если бы то, что говорил Модест, и было правдой! Неужели только затем, чтобы он не совершил над собой «художественного самоубийства» (так это придется назвать?), я должна выйти за него замуж? Боже мой! я молода, хороша собой, богата – зачем же я отдам все это в чужие руки? Почему о Модесте я должна больше думать, чем о себе самой?

Ну да, Модест мне нравится, вернее, меня восхищает в нем редкое сочетание ума и таланта, силы и изысканности. Но разве я могу быть уверенной, что он мне будет нравиться всегда, что не изменится он или не изменюсь я? Я испытала, что значит жить с мужем, который ненавистен. Но Виктор, по крайней мере, оставлял мне полную свободу, а Модест требователен, жесток, ревнив...

Я хочу сохранить себе Володю надолго, на несколько месяцев, кто знает, может быть, на несколько лет. Я хочу иметь и право, и все возможности любить того, кто еще мне понравится и кому я понравлюсь. Как бы ни была глубока и разнообразна любовь одного человека, он никогда не заменит того, что мо-

жет дать другой. Иногда один жест, одно слово, одна интонация голоса стоят того, чтобы ради них кому-то «отдаться».

### *В тот же день*

Сейчас получила анонимное письмо. Неизвестный автор, подписавшийся, как это водится, «ваш доброжелатель», пишет, что ему известно, кто убил моего мужа, и предлагает мне, если я желаю «проникнуть в эту тайну», вступить с ним «в соответствующие переговоры». Адрес дан на poste-restante, на какие-то литеры. Сначала я подумала передать письмо судебному следователю, но потом предпочла разорвать и бросить в корзину. Нет сомнения, что это письмо писала та же рука, что и донос Володе.

Но странно все же, что меня лично несколько не занимает вопрос, кто убил мужа. Виктор как-то совершенно бесследно исчез из моей души. Словно с аспидной доски тщательно стерли влажной губкой то, что было на время написано. Порой, задумавшись, я совсем забываю, что почти шесть лет жила с мужем, что у нас был ребенок, что несколько

раз вдвоем ездили мы за границу, что вообще множество моих воспоминаний должно быть тесно связано с Виктором. Положим, я его не любила, но каким же все-таки был он ничтожеством, если так легко оказалось вынуть его и из моего настоящего, и из памяти о прошлом, и из мечтаний о будущем! Впрочем, это ничтожество Виктора было для меня, при его жизни, благодеянием!

## VIII

**1** октября

Приезжала мама чтобы, по ее словам, «серьезно говорить со мной». Объяснение вышло тяжелое и скучное, но принять его во внимание приходится.

Вот приблизительно наш разговор:

– Ты ведешь себя невозможно, Nathalie! Месяца не прошло со дня смерти твоего мужа, человека достойнейшего, который обожал тебя, а ты уже заставляешь говорить о себе всю Москву. Тебя по целым дням не бывает дома. Ты принимаешь у себя мужчин в час ночи. Ты бог весть куда едешь на открытом извозчике, когда у вас есть лошадь. Это все прямо неслыханно.

– Откуда вы все это знаете, маман?

– Заметь себе, что всегда бывает гораздо больше известно, нежели ты думаешь.

– Во всяком случае я вышла из возраста, когда водят за руки. Я – совершеннолетняя и могу жить, как мне нравится.

– Я – мать. Предупредить тебя – это моя обязанность. Ты сейчас бравируешь мнением общества. Но позднее ты очень пожалеешь, что востала против себя. Ты думаешь, что весь свет в одном окошке, что можно всю жизнь прожить одним художником...

– Маман, вы касаетесь личностей, это неуместно.

– Когда мать говорит с дочерью, все уместно. Ты полагаешь, что о твоей связи не говорят кругом. Совершенно не понимаю, зачем ты ее афишируешь. Никто не требует от тебя ангельской добродетели, но все вправе ждать, что приличия будут соблюдены.

В конце концов, чтобы кончить, я сказала:

– Позвольте вам объявить, маман, что по прошествии года траура я выхожу замуж за Модеста Никандровича Илецкого.

Маман, кажется, не притворяясь, поблед-

нела.

– Но ты с ума сошла, Nathalie! Он бог знает из какой семьи, без роду, без племени, без всякого состояния, притом он сумасшедший!

Последнее слово она произнесла с расстановкой: су-ма-сшед-ший!

– Неужели вам больше нравится, чтобы мы жили в незаконной связи?

– Ты меня не понимаешь. К этому я могу отнестись снисходительно. Я допускаю порывы молодости. Но есть ошибки непоправимые. Никогда не надо делать последнего шага. Зачем доводить что бы то ни было до последней черты? Благовоспитанность состоит в том, чтобы ничем не отличаться от других.

Мапап читала мне свои наставления часа два. Когда она, наконец, уехала, у меня сделалась мигрень. Меня мучили не то мысли, не то сны, не то видения. Мне представлялось, что мы с Модестом в каком-то парке, чуть ли не в Булонском лесу, ищем уголок, чтобы свободно остаться вдвоем. Но едва он меня обнимает, появляется толпа знакомых, предводимых тапап, и все указывают на нас со смехом. Мы убегаем на другой конец парка, но

там случается то же. Так повторяется много раз, причем всегда нас застают в особенно неожиданных, постыдных позах. Этот кошмар измучил меня до полусмерти.

Мама – злой гений всей нашей семьи. С раннего детства она учила меня и сестер лицемерию. Воспитание она нам дала самое поверхностное. Развратила она нас с ранних лет, чуть не подсовывая откровенные французские романы, но требовала, чтобы мы прикидывались наивными дурами. Сама она по своему девичьему паспорту дочь коломенского мещанина, а выйдя замуж за отца, мелкого чиновника из захудалой дворянской семьи, стала играть роль аристократки и нас учила гнушаться людьми «низкого» происхождения. С пятнадцати лет она начала нас тренировать и натаскивать (иначе не умею называть) на ловлю женихов и двоих старших устроила превосходно; устроит и Лидочку...

Если теперь мама приходит ко мне и заботится о моей нравственности, то потому только, что мне досталось от Виктора состояние. Мать боится, что эти деньги попадут в руки какого-нибудь сильного мужчины. Она

предпочитает, чтобы ими владела я, у которой она, конечно, сумеет выманить и вытребовать все, что ей себе желательно получить. Она предпочтет, чтобы у меня были десятки любовников, только бы я не вышла замуж за Модеста.

А для меня нет ничего столь ненавистного, как понятие – мать. Проклинаю свое детство, проклинаю первые впечатления жизни, проклинаю все свое девичество – балы, гуляния, дачные романы, обмен любовными записочками! Все или было обманом, подстроенным матерью, или было отравлено ее клеветой на жизнь и на людей. Мать готовила меня к одному: к разврату и к торговле собой. О! как еще я не захлебнулась в той грязи, куда вы заботливо кинули меня, на ловлю житейского благополучия, мать!..

.....

А все же о словах матери надо подумать. По-видимому, добровольных шпионов больше, чем мы предполагаем, и у наших добрых знакомых достаточно досуга, чтобы следить, куда и на каком извозчике мы едем. Придется, пожалуй, скрепя сердце, затвориться на

время траура, как в монастыре; я вовсе не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Только не лучше ли, по совету Володи, уехать в Италию да и его прихватить с собой?

## IX

6 октября

Почти неделю просидела я дома и чуть с ума не сошла от тоски. Больше сил моих нет выдерживать этот траур.

Сначала я занялась было тем, что отдала визиты родственникам и более близким знакомым, посетившим меня с изъявлениями соболезнования. Разговор о модах предстоящего сезона интересовал меня в первом доме, у Мэри, уже томил во втором, у Катерины Ивановны, и из себя вывел, когда с ним же ко мне обратилась сухопарая Нина, искренно воображающая себя красавицей и наивно говорящая: «у нас, у красивых женщин...»

Потом я попробовала разобраться в делах, оставшихся после мужа. Мне передали ворох счетов, меморандумов, заявлений, отношений и бог знает еще чего. Надо было уяснить себе, какие бумаги переменены, какие нет, по каким проценты получены, по каким нет, ка-

кие застрахованы, какие вышли в тираж, сколько рублей лежит на текущем счете и сколько на вкладе, – я во всем этом безнадежно запуталась. В конце концов, дала полную доверенность дядюшке Платону: пусть и здесь он, еще раз, наживет с меня...

По вечерам, когда делать было нечего, я заставляла Лидочку читать мне вслух романы, которые подобает читать и ей (хотя тайком она, конечно, давно прочла и Мопассана, и Катюля Мендеса, и Вилли, и, вероятно, еще кое-что посильнее). Она читает тоненьким голоском, временами посматривая на меня влюбленными глазами (она меня очень любит), а я думаю о Володе и жалею, что читает мне не он. Так прочли мы длинейший роман Троллопа, нашедшийся в нашей библиотеке, «Малый дом», который да отпустит ему господь в ряду всех других его прегрешений!

Единственная польза, какую принесло мне мое заточение, это та, что у меня оказалось достаточно свободного времени – обдумать свое положение. Первые дни по смерти Виктора я жила как сумасшедшая, как-то не думая, что надо начинать новый период жизни.

Теперь же я обсудила все внимательно и осторожно, и вот мой *окончательный* вывод:

За Модеста замуж я ни в каком случае не выйду. Совершит ли он после моего отказа самоубийство или не совершит, мне до того дела нет. Модест – зверь опасный, от него можно всего ожидать, и я не хочу каждый вечер класть голову в пасть тигру, хотя бы до поры до времени и ласковому. Но как только кончатся хлопоты по введению в наследство, я уеду за границу, на Ривьеру или в Швейцарию, и год или другой отдохну от своей замужней жизни. Мне надо стряхнуть и смыть с себя всю эту грязь, что пристала ко мне за годы *вынужденного разврата*... Что дальше делать, это будет видно.

## Х

7 октября

Сегодня ожидало меня объяснение совсем неожиданное.

Я давно замечала, что Лидочка как-то невесела, расстроена, бледна. Но за всеми моими делами, денежными и личными, у меня времени не было вникнуть в ее жизнь. Да и что удивительного, если девушка в 18 лет

бледна и грустна: в эти годы такой быть и подобает.

Но сегодня, войдя нечаянно в комнату Лидочки, я застала ее в слезах над каким-то альбомом. Я вовсе не собиралась пользоваться своими правами старшей и, наверное, молча вышла бы из комнаты, если бы Лидочка, заметив меня, не разразилась вдруг рыданиями отчаянными, перешедшими в форменную истерику. Лидочка упала со стула, а когда я ее уложила на кушетку, билась в судорогах, смеялась и плакала вместе, и все ее лицо кривилось и перекашивалось.

Едва придя в себя, Лидочка с ужасом стала спрашивать:

– Ты прочла? Ты прочла?

– Успокойся, – возражала я, – я никогда не читаю ни чужих писем, ни чужих бумаг. Я ничего не прочла.

Лидочка твердила: «нет, ты прочла, прочла», и рыдала безнадежно. Наконец, с помощью разных капель и воды, я до какой-то степени Лидочку успокоила. Я предпочла бы ее ни о чем не расспрашивать, но всем своим поведением она как бы говорила мне: рас-

спроси меня. Я покорилась с неохотой, настаивала против воли, а Лидочка сопротивлялась моим настояниям, хотя в глубине души ей хотелось уступить. Впрочем, я уверена, что свою роль она играла бессознательно, что ей самой в самом деле казалось, что она не хочет ничего говорить мне...

– Ты влюблена, Лидочка, не так ли? – говорю я. – Признайся мне, я твоя сестра.

– Да! да! да! – рыдает Лидочка.

– Что ж в этом страшного? Любовь всегда счастье. Если тот, кого ты любишь, также любит тебя – это счастье радости. Если нет, – это счастье горя. И я не знаю, которое из двух выше, прекраснее, благороднее. Второе – глубже и острее, но первое – шире и лучезарнее...

Лидочка рыдает.

– Потом тебе 18 лет, Лидочка. «Сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты». Тебе не верится сейчас, что твои мечты – «легкие», тебе кажется, что они тяжелее всей вселенной и раздавят тебя. И мне так казалось, когда я любила в первый раз. Но поверь опыту жизни: всякая любовь проходит, всякое чувство сменяется другим...

Лидочка рыдает.

– Ну скажи мне, девочка моя, кого ты любишь.

Лидочка молчит.

Я отнимаю ее маленькие руки от ее заплаканных глаз, целую ее в губы и говорю, стараясь придать голосу величайшую нежность:

– Скажи мне, твоей сестре, кого ты любишь.

И вдруг Лидочка вскрикивает:

– Тебя!

И опять падает ничком на кушетку, уронив руки, как плети, и опять рыдает.

– Опомнись, Лидочка!– говорю я. – Как ты можешь плакать от любви ко мне. Я твоя сестра, я тоже тебя люблю, нам ничто не мешает любить друг друга. О чем же твои слезы?

– Я люблю тебя иначе, иначе, – кричит Лидочка. – Я в тебя влюблена. Я без тебя жить не могу! Я хочу тебя целовать! Я не хочу, чтобы кто-нибудь владел тобою! Ты должна быть моя!

– Подумай, – говорю я, стараясь придать всему оборот шутки. – Сестрам воспрещено

выходить замуж за братьев. А ты требуешь, чтобы я, твоя сестра, женилась на тебе. Так, что ли, дурочка?

Лидочка скатывается с кушетки на пол и на полу кричит:

– Ничего не знаю! Знаю только, что люблю тебя! Люблю твое лицо, твой голос, твое тело, твои ноги. Ненавижу всех, кому ты даешь себя целовать! Ненавижу Модеста! Затопчи меня насмерть, мне будет приятно. Убей меня, задуши меня, я больше не могу жить!

Лежа на полу, она хватается за колени, целует мои ноги сквозь чулки, плачет, кричит, бьется.

Я провозилась с Лидочкой часа два. Чтобы ее успокоить, я дала ей десяток разных клятв и обещаний, какие она с меня спрашивала. Поклялась ей, между прочим, что, по смерти Виктора, не люблю никого, и в частности не люблю Модеста.

– Он – противный, он – злой, – твердила Лидочка сквозь слезы. – Ты не должна его любить. Если ты будешь его целовать, я брошусь из окна на тротуар.

Я поклялась, что не буду целовать Моде-

ста.

В общем, нелепое приключение! Быть предметом страсти своей родной сестры – это ситуация не из обычных. Но отвечать на такую любовь я не могу никак. Всегда связи между женщинами мне были отвратительны.

## XI

**11** октября

Только что вернулась из камеры следователя, куда меня вызвали повесткой. До сих пор я вся дрожу от негодования. Это был не допрос, а сплошное издевательство. Не знаю, как должно мне поступить.

Меня раньше всего раздражил самый вид этого господина следователя. Едва войдя в камеру, я почувствовала, что его ненавижу. Он так худ, что мог бы служить иллюстрацией к сказке Андерсена «Тень». Лицо у него цвета землистого и голос надтреснутый: он производит впечатление живой пародии. И при всем том он нагл и груб.

Сначала следователь добивался, чтобы я разъяснила ему характеры наших прислуг. Но, право, если я и знаю кое-что о Глаше, о

Марье Степановне, то ничего не могу сказать о черной горничной, о поварихе, о кучере; я даже их имен хорошенько не знаю.

– Скажите, у вашей горничной, Глафиры Бочаровой, есть возлюбленные?

– Спросите это у нее. Это ее частное дело, в которое я не вмешиваюсь.

– Тэк-с.

После длинного ряда таких пустых вопросов, очень меня утомивших, следовательно вдруг, очевидно, чтобы поразить неожиданностью, спросил меня:

– Ска-ажите, а вам случалось принимать кого-либо у себя дома, ночью, без ведома вашего мужа?

Как говорится, кровь бросилась мне в голову от такого вопроса. Я отвечала, буквально задыхаясь:

– Не знаю, имеете ли вы право задавать мне такие вопросы. Я вам на них отвечать не буду.

Следовательно стал перебирать какие-то бумаги, а в это время, не смотря на меня, говорил деловым тоном приблизительно следующее:

– Извините, сударыня. Правосудию все должно быть известно. Нам чрезвычайно важно установить, как убийца мог проникнуть в вашу квартиру. Вот тут у меня есть сведения, что в прошлом году вы были в близких отношениях с поручиком Александром Ворсинским и, во время отъезда вашего мужа в Варшаву, неоднократно принимали г. Ворсинского у себя, причем он оставался в вашем доме до позднего часа. Затем, сблизившись с свободным художником Модестом Никандровичем Илецким, вы также...

Тут я не выдержала, вскочила, кажется, даже заплакала, сказала следователю, что он не смеет так обращаться со мной, что я буду жаловаться и т. п. Он же очень хладнокровно попросил меня успокоиться, подал мне грязными руками стакан воды, которой я, конечно, не стала пить, и, переждав несколько секунд, продолжал:

– Так вот, сударыня, правосудию очень важно знать, был ли кто-либо из ваших, гм... из ваших хороших знакомых вполне ознакомлен с расположением вашей квартиры.

– Вы что же думаете, что мужа убил мой

любовник? – спросила я, преодолевая отвращение.

– Мы ничего не думаем – мы ищем.

После этого он допрашивал меня еще с полчаса, но я уже не помню, что ему отвечала; больше отказывалась отвечать. По той развязности, с какой следователь задавал мне свои наглые вопросы, я вижу, что он подозревает меня если не в самом преступлении, то в соучастии. Недостает только, чтобы меня арестовали и посадили в тюрьму: вот будет неожиданная развязка всех моих запутанных отношений!

## XII

**15** октября  
Последнее время Модест, или лично, или по телефону, ежедневно осведомлялся о моем здоровье, и Глаша ежедневно отвечала ему, по моему приказу, что я не совсем здорова. Я не хотела видеть Модеста, боясь, что при личном свидании опять поддамся его влиянию. Сегодня Глаша передала мне карточку Модеста, на которой было написано:

J'ai á vous dire des choses très importantes. Je vous supplie de m'accorder quelques minutes

d'entretien. М.[3].

Я, наконец, решилась принять Модеста.

Он вошел мрачный, поцеловал мне руку, несколько времени ходил молча взад и вперед по комнате, потом сказал:

– Талия, помнишь ты, что говорит у Шекспира Антоний Клеопатре после ее бегства из сражения?

Когда я откровенно призналась, что в этом отношении моя память изменяет мне, Модест продекламировал по-английски:

*I found you as a morsel, cold upon  
Dead Caesar's trencher!  
nay, you were a fragment  
Of Gneius Pompey's!*[4]

Смысл этих стихов я вполне поняла только потом, когда разыскала их в Шекспире (кстати сказать: в нашей жизни не так-то много Цезарей и Помпеев!), но и тогда, по самому тону Модеста, поняла, что он меня оскорбляет. Сердце у меня забилося, я сложила руки и сказала ему:

– Говорите прямо, в чем вы меня обвиняете.

– Я всегда знал, – продолжал Модест, как

бы не услышав моего вопроса, – что истинная любовь женщине недоступна. Мужчина любви может пожертвовать всей своей жизнью, может погибнуть ради любви и будет счастлив своей гибелью. А женщина или ищет в любви забавы (и это еще самое лучшее!), или привязывается бессмысленно к человеку, служит ему, как раба, и счастлива этой своей собачьей привязанностью. Мужчина в любви – герой или жертва. Женщина в любви – или проститутка или мать. От любви убивают себя или мужчины, настоящие мужчины, зрелые люди, понимающие, что они делают, или девчонки в шестнадцать лет, воображающие, что они влюблены. Это говорит статистика самоубийств. Требовать от женщины любви так же смешно, как требовать зоркости от крота!

Я повторила свой вопрос... Модест обернулся ко мне и произнес отдельно:

– Я вас обвиняю в том, что вы – лицемерка. Вы клялись мне в любви и со мной обманывали вашего мужа. А у меня есть несомненные доказательства, что с другим вы обманывали меня. Зачем вы это делали?

Когда на меня нападают открыто, я чувствую в себе силы неодолимые и готова идти на все. На минуту мне показалось, что желанный разрыв с Модестом, разрыв, который распутает все мои отношения, близок. И гордо я сказала Модесту:

– Не хочу отвечать вам. Это было бы недостойно меня.

Еще минуту я думала, что Модест, не сказав ни слова, повернется и выйдет из комнаты. Он страшно побледнел. Но вдруг весь он изменился, как-то осунулся, опустился в кресло и заговорил совсем другим, надломленным голосом:

– Талия! Талия! Зачем ты это сделала! Я знал многих женщин, многие меня любили безумно, вот с той собачьей преданностью, о которой я только что говорил. Но только в тебе, в твоём проституированном теле, в твоей эгоистической душе (записываю слово в слово) нашел я что-то такое, без чего уже не могу жить! Талия! Я готов отдать тебе всецело, тебе одной; только и ты отдайся мне так же! Мы уедем с тобой отсюда куда-нибудь на край света в Капштадт, в Мельбурн, на Лабрадор.

Мы будем жить только друг для друга, я буду поклоняться тебе, как божеству, и буду счастлив, потому что буду с тобой.

– Модест, – возразила я, – дело ведь не только в том, чтобы был счастлив ты, но чтобы и я была счастлива.

После этих моих слов Модест ниже опустил голову и уже совсем тихим голосом договорил свою речь.

– Все кончено. Ты меня не любишь. Значит, я побежден. Ах, я слишком понадеялся на свои силы. Я думал, что все могу снести, даже разрыв с тобой! Нет! есть вещи, которые ломают меня, как ветер сухие стебли... Что ж, произноси мой приговор!

С последними словами Модест совсем уронил голову на грудь, и мне показалось, что он плачет. Так было непривычно видеть Модеста растроганным, притом до слез, что весь гнев у меня пропал. Растаяла моя твердость и обратилась в нежную снисходительность. Я села рядом с Модестом и ласковым голосом стала его успокаивать...

Так прошло то мое свидание с Модестом, которого я так боялась. Модест вошел ко мне,

как судья, как господин, а уходил от меня, как ребенок, которого приласкала старшая сестра. Он даже благодарил меня за все те клятвы и обещания, какие я ему дала, не заметив, что за ними была пустота!

Уф! Я чувствую, словно какие-то вериги спали у меня с тела! Модест плачущий, Модест, просящий у меня утешения, не страшен мне! Я победила. Я свободна. Мне хочется ликовать и петь пэан – так, кажется, называются победные песни?

### XIII

**16** октября Почувствовав новую внутреннюю свободу, я поехала сегодня к Володе, которого последнее время забрасываю на целые недели. Я думала, что это мое посещение будет для него неожиданным подарком, которому он безумно обрадуется. Вышло совсем не так.

Встретил меня Володя угрюмо, сначала ничего не хотел говорить, потом плакал, еще после стал осыпать упреками, совсем как Модест. Причина? Сперва мальчик придумывал разные предлоги своего гнева, вроде того, что я румянюсь (глупый, он воображал, что мы

употребляем румяна, как наши бабушки!), но, наконец, признался, он получил новое подтверждение того, что у меня связь с Модестом.

Как это скучно! Мужчины не довольствуются тем, что мы им отдаемся, и даже тем, что мы их любим. Каждому из них надобно, чтобы мы отдавались только одному ему и любили его так, как ему того хочется. Володя не понимает, что ему даже взять нечем того, что я отдаю в себе (душевно и телесно) Модесту, как и Модесту нечем взять того, что я отдаю Володе. Все твердят: я хочу тебя всю, но ни один не подумает, достаточно ли глубока и широка для того его душа!

Я очень резко сказала это все Володе, – конечно, не признаваясь в своей близости к Модесту, – и ушла от него, не сняв шляпы. Мне очень нравится этот мальчик, губы его пахнут, как земляника в июле, и всего его хочется искусать до крови, но больше я не допущу никаких уступок! Я преодолела в своей душе чувство к Модесту, преодолею и нежность к Володе. Если они оба идут к тому, чтобы я их бросила, тем лучше: я не испугаюсь остаться

одна!

От Володи я заехала к Вере. Ее все называют моей подругой, и я, правда, люблю ее больше других. Мне только не нравится, что одевается она слишком дорого и крикливо – в этом дурной вкус. Я думала, что этот визит меня успокоит, но совсем напротив.

Прежде всего Вера опять облепила меня изъявлениями пошлых соболезнований, словно бумажками от конфет. Потом повела меня смотреть своего сына, показывала мне его новые игрушки и весьма искренно радовалась, когда я безразлично хвалила и игрушки и сына. Еще после, за кофе, она пересказала мне все сплетни за то время, что я не бывала в нашем «свете». Я узнала, какие из наших дам переменили любовников, но так как действующие лица все одни и те же, то можно заранее вычислить по формуле, которую мы учили в алгебре, число возможных *combinaisons*[5] из данного числа мужчин и женщин.

Наконец, Вера перешла к интимным признаниям и рассказала мне, как ее бросил ее француз, о чем я знала только смутно. При

этом рассказе лицо Веры перекосилось, она стала некрасивой, слова стала выбирать грубые и вообще произвела на меня впечатление отвратительное. Говоря о Лидочке Веретеновой, которая оказалась ее счастливой соперницей, она сказала мне буквально следующее:

– Знаешь, Nathalie, я не могу ручаться за себя, что когда-нибудь в театре, в фойэ, не ки- нусь на нее и не избью ее, как простая прач- ка.

Я уверена, что она говорила искренно. О, ревность! «чудовище с зелеными глазами», сказал Шекспир. Нет, слепой зверь!

#### XIV

**18** октября. Поздно ночью  
Уверяют, что бывают решения бессознательные. Наш мозг, незаметно для нас самих, вырабатывает суждения, которые руководят нашими поступками. Конечно, сегодня я подчинялась такому бессознательному решению.

Самой мне казалось, что я просто хочу вечером пройтись по улицам. Но почему я оделась как можно проще, надела свой старый,

вышедший из моды, костюм, прошлогоднюю шляпку, опустила на лицо белую вуаль, позаботилась, чтобы меня не узнали? Лидочка, видя, что я ухожу вечером, выбежала ко мне с испуганными, широко открытыми глазами: должно быть, она подумала, что я собираюсь к Модесту.

– Милая девочка, я устала, хочу пройтись.

– Возьми меня с собой.

– Нет, мне хочется быть одной.

– Позволь заложить коляску.

– Не надо.

Я вышла. Был час сумерек. Зажигали фонари. На улице было серо, страшно, неприятно. Люди проходили мимо, торопливо, занятые.

Я шла без цели, вернее, без сознательной цели, и незаметно вышла на бульвары.

Ко мне «пристал» какой-то старичок, предлагая «прокатиться». Он был низенький и противный. Я перешла на другой тротуар.

Потом заговаривало со мной еще несколько уличных завсегдатаев, из которых один соблазнял меня пятью рублями. Я отмалчивалась, они отставали.

Так я прошла до самого храма Христа Спа-

сителя. Устала страшно. Около храма было причудливо. Каменное строение, прозрачно-белое, среди теней, казалось призрачным. А качающиеся тени электрических фонарей казались реальными и живыми.

Я постояла у каменного парапета сада; потом пошла назад. Минутами мне хотелось взять извозчика и ехать домой. Четверть часа спустя я, конечно, так и поступила бы.

На уровне Никитского бульвара меня догнал какой-то молодой человек. Он был в шляпе с большими полями и одет хорошо. Явно он был пьян.

Он мне сказал:

– Мадонна! позвольте мне быть вашим пажом.

Я посмотрела на его лицо с рыжеватой бородкой и ответила:

– Для пажа вы слишком стары.

– Тогда вашим рыцарем.

– А посвящены ли вы в рыцари?

– Меня посвятил славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский. Все это было глупо, но разве можно рассчитывать, что повстречаешь на улице «Помпея» или «Цезаря».

Я покорно шла рядом с незнакомцем, а он продолжал пьяную болтовню:

– Мадонна! На эту ночь я избираю вас дамой своего сердца. И своего портмоне, если вам угодно. Разве чувство измеряется фунтами и аршинами? Я буду вам верен одну ночь, но моя верность будет тверже, чем рыцаря Тогенбурга. У меня не будет времени вызвать на бой для прославления вашего имени великанов и волшебников, но я вызываю сон, всепобедный сон, и всяческую усталость и клянусь вам сражать этих демонов дотопле, доколе вам будет угодно делить со мной ваши часы. Для прославления вашего имени, сказал я, но я еще его не знаю.

– Как и я вашего.

– Меня зовут дон Хуан Фердинанд Кортес, маркиз делла Валле Оахаки. Я – новое воплощение завоевателя Мексики. Если же имя мое кажется вам слишком длинным, вы можете называть меня просто Хуаном.

– Позвольте называть вас Жуаном, потому что мое имя донна Анна.

– О, мадонна! Едем на наш пир, и да явится в свой час к нам статуя твоего покойного му-

жа. Командор! Приглашаю тебя, приходи и стань на страже у дверей нашей спальни.

– Вам приходится передавать приглашение лично за неимением Лепорелло?

– Лепорелло ждет нас. Но, подобно божественной Дульцинее, превращенной в Альдонсу, злыми чарами обращен он в ресторанного официанта. Едем, и вы его увидите!

Незнакомец сделал знак лихачу и предложил мне садиться в пролетку. Я повиновалась. Мы полетели вдоль бульвара, продолжая шуточный разговор.

Через несколько минут мы были в отдельной комнате гостиницы. На столе стояло шампанское. Так как оказалось, что мой спутник одет изысканно и, по всему судя, принадлежит к высшим слоям общества, я стала бояться, что впоследствии он меня где-нибудь встретит и узнает. Я усердно наливала ему вина, и он пьянел.

Был страшный соблазн в том, что мы не знали друг друга, что мы, один для другого, вышли из тайны и должны были вернуться в тайну.

Незнакомец стал на колени передо мной и

стал говорить:

– Донна Анна! Ты – прекрасна. Ты – прекраснее всех женщин, каких я видел на свете. Хочешь, я с сегодняшнего вечера порву свою жизнь пополам и отныне останусь с тобой навсегда. Буду твоим рыцарем, твоим пажом, твоим служителем. Мы уедем на твою истинную родину, в Севилью, или куда хочешь. Брось свою жизнь, отдайся мне, и я буду поклоняться тебе, как божеству.

В словах незнакомца было столько совпадений с речами Модеста, что мне стало жутко. Я постаралась стряхнуть с себя этот кошмар и повернуть наше свидание в другую сторону. Сделать это было не трудно...

Но когда незнакомец, немного спустя, восторженно целовал мне колени, жуткое чувство вторично овладело мной: мне представилось, что меня целует Володя.

Мы расстались под утро. Незнакомец настойчиво требовал, чтобы я дала ему свой адрес. Я назвала какие-то фиктивные буквы, предложив писать *poste-restante*.

Но я более никогда в жизни не хочу увидеть моего Дон Жуана.

Прощаясь, он, не без колебания, вложил мне в руку бумажку в двадцать пять рублей, Я взяла. Вот первая плата, которую я получила за продажу своего тела. Впрочем, нет: раньше мне за то же платил мой муж.

## XV

**19** октября

У меня голова кружится от тех открытий, которые я сделала. В первый раз в жизни я боюсь окончательных выводов. Мне страшно мыслить.

Сегодня я проснулась поздно и медлила вставать. Сознаюсь, мне страшно было встретиться с Лидочкой. Лидочка знала, что я вернулась домой поздно ночью, и могла думать, что ночь я провела у Модеста.

Вот почему мне стало очень не по себе, когда в столовой, где я пила кофе, ко мне подошла Лидочка.

– Наташа, мне надо говорить с тобой.

– После, моя девочка, я утомлена очень, у меня голова болит.

– Нет, нет, теперь.

Допивая кофе, я рассматривала Лидочку. Лицо ее было бледно, без следов слез, выраже-

ние глаз какое-то сухое и решительное.

Мы перешли в маленькую гостиную, и Лидочка здесь спросила меня:

– Знаешь, кто здесь был вчера?

– Где здесь?

– У нас.

– Кто же?

– Модест Никандрович.

– Что ж такого. Он не застал меня дома.

Приедет другой раз.

Мне пришло в голову, не хочет ли Лидочка дать мне понять, что Модест, не застав меня дома, так сказать, уличил меня в неверности себе. Но Лидочка, с расчетом на свое торжество, продолжала, прямо глядя мне в лицо:

– Он был не у тебя. Он был у нас в доме тайно.

– Ты говоришь глупости. У кого же он был?

– У Глаши.

Это было абсурдно. Я стала спрашивать. Лидочка рассказала, что она давно подметила какие-то странные отношения между Модестом и Глашей. Вчера, когда меня не было дома, Лидочка по разным признакам догадалась, что Глаша в своей комнате не одна. Ли-

дочка стала следить и около полуночи виде-ла, как Глаша черным ходом выпускала Модеста. Оба они что-то говорили очень оживленно, но вполголоса, и, уходя, Модест поцеловал Глашу в губы.

– Видишь, – с усилием сказала Лидочка, – ты его любишь... а он... обманывает тебя... с твоей горничной.

Рассказ Лидочки взволновал меня сильно, так что сердце начало у меня в груди колотиться, как соскочившее с пружины. Кое-как успокоив Лидочку, я ее отослала и позвала к себе Глашу.

С Глашей говорить пришлось недолго. Она после первых вопросов созналась и, по какому-то атавистическому влечению, повалилась мне в ноги.

Да, она любовница Модеста. Он ее уверил, что любит ее, а за мной ухаживает из чести (как не стыдно ему было повторять Молчалинские слова!). Он обещал взять ее жить к себе и делал ей дорогие подарки. Возил ее кататься за город, и поил шампанским, и потом «пользовался ее слабостью и доверчивостью». А я ничего не знала и не замечала!

Но вот что самое важное. Модест был у Глаши в ночь на 15 сентября, т. е. в ночь убийства. Правда, она сама проводила Модеста и закрыла за ним дверь еще раньше полночи и, возвращаясь к себе, слышала шаги Виктора Валерьяновича, который ходил взад и вперед по кабинету. Следовательно, убийство совершилось после того, как Модест вышел из нашей квартиры. Но разве не мог он переждать несколько времени на лестнице и вернуться с помощью заранее подобранного ключа? Эта мысль сразу явилась мне и засела у меня в мозгу, словно отравленная стрела.

«Современный человек должен уметь все: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать», – припомнились мне слова Модеста, записанные в этом дневнике.

Что до Глаши, то ей, кажется, такие подозрения не приходили в голову. Но, по ее словам, Модест был очень напуган, узнав об убийстве, тотчас вызвал ее и строго запретил ей говорить кому бы то ни было о том, что был у нее накануне... Глаша исполнила его требование, но совесть ее мучит и ей хочется

пойти все «открыть» следователю.

Разумеется, Глаша рассказывала мне все это длинно и сбивчиво, прерывая слова всхлипываниями и рыданиями. Я поняла теперь, почему Глаша все время, со дня убийства, ходит расстроенной и подавленной. Чтобы хранить большую тайну, надо иметь душу воспитанную: простым существам это не под силу.

Что я могла ответить Глаше? Я ей сказала, что доносить на Модеста, конечно, не надо. Что он поступил дурно, соблазнив бедную девушку, но к убийству, во всяком случае, не причастен, и было бы зло впутывать его в это дело. В заключение я обещала Глаше, что поговорю об ней с Модестом и заставлю его позаботиться об ней как должно.

С Глашей мы расстались друзьями.

О Модесте мне еще надо будет думать, и много думать. Но чего же теперь стоят все его слова о верности и об изменах? Как негодовал он на то, что я ему «изменяю». Ах, люди!

*Кто жил и мыслил, тот не может  
в душе не презирать людей!*

21 октября

Я получила ужасное письмо от Володи. Было в его словах столько отчаянья, что я поехала к нему тотчас. Но последнее время все мои свидания кончаются плохо.

Неудачи начали меня преследовать еще на улице.

Я, разумеется, не могла взять нашей лошади и вышла пешком. Через несколько шагов догнал меня какой-то человек и стал, кланяясь, что-то говорить.

– Я вас не знаю, – сказала я, – что вам надо?

– Помилуйте-с, – возразил человек, – я дяденька горничной вашей, Глаши, Сергей Хмылев, изволили припомнить?

Узнав, с кем я имею дело, я сказала твердо:

– Я вас просила меня оставить. Если вы не отстанете, я позову городского.

– К чему тут полиция, – возразил Хмылев, – это дело деликатное, его надо без посторонних свидетелей проводить.

Я чувствовала, что в руках этого человека конец нити из запутанного клубка событий. Много ли ему известно, я не знала, но была

убеждена, что что-то известно. Я медленно шла по тротуару, а Хмылев семенил за мной и говорил:

– Напрасно вы нами презираете, Наталья Глебовна. Мы люди маленькие, но на маленьких людях мир стоит. Что я у вас прошу: позволения явиться и представить некоторые документики и соображения, – всего только. Вы то и другое рассмотрите и решите, стоит ли оно, чтобы заплатить следующую нам сумму.

– Один раз я уже отказала вам наотрез, – произнесла я отрывочно. – Почему же вы не представили ваших документов в другое место? Видно, они не многого стоят!

– Эх, барыня! Представить документики не долго. И будет то, может быть, кому-нибудь и очень неприятно. Но ведь мне-то никакой из того прибыли не будет или самая малая... А что я с вас прошу? При вашем капитале двадцать тысяч для вас гроши-с, не заметите, если отдадите...

Я сказала медленно:

– Хорошо, я подумаю. Приходите через неделю.

– Нет-с, – возразил Хмылев, – через неделю

поздно-с будет. Дольше трех дней ждать никакой возможности не имею.

– Как угодно, – сказала я.

Тотчас я села в пролетку ближайшего извозчика и приказала ехать, не слушая, что мне еще говорил Хмылев. Но в душе я досадовала сама на себя и не знала, хорошо ли я поступила, отказав Хмылеву. Может быть, следовало рассмотреть его «документики». Я, впрочем, надеялась, что он еще раз явится ко мне.

Вдруг на повороте из Настасьинского переулка какой-то человек прыгнул с тротуара, замахал руками и остановил моего извозчика. Я узнала своего рыжего Дон Жуана.

– Донна Анна! Донна Анна! – восклицал он. – Я брошусь под колеса, если вы не отзоветесь. Я помешался с того дня, как встретил вас. Я не могу без вас жить.

Редкие прохожие останавливались и смотрели на скандальную сцену.

– Etez-vous fou, monsieur, je ne vous connais pas[6], – сказала я почему-то по-французски.

Извозчик хлестнул лошадь. Незнакомец минуты две еще бежал за моей пролеткой, по-

том отстал.

Настроение мое окончательно испортилось. То была уже не досада, а какая-то злоба на себя и на весь мир...

*В тот же день*

Приезжала Вера, прервала меня, сидела час, говорила глупости. Продолжаю.

Володю я нашла в состоянии крайнего возбуждения. Он исхудал, словно после жестокой болезни. С горящими зрачками он имел вид маленького пророка.

В чем дело? Ах, он узнал все, и окончательно, о моих отношениях к Модесту; ему даже передали мое письмо к Модесту, которое тот ухитрился где-то потерять.

На этот раз сведения Володи оказались столь точными, что мне осталось только удивляться, кто мог ему сообщить их. Одно я могу предположить, это – что в доносе участвовал сам Модест. Чтобы избавиться от соперника, он известил его о самом себе и сам подслал ему одно из моих писем (не могу я поверить, что Модест «потерял» его!). Такой дьявольский план достоин черной души Моде-

ста.

Во всяком случае, отпираться было невозможно. Я сказала Володе прямо, что он мне нравится, но что мне его маленькой души мало. Что слишком многого во мне он не может понять. Что во многом он не может быть моим сотоварищем. Он нежен, робок, правдив, добродетелен. Это все мне нравится. Но, кроме того, я люблю мужскую силу, люблю страсть, люблю исхищенность и изысканность чувств. Если он хочет ставить точки на *i*, я – развратна. Такой меня создал бог или жизнь, и я хочу оставаться сама собой. Мне, как спутник, как друг, как любовник, нужен человек, который был бы способен меня понимать всю, отвечать на все запросы моей души. Если нет такого одного, мне нужно двоих, троих, пятерых, почему я знаю сколько! Пусть он, Владимир, усложняет и возвышает свою душу, пусть он дорастает до меня, пусть он одолеет меня в поединке любви – и я буду рада оказаться побежденной. Но поддаваться или притворяться побежденной я не хочу.

Приблизительно так я говорила Володе. Он тихо рыдал. Мне было его очень жалко и хо-

телось поцеловать в его темную голову, в милый, любимый мною затылок. Но я себя преодолела, решив высказать всю правду.

– Итак, вы играли мною, – сказал между рыданиями Володя, – играли, как дети играют плюшевым медведем...

– Я любила тебя, мальчик!

Едва я это сказала, как с Володей сделался настоящий припадок иступления. Он вскочил и стал кричать мне:

– Лжешь! Весь мир знает, что такое любовь, а вы и вам подобные исказили смысл этого слова! Вы обратили любовь в какую-то игру в бирюльки. Вы постоянно твердите о любви, только и делаете, что рассматриваете свое чувство, но все это у вас в голове, а не в сердце! Для вас любовь или разврат, или математическая задача. А любви как любви, как чувства одного человека к другому вы не знаете.

– Твои слова, – сказала я холодно, но мягко, – только доказывают мне еще раз, как ты от меня далек. Как же ты требуешь, чтобы я всю себя отдала тебе, когда ты меня даже не понимаешь? А если я столь изменна, как ты

говоришь, зачем ты от меня требуешь, чтобы я тебя любила?

Я старалась говорить сдержанно и вообще за все время свидания не позволила себе ни одного резкого или жестокого слова. Но Володей решительно владел какой-то демон, потому что, не слушая моих доводов, он вновь стал кричать на меня. Должно быть, он многое передумал в одиночестве последних дней, и теперь все эти думы беспорядочным потоком вырывались из его души.

– У меня было свое дело, – продолжал Володя. – Я был маленьким колесиком, но в великом механизме, который работал на благо целого народа и всего человечества. Я был счастлив своей работой, и у меня было удовлетворение в сознании, что жизнь моя нужна на что-то. Ты меня вырвала из этого мира, ты меня, как сирена, зачаровала своим голосом и заставила сойти с моего корабля. Что же ты мне дала взамен? Жизнь, которая любовь ставит в центр мира как божество, а потом самую эту любовь подменивает лицемерием, фальшью, притворством! Ты научила меня жить одним чувством, а сама вместо

чувства давала мне искусную ложь! Ты постепенно коварством и ласками довела меня до того, что я стал твоим альфонсом. Мне страшно встречаться с прежними друзьями. Я стыжусь своей жизни, своего лица, своих рук!

Володя кричал долго, беснуясь. Я пыталась возражать, он не давал мне вымолвить слова. Я сложила руки и молча смотрела на него. Наконец, в слепой ярости, Володя схватил с этажерки томик Тютчева, бросил его на пол и стал топтать. Мне удалось сказать:

– Научись тому, что первый признак культурного человека – уважение к книге.

– Проклинаю ваши книги, – закричал в ответ Володя. – Все вы книжные, и чувства ваши книжные, и поступки книжные, и говорите так, словно читаете книгу. Не хочу я вас больше! Хочу на волю, к жизни, к делу!

Конечно, в том, что говорил Володя, было немало правды (потому-то я и записываю здесь его слова), но я не могла уступить ему. Надо было раз навсегда отстоять свою свободу. Я сказала Володе все с прежней холодностью:

– Ты молод. У тебя вся жизнь впереди. Вер-

нись к своим друзьям-революционерам. Вероятно, они примут вновь в партию заблудшего товарища.

Поправив шляпу, я пошла к выходу.

Видя, что я ухожу, Володя побледнел смертельно, загородил мне дорогу, стал на колени. Задыхаясь, не договаривая слов, он начал умолять меня не покидать его. Он просил прощения во всем, что говорил, и назвал себя безумцем.

Я готова была заключить мир. Но когда понемногу между нами начали устанавливаться добрые отношения, Володя вдруг поставил такое требование:

– Но ты поклянешься мне, что отныне будешь принадлежать мне одному? ты тому пошлешь тотчас письмо, что все между вами кончено?

– Ты опять сумасшествуешь, – сказала я.

– Я требую, – повторил Володя, вновь побледнев.

Тогда я ответила решительно.

– Своими поступками я хочу распоряжаться сама. Не могу допустить, чтобы кто-либо с меня что-либо требовал. Бери меня такой, ка-

кова я, или ты меня не получишь вовсе.

Я вновь направилась к двери. Володя вновь загородил мне дорогу. Весь бледный, он стоял, простерев руки, словно распятый.

– Ты не уйдешь, – проговорил не он, а его губы. Покачав головой, я попыталась отстранить его от двери. Володя упал на пол и охватил мои ноги.

– Если ты уйдешь, я убью себя.

Я с силой растворила дверь и вышла.

Что удивительного, что после такого вечера я сегодня показалась Вере неинтересной. То есть она мне сказала, что я выгляжу нездоровой. Но я знаю, что значит это слово в устах женщины.

## XVII

**23** октября

Итак, свершилось.

Моя судьба решена, и решена неожиданно.

Всю ночь меня преследовал образ юноши, распятого у двери. Я просыпалась от кошмаров, и мне слышались слова Володи: «Если ты уйдешь, я убью себя». Утром я встала в такой тоске, сносить которую не было сил.

– Да ведь это же любовь! – вдруг сказала я

самой себе. – Ты любишь этого мальчика, гибкого, как былинка. Зачем же ты отказываешься от любви: разве в этом свобода?

Едва я это подумала, как мне показалось, что все решается очень легко. Я тотчас села к столу и без помарок, сразу, написала два письма: Володе и Модесту.

Володю прежде всего я просила простить меня. Я писала ему, что отказалась вчера послать то письмо, которое он требовал, только ради отвлеченного принципа, чтобы сохранить свою свободу. Но что на деле я вполне и окончательно порвала все с «тем другим» (т.е. с Модестом). Я писала еще, что твердо решила в самом скором времени уехать надолго, на несколько лет в Италию и хочу, чтобы он, Володя, ехал со мной...

Модесту письмо я написала гораздо более короткое и сухое, всего несколько фраз. Я напоминала, что Модест дал мне месяц срока, чтобы ответить на его предложение. Но, говорила я, уже теперь мой ответ мне вполне известен, и я могу ему сказать, что никогда его женой я не буду. В заключение я писала, что, согласно со словами Модеста, считаю, после

моего письма, все наши отношения конченными и прошу более не пытаться видеться со мной. Хотела было я прибавить просьбу – вернуть мои письма, которыми Модест, по видимому, не дорожит, так как они попадают в чужие руки, но это показалось мне слишком банальным.

Сначала я думала послать оба письма одновременно, но какой-то инстинкт предосторожности удержал меня. Я отправила только одно письмо – Модесту.

Тотчас же я получила и ответ. Модест преклонялся перед моей волей, но просил последней милости: приехать к нему проститься. После некоторого колебания я согласилась.

Все, что случилось на этом свидании, было для меня и непредвиденно и чудесно. И чувства, которые я пережила за эти часы, проведенные с Модестом, принадлежат к числу самых сильных, какие я испытывала когда-либо.

Непредвиденное ждало меня тотчас за дверью квартиры Модеста. Он встретил меня не в своем обычном костюме, но в странной во-

сточной хламиде, расшитой золотом. Обстановке комнат тоже был придан восточный, древнехалдейский характер. Картины со стен были сняты.

Я вспомнила слова татап, что Модест сумасшедший, и испугалась.

– Модест, ты не помешался? – спросила я.

– Нет, царица! Но эти священные часы нашего с тобой прощания я хочу провести вне ненавистной и нестерпимой стихии современности. Тебя, как и меня, равно мучит пошлость нашей жизни, и я не хочу, чтобы в наши последние воспоминания врывалось что-нибудь из нее: звонки телефона или свистки автомобиля. Я хочу на несколько часов погрузить тебя и себя в более благородную атмосферу.

Комнаты Модеста оказались преобразенными: они были все убраны в древнеассирийском стиле. Модест откуда-то достал множество статуй и барельефов, изображающих ассирийских богов и царей, увесил стены странным, древним оружием, лампочки превратил в факелы, весь воздух напоил какими-то сильными, пряными духами и курениями. Я

себя чувствовала не то в музее, не то в храме, мне было странно и не по себе, но действительность как-то отошла от меня, и я почти забыла, зачем я здесь.

Модест долгое время ни словом не напоминал ни о моем, ни о своем письме. Он совершенно серьезным тоном, словно только за этим приглашал меня, рассказывал мне мифы о герое Издубаре и о схождении богини Истар в Ад. На какой-то странной дудке он играл мне простую, но своеобразную мелодию, которую назвал гимном Луне. Потом он шептал мне нежные признания в своей любви, превращая их почти в псалмы, говоря кадансированной прозой, употребляя пышные, чисто восточные выражения.

От аромата курений у меня кружилась голова. Одно время я плохо сознавала, что я делаю и говорю. И о цели своего приезда я почти совсем забыла. Мне было хорошо с Модестом, и я не спешила уезжать.

Мы перешли в спальню. Вместо постели в ней было сооружено высокое ложе, поставленное на изображении четырех крылатых львов. В глубине комнаты на треножнике ку-

рились легким дымом какие-то сильно пахнущие снадобья.

– Может быть, ты хочешь меня усыпить и убить? – спросила я.

– Нет, моя царица, – возразил Модест, – я хочу убить воспоминания только. Это жертва бескровная. И еще я хочу молить древних богов, чтобы они послали нам ту полноту страсти и то самозабвение, какое знали люди их времен. Хочу молить, чтобы меня поддержал герой Мардук, а тебе дала силы богиня Эа.

Без малейшей черты шутки или игры Модест бросил на жаровню какие-то зерна и палниц. Длинная его одежда распростерлась на полу, и черная его голова коснулась самого пола. Ему так шла эта жреческая поза, что я почти почувствовала себя в древнем Вавилоне, ночью, в башне, отроковицей, ждущей сошествия бога Бэла... Я на время забыла все свои мучительные мысли и самую свою жизнь, помнила только, что я наедине с ним, с мужчиной, с тем, кому я должна принадлежать...

Обычно я во все минуты, даже в самые интимные, сохраняю полное обладание своим

сознанием. Но этот раз час, прошедший на ассирийском ложе, в полутемной комнате, в запахе пряных курений, показался мне каким-то слиянием яви и сна, чем-то, стоящим на границе действительности и мечты. Я говорила что-то, слушала какие-то речи, но не сумела бы записать их здесь, пером по бумаге, в грамматически правильных предложениях: то было нечто иное...

Понемногу словно из редющего тумана стали выступать передо мной слова Модеста:

– Все же я тебя любил, царица, любил всей полнотой чувства, не знающего предела и не желающего границ. Что бы ни совершала ты, что бы ни совершал я, отвечала ли ты мне на любовь или оскорбляла меня, отваживался ли я на великий подвиг или на низкое преступление, эта любовь оставалась неизменной. И что ни ждет нас в будущем, жизнь или смерть, существование или небытие, в этом мире и в других мирах, я буду любить тебя. Уеду ли я на свой далекий итальянский остров или направлю себе прямо в сердце ассирийский клинок, я буду любить тебя. Буду изнемогать от ненужной жизни, благословляя

твое имя, и в минуту смерти позову тебя, потому что, кроме любви к тебе, нет, не было и не будет у меня божества!

Долго я слушала эти ласкательные речи, полузакрыв глаза, убаюкиваясь нежными словами, как милой музыкой, но вдруг села на ложе и, смотря Модесту в лицо, спросила:

– Модест, это ты убил моего мужа, Виктора?

Никогда не видела я, чтобы люди так бледнели, как побледнел Модест при моем вопросе. При слабом свете завуалированных электрических лампочек, изображавших факелы, лицо Модеста показалось мне белее белого цвета. Его глаза остановились на мне с тем выражением ужаса, какое можно видеть лишь на картинках. Должно быть, с полминуты длилось молчание, и в этой комнате, похожей на склеп, стояла такая тишина, что треск пламени на треножнике производил впечатление страшного грохота.

Медленно Модест также сел рядом со мной и произнес тихо:

– Я.

И снова мы молчали сколько-то времени.

Потом я опять спросила:

– Зачем ты это сделал?

– Я люблю тебя, – ответил Модест.

– Неправда, – грубо возразила я, – ты все требовал, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты хотел тех денег, которые достались мне после мужа!

С сильным подъемом Модест ответил мне:

– Клянусь тебе всеми святынями, которые мы с тобой признаем, клянусь Искусством, клянусь Любовью, клянусь Смертью (эти большие буквы были в его голосе) – это неправда! Я совершил свой поступок, чтобы обладать тобой безраздельно. Если ты знаешь мою душу, ты должна понять, что деньги сами по себе не могут быть для меня соблазном. Да, я – убил. Убил затем, чтобы в своей любви пройти до последнего предела. Убил затем, чтобы сознавать, что из любви к тебе я пожертвовал всем: своим именем, своей жизнью, своей совестью. Я хотел убедиться в своей силе и узнать, достоин ли я обладать тобой. И вот я побежден, увидел, что я бессилен, как все другие, увидел, что тебя я недостоин, и ты отвергла меня – и я покорно принимаю

свой приговор. Теперь казни меня – ты имеешь на то право, но не оскорбляй подозрениями, которых я не заслужил.

Модест, произнося эту речь, был прекрасен. С обнаженной грудью и шеей он был похож на ассирийского героя. И вдруг какое-то совершенно новое чувство выросло в моей душе, сразу, в одну минуту, как, говорят, вырастает чудесное деревцо в руке факиров. Вдруг Модест предстал предо мной во весь свой рост, и я, наконец, поняла, какая таится в нем сила, схватила его за плечи, наклонила свое лицо к его лицу и воскликнула с последней искренностью:

– Нет, Модест, нет! Не называй себя побежденным! Все, что я говорила и писала тебе, – неправда. Я тебя люблю, и я буду твоей – твоей женой, рабой, чем хочешь. И ты будешь жить, и мы будем счастливы!

Модест смотрел на меня, словно не понимая моих слов, потом проговорил угрюмо:

– Итак, ты меня прощаешь... Но знаешь ли ты, что я сам не могу простить себе? Больше мне ничего не должно таить от тебя, и я тебе сознаюсь: мне страшно того, что я совершил.

Я думал, что моя душа выдержит испытание, что она – иная, чем у других. Что же! я мучусь, как самый обыкновенный преступник, чуть ли не угрызениями совести!

Мне бывает страшно оставаться одному ночью в комнате! Вот почему я говорю, что я побежден. И ты должна оставить меня, Талия, потому что я оказался недостоин тебя... Ты была права в своем письме...

Но во мне уже было только одно чувство – безмерный, неодолимый восторг перед этим человеком, который посмел совершить и совершил то, на что современный человек не смеет отважиться. В ту минуту Модест мне казался истинным «*übermensch*»[7], и я хотела лишь одного – спасти его. Я ему сказала:

– Полно, Модест! Твои страхи – временное расстройство нервов, которое ты сумеешь одолеть. Иди же до конца, если ты уже совершил решительный шаг. Теперь тебе говорить об отступлении, о бегстве – стыдно. Будь тем, каким я тебя хочу видеть, – и в награду я тебе отдаю себя, всю, вполне, как ты этого всегда хотел.

Я не лгала, я именно так чувствовала в те

минуты. Я ободряла Модеста, я напоминала ему его прежние слова, я обращалась к его уму и к его гордости... Понемногу мрачное выражение сошло с лица Модеста, он поддался моему влиянию, он вновь стал самим собой, сильным, решительным...

И вот исчезли два любовника, которые за полчаса перед тем были в этой комнате: на их месте оказались два сообщника. Мы бросили все споры о любви и свободе в любви, которые еще так недавно казались нам важнее всего на свете. Мы стали говорить деловым тоном о том, что должно теперь делать.

Я доказала Модесту, что он напрасно так полагается на свою безопасность. Слишком много людей замешано в это дело. Я ему напомнила о Глаше и рассказала о последней моей встрече с Хмылевым. Рассказала, каким образом сама разгадала страшную тайну. Теперь одного неосторожного слова достаточно, чтобы поселить в ком не следует подозрение...

В конце концов мы порешили, что Модест должен не медля выехать за границу и жить там под чужим именем. Я же должна до-

ждать своего утверждения в правах наследства и тотчас обратить все свое состояние в наличные деньги. После этого я присоединюсь к Модесту, и на несколько лет мы уедем куда-нибудь далеко, хотя бы в Буенос-Айрес...

От Модеста я вышла рано: не надо подавать повода к лишним толкам. Вернувшись домой, я разорвала письмо, написанное Володе.

Боже мой! а что, если эти строки попадут кому-нибудь на глаза? Что из того, что я храню свой дневник в тайном ящике. Есть руки, которые проникают всюду.

*Эти страницы надо вырезать.*

## XVIII

**24** октября

После того, как я записала здесь признание Модеста, я решаюсь взять этот дневник в руки, только заперев дверь комнаты. Но я должна сохранить для самой себя то, что пережила сегодня.

Утром я получила письмо от Володи. Он прощался со мной и писал, что не может более жить после того, как я, его святыня, для него осквернена... Я тотчас поехала к нему, но

было уже поздно. Письмо он велел отнести мне только утром, а сам в полночь выстрелил себе в сердце. Его повезли в больницу, но по дороге, в карете «скорой помощи», он умер.

Смотреть тело Володи я не поехала: это было бы слишком жестокое испытание для моих нервов.

Несмотря на то, облик Володи преследует меня, как кошмар. Везде вижу его бледное лицо, какой он был, когда, распятый, преграждал мне дорогу к двери. Этот лик мерещится мне и на подушке, и на белой стене, и в раскрытой книге. Его губы скривлены, словно он хочет проклясть меня. Надо овладеть собой, преодолеть волнение, иначе я помешаюсь...

Его последние слова ко мне были: «Если ты уйдешь, я убью себя». Но сколько раз прежде он говорил мне, что убьет себя. Я тоже уходила, не слушая его угроз, и он не стрелял в себя из револьвера. Могу ли я, по совести, принять его кровь на свою душу?

И все же, если бы я не ушла, если бы еще раз успокоила его нежностью и лаской, еще раз обманула его обещаниями и клятвами...

Что же! это только отсрочило бы события...

А если бы я совсем не становилась на пути его жизни, не смущала его наивной души, не вовлекала его в мир страстей, для бурь которого оказался он слишком слабым, слишком хрупким?

Господи! Разве я виновата, если люблю и если меня любят! Никогда я не требовала любви. Я искала лишь одного: чтобы те, кто мне нравится, пожелали провести со мной столько-то часов или дней, или недель. Если мне отказывали, я покорялась, не добиваясь более. Всем я предоставляла свободу любить меня или нет, быть мне верными или покидать меня. Почему же мне не дают такой же свободы, требуют, чтобы я непременно любила такого-то, любила именно так, как ему угодно, и столько времени, сколько ему угодно, т. е. вечно? А если я отказываюсь, он убивает себя, а мне весь мир кричит: ты – убийца!

Я хочу свободы в любви, той свободы, о которой вы все говорите и которой не даете никому. Я хочу любить или не любить, или разлюбить по своей воле или пусть по своей прихоти, а не по вашей. Всем, всем я готова

предоставить то же право, какое спрашиваю себе.

Мне говорят, что я красива и что красота обязывает. Но я и не таю своей красоты, как скупец, как скряга. Любуйтесь мною, берите мою красоту! Кому я отказывала из тех, кто искренно добивался обладать мною? Но зачем же вы хотите сделать меня своей собственностью и мою красоту присвоить себе? Когда же я вырываюсь из цепей, вы называете меня проституткой и, как последний довод, стреляете себе в сердце!

Или я безнадежно глупа, или сошла с ума, или это – величайшая несправедливость в мире, проходящая сквозь века. Все мужчины тянут руки к женщине и кричат ей: хочу тебя, но ты должна быть только моей и ничьей больше, иначе ты преступница. И каждый уверен, что у него все права на каждую женщину, а у той нет никаких прав на самое себя!

Володя, любимый мой Володя, милый мальчик, сошедший с портрета Ван-Дика! Как мне хорошо было с тобой, в черной гондоле, на канале, где-нибудь около Джованни и Пао-

ло, слушать венецианские серенады и смотреть в твои скромные глаза под большими ресницами! Как мне хорошо было с тобой в нашей комнате, которую потом ты убрал гравюрами с Рембрандта, где ты проводил дни и недели, ожидая моего прихода! Какие у тебя были ласковые губы, пахнувшие, как земляника в июле, какие нежные плечи, как у девочки, которые хотелось искусать в кровь, как умел ты лепетать слова наивные и страстные вместе... Никогда больше я тебя не поцелую, не обниму, не увижу, мой мальчик!

Прости меня, Володя, хотя я и не виновата в твоей смерти. Я отдавала тебе все, что могла, а может быть, и больше. То, чего ты требовал, я отдать не могла.

Но не надо думать, не надо, а то я помешаюсь. Одолеть волнение, овладеть собой, забыть этот облик распятого у двери юноши! А, как тяжело мне сегодня!

## XIX

**О**коло года спустя  
С отвращением беру я в руки эту тетрадь. Мысль, что чужие пальцы перелистывали эти страницы, что чужие глаза читали

мои самые интимные признания, делают ее для меня ненавистной. Но, просто и коротко, все же запишу я о последних событиях в моей жизни, чтобы повесть, начатая здесь, не осталась без окончания.

Через день после самоубийства Володи Модеста арестовали. Арестовали на вокзале, когда он уже готов был ехать в Финляндию, а оттуда за границу. Оказалось, что его подозревали уже давно, только старались собрать больше улик и потому до времени оставляли на свободе. Затем арестовали и меня, так что несколько недель я провела в самой настоящей тюрьме, пока дядя не взял меня на поруки, под залог.

Мой дневник сначала попал в руки полиции, которая, производя у меня обыск, ухитрилась отыскать его в потайном ящике моего письменного стола. Однако дяде Платону, как моему доверенному лицу, удалось добиться, что этот дневник был ему возвращен среди разных «ничтожных» бумаг, а не передан следователю и не приобщен к числу «вещественных доказательств». Иначе были бы все улики для обвинения меня если не в соучастии,

то в «недонесении» на преступника, который был мне известен. Всего вероятнее, что присяжные меня оправдали бы, но мне пришлось бы пережить все унижения суда. Теперь же предварительное следствие выяснило мою «непричастность» к преступлению, и мне не пришлось садиться на «скамью» подсудимых, под лорнеты моих прежних подруг...

Так, по крайней мере, изъяснял мне ход дела мой дядя Платон, который взял с меня за хлопоты десять тысяч. Эти деньги, по его словам, пошли на «подмазку» кого следует... Я не очень-то доверяю всему этому рассказу и скорее склонна думать, что мой дневник если был у кого в руках, то не у полицейских, а только у самого дядюшки, и что десять тысяч рублей целиком остались в его карманах. Но, право, не таково было мое положение, чтобы торговаться или спорить, и я с удовольствием отдала бы впятеро больше, только бы избавиться от позора.

Против Модеста улики были подавляющие. Глаша рассказала все и еще припомнила, что после одного посещения Модеста пропал ключ от черного хода, так что пришлось

сделать новый. Среди предметов, найденных в комнате мужа после убийства, оказалась пуговица с рукава костюма Модеста: Виктор, защищаясь, схватил Модеста за рукав и оборвал ее. Выяснили определенно, что в ночь убийства Модест вернулся к себе лишь под утро, и т. д.

Впрочем, Модест и не спорил с очевидностью. Когда он увидел, что обстоятельства обличают его, он сознался и рассказал подробно, как совершил свое преступление. При этом он со всей твердостью стоял на том, что мне ничего не было известно, ни до убийства, ни после, что никогда, ни одним словом, не давал он мне понять, что убийца – он. Говорят, что эта твердость оказала мне большую услугу. Если бы Модест обмолвился, что признавался мне в своем поступке, не миновать бы мне скамьи с жандармами...

Газетные писаки хорошо поживились около этого скандального дела. Сначала, когда я читала все, что писалось в «прессе» о Модесте, обо мне и моем муже, со мной делались припадки ярости от сознания своего бессилия перед наглыми оскорбителями. Хотелось ку-

да-то побежать, кому-то плюнуть в лицо... Потом – потом я перестала читать газеты и вдруг поняла, что все написанное в них не имеет ровно никакого значения.

Мотивом своего преступления Модест объявил ревность. По его словам, он был ослеплен своей любовью ко мне и не мог переносить мысли, что кто-то другой со мной близок. Модест рассказывал, что, проникнув ночью в кабинет к Виктору, он потребовал, чтобы Виктор дал мне добровольно развод. Когда Виктор отказался, Модест в раздражении, не помня себя, схватил лежавшую на этажерке гирю и убил соперника... Конечно, этот рассказ никому не мог показаться правдоподобным, потому что непонятым оставалось, зачем Модесту понадобилось являться к Виктору тайно, ночью, с помощью украденного ключа... Модест объяснял это причудой своей художественной души, но никто не склонен считать позволительным для человека наших дней то, что нас пленяет в Бенвенуто Челлини Караваджо.

На суде Модест держал себя с достоинством. Так мне рассказывали, так как сама я

не присутствовала. Я была вызвана только как свидетельница, но перед судом, от всего пережитого, я заболела нервным расстройством, и найдено было возможным слушать дело без меня. Защитник, *по требованию Модеста*, всю свою речь основал на том, что обвиняемый был ослеплен аффектом ревности. Это не помогло разжалобить присяжных. Модеста приговорили на десять лет каторжные работы. Ужасно.

Что до меня, я убеждена, что Модест – одна из замечательнейших личностей нашего времени. Он прообраз тех людей, которые будут жить в будущих веках и соединят в себе утонченность поздней культуры с силой воли и решимостью первобытного человека. Я убеждена также, что Модест – великий художник и что, при других условиях жизни, его имя было бы вписано в золотую книгу человечества и всеми повторялось бы с трепетом восхищения. Но что до этого «среднему» присяжному, серому, международному вершителю человеческих судеб, безликому голосоподавателю, когда-то приговорившему Сократа к чаше с омегой и недавно Уайльда к Рэдингской

тюрьме!

В своем «последнем слове» Модест просил передать его картины в один из художественных музеев. Вряд ли его просьба будет уважена.

Я до конца не могла уехать из России: сначала связана подпиской о невыезде, а потом была больна. Модест, перед тем как его отправляли из Москвы, просил увидеться с ним. Я не решилась отказать ему, хотя и считала, что это свидание должно быть излишней пыткой и для него и для меня.

Лицом Модест изменился мало, но арестантский халат обезображивал его страшно. Я вспомнила его в мантии ассирийского жреца и зарыдала. Модест поцеловал мне руку и сказал только:

– Освобождаю тебя ото всех твоих клятв.

Не помню, что я ему говорила: вероятно, какой-то незначущий вздор.

Через несколько дней я уезжаю на юг Франции. Я не в силах жить в России, где мое имя стало синонимом всего постыдного. Я не смею показаться в общественном месте, потому что на меня будут показывать пальцами. Я

боюсь встречать на улице знакомых, так как не знаю, захотят ли они поклониться мне. Никто из моих бывших подруг не приехал ко мне, чтобы выразить мне свое сочувствие. А теперь мне были бы дороги даже их утешения!

Управление своими делами я передаю дяде Платону и маман. Оба они весьма этим довольны и, конечно, поживятся около моих денег.

Лидочка едет со мной. Ее преданность, ее ласковость, ее любовь – последняя радость в моем существовании. О, я очень нуждаюсь в нежном прикосновении женских рук и женских губ.

# Рея Сильвия

## *Повесть из жизни VI века*

### I

**М**ария была дочерью Руфия, каллиграфа. Ей не было еще десяти лет, когда 17 декабря 546 года Рим был взят королем готов Тотилою. Великодушный победитель приказал всю ночь трубить в букцины, чтобы римляне, узнав об опасности, могли бежать из родного города. Тотила знал ярость своих воинов и не хотел, чтобы все население древней столицы мира погибло под мечами готов. Бежал и Руфий со своей женой Флоренцией и маленькой дочкой Марией. Беглецы из Рима громадной толпой целую ночь шли по Аппиевой дороге; сотни людей в изнеможении падали на пути. Все же большинству, в том числе и Руфию с семьей, удалось добраться до Бовилл, где, однако, для очень многих не нашлось приюта. Пришлось римлянам расположиться станом в поле. Позднее все разбрелись в разные стороны, ища какого-нибудь пристанища. Некоторые пошли в Кампанию, где их захватыва-

ли в плен господствовавшие там готы; другие добрались до моря и даже получили возможность уехать в Сицилию; третьи остались нищенствовать в окрестностях Бовилл или перенеслись в Самний.

У Руфия был друг, живший около Корбия. К этому бедному человеку по имени Анфимий, промышлявшему на маленьком клочке земли разведением свиней, и повел свою семью Руфий. Анфимий принял беглецов и делил с ними свои скудные запасы. Живя в жалкой хижине свинопаса, Руфий узнал о всех бедствиях, постигших Рим. Тотила одно время грозил скрыть Вечный Город до основания и обратить его в пастбище. Потом готский король смилостивился, удовольствовался тем, что было сожжено несколько участков города и разграблено все, что еще уцелело от алчности и ярости Алариха, Генсериха и Рицимера. Весной 547 года Тотила покинул Рим, но увел с собою всех еще оставшихся в нем жителей. В течение 40 дней столица мира стояла пустой: в ней не было ни одного человека, и по улицам бродили только одичавшие животные и дикие звери. Потом, несмело и поне-

многу, римляне стали возвращаться в свой город. А несколько дней спустя Рим был занят Велисарием и опять присоединен к владениям Восточной империи.

Тогда вернулся в Рим и Руфий с семьей. Они разыскали на Ремурии свой маленький дом, по незначительности его пощаженный грабителями. Почти все скудное имущество Руфиев оказалось цело, в том числе и библиотека с драгоценными для каллиграфа свитками. Казалось, что можно было позабыть пережитые бедствия, как тягостный сон, и продолжать прежнюю жизнь. Но очень скоро выяснилось, что такие надежды обманчивы. Война далеко не кончилась. Пришлось пережить новую осаду Рима Тотилою, когда опять жители сотнями умирали от голода и от недостатка воды. После того, как готы сняли, наконец, безуспешную осаду, Велисарий также покинул Рим, и город оказался под властью алчного византийца Конона, от которого римляне так же убегали, как от врага. Еще после готы вторично заняли Рим, воспользовавшись изменою стражи. Впрочем, на этот раз Тотила не только не грабил города, но даже пытался

звести в нем некоторый порядок и хотел восстановить разрушенные здания. Наконец, после смерти Тотилы, Рим был взят Нарсесом. Это было в 552 году.

Как пережили Руфии эти бедственные шесть лет, трудно даже выяснить. В годы войны и осад никому не было надобности в искусстве каллиграфа. Никто более не заказывал Руфию списков с творений древних поэтов или отцов церкви. Не было в городе таких властей, к которым нужно было бы писать каллиграфически разного рода прошения. Жителей в городе было мало, денег еще меньше, а всего меньше съестных припасов. Приходилось добывать себе пропитание всякой случайной работой, служа и готам, и византийцам, не брезгуя порой и ремеслом каменщика при починке городских стен или носильщика вьюков для войска. При всем том бывали не только дни, но целые недели, когда всей семье случалось голодать. О вине нечего было и думать, и пить надо было скверную воду из цистерн и из Тибра, так как водопроводы были разрушены готами. Только потому и можно было сносить такие лише-

ния, что им подвергались все, без исключения. Потомки сенаторов и патрициев, дети богатейших и знатнейших родов вымаливали на улицах кусок хлеба, как нищие. Рустичиана, дочь Симмаха и вдова Боэция, протягивала руку за подающим.

Неудивительно, что в эти годы маленькая Мария была предоставлена себе самой. В раннем детстве отец выучил ее читать по-гречески и по-латыни. Но после возвращения в город ему некогда было заниматься дальше ее образованием. Целыми днями она делала что ей вздумается. Мать не принуждала девочку помогать по хозяйству, так как и хозяйства почти никакого не было. Чтобы скоротать время, Мария читала книги, сохранявшиеся в доме потому, что их некому было продать. Но чаще уходила из дому и, как дикий зверок, бродила по пустынным улицам, форумам и площадям, слишком обширным для ничтожного теперь населения. Редкие прохожие скоро привыкли к худенькой черноглазой девочке в оборванном платье, шмыгавшей везде, как мышь, и не обращали на нее внимания. Рим сделался как бы громадным домом для

Марии. Она узнала его лучше, чем любой составитель описания его достопримечательностей прежнего времени. День за днем Мария исходила все необъятное пространство города, вмещавшее когда-то свыше миллиона жителей, научилась любить одни его уголки, стала ненавидеть другие. И часто только поздно вечером она возвращалась домой, под невеселый отчий кров, где не раз случалось ей ложиться спать без ужина, после целого дня, проведенного на ногах.

Мария в своих блужданиях по городу забиралась в самые отдаленные части города, по сю и по ту сторону Тибра, где стояли пустые, частью сгоревшие дома, и там мечтала о прошлом величии Рима. Она разглядывала на площадях немногие уцелевшие статуи — огромного быка на Бычьем форуме, бронзовых гигантов-слонов на Священной улице, изображения Домициана, Марка Аврелия и других славных мужей древности, колонны,obelisks, барельефы, стараясь вспомнить, что она обо всем этом читала, и, если недоставало знаний, дополняя прочитанное фантазией. Она проникала в покинутые дворцы быв-

ших богачей, любовалась на жалкие остатки прежней роскоши в убранстве покоев, на мозаику полов, на разноцветные мраморы стен, на стоявшие кое-где пышные столы, кресла, светильники. Точно так же посещала Мария и громады терм, казавшиеся отдельными городами в городе, безлюдные во всякое время, так как не было воды, чтобы питать их ненасытные трубы; в некоторых термах еще можно было видеть великолепные мраморные водоемы, мозаичные полы, купальные кресла и ванны из драгоценного алебастра или порфира, а местами и полуразбитые статуи, которыми не воспользовались войска ни готов, ни византийцев, как ядрами для своих баллист. В тишине огромных покоев Марии слышались отголоски беспечной и богатой жизни, собиравшей сюда ежедневно тысячи и тысячи посетителей, приходивших встретить друзей, поспорить о литературе или философии, умастить изнеженное тело перед праздничным пиром. В Большом цирке, представлявшемся диким оврагом, так как он весь зарос травой и бурьяном, Мария думала о торжественных состязаниях ристателей, на кото-

рых смотрели десятки тысяч зрителей, оглушая счастливых победителей бурей рукоплесканий: Мария не могла не знать об этих празднествах, так как последнее из них (о! горестная тень давнего великолепия!) было устроено еще при ней Тотилою при его втором владычестве в Риме. Иногда же Мария просто уходила на берег Тибра, садилась там в укромном месте, под какой-нибудь полуразрушенной стеной, смотрела на желтые воды прославленной поэтами и ваятелями реки и опять, в тишине безлюдия, думала и мечтала, и еще мечтала и думала.

Мария привыкла жить своими мечтами. Полуразрушенный, полупокинутый город давал щедрую пищу ее воображению. Все, что Мария слышала от старших, все, что она без порядка прочла в книгах отца, смешалось в ее голове в странное, хаотическое, но бесконечно пленительное представление о великом, древнем городе. Она была уверена, что прежний Рим был поистине, как это говорили поэты, средоточием всей красоты, городом-чудом, где все было очарованием, где вся жизнь была один сплошной праздник. Века и

эпохи путались в бедной головке девочки, времена Ореста казались ей столь же отдаленными, как правление Траяна, а царствование мудрого Нумы Помпилия столь же близким, как и Одоакра. Древность была для нее все, что предшествовало готам; далекой, и еще счастливой, стариной – правление Великого Теодориха; новое время начиналось для Марии только со дня ее рождения, с первой осады Рима при Велисарии. В древности все казалось Марии дивно, прекрасно, изумительно, в старине – все привлекательно и благополучно, в новом времени – все бедственно и ужасно. И Мария старалась не замечать жестокой современности, мечтами живя в милой ей древности, среди любимых героев, которыми были и бог Вакх, и второй основатель города Камилл, и Цезарь, вознесшийся звездой на небо, и мудрейший из людей Диоклециан, и несчастнейший из великих Ромул Августул. Все они и многие другие, чьи только имена случалось слышать Марии, были любимцами ее грез и обычными видениями ее полудетских снов.

Мало-помалу Мария в мечтах создала свою

историю Рима, ничем не похожую на ту, которую рассказывал когда-то красноречивый Ливий, а потом другие историки и анналисты. Любуясь уцелевшими статуями, читая полустиертые надписи, Мария все толковала по-своему, везде находила подтверждения своим безудержным вымыслам. Она говорила себе, что такая-то статуя изображает юношу Августа, и уже никто не мог бы уверить девочку, что это – плохой портрет какого-то полуварвара, жившего всего лет пятьдесят назад и заставившего неумелого делателя гробниц обесмертить свои черты из куска дешевого мрамора. Или, видя барельеф, изображающий сцену из «Одиссеи», Мария создавала из него длинный рассказ, в котором опять появлялись ее любимые герои – Марс, Брут или император Гонорий, и потом уже была убеждена, что эту историю вычитала в одной из отцовских книг. Она создавала легенду за легендой, миф за мифом и жила в их мире, как в более подлинном, чем мир, описанный в книгах, а тем более чем тот жалкий мир, который окружал ее.

Намечтавшись вдоволь, утомленная ходь-

бой и измученная голодом, Мария возвращалась в свой родной дом. Там ее угрюмо встретила мать, озлобившаяся от всех пережитых несчастий, сурово совала ей кусок хлеба с сыром или луковицу чесноку, если это находилось в кухне, да присоединяла иногда к скудному ужину несколько бранных слов. Мария, дичась, как пойманная птица, наскоро съела поданное и спешила в свою каморку, на жесткую постель, чтобы опять мечтать, в минуты перед сном и в самом сне, о блаженных, ослепительных временах древности. В исключительно счастливые дни, когда отец бывал дома и в духе, он иногда заговаривал с Марией. Но и тогда быстро их разговор переходил на ту же, милую обоим древность. Мария расспрашивала отца о прошлом Рима и, затаив дыхание, слушала, как старый каллиграф, увлекаясь, начинал говорить о величии империи при Феодосии или декламировал стихи древних поэтов – Вергилия, Авсония и Клавдиана. И еще более помрачался хаос в бедной головке девочки, и порой ей начинало казаться, что действительная жизнь только снится ей, а что в самом деле она живет в бла-

женные годы Энея, Августа или Грациана.

## II

После занятия Рима Нарсесом жизнь в городе стала принимать более или менее обычный ход. Правитель поселился на Палатине, часть разоренных комнат императорского дворца была для него расчищена, и по вечерам они светились огнями. Византийцы привезли с собой деньги, в Риме возобновилась торговля. Большие дороги стали сравнительно безопасны, и обнищавшие жители Кампании повезли в Рим на продажу припасы. Там и сям вновь открылись винные таберны. Появился спрос даже на предметы роскоши, покупавшиеся главным образом женщинами легкого поведения, которые вороньей стаей следовали за разноплеменным войском великого евнуха. Зашмыгали по всем улицам монахи, от которых тоже было можно кое-чем поживиться. Тридцать или сорок тысяч жителей, скопившихся теперь в Риме, считая с войском, придавали городу, особенно в его средней части, вид населенного и даже оживленного места.

Нашлась, наконец, настоящая работа и для

Руфия. Нарсес, а потом его преемник, византийский дукс, принимали разные жалобы и прошения, для переписки которых требовался искусный каллиграф. Эдикты Юстиниана, признавшего одни из актов готских королей и отвергнувшего другие, подавали повод к бесконечным кляузам и судебным процессам. Приходилось переписывать и бумаги, направляемые прямо его святости, императору, в Византию, за что платили сравнительно хорошо. Выпадали и более важные заказы. Один новый монастырь пожелал иметь каллиграфический список богослужебных книг. Какой-то чудака заказал список поэм славного Рутилия. В доме Руфиев опять появилось некоторое довольство. Семья каждый день могла обедать и уже не дрожала за судьбу следующего дня.

Все могло бы пойти хорошо в доме Руфиев, если бы каллиграф, сильно постаревший за годы лишений, не начал пить. Нередко весь заработок он оставлял в какой-нибудь таверне или копоне. Для Флоренции это было жестоким ударом. Она всячески боролась с несчастной страстью мужа, отбирала у него заработанные деньги, но Руфий пускался на

всякие хитрости и всё находил способы напиться. Мария, напротив, любила дни, когда отец бывал пьян. Тогда он возвращался домой веселым, не обращал внимания на плач и укору Флоренции, но охотно звал к себе Марию, если та была дома, и опять говорил ей без конца о прошлом величии Вечного Города и читал ей стихи старых поэтов и своего собственного сочинения. Полубезумная девочка и пьяный отец как-то понимали друг друга и часто до поздней ночи просиживали вдвоем, когда разгневанная Флоренция, бросив их, уходила спать одна.

Сама Мария не изменила своей жизни. Напрасно отец, когда бывал трезв, заставлял ее помогать ему в работе. Напрасно мать гневалась на то, что дочь не разделяет с ней трудов по хозяйству. Когда Марию принуждали, она нехотя, угрюмо переписывала несколько строк или очищала несколько луковиц, но при первой возможности убегала из дому, чтобы опять целый день бродить по своим любимым уголкам города. Ее бранили, когда она возвращалась, но Мария выслушивала все упреки молча, не возражая ни слова. Что

было ей до брани, когда в ее мечтах еще блистали все роскошные картины, которыми она тешила свое воображение, притаившись около порфирной ванны в термах Каракаллы или запрятавшись в густой траве на берегу старого Тибра. Ради того, чтобы у нее не отнимали ее видений, она охотно снесла бы и побои, и всякие мучения. В этих видениях была вся жизнь Марии.

Осенью 554 года Мария видела на улицах Рима триумфальное шествие Нарсеса – последний триумф, отпразднованный в Вечном Городе. Разноплеменное войско евнуха, в которое входили греки, гунны, герулы, гепиды, персы, нестройной толпой шло по Священной улице, неся богатую добычу, отнятую у готов. Воины пели веселые песни на самых разнообразных языках, и их голоса сливались в дикий, оглушающий вой. Полководец, увенчанный лаврами, ехал на колеснице, запряженной белыми конями. У ворот Рима его встретило несколько человек, одетых в белые тоги, выдававших себя за сенаторов. Нарсес через полуразрушенный Рим, по улицам, на которых между мощными плитами камней про-

растала трава, направился к Капитолию. Там Нарсес сложил свой венок перед статуей Юстиниана, откуда-то добытой для этого случая. Потом, уже пешком, опять через весь Рим, проследовал к базилике св. Петра, где был встречен папою и духовенством в торжественных облачениях. Толпившиеся на улицах римляне без особого восторга смотрели на это зрелище, которому действующие лица стремились придать пышность. Торжество византийцев было для римлян делом чужим, почти что торжеством врагов родины.

И на Марию триумф не произвел никакого впечатления. Равнодушными глазами смотрела она на пестрые одежды воинов, на триумфальную тогу евнуха, маленького безбородого старичка с бегающими глазами, на торжественные ризы духовенства. Песни и воинственные крики войска только наводили ужас на Марию. Так непохожим казалось ей все это на те триумфы, которые она так часто воображала в своих одиноких мечтах, – на триумфы Августа, Веспасиана, Валентиниана! Здесь все ей представлялось страшным и безобразным; там все было великолепиие и красо-

та! И, не дождавшись конца триумфа, Мария убежала от базилики св. Петра на Аппиеву дорогу, к своим любимым развалинам терм Каракаллы, чтобы в тиши мраморных зал свободно плакать о невозвратном прошлом и видеть его в грезах вновь живым и прекрасным, каким оно только и может быть. В этот день Мария вернулась домой поздно и не хотела отвечать на расспросы, видела ли она триумф.

Марии в это время было уже почти восемнадцать лет. Она не была красива. Худая, с неразвитой грудью, с болезненным румянцем, с дикими, черными глазами, она скорее пугала, чем привлекала внимание. У нее не было подруг. Когда соседские девушки заговаривали с ней, она им отвечала односложно, отрывисто, спешила прервать всякий разговор. Что они, эти другие девушки, понимали в ее тайных мечтах, в ее заветных видениях! О чем было Марии говорить с ними! Ее считали не то дурочкой, не то помешанной. К тому же она никогда не ходила в церковь. Иногда на пустынной улице пьяный прохожий приставал к Марии, пытался ущипнуть ее за ло-

коть или обнять. Тогда Мария оборонялась, как дикая кошка, царапалась, кусалась, пускала в ход кулаки, и ее оставляли в покое. Нашелся все-таки один юноша-сосед, сын медника, посватавшийся к Марии. Когда мать сказала ей об этом, Мария встретила известие с истинным ужасом. Когда же мать стала настаивать, говоря, что лучшего мужа теперь искать негде, Мария начала рыдать с таким отчаянием, что Флоренция отступилась от нее, порешив, что дочь или еще слишком молода для замужества, или и в самом деле не совсем в своем уме. Так Марию и оставили жить на свободе и наполнять свой бесконечный досуг всем, чем ей угодно.

Проходили дни, недели и месяцы. Руфий работал и пил. Флоренция хлопотала по хозяйству и бранилась. Оба считали себя несчастными и проклинали свою горестную судьбу. Одна Мария была счастлива в мире своих грез. Все меньше и меньше замечала она ненавистную действительность, окружавшую ее. Все глубже и глубже уходила она в царство своих видений. Уже она разговаривала с образами, созданными ее воображени-

ем, как с живыми людьми. Домой она возвращалась в уверенности, что сегодня повстречалась с богиней Вестой, а сегодня – с диктатором Суллою. Она вспоминала то, что пережила в мечтах, как бывшее на самом деле. В часы ночных бесед с пьяным отцом она пересказывала ему эти свои воспоминания, и старый Руфий не удивлялся им: по поводу каждого рассказа у него были наготове какие-нибудь стихи, он дополнял и развивал безумные грезы дочери, и, слушая сквозь сон их странные беседы, Флоренция то плевала и произносила проклятия, то крестилась и шептала молитву Пресвятой Деве.

### III

Весной следующего за триумфом года Марция, блуждая вокруг разрушающихся стен терм Траяна, заметила, что в одном месте, где, по-видимому, уже начинался Эсквилинский холм, есть в земле странное отверстие, словно вход куда-то. Местность была пустынная; кругом стояли только необитаемые, покинутые дома; мостовые были испорчены, и обрывистый склон холма зарос бурьяном. После некоторых стараний Марии удалось добрать-

ся до раскрытой трещины. За ней был темный и узкий проход. Мария без колебания поползла по нему. Ползти пришлось долго в совершенной темноте и в спертom воздухе. Внезапно проход кончился обрывом. Когда глаза Марии привыкли к сумраку, она при слабом свете, доходившем из отверстия, различила, что перед ней обширный зал какого-то неведомого дворца. Подумав немного, девушка сообразила, что ей не удастся осмотреть его без освещения. Она осторожно выбралась назад и весь тот день пробродила в раздумье. Рим казался ей ее достоянием, и она не могла снести мысли, что было в городе что-то, ей неизвестное.

На другой день Мария, запасшись самодельным факелом, вернулась на прежнее место. Не без опасности для себя она спустилась в открытый ею зал и там зажгла факел. Величественный покой предстал ее взорам. Стены до половины были мраморные, а выше расписаны дивной живописью. В нишах стояли бронзовые статуи работы изумительной, казавшиеся живыми людьми. Можно было различить, что пол, засыпанный мусором и зем-

лей, был мозаичный. Налюбовавшись новым зрелищем, Мария смело пошла вперед. Через огромную дверь она проникла в целый лабиринт ходов и переходов, приведших ее в новый зал, еще более великолепный, чем первый. Дальше следовала целая анфилада покоев, убранных мрамором и золотом, стенной живописью и статуями; во многих местах еще стояла драгоценная мебель и разная домашняя утварь тонкой работы. Кругом бегали ящерицы, пауки и мокрицы, шныряли летучие мыши, но Мария не замечала ничего, упоенная единственным зрелищем. Перед ней была жизнь древнего Рима, живая, во всей своей полноте, наконец-то обретенная Марией!

Долго ли Мария наслаждалась в тот день своим открытием, она сама не знала. От сильного волнения или от спертых воздуха ей сделалось дурно. Когда она очнулась на каменном, сыром полу – оказалось, что ее факел погас, догорев. В совершенной тьме Мария ощупью начала искать дорогу к выходу. Она блуждала долго, много часов, но только путалась в бесчисленных переходах и покоях. В зату-

маненном сознании девушки уже мелькала мысль, что ей суждено умереть в этом неведомом, погребенном под землей дворце. Такая мысль не пугала Марию: напротив, ей представлялось прекрасным и желанным кончить жизнь среди пышной обстановки древней жизни, в мраморном зале, где-нибудь у подножия прекрасной статуи. Мария жалела лишь об одном: что кругом было темно и что ей не суждено будет видеть ту красоту, среди которой будет умирать... Неожиданно впереди блеснул луч света. Собрав силы, Мария пошла к нему. То был лунный свет, проникавший через трещину, похожую на вход, которым Мария проникла во дворец. Но эта трещина была в совершенно другом зале. С большими усилиями, карабкаясь по выступу стен, Мария добралась до этого отверстия и выбралась на волю, в час, когда весь город уже спал и луна полновластно царила над грудями полуразрушенных зданий. Пробираясь вдоль стен, чтобы ее не заметили, Мария вернулась домой, изнеможенная, чуть живая. Отца не было дома – он пропал на всю ночь, а мать ограничилась несколькими грубыми окрика-

ми.

После того Мария начала ежедневно посещать открытый ею подземный дворец. Поне­многу она изучила все его переходы и залы, так что могла бродить по ним в полной тем­ноте, без опасения опять потерять дорогу. Впрочем, она всегда приносила с собой ма­ленькую лампу или смоляной факел, чтобы вдоволь любоваться на роскошное убранство покоев. Мария изучила их все. Она знала ком­наты, сплошь расписанные и убранные крас­ным, другие, где преобладал желтый цвет, третьи, напоминавшие своей зеленой роспи­сью свежие луга или сад, четвертые – все бе­лые, с украшениями из черного эбенового де­рева; она знала все стенные картины, изобра­жающие то сцены из жизни богов и героев, то знаменитые битвы древности, то облики ве­ликих мужей, то смешные приключения фав­нов и амуров; она знала и все сохранившиеся во дворце статуи, бронзовые и мраморные, и маленькие бюсты в нишах, и торжественные изваяния во весь рост, и необъятную громаду, представляющую трех человек, мужчину и двух юношей, сплетенных кольцами гигант-

ских змей и тщетно пытающихся освободиться из гибельных объятий.

Среди всех украшений подземного дворца Марии особенно полюбился один барельеф. Он изображал девушку, худую и стройную, покоящуюся в глубоком сне в какой-то пещере; около девушки в военных доспехах стоял юноша с благородным лицом, дивной красоты; над ними, как бы в облаках, была изображена плетеная корзина с двумя младенцами, плывущая по реке. Марии казалось, что черты изображенной девушки похожи на нее, на Марию. Она узнавала самое себя в этой тоненькой спящей царевне и не уставала целыми часами любоваться на нее, воображая себя на ее месте. Временами Мария готова была верить, что какой-то древний художник чудом угадал, что некогда явится в мир девушка Мария, и заранее создал ее портрет в барельефе таинственного, заколдованного дворца, который должен был сохраняться неприкосновенным под землей в течение столетий. Смысл других фигур на барельефе долгое время оставался для Марии темным.

Но однажды вечером Марии случилось

опять разговориться с отцом, вернувшимся домой веселым и пьяным. Они были одни, так как Флоренция, по обыкновению, оставила их болтать свои глупости и ушла к себе спать. Мария рассказала отцу о найденном ею подземном дворце и его сокровищах. Старый Руфий отнесся к этому рассказу так же, как ко всем другим бредням дочери. Когда она ему говорила, что встретила сегодня на улице Великого Константина и тот милостиво с ней беседовал, Руфий не удивлялся, но начинал говорить о Константине. Теперь, когда Мария рассказала о сокровищах неведомого дворца, старый каллиграф тотчас заговорил об этом дворце.

– Да, да, дочка! – сказал он. – Между Палатином и Эсквилином, это действительно там. Это – Золотой дом императора Нерона, самый прекрасный из дворцов, когда-либо воздвигавшихся в Риме! Нерону для него не хватало места, и он сжег Рим. Рим горел, а император декламировал стихи о пожаре Трои. Потом же на расчищенном месте воздвиг свой Золотой дом. Да, да, между Палатином и Эсквилином, ты права. Прекраснее в городе не было ниче-

го. Но после смерти Нерона другие императоры из зависти этот дворец разрушили и засыпали землей: его нет более. Построили на его месте дома и термы. Но это был самый прекрасный из дворцов!

Тогда, осмелившись, Мария рассказала и о полюбившемся ей барельефе. И опять не удивился старый каллиграф. Он тотчас объяснил дочери, что хотел изобразить художник:

– Это, дочка моя, – Рея Сильвия, весталка, дочь царя Нумитора. А юноша – это бог Марс, полюбивший девушку и отыскавший ее в священной пещере. У них родились близнецы, Ромул и Рем. Рею Сильвию утопили в Тибре, а младенцев вскормила волчица, и они стали основателями Города. Да, все это так было, дочка.

Руфий подробно рассказал Марии трогательную сказку о провинившейся весталке Илии, или Рее Сильвии, и сейчас же начал декламировать стихи из «Метаморфоз» древнего Насона:

*Proximus Ausonias iniusti miles  
Amuli  
Rexit opes...[8]*

Но Мария уже не слушала отца; она тихо повторяла про себя:

– Это – Рея Сильвия! Рея Сильвия!

#### IV

С того дня еще больше времени стала проводить Мария перед чудесным барельефом. Она приносила с собой, вместе с факелом, скудный завтрак, – чтобы больше часов оставаться в подземном дворце, который считала более своим домом, чем дом отца. Мария ложилась на холодный и скользкий пол перед изображением дочери Нумитора и при слабом свете смоляного факела долгими часами всматривалась в черты лица тоненькой девушки, спящей в священной пещере. С каждым днем все более казалось Марии, что она странно похожа на эту древнюю весталку, и мало-помалу, в мечтах, уже не умела различить, где бедная Мария, дочь Руфия, каллиграфа, и где несчастная Илия, дочь царя Альбы Лонги. Себя самое Мария уже не называла иначе, как Рея Сильвия. Лежа перед барельефом, она мечтала, что и к ней, в этой новой священной пещере, явится бог Марс, что и у нее родятся от божественных объятий близ-

нецы, Ромул и Рем, которые станут основателями Вечного Города. Правда, за это надо было заплатить смертью, погибнуть в мутных водах Тибра, – но разве страшила Марию смерть? Часто Мария засыпала с такими грезами перед барельефом, и во сне ей снился тот же бог Марс, с благородным лицом дивной красоты, и его божественные, обжигающие объятия. И, проснувшись, Мария не знала, было ли то во сне или наяву.

Стоял уже палящий июль, когда улицы Рима в полдень пустели, словно после грозного приказа короля Тотилы. Но в подземном дворце было прохладно и влажно, и Мария по-прежнему каждый день приходила сюда, чтобы дремать в привычных сладких грезах перед изображением Илии, мечтая о своем суженом – боге. И когда однажды, в легкой дремоте, она вновь предавалась обжигающим ласкам Марса, внезапно какой-то шум заставил ее проснуться. Мария открыла глаза, еще ничего не понимая, и огляделась кругом. При свете маленького факела, вставленного в расщелину между камнями, она увидела перед собой юношу. Он был не в военном доспе-

хе, но в той одежде, какую тогда обычно носили небогатые римляне, однако лицо юноши было исполнено благородства и Марии показалось сияющим дивной красотой. Несколько мгновений смотрела Мария изумленно на неожиданное явление, на человека, проникшего в этот заколдованный дворец, который она считала известным лишь себе одной. Потом, присев на полу, девушка спросила просто:

– Ты пришел ко мне?

Юноша улыбнулся улыбкой тихой и пленительной и отвечал также вопросом:

– А кто ты, девушка? Не гений ли этого места?

Мария сказала:

– Я – Рея Сильвия, весталка, дочь царя Нумитора. А ты не бог ли Марс, ищущий меня?

На это юноша возразил:

– Нет, я – не бог, я – смертный человек, меня зовут Агапит, и я не искал тебя здесь. Но все равно, я рад найти тебя. Здравствуй, Рея Сильвия, дочь царя Нумитора!

Мария позвала юношу сесть с ней рядом, что он тотчас и исполнил. Так они сидели

вдвоем, девушка и юноша, на сыром полу, в пышном зале засыпанного землей Золотого дома Нерона, смотрели друг другу в глаза и сначала не знали, о чем говорить. Потом Мария, показав юноше на барельеф, стала пересказывать легенду о несчастной весталке. Но юноша прервал рассказ.

– Я это знаю, Рея, – сказал он, – но как странно: лицо девушки на барельефе действительно похоже на твое.

– Это – я, – возразила Мария.

Столько уверенности было в ее словах, что юноша смутился и не знал, что думать. А Мария нежно положила руки ему на плечи и стала говорить вкрадчиво и почти робко:

– Не отказывайся: ты – бог Марс, принявший смертный облик. Но я тебя узнала. Я давно тебя ждала. Я знала, что ты придешь. И я не боюсь смерти. Пусть меня утопят в Тибре.

Долго слушал юноша бессвязные речи Марии. Все было странно кругом. И этот подземный, никому неведомый дворец, с его великолепными покоем, где жили только ящерицы да летучие мыши. И эта полутьма огромного зала, чуть освещаемая слабым светом двух

факелов. И эта безвестная девушка, похожая на Рею Сильвию древнего барельефа, с ее непонятными речами, чудесным образом попавшая в погребенный Золотой дом Нерона. Юноша чувствовал, что та грубая действительность, которой он только что жил, перед тем как проникнуть в подземное жилище, исчезала, развеивалась, как утром сон. Еще минута, и юноша сам поверил бы в то, что он – бог Марс и что он встретил здесь любимую им дочь Нумитора, весталку Илию. Сделав над собой последнее усилие, юноша прервал Марию.

– Милая девушка, – сказал он, – выслушай меня. Ты во мне ошибаешься. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я открою тебе всю правду. Агапит – не мое настоящее имя. Я – гот, и меня зовут на самом деле Теодат. Но я должен скрывать свое происхождение, потому что меня убьют, если об нем узнают. Разве ты не слышишь по моему произношению, что я – не римлянин? Когда мои соплеменники покинули ваш город, я не последовал за ними. Я люблю Рим, люблю его историю и его предания, я хочу жить и умереть в Вечном Го-

роде, который одно время был нашим. Теперь, под именем Агапита, я служу у одного оружейника, работаю днем, а вечером брожу по городу и люблюсь на его уцелевшие памятники. Зная, что на этом месте был Золотой дом Нерона, я пробрался и в это подземелье, чтобы полюбоваться остатками прежней красоты. Вот и все. Я рассказал тебе всю правду и верю, что ты не выдашь меня, потому что одного твоего слова будет достаточно, чтобы послать меня на смерть.

Мария выслушала речь Теодата с недоверием и неудовольствием. Подумав, она сказала:

– Зачем ты меня обманываешь? Зачем ты хочешь принять облик гота? Разве я не вижу нимба вокруг твоей головы? Марс Градив, для других ты – бог, для меня – мой возлюбленный. Не насмехайся над своей бедной невестой, Реей Сильвией!

Опять Теодат долго смотрел на девушку, говорившую безумные слова, и стал догадываться, что ум Марии не в порядке. И когда эта мысль пришла в голову юноше, он сказал себе: «Бедная девушка! Нет, я не воспользу-

юсь твоей незащищенностью! Это было бы недостойно гота». После этого он тихо обнял Марию и начал с ней говорить, как с малым ребенком, не оспаривая ее странных бредней, признавая себя богом Марсом. И долго сидели они в полутьме рядом, не обменявшись ни одним поцелуем, говоря и мечтая вдвоем о будущем Риме, который будет основан двумя близнецами, Ромулом и Ремом, их детьми. Наконец, факелы стали догорать, и Теодат сказал Марии:

– Милая Рея Сильвия, уже поздно. Нам должно уходить отсюда.

– А ты вернешься завтра? – спросила Мария.

Теодат посмотрел на девушку. Она казалась ему непонятно привлекательной, со своим худым, полудетским телом, со своим болезненным румянцем на щеках и глубокими черными глазами. Непонятно-привлекательно было и это свидание в полутемной зале погребенного дворца, перед дивным барельефом неизвестного художника. Теодату захотелось повторить эти минуты странной беседы с бедной помешанной, и он ответил:

– Да, девушка, завтра, в этот же час, после дневной работы, я опять приду сюда, к тебе.

Рука с рукой они направились к выходу. У Теодата была веревочная лестница. Он помог Марии взобраться к трещине, служившей входом во дворец. На улицах уже вечерело.

Прежде чем расстаться, Теодат повторил, глядя в глаза Марии:

– Помни, девушка, что ты никому не должна говорить, что встретила со мной. Это мне может стоить жизни. Прощай до завтра.

Он первый спустился на землю и быстро скрылся за поворотом. Мария медленно пошла домой. Если бы в тот вечер ей пришлось вести беседу с отцом, она ничего не рассказала бы ему о пришедшем к ней, наконец, Марсе Градиве.

## V

Теодат не обманул Марии. На другой день, к вечеру, он действительно вновь пришел в Золотой дом, к барельефу, изображающему Марса и Рею Сильвию, где уже ждала Мария. Юноша принес с собой хлеба, сыра и вина. Вдвоем они ужинали в роскошной зале дворца Нерона. Мария опять мечтала вслух о кра-

соте прошлой жизни, о богах, героях и императорах, смешивая рассказы о действительно пережитом ею с бредом своей фантазии, а Теодат, обняв девушку, тихо гладил ее руки и плечи и любовался черной глубиной ее глаз. Потом они вместе гуляли по пустынным подземным покоем, озаряя факелами великие создания эллинского и римского гения. Расставаясь, они вновь дали друг другу обещание встретиться на следующий день.

С того времени каждый день, окончив скучную работу в мастерской оружейника, где изготовлялись и чинились шлемы, копья и панцири для византийского отряда, охранявшего Рим, Теодат шел на свидание со странной девушкой, считавшей себя ожившей весталкой Илией. Непобедимая привлекательность была для юноши и в хрупком теле девушки, и в ее полубезумных речах, которые он готов был слушать целыми часами. Они вместе осматривали все залы, проходы и комнатки дворца, куда только можно было проникнуть, вместе радовались каждой новой найденной статуе, каждому новому замеченному барельефу, и не было дня, чтобы

неожиданное открытие не наполняло их души новым восторгом. День за днем они жили неизменяющим счастьем – наслаждаться творениями искусства, и в минуты умиления перед новым мрамором, ваянным, быть может, резцом Праксителя, юноша и девушка принимали друг к другу в объятия в блаженном и чистом поцелуе.

Незаметно и для Теодата Золотой дом Нерона стал родным домом, а Мария – самым близким и самым дорогим существом в мире. Как это случилось, Теодат не знал и сам. Только все другие часы, которые он проводил на земле, казались ему тягостной и ненавистной обязанностью; и лишь время, когда он был вместе с Реей Сильвией, под землей, в забытом дворце древнего императора, – истинной жизнью. Целый день с мучительным нетерпением ждал юноша минуты, когда можно будет, наконец, оторваться от медных шлемов, клещей и молотков, чтобы с веревочной лестницей, спрятанной под одеждой, бежать на склон Эсквилина, на заветное свидание. Лишь этими свиданиями исчислял Теодат свои дни. Если бы его спросили, что ему нра-

вится в Марии, он затруднился бы ответить. Но без нее, без ее безумных речей, без ее странных глаз – вся жизнь показалась бы ему пустой и лишней.

На земле, в мастерской оружейника или в своей жалкой каморке, которую он снимал у одного священника, Теодат мог рассуждать здраво. Он говорил себе, что его Рея Сильвия – бедная помешанная девушка, что он сам, может быть, поступает дурно, потворствуя ее губительным бредням. Но, сойдя в прохладно-сырую полутьму Золотого дома, Теодат словно менялся весь – мыслями и душой. Он становился иным, не тем, что в зное римского дня или в удушливом воздухе кузницы. Он чувствовал себя в другом мире, там, где действительно можно повстречать и весталку Илию, дочь царя Нумитора, и бога Марса, принявшего облик молодого гота. В этом мире все было возможно и все чудеса естественны. В этом мире прошлое было живо и басни поэтов въявь осуществлялись на каждом шагу.

Не то чтобы Теодат вполне верил в бредни Марии. Но когда она перед какой-нибудь ста-

туей древнего императора начинала говорить о том, как однажды встретила его на форуме и беседовала с ним, Теодату казалось, что в действительности было что-то подобное. Когда Мария рассказывала о богатствах дворца своего отца, царя Нумитора, Теодат был готов думать, что она рассказывает правду. И когда Мария мечтала о пышности будущего Рима, который будет основан новыми Ромулом и Ремом, Теодат, увлекаясь, сам развивал те же мечты, говорил о новых победах нового Вечного Города, о новом завоевании земли, о новой всемирной славе... И вдвоем они придумывали имена грядущих императоров, которые будут править в городе их детей... Мария не называла себя иначе, как Реей Сильвией, а Теодата – иначе, как Марсом, и он так привык к этим именам, что порой, мысленно, сам называл себя именем древнего римского бога войны. И когда оба, и девушка и юноша, пьянели от темноты, от дивных созданий искусства, от близости друг к другу, от странных, полубезумных мечтаний, Теодат почти начинал чувствовать в своих жилах божественный ихор олимпийца.

И опять проходили дни. В самом начале своего знакомства с Марией Теодат дал себе обещание щадить безумную девушку, не пользоваться затмением ее разума и ее беззащитностью. Но с каждым новым свиданием все труднее и труднее становилось Теодату сдерживать свое слово. Каждый день встречаясь с той, которую он уже любил со всей страстностью юношеской любви, проводя наедине с ней долгие часы в уединении, полумраке, касаясь ее рук и плеч, чувствуя близ себя ее дыхание, обмениваясь с ней поцелуями, Теодат был должен употреблять все большие и большие усилия, чтобы не сжать девушку в сильных объятиях, чтобы не привлечь ее к себе с той же лаской, с какой бог Марс привлек к себе когда-то первую весталку. А Мария не только не уклонялась от такой ласки, но как бы искала ее, тянулась, влеклась к ней всем своим существом. Она медлила в объятиях Теодата, когда тот целовал ее, она сама прижималась к его груди, когда они любовались статуями и картинами, она своими большими черными глазами поминутно словно говорила юноше: «Когда же? скоро ли?»

я устала ждать!» Теодат спрашивал себя: «Полно! да правда ли, что она – безумная? Тогда безумен и я! И не лучше ли наше безумие, чем разумная жизнь всех других людей! Зачем же мы отказываемся от полной радости любви?»

И то, что должно было свершиться неизбежно, свершилось. Свадебным чертогом Марии и Теодата стала одна из великолепных зал Золотого дома Нерона. Зажженные смолистые сучья, вставленные в древние бронзовые светильники с изображением амуров, были их брачными факелами. Союз юной четы благословили мраморные боги, изваянные Праксителем, с неземной улыбкой глядевшие из порфирной ниши. Великая тишина погребенного дворца затаила в себе первые страстные вздохи новобрачных, и таинственный полумрак подземелья осенил их побледневшие лица. Не было свадебных песен, не было торжественного пира, но долгие века славы и могущества склонялись над брачным ложем, прах и земля которого казались влюбленным мягче и желаннее, чем пух понтийских лебедей в византийских спальнях.

С того вечера встречи Марии и Теодата стали свиданиями любовников. Долгими ласками сменились их долгие беседы. Страстными признаниями и страстными клятвами — полубезумные речи. Они опять бродили по пустынным покоем Золотого дома, но уже не столько влекли их картины, статуи, мраморы стен и мозаика, сколько возможность в новой комнате снова и снова упасть в объятия друг другу. Они еще мечтали о будущем Риме, который будет основан их детьми, но это радужное видение уже затмевалось счастьем несдержанных поцелуев, в пламенном дыме которых исчезала не только действительность, но и мечта. Они еще называли себя Рей Сильвией и богом Марсом, но уже стали бедными земными любовниками, счастливой четой, подобной тысячам тысяч других, живших на земле за тысячи тысяч столетий...

## VI

**Н**икогда, вне зал подземного дворца, ни Теодат не старался встретиться с Марией, ни Мария с Теодатом. Они существовали друг для друга лишь в Золотом доме Нерона. Может быть, они даже не узнали бы один друго-

го на земле. Теодат перестал бы для Марии быть богом Марсом, а Мария не показалась бы Теодату красивой и удивительной. Правда, после их сближения честный гот не раз говорил себе, что он должен разыскать истинных родителей девушки, должен жениться на ней и пред всеми людьми, открыто признать ее своей женой. Но день за днем Теодат откладывал исполнение своего решения: ему страшно было разрушить сказочное очарование, в котором он жил, ему страшно было несказанную быль подземных зал сменить на обыкновенную действительность. Может быть, сам Теодат и не так объяснял себе свою медлительность, но все же он не спешил прервать жгучее счастье тайных свиданий и каждый раз, прощаясь с Марией, вновь клялся ей, что на другой день придет опять. Она же не ждала и не спрашивала большего: с нее было довольно и мечтательного блаженства – быть любимой богом...

– Ты будешь меня любить всегда? – спрашивал Теодат, сжимая своими сильными руками хрупкое тело Марии.

Та качала головой и возражала:

– Я буду любить тебя до смерти. Но ты – бессмертен, а я должна буду умереть скоро. Меня бросят в воды Тибра.

– Нет! нет! – говорил Теодат, – этого не будет! Мы будем жить вместе и вместе умрем. Без тебя я не хочу бессмертия. И после нашей смерти мы будем так же любить друг друга там, на нашем Олимпе!

Но Мария смотрела недоверчиво. Она ждала смерти и была готова к ней. Ей хотелось лишь одного – продлить счастье так долго, как это возможно.

Юноша говорил себе, что ему должно тайно проследить за Марией, узнать, где она живет, прийти в ее дом, к ее настоящему отцу, сказать ему, что он, Агапит, любит эту девушку и хочет сделать ее своей женой. Но когда наступал час расставания, когда Мария, взяв с Теодата клятву, что он вновь придет завтра в Золотой дом, легкой тенью ускользала в вечернюю даль, юноша опять давал себе отсрочку: «Пусть это будет завтра! Пусть еще раз мы встретимся, как Рея Сильвия и бог Марс! Пусть еще продлится эта сказка!» И Теодат уходил к себе домой, в комнатку, которую

снимал у священника, чтобы всю ночь гре- зить о своей возлюбленной и наслаждаться новым счастьем – воспоминаний. И никого не спрашивал Теодат о странной девушке с черными глазами, хотя Марию знали едва ли не все в Риме. Да в сущности Теодату ничего и не хотелось знать о ней, кроме того, что она – весталка Илия и каждый день любовно ждет его, Теодата, в подземной зале дворца Нерона.

Но вот однажды Мария, прождав до вечера, не дождалась Теодата: юноша не пришел. Огорченная и смущенная вернулась Мария домой. Бред, наполнявший ее голову, как бы несколько прояснился с того дня, когда она предалась Теодату, и Мария уже могла успокаивать себя, говоря, что ее возлюбленного что-нибудь задержало. Но юноша не пришел ни на другой день, ни на третий. Он вдруг исчез совсем, и тщетно Мария ждала его на условленном месте час за часом, день за днем, ждала в томлении, в отчаянии, рыдая, молясь и древним божествам и теми молитвами, каким ее учила когда-то мать: не было ответа ни на ее слезы, ни на ее мольбы. По-прежнему неземной улыбкой улыбались мра-

морные боги в нишах стен, по-прежнему живописью и мозаикой блистали пышные покои древнего дворца, но Золотой дом стал вдруг для Марии пустым и страшным. Из блаженного рая, из страны полей Елисейских он вдруг превратился в ад жестоких мучений, в черный Тартар, где только ужас, одиночество, невыносимое горе и невыносимая боль. С безумной надеждой по-прежнему каждый день шла Мария в подземелье, но она шла теперь туда, как к месту пыток. Там ждали ее горькие часы обманутого ожидания, страшные воспоминания о недавнем счастье и новые, долгие, безутешные слезы.

Всего страшнее, всего мучительнее было Марии именно подле барельефа, изображающего весталку Рею Сильвию спящей в священной пещере и бога Марса, приближающегося к ней. К этому барельефу влекли Марию все воспоминания, но близ него тоска самая непобедимая овладевала ее душой. Здесь Мария падала на пол и билась головой о каменные мозаичные плиты, закрывая глаза, чтобы не видеть лучезарного лика бога. «Вернись, вернись! – повторяла она в своем безумии. –

Приди еще только один раз! Божественный, бессмертный, сжался над моими страданиями! Дай увидеть тебя еще однажды! Я еще не все тебе сказала, я еще не всего тебя целовала, мне надо, надо видеть тебя еще раз в жизни! А после пусть смерть, пусть бросят меня в воды Тибра, я не буду спорить. Сжался, божественный!» И Мария опять открывала глаза, опять при слабом свете факела видела бесстрастное лицо изваянного бога, и опять воспоминание о внезапно утраченном блаженстве повергало ее ниц, в новых слезах, рыданиях и воплях. И уже она сама не знала, приходил к ней бог Марс, были ли в жизни те дни полного счастья, или и это ей снилось среди тысячи ее других видений.

С каждым днем все безнадежнее становились ожидания Марии. С каждым днем все более и более измученной и потрясенной возвращалась она домой. В те часы, когда проблески сознания загорались в ней, она смутно вспоминала все, что говорил ей когда-то Теодат. Тогда она бродила по улицам Рима и под разными предлогами заглядывала во все мастерские оружейников, но нигде не встречала

того, кого искала. Говорить же с кем-нибудь о своем горе и о своем исчезнувшем счастье было для нее невозможно, да никто и не поверил бы рассказам бедной, сумасшедшей девочки, все сочли бы их за новый бред ее расстроенного воображения. Так жила Мария одна, со своим горем, со своим отчаянием, и мать только уныло качала головой, видя, как еще более худеет и сохнет Мария, как еще более впалыми становятся ее щеки, а глаза начинают гореть еще более странными отсветами огня.

Но так же неумоимо проходили дни – и над бедной помешанной девочкой, и над оскверненным Вечным Городом, и над целым миром, в котором медленно зарождалась новая жизнь. Проходили дни, Юстиниан праздновал последние победы над остатками готов, лангобарды замыслили свой поход на Италию, папы тайно ковали звенья той цепи, которой в будущем должны были оплести и Рим и весь мир, римляне жили своей скудной, подавленной жизнью, и Мария в один из дней поняла, наконец, что она должна будет стать матерью. Весталка Рея Сильвия, к кото-

рой снизошел со своего Олимпа бог Марс, почувствовала, что в ней бьется новая жизнь, – не близнецы ли, новые Ромул и Рем, которые должны основать новый Рим?

Никому – ни отцу, ни матери – не сказала Мария об том, что она почувствовала. Это было ее тайной. Но она странно успокоилась после своего открытия. Мечта исполнилась вполне. Надо было дать жизнь основателям Рима, а потом ждать смерти в мутных водах желтого Тибра.

## VII

**И**ногда в доме старого Руфия собирались гости: сосед, торговавший на форуме дешевыми женскими украшениями, сын медника, который когда-то сватался к Марии, дряхлый ретор, больше не находивший применения своим знаниям, несколько других обедневших людей, доживавших свои дни в унынии и собиравшихся вместе только затем, чтобы пожаловаться друг другу на свою несчастную судьбу. Пили плохое вино, закусывая его чесноком, и, между привычных жалоб, осторожно вставляли в беседу горькие слова о власти византийцев и о бесчеловечных поборах но-

вого дукса, поселившегося в Палатине вместо уехавшего евнуха Нарсеса. Флоренция обслуживала гостей, разливала вино и, слушая речи старого ретора, тихонько крестилась при упоминании имен проклятых богов.

На одном из таких собраний сидела в уголку и Мария, в тот день вернувшаяся из своих скитаний домой раньше обыкновенного. Никто не обращал на нее внимания. Все привыкли видеть в своем кругу молчаливую, безответную девочку, которую давно считали помешанной. Она не вмешивалась в разговоры, и никто не обращал к ней ни слова. Унылая, с опущенной головой, она сидела неподвижно и, казалось, даже не слушала ничего из речей пьяневших собеседников.

В этот день особенно много говорили о строгости нового дукса. Но сын медника взялся защищать его.

– И то надобно взять в расчет, – сказал он, – что по нынешним временам без строгости обойтись невозможно. По городу шныряют разведчики. Того и гляди опять нагрянут какие-нибудь варвары. Натерпимся мы тогда с новой осадой! А потом эти проклятые готы!

Убираясь из города подобру-поздорову, они в разных местах позапрятали свои сокровища. И теперь то один, то другой тайком, переодевшись, возвращаются в Рим, чтобы откопать спрятанное и унести с собой. Уж таких-то людей должно ловить и щадить их не приходится: ведь все их богатства у вас же, у римлян, украдены.

Слова сына медника показались любопытными. Его стали расспрашивать. Он охотно рассказал все, что знал о сокровищах, спрятанных готами в разных местах Рима, и о том, как теперь уцелевшие от разгрома готы стараются эти клады разыскать и унести. Потом рассказчик добавил:

– Да вот еще недавно поймали одного такого. С веревочной лестницей пытался вскарабкаться на Эсквилин, где есть в земле трещины. Схватили его, отвели к дуксу. Тот обещал ему помилование, если только проклятый укажет, где именно зарыты сокровища. Но он ничего не хотел говорить, упирался, и все тут. Уж его пытали, пытали, но ничего не добились. Так и запытали до смерти.

Кто-то спросил:

– Умер?

– Конечно, умер, – отвечал сын медника.

Вдруг внезапное озарение осветило помутившийся ум Марии. Она встала во весь рост. Огромные ее глаза еще расширились. Прижав обе руки к груди, она спросила прерывающимся голосом:

– А как звали, как звали этого... этого гота?

Сын медника и это знал точно, так что сейчас же ответил:

– Он себя называл Агапитом, служил здесь поблизости, в мастерской одного оружейника.

И, вскрикнув, Мария лицом упала на пол.

\* \* \*

Мария была больна долго, много недель. В первый же день болезни у нее родился трехмесячный недоносок: жалкий комочек мяса, о котором нельзя было сказать, мальчик это или девочка. Флоренция, при всей своей суровости, любила дочь. Пока Мария много дней оставалась в беспомощности, мать ухаживала за ней, не отходя от постели. Звали к больной и знахарей и священника. Когда же, наконец, Мария очнулась, у Флоренции не нашлось

для нее укоряющих слов: она только плакала безутешными слезами, припав к груди дочери. Должно быть, все угадала ее материнская душа. А потом, когда стало Марии немного лучше, мать, тоже без упреков, рассказала дочери все, что с ней случилось.

Но Мария со странным недоверием выслушала рассказ матери. Как могла бы поверить ему Рея Сильвия, которой, по воле богов, суждено было родить близнецов Ромула и Рема? Совсем ли помутился ум бедной девочки или по-прежнему своим мечтам верила она больше, чем действительности, только она на слова матери лишь слабо покачала головой. Ей казалось, что мать обманывает ее, что во время болезни она все же родила божественных близнецов, только их отняли у нее и в плетеной корзине бросили в Тибр. Но Мария знала, что их найдет и выкормит волчица, потому что они должны основать новый Рим.

Пока Мария была так слаба, что не могла поднимать головы, никто не удивлялся на то, что она не отвечает на вопросы и целые дни молчит, не спрашивая ни пить, ни есть, или нехотя произносит односложные слова. Но и

оправившись несколько, найдя в себе силы медленно бродить по дому, Мария продолжала молчать, затаив в душе какую-то сокровенную мысль. Даже с отцом она не хотела более говорить и не радовалась, когда он начинал ей декламировать стихи древних поэтов.

Наконец, однажды утром, когда отец ушел по делу, а мать отлучилась на рынок, Мария неожиданно исчезла из дому. Никто не заметил, как она ушла. И никто более не видел ее в живых. А через несколько дней мутные воды Тибра выбросили на песок безжизненное тело Марии.

Бедная девочка! Бедная весталка, нарушившая свой обет! Хочется верить, что, бросаясь в холодные объятия воды, ты была убеждена, что твои дети, близнецы Ромул и Рем, сосут в эту минуту теплое молоко волчицы и в свое время возведут первый вал будущего Вечного Города. Если в минуту смерти ты не сомневалась в этом, может быть, ты была счастливее всех других в этом жалком, полуразрушенном Риме, на который уже двигались с Альп полчища диких лангобардов!

## Элули, сын Элули

### *Рассказ о древнем финикийце*

#### I

Молодой ученый Дютрейль, уже обративший на себя внимание трудами по вопросу о головных уборах у карфагенян, и его бывший учитель, ныне – друг, член-корреспондент академии надписей, Бувери работали над раскопками на западном берегу Африки, в области французского Конго, южнее Майамбы. То была маленькая экспедиция, снаряженная на частные средства, в которой участвовало первоначально человек восемь. Однако большинство участников, не выдержав убийственного климата, уехало под тем или другим предлогом. Остались только Дютрейль, юношеский энтузиазм которого преодолевал все трудности, да старик Бувери, всю жизнь мечтавший принять участие в важных раскопках по своей специальности и в старости достигший этой цели, благодаря покровительству своего молодого друга. Раскопки были чрезвычайно интересны: никто

до сих пор не полагал, что финикийские колонии распространялись так далеко на юг по западному берегу Африки, переходя за экватор. Каждый день работы обогащал науку и открывал новые перспективы на положение Финикии и ее торговые сношения в IX веке до Р. Х.

Работа, однако, была крайне тяжелой. Из всех европейцев с Дютрейлем и Бувери остался лишь их слуга Виктор, а все рабочие были местные негры из племени бавилей. Правда, было решено, что на смену уехавшим придут другие археологи и привезут с собой как рабочих-французов, так и новый запас необходимых инструментов, оружия и съестных припасов, а также письма, книги и газеты, которых Дютрейль и Бувери были давно лишены. Но день проходил за днем, а желанный пароход не являлся. Консервов становилось все меньше; пропитываться приходилось охотой, и Дютрейля особенно тревожило истощение запаса патронов: в случае возмущения туземцев, которые уже становились непокорны и угрюмы, это могло грозить большой опасностью. Кроме того, жестоко

страдали французы от климата и нестерпимого зноя, который доходил до того, что днем нельзя было прикоснуться к камню, не обжигая руки. Наконец, угрожала смелым археологам местная злокачественная лихорадка, которой уже подверглось в свое время несколько человек из числа уехавших членов экспедиции.

Дютрейль превозмогал все. Изю дня в день питался он мясом морских птиц, отзывавшимся рыбой, и пил тепловатую воду из ближнего источника, но держал в повиновении буйную толпу негров-рабочих и сам работал наравне с ними, да еще находил время по ночам составлять записки и подробный инвентарь добытым археологическим сокровищам. В маленькой хижине, построенной под защитой скалы, уже скопился целый музей изумительных вещей, пролежавших почти три тысячелетия в земле и теперь возвращенных миру, чтобы вскоре произвести целый переворот в финикологии. Напротив, Бувери, хотя ему всей душой хотелось не отставать от своего молодого друга, явно слабел. Старику труднее было бороться с лишениями и

невзгодами. Не раз во время работ у него прямо падали из рук лопата или ружье, и он сам почти в беспамятстве опускался на землю. К тому же начались у Бувери приступы местной лихорадки. Дютрейль лечил его хиной и другими средствами, бывшими в походной аптечке, но силы старика все убывали: его щеки ввалились, глаза стали гореть нездоровым блеском, по ночам его мучили припадки сухого кашля, озноба, жара и бреда.

Дютрейль давно решил, что заставит своего друга, как только прибудет пароход, вернуться в Европу, но долгое время боялся заговорить об этом. Дютрейлю казалось, что старик непременно откажется – предпочтет, как ученый, умереть на своем посту, тем более что в последние дни часто заговаривал о смерти. Однако, к удивлению Дютрейля, Бувери сам завел речь об отъезде, сказав, что, по видимому, им придется расстаться, что как ни горько ему покидать начатое дело, но болезнь принуждает его уехать, чтобы умереть в родной Франции. В глубине души Дютрейль был почти оскорблен последним замечанием старика, который суеверное желание – быть

на родине в минуту смерти – мог предпочесть высокому интересу научных изысканий; но, объяснив это болезненным состоянием Бувери, одобрил, конечно, решение друга и сказал все, что в таких случаях полагается: что лихорадка не так опасна, что она пройдет с переменой климата, что они еще много будут работать вместе и т. п.

Дня через два Бувери еще более изумил своего друга. В тот день раскопки натолкнулись на новую богатую усыпальницу. Дютрейль был в восторге от такого открытия, не мог ни говорить, ни думать ни о чем другом. Но Бувери вечером позвал своего бывшего ученика к себе, в свою половину хижины, и просил подписать духовное завещание.

– Я очень виноват, – сказал Бувери, – что не сделал этого раньше, но все было некогда. Всю жизнь я был занят только наукой, и о своих делах у меня не было времени подумать. Так как мне становится все хуже и, может быть, я не выберусь отсюда, надо мне оформить свою последнюю волю. Нас, европейцев, здесь только трое; но вас и Виктора довольно, чтобы засвидетельствовать заве-

щение.

Чтобы не волновать старика, Дютрейль согласился. Завещание было самое обыкновенное. Бувери назначал небольшие деньги, которыми располагал, своей племяннице, так как не был женат и других родственников у него не было. Маленькие суммы отказывал старик своей старой служанке, домовладельцу, в доме которого прожил 40 лет, и разным другим лицам. Свои коллекции финикийских и карфагенских древностей, собранные за долгую жизнь, старый ученый завещал Лувру, а отдельные вещицы – друзьям, в том числе и Дютрейлю.

Дойдя, наконец, до последнего пункта завещания, Бувери, волнуясь, сказал:

– Этого, собственно говоря, и не следовало включать в завещание. Это просто – моя просьба к вам лично, Дютрейль. Но все же выслушайте.

Просьба состояла в том, чтобы после смерти Бувери перевезти его тело во Францию и похоронить в родном городе, рядом с могилой его матери. Читая этот последний пункт завещания, старик не мог удержаться от слез. Пре-

рывающимся голосом он начал умолять во что бы то ни стало исполнить его просьбу.

Дютрейль сделал над собой усилие, чтобы не рассердиться, и ответил сколько мог мягче и ласковее:

– Черт возьми, дорогой друг! Ведь я решительно не признаю, чтобы вы были так больны, как думаете. Если я согласился подписать ваше завещание, то, во-первых, чтобы сделать вам приятное, а во-вторых, потому, что привести в порядок свои дела никогда не лишнее. Но так как я твердо уверен, что вы поправитесь и сами будете потом смеяться над своей мнительностью, то и позволю себе сделать вам некоторые возражения.

Со всей осторожностью Дютрейль указал Бувери, что его просьба вряд ли исполнима: под руками не было ни средств, чтобы набальзамирывать тело, ни герметически закрывающегося гроба. Да и чем, наконец, хуже лежать после смерти под африканскими пальмами, рядом с гробницами великого прошлого, чем на каком-то провинциальном французском кладбище! Единственное, что можно в таких обстоятельствах обещать кому

бы то ни было, это – похоронить тело первоначально здесь, в Африке, а потом перевезти его во Францию, хотя и это затруднительно, хлопотно, а главное – бесполезно.

– Этого-то я и боялся! – с отчаянием воскликнул старик, – боялся, что именно так вы мне ответите. Но я умоляю, я заклинаю вас исполнить мою просьбу, чего бы это вам ни стоило, хотя бы... хотя бы пришлось для того временно бросить раскопки!

Бувери убеждал, упрашивал, плакал. В конце концов, чтобы успокоить старика, Дютрейль должен был согласиться, дать ему честное слово и даже клятву. Завещание было подписано.

## II

**Н**а другой день, еще до восхода солнца, работы возобновились. Приступили к раскопкам той роскошной усыпальницы, на которую натолкнулись накануне. По-видимому, финикийское поселение оказывалось гораздо более значительным, чем полагали раньше. По крайней мере, раскапываемая усыпальница явно принадлежала семье богатой и сильной, несколько поколений которой не только

провело всю жизнь под негостеприимным небом экваториальной Африки, но здесь же приготовило себе и место вечного упокоения. Гробница была сложена из массивных глыб камня и украшена барельефами. Дютрейль неутомимо распорядился работами и часто сам брал заступ в руки.

С большим трудом удалось открыть вход в гробницу: огромную железную дверь, которую, несмотря на 28 столетий, прошедших с тех пор, как ее заперли, пришлось осторожно ломать ломами. Пробив, наконец, себе проход и дав свежему воздуху проникнуть в глубь гробницы, Дютрейль и Бувери с факелами в руках сами вошли туда. Картина, представившаяся их взорам, могла свести с ума археологов. Усыпальница оказалась совершенно нетронутой. Посредине возвышались каменные гроба на каменных же подставках в форме фантастических чудовищ, а кругом было расставлено множество предметов домашнего обихода, характерные двурогие лампочки, военные снаряды, фигурки богов и другие вещи, назначение которых трудно было определить сразу.

Но самое поразительное было то, что внутренние стены гробницы почти сплошь были покрыты живописью и надписями. От притока свежего воздуха цвета картин, как то бывает всегда, быстро потускнели, но надписи, выписанные каким-то черным составом и даже на некоторую глубину врезанные в камень, казались только вчера сделанными. Это особенно восхищало Дютрейля, так как финикийских надписей до сих пор известно очень немного. Он уже мечтал, что здесь могут обнаружиться совершенно новые исторические данные – известия, например, о сношениях Финикии с Атлантидой, о чем племянник Шлиммана прочитал в финикийской надписи на сосуде, найденном в Сирии.

Несмотря на палящий зной, Дютрейль озабочился перенести все найденные вещи в музей и не успокоился, пока последняя двурогая лампочка не была помещена в надежное место. После того, тщательно заперев вход в гробницу, молодой ученый прилег отдохнуть, но, едва жар начал чуть-чуть спадать, был уже вновь за работой. Он занялся списыванием и разбором надписей – дело, которое, при

всем его великолепном знании языка, было весьма сложным. До вечера Дютрейлю удалось списать лишь незначительную часть надписей и еще меньшее число, хотя бы приблизительно, дешифровать. Ночью, сидя в своей хижине, при скудном свете лампы, Дютрейль делился своими открытиями с Бувери и просил его помощи в толковании разных трудных выражений. Ряд надписей был явно простой генеалогией, восходящей до 10 и 12 колена. Но одна содержала заклинание против нарушителей могильного покоя. Вот как, приблизительно, толковал ее Дютрейль:

*Именем Астарты, нисходившей во Ад, да будет мир погребенному мне, Элули, сыну Элули. Да лежу я здесь тысячу лет и еще вечность. Родных и близких, соотечественников и чужеземцев, друга и врага заклинаю я: да не коснешься ни праха моего, ни золота моего, ни вещей, данных мне. Если люди будут склонять тебя, не слушай их. Ты же, дерзкий, читающий эти слова, которые ни один человеческий глаз не должен бы уже видеть, да будешь про-*

*клят и на земле, и в недрах ее, где не едят и не пьют. Да не получишь места упокоения у Рефаимов, да не будешь погребен в гробнице, да не имеешь ни сына, ни потомства. Да не будет тебе солнце теплым, да не держит тебя дерево на воде, да не отойдет от тебя ни на час демон мучительства, безобразный, беспощадный, не знающий слабости.*

Надпись еще продолжалась, но конец ее был непонятен. Бувери выслушал перевод надписи в глубоком молчании и не захотел принять участия в дешифровке ее окончания. Сославшись на нездоровье, он удалился на свою половину за дощатую перегородку. Но Дютрейль еще долго просидел над своими записками, справляясь с привезенными книгами, думая над каждым выражением и стараясь понять все изгибы мысли писавшего.

### III

Поздно ночью, когда Дютрейль уже спал сном глубоко утомленного человека, его вдруг разбудил Бувери. Старик зажег свечу и при ее свете казался еще бледнее, чем обыкновенно. Волоса его были всклокочены, весь

вид обличал крайнюю степень ужаса.

– Что с вами, Бувери? – спросил Дютрейль. – Вы нездоровы?

Как ни трудно было бороться со сном, Дютрейль сделал над собой усилие, помня, что его старый друг тяжело болен. Но Бувери, не отвечая на вопрос, сам спросил задыхающимся голосом:

– Вы тоже его видели?

– Кого я мог видеть? – возразил Дютрейль. – Я так устаю за день, что сплю без снов.

– Это не был сон, – печально проговорил Бувери, – и я видел, как от меня он прошел к вам.

– Кто?

– Тот финикиец, могилу которого мы раскопали.

– Вы бредите, милый Бувери, – сказал Дютрейль, – у вас жар, я сейчас приготовлю для вас прием лекарства.

– Я не брежу, – упрямо возразил старик, – я хорошо рассмотрел этого человека. Он был бритый, без бороды, но лицо в морщинах, одет, как воин; он стал у моей постели, по-

смотрел на меня грозно и сказал...

– Пойдите, – прервал Дютрейль, стараясь вернуть друга к рассудительности, – на каком же языке он с вами заговорил?

– По-финикийски. Не знаю, может быть, в другое время я и не понял бы финикийской речи, но в ту минуту понимал все, от слова до слова.

– Что же вам сказало привидение?

– Он мне сказал: «Я – Элули, сын Элули, тот, чей мирный покой вы, чужеземцы, нарушили, не побоясь заклатья. За то я отомщу тебе, моя участь постигнет и тебя. И твой прах не успокоится в родной земле, но станет добычей шакалов и гиен. И я буду мучить тебя во сне и наяву, всю твою жизнь и после жизни, и до скончания веков». Это он сказал и ушел к вам, и я думал, что вы тоже его видели.

Дютрейль не сомневался, что с его другом – болезненный припадок, легко объяснимый влиянием зноя, постоянными мыслями о смерти и волнением после их замечательного открытия. Желая образумить старика, Дютрейль не стал ему напоминать, что привидения – обман зрения, но постарался объяс-

нить всю неправдоподобность данного видения.

– Мы раскопали, – говорил Дютрейль, – могилу не для того, чтобы оскорбить лежащий там прах или чтобы поживиться собранным там добром, но из бескорыстных научных целей. Элули, сыну Элули, нет причин на нас гневаться. Наука воскрешает прошлое, и мы, восстанавливая финикийскую древность, тем самым воскрешаем и этого Элули. Старый финикиец скорее должен быть благодарен нам за то, что мы вызываем его из забвения: кто без нас, в наши дни, знал бы, что за тысячу лет до Рождества Христова жил в Африке некий Элули, сын Элули?

Дютрейль говорил со стариком, как с больным ребенком. Сначала Бувери не слушал никаких доводов и требовал явно невозможного: чтобы все вещи были немедленно отнесены обратно в гробницу и сама она опять засыпана. Понемногу, однако, стал уступать и согласился отложить решение вопроса до утра. После того Дютрейль собственноручно уложил старика в постель, закутал одеялами, так как у него начался озноб, и сидел около, пока

больной не уснул тяжелым, беспокойным сном. «Как разрушительно действует болезнь даже на самые ясные умы!» – грустно думал Дютрейль.

#### IV

На другой день диалектика и очевидность доводов Дютрейля одержали верх, Бувери согласился, что его видение было лихорадочным бредом. Согласился и с тем, что вновь засыпать раскопанную гробницу было бы преступлением перед наукой и человечеством. Работы продолжались с прежним усердием. И в усыпальнице Элули, и в соседних могилах было найдено еще много драгоценных для историка предметов. Друзья ждали только прихода парохода с необходимыми инструментами и рабочими-европейцами, чтобы приступить к раскопкам города.

Однако здоровье Бувери не поправлялось. Лихорадка не оставляла его; по ночам он часто кричал и вскакивал в безумном ужасе. Однажды старик признался, что опять видел перед собой финикийца Элули. Дютрейль счел полезным вышутить своего друга, и Бувери более не заговаривал о своих видениях. Но

все же он таял с каждым днем и даже стал проявлять признаки психического расстройства: боялся темноты и ночи, не хотел входить в музей, а потом и вовсе устранился от раскопок. Дютрейль покачивал головой и все с большим нетерпением ждал прибытия парохода, надеясь, что морское путешествие и возвращение во Францию принесет старику пользу.

Но друзья не дождались парохода. Когда он, наконец, прибыл, на месте маленького поселка, устроенного членами экспедиции, не было ничего, кроме груды пепла и обгорелых досок. Было явно, что негры-рабочие взбунтовались, убили европейцев и разграбили их имущество, унеся и вещи из устроенного ими музея. Великие открытия, сделанные Дютрейлем и Бувери, которые мечтали обогатить феникологию, погибли для человечества.

# Моцарт

## *Лирический рассказ в 10 главах*

### 1

Где-то на башенных часах не спешно пробило два часа ночи. Протяжный бой с перезвоном колокольчиков как бы разбудил Латыгина. От выпитого вина, – вернее, спирта, разбавленного водой, – мысли сплетались бессвязно, путались в какие-то узлы и вдруг обрывались. До сих пор он шел машинально, как будто ноги сами вели его, и теперь вдруг заметил, что идет по неверному пути. Бессознательно Латыгин направлялся к той плохонькой гостинице, где жил два года назад, при своем приезде в Х., да и жил-то недолго, всего несколько недель.

Латыгин остановился и огляделся. Центр города, с каменными небоскребами, с зеркальными окнами магазинов, с электрическими лунами, с широкими асфальтовыми тротуарами, остался далеко позади. Начиналось предместье, ведущее к – скому вокзалу, и вдаль уходила широкая улица, обставленная

заборами да деревянными двухэтажными домишками, среди которых одиноко высились два-три кирпичных гиганта, бесстильных, ярко выраженного типа «доходных домов». Кругом было пусто: ни одного извозчика, ни одного прохожего. Во всех окнах уже было темно; светилось только одно окошко, в большом доме, почти под крышей: какой-то труженик, должно быть, урывал часы у своего сна, чтобы добыть несколько лишних рублей, если не копеек.

Надобно было идти домой. Латыгин ясно сознавал это сквозь хмельной туман, застилавший мысли. Куда же, как не домой? Круто свернув в переулок, почти не освещенный, – тускло горели керосиновые фонари, уже погашенные через один, – Латыгин зашагал быстрее. После еще нескольких поворотов замелькали слишком знакомые дома и заборы с запертыми воротами, наизусть известные вывески, те же ямы на изрытом тротуаре, те же доски через постоянные лужи. Куда же, как не домой? Но в то же время идти домой было почти страшно.

Латыгину отчетливо представилось лицо

жены Мины, которая, вероятно, ждет его. Она знает, что сегодня он получил деньги, двадцать пять рублей, и догадывается, что он не устоял пред искушением – пошел к Карпову, у которого 1 и 20 числа сходятся играть на товарищеских началах. Полгода назад Латыгин проиграл у Карпова пятьдесят рублей – деньги, которые следовало отдать за дочь в гимназию. Мина, может быть, думает, что и сегодня все полученные деньги остались там же. Она встретит попреками, жалобами и, что всего мучительнее, будет права... Да! в их положении должно теперь рассчитывать каждую копейку, а Латыгин действительно проиграл, не все деньги, но все же шесть рублей, и за карты и за вино заплатил два; от 25 осталось 17, да! 17... Латыгин потрогал карман, где лежало портмоне с этими деньгами.

Потом Латыгину представилось лицо дворника, который будет отпирать ворота: грубое, дерзкое лицо хама, раболепствующего перед теми, кто бросает ему на чай полтинник, и оскорбляющего тех, кто лишь изредка сует ему в руку гривенник. Латыгину стало почти физически больно, когда вспомнились унизи-

тельные подробности того, как дворник, заглянув в окошечко и узнав пришедшего, не спешит отворять ворота, потом запахивает их, едва дав пройти, и еще злобно что-то ворчит вслед, нарочно почти громко, чтобы были слышны ругательные слова. Вспомнились стихи Пушкина:

*О бедность, бедность,  
Как унижает сердце нам она!*

Но сейчас же вспомнились другие стихи великого поэта, вспомнился «Моцарт и Сальери». Соседи, в насмешку, прозвали Латыгина – Моцартом как музыканта, скрипача. Они не знают, как они близки к правде:

*Ты, Моцарт, – бог, и сам того не  
знаешь!*

.....  
*Как некий Херувим,  
Он несколько занес нам песен рай-  
ских...*

.....  
*Что пользы, если Моцарт будет  
жив?*

Латыгин был уже у своих ворот. Надо было звонить. Он, однако, помедлил еще

несколько мгновений. Постарался выяснить, пьян он или нет. Кажется, он все сознает и рассуждает логично. Но все же было выпито лишнее; притом спирт, разбавленный водой, пьянит больше, чем простая водка... Чтобы еще отдалить минуту, когда надо братья за звонок, Латыгин задал себе еще вопрос: говорить ли жене о проигранных шести рублях? Завтра, может быть, он получит жалованье за месяц у Андроновых. Срок, собственно, послезавтра, но завтра – урок; может быть, удастся совсем скрыть от жены проигрыш... И вдруг Латыгину стало мучительно стыдно, нестерпимо оскорбительно, что он может думать об этом, волноваться из-за 6 рублей, он, который вправе был бы бросать сотни, тысячи, да и в самом деле еще не так давно швырял, если не тысячи, то сотни. Злобно сжав зубы, Латыгин резко дернул ручку звонка.

Прозвучал неприятный, надтреснутый звон колокольчика. Улица была пустынна; дома по обеим сторонам стояли хмуро и безмолвно. Еще не начинало светать, и тьма казалась мертвой; небо было в сером тумане. Потом издали опять полетел перезвон башен-

ных часов: било четверть третьего. Тогда слышались шаги дворника: не то в валенках, не то в каких-то туфлях. Он долго гремел ключами, дважды посмотрел в окошечко в воротах, наконец отпер. Латыгин быстро сунул ему в руку приготовленный двугривенный; он дал бы и больше, но чувствовал, что будет смешно. Все же, проходя по двору, он явственно слышал за собой недовольное бормотанье и мог разобрать слова:

– Шатаются... тоже... музыканты... Моцарт!

## 2

Латыгины занимали маленькую квартирку в полудеревянном флигеле в глубине двора. Внизу были каменные погреба, служившие для «барских» квартир другого, большего дома, фасадом выходявшего на улицу. Деревянный верх флигеля был приспособлен под жилье: две крохотных комнатки, третья – темная и кухня, бывшая в то же время и прихожей, так как через нее был единственный вход. Зимой во флигеле было нестерпимо холодно, порой не больше 6—7°; если бы даже топить втрое больше, чем сколько позволяли себе Латыгины, – невозможно было удержать

тепло в ветхих стенах и нельзя было защититься от стужи и сырости, проникавших из погребов, снизу. Но квартира была совершенно уединенная, Латыгин мог хотя бы целый день играть на своей скрипке, не мешая никому. Никто не мешал и ему, кроме криков на дворе, к которым он скоро так привык, что просто не слышал их – разве уж очень выдастся голосистый разносчик, предлагающий: «Клубника, малина, черно-смородина!» Это уединение и заставляло «Моцарта» держаться за свою квартиру: нигде он не получил бы за ту же скудную плату такой обособленности ото всех.

Чтобы попасть к себе, Латыгину надо было взойти по темной и грязной лестнице с обтертыми ступенями, очистить которую не было никакой возможности. Уже проходя через двор, он увидел у себя в окнах свет: стало быть, жена не спала и дожидалась. При звуке шагов по лестнице отворилась верхняя дверь, и Мина показалась в четырехугольном проеме – тонкая, стройная, еще изящная, несмотря на все лишения жизни: словно картина в раме на фоне белого света... Свет был

за спиной Мины, и Латыгин не мог различить ее лица, но знал, что на нем – укор и вопрос, и потому, сделав над собой усилие, быстро переступил последние ступени и почти вспрыгнул на верхнюю площадку. Протягивая обе руки, Латыгин быстро проговорил, предупреждая все упреки:

– Мина, прости, я – виноват.

Но она не взяла его рук и не дала обнять себя, но молча посторонилась, дала ему пройти, затворила и заперла дверь, потом пошла за ним, с лампой в руке, когда же он, миновав столовую, прямо вошел в спальню, спросила коротко и сухо:

– Ты, может быть, хочешь есть? Ты голоден?

Латыгин обрадовался, что Мина заговорила о другом, что роковое объяснение, может быть, отложено будет до утра, и отвечал торопливо:

– Нет, благодарю. Ты знаешь, я зашел к Карпову, не играть, так посидеть, и засиделся, упрасивали очень. Мне самому досадно, что так поздно. Но мы ужинали. Только я очень устал, я лягу, да и ты ложись, напрасно ждала

меня.

Мина, все молча, продолжала смотреть в лицо мужа, конечно, поняла, что он пил, и вдруг, поставив на стол лампу, сама упала на свою кровать и зарыдала, повторяя только:

– Ах, Родион! Ах, Родион!

Если бы жена встретила бранью, Латыгину было бы легче. Бывали у них ссоры, когда доходило почти до драки. Мина, вне себя, бросала в мужа графин, пресс-папье, что попадало под руку. Бывали безобразные сцены, когда Латыгин чувствовал озлобление и на брань отвечал бранью, на обвинения обвинениями. Тогда они говорили друг другу жестокие слова, которые после стыдно было вспомнить. Но перед этими почти безмолвными слезами Латыгин признавал себя бессильным, безоружным. В ту минуту, считая жену бесконечно правой, он признавал себя преступником. Беспредельная жалость к этой женщине, которая двенадцать лет переносила с ним все неудачи и беды его тревожной жизни, заливала его душу, в то же время так же беспредельно ему было жаль и себя, полунищего, полупьяного, стоящего здесь в этой убогой комнате, ночью,

после грубой попойки в среде грубых и низменных приятелей, перед рыдающей женой.

Мина все рыдала, пряча голову в подушку, чтобы не разбудить дочь, спавшую в соседней «темненькой» комнатке, а Латыгин стал перед кроватью на колени и лепетал бессвязно оправдания:

– Милая! Мина! Миночка! Ну, прости меня! Я – негодяй. Я поступил низко. Ты здесь тревожишься, ждешь меня, а я ушел пьянствовать вместе с какими-то чиновниками, писцами, телеграфистами. Но пойми! Работаешь дни, недели, месяцы. Наконец, становится нестерпимо. Хочется хоть раз позволить себе что-нибудь! Ведь ты же понимаешь! Неужели есть для меня какая-нибудь радость в обществе этих Карповых? Мне с ними говорить не об чем. Но надо хоть на час забыться, вот – выпить несколько рюмок проклятого спирта, почувствовать себя прежним, с прежней волей, с прежними надеждами. Но конечно, конечно! Этого не должно быть, этого больше не будет, никогда, клянусь, никогда более. Но ты должна понять: это только чтобы забыться, на один час забыться, только!

Мина приподняла голову от подушки и горестно прошептала:

– А я? А почему я не стараюсь забыться? Мне разве легче живется?

Латыгин не нашел, что ответить, и опять залепетал свои оправдания и уверения. Слова соскальзывали у него с губ как-то сами собой, а сам он думал: «В самом деле! Мы оба несчастны. Мы могли бы понять друг друга! Почему же мы никогда не говорим откровенно? Почему, вместо того, чтобы идти к Карпову, я не пришел к жене – и мы вместе плакали бы, и, может быть, было бы нам обоим так хорошо! Ведь, правда, она очень несчастна, очень...»

Между тем рыдания Мины постепенно стихали. Сначала она сопротивлялась, потом дала мужу поцеловать себя. Еще после села на постели и спросила деловым тоном:

– Говори: сколько растрянжирил?

Вульгарное слово больно укололо Латыгина. Опиет он почувствовал себя чужим с этой женщиной. Но, сдержав себя, ответил кротко:

– Я не играл, Мина, совсем не играл (это была ложь). Я только заплатил за вино,

несколько рублей всего, рубля два, три...

Мина всплеснула руками.

– Три рубля! А у Лизочки башмаки в дырах. В гимназию ходить стыдно.

С новой силой охватило Латыгина чувство унижения от того, что он должен рассчитывать каждый рубль, – о бедность, бедность, как унижает сердце нам она... «Ты, Моцарт, – бог, и сам того не знаешь!» В эту минуту Латыгин ненавидел жену за ее мелочность, за ее мещанство, за ее неспособность понять его, своего мужа. «Она говорит со мной, как если бы я был Карпов, телеграфист, живущий от 20 числа до 20-го! Моя истинная жена – не она, а моя скрипка. Ты знаешь, кто я и что я!» И Латыгин вдруг встал с колен. Ему уже было все равно, что еще скажет жена; он готов был встретить все ее упреки спокойным презрением.

Но порыв Мины прошел. Он был создан нервным напряжением всего дня, утренним приключением с соседями, мучительным ожиданием мужа, невеселыми одинокими думами об их положении. Обратив внимание на мужа, Мина увидела, как он бледен, как

дрожат его руки. В свою очередь ей стало невыносимо жаль его, и она тоже стала просить прощения.

– Прости меня, Родион! Я не хотела обидеть тебя. Деньги – твои, ты их зарабатываешь. Но нам этот год так тяжело живется! И потом, что я без тебя пережила! Соседи узнали, что я – немка, и тут целой толпой кричали, чтобы мы уезжали сейчас же. Я боялась одно время, что ворвутся и начнут бить. А я была одна, и Лизочка еще не приходила. А какая ж я немка! Я и слова по-немецки не знаю. Разве я виновата, что мой отец был немец? Да и куда мы отсюда пойдём? Осень, все квартиры заняты. И не пустят, узнав, почему уезжаем. Я весь день проплакала, только от Лизочки скрывала, тебя ждала, а ты не идешь...

Она опять заплакала, на этот раз от воспоминаний о перенесенной обиде. Но то были уже добрые, тихие слезы; она плакала, как маленькая девочка, которую наказали несправедливо. Родиону вспомнилась неволью Мина такой, какой была тринадцать лет тому назад, когда он с ней познакомился: скромной, робкой, запуганной девушкой.

кой, тоненькой-тоненькой, как былинка, с гладко зачесанными белокурыми волосами Гретхен, с глазами всегда не то изумленными, не то испуганными. Вспомнились первые свидания, в Москве, в Сокольниках, день, темнеющий между красных сосен, и та скамейка, на которой он, Родион, тогда еще юноша, ученик консерватории, впервые обнял и поцеловал Мину и сказал ей, что любит ее. Какая она была тогда маленькая, словно вся исчезла в его объятиях, как птичка в зажавшей ее руке. Впрочем, не такая ли маленькая она и теперь, не та же ли перед ним девочка Мина, несмотря на эти двенадцать лет, и их дочь Лизочку, и все, что было пережито потом!

Еще раз чувства Латыгина изменились. Он подошел к постели, сел рядом с Миной, обнял ее. Не так ли они сидели в тот лунный вечер на скамейке в Сокольниках? Что годы, если в душе все та же любовь и та же радость сжимать это хрупкое, маленькое тело? Мина прошептала тихо, словно делая последнее усилие:

– Ложись, Родя! Скоро – три часа. Завтра у тебя урок. Надо тебе выспаться.

Латыгин постарался как бы не слышать последнего слова, которого не сказала бы «та» Мина. Но он еще теснее прижал к себе жену, и при слабом свете маленькой лампы ее лицо ему представилось девически свежим и молодым. Он различил слабый запах духов, к которым у Мины всегда была слабость, которую она никак не могла преодолеть, и это почему-то ему казалось бесконечно трогательным и прекрасным. Было ли то влиянье выпитого вина, но уже все рисовалось Латыгину как нежная сказка, красивая мелодия. Он ближе наклонился к лицу Мины.

– И ты ложись, моя девочка, – шептал он, – ты устала, бедная, я замучил тебя сегодня. Но я тебя люблю очень, всегда люблю, и ты не верь другому. Ты – моя Мина, Миночка, милая, маленькая...

Он расстегивал пуговицы ее платья, словно они были любовники, а не муж и жена, двенадцать лет ложившиеся спать в одной комнате. Вид худенького, изможденного тела жены вызвал новый порыв жалости и нежности. Латыгин опять стал на колени и целовал жену в грудь и плечи. А она, стыдясь как де-

вушка, стыдясь всего больше неожиданных ласк, от которых так отвыкла за последние годы, сопротивлялась и торопилась сама снять кофточку, юбку, башмаки.

– Я люблю тебя, Мина, – повторял Латыгин.

– Тише, тише, Лизочка услышит, – останавливала жена.

Она покраснела, гася лампу.

Стало темно в маленькой комнатке, почти сплошь заставленной двумя кроватями и большим, странным комодом. Было тихо за окнами и тихо в доме; только часы в столовой как-то хрипло стучали, качая свой маятник, два голоса, подавленные до последнего шепота, еще говорили что-то. И, заглушая поцелуями, чтобы не разбудить дочь, двое любовников – муж и жена, прижимались друг к другу на узкой постели. И каждый из них был счастлив в эту минуту – тем избыточным счастьем, которое приходит после слез и волнения. Хотелось не думать ни об чем ином, все забыть, чтобы живым, истинным было вот только это мгновение, этот поцелуй в черной темноте.

На другой день Латыгин, как всегда, проснулся часов в восемь. Он чувствовал себя свежим и бодрым; от вчерашнего хмеля не оставалось следа. Как что-то чужое, вспоминались и вчерашние волнения и мысли. Жена уже встала и хлопотала на кухне; слышно было, как она стучала посудой.

Быстро одевшись, Латыгин также прошел в кухню, так как умывались там. Он увидел жену, полуодетую, непричесанную, и она показалась ему бесконечно далекой от той девочки – Мины, которая пригрезилась ему ночью. Опять перед ним была женщина преждевременно состарившаяся, с морщинками у глаз, с красными руками, загрубевшими от стряпни и другой домашней работы. Первые же слова, которые Мина произнесла, как бы оцарапали душу Латыгина, что-то грубое, вульгарное послышалось ему в них.

– Ну как спал, мой пьянчужка? Каким ты, однако, еще можешь быть с женщинами! Когда захочешь, конечно...

Мина это произнесла ласково. Она еще была полна порывом нежности, и ей хотелось сказать что-нибудь приятное, льстивое мужу.

Но он душевно весь как-то сжался. «Зачем она это? – подумал он с болью. – Не надо, не надо было этого говорить! И напоминать было не нужно!» Чтобы не поддаться враждебному чувству к жене, Латыгин спросил ее:

– Лизанька еще спит?

– Только что разбудила: пора в гимназию собираться.

Мина варила кофе; Латыгин умывался. Ему хотелось бы сказать что-нибудь жене, но было нечего. Он испытывал вновь великую отчужденность от нее. Мелькнула даже мысль: «Пожалуй, и сегодня охотно я ушел бы опять к тому же Карпову...» Стекала вода, шумел кофейник, но двое, бывшие в комнате, молчали.

– Ну, идем пить кофе, – позвала Мина.

За столом стало еще мучительнее. При всех усилиях Латыгин так и не мог найти ни слова, чтобы сказать жене. «Заговорить разве о деньгах? – подумал он. – Ведь нужны на расход и платить надо лавочнику... Нет, еще нестерпимее будет!» Он молчал и пил горячий напиток. По счастью, вошла дочь.

Лизе было одиннадцать лет. Она была по-

хожа на мать, какой та была в юности, маленькая, хрупкая. У нее были голубые глаза и белокурые волосы. Но, как у всех детей, живущих в нужде, выражение лица было серьезным, не по-детски строгим. Латыгин любил дочь, не всегда, но по большей части, и сейчас обрадовался ей очень.

– Здравствуй, папочка!

– Здравствуй, милая девочка.

Он поцеловал Лизу в щеку, и вдруг ему стало легко и тотчас вспомнилось, об чем надо было рассказать жене.

– Ах, да! Знаешь, Мина, – заговорил Латыгин почти весело, – ведь я вчера недаром побывал у Карпова. Вчера только мне этого тебе рассказывать не хотелось, чтобы не оправдывать себя. Потому что пошел-то я, не зная, что это так случится, у Карпова был Меркинсон, знаешь, виолончелист. И он опять предлагал мне место в оркестре, – первой скрипки; сам заговорил. Я ответил, что подумаю, но решил принять.

– Ты? в оркестр! – с упреком переспросила жена.

– Да, я долго отказывался, но вижу, что

жизнь не переспоришь. По крайней мере, будет обеспеченное жалованье. А теперь ведь мы каждый день висим на волоске. Вздумается завтра Андроновой прекратить уроки, вот мы сразу лишимся половины наших доходов. Довольно! Я отказываюсь от всех моих грез и иллюзий! Пора трезво смотреть на вещи.

– Папочка, – тихо сказала Лиза, – не надо так говорить. Подожди, тебя все оценят.

– Ах, Лиза! – воскликнул отец, говоря с 11-летней девочкой, как со взрослой, – я ждал, вот пятнадцать лет, как я жду! У меня уже седые волосы, а ничего не изменилось! Исполнялись мои вещи в концертах, я сам играл свое перед избранной публикой, в Москве, в Петрограде, и ничего не изменилось! Да, есть такие, которые меня поняли; и писали обо мне, в газетах, очень лестные статьи, а все же – кто меня знает? Многие ли слышали о композиторе Латыгине? Может быть, лет через пятьдесят меня оценят. А пока что надо об этом не мечтать, а покориться тому, что есть.

– Папочка! – попросила Лиза, – сыграй мне что-нибудь перед тем, как мне уходить.

Девочка не могла доставить большей радо-

сти отцу, как попросить его сыграть. Латыгин послушно достал скрипку, подтянул струны, провел несколько раз смычком; потом спросил с улыбкой:

– Что же тебе сыграть?

– Колыбельную, папочка.

– Нет, девочка, это – старое. Так я писал двенадцать лет тому назад, с тех пор я многому научился. Нет, я сыграю свою «Пляску медуз». Ты знаешь, что такое медузы? да? Так вот представь себе, что они собрались на бал и хотят танцевать, – в море, конечно. Вода кругом светится, – бывает такое свечение моря, – на небе звезды и луна, в глубине проплывают большие рыбы, акулы, например, а на поверхности, на глади волн, потому что нет ветра, пляшут хороводами медузы. Слушай.

Латыгин заиграл...

Жена и дочь были плохие критики. Они мало смыслили в музыке, но им казалось, что «Моцарт» играет что-то чудесное. И ему самому казалось, что он создал шедевр, равного которому нет в современной музыке. В «Пляске» была как будто вся строгость старой шко-

лы, но в условные формы влита дерзновенность новых звукосочетаний. Мелодия была гениально проста, но найдена впервые с сотворения мира и окружена всей роскошью современной гармонизации. Это было классическое создание, которое нельзя забыть, услышав его однажды... Так казалось Латыгину, когда он играл.

Играя, он упивался своими звуками; видел фосфорический свет воды, мерцание созвездий в небе, медленно проплывающих акул, скатов, стаями собравшихся маленьких рыбешек, и пляску студенистых медуз, составивших хороводы; чувствовал соленый запах моря, веянье южной ночи, радость безбрежного простора; угадывал, где-то вдалеке, тихо поднимающийся над горизонтом силуэт огромного океанского стимера; в звуках было это все, и больше, больше, безмерно больше того!

– Милочка, тебе пора в гимназию, – поспешно сказала мать, едва Латыгин остановился, а звуки последнего аккорда еще замирали.

«Моцарт» вздрогнул. Его вернули к дей-

ствительности, к этой бедной, почти нищенской обстановке, к стакану остывшего кофе, к лишним пяти рублям, истраченным вчера. Он положил скрипку молча, но Мина поняла его чувство.

– Прости, Родя, – сказала она, – но иначе девочка опоздает.

– Спасибо, папочка, спасибо! – говорила Лиза, обнимая отца, – это дивно хорошо!

Мать заготовила ей завтрак, завернутый в бумагу, принесла книги и тетради, осмотрела платье.

– Уроки знаешь?

– Знаю, мама, все знаю; сегодня легкий день: закон божий, русский, география...

– Ну, ступай.

– До свидания, папочка!

Мать с дочерью вышли из комнаты. Латыгин сидел один, задумавшись. Неужели можно не понимать красоты его композиции? Так просто, так чисто, так певуче, так трогательно и так величаво! «Или я безумец, – думал „Моцарт“, – или все люди лишены слуха. Почему я понимаю красоту Бетховена, стариков, и красоту новых, и Дебюсси, и Скрябина, и

Стравинского, и вижу, ясно вижу, красоту своих сочинений? А другие в моей музыке ничего не видят, говорят, что я то подражаю, то нарушаю законы! Ведь это же неправда! Ведь есть же у меня слух: иначе я не понимал бы Бетховена!»

Латыгин опять было взялся за скрипку, но вернулась жена.

– Тебе тоже пора, Родя! – осторожно напомнила она.

– Да, да! Я сейчас иду: урок половина десятого.

Латыгин встал; ему захотелось поскорей уйти из дому.

– С урока ты прямо домой?

– Нет, я должен зайти к Меркинсону. Будь что будет, я решил взять место в оркестре.

– Ты совсем обдумал это дело?

Мина спрашивала робко; в душе она считала, что Родион давно должен был принять приглашение в оркестр, но знала, что играть в оркестре Латыгину казалось унижением. Он ответил грубо, отрезал:

– Обдумал совсем!

«Боится, что я передумаю!» – злобно подумал.

мал он. Потом все же захотелось сказать жене что-нибудь приветливое на прощание: так испуганно взглянула она при резких словах.

– А ты не утомляй себя, не хлопочи там об обеде. Мы поедем, что найдется, и все будет хорошо. Да! тебе нужны деньги?

– Нужны, – тихо проговорила жена.

Одно мгновение Латыгин хотел отдать все, что у него было. Но тогда жена увидела бы, что он истратил больше, чем сказал ей. Торопливо он вынул десятирублевку и подал Мине; знал, что этого мало, и, чтобы прервать разговор, спросил еще:

– А ты пойдешь куда-нибудь?

– Я пойду к Дьяконовым, они мне говорили про квартиру, знаешь, Родя, нам здесь нельзя оставаться, я при Лизочке не хотела говорить, но вот ты уходишь, а если опять...

Она говорила быстро, видела, что муж хочет уклониться от обсуждения вопроса о квартире, и спешила все высказать. Но Латыгину вдруг стало нестерпимо – разбираться во всех этих мелочах, высчитывать, хватит ли денег на переезд, разбирать сравнительные достоинства разных убогих помещений, кото-

рые можно снять... Нет, нет! Когда-нибудь после, не сейчас.

– Милая! Ты прости, но ведь я опоздаю. Не бойся, ничего не случится, сегодня все заняты. Да, я все-таки скоро приду.

Говоря, Латыгин торопливо, захватив скрипку, прошел в кухню, надел пальто, привычным движением поцеловал жену где-то около глаз и почти выбежал на лестницу. Мина осталась одна, горестно глядя на десятирублевую бумажку в своей руке. Потом, словно обессилив, Мина опустилась на стул около плиты и заплакала тихими, тягучими слезами, всхлипывая и не отирая глаз.

#### 4

Андроновы жили в лучшей части города, и Латыгину пришлось пройти порядочное расстояние, пока он дошел до пышного подъезда их особняка. Как всегда, последовала тягостная сцена в вестибюле, где важный швейцар прислуживал музыканту как бы нехотя и умел в свою выученную почтительность вложить все свое пренебрежение к учителю в потертом пальто. Небрежно, не положив, а «ткнув» шляпу «Моцарта» на полку, швейцар

заложил руки за спину и произнес шепотом, в котором ощущалась затаенная насмешка:

– Барыня сказали вам сначала пройти к ним-с, в гостиную.

– А, хорошо.

Латыгин больно почувствовал это «сказали»: лакей все же не отважился произнести: «приказали», но и не хотел говорить: «просили». Стараясь идти неторопливо, Латыгин поднялся по лестнице, уставленной засушенными пальмами, миновал приемную с огромными альбомами на столах и безвкусными картинами в золотых рамах и прошел в гостиную, где каждая подробность обстановки кричала о богатстве хозяев. С такой наглостью выставляют напоказ свое состояние только в провинции; в столицах сами мебельщики и драпировщики умеют смягчать грубость денежной гордости.

Андроновой в гостиной не было, и Латыгин должен был дожидаться сравнительно долго; не желая садиться без приглашения, он делал вид, что рассматривает знакомые ему картины: какие-то пошлые пейзажи, купленные, вероятно, за дорогую цену. В своей нерв-

ной подозрительности он уже готов был счесть промедление хозяйки за новое оскорбление, и у него мелькала мысль – уйти, когда Андропова, наконец, вошла. Полная, с вульгарным лицом, она, несмотря на ранний час, была в каком-то дорогом утреннем платье и с бриллиантовым кулоном на груди.

– Bonjour, monsieur Latiguine.

Здороваясь, Андропова улыбалась не то приветливо, не то милостиво, но французский язык должен был намекнуть, что она привыкла иметь дело с учителями-иностранцами. Впрочем, по-французски объяснялась она вовсе не свободно и потому, пригласив Латыгина сесть, тотчас перешла на родной язык.

Говоря и намеренно растягивая слова, она прищуривалась: должно быть, переняла такую манеру у какой-нибудь близорукой дамы в Москве или Петрограде.

– Я хотела с вами переговорить, monsieur Laliguine, а propos de Nadine. Я, конечно, сама не играю на скрипке, но я играю на фортепиано, мой профессор был maestro Джиусти, вы знаете, знаменитый? Так вот, я хотела с вами

переговорить, что мне кажется, что вы слишком медленно ведете Nadine. Вы знаете, Sophie Пузырева, которая начала учиться только три месяца тому назад, – ей дает уроки maestro Вельчевский из Варшавы, – уже приступила к третьей позиции, а вы держите Nadine все на первой. Неужели моя дочь неспособна идти вровень с другими? Между тем все, кто ее слышали, восхищаются ее талантом: monsieur Кузминский, madame Арская из оперы, вы знаете...

Следовал длинный перечень лиц, восхищавшихся талантом Надины и находивших у нее дарование скрипачки. Латыгин слушал, сжав зубы. Что он мог ответить? Что эта Nadine – бездарна, как только может быть бездарна тупая и избалованная девчонка, что у нее нет слуха, что она не учит уроков, не исполняет ни одного требования учителя? Но тогда зачем он, Латыгин, продолжает уроки, не отказался давно сам! Сделав кое-какие слабые возражения, он сказал покорно:

– Как вам угодно, я, конечно, могу показать mademoiselle Nadine вторую и третью позицию, но будет ли это полезно для нее?

– Monsieur Latiguine, – с достоинством возразила Андронова, – я и не считаю себя вправе указывать Вам, как должно учить. Но у Nadine такие способности! В ваших руках такой благодарный материал! И если Nadine не делает таких успехов, как того можно желать, так это значит, что между учителем и ученицей не установилась, pour ainsi dire[9], художественная связь, вы понимаете?

«То есть это значит, вы можете обратиться ко всем чертям! – злобно подумал Латыгин, – и вот наши доходы сократятся сразу на 60 р. в месяц, т.е. более, чем наполовину. Нет, все равно, стерплю все, а если угодно, отказывайте мне сами!»

Он почтительно сказал Андроновой, что, ввиду ее желанья, ускорит прохождение курса и, с своей стороны, надеется, что mademoiselle приложит свои старания.

– Вы знаете, Nadine несколько ленива, – самодовольно ответила Андронова, – но ведь все талантливые люди ленивы.

На этом афоризме хозяйка поднялась; Латыгин, конечно, тоже встал.

– Ах, да! – добавила Андронова, доставая из

серебряного ридикюля конверт, – это ваше жалованье за истекший месяц. Срок, собственно, завтра, но, может быть, вам нужно...

«Жалованье», «срок, собственно, завтра», «вам нужно» – все эти слова были мучительны, и все же, кладя 60 р. в карман, Латыгин вдруг почувствовал прилив и бодрости и самоуверенности. Он с достоинством поклонился Андроновой и пошел в соседнюю комнату, «первую залу», где обычно занимался с Надин. «Ну, деньги есть! – думал „Моцарт“, – еще поборемся с жизнью!»

Надин также заставила себя ждать, наконец, вышла с капризным выражением лица. Ей было лет 15, она была недурна собой, но держалась с подчеркнутой небрежностью, по-1 .

казывая, что не стоит быть интересной для какого-то музыканта.

– У меня вчера болела голова, – заявила она, – я не могла приготовить вашего урока.

– Что же делать, – кротко возразил музыкант, – будем разучивать пьесу вместе. Но обращаю ваше внимание, что ваша матушка желает, чтобы мы шли вперед более быстрым

темпом.

Надин демонстративно пожала плечами. Начался урок. Это была почти пытка для Латыгина. Надин почти ни одной ноты не брала правильно; смычок не держался в ее руках; то и дело она без надобности начинала подвертывать струны.

Потеряв самообладание, Латыгин спросил резко:

– Mademoiselle, если бы я был учителем живописи, стали бы вы кистью тыкать мне в глаза?

Nadine явно оскорбилась и тоном вопроса и грубым словом «тыкать»; она переспросила надменно:

– Что вам угодно этим сказать, monsieur Латыгин?

– А то, что каждый фальшивый звук, который вам угодно производить, вонзается мне в ухо совершенно так же, как если бы вы ударили меня смычком.

Девочка посмотрела еще надменнее, как редко умеют смотреть в пятнадцать лет:

– Если вам так тягостно заниматься со мной, мы можем прекратить уроки.

– Я только прошу вас пощадить мои уши, – поспешил поправиться Латыгин.

Надин сжала губы и ничего не отвечала; лицо ее стало злым. Урок был закончен кое-как. Латыгин уже не решался делать замечаний своей ученице.

– Я попрошу вас к следующему разу приготовить эту пьесу, – сказал он, вставая.

Надин, не отвечая, кивнув головой, вместо поклона, повернулась и вышла из комнаты.

«Кажется, должно проститься с 60 рублями в месяц», – думал «Моцарт», укладывая свою скрипку, но в душе было не огорчение, даже не досада, а только злость.

## 5

Латыгин солгал, сказав Мине, что от Андроновых пойдет к Меркинсону: хотелось скрыть от жены, куда уйдут час или два времени.

Выйдя от Андроновых, Латыгин сел на трамвай и поехал на другой конец города, тоже в предместье, на – скую улицу. Там жила Маша, тихая, скромная, робкая девушка, служащая на телеграфе, с которой «Моцарт» сблизился, сам не зная как.

Впервые Маша увидела Латыгина больше года назад, когда он выступал на одном благотворительном концерте. Музыка была ее страстью; игра «Моцарта» растрогала ее до рыданий. Случайно оказался общий знакомый; смеясь он провел Машу в «артистическую» и представил скрипачу. Наивный восторг девушки польстил Латыгину; он с ней обошелся приветливо, запомнил ее. Потом они случайно встретились на улице (а может быть, Маша просто поджидала его), и он зашел в скромную комнату телеграфистки. После мелких, мучительных подробностей домашней жизни показалось так хорошо сидеть вдвоем с милой, пугливой девушкой, которая ловит каждое слово, как откровение. Латыгин обещал «заходить».

Следующий раз он принес с собой скрипку. Маша слушала его игру с воспламененными глазами, опять разрыдалась и стала целовать руки композитора... Сама Маша не играла ни на каком инструменте, не было у нее и голоса, чтобы петь, но музыка приводила ее в экстаз; сочинения Латыгина она готова была слушать много раз подряд и всегда с неизмен-

ным волнением. У «Моцарта» не много было слушателей, и он стал приходить к телеграфистке все чаще и чаще.

Потом все произошло так, как должно было произойти; Латыгину осталось только спросить: «Ты меня любишь?» – и Маша не поколебалась ни на минуту ответить: «Люблю». Впрочем, Латыгин ничего не скрыл от нее: сказал ей, что женат, что любит свою жену и дочь и не покинет их. Но Маша ничего не просила: она хотела лишь любви. Соблазн был слишком силен: девушка молодая, миловидная, боготворившая Латыгина как гениального композитора, отдавала ему себя, свою любовь, свою невинность, – ибо она сумела остаться девушкой в суровых условиях трудовой жизни, – и ничего не искала взамен, ни денег, ни огласки. Латыгин все же поколебался: он боялся, что Маша передумает, начнет требовать, ждать чего-то; но потом взял этот дар судьбы, как, поколебавшись, можно в знойный день сорвать яблоко в чужом саду.

Сначала Латыгин был даже немного увлечен Машей. Она была молода, любила глубоко, скоро научилась отдаваться со страстью.

Одно время Латыгин чуть не каждый день выбирал час, чтобы зайти к Маше. Он ей играл и свои сочинения и вещи своих любимых композиторов; она плакала, слушая; после они опускали занавески на окнах и с соблазнительным бесстыдством кидались на постель... Но уже месяца через три о связи «Модарта» с телеграфисткой как-то прознали соседи; дошли слухи и до Мины. Последовали тягостные семейные сцены; видеться с Машей стало для Латыгина труднее. Да и наступило неизбежное охлаждение чувства. Он стал приходить реже: дня через два, раз в неделю, раз в десять дней... Но все же приходил, потому что хотелось уйти куда-нибудь от многого, что окружало дома.

Маша покорно сносила холодность своего возлюбленного; если жаловалась и плакала, то редко и тихо. Но зато любовь ее все более переходила в жадную страсть. Теперь, когда Латыгин приносил с собой скрипку и играл, Маша боязливо-просительным взором следила за его рукой и терпеливо ждала мгновения, когда можно будет побежать к окнам и опустить занавески. Впрочем, она по-прежнему

му плакала над музыкой, но плакала как-то торопливо, чтобы не потерять нескольких минут ласк. Отмечая это, Латыгин чувствовал отвращение и тоску, и ему становилась ненавистной эта девушка, с ее слезами, с ее ненасытностью в наслаждениях, с ее обмороками после горячки ласк. Порой Латыгину хотелось избить Машу, когда она, в порыве сладострастного экстаза, целовала его ноги, называя его гением и богом музыки.

Сидя в трамвае, по пути к Маше, Латыгин сосчитал, что не был у нее уже 15 дней. Впрочем, за это время он послал ей письмо, всего в несколько строк, где писал, что болен (то была ложь), и назначал день, когда придет: тот самый, в который теперь и ехал к ней, один из ее «свободных» дней, когда она не была занята на телеграфе. В воображении Латыгина предстала бедная комнатка Маши, с дешевыми картинками по стенам и с большой кроватью за занавеской. «Неужели сегодня постель будет сделана и подушки по-особому взбиты, сейчас, в 11 часов утра?» – подумал Латыгин. Ему стало неприятно от этой мысли.

Надо было сходить; трамвай поворачивал

в сторону, и до дому, где жила Маша, оставалось пройти еще пол-улицы. Латыгин шел медленно, раздумывая, не вернуться ли. У подъезда дома чувство томления еще усилилось. Преодолев себя, Латыгин поднялся на четвертый этаж, позвонил. Маша снимала «комнату от жильцов», и дверь отперла грязная, подоткнутая кухарка. Но уже на пороге своей комнаты, выходявшей прямо в прихожую, стояла Маша.

– Родя, ты? Милый!

Маша охватила его плечи обеими руками и тут же в передней прильнула губами к его губам.

– Постой, что это! – недовольно говорил Латыгин, высвобождаясь, – ведь мы не одни.

Но подоткнутая кухарка, не обращая никакого внимания на целующихся, пренебрежительно уходила к себе, а Маша повлекла Латыгина в свою комнату.

– Пусть увидят, а я не могу! Почему ты так долго не приходил! Сам виноват, гадкий! Две недели не видала тебя!

В комнате Маши все было по-старому: те же убогие картинки на стенах, десяток все тех

же книг на полке – чувствительные романы (да книга Фореля о половом вопросе), – две терракотовые головки на комодe и, за ситцевой занавеской, кровать с высоко взбитыми подушками и приоткрытым одеялом. Латыгину вдруг сделалось тоскливо до нестерпимости; Маша показалась ему некрасивой, вульгарной; глаза невольно возвращались к этой сделанной постели, которую он уже видел в воображении. Маша что-то говорила быстро-быстро, продолжая целовать Латыгина, беря у него из рук скрипку, снимая с него пальто, но Латыгин не мог найти в ответ ни слова. Наконец, он сел, закурил папиросу (развлечение, которое редко позволял себе) и, чтобы как-нибудь выйти из тягостного положения, предложил:

– Я сыграю тебе свою новую вещь: написал за эти две недели.

Маша взглянула было испуганно и тотчас улыбнулась радостно. Латыгин про себя перевел это так: «Уверена, что игра – это прелюдия к опусканию штор». Ему стало еще досадливее, но все же он вынул скрипку и, сухо назвав: «Пляска медуз», заиграл.

Латыгин сознавал, что играет плохо; утреннего увлечения не было: звуки рождались мертвыми; море не светилося, и медузы вели хороводы лениво, нехотя, словно по приказу. Однако Маша, как всегда, разволновалась; глаза ее стали влажными, она вся вытягивалась, слушая, и под конец начала дрожать всеми членами, почти как перед припадком. Латыгин в последний раз провел смычком по струнам и опустил скрипку; ему был противен восторг Маши, смотревшей на него восторженным взором.

– Родя! Это – божественно! Это – необыкновенно! – проговорила, наконец, Маша с каким-то страдальческим умилением. – Лучшего ты еще не создавал. Ты – мой бог!

«Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь...» – вспомнилось Латыгину, но восхищение Маши не трогало его. Она же, став перед ним на колени, смотрела снизу влюбленными глазами в его глаза и продолжала твердить восторженные слова: «Ты – победитель, ты – выше всех, ты – царь музыки!» Потом Маша припала к нему всем телом, ласкаясь, стараясь поцеловать его грудь, его шею.

Латыгин хорошо знал, к чему ведут эти приемы, и ему опять стало тоскливо и скучно. Глаза опять пробежали по приготовленной постели. Показалось невыносимым совершить весь обряд любви, притворяться счастливым, когда в душе – злоба и уныние. Он вдруг встал, отстранил девушку, сказав:

– Ты не сердись. Мне сейчас надо уйти. Я пришел только потому, что обещал и чтобы сыграть тебе свою «Пляску». Видишь ли: это – очень важно, я поступаю в театр, и вот сейчас у меня деловое свидание.

Маша осталась на коленях, на полу; ее глаза вновь наполнились слезами, руки безвольно повисли; минуту она не могла ничего выговорить, потом прошептала покорно:

– Ты уйдешь? Ведь мы две недели не видались.

Латыгину стало жаль Машу, жаль по-настоящему; она ему показалась такой нежной и милой, и ее покорность побеждала в нем все другие чувства. Но тотчас он подумал, что лучше унести с собой этот образ, чем исказить его, поддавшись состраданию. Подняв Машу с колен, Латыгин ее любовно обнял, по-

целовал в губы и постарался утешить.

– Девочка моя, мне правда необходимо уйти. Но я приду послезавтра, ведь ты – свободна? Приду надолго, на весь день. Я тоже очень, очень соскучился без тебя. Ну, прости меня, поцелуй.

Но он видел, что губы Маши дрожат и по лицу пробегают легкие судороги. Латыгин уже убедился, что это – признаки начинающегося нервного припадка. Надо было поторопиться и уйти раньше, чем он начнется: иначе придется целый час, а может быть, и больше успокаивать рыдающую девушку. Поспешно, делая вид, что ему крайне некогда, Латыгин еще раз расцеловал Машу, надел пальто, взял скрипку и, прощаясь, повторил обещание прийти через день.

Маша, видимо, делала отчаянные усилия, чтобы сдержаться. Губы ее кривились, плечи содрогались. «Без меня она будет биться в припадке, и будет одна, совсем одна!» – в тоске подумал Латыгин. Но остаться была страшно. Он почти побежал к выходной двери. Маша, совсем бледная, сняла дверной крючок; Латыгин в последний раз поцеловал ее руку и вы-

шел. Ему было слышно, как Маша заперла дверь и пошла к себе. Потом послышался стук от падения тела: должно быть, девушка упала на пол в истерическом припадке.

Мгновение Латыгин колебался, не вернуться ли; потом стремительно побежал вниз по лестнице; на улице он вздохнул полной грудью, словно освободившись от кошмара.

## 6

**У** Латыгина оставалось еще одно дело, которое он тоже желал скрыть от жены: надо было зайти на почту и получить письма от Адочки, которая писала ему на условные литеры до востребования.

С Адочкой Латыгин познакомился больше двух лет тому назад, в последнее счастливое лето своей жизни. Он был тогда приглашен в товарищество «Черный Лебедь», совершавшее артистическое турне по провинции. Организован был небольшой оркестр; из его же состава выделилось трио и квартет; некоторые выступали солистами; принимали участие в поездке еще две певицы и певец, с небольшим, но приятным тенором. Репертуар был составлен преимущественно из вещей

новых, в провинции мало известных, но уже прославленных молвой, в том числе Рихарда Штрауса, Дебюсси, Фора, молодых русских композиторов, и афиши составлялись боевые. Турне удалось, как редко удаются такие поездки, и на долю каждого участника, при конечном дележе сбора, досталось по несколько сот рублей, а главным солистам – до двух тысяч.

Латыгин играл в оркестре первую скрипку, но участвовал также в квартете и выступал солистом, исполняя собственные произведения. В некоторых городах, притом больших, Латыгин и его музыка очень понравились публике: были вызовы, овации, подносились цветы, газетные рецензенты писали о «восходящей звезде». Был момент, когда Латыгину казалось, что это – правда, что судьба, наконец, благосклонно улыбнулась и что теперь начнется быстрое восхождение по лестнице славы. Но турне кончилось, «Черный Лебедь» распался, и все как-то позабыли, что еще недавно расточали похвалы скрипачу и композитору Родиону Латыгину.

Особенный успех на долю Латыгина выпал

в Одессе, хотя царица Черноморья слышала и лучших виртуозов Европы. «Черный Лебедь» устроил в этом городе четыре концерта, и на каждом из них Латыгин был предметом оваций; ему столько аплодировали и так много заставляли играть *bis*, что это возбудило даже зависть товарищей. Все же благодаря этому успеху и прекрасным сборам, товарищество в Одессе задержалось, и Латыгин был этому рад, так как в городе встретило его неожиданное приключение.

На первом же концерте, когда Латыгин отдыхал после шумного успеха своего *solo*, ему представили молодую девушку, Аду Константиновну Нериоти, которая непременно желала сама выразить свой восторг скрипачу и поднести ему букет цветов. Аде было лет 18–19, но она, хотя на вид была даже моложе своих лет, держала себя с редкой самостоятельностью и некоторой эксцентричностью. При первом же знакомстве она выразила желание приехать к Латыгину, чтобы он сыграл что-нибудь для нее одной. Девушка просила об этом с такой самоуверенностью, словно об отказе не могло быть и речи. А Латыгину,

опьяненному успехом, все представлялось в то время естественным, и то, что им так восхищаются, и то, что девушка из хорошей семьи хочет приехать к нему в гостиницу; он – позволил, как если бы вопрос шел об чем-то самом обыкновенном, что случается с ним каждодневно.

На другой день Ада пришла к Латыгину, но не одна, а в сопровождении прислуги, которая, впрочем, осталась в коридоре. Ада была дочь местного купца-грека, довольно богатого, давно обрусевшего и давшего единственной дочери хорошее образование. Повторив Латыгину изъявление своего восторга, Ада стала просить скрипача давать ей уроки: она уже раньше начала учиться играть на скрипке. Хотя «Черный Лебедь» в лучшем случае мог провести в Одессе недели три, Латыгин согласился: так понравилась ему красивая гречаночка, с пламенными глазами, с изгибчивым станом, с повадкой не то капризной девочки, не то искусственной соблазнительницы. Впрочем, Латыгин все те дни жил как бы в непрерывном опьянении и все считал доступным и дозволенным.

Ада стала приходить каждый день, сначала в сопровождении горничной, а потом и одна. Уже на третьем уроке Латыгин целовал руки своей ученицы, а на следующий день – обнял ее, привлек к себе и стал целовать в губы и в глаза. Ада не испугалась, не рассердилась, даже не затрепетала той дрожью, какой трепещут девушки, когда мужчина впервые прикасается к их телу. Латыгин не мог понять, что это: беспредельность невинности или привычка опытной женщины. Но надобно было объяснить свой поступок, и Латыгин сказал:

– Я вас люблю.

Они были знакомы всего неделю, но времени было мало: день отъезда уже был назначен, и медлить не приходилось. Ада, в ответ на признание Латыгина, положила ему на грудь свою голову и своим полудетским голосом сказала столь же просто:

– И я вас полюбила, как только увидела.

В тот день, вместо урока, они только целовались, и, в конце назначенного часа, Латыгин уже посадил Аду к себе на колени, говорил ей «ты» и, в увлечении страсти, клялся,

что никого не любил раньше и никого не любит больше. Он не скрыл, что женат, но сказал, что давно не живет с женой, говорил многое другое, что в такие минуты говорят мужчины. Ада делала вид, что верит, а может быть, и верила в самом деле, потому что была очень молода.

В один из следующих дней Латыгин уже имел право называть Аду своею. Он не был неопытным новичком в делах любви, но — странно — никогда после он не мог уяснить себе, был ли он первым возлюбленным Ады, или эта 19-летняя девочка уже раньше извела мужские ласки. В ней детская робость сочеталась с женской страстностью; как-то удивительно быстро от первых порывов стыда, отчаянья, почти отвращения она перешла к бесстыдству наслаждений и откровенности желаний. Их свидания были постоянной борьбой, в которой любовник должен был преодолевать страх и смущение своей любовницы, чтобы после увидеть себя побежденным затаенной настойчивостью ненасытной гетеры... В этом был какой-то особый соблазн, от которого Латыгин терял голову: он сам на-

чинал верить, что все счастье его жизни – с Адой.

Подошел день отъезда «Черного Лебедя», но Латыгин не мог примириться с разлукой. Он обещал скоро вернуться и сдержал слово. Товарищество дало еще несколько концертов в южных городах, после чего разделилось: небольшая группа поехала на Кавказ, другие, в том числе Латыгин, выделились, получив свою долю сборов. У Латыгина составилось около полутора тысяч рублей, когда он тайно вернулся в Одессу. Из этих денег он послал несколько сот жене, дожидавшейся его в Х., и в письме сочинил какую-то фантастическую историю о необходимости поехать в Крым. После того почти на два месяца Латыгин исчез.

Никто, даже близкие друзья, не знали, где находится Латыгин; он никому не писал, никого не извещал о себе, он жил incognito в гостинице, позаботясь, чтобы на доске приезжих не стояло его имени; выходил на улицу только по вечерам, пряча лицо от случайных знакомых; обедал у себя в комнате или в маленьких кухмистерских. Каждый день к Ла-

тыгину приходила Ада, и они проводили часы в радости любви, не желая ничего другого, не ища ничего более, не жалея, что у них нет других развлечений. Когда любовники уставали целоваться, Латыгин брал скрипку и играл свои композиции, которые сочинял, ожидая Аду. Все это было опять похоже на сказку или на рассказ Эдгара По, – эта жизнь без людей, в одной комнате, без солнечного света, потому что почти всегда были опущены тяжелые шторы. На столе стояли цветы, фрукты, вино, какие-нибудь утонченные закуски: омары, икра, сыр, – а потом была музыка, полумрак, ласки, счастье, и не было людей, не было внешнего мира. Проходили дни и недели, как в зачарованном дворце.

Конечно, любовникам случалось говорить о своем будущем, но тоже как-то отвлеченно, как разговаривают герои сказок. Любовники строили планы, как будут жить вдвоем на Лазурном берегу, в вилле, под шум Средиземного моря и в прохладе лавров, или как поплывут в яхте среди островов Архипелага любоваться развалинами мраморных храмов и фиолетовых скал. Ада не спрашивала, возможно

ли это: может быть, она составила преувеличенное представление о богатстве Латыгина, видя, как он свободно разбрасывает деньги. Сам Латыгин тоже не задумывался, осуществимы ли его мечты: ему было слишком приятно вообразить себя вместе с Адой среди пленительной роскоши Италии или Эллады. А если наедине перед Латыгиным и вставали неотвязчивые вопросы повседневности, он их отгонял, откладывал, уверяя себя, что еще успеет все обдумать. Надо будет поехать к жене, пережить тягостное объяснение с ней, а потом – давать концерты, писать и собирать дань с восхищенного мира. Бывают такие периоды в жизни, когда все представляется доступным, а впрочем, Латыгин не то чтобы был убежден в своем предстоящем успехе, а просто убаюкивал мечтами самого себя, как и Аду.

Облегчало положение то, что Ада была связана со своей семьей, не свободна. Ей приходилось придумывать тысячи хитростей, чтобы каждый день приходиться на свидание. Об том, чтобы уехать с Латыгиным на Ривьеру или в Грецию, она не могла и думать. Поло-

жение Латыгина было выгодно: он мог упрашивать, уговаривать, но Ада, в смущении, порой со слезами, отказывалась, просила прощения, твердила, что не в силах оставить бабу и бросить отца. Со стороны Латыгина тут не было сознательного расчета; он почти искренно умолял Аду – решиться, кинуть все и уехать с ним теперь же, сегодня же. Но, если бы Ада вдруг нашла в себе решимость и согласилась исполнить просьбу, Латыгин оказался бы в очень трудном положении. Однако споры всегда кончались примирением: любовники опять сжимали друг друга в объятиях, улыбались, плача, и повторяли без конца:

– Но ведь нам хорошо! мы счастливы! так счастливы, как никто на земле! чего же больше!

Так прошло шесть недель. Деньги, которых Латыгин не берег, приходили к концу. Вместе с тем Латыгина тревожила мысль о жене и дочери: он не знал, что с ними, и опасался, что Мина начнет его разыскивать. Во всяком случае длить беспредельно странную жизнь, всю отданную одним ласкам, было невозможно; Латыгин откладывал так долго,

как то было возможно, наконец, сказал Аде, что им необходимо на время расстаться, что он поедет, чтобы устроить свои дела, и после того вернется к ней навсегда.

К удивлению Латыгина, Ада приняла его признание спокойно. Она совершенно поверила или сделала вид, что совершенно верит объяснениям своего любовника. Конечно, были слезы, были трогательные слова, были клятвы: Ада заставила Латыгина поклясться ей, что он никогда не поцелует более ни одной женщины, и сама поклялась быть ему верной во всем – в поступках, в словах, в помыслах. Латыгин осторожно намекнул, что не может точно определить срок разлуки: может быть, удастся вернуться скоро, через несколько дней, а может быть, обстоятельства заставят промедлить ряд недель, – как знать! – даже месяцев.

– Я только хочу знать, – сказала Ада, – что ты вернешься. Если я буду уверена, что ты там, без меня, стараешься для нас, чтобы мы были вместе, – я буду ждать. Но если ты мне изменишь, я в тот же день умру.

Они обещались писать друг другу на услов-

ные адреса. День последнего свидания был днем слез, ласк, восторга, отчаянья, хаоса чувств и слов. Ада нашла возможность проводить Латыгина на вокзал. До последней минуты она стояла на подножке вагона; когда поезд уже трогался, она при всех охватила своего возлюбленного руками, прижалась к нему впивающимся поцелуем, потом зарыдала и, не оглядываясь, побежала прочь.

Уезжая, Латыгин сам не знал, насколько правды и насколько лжи во всем, что он говорил Аде. Внешностью своего сознания он верил, что разойдется с женой и вернется к Аде; в глубине души – знал, что этого не будет. Впрочем, поехать прямо к жене Латыгин не решился. Он остановился в промежуточном городе С., и случилось так, что там он заболел, – отчасти, может быть, под влиянием нервного потрясения от всего пережитого. Болезнь пришлась кстати: Латыгин написал жене длинное письмо, в котором как-то сбивчиво объяснил свою жизнь за два последних месяца и извещал, что лежит больной в С. Мина тотчас приехала.

Первые дни не было времени для объясне-

ний: Латыгин был в лихорадке, страдал; казалось, что его болезнь – опасна. Может быть, Мина о многом догадалась из бреда больного, но после она никогда ни об чем не расспрашивала. Едва Латыгин стал поправляться, Мина увезла его в Х.; вообще в эти дни она проявляла неожиданную и несвойственную ей энергию и распорядительность. В Х. Латыгины думали провести только некоторое время и поселиться в Москве или Петрограде. Но то было лето 1914 года. Разразилась война. Все расчеты спутались. Предложения, которые делались Латыгину антрепренерами, были взяты обратно. И ему пришлось остаться в Х. на неопределенное время.

Сначала Латыгин аккуратно каждый день приходил на почту за письмами от Ады. Болезнь, которую Латыгин в письмах мог преувеличить, давала ему правдоподобное объяснение, почему пришлось отсрочить осуществление их планов. Потом таким же объяснением служила война и связанные с нею обстоятельства жизни. Латыгин писал, что сейчас не может устроить своих дел, не может бросить жену без всяких средств, что надо ждать

конца войны. Но в каждом письме настойчиво повторял свои прежние обещания, писал о своей страстной любви, клялся, что остается верен Аде и что живет только мечтой о тех днях, когда они вновь будут вместе.

Письма Ады тоже были страстны и наполнены признаниями в любви. Одно время Латыгин готов был думать, что Ада легко забудет его, что она только притворялась, что верит его обязательству – вернуться. «Были у этой девчонки-гречанки любовники до меня, будут и после меня!» – зло говорил сам себе Латыгин. Но письма Ады должны были его разуверить. Длинные, по 8–10 страниц, написанные небрежным, детским почерком, который Латыгин плохо разбирал, эти письма были оживлены той искренностью, какую подделать невозможно. После страстных уверений, порой переходивших почти в бесстыдство, в письмах стала звучать мучительная тоска разлуки; Ада жаловалась в выражениях сдержанных, подавленных, но горьких; она повторяла, что согласна ждать, но было видно, что ей больно, что ей тяжело, что ей страшно.

Тем временем Латыгин сблизился с Машей. Разумеется, он ни словом не намекнул на это Аде. Но с каждым днем ему становилось все труднее писать ей. Он стал посылать ей письма через день, через два, раз в неделю, – притом письма, составленные из условных выражений, повторяющие прежние признания, в сущности не говорящие ничего. Но это не значило, что Латыгин забывал Аду. Напротив, в тягостных условиях его жизни образ Ады становился для него все более и более дорогим. Он с болезненной ясностью помнил ее детскую красоту, ее точеное тело, ее стыдливо-бесстыдные ласки. Когда в воображении он сравнивал кроткую, замученную Мину или некрасивую истеричную Машу с той пленительной гречанкой, ему становилось душно: казалось, что из мира божественной Эллады он перешел в грубую, оскорбительную область действительности. Ада все более становилась для Латыгина мечтой, идеалом, и ее письма, которые он скорее угадывал, чем прочитывал, – единственным лучом в серых, томительных буднях.

Так длилось месяцы. Латыгин писал Аде

затем, чтобы получать ее письма. Ее письмами он упивался; он по-детски плакал над ними; они были для него воплощением всего прекрасного в его жизни, его легендарным прошлым, столь не похожим на тусклое настоящее... Что Ада – живое существо, что она в самом деле ждет, надеется, страдает, Латыгин почти не сознавал. Он так же мог бы переписываться с воображаемой женщиной. Эта переписка была мечтательным романом, и, наполняя свои письма клятвами, уверениями, фантастическими планами жизни вместе, Латыгин уже не думал, что эти обещания к чему-то обязывают...

И вдруг – тон писем Ады резко изменился. Она извещала, что ее отец решил выдать ее замуж. Она сообщала об этом Латыгину кратко, обрывисто и просила его совета. Латыгин смутился. Он написал в ответ какие-то ничего не значащие слова, напоминал Аде ее клятвы – быть верной, ждать, но в тайне души, хотя и с мучительной болью, думал, что все это – лучшая развязка положения, из которого не было выхода.

Получать письма Ады было для Латыгина всегда тяжелым делом. Почтовые чиновники знали «Моцарта» в лицо и лукаво улыбались, подавая ему маленькие конвертики с условными литерами на адресе. Иногда в толпе, наполнявшей почту, оказывались знакомые: это было еще мучительнее. Латыгин старался тогда сделать вид, что получает какие-то незначительные, не интересующие его письма, но это ему удавалось плохо.

По дороге от Маши до почты Латыгин успел обдумать, что ответить Аде (он и ответы писал обычно на почте же: дома трудно было утаиться от жены). Латыгин решил, наконец, написать всю правду. Довольно притворяться, довольно лгать! Все равно в будущем ничего лучшего не будет! Пусть Ада выходит замуж. Зачем, ради пустых иллюзий, перестраивать всю ее жизнь!.. Впрочем, уже сколько раз раньше Латыгин принимал такое решение!

На почте Латыгин уже не был дней пять-шесть. Однако чиновник, улыбаясь, подал ему всего одно письмо – обычный маленький голубой конверт, на котором торопливым, ха-

рактенно женским почерком Ады был нацарапан адрес. Отойдя в сторону, Латыгин прочел письмо.

*Мой милый, мой дорогой, мой единственный, – писала Ада, – знай: я решилась. Я спрашивала тебя несколько раз, не разлюбил ли ты меня. Я спрашивала тебя много раз, не являлись ли какие-нибудь препятствия к тому, чтобы мы были вместе. Ты мне всегда отвечал: нет, нет. Ты уверял меня, что только хлопоты по разводу задерживают тебя. Я тебе поверила. Я верю. Но я не могу больше жить без тебя. Я более не могу жить в доме отца, где требуют, чтобы я вышла замуж, когда я – твоя жена. Итак, слушай. Я ухожу из этого ненавистного мне дома, который не считаю родным. Мне все равно, получил ты развод или нет, даже все равно, получишь его или нет. Я теперь – совершеннолетняя и могу сама располагать своей судьбой. Я решила жить с тобой, потому что мы любим друг друга, потому что мы муж и жена, потому что это наше право. Я буду жить с тобой открыто, если ты хочешь, тайно, если ты пред-*

ложись, но только с тобой! с тобой! потому что ни с кем другим я жить не хочу и не могу. В среду, заметь это, в среду утром я уеду из О. и в четверг буду в Х. Встреть меня на вокзале и тогда сделай со мной все, что захочешь. Милый, хороший, единственный, прости меня, если мой поступок причинит тебе беспокойство, но я не могу иначе, понимаешь, не могу. Я должна быть с тобой, иначе я больше не могу жить.

Обнимаю тебя тысячу раз, целую и вся полная счастьем от одной мысли, что скоро в самом деле буду целовать тебя.

Твоя, твоя и только твоя  
Ада.

Дальше следовали слова Р. S.

Р. S. 1. Если ты не хочешь, чтобы я приехала, телеграфируй немедленно. Я буду знать, что делать.

Р. S. 2. Если я не найду тебя на вокзале, я поеду прямо к тебе и пошлю кого-нибудь тебя вызвать.

Латыгин, как безумный, перечитывал это письмо. Хаос мыслей крутился в его голове.

Ада пишет, что в четверг она будет в Х. Но сегодня именно четверг. Он шесть дней не был на почте. Теперь поздно телеграфировать. Даже, кажется, поздно ехать на вокзал. Поезд приехал...

Латыгин нервно бросился на улицу. У первого газетчика он купил газету. Скорый поезд из О. приходил в половине первого. Сейчас было уже пять минут первого. Что делать? Спешить на вокзал? Он мог опоздать, в 25 минут, пожалуй, не доедешь, но он – в двух шагах от дому... Спешить, бежать домой, чтобы Ада не появилась там раньше его.

Латыгин ни об чем не думал! Одно лишь помнил он: поспешить вовремя, предупредить встречу Ады с женой. Наняв извозчика, Латыгин взял его, не торгуясь, и велел ехать к дому скорей. Через несколько минут он был дома и тотчас, бегом перебежав двор, был почти у себя. Слава богу! значит, не опоздал.

Мина была занята на кухне, готовила что-то. В минуту волнения мысль работает быстро. Пока Латыгин бежал по двору, он успел создать ход действий. Он вспомнил несколько слов, слышанных накануне у Карповых, и на

них построил свой план.

Стараясь придать себе беспечный вид и скрывая волнение, Латыгин дружественно поздоровался с женой, ласково упрекнул ее за то, что она хлопочет излишне, а потом среди разных незначительных фраз сказал ей:

– А у меня к тебе большая просьба. Я не зашел сегодня к Карповым, так как меня расстроили у Андроновых, душа была не расположена. Но все-таки я думаю предложением Меркинсона воспользоваться... И вот что я думаю. Жена его, Анна Васильевна, больна: он это вчера говорил. Что, если бы ты зашла ее навестить? Меркинсон понимает, что мы во многом стоим выше их, что только случайность занесла нас в их среду, и твой визит очень польстил бы их самолюбию. А нам потом это оказалось бы на пользу, так как от Меркинсона зависит многое.

Мина очень неохотно согласилась на просьбу мужа. Она ссылалась и на то, что никогда не бывала у Меркинсонов, и на то, что у нее сегодня много дел по дому, и на то, что, в конце концов, такой визит все же унижен. Латыгин настаивал ласково и кротко:

– Ну, сделай это для меня... А без обеда сегодня мы как-нибудь обойдемся.

Мина никогда не умела отказать мужу; согласилась она и на этот раз, хотя весьма неохотно. Для визита, однако, ей надо было одеться. Латыгин с тревогой поглядывал на часы, пока она причесывала волосы, надевала другое платье, переменяла башмаки... Сердце Латыгина билось учащенно: разница в пяти минутах может погубить все, но он не смел выразить своего нетерпения и даже счел должным сказать:

– Впрочем, если тебе это так неприятно, можешь не ходить...

– Нет, если ты уж так этого хочешь...

Наконец Мина была готова, в пальто, в шляпе; Латыгин любовно проводил ее до выхода, поцеловал ее нежно и просил возвращаться скорее:

– Ты только спросишь ее о здоровьи, посидишь минут пять, и больше ничего не нужно. Поверь, это произведет свое впечатление.

Доводы были неубедительны, но Латыгин просил так настойчиво, что Мина решила исполнить его странный каприз. Так ей каза-

лось... К тому же муж был так мил, так ласков, каким давно уже не бывал. Мина в ответ тоже поцеловала его и сказала ласково:

– А ты отдохни, нельзя работать целый день, я вернусь скоро и успею приготовить обед и для тебя и для Лизочки.

Дверь за Миной захлопнулась. Латыгин то-ропливо взглянул на часы. Если поезд не опоздал, Адочка была в X. половина первого. На вокзале она должна будет прождать несколько минут, высматривая, не встречает ли ее Латыгин. Потом поездка от вокзала до квартиры Латыгина на хорошем извозчике займет не менее 20–25 минут, а вероятно, и все полчаса. Итак, есть еще 5–10 минут времени.

Латыгин облегченно вздохнул. Во всяком случае роковую встречу он сумел предотвратить. Теперь надо было подумать, как вести себя с Адой...

Но, чтобы обдумать это, не хватало времени. Спешно надев пальто, Латыгин вышел к воротам: тотчас, в ту же минуту он увидел Аду, которая подъезжала на извозчике с небольшим чемоданом в руках...

В первый миг, когда Латыгин увидел Аду, с которой не встречался два года, у него захватило дух! Ада была все той же, как и в их блаженные дни. Это была та же девочка, которой можно было дать 15–16 лет, несмотря на ее совершеннолетие. Это было то же детски наивное лицо, тот же здоровый детский румянец, те же темные пламенные глаза, тот же отточенный эллинский нос мраморной Психеи, те же змеи черных, беспросветно-черных, сверкающих на солнце, как металл, волос... И все былое залило душу Латыгина, как река, прорвав плотину, затопляет берега; смыло сразу, как шаткие построения, все впечатления двух последних лет; отпрянули, как зыбкие следы, все недавние соображения и выводы: овладело душой полновластно... Прошел всего один миг, и Латыгин был всецело во власти прошлого.

Латыгин чувствовал такую слабость, что должен был прислониться к забору, чтобы не упасть. «В глазах потемнело, я весь изнемог», – сам вспомнил он стих Пушкина. Ада, остановив извозчика на углу переулка, шагах в ста от Латыгина, сошла с извозчика и стоя-

ла, оглядываясь, вероятно, выискивая, кому бы поручить письмо для передачи Латыгину. Маленькая, изящная, она была чудесным видением среди этих слишком знакомых домов, среди этой слишком знакомой неряшливой улицы, в этой слишком знакомой обстановке грязной мостовой, пошатнувшегося забора, чахлах деревьев бульвара, мелочной лавчонки на углу... Не видя никого, Ада растерянно шагнула несколько шагов вперед – и, встретив Латыгина, бросилась к нему.

Одну минуту Латыгин хотел упасть перед Адой на колени; потом ему страшно захотелось схватить ее в объятия, как маленькую девочку, сжать, зацеловать; потом он вспомнил, что сейчас день, что кругом все его знают, начиная с лавочника на углу и городского на посту. И еще после он вдруг сообразил, что не успел подумать о своей наружности, что он – в истертом пальто, в старой шляпе, с непобритыми усами и уж, конечно, без тех духов, какими когда-то душился, ожидая появления Ады. У Латыгина даже мелькнула ужасная мысль: узнает ли его Ада? Узнает ли своего возлюбленного, блестящего концерт-

ного виртуоза, изящного заезжего гастролера в этом скромном, бедно одетом обывателе? Эта мысль почти окаменила Латыгина, и его стремительный шаг оборвался, так что он остался неподвижным в двух-трех шагах от Ады. Но тогда его увидела она и вдруг с ласковым криком бросилась к нему.

Все исчезло, все позабылось, все смешалось. Латыгин целовал руки Ады, не замечая, как самодовольно ухмыляется лавочник, высунувшись из-за дверей с рекламируемой папиросой «Сэр»; Латыгин что-то говорил Аде, не слыша, что дворник довольно громко острил на его счет по поводу приезда «мамзели»... И Ада что-то отвечала, также, должно быть, не слыша и не видя ничего. Потом Латыгин чуть-чуть опомнился, огляделся и поспешно повел Аду за собой.

– Пойдем же, пойдем...

– Куда?

– Сюда! Пойдем! Я в одиночестве! Сейчас никого нет. Жена уехала... Идем.

Как-то нескладно Латыгин повел Аду через их грязный двор, отворил двери и поднялся с ней по лестнице. Ада несколько изумленно

смотрела на бедную обстановку жилья своего возлюбленного. Латыгин взял из рук Ады чемодан, положил его в сторону, хотел предложить ей сесть, но вдруг нервы его не выдержали и он зарыдал, зарыдал обо всем: о своей нищете, о своих обманах, о своем будущем, и о себе самом, и о своей возлюбленной.

И, поддавшись влиянию этих слез, Ада тоже, прежде чем она успела обдумать все, что увидела, зарыдала тоже и упала на грудь своего любовника.

– Ах! – лепетала она, плача, – милый Родион! два года! два года я не видала тебя! Что я выстрадала за это время! Без тебя! одна! Меня все притесняли! Все мучили! Никто не мог меня защитить! И ты был далеко! Каждый день была пытка! И дни шли один за другим, много дней, много дней, много, много, много... Она повторяла это слово, рыдая:

– Много, много, много, много...

Латыгин обнял ее, посадил к себе на колени, целовал ее глаза, ее руки; блаженство вливалось в его грудь, в его душу, блаженство, словно некий ореол, окутало его голову сиянием; он был счастлив в ту минуту, как

давно, как двадцать четыре месяца тому назад. Не хотелось думать ни об чем, не хотелось открывать глаз, но хотелось видеть перед собой светозарные дали мечты, дивно-торжественные арки, переходы и залы во дворцах сияющих грез, и Латыгин твердил, опьяненный:

– Вот мы опять вместе, вот видишь, ты не верила, что мы будем вместе, но это свершилось! Мы вместе, мы двое и теперь навсегда. Навсегда, навсегда. Ты – моя! Ты – моя жена! Да? Моя? ведь так? Моя жена, любовница моя! Узнай меня. Я – тот же, я – твой Родион, я – твой мальчик, я – люблю тебя по-прежнему, и даже больше прежнего, люблю безмерно, безгранично, люблю, чтобы любить вечно! Ты – моя, и я – твой!

Она плакала с какой-то безнадежностью, и он плакал от горя и от счастья. Они целовали друг друга, и влажные губы скользили по влажным щекам. Слезы и поцелуи смешивались в одно, словно влага и пламя, и на миг все стало каким-то несбыточным сном.

Но часы в столовой стучали свое тик-так. Но перед глазами Латыгина была привычная обстановка его столовой. На столе лежали груды его рукописей, около – учебные книжки дочери. В углу стоял дорожный чемодан Адочки. С минуты на минуту могла прийти Лизочка и могла вернуться жена.

– Что же будем делать? – первая спросила Ада, опять растерянно глазами обегая скучную обстановку квартиры. Латыгину было до боли стыдно следить за этим взглядом и вместе с ним останавливаться на дешевых стульях, найденных у старьевщика, на поломанном столе, кушетке, купленной по случаю, на герани на окне, гравюре «Бетховен играет», на этажерке, где стояла дешевая посуда, на гардинах неумелой, грубой домашней работы. Ада словно силилась понять, что все это означает, а Латыгин употреблял все усилия, чтобы не дать ей ни во что вдуматься.

– Что же мы будем делать? – спросила Ада.

Латыгин осторожно снял Аду со своих рук и встал.

– Ты приехала ко мне навсегда? – твердо спросил он.

Ада опять заплакала, заплакала безвольно, как безвольно льется ручей из своего источника, заплакала неудержимо, выплакивая все горе, все обиды, которые пережила за два года своего тоскливого одиночества.

– Навсегда! навсегда! – отвечала она, опять сквозь слезы. – Я без тебя жить не могу. Я решилась. Если ты меня прогонишь, я умру.

– И ты – права, – твердо сказал Латыгин, – мы не можем жить розно. Я был трус, я был негодяй, я был низок, что до сих пор оставался вдали от тебя. Ты меня пристыдила, Ада, ты – лучше, ты – мужественнее, ты – благороднее меня. Ты поступила так, как должна была поступить. Это я должен был, несмотря ни на что, прийти к тебе. Но пришла ты. Все равно. Мы больше не расстанемся!

Он говорил то, что думал. Он был совершенно уверен в том, что говорил. Ада смотрела на него восторженными глазами, только на миг переставая плакать, но тотчас зарыдала опять, словно ключ ее слез был неисчерпаем.

– Значит, ты меня не прогонишь?

– Я? прогоню тебя? боже мой! Я боюсь од-

ного: что ты меня отвергнешь! Быть с тобой! Ведь это же мое блаженство. Так оно было, так оно есть, так будет всегда! Ты страдала в разлуке. А разве я не страдал? Что выстрадал я, этого ты не знаешь и никогда не узнаешь! Но все прошло, как туча, которую пронес ветер. Мы вместе! Мы вместе и опять навсегда.

– Правда? – воскликнула Ада, простирая к нему руки, – правда? навсегда? навсегда? и вместе?

...Латыгин вдруг вспомнил их давнюю клятву.

– А помнишь, – сказал он, – тот поцелуй, который мы обещали друг другу при свидании?

– Ах, да!

И Ада, улыбаясь опять, как маленькая девочка, обняла его и, прижавшись губами к его губам, не отпускала долго, впиваясь медленно и сладострастно. Теперь ее лицо было весело, она беспечно хохотала, она веселилась, но он помнил, что надо торопиться.

– Идем скорее, – сказал он.

– Как идем? Куда?

– Мы не можем оставаться здесь.

– А почему?

– Но, боже мой, сейчас вернется моя жена.

– Жена?

Выразительное лицо маленькой гречанки тотчас омрачилось. Она словно забыла о том, что Латыгин женат, что она здесь не у себя дома. С видимым усилием Ада переспросила:

– Значит, мне нельзя быть с тобой? Ты меня от себя прогонишь?

– Нет! Нет! – со страстью воскликнул Латыгин. – Нет! ты будешь со мной, или, лучше сказать, я буду с тобой. Но не здесь. Да я и не хочу, чтобы ты была здесь. В этом доме все полно другим, чужим тебе, что я хочу забыть. Уйдем отсюда. И скорее. Уйдем, и уйдем навсегда. Уйдем, чтобы навсегда быть вдвоем.

Ада смотрела на своего возлюбленного, не понимая. Латыгин же хлопотливо и усердно стал что-то собирать. Потом деловым голосом спросил:

– С тобой только этот чемодан?

– Да, только этот, – отвечала Ада и тотчас добавила: – Я не могла захватить ничего больше. Это вызвало бы подозрение. И так отец...

Латыгин прервал ее:

– Хорошо. Нам ничего и не надо. Мы все создадим снова! Все от самого начала, так будет лучше. Но идем.

Латыгин загляделся. Он думал об том, что взять с собой. Мелькнули мысли о разных небольших предметах, о костюмах, белье, бритве и других туалетных принадлежностях... Но тотчас он отклонил эти мысли: не было времени собирать такие вещи, да и некуда было их положить. Одно казалось необходимым: это его рукописи...

Латыгин достал старый саквояж, не разбирая всунул в него все тетради нотной бумаги, паспорт, положил скрипку; сунув рукописи отдельно, быстро прошел в спальню и, вернувшись, добавил к взятому небольшой пакет, где были папиросы, бритва, носовые платки и кое-что еще попавшееся ему под руку из белья. Потом, сев за стол, Латыгин начал было писать жене письмо, но, написав несколько строк, разорвал и бросил. Нет, у него не было времени объяснять. Он взял другой лист бумаги, написал одно слово: «прощай» и подписал: «твой Родион»; потом, стараясь, чтобы этого не увидела Ада, всунул в

письмо две десятирублевых бумажки, запечатал конверт и четко написал сверху: «Мине Эдуардовне Латыгиной». Потом вдруг несколько раз огляделся кругом. Часы пробили половину второго.

Бой часов придал Латыгину новую решимость и цельность. Уже он держал себя, как властный. Все было определено, и поступки его были рассчитаны. Он тихо и нежно опять обнял Аду, и она опять доверчиво припала к его губам... После этих поцелуев Латыгин взял в руки свой саквояж, чемодан Ады и скрипку и сказал повелительно:

– Идем!

Ада с какой-то робостью повиновалась. Они вышли, Латыгин запер дверь и, пройдя через двор, отдал ключ дворнику, кинув ему коротко:

– Передайте Мине Эдуардовне.

– Понимаем-с, – ответил дворник, нагло ухмыляясь, хотя неизвестно было, что именно он понимал.

Выйдя на улицу, Латыгин нарочно повернул в сторону, противоположную той, откуда могли прийти Лиза и Мина Эдуардовна. Ада

пошла за ним, не спрашивая объяснения. Пройдя некоторое расстояние, Латыгин взял извозчика и помог Аде сесть в пролетку.

– Ты голодна? – спросил Латыгин, как если б все остальное уже было объяснено и решено.

– Да, я сегодня даже не пила кофе, – призналась Ада.

– Мы сейчас будем обедать.

Потом, назвав извозчику улицу, Латыгин стал расспрашивать Аду об том, как она жила эти два года в О. Как-то повели разговор помимо сегодняшнего свидания. Ада говорила о своей подруге, о своем отце, о своих женихах, которые ей очень досаждали. Разговор вели так, как если бы любовники разлучились всего два-три дня тому назад. Ни слова не было сказано о Латыгине, об его жене и семье, которых он покидал в те минуты – как он был уверен – навсегда.

Латыгин увез Аду в гостиницу неподалеку от одного из вокзалов. Латыгин уловил, что Ада чуть-чуть поморщилась на неприглядный вид довольно грязной лестницы и на скудную обстановку номера; но тотчас, веро-

ятно, уловив взгляд Латыгина, она пересилила себя и поспешила сказать со всей искренностью:

– Веди меня куда хочешь! С тобой мне будет хорошо всюду!

В номере они спросили себе обед. Им подали жалкий суп, твердую, несъедобную говядину, рыбу, не совсем свежую, сладкие пирожки, которые пахли салом... Но голод у обоих сказался, едва они остались вдвоем. Они опять обняли друг друга и смотрели друг другу в глаза, и повторяли друг другу бессвязные признания.

– Ты так же ли любишь, по-прежнему?

– Ты теперь не разлюбишь меня? Ты – прежний?

– И ты – все та же! все та же! как это странно.

– Словно в сказке?

– Это лучше сказки.

Потом Ада опять вспоминала пережитое ею за два года и плакала. Вдруг Латыгин опять понял, что он вновь с Адой, и его охватило безумное блаженство. Мечты и действительность путались. То ему казалось, будто

вернулось то, что было два года тому назад; то представлялось, будто настало то, что должно было наступить лишь много лет позже. Причем настоящее и будущее сливалось в единый миг.

Они пили вино, но оно пьянило их меньше, чем встреча. Они смотрели друг другу в глаза и не то упивались один другим, не то угадывали что-то новое. Они смеялись без причины и плакали, когда можно было смеяться.

Латыгин взял скрипку и стал играть. Он играл свои прежние песни славы, и «Песнь недолгой разлуки», и «Гимн победителя», и импровизованную «Песнь встречи».

Казалось, что он играл прекрасно, а может быть, он и в самом деле играл прекрасно. Потом настал такой миг, когда они не могли больше сопротивляться воспоминаниям прошлого и желали ласк. Глаза Ады стали темные и тусклые, как море перед бурей. Латыгин прижал Аду так сильно, что ее детское тело словно переломилось в этих мужских объятиях, и спросил тихо, вдумчиво, но повелительно:

– Ведь ты моя жена? Да?

И она отвечала так же тихо и напряженно:

– Да...

Она не сопротивлялась, и в этом грязном номере гостиницы, отдающемся в наем прохожим парочкам, они, двое влюбленных, возобновили свой брак, не думая ни о завтрашнем дне, ни об том, что их ждет через несколько часов после того, – они твердили:

– Милый! милая! опять, как тогда.

## 9

Случилось, что оба заснули, утомленные волнениями дня, всеми потрясениями долго ожидаемой и все же неожиданной встречи, ласками и слезами.

Проснувшись, Латыгин поднялся, посмотрел на часы. Было почти 7 часов. Он вспомнил, что поезд в Москву идет в 9. Надо было опять торопиться. Но недавняя горячка прошла. Голова была трезвой и мысли мучительно ясны. Тихонько приподнявшись на постели, Латыгин стал смотреть на Аду, которая спала рядом с ним.

В комнате было жарко, и девочка раскинулась во сне, оттолкнув ногой одеяло. Были

видны ее миниатюрные ноги, красиво отточенные, словно из мрамора, ее полудетские маленькие восковые груди, ее красиво округленные, чуть-чуть худенькие плечи. Голова лежала глубоко в маленькой подушке. На щеках, несмотря на сон, проступал яркий румянец, который не мог, однако, сделать менее алыми ее пунцовые губы; черные растрепавшиеся волосы самовольно вились, доходили до плеч, падали на грудь, касаясь щеки. Всмотриваясь в Аду, Латыгин мог сказать одно: «Да! она хороша! Она очень хороша! Она уже почти красавица и будет ею через год. Она на самой грани, чтоб из очаровательной девочки вдруг стать прекрасной женщиной. И вот она – моя. Я владею ею, она хочет, чтобы я был ее властелином. Разве это не счастье?» Только мысленно Латыгин подумал почти словами, почти произнес в уме: «Разве это не счастье?»

Но вслед за тем быстро в мыслях Латыгина стали проноситься все последние поступки, совершенные им сегодня. Он вспомнил свою жену, свою дочь, свой дом. Он представил себе, как Мина Эдуардовна вернулась домой от

Меркинсонов, где ей оказали, может быть, вообще не тот прием, какой он предсказывал, — вернулась и нашла на столе загадочное письмо с одним словом: «прощай» и двадцать рублей денег... Двадцать рублей! На какой срок? На месяц? На год? Навсегда? Ибо что сможет он, нищий «Моцарт», послать еще своей покинутой жене?

Или, может быть, письмо раньше нашла Лизочка. Она не по летам развита, и суровая школа жизни, полной лишений, научила ее многому. Может быть, хотя на конверте написано им «Мине Эдуардовне», Лизочка первая распечатала письмо. Как знать, может быть, у Лизы достаточно мужества, сметливости и предвидения, чтобы утаить это письмо и не показывать его матери. У Лизы могла возникнуть последняя надежда, что письмо написано в одном из тех порывов, которые иногда находили на ее отца; она могла надеяться, что отец потом сам раскается в своем письме. Может быть, Лизочка спрятала и письмо и деньги от матери, спрятала их, решив выждать время; может быть, все еще и устроится само собой. Тогда отвечать придется только за вре-

мя своего исчезновения из дома.

Если вернуться сейчас, жена, конечно, будет упрекать, может быть, покричит немного, поплачет, но все понемногу успокоится. Можно будет недосказать, как-нибудь объяснить. А потом Лизочка тихо подаст отцу спрятанные письмо и деньги, и он, Латыгин, поцелует с благодарностью дочь за ее ум и догадливость...

Как все просто!

Но тотчас же Латыгин, вздрогнув, постарался сбросить с себя эти нелепые мысли. Об чем он думает? Разве дело не решено? Разве не решено, что он ушел из дому навсегда, навсегда! Разве не решено, что отныне он будет жить с ней, с Адой, с той, кого он любит! Разве это решение не подтверждено всем, что он сейчас сделал! Можно ли после этого идти назад? Какое безумие!

И потом ведь это же счастье, единственно возможное на земле счастье перед ним. Разве так много блаженств в мире, что можно было бы пренебрегать тем, которое является на пути! Во имя чего можно принести в жертву свою душу, лишиться ее счастья, т. е. лишиться

воздуха, которым она дышит! Ведь это же самоотверженность! И так! Разве Ада перенесет, если теперь, после всего, что было сегодня, он скажет ей, что передумал, что быть с нею, жить с нею не может! Ведь это же значит убить эту маленькую девочку, столь доверчиво пришедшую к нему, пошедшую за ним, отдавшуюся ему. Поздно передумывать! Может быть, в первую минуту, когда Ада только что явилась перед ним, была еще возможность сказать ей, что он не может исполнить своих прежних обещаний. Может быть, она тогда и вынесла бы этот удар, который можно было подготовить двумя годами переписки, полной всяких оговорок и уклончивых объяснений... Но теперь – теперь ничего такого невозможно! Теперь сказать Аде, что он ее покидает, – было бы низко, подло, недостойно художника, и вместе с тем это значило бы произнести Аде смертный приговор. Да, он знает Аду, она исполнит свою угрозу: теперь она не будет жить без него.

Латыгин решился. Быстро поправив волосы, он тихо поцеловал руку Ады и поцелуем разбудил ее. Она открыла свои большие чер-

ные глаза, обвела ими незнакомую комнату, все вспомнила и, краснея от стыда, поспешила натянуть одеяло на свое почти обнаженное тело.

– Как странно, – прошептала она, – вот мы вместе! Вместе спим. Этого никогда не бывало.

– Но теперь так будет всегда, – сказал Латыгин, – разве это плохо?

– Это слишком хорошо, – отвечала девочка. Латыгин опять сжал ее в объятиях, чувствуя теплоту ее тела у своей груди. И все недавние раздумия о жене, о возвращении домой вылетели из его головы, развеялись, как дым под утренним ветром. В душе было одно желание – оставаться с Адой теперь, долго, всегда. Внезапно Латыгин сказал серьезно:

– Но вот что, Ада, надо одеваться и ехать.

– Ехать? Куда? – переспросила Ада тоном капризного ребенка.

Латыгин стал объяснять ей, что жить в Х. вдвоем им невозможно. Его слишком многие знают. Жена, так как развода еще нет, может причинить им много неприятностей. Да и помимо того им обоим, самой Аде, как и Латы-

гину, будет тяжело встречаться с его женой. Кроме того, добавил Латыгин, после тех толков, какие возникнут из-за его расхождения с женой (Латыгин не хотел произнести слова «скандал»), ему, Латыгину, трудно будет найти себе в X. какое-нибудь подходящее занятие.

– А ты знаешь, – заметил он, произнося слова с большим усилием, – у меня нет ничего, кроме моего таланта: я должен зарабатывать деньги. Я сумею их заработать, – поспешил добавить он, – но бывают обстоятельства, которые этому мешают. И причина нашей встречи с тобой будет именно таким обстоятельством. Нам надо уехать в другой город.

Сейчас же Латыгин прибавил, что вообще в X. он живет лишь временно, что он и не намеревался жить в нем с Адой, что он хотел бы жить с ней в одной из столиц или за границей. Там жизнь свободнее и приятнее, там много интересных людей, там театры, концерты, музеи... Одним словом, они выберут себе город по своему вкусу, а пока надо скорее уехать из X. Латыгин предлагал ехать прежде

всего в Москву.

Ада надула было губки, но потом, вспомнив, вероятно, что дала себе слово не быть требовательной, ограничивать свои желания и повиноваться Латыгину, поспешила принять вид покорный. Она вздохнула только об том, что надо ехать именно сегодня: надо вставать из теплой постели, одеваться, ехать на вокзал и потом провести целую ночь в вагоне, где, может быть, еще не удастся достать спального места...

При упоминании о спальном месте Латыгин в душе горько улыбнулся. Он мысленно счел свои деньги и подвел итог: за вычетом 20 рублей, оставленных жене, у него остается всего денег 58 рублей и какая-то мелочь – да из этих несколько рублей надо будет заплатить здесь в гостинице. И это – весь капитал, с которым он собирается вступить в жизнь вдвоем с любимой женщиной, привыкшей если не к роскоши, то к полному довольству и беспечности... Он, Латыгин, не сказал ни слова Аде о своих затруднениях и только ласково стал просить ее поторопиться и одеться поскорее, чтобы успеть на вокзал заручиться те-

ми самыми «спальными местами», о которых она мечтала.

Ада стала одеваться с очаровательной неловкостью, так как дома ей помогала горничная, но, одеваясь, Ада не раз поворачивалась к Латыгину, чтобы поцеловать его, и это делало все ее поступки для него пленительными без конца. Ада мило кокетничала, она была еще без корсета, с распущенными волосами, и ее детское тело изгибалось, как тело кошечки. Латыгин вспомнил утомленное худое тело жены или грубую шершавую кожу на теле Маши, и ему стало казаться, что Ада из породы иных существ, что если она – женщина, то тех нельзя назвать такими же наименованиями. В голове его на минутку промелькнула новая мысль: «Хвала телу женщины», – но тотчас он остановил себя и, привычный к анализу своих чувств, спросил себя: «Что же, неужели мне нравится в ней лишь тело?»

Раздумывать, однако, было некогда. До отхода поезда оставалось с небольшим полтора часа. Латыгин позвонил и приказал подать счет. Между тем Ада уже забыла все неприят-

ности событий и беспечно болтала об том, как она будет жить в Москве. Ада расспрашивала, какая опера в Москве, какие певцы, будут ли концерты, несмотря на военное время. Она слышала о концертах Кусевицкого и настаивала, чтобы они с Латыгиным непременно абонировались на всю серию его концертов. После необходимо послушать Вагнера, она, Ада, из всех его опер слышала только Лоэнгина, между тем в Москве поют всю тетралогия о гибели богов... Да... и драматические театры необходимо посетить все. Кроме того, от Москвы так близко до Петербурга...

Слушая милую болтовню Ады, Латыгин мысленно как-то покачивал головой, а ум его так упорно повторял цифры: 58 рублей, счет 4 рубля 20 копеек, на чай 50 копеек, итого 4 рубля 70 копеек, остается 53 рубля 30 копеек, что он даже не слышал иных слов Ады, и она вдруг рассердилась:

– Что же ты меня не слушаешь? Я тебе этого не позволю. Я хочу, чтобы ты, когда я говорю, слушал меня всегда, всё, каждое слово! Будешь?

– Буду! буду! милая, – воскликнул Латыгин

не то с восторгом, не то с тоской, и снова обнял Аду, готовый смеяться, и чувствовал, что к горлу подступают слезы.

Неодолимая тревога встала в душе Латыгина. Было страшно будущего и уже было мучительно жаль прошлого – вот этого тяжелого прошлого, с заботами о завтрашнем обеде, со стыдом за протраченные 3 рубля, с оскорблениями дворников и швейцаров. Упорно вставали в уме образ жены, какой она была вчера, когда свет лампы озарял их новую брачную ночь, и образ дочери, маленькой Лизочки, как она слушала утром, прежде чем уйти в гимназию, «Пляску медуз», исполненную отцом. А вместо них перед глазами была еще полуодетая Адочка, молодая, свежая, красивая, любящая, полудетская грудь которой задорно выступала из-за маленького корсета с нежно-фиолетовыми шелковыми лентами. Что-то было кошмаром: или то настойчивое, тягостное прошлое, или это назойливое, свершающееся настоящее. «Или я грустил, что так несчастен, или грущу теперь, что могу быть счастлив, – говорил сам себе Латыгин, и не было сил разобраться, где он – наяву, он – на-

стоящий, здесь, перед этим благоуханным телом любимой девушки, или там, в нищете квартиры над погребками.

Номерной принес сдачи. Латыгин помог Аде надеть пальто. Он опять взял в руки два чемодана и скрипку, и они вышли.

## 10

Темнело. Опять, как вчера, распространялся туман. Зажигали фонари, и они расплывались сквозь сырость тусклыми пятнами. Люди шли, приподняв воротники, и казалось, что все странно торопятся куда-то.

Чтобы попасть на вокзал, надо было только перейти через площадь. Ада опять оживилась и щебетала, строя планы поездки и жизни в Москве.

Она нежно прижалась к Латыгину, с которым шла под руку, и повторяла:

– Главное, что мы вместе! Все остальное, будь что будет! Я на все готова. Милый, я все перенесу, только бы быть с тобой.

Внезапно она рассмеялась ребяческим хохотом, вспомнив про отца.

– Как он теперь сердится! Вторые сутки меня нет дома. Представь! я написала ему толь-

ко одну строку. «Прости, папочка, я уезжаю к мужу!» Как он теперь ломает голову, кто мой муж! Пришла тетушка, и все дядюшки, вероятно, обсуждают, гневаются, вспомнили бабушку Анастасию. Была у меня такая бабушка, я тебе рассказывала, помнишь? Когда что-нибудь случилось со мной, всегда говорили: «Будь бабушка Анастасия жива, она бы не посмела этого сделать». И теперь, наверное, сто раз повторяли эти слова. Но что мне бабушка Анастасия, когда я с моим мужем! И никто не знает, какой он у меня хороший, умный, гениальный! А когда ты будешь совсем знаменитым, когда твой портрет будет напечатан во всех журналах, французских, итальянских, английских и даже греческих, мы приедем домой. И я скажу отцу: «Папочка, вот мой муж, тот самый знаменитый композитор Латыгин, портрет которого напечатан в твоей Nestia!» Посмотрим, что-то тогда найдется сказать у отца!

Ада говорила еще много, а на душе Латыгина становилось все тоскливее и тоскливее. Он шел молча, слушая бесконечную болтовню своей возлюбленной. Х., где Латыгин про-

живал всего два года, казался ему родным городом, из которого теперь он уезжает в чужие страны. Так они пришли на вокзал.

Латыгин проводил Аду в буфет, приказал подать ей кофе, а сам пошел было брать билеты; ему удалось отыскать носильщика, взявшегося «достать» спальные места, и Латыгин угрюмый вернулся к Аде. Он сел рядом с ней и не мог заставить себя говорить. Слов не было.

Кругом смотрел полный зал, той напряженной жизнью, какая возможна на вокзалах за час до отхода «дальних» поездов. Бегали официанты, носильщики, посыльные; пассажиры растерянно осведомлялись у каждого встречного, когда поезд идет, где касса, как пройти на перрон. Там и сям возникали маленькие скандалы, кто-то гневно кричал, какая-то женщина жаловалась с причитаниями. Пахло застоявшимися кушаньями и нефтяным дымом. Ада продолжала свою бесконечную болтовню, а Латыгин, смотря на нее в упор, думал:

«И с этой пустой, красивой куклой я хочу прожить всю жизнь? Чем она лучше Маши?»

Тем разве только, что у этой выхоленное тело, а у той истомленное бесконечными ночами за аппаратом. И разве не в тысячу, не в сто тысяч раз лучше, прекраснее, благороднее моя Мина, переносившая со мной все тяготы жизни, в то время, как эта гречанка, думающая о своем отце, пугавшем ее бабушкой Анастасо!.. Милая, милая Мина! и тебя я бросил, без денег, без поддержки, бросил на улицу с дочерью, с моей дочерью, с моей милой Лизанькой, бросил ради розовых плеч и упругих грудей! Это называется – быть безумным, как художник, быть влюбленным в красоту, как артист?! что же? Или у этих есть другие, гораздо менее звучные названия! О негодай! негодай! негодай!»

Последнее бранное слово Латыгин произнес почти вслух. Ада, конечно, обратила внимание, что он не слушает ее, и, мило надув губки, стала ему выговаривать. Латыгин оправдывался тем, что думал о разных мелочах путешествия. По счастью, пришел носильщик, принес билеты и отвлек разговор. Латыгин получил сдачу и дал три рубля посылному, который пробурчал: «покорнейше

благодарю» и тотчас отошел. Но Латыгин, считая в уме расход за чай, за билет и оставшиеся деньги в кармане, спросил, стараясь говорить небрежно:

– У тебя есть свои деньги, Ада?

Ада поглядела на него изумленными глазами и отвечала:

– Я скопила для моей поездки немного денег. У меня теперь осталось еще 80 рублей. Правда я умница? Похвали меня! А ты всегда говорил, бывало, что я – дитя и ничего в жизни и в деле не смыслю.

– Нет, ты в самом деле умница, – сказал в ответ Латыгин, улыбаясь.

Он немного повеселел. «По крайней мере у нее достанет денег, чтобы вернуться из Москвы к отцу», – подумал он. Но тотчас же прервал свои собственные мысли: «Боже мой! об чем я думаю! зачем ей возвращаться к отцу! Да и примет ли ее отец после побега? Нет, нет, этого нельзя думать, так думать – постыдно!» И, чтобы отвести мысли в другую сторону, он встал и сказал Аде:

– Уже можно садиться, пойдем в вагон. Это и потому еще необходимо, – сказал он, громко

отвечая сам себе, – что здесь нас может увидеть кто-нибудь из знакомых: тогда может выйти нелепая сцена.

Ада не возражала. Они прошли через вокзал, вышли на перрон и разыскали свой вагон. Ада опять чуть-чуть поморщилась, когда увидела, что они будут ехать в разных отделениях: она – в дамском, он – в мужском.

– Признаться, девочка, – оправдывался Латыгин, – отдельное купе теперь надо заказывать за несколько дней вперед. И потом, – добавил он, собрав все свое мужество, – это было бы слишком дорого. Увы, моя девочка, со мной тебе придется приучаться к скромности.

Последние слова сразу сделали Аду серьезной. Она перестала дуться и поспешно ответила, как показалось Латыгину, со всей искренностью:

– Милый, я знаю! Я на все готова. Я буду терпеть какие хочешь лишения, если надо, буду голодать, только бы быть с тобой! с тобой!

«Боже мой! что ж, и это возможно!» – подумал с тоской Латыгин, и странно, ответ Ады

почти рассердил его. Ему было бы приятнее, если бы Ада потребовала невозможного, стала бы настаивать на том, чтобы они ехали в отдельном купе первого класса, не желала бы слушать никаких доводов, проявила бы ребяческое непонимание обстоятельств. Но этот серьезный тон обезоружил Латыгина, и он чувствовал, что какое-то ярмо тяжелее сдавило его чело.

Латыгин провел Аду в ее отделение, уложил ее чемодан и передал ей ее билет.

– Ты должна уметь быть самостоятельной, – сказал он. – С тебя могут спросить билет ночью: не потеряй его. И береги свои деньги, они нам, вероятно, пригодятся.

– Ведь приехала же я одна к тебе! – самодовольно воскликнула Ада, – все сделала сама, и билет купила, и ехала, и даже обедала по дороге. Клерочка мне только чуть-чуть помогала при отъезде, а то я все сама, все сама.

– Ты у меня умница, – тоскливо сказал Латыгин.

Слова не шли у него с языка. Ада шумно шутила и, когда в вагоне никого не было, то быстро поцеловала Латыгина в губы. Но и

этот поцелуй не оживил его. Тоска дошла до таких пределов, что хотелось не то что плакать, но завывать, как зверю, завывать и убежать. Внезапно вспомнилось, как в детстве он играл со сверстниками в особенно странную игру, в «индейцев», и вот однажды, по ходу игры, он оказался пленником краснокожих; его связали и поставили к столбу пыток, и два старших мальчика серьезно стали готовиться терзать его тело раскаленными копьями, изображенными палками от щеток, и затем скальпировать при помощи ножа для разрезанья книг; тогда он, маленький Родя, каким он был тогда, вдруг «разревелся» и поднял крик: «Не хочу больше играть!» И вот теперь, когда он, уже «большой» Латыгин, стоял в проходе вагона, чтобы уехать со своей любовницей от своей жены, ему опять захотелось так же зарыдать и закричать так же: «Не хочу больше играть!» Жаль, боже! Как просто было тогда из пленника свирепых дикарей превратиться в приготовишку Родю, и как невозможно теперь сделать так, чтобы все случившееся оказалось опять игрой, простой, детской игрой.

– Пойми! ведь я только играл в индейцев! – хотелось кричать Латыгину. Но Адочка была здесь, Ада, убежавшая от отца, которую он, Латыгин, два года уверял, что не сегодня – завтра начнет с ней новую жизнь; Адочка смотрела на него любящими глазами женщины; еще несколько часов назад он ласкал ее детское тело, как любовник. Кто же поверит, что все это была «игра», только детская игра!

Мысль Латыгина сделала скачок. Он вспомнил теорию Шиллера: происхождение искусства из игры. «Ведь я же – художник», – сказал он в свое оправдание. Но сам потом рассмеялся над своим доводом. «Кто же тебе поверит! – отвечал он сам себе, – и хороша игра, которая разбивает сердце и жизнь двух, трех, нет, четырех, а может быть, и более пяти (ему вспомнился отец Ады) людей! однако игра, роковая игра, злодейская игра!». И ему уже захотелось крикнуть себе не «негодяй», но «злодей»... Его мысли путались, и он с трудом расслышал, что Ада ему что-то говорила.

Оказалось, она просила его купить яблок на дорогу.

– Не сердись, милый, – говорила она рассу-

дительно, – это стоит недорого. Купи всего два, ну, три яблока: одно тебе, а два мне. Ночью в дороге так хочется пить. Самых маленьких, самых дешевых...

– Ну, конечно, куплю! – покорно отвечал Латыгин. – Сейчас принесу.

– А ты успеешь?

– Да ведь еще не было второго звонка.

– Или нет, лучше не ходи! Я боюсь остаться одна, а вдруг не успеешь?

– Какие пустяки! Здесь два шага до буфета. Сейчас пойду и принесу.

Ада уже удерживала его боязливо, но Латыгин, посмеявшись, решительно спрыгнул на перрон и побежал к буфету. Ада, выйдя на площадку, следила за ним тревожным взглядом. У входа в вагон теснились проводящие, но над ними была ясно видна ее хорошенькая головка в какой-то эксцентричной ярко-красной шляпе.

Латыгин подошел к буфету, выбрал пяток хороших яблок, заплатил за них рубль. Уже пакет был в его руках, когда прозвучал второй звонок. «Три минуты до отхода», – подумал Латыгин. Он быстро вошел на перрон.

Ада издали радостно кивала ему головой, торопя его войти в вагон. Латыгин еще раз взглянул в ее веселое, красивое, но по-детски еще не определившееся лицо, в черные дуги ее бровей, в ее ярко-алые губы и опять вспомнил с ясностью неизменно утомленные черты лица своей жены, ее большие выразительные глаза с тенью вокруг, ее обесцветшие губы, с морщинами страдания у сгиба рта. Невероятная тоска опять сжала сердце.

«Минуту, хоть одну минуту я должен быть один!» Эта мысль, как раскаленное лезвие, прорезала сознание Латыгина. Он сделал Аде знак рукой, дав понять, что сейчас вернется, и опять как бы нырнул в толпу, быстро спешившую из буфета.

Все, что произошло потом, свершилось как бы во сне. Латыгин не рассуждал, не обдумывал, не спорил с тем бессознательным, что заставило его действовать. Он не спрашивал себя, хорошо ли он поступает, честно ли это или преступно, наконец, нельзя ли то же самое совершить иначе, в более благородных формах. Его ум был занят одним: суметь и успеть все сделать и притом так, чтобы достигнуть нуж-

ного результата. Казалось, что перед ним две пропасти, два ужаса, так легко было упасть в один или в другой, налево или направо, а между этими пропастями была лишь одна черта дороги, подобно той, о которой говорится в Коране: «Тоньше волоса и острее лезвия сабли». Но Латыгин знал, что он должен пройти по этой дороге, не соскользнув ни налево, ни направо, пройти сам и провести кого-то другого – именно так, как он, Латыгин, этого хочет. Латыгин быстро выхватил из кармана визитную карточку и четко, крупно написал на ней: «Если можешь, прости. Прощай навсегда. Милая, я не достоин тебя. Несчастный Родион». Нашел в кармане и конверт; на нем Латыгин надписал: «Аде Нериоти». Потом он подозвал к себе мальчика из-за буфета, дал ему полтинник и объяснил:

– Видишь вот ту даму в красной шляпе, которая выглядывает с площадки спального вагона? Пойди к ней и в ту минуту, как поезд тронется, подай ей это письмо. Но только именно в ту минуту, ни раньше, ни позже. Слышишь? И если снесешь, получишь еще столько же!

– Понимаем-с, – сказал мальчик, и Латыгин с болью в сердце вспомнил, что точно так же ответил ему дворник, когда он передавал ему ключ от своей квартиры.

Но думать было некогда. Уже звонил третий звонок. Латыгин знал, что Ада сейчас выпрыгнет из вагона, и поэтому быстро появился на перроне и, махнув ей рукой, как бы прося ее успокоиться, бросился к ближайшему от себя вагону и, силой оттолкнув кондуктора, вспрыгнул на площадку. Он видел, что мальчик, честно исполняя поручение, в эту минуту подавал его письмо Аде. Еще он успел рассмотреть, что Ада изумленно распечатывала письмо, но поезд уже прибавил ходу, и он так же быстро спрыгнул обратно на платформу, не слушая брани, которой осыпал его кондуктор.

– Так, господин, невозможно! Разобьетесь, а мы за вас отвечаем. Куда вы прыгаете, я начальнику станции доложу!..

Кто-то кричал над ухом Латыгина эти слова, но он весь впился глазами в площадку того вагона, где была Ада. Ему видна была ее ярко-алая шляпа, и он знал, что Ада осталась в

вагоне и теперь поезд быстро развивает полный ход, уносит ее все скорее и скорее, прочь от платформы, на которой остался ее любовник или ее муж. Поезд сделал маленький поворот, и опять мелькнула красная шляпа; Ада истерически высунулась из окна, и одно мгновение сердце Латыгина упало: ему показалось, что Ада сейчас бросится из поезда. Латыгин сам почувствовал, что побледнел смертельно, и в его душе промелькнула мысль: тогда и я должен умереть, сейчас же, тотчас же!

Но вот поезд выпрямился, а красная шляпа все еще была в окне... Нет, она не бросилась, она уезжает... Что она думает в эту минуту? Рыдает? Проклинает его? Или презирает? Или смеется?

Ах, все равно.

– Да что же вы стоите, господин! – продолжал грубо кричать тот же голос. – Вы что, пьяны, что ли? Проходите, или я начальнику станции донесу.

Подвернулся мальчишка, относивший письмо. Латыгин выполнил свое обещание и отдал ему еще полтинник. Мальчик поблагодарил. От поезда уже был виден только квад-

рат последнего вагона и дымок, взвивавшийся из трубы паровоза. Латыгин обежал открывшийся путь, с содроганием думая, что на рельсах могло бы лежать тело девицы в ярко-алой шляпе, но на путях не было ничего, а платформа пустела, и все, бывшие на ней, расходились равнодушно.

– Ступайте, господин! – настойчиво крикнул Латыгину в последний раз невероятно грубый голос.

Латыгин, шатаясь, повернулся и пошел. Он прошел через буфет и через багажное отделение и вышел на крыльцо вокзала. Туман сгустился, и фонари тусклыми пятнами мерцали словно из-под воды. Прямо перед вокзалом серой громадой в тумане высился корпус гостиницы, где Латыгин только что провел несколько часов с Адой. Дальше лабиринтом крыш, стен, куполов и телеграфных проводов простирался весь город, тот самый ненавистный город, где прошли для Латыгина два мучительных года нужды и унижений, годы, в которых, как золотой мираж, сияли письма Ады, приходившие откуда-то издалека, словно из другого мира. Таких писем больше не

придет, таких – никогда! И вот там, дальше в этом лабиринте, где есть пустая улочка, есть покривившиеся ворота, за ними грязный двор и на нем, во флигеле, над погребками, квартира, где теперь две женщины, Лизочка и ее мать, что-то думают или что-то говорят о муже и об отце.

«Они уверены, что я убежал от них, что я их бросил, – подумал Латыгин, – что я теперь, оставив их во мгле, в тумане, лечу куда-то к новой жизни и к свету, к счастью... Но я стою здесь, в той же самой мгле, в том же самом тумане, и сейчас пойду к ним, к этим женщинам, пойду, чтобы делить их горе и их стыд! А ведь я мог бы, действительно мог бы взять это счастье, пусть, может быть, на несколько недель только, только на несколько дней, но истинное, настоящее лучезарное счастье, какое довелось неожиданно повстречать в жизни... Боже мой! Почему же я от него отказался?»

Мера того, что может вместить человек, была переполнена. Латыгин больше не владел собой. Он не знал, чего ему жалко, и не понимал, о ком его тоска: о себе самом, или об

оскорбляемой им жене, или об Аде, над которой он дьявольски посмеялся, – плачет ли он о своем потерянном счастье или о несчастной судьбе жены, отдавшей ему свою любовь, свою жизнь и узнавшей сегодня, что он променял ее на какую-то понравившуюся ему другую женщину, или, наконец, о грубо разбитых, варварски растоптанных надеждах наивной, доверчивой девочки, приехавшей отдать свою жизнь, и свою душу, и свое тело, но только он плакал. Прислонившись к сырой стене вокзала, жалкий «Моцарт» рыдал безнадежно, неутешающими рыданиями, и его слезы, падая на грязный помост, смешиваясь с вечерней сыростью, расплываясь мутной лужей по пальто, и вместе с влагой тумана, оседавшей из воздуха, – стекали на серые булыжники мостовой.

# Примечания

приличия (*фр.*).

[^^^]

## 2

Простите, мой друг... но судите сами: разве мне удобно принимать посетителей в первый месяц вдовства после полуночи. Вы ставите меня в ложное положение (*фр.*).

[^^^]

### 3

Мне нужно вам сообщить очень важные вещи. Умоляю вас уделить мне несколько минут для разговора. М. (*фр.*).

[^^^]

# 4

*Я взял тебя обедком  
С тарелки Цезаря, и ты была  
К тому еще надкушена Помпеем.  
(Пер. с англ. Б. Пастернака).*

[^^^]

комбинаций (*фр.*).

[^^^]

# 6

Вы с ума сошли, сударь, я вас не знаю (*фр.*).

[^^^]

«сверхчеловеком» (нем.).

[^^^]

# 8

*Воин Амулий потом авзонийскою  
правил странюю,  
Прав не имея на то...*

*(Пер. с лат. С. В. Шервинского).*

[^^^]

так сказать (*φp.*)

[^^^]